АЛЕКСАНДР БЛОК

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

Под общей редакцией

В. Э. ВАЦУРО
Н. К. ГЕЯ
С. А. МАКАШИНА
А. С. МЯСНИКОВА
В. Н. ОРЛОВА

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

А Л Е К С А Н Д Р
Б Л О К
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ
ПЕРВЫЙ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

8Р1
Б70

Вступительная статья, составление,
подготовка текста и комментарии
ВЛ. ОРЛОВА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Б $\frac{70202-231}{028(01)-80}$ 50-80 4702010200

БЛОК ВО ВСЕЙ ЦЕЛЬНОСТИ, ОРГАНИЧНОСТИ СВОЕГО ВНУТРЕННЕГО ПУТИ, САМОЙ СВОЕЙ ЛИЧНОСТЬЮ, СВОИМ ОТНОШЕНИЕМ К ДЕЛУ ПИСАТЕЛЯ И КО ВСЯКОМУ ДЕЛУ, ОТНОШЕНИЕМ К ЛЮДЯМ, ВПЛОТЬ ДО ОБРАЩЕНИЯ С НИМИ, САМОЙ МАНЕРОЙ ДЕРЖАТЬСЯ, САМОЙ ВНЕШНОСТЬЮ СВОЕЙ — ВСЕМ ЭТИМ ВМЕСТЕ ПОУЧИТЕЛЕН...

Юрий Верховский

Александръ Блокъ

Стихи о прекрасной дамѣ.

Книгоиздательство
«Грифъ»
Москва.
1905 г.

АЛЕКСАНДР БЛОК В ПАМЯТИ СОВРЕМЕННИКОВ

1. ПОЧВА И СУДЬБА

Решительно ни у кого из русских писателей начала XX века не было таких прочных жизненно-биографических корней в глубинных пластах национальной культуры, как у Блока.

Даже родиться ему довелось в доме, принадлежащем Петербургскому университету, где самые стены как бы излучают свет русского просвещения. А приняла его на руки прабабка, в молодости тесно связанная со многими из близких друзей Пушкина. И оба эти в общем-то случайные обстоятельства в отношении Блока приобретают значение поистине символическое.

С младенчества дышал он атмосферой живого культурного предания. Окружение его родных — Бекетовых и Карелиных, — это Баратынские, Тютчевы, Аксаковы, Коваленские, Рачинские, Соловьевы — наследственная, можно сказать «столбовая», интеллигенция России.

Гоголь, Аполлон Григорьев, Некрасов, Григорович, Тургенев, Полонский были в семье Бекетовых, воспитавшей Блока, не только почитаемыми писателями, но и добрыми знакомыми.

Всю жизнь у Блока в кабинете стоял старинный диван, на котором сиживали Достоевский и Щедрин.

В семье царил культ науки, литературы и искусства, господствовали высокие представления об их ценностях, идеалах и традициях. Здесь все не покладая рук трудились во славу и на благо русской культуры, русского просвещения.

Дед — крупнейший ученый, «отец русской ботаники», активнейший общественный деятель, гуманист и либерал, профессор и ректор Петербургского университета. Бабка — неутомимая, широко известная переводчица, женщина обширного и оригинального ума. Старшая тетка в свое время обратила на себя внимание как одаренный поэт и прозаик. Младшая — постоянно что-то писала, компилировала, переводила.

Кровную связь свою с воспитавшей его средой Блок всегда, с юношеских лет, ощущал с особенной остротою. А в зрелые годы нашел в ней прочную опору для своих духовных, идейных, литературных исканий: «Чем более пробуждается во мне сознание себя как части... родного целого, как «гражданина своей родины», тем громче говорит во мне кровь» [1].

На какое-то время «голос крови» был заглушен иными идейно-художественными воздействиями. Но это продолжалось недолго.

Давно уже стало очевидным, что творчество Блока не укладывается в рамки русского символизма как художественного мировоззрения и литературной школы, что к вершинам своего творчества он пришел не в силу своей причастности к символизму, но вопреки ей.

И при всем том нет у нас оснований полностью элиминировать Блока от русского символизма, поскольку как поэт он сложился в лоне этого течения, дышал его воздухом, был связан с ним на протяжении достаточно длительного отрезка своего литературного пути.

Суть дела в природе этой связи, в тех противоречиях, которые в ней обнаружились.

В Блоке были заложены как громадная сила отталкивания от того мира, в котором ему суждено было начинать, так и мучительное ощущение своей зависимости от него. В этом состояла диалектика связи Блока с символизмом, — она изнутри взрывала пленившую молодого поэта метафизику.

Лидеры и теоретики русского символизма (за исключением разве одного В. Брюсова) меньше всего склонны были рассматривать его только как литературную школу и даже шире того — как художественное направление. Нет, они видели в символизме путь к «творчеству жизни», жадно стремились обрести в нем некую целостность, полное слияние жизни, религии и искусства, и тем самым — гармоническое разрешение реальных противоречий действительности, которые они ощущали хотя и в мистифицированной форме, но по-своему остро.

«Собственно символизм никогда не был школой искусства, — утверждал Андрей Белый, — а был он тенденцией к новому мироощущению, преломляющему по-своему и искусство... А новые формы искусства рассматривали мы не как смену одних только форм, а как отчетливый знак изменения внутреннего восприятия

---

[1] Александр Блок. Собр. соч. в 8-ми томах. М.—Л., 1960—1963. Том 8, с. 274. В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте (римская цифра обозначает том, арабская — страницу).

мира»[1]. Андрей Белый собирался даже написать целую книгу о символизме как особом типе сознания и новом этапе культуры, обозначивших «духовную революцию в мире», и хотел назвать эту книгу: «Символизм как жест жизни».

Такая широта подхода к искусству оказалась приманчивой для юного Блока. И прошло не мало времени, прежде чем, умудренный опытом не придуманной, а действительной жизни, он очень верно и глубоко вскрыл всю иллюзорность подобных стремлений, поставив над ними точный исторический знак: мысль, разбуженная от химерического сна «сильными толчками извне», уже не могла удовлетвориться «слиянием всего воедино», что казалось возможным и даже легким «в истинном мистическом сумраке годов, предшествовавших первой революции, а также — в неистинном мистическом похмелье, которое наступило вслед за нею» (III, 296).

Мощное движение русской жизни в начале XX века захватило и Блока. Бурный ветер времени, идущее со всех сторон брожение, явные симптомы кризиса и разлома старой культуры, стремительный водоворот событий — все это нахлынуло на Блока, ворвалось в его внутренний мир, создало музыку, краски, атмосферу его тревожной поэзии.

В том-то и сказалось душевное величие Блока, что он сумел достаточно быстро убедиться в лживости всякого рода мифологических преображений «грубой жизни» в «сладостные легенды» и сделал из этого убеждения решительные выводы.

Но сделать их было не просто и не легко. Для этого Блоку нужно было переоценить и отвергнуть многое из того, чему он на первых порах поверил. И прежде всего — собственное «декадентство», которое притягивало его своими соблазнами и которое он научился ненавидеть. «Поскольку все это во мне самом — я ненавижу себя и преследую *жизненно и печатно* сам себя... отряхаю клоки ночи с себя, по существу светлого», — писал он Андрею Белому (VIII, 209).

Общее поветрие декадентской «одержимости» коснулось и Блока, не могло не коснуться. Здесь нельзя не сказать о том, что по самому своему психическому складу он был недостаточно защищен от натиска враждебных ему (по существу его нравственных взглядов) «темных», «ночных» воздействий.

Из воспоминаний жены поэта, Любови Дмитриевны, и других хорошо знавших его людей известно о крайней нервозности Блока, о резкой переменчивости его настроений, о нередко овладевавших им приступах глухой тоски, надрыва, отчаянья.

---

[1] «Эпопея» (Берлин), 1922, № 3, с. 254.

У поэта была тяжелая наследственность, и она сказалась в его психике.

Люди, составлявшие тесное окружение Блока, в большинстве не только не помогали развеивать наплывавшее на него марево тоски и отчаянья, но, напротив, еще больше сгущали атмосферу. Мать Блока (самый близкий и дорогой ему человек), тетка (М. А. Бекетова) и те, кого он считал своими «действительными друзьями», — Евгений Иванов, В. Пяст, В. Зоргенфрей, — все это люди с более или менее нарушенной психикой, особенно болезненно переживавшие (каждый по-своему) состояние «одержимости».

Чего стоит в этом смысле хотя бы переданный в воспоминаниях В. Пяста его первый разговор с Блоком — об «экстазах» как «выхождении из чувственного мира». Недаром даже мать Блока, существо более чем нервозное, считала, что Пяст «убийственно влиял» на него своим «мраком».

Сам Блок отчетливо видел душевное неблагополучие своей среды: «...все ближайшие люди на границе безумия, как-то больны и расшатаны» (VII, 142).

Ценой больших усилий, не без отступлений и потерь, Блок высвобождался из плена нервной, утомительной, ненатуральной жизни. Обобщая, конечно, свой личный опыт, он размышлял о том, что когда люди, «долго пребывавшие в одиночестве», выходят в широко распахнутый общечеловеческий мир, они, чтобы устоять в «буре жизни» (Блок подчеркивает: «*русской* жизни»), должны обрести в себе «большие *нравственные* силы» (VII, 117).

В обретении нравственных сил и заключался пафос идейно-литературных исканий зрелого Блока.

Решительный перелом в его настроениях, взглядах, убеждениях обозначился в 1907—1908 годах. Сильным толчком к переоценке старых ценностей послужила первая русская революция — страстный отклик на ее победы и трагическое переживание ее поражения.

То борение души за «право на жизнь», о котором Блок говорил в связи с первыми своими книгами и которое до поры до времени протекало подспудно, теперь вырвалось наружу с громадной и совершенно неожиданной для окружающих силой.

Вот тут-то особенно громко и заговорил в нем «голос крови». Им всецело овладело «сознанье страшное обмана всех прежних малых дум и вер». Он пришел к убеждению, что думать и говорить следует «только о великом».

Он и заговорил — о самом большом, насущном и неотвратимом. О России, о приобщении к народной душе, о побежденной и снова набирающей силу революции, о судьбе несчастного,

обездоленного и униженного человека, о гражданском долге и общественной ответственности русского писателя.

Поразительны энергия его мысли и прямота высказываний.

«Ведь тема моя, я знаю теперь это твердо, без всяких сомнений — живая, реальная тема... Все мы, *живые,* так или иначе к пей же придем... Откроем с е р д ц е, — исполнит его восторгом, новыми надеждами, новыми силами, опять научит свергнуть проклятое «татарское» иго сомнений, противоречий, отчаянья, самоубийственной тоски, «декадентской иронии» и пр. и пр., все то иго, которые мы, «нынешние», *в полной мере* несем. *Не откроем сердца — погибнем...* В таком виде стоит передо мной моя тема, *тема о России* (вопрос об интеллигенции и народе, в частности). Этой теме я сознательно и бесповоротно *посвящаю жизнь...* Ведь здесь — жизнь или смерть, счастье или погибель» (VIII, 265).

«Современная русская государственная машина есть, конечно, гнусная, слюнявая, вонючая старость... Революция русская в ее лучших представителях — юность с нимбом вокруг лица... Если есть чем жить, то только этим. И если где такая Россия «мужает», то уж к о н е ч н о, — только в сердце русской революции в самом широком смысле, включая сюда русскую литературу, науку и философию, молодого мужика, сдержанно раздумывающего думу «все об одном», и юного революционера с сияющий правдой лицом, и все вообще непокладливое, сдержанное, грозовое, пресыщенное электричеством. С этой грозой никакой громоотвод не сладит» (VIII, 277).

«Народ собирает по капле жизненные соки для того, чтобы произвести из среды своей всякого, даже некрупного писателя...» Писатель — должник народа. Он обязан передать людям то, что нужно им, как воздух и хлеб, более того — «должен отдать им всю душу свою, и это касается особенно русского писателя» — потому что «нигде не жизненна литература так, как в России, и нигде слово не претворяется в жизнь, не становится хлебом или камнем так, как у нас» (V, 246—247).

«В сознании долга, великой ответственности и связи с народом и обществом, которое произвело его, художник находит силу ритмически идти единственно необходимым путем» (V, 238).

Вот как он заговорил!

Верность великим заветам русской мысли и культуры, их животворным традициям, неотступная дума о России и ее будущем, трагическое переживание ее невыносимого настоящего с диким и варварским режимом прогнившего самодержавия, бесчеловечной властью капитала, бездуховной пошлостью буржуазного быта, бесстыдным нигилизмом декадентства — все это интегрируется в чет-

кой формуле, коротко и ясно выражающей выношенное в самом сердце убеждение Блока: «Современная жизнь есть кощунство перед искусством, современное искусство — кощунство перед жизнью» [1].

Такова была богатая, благодатная почва, на которой высоко поднялась великая поэзия Александра Блока.

Только на такой почве и могла сложиться феноменальная судьба поэта.

Она уводила Блока прочь от его первоначального литературного окружения. Уже в январе 1908 года он сообщает матери: «Я должен установить свою позицию и свою разлуку с декадентами...» (VIII, 224).

Во всех откровенных признаниях Блока с особенной настойчивостью и последовательностью звучит мысль о том, что он, Александр Блок, существует в литературе сам по себе, в одиночку проходит сужденный ему путь, один несет ответственность за свое дело, неизменно следует правилу «оставаться самим собой». И ни с кем не собирается делиться своим сокровенным.

Вот всего лишь несколько тому свидетельств, но как они красноречивы!

«Вы хотели и хотите знать мою моральную, философскую, религиозную физиономию. Я *не умею,* фактически не могу открыть Вам ее без связи с событиями моей жизни, с моими переживаниями; некоторых из этих событий и переживаний не знает *никто на свете»* (Андрею Белому, август 1907 года. — VIII, 196);

«...все ту же глубокую тайну, *мне* одному ведомую, я ношу в себе — *один.* Никто в мире о ней не знает» (жене, июль 1908 года. — VIII, 246);

«Один — и за плечами огромная жизнь — и позади, и впереди, и в настоящем... Настоящее — страшно важно, будущее — так огромно, что замирает сердце, — и *один:* бодрый, здоровый, *не* «конченный», отдохнувший» (Андрею Белому, март 1911 года. — VIII, 334—335);

«Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов больше — один отвечаю за себя, *один...»* (дневник, февраль 1913 года. — VII, 216).

Это обстоятельство надобно иметь в виду, читая книгу, в которой собраны воспоминания о Блоке его современников. Никто из них не мог бы поручиться, что посвящен в тайное тайных поэта.

---

[1] Александр Блок. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965, с. 132.

Делом жизни Блока была литература, оружием — стихотворное олово. И всю силу своей души, весь свой могучий талант, все свое отточенное мастерство он отдал не мелочной и скоропреходящей суете литературных салонов, но тем, ради кого шил и творил, — родине и людям.

В сложном переплетении и постоянном противоборстве тоски и восторга, презрения и гнева, отчаянья и надежды в Блоке год от года крепнет гуманистическое и демократическое чувство, складывается концепция призвания художника душевно твердого, бесстрашного, «мужественно глядящего в лицо миру», верующего в жизнь и благословляющего ее смысл.

Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

Именно эта упрямая вера лежала в основе отношения Блока к жизни, как бы порой она ни отвращала его своими уродливыми «случайными чертами».

«О, я хочу безумно жить!» — по-гамлетовски восклицал поэт, подавляя свои мрачные, «ночные» настроения.

Да, жизнь и поэзия Александра Блока трагичны. Но иначе и не могло быть для честного художника, волею судьбы творившего в условиях катастрофического крушения целого миропорядка.

Блок твердо стоял на том, что, живя в трагическую эпоху, кощунственно радоваться, веселиться или обольщать себя и других какими-либо иллюзиями. Его нравственное чувство не мирилось ни с какой утешительной ложью.

Пускай зовут: *Забудь, поэт!*
Вернись в красивые уюты!
Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой!
Уюта — нет. Покоя — нет.

В жертву делу и долгу была безраздельно отдана и на удивление несчастливая, поросшая бурьяном личная жизнь, о которой знало, пожалуй, несколько человек, самых доверенных, очень немногие что-то слышали, а большинство даже и не догадывалось.

«Красивые уюты», утверждал Блок, способны лишь увести человека от настоящей жизни, парализовать его волю, а в художнике — погасить тот огонь, без которого искусство превращается «в один пар» (VIII, 417).

Из этого убеждения Блок с присущей ему категоричностью делал общие и крайние выводы: чем неустроеннее, неблагополучнее личная жизнь художника (с точки зрения обывательского «здравого смысла»), тем выше, подлиннее, полноценнее его искусство. Вот его признания: «Чем хуже жить — тем лучше можно творить, а жизнь и профессия несовместимы»; «Чем холоднее и злее эта неудающаяся «личная» жизнь... тем глубже и шире мои идейные планы и намеренья» (VIII, 217 и 224).

Не станем поправлять Блока и упрекать его в декадентских шатаниях. Примем это как факт. Тем более что он не делал решительно ничего, чтобы как-то наладить свою непоправимо испорченную личную жизнь. С величайшим удовлетворением записывает он в дневнике, что некто высказался о нем как о человеке, который «думает больше о правде, чем о счастьи» (VII, 123).

Дорогой ценой — ценой утраты счастья и вечной, неотпускающей тревогой души покупаются верность правде, восторги творчества и союз с миром.

И вновь — порывы юных лет,
И взрывы сил, и крайность мнений...
Но счастья не было — и нет.
Хоть в этом больше нет сомнений!

Пройди опасные года.
Тебя подстерегают всюду.
Но если выйдешь цел — тогда
Ты, наконец, поверишь чуду,

И, наконец, увидишь ты,
Что счастья и не надо было,
Что сей несбыточной мечты
И на полжизни не хватило,

Что через край перелилась
Восторга творческого чаша,
И все уж не мое, а наше,
И с миром утвердилась связь...

Жить можно только будущим, а за будущее нужно бороться. «Мир движется музыкой, страстью, пристрастием, силой...» И — «надо, чтобы жизнь менялась» (VII, 219 и 224).

В предощущении «неслыханных перемен» были написаны «Страшный мир» и «Стихи о России», «Возмездие», и «Ямбы», и все остальное, что ознаменовало путь и цель Блока, о которых лучше, чем кто-либо, сказал он сам: «...какое освобождение и какая полнота жизни (насколько доступной была она): вот я — до 1917 года, путь среди революций; *верный* путь» (VII, 355).

Этот верный и в перспективе своей неуклонный путь привел последнего из величайших поэтов старой России к созданию январской трилогии 1918 года — «Интеллигенция и Революция», «Двенадцати», «Скифов», которыми открывается заглавная страница русской литературы новой, октябрьской эры.

Обнаженная совесть, абсолютное чувство правды, святая верность патриотическому, гражданскому долгу, сейсмографическая чуткость к подземному движению истории (свойство гения) — все это в самый ответственный и решающий час жизни Александра Блока подняло его на высоту нравственного и исторического подвига.

Так в целокупности почвы и судьбы возникает то единство духа, мысли и бытия художника, которое есть сама субстанция подлинного и великого искусства.

2. ЛИЦО И МАСКА

Нет искусства без художника, нет поэзии без личности поэта.

За всем, что написал Блок за свою короткую и стремительную жизнь, стоит его громадная и прекрасная личность, горевшая неугасимым костром, но для всех окружающих закованная в стальной панцирь.

Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух,
Да, таким я и буду с тобой:
Не для ласковых слов я выковывал дух,
Не для дружб я боролся с судьбой.

Об этом человеке, строгом и замкнутом, углубленном в свои невеселые думы, об этой жизни, трудной и одинокой, рассказывают многие и очень разные люди — приятели, случайные встречные, тайные недруги. Мало о ком из русских писателей нашего века образовалась такая обильная мемуарная литература [1]. И это при том, что Блок вел уединенный образ жизни, редко появлялся на людях.

Оно и понятно: очень уж неординарна, обаятельна и притягательна была сама личность Александра Александровича Блока. Корней Чуковский, повстречавший на своем долгом веку множество людей, заверил: «Никогда ни раньше, ни потом я не видел, чтобы от какого-нибудь человека так явственно ощутима и зримо исходил магнетизм».

---

[1] Перечень относящихся к Блоку материалов мемуарного характера насчитывает более 160 названий.

Совершенно не похожие друг на друга люди с одинаковой силой ощущали человеческую уникальность Блока. Иные в его присутствии сами чувствовали себя чище, благороднее. Вот что сказал известный советский писатель Иван Новиков, встречавшийся с Блоком в молодости: «Люди менялись у вас на глазах, когда глядели на Блока: точно на них падал отсвет ого внутреннего сияния» [1].

Уж на что прожженным и падшим типом был некий А. Тиняков — мелкий циничный стихотворец и совершенно беспринципный критик, но и он признался: «Знакомство с Блоком внесло в мою жизнь нечто несомненно значительное и столь светлое, что я прямо склонен назвать его счастьем» [2].

Дошедшая до нас мемуарная литература о Блоке дает картину достаточно широкую и многоцветную, воссоздающую в живых рассказах всю жизнь поэта, начиная с детских лет.

Конечно, далеко не все в этой литературе одинаково содержательно и достоверно. Да и характер, объем, сама форма воспоминаний очень разные — от круговой панорамы целой литературной эпохи, которую создал Андрей Белый, до таких «моментальных фотографий», каковы, к примеру, миниатюрные заметки А. Ахматовой, П. И. Лебедева-Полянского. Г. Арельского или К. Арсеневой, дополняющие портрет Блока выразительными штрихами.

Дело, понятно, не в объеме: две страницы, написанные мастерской рукой Всеволода Иванова, стоят пространного очерка, — настолько героически выглядит на этих страницах усталый и не очень сытый поэт, когда в тревожнейший день Кронштадтского мятежа читает своему единственному слушателю лекцию о романтизме.

И все же нельзя сказать, что при всем своем обилии мемуарная литература о Блоке дает о нем исчерпывающее и вполне верное представление. Причины для этого были разные.

Во-первых, в обильной литературе этой есть досадные и невосполнимые пробелы. Несколько человек, связанные с Блоком жизненно или стоявшие к нему особенно близко, не успели или не удосужились написать о нем.

Легко представить себе, насколько интересны и содержательны были бы записки о Блоке его матери, про которую он говорил: «Мы с мамой — одно и то же».

Очень уж беглы и отрывочны незавершенные (вернее — только начатые), носящие черновой характер записки Любови Дмитриевны Блок.

---

[1] И. Новиков. Писатель и его творчество. М., 1956, с. 516.
[2] «Последние новости» (Петроград), 1923, 6 августа.

Ничего сколько-нибудь путного не сумела рассказать Любовь Александровна Дельмас, — ее «воспоминания» даже нельзя напечатать.

Неизмеримо больше других мог бы вспомнить «друг единственный» Евгений Павлович Иванов, — с ним Блок делился самым сокровенным. Но Иванов совсем не умел писать, и то, что он оставил в качестве начала своих воспоминаний, это настоящий сумбур, в котором даже трудно разобраться. Интереснее и содержательней отрывки из дневника Евгения Иванова, где зарегистрированы его встречи и беседы с Блоком, к сожалению, только самые ранние.

Совсем ничего не написали люди, в разное время находившиеся с Блоком в тесных отношениях: А. В. Гиппиус, Вячеслав Иванов, Федор Сологуб, В. Э. Мейерхольд, В. И. Княжнин, М. И. Терещенко, П. С. Соловьева (Allegro), Ал. Н. Чеботаревская, В. Н. Соловьев.

Слишком скупо рассказали о Блоке Сергей Соловьев, Сергей Городецкий, Алексей Ремизов, Р. В. Иванов-Разумник.

Далее: люди, встречавшиеся с Блоком, запомнили по большей части внешнее, бытовое: как выглядел Блок, как он держался, и гораздо реже — то, что он утверждал и доказывал. Но тут виноваты не столько мемуаристы, сколько сам Блок. По натуре он был так сдержан и замкнут, что лишь в редких случаях, с немногими людьми, к которым был особенно расположен, пускался в откровенные, доверительные беседы.

Поэтому для того, чтобы в полную меру узнать, чем и во имя чего жил Александр Блок, надобно прежде всего погрузиться в его сочинения, дневники, записные книжки, письма. А воспоминания современников вносят дополнения в общую картину (в иных случаях — весьма существенные) и создают тот исторический, идейно-литературный, бытовой фон, на котором прошли жизнь и работа поэта.

Наконец, нельзя не заметить, что одни просто не видели настоящего Блока, другие — не хотели видеть. Ведь каждый мемуарист смотрел на поэта с высоты своего роста. А рост этот, как правило, не поражает величием.

В зрелую пору жизни Блок был очень одинок.

С наиболее видными и авторитетными деятелями русского символизма он к тому времени разошелся бесповоротно. С Валерием Брюсовым его отношения с самого начала так и не наладились и всегда оставались корректно холодноватыми. «Истерическая дружба» с Андреем Белым, пройдя через десятилетние личные и идейно-литературные испытания, в конце концов приобрела форму далековатой, никак не пересекавшейся и ни

к чему но обязывавшей приязни. С Зинаидой Гиппиус поддерживались отношения крайне неровные, перемежавшиеся то недолгими сближениями, то резкими расхождениями. Таких в прошлом находившихся рядом людей, как Вячеслав Иванов и Георгий Чулков, для Блока, говоря его же словами, уже «просто не было». В сущности, все связи разорваны.

А ближайшее окружение составляли фигуры совсем малозаметные.

В 1916 году, собираясь на войну, Блок сделал такую запись: «Мои действительные друзья: Женя (Иванов), А. В. Гиппиус, Пяст (Пестовский), Зоргенфрей. Приятели мои добрые: Княжнин (Ивойлов), Верховский, Ге. Близь души: А. Белый (Бугаев), З. Н. Гиппиус, П. С. Соловьева, Александра Николаевна (Чеботаревская)» [1].

Маловато для окружения первого поэта России! И среди перечисленных — всего лишь два значительных писателя: А. Белый и З. Гиппиус, да и те названы скорее как воспоминание о прошлом («близь души»).

Все это не могло не сказаться на характере и на уровне многого из того, что написано о Блоке.

Иным мешала чрезмерная любовь к Блоку. Прежде всего относится это к многоречивым писаниям его тетки и биографа М. А. Бекетовой. Ее широко известные книги «Александр Блок» (1922) и «Александр Блок и его мать» (1925) содержат множество драгоценных подробностей (главным образом о юных годах Блока), но сбиваются на благостно-умиленное «житие».

Реальный облик мятежного и трагического Блока подменен в этих книгах ангелоподобным ликом пай-мальчика, послушного сына, любящего племянника, очаровательного баловня судьбы, — так что остается просто непонятным, как столь благополучный человек умудрился сочинить столь неблагополучные стихи.

В меньшей мере, но тенденция иконописания сказывается и в других «семейных» воспоминаниях о Блоке.

С серьезной поправкой следует принимать и живо написанные воспоминания В. П. Веригиной. Поначалу они подкупают безотказной точностью памяти, но чем дальше, тем больше начинают раздражать дамской болтливостью и глухим непониманием Блока.

Здесь Блок предстает целиком погруженным в «заботы суетного света», этаким приятным весельчаком, «любимцем общества». Конечно, временами Блок бывал легким, задорным,

---

[1] Александр Блок. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965, с. 309.

веселым. Но в рассказе В. П. Веригиной приоткрывается лишь одна, боковая, отнюдь не главная сторона блоковского мира.

Из этих воспоминаний мы почти ничего не узнаем о том, чем в действительности жил и мучился Блок в решающие для него годы. Очевидно, он просто не считал нужным делиться своими мыслями и переживаниями в кругу милых молодых женщин, с которыми на время свела его судьба.

Сам Блок знал цену этому своему окружению. Про В. П. Веригину он записывает: «Хорошая, милая, но актриса и болтушка» (VII, 139). Во всяком случае, нельзя не согласиться с Г. И. Чулковым, который с полным основанием заметил, что «Блок не был таким невинным, милым шутником, каким его видела В. П. Веригина» [1].

Большую ошибку сделает тот, кто поверит в такого Блока. Для того чтобы уберечь себя от подобной ошибки, достаточно прочитать воспоминания другой женщины — серьезные, полные глубокого исторического смысла воспоминания Е. Ю. Кузьминой-Караваевой (Матери Марии).

Есть, однако, в мемуарной литературе о Блоке и некая общая черта, проступающая в отдельных случаях то более, то менее резко. Это — *заданность* образа Блока, связанная с особым, «биографическим» прочтением его лирики. На такое прочтение наталкивали и содержание и тон этой исповедальной лирики.

Лирическое «я» играет в стихах Блока громадную роль, превращает их в откровенный и искренний «дневник одной жизни». В центре этого «дневника» стоит литературная личность автора (лирического героя); она служит как бы стержнем, вокруг которого формируются и группируются лирические темы. За каждым звеном «дневника» угадывается не просто какой-то безликий лирик, но именно Александр Блок — поэт с именем и фамилией, со своей личностью, биографией, судьбой и даже обликом («Влюбленность расцвела в кудрях и в ранней грусти глаз...» и т. п.).

Тем самым подсказывалось подчас слишком прямолинейное истолкование блоковской лирики: на поэта переносились не только портретные черты лирического героя (в данном случае они, в самом деле, в значительной мере совпадали), но и та сложная метаморфоза, которую герой претерпевал в ходе развития своих лирических сюжетов.

Сперва это серафический «отрок», молитвенно зажигающий свечи перед алтарем Прекрасной Дамы. Далее — грешный «потомок северного скальда», «завсегдатай ночных ресторанов», «пад-

---

[1] «Ученые записки Тартуского гос. университета». Труды по русской и славянской филологии, IV, с. 305.

ший ангел», спаленный цыганскими страстями. Наконец, в более поздних стихах — трагический «стареющий юноша», «угрюмый скиталец», «печальный, нищий», «жесткий» человек, рассказывающий о своей нелегкой жизни, которая обернулась одновременно и «восторгом», и «бурей», и «адом»...

Эти лирические обличья проступают то более, то менее отчетливо во многих мемуарных рассказах о реальном Александре Александровиче Блоке — в зависимости от того, каким предпочитал видеть его тот или иной мемуарист, то есть, в конечном счете, от вкусов и пристрастий самого мемуариста.

Подкупающая искренность блоковской лирики, ее обнаженная исповедальность бесспорно способствовали тому, что и сам Блок, его личность и личная жизнь стали восприниматься как бы сквозь призму его стихов. И нередко становились предметом бестактного обсуждения в литературной и окололитературной среде. Можно было бы привести факты, свидетельствующие о том, что иные события личной жизни Блока, перетолкованные в духе и стиле его стихов, благодаря нескромности падких на сенсацию людей (числившихся среди литературных «друзей» поэта), в весьма прозрачном изображении выносились даже на страницы печати.

Так еще при жизни поэта стала постепенно возникать, вылепляться, оформляться *маска* Блока. Зачастую она заслоняет его настоящее, человеческое *лицо* и в мемуарной литературе, и в посвященных ему стихах, и в его иконографии. В частности, иной раз в форме непомерных преувеличений мелькает тема: Блок во хмелю.

Блок был на удивление прост (как все истинно большие люди), неслыханно любезен и приветлив с кем бы то ни было. В нем не было решительно ничего от позы, рисовки, притворства, жажды успеха и вообще от какой-либо суеты. У себя в Шахматове он любил ходить в рубахе с косым воротом и в русских сапогах, отлично орудовал топором и косой, пилой и рубанком. Любил приговаривать, что работа везде одна — что печку сложить, что стихи написать.

А изображают его сплошь и рядом то архангелом, то демоном в обличьи декадентского денди с надменным, холодным лицом и опустошенным взглядом, в неизменном сюртуке с бантом... Роковые женщины «с безумными очами», удалые лихачи, кабацкая стойка, черная роза в бокале вина и тому подобное — вот непременные аксессуары вульгарного, штампованного изображения Блока, ставшего общедоступным достоянием литературного ширпотреба.

Есть в разноречивой мемуарной литературе о Блоке, сочинявшейся с разных позиций и с разными побуждениями, еще

одна фальшивая тенденция — представить поэта отрешенным от реальной жизни сновидцем, который, мол, ни в какой общественности ничего не понимал и, ринувшись в публицистику и критику, опрометчиво взялся не за свое дело.

Иногда такого рода утверждения шли от прямого желания развенчать и унизить Блока, подорвать его репутацию и авторитет революционного поэта. Именно так обстояло дело, например, в тенденциозных воспоминаниях Зинаиды Гиппиус, проникнутых лютой ненавистью к Октябрьской революции и крайним ожесточением против Блока — автора «Двенадцати».

Воспоминания так и названы: «Мой лунный друг». И Блок изображен здесь человеком ко всему равнодушным, одержимым визионером, лунатиком, который, дескать, мало чего соображая, всегда ходил где-то «около жизни» и принятие которым революции нельзя обсуждать всерьез, поскольку оно было лишь безумной выходкой «безответственного мистика».

С Зинаидой Гиппиус все ясно. Но вот даже В. Зоргенфрей, свидетель добросовестный и Блока чуть ли не обожествляющий, изображает поэта в решающем для него 1907 году в таком свете, будто он подходил к «событиям» настороженно, как к чему-то чуть ли не «враждебному его целям».

Какое глубокое непонимание! Словно не было и в помине ни тогдашних стихов Блока, ни его пышущих гневом и страстью статей о современном положении России и русской литературы. И дело тут, конечно, не в сознательном искажении личности и деяния Блока, но в изначально сложившемся представлении о поэте как о парящем где-то над тревогами жизни вдохновенном мечтателе и мистике, устремленном душой к «иным мирам».

Так из подмены лица маской, из недопонимания судьбы поэта исподволь складывалась, закреплялась и до сих пор живет легенда о Блоке.

Тенденция представить Блока «крайним мистиком» обнаруживается и в замечательных по-своему мемуарах Андрея Белого.

О них разговор особый. Это самое существенное из того, что современники рассказали о Блоке. Но, пожалуй, и самое спорное.

Воспоминания Андрея Белого выделяются из общего ряда, во-первых, потому, что автор их большой писатель, мастер своего дела. Собственно литературные достоинства этой книги (особенно в расширенной, наиболее полной ее редакции) — велики и очевидны. Наблюдательность Белого, меткость его характеристик, изощренные приемы реалистического в основе своей гротеска, которыми оп пользуется с такой преизбыточной щедростью, — во всем этом продемонстрировано тонкое словесное ис-

кусство. Сколько блеска и яда у Белого и в изображении салонной литературно-религиозной «общественности», и в великолепных портретах самих «общественников» и множества представителей тогдашней интеллигентской, в частности символистской, элиты, и в комически обыгранных мельчайших деталях наружности или костюма, как правило, беспощадно зарисованного им персонажа.

Но совершенно уникальны воспоминания Андрея Белого как широкое документально-художественное повествование, вводящее в историю и самую атмосферу русского символизма, хотя картину, с таким размахом созданную писателем, и нельзя счесть объективной. В существе своем это произведение полемическое: Белый поставил задачей не только восстановить задним числом свой духовный мир, но и обосновать и защитить свое понимание символизма.

Андрей Белый был большим писателем, даже с проблесками гениальности, что единодушно отмечали все, кому приходилось с ним сталкиваться. Но вместе с тем трудно назвать другого столь же хаотического, неупорядоченного писателя, беспрерывно менявшего свои вехи и судорожно переписывавшего заново свои сочинения.

Совершенно необычна и творческая история его воспоминаний о Блоке.

Обратившись к ним сразу же после смерти Блока, А. Белый быстро написал очерк, охватывающий время с 1898 по 1905 год (с очень беглым и невнятным «пробегом» по годам последующим), и опубликовал его в 1922 году в «Записках мечтателей». (Этот текст и воспроизведен в нашем сборнике.) Но даже не дождавшись публикации, он немедленно начал писать воспоминания по новой, сильно расширенной программе, — так возник текст, напечатанный в 1922—1923 годах в четырех номерах берлинского журнала «Эпопея». (Собственно, этот текст и следовало поместить в нашем сборнике, если бы не его весьма солидный объем; остается надеяться, что когда-нибудь эта обширная книга увидит свет в научно подготовленном и комментированном издании.) В дальнейшем разросшиеся воспоминания были еще раз переработаны в фундаментальное сочинение «Блок и его время» (вариант заглавия: «Начало века»), оставшееся не изданным. Наконец, уже в первой половине тридцатых годов Белый заново вернулся к Блоку во втором и третьем томах своей мемуарной трилогии («Начало века» и «Омут»).

За десять лет, прошедших со времени появления «Воспоминаний об Александре Александровиче Блоке» в «Записках мечтателей», для Андрея Белого утекло много воды. Последняя пе-

реработка мемуаров привела не только к дальнейшему расширению рамы повествования, но и к переосмыслению и переакцентировке сказанного прежде.

Разительнее всего изменились в изображении Белого именно Блок и история их отношений. В первой редакции о Блоке говорится в тоне восторженно-апологетическом, в окончательной — в тоне памфлетно-очернительном. Сам Белый объяснял это так: в 1921—1922 годах он был «охвачен романтикой поминовения» — и потому «образ *серого* Блока непроизвольно вычищен», а теперь он «старается исправить промах романтики первого опыта» и. хочет «вспоминать в сторону реализма». Охота пуще неволи: «Может быть, и тут я не попал в ц е л ь», — оговаривался Белый[1].

Да, именно: не попал в цель. Обе столь далеко расходящиеся версии далеки от истины.

В первом случае Белый надел на Блока маску мистика-максималиста и творил идиллическую легенду о полном духовном единении их обоих, хотя впоследствии сам признался, что понимал Блока, «может быть, два-три года, не более; да и то оказалось, что ничего-то не понял»[2].

Во втором же случае Белый не только «переосмыслил» образ Блока, последовательно дискредитируя его во всех отношениях (вплоть до наружности), но и грубо извратил самую суть своего с ним расхождения.

Конечно, не нужно думать, будто Белый просто плодил заведомую неправду. Нет, он по-разному *видел* свое прошлое: в 1921 году так, а в 1932-м — этак, и каждый раз пытался уверить себя в собственной правоте. Такая неустойчивость в мнениях и взглядах была ему свойственна в высшей степени.

Позднейшая мемуарная трилогия Андрея Белого — одновременно памфлет и реабилитация. Белый писал ее, искренне ощутив себя деятелем новой, социалистической культуры (хотя до самого конца так и не мог ни понять, ни принять марксизма, ни начисто отказаться от антропософии и прочих филиаций «духовного знания»).

Отсюда — учиненные им пересмотр и переоценка как символизма в целом, так и своей прошлой деятельности в качестве лидера и теоретика символизма. Он предпринял безнадежную и, по сути дела, одиозную попытку «оправдать» символизм, истолковать его, вопреки действительному положению вещей,

---

[1] А н д р е й Б е л ы й. Начало века. М., 1933, с. 335; А н д р е й Б е л ы й. Между двух революций. Л., 1934, с. 5—6.

[2] А н д р е й Б е л ы й. На рубеже двух столетий. М., 1930, с. 381.

как антибуржуазное, бунтарское, чуть ли не революционное движение молодого интеллигентского поколения 1890-х годов, а себя самого представить главным и наиболее последовательным выразителем этого бунтарского начала в символизме.

(Нужно заметить дополнительно, что в дневниках, записных книжках и письмах зрелого Блока, опубликованных в 1927—1932 годах, Белый обнаружил многое, что в корне разрушало легенду о «Блоке и Белом» как сиамских близнецах русского символизма. В последнее пятилетие жизни в доверительных письмах к друзьям Белый отзывался о Блоке в таком тоне, который позволяет говорить о чувстве ненависти.)

Коротко говоря, вернувшись заново к воспоминаниям о Блоке, Андрей Белый все переставил с ног на голову: свою разнузданную полемику и оскорбительный разрыв с Блоком он изобразил как борьбу «бунтаря» с «темным мистиком».

В разное время Андрей Белый очень много написал о Блоке (кроме воспоминаний). Если собрать все написанное, получится монументальный том, включающий высказывания и оценки самого разного свойства, — от безудержных похвал до грубейшей брани. Такая книга послужила бы незаменимым материалом к еще не написанной истории русского символизма.

Но все, что Белый писал о Блоке, проникнуто одной явной тенденцией — *борьбой за Блока.*

И в ту пору, когда Белый, после «Балаганчика» и «Нечаянной Радости», ожесточенно обличал Блока в отступничестве, измене, кощунстве, он, по сути дела, боролся за возвращение его в лоно соловьевства, несмотря на многократные и внятные разъяснения Блока, что он идет «своим путем».

И впоследствии, когда они внешним образом изжили свою ссору, Белый опять (столь же безуспешно) пытался привлечь Блока к активному участию в деле «возрождения» символизма (в издательстве «Мусагет» и в журнале «Труды и дни»).

А после смерти Блока — объявил его не больше не меньше как «бессознательным носителем антропософской проблемы» и в январе 1922 года даже выступил в Берлине с докладом «Блок как антропософ». Это было, конечно, тоже формой борьбы за Блока — автора уже не только «Балаганчика», но и «Двенадцати». В условиях времени борьба эта приобретала отчетливый идейно-политический смысл.

Десять лет спустя круто изменились оценочные выводы. Белый превратился в «бунтаря», оказывается, «трезвившего» темного Блока своей полемикой с ним, а Блок как был, так и

остался «крайним мистиком», впавшим с покаяния в тяжкое похмелье, и был объявлен единственным и злокозненным виновником той мучительной «неразберихи», которая испортила их жизни и запутала их судьбы [1].

3. БОРЬБА ЗА БЛОКА

Более всего освещены в мемуарной литературе о Блоке последние три с половиной года его жизни — с января 1918 года по август 1921-го. Оно и понятно: в это время Блок был особенно на виду. После появления «Интеллигенции и Революции», «Скифов» и «Двенадцати» имя поэта было у всех на устах, да и круг людей, с которыми он в это время общался, сильно расширился.

Расширение началось еще в 1917 году — с того времени, когда поэт был привлечен к работе в Чрезвычайной следственной комиссии, учрежденной для расследования деятельности министров и высших сановников царского режима.

Октябрьская революция окончательно вывела Блока из его привычного уединения. Редакция газеты «Знамя труда», правительственная комиссия по изданию классиков русской литературы, Театральный отдел Наркомпроса, горьковская «Всемирная литература» и его же «Исторические картины», издательство Гржебина, Большой драматический театр, Союз поэтов и Союз писателей, Дом литераторов и Дом искусств — вот перечень главных мест, где Блок работал или постоянно бывал, встречаясь со множеством людей, часто для него совершенно новых.

Страна переживала крайне тяжелое время. На нее черной тучей надвинулись гражданская война, интервенция, блокада, хозяйственная разруха, голод, заговоры, диверсии и мятежи. Но литературная жизнь, жизнь театра, искусства тем не менее била ключом. Много было и в ней неурядицы, спешки, воздушных замков, досадных ошибок, однако сколько же веры, энергии, дерзаний, героики, страсти!..

Но и обстановка в искусстве, в литературе была очень сложной, а в Петрограде, пожалуй, особенно. Ленин летом тяжелейшего 1919 года уговаривал Горького уехать из Петрограда — чтоб изолироваться от «больного брюзжания больной интеллигенции», наиболее назойливого в «бывшей столице» [2].

---

[1] В первой редакции воспоминаний А. Белого, которая помещена в данном сборнике, рассказ о возникшей между ним и Блоком личной драме не присутствует. См. об этом в моем очерке «История одной любви» (Вл. Орлов. Пути и судьбы. Изд. 2-е. М.—Л., 1971, с. 636—743).

[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 51, с. 25.

В первые пореволюционные годы в Петрограде образовалось несколько вполне легальных учреждений, ставших центрами притяжения брюзжащей интеллигенции, в их числе — Дом литераторов, Союз писателей, Вольная философская ассоциация (Вольфила). К ним можно присоединить и несколько более узких, интимных литературных объединений вроде гумилевского «Цеха поэтов» и связанного с ним кружка «Звучащая раковина». В частности, Дом литераторов превратился в прибежище всякого рода отставных «витий», отказывавших Советской власти в своем сочувствии. (Именно в противовес Дому литераторов Горький учредил Дом искусств, вокруг которого постарался объединить все наиболее живое и дееспособное, что было в петроградской литературе.)

Автора «Двенадцати» в этих учреждениях я кружках порицали — большей частью по необходимости, прикровенно, но подчас и вслух.

Написав «Двенадцать», Блок оказался в самом центре происходившей в стране идейно-литературной борьбы. Теперь, по прошествии стольких лет, особенно ясно видно, что «Двенадцать» явились не только гениальным поэтическим произведением, но и гениальным поступком.

Автор «Двенадцати» подвергся бешеной травле со стороны различных контрреволюционных сил. От него отшатнулись многие, казалось бы вполне расположенные к нему люди, в их числе и самые близкие. Все это хорошо известно. Как и то, что Блок в 1918 году мужественно встретил обрушившуюся на него лавину глумления и клеветы.

Известно также и то, что в дальнейшем Блок временами испытывал упадок душевных сил и крайнее раздражение, потому что вынужден был заниматься не своим делом (делом художника), а часами высиживать на заседаниях, тратить драгоценное время на бесконечные, часто пустые словопрения, писать рецензии, редактировать горы рукописей, тонуть в протоколах и ведомственной переписке.

Вот характерный след такого раздражения в неизданном письме его к Н. А. Нолле от 3 января 1919 года: «Пускай человека отрывают от его любимого дела, для которого оп существует (в данном случае меня — от писания того, что я, может быть, мог бы еще написать), но жестоко при этом напоминать человеку, чем он был, и говорить ему: «Ты — поэт», когда ты превращен в протоколиста...» Насколько это было для Блока серьезно, видно из другого его письма к той же Н. А. Нолле (от 5 февраля 1919 г): «Все время приходится жить внешним, что постепенно притупляет и делает нечувствительным к величию эпохи и недостойным ее».

Горькие слова! Именно потому, что он прекрасно понимал и всем сердцем чувствовал величие эпохи, Блок не хотел и не умел «жить внешним». И то, что ему пришлось пойти на это, служило постоянным источником терзавших его сомнений и страданий. Его душевная усталость и раздражение приобретали иной раз обостренный характер — и тогда он признавался, что «живет со сцепленными зубами», испытывает какой-то «гнет», который мешает ему писать.

Об этом упоминает, в частности, А. М. Ремизов в своих правдивых и отлично написанных воспоминаниях. Умница Ремизов верно истолковал сорвавшееся с языка блоковское признание: «И как писать? После той музыки? С вспыхнувшим и угасающим сердцем? Ведь чтобы сказать что-то, написать, надо со всем железом духа и сердца принять этот «гнет» — Россию, такую Россию, какая она есть сейчас... русскую жизнь со всем дубоножием, шкурой, потрохом, ором и матом, а также — с великим железным сердцем и безусловной простотой, русскую жизнь — и ее единственную огневую жажду воли».

На Блока не оказывали ни малейшего воздействия ни личные невзгоды и бытовые лишения, ни вынужденная суровость пролетарской диктатуры, ни ничем не оправданные уколы и обиды, которые порой приходилось ему терпеть от всякого рода злоупотребляющих властью «калифов на час», — он был человеком душевно стойким и физически выносливым и, обращаясь к товарищам по работе, неизменно старался вдохнуть в них силу, надежду и веру, звал их «не биться беспомощно на поверхности жизни, где столько пестрого, бестолкового и темного», но «прислушиваться к самому сердцу жизни, где бьется — пусть трудное, но стихийное, великое и живое» (VI, 437).

Нет, все дело в том, что так ярко вспыхнувшее сердце Блока действительно стало угасать. Его необъятная вера в будущее в значительной мере разошлась с доверием к настоящему, потому что революция совершенно неожиданно для поэта повернулась к нему не предугаданной им стороной. В этом и был источник постигшей его тяжелой личной трагедии.

До самого конца Блок хранил неколебимую верность тому необыкновенному и великому, что посетило его и подняло на самый гребень волны в огне и буре Октября. Доказывая, что «изменить самому себе художник никак не может, даже если бы он этого хотел» (VI, 89), Блок не мог изменить своему кровью сердца купленному пониманию революции как сжигающей стихии, призванной разом испепелить старый мир, не мог изменить своей выношенной в душевных страданиях вере, что «будет совершенно новая жизнь».

Но его уверенность в том, что в стихии как будто уже разгоревшегося «мирового пожара» вот-вот должно свершиться чудо мгновенного, всеобщего и необратимого преображения жизни — претерпела серьезнейшие испытания. Он ждал чуда, а в действительности новое еще было тесно переплетено со старым, да и само по себе это еще только возникавшее, еще не отлившееся в твердые формы новое подчас оказывалось не таким, о каком он думал, какого ждал.

О такого рода трагедиях, происходящих на почве романтически-максималистского представления о революции, жесткие, предостерегающие слова сказал Ленин: «Для настоящего революционера самой большой опасностью, — может быть, даже единственной опасностью, — является преувеличение революционности, забвение граней и условий уместного и успешного применения революционных приемов. Настоящие революционеры на этом больше всего ломали себе шею. когда начинали писать «революцию» с большой буквы, возводить «революцию» в нечто почти божественное, терять голову, терять способность самым хладнокровным и трезвым образом соображать, взвешивать, проверять... Настоящие революционеры погибнут (в смысле не внешнего поражения, а внутреннего провала их дела) лишь в том случае, — но погибнут наверняка в том случае, — если потеряют трезвость и вздумают, будто «великая, победоносная, мировая» революция обязательно все и всякие задачи при всяких обстоятельствах во всех областях действия может и должна решать по-революционному» [1].

Если такая опасность стояла перед «настоящими революционерами», то что же говорить о поэте-романтике, плененном открывшейся его воображению картиной очистительного «мирового пожара»...

Больше всего тревожила и угнетала Блока с крайней остротой ощущавшаяся им инерция прошлого — уже отжившего, но дотла еще не сгоревшего и, несмотря ни на что, все еще «тянувшего на старое», отравлявшего освеженный революцией воздух дыханием распада и гниения. Даже отдельные незначительные факты, события, просто случайные происшествия разрастались в переживании Блока до размеров гомерических. «А ужас старого мира налезает...» — вот лейтмотив его тревожных наблюдений и размышлений.

Это болезненное ощущение распространялось с частностей и на общее. Крепка была в Блоке бакунинская закваска, и заветную цель революции видел он, между прочим, в ликвидации

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, с. 223.

государства и всех его институтов — правовых, охранительных, духовно-нравственных, религиозных.

Между тем пролетариат в огне революционных битв, в сплошном вражеском окружении, уже приступил к построению своего государства, теория которого была глубоко обоснована В. И. Лениным. Блок природы этой новой государственности не постигал. Ему казалось, что в новых формах готовы восторжествовать все те же «устаревшие средства» изжившей себя «власти государства», которая воплощалась для него только в образе свергнутого политического строя со всем его веками отработанным аппаратом административного принуждения и духовного гнета.

И он, случалось, болезненно воспринимал усилия новой государственности в ее зачаточных, первоначальных и переходных формах как своего рода инерцию ненавистного прошлого, как проявление силы, объективно противостоящей духовным устремлениям, воле и совести «освобожденного человека». А тем самым — как «замедление» безудержного полета революции и даже как «измену» духу обретенной свободы.

Вот он — тот самый архиреволюционный максимализм, но желавший считаться с реальными обстоятельствами и возможностями, не вникавший в сложнейшую стратегию и тактику революции. Роковое заблуждение, свойственное всем художникам романтического склада, влюбленным в революцию как в свершившееся чудо и стремившихся упредить события в условиях нового, только складывавшегося правопорядка.

Но Блок ничему не «изменил» и ни от чего не «отрекся», — как бы ни старались доказывать это его явные и тайные враги. «Случайное и временное никогда не может разочаровать настоящего художника», — утверждал Блок (VI, 23). Он до конца безоговорочно считал «Двенадцать» лучшим своим произведением, вершиной своего пути. И создать свой шедевр он смог потому, что «жил тогда современностью» (об этом — в воспоминаниях Г. П. Блока).

Кривотолки, которые поэма вызвала в литературной среде и в печати, побудили Блока 1 апреля 1920 года составить специальную записку о «Двенадцати». Здесь читаем: «Недавно я говорил одному из тогдашних врагов, едва ли и теперь простившему мне мою деятельность того времени, что я хотя и не мог бы написать теперь того, что писал тогда, не отрекаюсь ни в чем от писаний того года» [1].

Не мог бы написать — потому что уже не живет так всецело современностью, как жил тогда. Но и не отрекается —

---

[1] Александр Блок. Собр. соч., т. V. Л., 1933, с. 183.

потому что ни от чего не отказался. А годом позже, когда какой-то «вития» из Дома литераторов, прослушав речь Блока «О назначении поэта», которую кое-кто по недомыслию решил счесть «покаянием», сочувственно сказал ему: «Какой вы шаг сделали после «Двенадцати», Александр Александрович!» — тот ответил ему «ровно и строго»: «Никакого. Я сейчас думаю так же, как думал, когда писал «Двенадцать» (об этом — в воспоминаниях К. Федина).

Так поэт, покуда был жив, как мог, оборонялся от лжи и клеветы. Седьмое августа 1921 года положило конец этой самообороне.

Смерть Блока не только была очень заметным событием общественной жизни, но и сама стала фактом идейно-литературной борьбы. Сразу хлынул поток некрологов, статей, воспоминаний. И само собой понятно, никто из писавших о Блоке (за редчайшими разве исключениями) не мог обойти вопроса об его общественно-политической позиции в октябре 1917 года и в последующее время. Тут-то вовсю и развернулась шумная клеветническая кампания, единственная цель которой заключалась в том, чтобы оторвать Блока от Октябрьской революции и Советской России.

На эту тему упражнялись в советских (формально говоря) изданиях, но, конечно, осторожно, пользуясь больше языком намеков: «Новый мир вызвал у Блока чувство неизъяснимой тоски в скуки... Он понял, что те — двенадцать — жестоко обманули его... Эстет и аристократ, он брезгливо отвернулся от прозы истории» [1]. Что ни слово, то беспардонное вранье!

Зато в белоэмигрантской прессе о случайности прихода Блока к Октябрьской революции, об его «разочаровании», «отречении», «отчаяньи» и «покаянии» орали уже во всю глотку. Не только желтые газетные борзописцы, но и именитые литераторы (вроде сбежавшего из Петрограда Александра Амфитеатрова) из самой смерти поэта стремились извлечь свою подлую выгоду. Из газеты в газету кочевали дикие небылицы, вроде того, что Блок в последнее время «ходил без рубашки», что умер он от «голодной цинги» (по другой версии — от «голодного истощения»), что перед смертью он «закопал в землю какие-то рукописи, спасая их от Чека», и, наконец, что ему в порядке исключения «дали право на отдельный гроб».

Опытные белоэмигрантские журналисты без зазрения совести выдавали старые стихи Блока, известные всей читающей России

---

[1] П. Губер. Поэт и революция. — «Летопись Дома литераторов», 1921, № 1.

(в их числе были «Русь моя, жизнь моя...» и «Грешить бесстыдно...»), за «последние», «посмертные», якобы найденные в бумагах поэта и воочию свидетельствующие об его разуверении в революции.

Широкое распространение получил высосанный из грязного пальца слух, будто, умирая, Блок не только «проклинал себя» за «Двенадцать» [1], но и требовал на глазах у него сжечь все экземпляры поэмы. (Между тем уже на смертном одре Блок успел с интересом перелистать новое издание «Двенадцати».)

Версия о разуверении Блока в революции проникла и в мемуарную литературу о нем. Некоторые воспоминания, ценные своим фактическим содержанием, нужно принимать с серьезными поправками, учитывая идейно-политическое расхождение мемуариста с поэтом.

Таковы, например, воспоминания В. Пяста. В течение многих лет он был одним из самых близких Блоку людей следовал за ним, как спутник за планетой, был целиком обязан ему своим положением в литературе. И он же больше всех кичился тем, что после «Двенадцати» перестал подавать ему руку. Впрочем, это не помешало Пясту одним из первых выступить о «дружескими воспоминаниями», в которых он тщился убедить читателя, будто «Двенадцать» были написаны потому, что «демон извращенности зашевелился в поэте» и «мара заволокла его очи».

Другой бывший друг — Г. Чулков, который после «Двенадцати» строго осудил Блока как «безответственного лирика», не имевшего, дескать, ни малейшего представления о том, что такое революция, в своих воспоминаниях о нем принял самонадеянно-учительный тон и задним числом всерьез уверял, что это именно ему, Чулкову, выпало на долю «учить Блока слушать революцию».

Эхо политической борьбы, происходившей в стране в первые годы после Октября, звучит не только в открыто контрреволюционных воспоминаниях З. Гиппиус, полных злостной и злобной клеветы на Блока, но и в написанных внешним образом с самым сочувственным отношением заметках Иванова-Разумника. Он тоже «боролся за Блока», но уже с левоэсеровских позиций. Напомним, что в 1917 и в начале 1918 года, до заключения Брестского мира, левые эсеры сотрудничали с Советской властью, — поэтому для З. Гиппиус, например, Иванов-Разумник был отъявленным врагом, «алым демоном» Блока, увлекавшим его в большевизм.

---

[1] Об этом писали даже в легальной советской прессе. — см.: «Вестник литературы», 1921, № 8, с. 9.

Между тем, как известно, именно в левоэсеровском кругу родилась и всячески раздувалась версия о «гибели» революции после Бреста, и Иванов-Разумник, спекулируя на тревогах и сомнениях Блока, обостренно переживавшего то, что казалось ему «замедлением» революционного процесса, особенно настойчиво, можно сказать, с какой-то одержимостью твердил об окончательном и бесповоротном разочаровании поэта в Октябрьской революции.

Неверные ноты порой звучат приглушенно и в самых дружественных по тону и намереньям воспоминаниях. Вот, например, Сергей Городецкий, сам отличавшийся крайней неустойчивостью и переменчивостью своих взглядов, тем не менее, рассуждая о последних годах Блока, впал в неприятный развязно-покровительственный тон и пришел к совершенно необоснованным, просто вздорным выводам, будто Блок «дендировал (!) революцию вместе с ненавистным ему Гумилевым» и вообще «остался на перепутьи».

И даже у влюбленного в Блока В. Зоргенфрея исподволь внушается читателю мысль, будто революция погубила в нем художника. И это было сказано о поэте, который в Октябре пережил такой высокий творческий взлет, какой в редчайших случаях выпадает на долю художника, — о поэте, который сам, при всей своей скромности, записал в день, когда кончил «Двенадцать»: «Сегодня я — гений».

В. Зоргенфрей — мемуарист правдивый и точный. Не приходится подозревать его в намерении приписать Блоку мысли и суждения, которых тот но высказывал. Суть дела в истолковании мыслей и суждений, действительно высказанных. Когда Зоргенфрей вспоминает, что Блок в разговорах о происходящем не обходил того «страшного» и «черного», что но могло не сопутствовать грандиозному социальному катаклизму, он говорит правду. Но уровень и мера понимания событий были у собеседников разными. Зоргенфрей сам характеризует свои тогдашние настроения как «сетования обывательского свойства».

Блок же с высоты своего понимания происходящего на всякого рода вопли об «эксцессах» революции отвечал, что художник обязан относиться к ее неизбежным издержкам «без всякой излишней чувствительности», видеть в них историческую необходимость. По поводу антикрепостнической повести Лермонтова «Вадим», где речь идет о «кровавых ужасах» Пугачевского восстания, он заметил (в 1920 г.): «Ни из чего не видно, чтобы отдельные преступления заставляли Лермонтова забыть об историческом смысле революции: признак высокой культуры» [1].

[1] Александр Блок. Собр. соч., т. XI. Л., 1934, с. 421.

Во всем, что Блок думал, говорил, писал после Октября, этот признак высокой культуры присутствовал неизменно и с наглядностью, можно сказать, демонстративной.

О большинстве людей, окружавших в это время Блока, сказать так нельзя. Опасения Блока, вызванные некоторыми явлениями тогдашней жизни, взбудораженной до самого дна, люди эти воспринимали с обывательской точки зрения, плоско и прямолинейно. Не в оправдание, но в объяснение невольных (по большей части) заблуждений насчет истинной позиции Блока, которые отразились в иных воспоминаниях о последних годах его жизни, следует добавить, что люди, поделившиеся этими воспоминаниями, смотрели на поэта со слишком короткой дистанции, а это часто мешает увидеть целое за деталями.

Большое видится на расстоянии, в исторической перспективе. То, что людям, жавшим непосредственными и разрозненными впечатлениями, казалось существенным и даже значительным, сейчас, по прошествии шестидесяти лет, в свете нашего исторического взгляда, оказывается не более как мелким и случайным штрихом на общем фоне.

Несколько слов необходимо сказать о небольшой поминальной заметке В. В. Маяковского. Она проникнута чувством неподдельной любви к Блоку и ясным пониманием его места в русской поэзии. Но в истолковании подхода Блока к Октябрьской революции Маяковский допустил досаднейшие промахи, отчасти объясняемые тем, что в ту пору, когда он писал свою заметку, он, по-видимому, не был достаточно знаком с публицистической и критической прозой Блока и вовсе не знал ни его дневников, ни его писем, то есть, по существу, не имел сколько-нибудь отчетливого представления об его общественно-политической позиции после Октября.

Иначе Маяковский не отдал бы Блока целиком «эпохе недавнего прошлого», не пришел бы к совершенно неправильному заключению, будто Блок «раздвоился» — с одной стороны, радовался, что горят Октябрьские костры, с другой — сокрушался, что в Шахматове сожгли его библиотеку. (Очень может быть, что Блок и упомянул о гибели библиотеки в разговоре с Маяковским, но из многих достоверных источников известно, что отнесся он к этому печальному событию с высоты своего исторического, сверхличного понимания издержек революции.) Наконец, совершенно необоснованным и просто странным кажется утверждение Маяковского, будто поэту-символисту с его изысканным и хрупким языком не под силу оказались тяжелые, грубые образы революции. О какой хрупкости языка можно говорить, коль скоро речь идет о «Двенадцати» с ее «площадным» просторечием, широким разливом

народно-песенной стихии и энергией чеканных революционных лозунгов?

Однако будем благодарны Маяковскому за то, что его память сохранила Александра Блока в солдатской шинели в студеную и метельную октябрьскую ночь у красногвардейского костра на Дворцовой площади... «Блок посмотрел — костры горят. — «Очень хорошо»...

Наиболее близкое к истине понимание позиции Блока в последние его годы находим в интереснейших воспоминаниях К. И. Чуковского (они известны в различных, существенно дополняющих друг друга редакциях) и в непритязательных, но удивительно сердечных и совершенно достоверных записках С. М. Алянского.

К. И. Чуковский пишет: «Не то чтобы он разлюбил революцию или разуверился в ней. Нет, но в революции он любил только экстаз, а ему показалось, что экстатический период русской революции кончился. Правда, ее вихри и пожары продолжались, но в то время, как многие кругом жаждали, чтобы они прекратились, Блок, напротив, требовал, чтобы они были бурнее и огненнее. Он до конца не изменил революции. Он только невзлюбил в революции то, что не считал революцией...» [1]

Однако и К. И. Чуковский делает из сказанного излишне категорический, слишком прямолинейный вывод, когда утверждает, что Блок будто бы «оказался вне революции, вне ее праздников, побед, поражений, надежд, и почувствовал, что ему осталось одно — умереть».

Вообще в рассказах о последних годах Блока, даже самых дружественных, иногда слишком сгущены темные краски. Все, казалось бы, достоверно, факты точны, но даны они в таком освещении, при котором правильная перспектива нарушается.

Так, например, вряд ли есть основания столь настойчиво, как делают это иные авторы, говорить о медленном и постепенном умирании Блока, начавшемся чуть ли не сразу же после «Двенадцати». Ведь многие осенью и даже зимой 1920 года запомнили его «юным, и сильным, и радостным». Только весной 1921 года, неожиданно для окружающих, как-то сразу и непоправимо подломились его душевные и физические силы.

Но до этого он еще успел сказать людям в защиту и во славу поэзии самые важные, самые нужные слова, которые остались его вечным заветом. Разве мог бы опустошенный, потерявший волю человек создать такие шедевры русской литературы,

---

[1] К. Чуковский. Александр Блок как человек и поэт. П., 1924, с. 21.

как грозно-вдохновенная речь «О назначении поэта» и гневно-презрительная статья «Без божества, без вдохновенья»!

«Уходя в ночную тьму», Блок сказал: «Мы умираем, а искусство остается». И провозгласил три простых истины, поклявшись в них «веселым именем Пушкина»:

«Никаких особенных искусств не имеется; не следует давать имя искусства тому, что называется не так; для того чтобы создавать произведения искусства, надо уметь это делать» (VI, 168).

Истины столь же простые, сколь и неотразимые, подтвержденные всей жизнью, всем опытом гения...

4. БЕССМЕРТИЕ

Идет шестидесятый год, как нет Александра Александровича Блока на земле. За это время наша страна, наш народ пережили неслыханные испытания и невиданные победы. Вместе со страной, с народом, с его культурой рос в эти годы и прошел через свои, именно ему сужденные испытания и Александр Блок.

История, как всегда, все поставила на свое место, всему дала истинную цену, все назвала настоящим именем. Теперь мы знаем твердо и повторяем убежденно: Александр Блок — великий национальный поэт России.

«Талант рождается в тиши; характер — в мировом потоке». Слова Гете вполне применимы к Блоку. Этот гигантский поэтический характер вырос на почве истории, в бурях и катаклизмах своего великого и трудного века. Судьба гения поставила поэта в центр литературного движения его времени.

Совершенно прав был Андрей Белый, когда утверждал, что «биография Блока не будет ясна вне огромного фона эпохи и вне музыкальных напоров ее».

Шумом времени полна и лежащая перед читателем разноголосая книга. В ней одно более, другое менее значительно, но в целом из нее отчетливо видно, откуда вышел и куда пришел Блок, какой длительный, сложный, но целеустремленный, а главное, *верный* путь должен был пройти он — прежде чем сказать, обратившись ко всему миру: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию».

Когда читаешь подряд этот свод воспоминаний современников о Блоке, — воспоминаний, написанных людьми очень разными, разных биографий и судеб, разных общественных взглядов и художественных вкусов, то именно в этой разноголосице и возникает широта, объемность картины общественно-литературной жизни в душные, предгрозовые годы начала нашего века и в пер-

вые героические, но и труднейшие годы Октябрьской эры, — картины, в центре которой оказывается Александр Блок.

Книга читается с неослабевающим, более того — нарастающим интересом. Это коллективное повествование о личности и творчестве поэта идет как бы расширяющимися кругами: от семейных воспоминаний о благонравном мальчике, затем о странном юноше, замкнувшемся в своем индивидуальном существовании, — к живым впечатлениям очевидцев духовно-нравственного прозрения великого поэта, смело вышедшего в мир людей и дел.

Драматизм жизни и судьбы поэта раскрывается в рассказах о нем со всей наглядностью. Какое борение светлых и темных сил, добра и света — с угрюмством и отчаянием, какое вечное беспокойство сердца!

Книга имеет свою композицию и обдуманно завершается воспоминаниями А. М. Ремизова и К. А. Федина. Это как бы реквием в два голоса.

Лирическая патетика Ремизова — голос блоковского поколения, голос прощания и памяти: «А звезда его — незакатна. И в ночи над простором русской земли, над степью и лесом, я вижу, горит...»

У Федина, человека и писателя уже другого, следующего поколения, глубокий исторический вывод: Блок — рубеж двух эпох, двух миров, в нем и трагедия прошлого, и вера в правду будущего, и потому он бессмертен.

Особое место в обширной мемуарной литературе о Блоке занимают заметки А. М. Горького. Его короткий рассказ замечателен. Может быть, это самое глубокое из всего, что сказано о Блоке его современниками.

Сидя ранней весной 1919 года на скамейке в Летнем саду, Блок настойчиво, жадно выспрашивал Горького о бессмертии, о возможности бессмертия. Его мятущаяся, разрушительная, трагическая мысль искала и не находила ответа на этот вопрос.

Ответ дала история. Не личное бессмертие, не «бессмертие души», а бессмертие свершенного дела, творческого подвига осенило Александра Блока в предании и памяти народа.

Вл. Орлов

ЮНОСТЬ
П О Э Т А

Эта юность, эта нежность —
Чт*о* для нас она была?
Всех стихов моих мятежность
Не она ли создала?

М. А. БЕКЕТОВА

АЛЕКСАНДР БЛОК И ЕГО МАТЬ [1]

1

АЛЕКСАНДР БЛОК

Воспоминания и заметки

Глава I

РАННЕЕ ДЕТСТВО АЛ. БЛОКА

⟨...⟩

Жил Саша в то время в верхнем этаже ректорского дома. Детская его помещалась в той самой комнате, выходившей окнами на университетский двор (в части дома, более отдаленной от улицы), где он родился *. Здесь он спал и кушал, но играл далеко не всегда. Пока няня убирала его комнату, он проводил время то у прабабушки А. Н. Карелиной **, комната которой была за стеной его детской, то у тети Кати, нашей старшей сестры, которая особенно его любила. <...> Около полудня часто отправлялся Саша в бабушкину спальню, выходившую окнами на Неву. Здесь он совсем еще маленьким прыгал на столе и на кресле и, стоя на подоконнике, поддерживаемый кем-нибудь из домашних, дожидался, пока ударит пушка. А весной смотрел на Неву, следя за яликами, барками и пароходами. Войдешь, бывало, в эту комнату в солнечный день и увидишь яркую полосу синей Невы, сверкающую из-под белой маркизы, а на окне — веселый, розовый мальчик и при нем кто-нибудь из взрослых. Все жители ректорского дома принимали Сашу с распростертыми

---

* Ректорский дом теперь совершенно перестроен внутри, в нем помещаются аудитории и канцелярии. (*Примеч. М. А. Бекетовой.*)

** Наша бабушка по матери, которая жила у нас в первые годы Сашиной жизни и присутствовала при его рождении. (*Примеч. М. А. Бекетовой.*)

объятиями. В дедушкином кабинете, тоже выходившем окнами на Неву, он подолгу сидел на ковре и рассматривал картинки в больших томах Бюффона и Брэма [2].

Много бегал Саша по комнатам обширного ректорского дома, особенно наверху, в длинной, светлой зале, и не раз опускался и поднимался по теплой внутренней лестнице, устланной ковром, которая соединяла два этажа. Вставал он рано, как все дети, и успевал утром и погулять и поиграть. В хорошую погоду он гулял еще среди дня, после 2-х часов. Его водили чаще всего по солнечной Университетской набережной, а весной и осенью в университетский ботанический сад, о существовании которого не имеют понятия многие жители Петербурга. Когда родился Саша, сад был еще в хорошем виде и целы были те великолепные осокори петровских времен, которые погибли при постройке химического дворца. <...>

В Шахматове [3] Саша жил до трех лет в особом флигеле *, где у него была кроватка с высокими решетками и тюлевым пологом от комаров. Он спал в одной комнате с матерью, рядом помещалась няня. В том же флигеле жила в отдельной комнате и прабабушка его А. Н. Карелина. <...>

Когда Саше было около трех лет, мы переехали из ректорского дома на частную квартиру на Пантелеймоновской, близко от церкви. Она была в четвертом этаже, светлая и симпатичная, но оказалась сырой, и потому мы жили на ней всего одну зиму. У Саши с матерью была небольшая комната, тут же спала и новая няня. Тесноту этого помещения скрашивала большая зала, где Саша бегал, разумеется, сколько угодно. Очень близко был Летний сад, куда Сашу часто водили гулять. <...>

Весной (1883 года) <...> поехали сначала в Шахматово, а потом за границу — в Триест и Флоренцию. <...>

В Триесте мы прожили осень и зиму. В хорошую погоду Саша гулял бо́льшую часть дня. Рано утром он часто ходил с бабушкой на базар, где она покупала коекакие припасы. Наша еда была очень несложная и простая, так как денег у нас было в обрез. Но купанье стоило гроши, а это было очень важно. Купанье в море пошло наиболее впрок именно Саше, а езда в открытой

---

* Это был тот самый флигель, где впоследствии Саша поселился с молодой женой. (*Примеч. М. А. Бекетовой.*)

конке на пляж была для него источником больших радостей. Он скоро свел дружбу с кондуктором и, сидя в конце конки, близко от кучера, громко восклицал при остановках: «Ferma!» («Стой!») <...>

Во Флоренции Саша гулял еще больше, чем в Триесте, благодаря отсутствию ветров и наступившей вскоре весенней погоде. Задняя, солнечная сторона нашего дома выходила в сад, но по нашим русским понятиям он был слишком утилитарен и скучен. Там росли только фруктовые деревья шпалерами. Ни простору, ни тени, ни лужаек не было. Саша мало проводил там времени. Ему нравился только бассейн с золотыми рыбками. Они с няней Соней много ходили по улицам или отправлялись в прекрасный сад Боболи, где были длинные тенистые аллеи и зеленые заросли с бассейнами и мраморными статуями.

Во Флоренции мать сшила Саше первый костюм с панталончиками, из летней синей материи. С этих пор его одевали уже настоящим мальчиком. Тогда же купили ему соломенную шляпу с синей лентой и широкими полями, из-под которых виднелись его золотые, уже заметно вьющиеся волосики. Южане восхищались видом этого нежного северного мальчика, принимали его по большей части за англичанина. Во Флоренции у нас была прекрасно обставленная квартира, отличный стол и хорошая кухарка. Жизнь была гораздо интереснее и разнообразнее, чем в Триесте, но для Саши это было не важно. Ему одинаково хорошо было и в Триесте и во Флоренции. Он здоровел и развивался, но вся поездка прошла для него как сон, не оставив никаких следов в его воображении.

В начале мая мы, уже сильно соскучившись по России, уехали из Флоренции прямо в Шахматово. Можно себе представить, как ждали Сашу те, кто оставался в России...

Когда мы вернулись, для Саши и его матери было приготовлено новое помещение. Флигель понадобился для сестры Софьи Андреевны, у которой перед нашим отъездом родился первый ребенок. Саша с матерью поселились в большой комнате с итальянским окном, выходившим в сад, которую только что отстроили на месте старой кухни, примыкавшей к дому, а кухню перенесли на двор в расстоянии нескольких шагов от дома. Рядом со спальней Саши и его матери была небольшая комнатка няни Сони. <...>

Лето прошло незаметно. В Петербург приехали прямо на новую квартиру, приготовленную и устроенную заранее тетей Катей, на которой лежали все хозяйственные заботы. На этот раз поселились на Ивановской, близ Загородного проспекта. Здесь у Саши с матерью была громадная комната, да и вся квартира была просторная, особенно зала, уставленная по всей стене, выходившей на улицу, красивыми группами тропических растений, доставшихся нам из университетской оранжереи. Несмотря на большое количество мягкой мебели и концертный рояль, в зале оставалось еще много свободного места — так что у Саши было обширное поле для беганья. <...> В эти годы Саша был очень шумлив и стремителен. Его голос громко раздавался по комнатам, всякому занятию он предавался с самозабвением. Всю эту зиму он проиграл в конку. <...>

На Ивановской пришлось прожить всего одну зиму, квартира оказалась дедушке не по средствам. Наняли другую *, немногим хуже прежней — тоже с большой детской, где спала и няня Соня: у нее был свой уголок за перегородкой. Именно в этой комнате была лошадь-качалка и зеленая лампадка, известные по стихам, посвященным Олениной-д'Альгейм [4], и по стихотворению «Сны» из третьего тома:

И пора уснуть, да жалко,
Не хочу уснуть!
Конь качается качалка,
На коня б скакнуть!
Луч лампадки, как в тумане...
и т. д.

В промежутках между игрой и гуляньем няня Соня читала Саше вслух в то время, как он рисовал или что-нибудь мастерил. Об этом я скажу ниже подробно, теперь же буду продолжать об его играх. Под влиянием чтения пушкинской «Полтавы» Саша выдумал новую игру. Изображался Полтавский бой. Это была бурная, воинственная игра, для которой Саша надевал картонные золотые латы с такой же каской, подаренные ему на елку. Он вихрем носился по комнатам. Пробежав через бабушкину спальню, врывался в залу, пролетал ее с громкими воплями, махая оружием, по дороге с кем-то сражался, в

* На Большой Московской, против Свечного переулка. (*Примеч. М. А. Бекетовой.*)

кого-то стрелял, целясь, например, в сидящую за работой бабушку, причем говорил: «Сидит мертвая, да и шьет», И несся обратно тем же порядком, придумывая все новые и новые эпизоды сражения. Во время этих битв я сидела обыкновенно за роялем, играя гаммы, за что и получила название шведского музыканта. Таким образом, мы с бабушкой, не принимая никакого участия в Сашиной игре, были вовлечены в нее силою его воображения. <...>

Теперь как раз будет кстати сказать о первом Сашином чтении, но для этого мне придется вернуться немного назад. По более точным справкам оказывается, что Саша выучился читать не в четыре года, как сказано в моей биографии, а годам к пяти. Этому научила его в первый год по возвращении из-за границы наша бабушка, А. Н. Карелина, которая жила с нами и на Ивановской. В те часы, когда Саша оставался один в ее комнате, она по секрету от его матери, с которой была в великой дружбе, стала показывать ему буквы по рассыпной азбуке. Он очень скоро одолел грамоту, и прабабушка с торжеством показала его искусство Сашиной маме. Писать же он выучился сам совершенно незаметно, писал сначала печатными буквами, а потом и писаными.

Саше было лет пять или около того, когда ему начали читать вслух. По большей части это делала няня Соня. Сам он читал тогда мало. Вначале ему нравилось больше всего смешное и забавное. Быстро выучил он наизусть «Степку-Растрепку» [5], «Говорящих животных», «Зверьки в поле и птички на воле» и разные присказки, загадки и стишки из книжек так называемой Ступинской библиотеки. Известная книга Буша «Макс и Мориц» не была в ходу у нас в доме. Лет в шесть появился у Саши вкус к героическому, к фантастике, а также к лирике. Ему читали много сказок — и русских, и иностранных. Больше всего ему нравился «Царь Салтан». Тогда же полюбил он «Замок Смальгольм», узнал он и «Сида» в переводе того же Жуковского. Наслушавшись этого чтения, он дал няне Соне прозвище в духе испанского романсеро: «Дон Няняо благородный, по прозванию Слепая».

Саша охотно, без всякого принуждения говорил наизусть отрывки из разных забавных стихов о зверках и птичках. <...> Более серьезные вещи Саша не любил говорить при всех. «Замок Смальгольм» он еще декламировал няне и маме, но лирических стихов никогда. После его болезни, стало быть лет около шести, произошел

следующий характерный случай. Как-то вечером, лежа в постели, Саша выпроводил из комнаты всех, кто там был, и мы услыхали из соседней комнаты, как он слабым голоском, еще слегка картавя, стал говорить наизусть стихи Полонского «Качка в бурю»:

Гром и шум. Корабль качает,
Море темное кипит;
Ветер парус обрывает
И в снастях свистит[6].

Разумеется, он не понимал тогда очень многого в этих стихах, но что-то ему в них нравилось. Он, очевидно, чуял их лиризм, который уже тогда был ему близок.

Когда Саше минуло семь лет, мать нашла, что он уже настолько велик, что пора отпустить няню. <...>

С семи лет, еще при няне Соне, Саша начал увлекаться писанием. Он сочинял коротенькие рассказы, стихи, ребусы и т. д. Из этого материала он составлял то альбомы, то журналы, ограничиваясь одним номером, а иногда только его началом. Сохранилось несколько маленьких книжек такого рода. Есть «Мамулин альбом», помеченный рукою матери 23 декабря 1888 года (написано в восемь лет). В нем только одно четверостишие, явно навеянное и Пушкиным и Кольцовым, и ребус, придуманный на тот же текст. На последней странице тщательно выведено: «Я очень люблю мамулю». Весь альбом, формата не больше игральной карты, написан печатными буквами. «Кошачий журнал» с кораблем на обложке и кошкой в тексте написан уже писаными буквами по двум линейкам. Здесь помещен только один рассказ «Рыцарь», не конченый. Написан он в сказочном стиле. Упомяну еще об одной книжке, составленной для матери и написанной печатными буквами. На обложке сверху надпись: «Цена 30 коп. Для моей крошечки». Ниже: «Для моей маленькой кроши». Еще ниже — корабль и оглавление. В тексте — рассказик «Шалун», картина «Изгородь» и стишки «Объедала»:

Жил-был маленький коток,
Съел порядочный
Пирог.
Заболел тут животок —
Встать с постели
Кот не мог.

К сожалению, дат нигде нет. Все эти ранние попытки писать обнаруживают только великую нежность Саши к матери, а также его пристрастие к кораблям и кошкам. Но интересно то, что Саша уже тогда любил сочинять и писал в разном роде, подражая различным образцам.

Заключая первый период Сашиной жизни, скажу еще несколько слов об его характере. Саша был вообще своеобразный ребенок. Одной из его главных особенностей, обнаружившихся уже к семи годам, была какая-то особая замкнутость. Он никогда не говорил про себя в третьем лице, как делают многие дети, вообще не любил рассказывать и разговоров не вел иначе как в играх, да и то выбирал всегда роли, не требующие многословия. Когда мать отпустила няню Соню, она наняла ему приходящую француженку, которая с ним и гуляла. Это была очень живая и милая женщина. Она расположилась к Саше и очень старалась заставить его разговаривать, но это оказалось невозможным: Саша соглашался только играть с ней, а с разговором дело не шло. Мать решила, что не стоит даром тратить деньги, и отпустила француженку.

При всей своей замкнутости, маленький Саша отличался необыкновенным прямодушием: он никогда не лгал и был совершенно лишен хитрости и лукавства. Все эти качества были в нем врожденные, на него и не приходилось влиять в этом смысле. Кроме того, он был гордый ребенок. Его очень трудно было заставить просить прощения; выпрашивать что-нибудь, подольщаться, как делают многие дети, он не любил. <...> Но изменить его наклонности, повлиять на него, воспротивиться его желанию или нежеланию было почти невозможно. Он не поддавался никакой ломке: слишком сильна была его индивидуальность, слишком глубоки его пристрастия и антипатии. Если ему что-нибудь претило, это было непреодолимо, если его к чему-нибудь влекло, это было неудержимо. Таким остался он до конца, а когда сама жизнь начала ломать его, он не выдержал этой ломки. Делать то, что ему несвойственно, было для него не только трудно или неприятно, но прямо губительно. Это свойство унаследовал он от матери. Она тоже *не могла* безнаказанно делать то, что ей не было свойственно.

Глава II

ДЕТСКИЕ И ОТРОЧЕСКИЕ ГОДЫ

⟨...⟩

За эти годы Саша сблизился с двоюродными братьями Феролем и Андрюшей; летом он проводил с ними много времени, так как они жили обыкновенно в Шахматове, а зимой виделся редко, только по праздникам. Тогда же появился и сын нашей кузины Виктор Недзвецкий, так называемый «Буля», который был одних лет с Феролем, а также двоюродный брат и сестра Фероля, Коля и Ася Лозинские (дети их тетки), оба значительно моложе Саши. Сближение с этими детьми произошло, когда Саша был уже в гимназии. Его особенно любили Андрюша Кублицкий и Коля Лозинский. Коля (давно уже умерший) был мальчик восторженный и изъявительный. Дети Лозинские в то время говорили по-французски лучше, чем по-русски, и Коля в порыве восторга кричал при появлении Саши: «Alexandre trois, notre roi!» * Игры были чисто детские, не только потому, что Саша снисходил к маленьким, как старший, но и по его ребячливости, которая заставляла его от души увлекаться детскими интересами и забавами. В одиннадцать с половиной лет (1892 год) он играл с братьями в поезда и бегал взапуски вокруг цветников. Игра в поезда была одно время очень в моде. <...>

Несколько позже, когда Саше было уже тринадцать — четырнадцать лет, матери стали возить детей в балет. Это дало повод для новых игр. Стали изображать балеты, причем танцы, грация и вся классическая, изящная сторона их не играла никакой роли. Особенно облюбовали почему-то балет «Синяя борода» и представляли главным образом сцену, когда сестра Анна смотрит на дорогу с башни. Надевали на себя что попало: пледы, платки, какие-то непонятные предметы, что придавало всему очень нелепый и донельзя комический характер. Такие представления устраивались несколько раз по воскресеньям и праздникам, когда у дедушки собирались все внуки, а иногда и дети Лозинские. Игра начиналась после семи часов, когда дедушка уходил к себе отдохнуть. Помню, как в столовой одной из наших квартир на Васильевском острове Саша, наряженный в какой-то невероятный кос-

---

* Александр третий, наш король! (*фр.*)

тюм для роли сестры Анны, взгромоздился на высокий мраморный камин и проделывал пантомиму, на которую невозможно было смотреть без смеха. Вообще надо сказать, что, играя, он часто проявлял чисто клоунский юмор, а в воинственных играх брал темпераментом. Особой изобретательности он не обнаруживал и за ней не гонялся, но всех увлекал или непосредственным комизмом, пли азартом — так, что товарищи его или безумно хохотали, или приходили в неистовство. <...>

В 1894 году Саша начал издавать рукописный журнал «Вестник», но мысль о нем, очевидно, зародилась еще летом 1893 года, когда была составлена детская книжка «Колос», и по внешности и по содержанию похожая на «Вестник». Этот «Сборник сочинений А. Блока и Ф. Кублицкого-Пиоттух» вышел в августе. Написан он почти целиком рукой Сашиной матери. На обратной стороне заглавной страницы — следующая надпись: «Цензор, редактор и издатель А. Кублицкая-Пиоттух. Дозволено цензурой. Шахматово. 1893 г.». Саше было тогда около тринадцати лет. В книге его сказочка «Сон», его же перевод с французского, неизвестного автора, «Это ты!» и два лирических стихотворения. <...>

«Вестник» издавался три года: начался он, когда Саше было тринадцать лет, прекратился, когда ему минуло шестнадцать. Это немалый период для такого юного возраста. Внимательное рассмотрение материала «Вестника» дает очень интересные результаты, указывая на рост развития Саши за эти три года. Тут особенно ясно обнаруживается, как медленно шло его развитие в смысле житейского опыта и зрелости и насколько быстрее развивались его литературные вкусы и способности. В шестнадцать лет Саша остался почти таким же ребенком, как и в тринадцать. Его интересы — кроме литературных — остались те же. Он ни над чем еще не задумывался, и никакие вопросы его не смущали. Правда, в декабрьском номере первого года издания «Вестника» редактор, обращаясь к подписчикам и сотрудникам, говорит между прочим так: «Направление моего журнала совершенно определилось. Оно было в 1894 году чисто беллетристического характера, но теперь я бы очень попросил г. г. сотрудников, чтобы кто-нибудь из них помещал в мой журнал в 1895 году статьи из более или менее выдающихся случаев общественной жизни». Тем не менее журнал не изменил своего направления. За все время своего

существования он отметил только два общественных явления. В первом году, в ноябре месяце, появилось «Экстренное прибавление к 1894 году журнала «Вестник» но поводу кончины Александра III». <...> Другое общественное явление, обратившее на себя внимание редактора «Вестника», было юбилей деда — Андрея Николаевича Бекетова — по случаю его семидесятилетия. Это уже просто дело семейное. <...> Характерно и то, что сотрудники не отозвались на призыв редактора помещать статьи о более или менее выдающихся случаях общественной жизни. Главными сотрудниками «Вестника» состояли бабушка и мать Саши. Обе они были лишены так называемой «общественной жилки», но отличались сильной склонностью к литературе. Дедушке было, конечно, не до сотрудничества в «Вестнике», а кроме того, он относился к внуку как к ребенку и никогда не затрагивал с ним никаких серьезных тем — ни общественных, ни житейских. Сам он со страстью относился к общественным вопросам, читал газеты, интересовался и внутренней и иностранной политикой. Саша в те годы совсем не читал газет, он изучал только объявления — с юмористической точки зрения, что и заметно по «Вестнику». Объявления начали появляться со второго года его издания, причем Саша все больше и больше ими увлекался. Объявления «Вестника» имеют по большей части или рекламный, или обиходный характер. Больше всего появлялось реклам об надоевшем в то время «Геркулесе» и — о собаках. Саша изощрялся в придумывании разнообразнейших реклам в форме советов, диалогов, восклицаний и даже рисунков. <...>

...перейду к оценке литературного развития Саши, насколько можно судить о нем по «Вестнику». Замечу, во-первых, что проза, в особенности самого реального содержания, удавалась Саше хуже стихов. Он делал заметные успехи в прозаических переводах. Вначале и выбор вещей, и форма их указывают на незрелость вкуса и неопытность переводчика. Большинство переводных вещей неплохо, но все, переведенные в четырнадцать и даже в пятнадцать лет, подходят к возрасту не выше двенадцати и даже десяти лет. Такова драма в двух действиях с прологом «Король пингвинов», появившаяся в первый год издания «Вестника», а также другие многочисленные рассказы, сказки и пр. Все это годится для детей или. младшего или среднего возраста. Самые переводы по мере опытности автора становятся все смелее, свободнее и пра-

вильнее. В мае месяце 1895 года появляется в числе переводов первая серьезная и литературная вещь, а именно «Орфей и Эвридика» Овидия, переведенная с подлинника, и для такого возраста очень недурно. В следующем номере того же года есть «Сказание о Кожемяке», переведенное со славянского. В феврале 1896 года помещен отрывок из романа Бальзака «Эжени Гранде» — «Смерть скупца». В июле 1896 года появились стихи В. Гюго «Бабушка». Перевод правильный, вполне удовлетворительный. В последнем номере «Вестника» (январь 1897 года) помещен Сашин перевод первой песни «Энеиды» (с подлинника), с заголовком: «Из Марона», и эпиграфом из Пушкина «Люблю с моим Мароном...» и т. д. Перевод сделан значительно лучше «Орфея и Эвридики». <...>

Перехожу от переводов к оригинальным сочинениям Саши. Сначала о прозе. Его роман «По Америке, или В погоне за чудовищем», помещенный в 1894 году «Вестника», есть неуклюжее подражание Жюлю Верну с примесью Майн-Гида. Никакого романа нет, нагромождение ужасов, событий и смертей вперемежку с плохими описаниями тропической природы — таково содержание романа; форма тоже очень слаба. Помещенный в 1895 году уголовный рассказ «Месть за месть» написан уже значительно лучше — умереннее и естественнее, но все-таки явно указывает на то, как несвойствен автору этот жанр, целиком заимствованный из книг. Помещенный в январском приложении 1894 года отрывок «Из летних воспоминаний» гораздо выше. Это объясняется тем, что он написан по личным впечатлениям и лишен всякого содержания, кроме лирического. <...>

...Очень мила Сашина сказочка «Летом», помещенная в январском приложении 1895 года. В ней много собственной выдумки, написана она совсем просто, и приключения жуков, составляющие ее содержание, и до сих пор могут быть интересны детям младшего и даже среднего возраста <...> Это уже настоящая детская сказка, написанная с большим знанием природы и не без юмора. Чтобы покончить с Сашиной прозой, упомяну о двух его статьях, появившихся в 1896 году: «О начале русской письменности» (март) и «Рецензия выставки картин императорской Академии художеств» (апрель). Первая статья написана очень популярно, толково и коротко. Отзывы о картинах указывают на несомненный интерес к живописи. Суждения в общем верны, но не оригинальны,

однако по ним уже видно, что художественное развитие Саши было в шестнадцать лет значительно выше уровня среднего зрителя более зрелого возраста.

Перехожу к стихам. В 1894 году появилось пять стихотворений Саши. Они двоякого рода. Два из них: «Боевое судно» (сентябрь) и «Судьба» (декабрь) — эпические с героическим оттенком. Этот жанр совсем не удался Саше. Стихи вышли непрочувствованные, неуклюжие и совсем несамостоятельные. «Судьба» написана трудным размером «Замка Смальгольм», который местами не выдержан. Влияние «Замка Смальгольм» заметно на многих оборотах и образах стихотворения. <...>

Лирические стихи вообще лучше эпических. Почти все они антологического характера. В некоторых уже чувствуется лиризм и передано известное настроение. <...> [7]

Последний номер «Вестника» вышел в январе 1897 года. Он издан роскошно, формат в полтора раза больше обыкновенного; почерк, которым написан он, великолепен. Графологам было бы интересно сравнить его с почерком первых годов издания «Вестника». Картины в тексте (снимки с греческой скульптуры) особенно тщательно выбраны. Номер интересно составлен. Кроме Сашиного перевода из «Энеиды», в нем помещен отрывок из сочинения Сергея Михайловича Соловьева «Месть» — всего несколько строк, но не без эффекта (автору было в то время двенадцать лет), и три очень толковых рецензии Фероля Кублицкого о популярных книгах П. Дементьевой. В конце номера приложен лист карикатурных рисунков пером работы издателя, очень талантливых и интересных еще тем, что в них есть несомненное предчувствие «Двенадцати». Сбоку скромная надпись: «Северная зима в очень плохих эскизах». Тут и ветер, и воющий пес, и городовой [8]. Но все это была лебединая песня «Вестника». Несмотря на благодарность редактора сотрудникам и подписчикам в ответ на помещенный в этом же номере адрес, поднесенный ему по случаю слухов о прекращении «Вестника», и на объявление об условиях подписки на следующий год, журнал перестал издаваться по очень простой причине: возня с рукописями, переписыванием, картинами и пр. надоела редактору. Ему приелась игра в журнал. В шестнадцать лет у него появились новые интересы: театр, товарищи, наступила пора возмужалости и романтических грез, предшествовавшая встрече с К. М. С<адовской> и первому роману. <...>

Глава III

КОНЕЦ ОТРОЧЕСТВА И РАННЯЯ ЮНОСТЬ

В зиму, предшествовавшую лету 1894 года, на котором я так долго останавливалась, Саша в первый раз видел игру драматических артистов. Увлечение сценой пошло очень быстро. В течение зимы он видел еще несколько пьес, а летом 1895 года[9] устроен был в Шахматове первый спектакль с постановкой «Спора греческих философов об изящном» (Козьма Прутков). Лет около пятнадцати, в пору первых романтических грез, обнаружилось у Саши пристрастие к Шекспиру, — тогда началось чтение монологов из «Гамлета» и «Отелло».

Весной 1897 года наступил важный момент в Сашиной жизни: поездка в Наугейм, встреча с К. М. С<адовской> и первое увлечение. Саша сопровождал больную мать и меня в Наугейм только для удовольствия. Ему было тогда шестнадцать с половиной лет. Дорогой он очень интересовался поездами и видами из окна. Наугейм ему чрезвычайно понравился, он пришел в веселое настроение и потешал нас своими словечками и шаловливыми выходками. Помню один из первых вечеров, когда мы сидели на террасе какого-то большого отеля. Метрдотель торжественно разрезал и подал нам очень старую и жесткую курицу. Когда мы начали ее есть, Саша сказал: «Das ist die älteste Petuchens Gemahlin», а потом значительным тоном добавил: «Nicht alles was altes ist gut» *.

Сашины выдумки и дурачества сильно скрашивали нашу довольно-таки скучную курортную жизнь. В Наугейме было много людей с больными ногами и неправильной походкой. Идя втроем на ванны или на музыку, мы часто встречали одного и того же видного господина с больной ногой. Пропустив его вперед и идя непосредственно вслед за ним, Саша в точности перенимал всю его повадку: несколько сгорбленную спину, манеру класть руку за спину и походку с откидыванием правой ноги. Это было так смешно, что мы с сестрой помирали со смеху.

Но вся эта безмятежность исчезла с тех пор, как явилась «она». Тут начались капризы, мрачность — сло-

---

* Это старшая супруга петуха... Не все, что старо, хорошо (*нем.*).

вом, все атрибуты влюбленности, тем более что Сашина мать была еще слишком молода и неопытна, чтобы отнестись к его роману с мудрым спокойствием, и ее тревога действовала на Сашу. Капризы и мрачность его проявлялись, конечно, по-детски. Помню, как он пришел с вокзала, проводив свою красавицу. В руках у него была роза, подаренная на прощанье. Он с расстроенным и даже несколько театральным видом упал в кресло, загрустил и закрыл глаза рукой. Мы с матерью бросились его развлекать и довольно скоро достигли цели[10].

В Россию мы возвратились превесело, не подозревая о той беде, которая стряслась в наше отсутствие, так как дедушкину болезнь от нас скрыли. В Шахматове ждала нас печальная картина: вместо веселого бодрого дедушки, неутомимо сопровождавшего внуков во всех их походах, мы увидали беспомощного и жалкого старика в больничной обстановке. Самое трудное время уже миновало. Когда мы приехали, дедушка чувствовал себя несколько лучше, и уход за ним был налажен. Болезнь деда не нарушала, однако, жизни внуков. Они по-прежнему веселились, и никто их не останавливал. <...>

Вскоре после нашего возвращения из Наугейма сестра Софья Андреевна уехала вместе с сыновьями за границу. Мы остались одни. После отъезда братьев Саша впал в романтическое настроение: он зачитывался «Ромео и Джульеттой» и стал изучать монологи Ромео. Особенно часто декламировал он монолог последнего акта в склепе: «О, недра смерти...» Желание играть охватило его с необычайной силой. Ему было решительно все равно, перед кем декламировать, лишь бы было хоть подобие публики. Сохранилась следующая широковещательная афиша, написанная Сашиной рукой в конце лета:

Сегодня, 8 августа 1897 года,
Артистом Частного Шахматовского театра будет произнесен
монолог
Ромео над могилой Джульетты
(На открытой сцене)

Сцена изображает часть кладбища в парке, предназначенного для семейства Капулетти. Гробов не видно я они предполагаются со стеклянными крышками, кроме гроба Джульетты, который открыт. На заднем плане — ограда кладбища. Сумерки.

В то время дедушку возили в кресле; он едва лепетал и совершенно впал в детство, но, обожая Сашу, интересовался всем, что его касалось. Поэтому он присутствовал при чтении монолога вместе со своим служителем. Больной дедушка со слугой, Сашина мать и я — вот и все зрители. Монолог читался в саду, без костюма, никакой декорации не было. Зрители разместились в аллее. Саша встал на бугор над впадиной луга и, приняв отчаянную позу, выразительно и красиво прочел монолог. Много раз говорил он его потом уже без всякой афиши. <...>

В следующем зимнем сезоне, а именно 4 декабря 1897 года, был устроен в доме сестры Софьи Андреевны спектакль, на котором разыгрывалась французская пьеса Лябиша «La grammaire» («Грамматика») и «Спор греческих философов об изящном». В первой пьесе Саша играл роль тупоумного и одураченного президента академии, которому подсовывают черепки битой посуды, принимаемые им за обломки подлинных римских ваз, а роль буржуа, добивающегося места депутата, которому мешает плохое правописание, играл Фероль. В пьесе участвовал еще троюродный Сашин брат Недзвецкий, игравший лакея, и его сестра Оля, игравшая дочь будущего депутата. Роль ее жениха исполнял правовед младших классов Пелехин, а лицо без речей, садовника, играл Сашин кузен Андрюша.

Для этого спектакля устроены были подмостки и занавес, пьесу обставили очень внимательно. Режиссером была сестра Александра Андреевна, бутафорскую часть взяла на себя милая гувернантка Фероля и Андрюши, мадемуазель Marie Kuhn. Пьеса, полная комических положений, имела успех. Восьмилетняя Олечка Недзвецкая, изображавшая взрослую барышню, конечно, не могла еще играть, но роль свою знала. Все остальные участники были вполне удовлетворительны, местами даже комичны. Саша, которому недавно исполнилось семнадцать лет, оказался старше всех остальных артистов. Он был очень представителен в своих сединах с бакенбардами, причем сильно напоминал своего деда Льва Александровича Блока. Играл толково, хорошо держался на сцене и с должным пафосом произнес свою дурацкую речь над мнимым обломком лакриматории (вазы, в которую роняли слезы римляне).

Публика много смеялась во время этого комического момента, но наибольший успех выпал, кажется, на долю Фероля, который был необычайно смешон, когда появился с

кочном капусты и большой свеклой в руках, сохраняя при маленьком росте и искусственно утолщенном брюшке чрезвычайно солидный и важный вид. Вся его речь была комична, так что публике было над чем посмеяться.

«Философы» тоже понравились. Эта сцена была очень красиво поставлена. На жертвенниках курились какие-то благовония, вероятно, одеколон, а пол был усыпан бумажными розами, сделанными руками мадемуазель Marie. Спектакль был повторен у Недзвецкпх в том же сезоне.

Саша был тогда уже в восьмом классе. Весной 1898 года он кончил курс гимназии, после чего снялся в той самой фотографии Мрозовской на Невском, где выставлены были прекрасные портреты Далматова в роли короля Лира. Саша был большой поклонник этого артиста, так что ему было особенно приятно сниматься именно у Мрозовской. Портрет его вышел, однако, не очень удачно, он довольно плохо отделан. Саша был тогда в периоде любовных мечтаний и некоторого франтовства. В белые ночи гулял он по Невскому и по Островам вместе с двумя товарищами, Гуном и Фоссом. На этом портрете, пожалуй, никто бы ему не дал семнадцать с половиной лет. Он скорее похож на шестнадцатилетнего мальчика, что и было на самом деле. Саша был моложав до последних лет своей жизни, когда стало расшатываться его крепкое здоровье. <...>

Прибавлю несколько слов относительно выбора того, что декламировал Саша в те годы. Из «Гамлета» он выбирал чаще всего монолог «Быть или не быть...», из «Отелло» — только рассказ перед сенатом. Несмотря на большое пристрастие к «Макбету», он никогда не брался за эту роль, и вообще в его репертуаре были только лирические или философские темы; героических, вообще действенных моментов он не брал.

Во время сезона 1897—1898 года Саша продолжал изучать роль Ромео. Он задумал поставить в Шахматове сцену перед балконом и в ближайшее лето с жаром принялся осуществлять эту трудную затею. Несоответствие нашей обстановки его не смущало. Главное затруднение было в том, что некому было играть Джульетту, так как ни молодых барышень, ни дам в нашем обиходе решительно не было. Кончилось тем, что роль эту пришлось поручить все той же тете Липе, которая и на этот раз оказалась в Шахматове. Ни наружность ее, ни голос, ни манеры не соответствовали роли. В молодости она с

успехом играла в любительских спектаклях роли комических старух в бытовых пьесах. Стихов она произносить не умела, но Саша мирился со всем, лишь бы было к кому обращаться и получать реплики. Начались приготовления. Саша давно уже знал свою роль, но тетя Липа, конечно, не знала, и мне пришлось учить ее хотя бы толково и с должными ударениями произносить стихи. Тон ее был безнадежно бытовой и реальный, но уж тут я была бессильна. Костюм для Джульетты мы соорудили очень сносный: что-то светлое с жемчужными бусами на открытой шее и в белокурых волосах. Но все это было не важно, так как спектакль должен был происходить вечером в саду и при лунном, к тому же не полном освещении.

Ромео был озабочен, главным образом, собственным костюмом и балконом Джульетты. Для последнего он остроумно использовал столбы от бывшей гимнастики, приделав к одному из них подобие вышки с приставной лестницей сзади. Представление происходило на той же лужайке, где разыгрывали когда-то сцену из Козьмы Пруткова. Костюм Ромео с быстротой и веселой готовностью сшила изобретательная бабушка. Она сделала подобие жюстокора * с короткими панталонами — из летней гимназической блузы и брюк, разукрасила все голубым коленкором и пришила к сильно открытому вороту белый кружевной воротник. Длинные белые чулки и черные туфли с голубыми бантами дополняли наряд. Но лучше всего был голубой берет с ястребиным пером, найденным бабушкой на лужайке за садом, которое она пришпилила круглой брошкой из стекол с радужной окраской. В этом костюме Саша был, кажется, еще лучше, чем в печальном наряде Гамлета, который он давно уже смастерил себе при помощи матери для чтения монологов; за этот год он еще похорошел, а голубой цвет чрезвычайно шел к его прекрасному молодому лицу.

В назначенный день все было готово к спектаклю. Вечер выдался теплый. Ромео и Джульетта были одеты и загримированы. Оставалось только начать представление, но это долго не удавалось по той причине, что луна упорно скрывалась за тучами и не хотела освещать сцену. Давно уже принесли и поставили на дорожке стулья

---

* Нечто вроде куртки, обтягивающей торс. (*Примеч. М. А. Бекетовой.*)

для дам. Время было довольно позднее, но дедушка ни за что не хотел ложиться спать и все спрашивал, когда начнется спектакль. Все мы с досадой и надеждой следили за луной. Наконец, она вышла из-за туч. Тогда Джульетта водворилась на балконе и приняла мечтательную позу. Зрители были позваны, и началось представление. Ромео стремительно и нежно произносил свои речи. Он был очень поэтичен и весь предался романтике Шекспирова действа, не обращая никакого внимания на обывательский тон Джульетты.

Все шло своим чередом, как вдруг произошло нечто ужасное: на дорожке, ведущей к лужайке, где стоял Ромео, показалась неуклюжая фигура огромного мохнатого пса Арапки, проскользнувшего в сад со двора через неосторожно открытую калитку. По обыкновению, высунув язык и тяжело дыша в своей дремучей шкуре, он невинно помахивал хвостом и медленно шел прямо к Саше, рассчитывая на самый благосклонный прием. Это вторжение совершенно расстроило спектакль. Настроение было нарушено, мы с сестрой с трудом удерживались от смеха, а бедный Ромео был оскорблен в своих лучших чувствах. Он, конечно, прервал диалог и с расстроенным и сердитым лицом принялся гнать Арапку. Разумеется, пес убежал, и калитку тщательно заперли, но все уже было испорчено. Саша пришел в ужасное настроение, он наотрез отказался играть и больше уже не возобновлял своей попытки.

В это же лето 1898 года (в семнадцать с половиной лет) произошло возобновление знакомства с будущей женой поэта Любовью Дмитриевной Менделеевой, а затем начались репетиции спектаклей в имении Менделеевых Боблове[11]. <...>

Во время своего пребывания в одном из петербургских драматических кружков Саша исполнял только небольшие роли стариков. Самая значительная из них была роль дурака и рамолика в одной переводной французской пьесе, которую играл на Михайловской сцене известный в то время артист Andrieu. Саша не пожалел своего лица и совершенно исказил его безобразным, но талантливым гримом. Роль свою он провел хорошо. Развихленная походка, неверные движения, глупый вид и какой-то беспомощно-наивный т о н , — все было удачно задумано и проведено. Никому и в голову не приходило, что играет красивый двадцатилетний мальчик. Когда он сыграл свою

роль, смыл грим и переоделся в студенческий сюртук, он вышел в залу. Сияя молодостью и красотой, стоял он, разрумяненный после спектакля. Мы с матерью подошли к нему. Забавно было слушать, что говорили о нем в толпе. Какой-то господин, не подозревая, кто стоит рядом, отозвался об его игре так: «Это опытный актер, подражает Andrieu» [12].

После этого спектакля Саша и вышел из кружка и вообще оставил мысль о сцене. Это увлечение отошло на второй план. Личная жизнь, сопровождаемая острыми переживаниями романического и мистического характера, овладела всем его существом, а переживания эти выявлялись в приливах творчества, сила которых поражает своей напряженностью. То была пора цветения его лирики и расцвета его красоты.

Приведу один характерный анекдот, случившийся на каком-то родственном собрании. В числе гостей был один из друзей бекетовского дома, который давно не видал Сашу. Он сидел рядом с Александрой Андреевной. Саша пришел один из последних. Когда он вошел в комнату в студенческом сюртуке, своей красивой, мужественной походкой, гость был поражен его видом. «Это ваш сын?» — спросил он Александру Андреевну. Получив утвердительный ответ, он обратился к Саше: «Сколько вам лет?» — «Двадцать», — ответил Саша. Тогда тот воскликнул в порыве искреннего чувства: «Несчастные петербургские женщины!»

Саша был в то время действительно очень хорош. Красота его черт в соединении с матовым цветом лица, блистающего свежестью, еще более оттенялась пышными золотыми кудрями. Светлые глаза, уже подернутые мечтательной грустью, по временам сияли чисто детским весельем. Держался он очень прямо и был несколько неподвижен, особенно в обществе старших. На многих портретах он кажется брюнетом, на самом же деле он был настоящий блондин с очень белой кожей и зеленоватыми глазами. Его брови и длинные ресницы были того же цвета, как волосы, которые с годами значительно потемнели и приняли пепельный оттенок. Прибавлю, что облик его был исполнен врожденного изящества и благородства и вполне соответствовал его духовному содержанию и характеру. <...>

...прибавлю обещанную заметку об отношении Александра Александровича к животным, В детстве он обо-

жал кошек и собак, как многие дети, но тогда уже вкладывал в свое отношение к ним какую-то особую нежность и интерес: он с ними разговаривал, входил в их положение, проводил с ними много времени, всячески их развлекая и ублажая. В Шахматове держали обыкновенно двух или трех дворовых псов, с которыми Саша водил постоянную дружбу. Бывало, заглянешь утром в надворное окно и, если Саши нет в комнате, непременно увидишь его у крыльца на корточках, а около него реют три мохнатых хвоста и с особой настойчивостью сует ему лапу его любимец, огромный черно-желтый Арапка.

Собаки, разумеется, обожали Сашу. Однажды летом, после смерти моих родителей, когда Саша был уже женат, в Шахматове оказались две таксы. Одну из них привезла из Петербурга Сашина мать, другую я. Первая такса, Краб, была толста и добродушна, мой Пик был худой, с безумными страстями и мрачным характером. Он перенес тяжелое испытание, потеряв любимого хозяина, — это была дедушкина собака. Обе таксы не отходили от Саши. Молодые Блоки жили в отдельном флигеле с садиком, отделенным от двора забором и калиткой. Саша вставал довольно поздно. Нужно было видеть, с каким отчаянно грустным видом лежали обе таксы по утрам на дорожке около флигеля. Они дожидались, когда взойдет их солнце. Когда же Саша появлялся в низком окне и подавал голос, собаки бросались с радостным визгом и прыгали на подоконник или прямо в руки своего божества. Саша брал их во флигель и вместе с ними приходил в большой дом пить чай.

При жизни моих родителей в доме было довольно-таки беспорядочно и грязновато, но после их смерти, особенно с той поры, когда старый дом был блистательно отремонтирован заново, Сашина мать завела везде невероятную чистоту и порядок. Прежде, бывало, не только комнатные, но и дворовые собаки входили в дом, а комнатным позволялось валяться на всей мебели. Теперь же дворовых псов совсем не пускали в дом, а таксам строго воспрещалось скакать на мягкую мебель. Но так было только в начале лета. Понемногу эти строгие правила нарушались Сашей. Таксы как бы нечаянно оказывались то на кресле, то на диване. Мать слабо боролась, но потом, разумеется, уступала, и к осени, как раз в самое грязное время года, дело кончалось тем, что ничто уже не возбранялось этим счастливцам.

В гостиной, угловой солнечной комнате, выходившей окнами в сад, занимал одну стену огромный четырехугольный диван с двумя валиками. Помню один осенний вечер, когда Саша, разлегшись на этом диване во весь свой рост, в русской красной рубашке и в высоких сапогах, пригласил такс прыгнуть на диван, что они с восторгом исполнили. Затем обе были разложены по бокам его так, что головы их приходились у него под мышками, и так в блаженном покое пребывали до самого чая. Оп нежно разговаривал с ними, и никто из присутствующих и не думал противиться этому баловню и чародею, так как смотреть на его забавы с собаками и слушать его разговоры с ними было сущее наслаждение.

Бывали еще и такие случаи: дверь со двора в столовую отворялась, и оттуда выходил улыбающийся Саша, а за ним несмело и конфузливо выступал сын уже покойного Арапки — Бучка, очень похожий на него, но немного поменьше ростом. Он и сам понимал, что ему, столь грязному и вонючему цепному псу, не место в чистых господских комнатах, но Саша ласково приглашал его за собой, говоря: «Ну, иди, иди сюда, комнатная собачка!» Повертевшись в комнате, Бучка сам уходил обратно и уже на крыльце получал от Саши лакомое угощение в виде хлеба с маслом или сдобных лепешек.

В то время мой Пик (угрюмая такса) уже был покойник. Он погиб от болезни сердца в Шахматове и трогательно пришел умирать в гостиную, где издох на глазах всей семьи, причем в предсмертных муках до последнего мгновения не спускал глаз с сидевшего на полу Саши. Этого верного пса с почетом похоронили мои племянники в саду, на лужайке, под старой плакучей березой. Его положили в ящик и осыпали цветами. Саша сам вырыл ему могилу, засыпал ее землей и сверху положил большой и очень тяжелый камень.

К кошкам Саша с годами охладел. Его отталкивало их коварство. Он ценил в зверях простодушие и непосредственность. Но к собакам он сохранил исключительную симпатию на всю жизнь, вообще же любил положительно всех животных, кроме кошек. Он доходил до того, что прикармливал мышей, которых в Шахматове всегда было великое множество. Жена Саши, Любовь Дмитриевна, относилась к животным совершенно так же, как он, что подтверждает следующий случай, связанный с литературой.

В заголовке известного стихотворения «Старушка и чертенята» («Нечаянная Радость») поставлено: «Григорию Е.». Разумеется, никто из читателей не подозревает, что Григорий Е. был не кто иной, как еж, которого принесли в Шахматово крестьянские дети и продали Саше и жене его за какой-то пустяк. Еж был немедленно назван Григорием и некоторое время с любовью воспитывался во флигеле, где жили Блоки. Немного погодя Григория отпустили на волю, после чего на ржаном поло поблизости от флигеля Блоков очутился молодой ежик, который попался на глаза Сашиной матери и вел себя, как ручной. Похоже было, что это вернулся Григорий. Блоки так и решили. Они опять водворили его во флигель и стали ухаживать за ним еще больше. Но дело кончилось тем, что Любовь Дмитриевна нашла, что Григорию будет скучно в Шахматове, потому что там нет ежей, и сама отвезла его в имение своих родителей Боблово, где всегда водилось много ежей. Там он был выпущен и оставлен.

Не меньше собак Саша любил лошадей. Он рано выучился ездить верхом, красиво сидел на лошади и ловко и смело ездил. При всей своей любви к лошадям он умел их заставлять себя слушаться. Тот белый конь, который упоминается в его лирических стихах и поэме «Возмездие» [13], был высокая, статная лошадь с несомненными признаками заводской крови; его звали «Мальчик». Саша уезжал верхом иногда на целые дни и в этих поездках исколесил все окрестности Шахматова на далекое пространство. Во время скучной жизни на Пинских болотах его лучшим удовольствием было по целым часам ездить верхом, совершая длинные одинокие прогулки. У него была прекрасная, но далеко не смирная лошадь, которую он особенно любил именно за ее способность злиться.

Конечно, он прекрасно знал всех зверей Зоологического сада. Цирковые слоны, тюлени и бегемоты из «Аквариума» тоже были его любимцами. Он рассказывал о них с большой симпатией и очень талантливо их представлял. Любил он и червей и лягушек. В Шахматове был такой случай. В одно жаркое лето развелось очень много червей, которых не выносила Сашина мать. Однажды утром, когда мы пили чай под липами, на скамейке оказались две толстейшие гусеницы: одна ярко-розовая, другая зеленая. Сашина мать, содрогаясь от отвращения, просила Сашу убрать их. «Какие отвратительные!» — говорила

она, отворачиваясь от гусениц. Саша взял их в руки и отнес как можно дальше, но сначала заметил примирительным и сочувственным тоном: «А они думают, что они очень красивые».

К птицам Саша был вообще равнодушнее, больше всего любил журавлей. Но зато кур он прямо-таки ненавидел за буржуазный характер и движения, и жестоко гонял их из цветников, пуская им вслед иногда даже камни.

2
МАТЬ АЛЕКСАНДРА БЛОКА
Влияние матери на сына

Двадцать пятого февраля 1923 года скончалась мать Александра Блока, по второму мужу Кублицкая-Пиоттух. В этой книге, написанной уже после ее смерти, будет уместно сказать несколько слов о значении матери в жизни поэта и влиянии ее на его творчество. По натуре своей она была прежде всего мать, ее отношение к обоим мужьям, за которых она выходила по склонности, было гораздо холоднее. Сын был ее исключительной, самой глубокой и сильной привязанностью. На нем сосредоточилась вся ее нежность, а с годами любовь эта все углублялась. Этому способствовала, во-первых, врожденная склонность сестры моей к материнству, она еще девочкой мечтала о детях, а во-вторых, исключительное положение, в которое она попала, когда ей пришлось поневоле расстаться с мужем, оберегая сына от проявлений его жестокого характера. В двадцать лет, в ту самую пору, когда властно проявляются страсти женщины, при очень горячем темпераменте — она осталась одна с ребенком без мужа. А муж, молодой, привлекательный и страстно влюбленный, всеми силами противился ее решению, искал встреч с ней и умолял ее вернуться к нему. Много слез стоили ей эти сцены с Александром Львовичем, но то, что она устояла перед этим искушением и не ушла к мужу, показывает, насколько сын был ей дороже его. И вот на глазах ее растет этот сын, наполняя гордостью и радостью ее материнское сердце. Из прелестного, своеобразного ребенка превращается он в очаровательного юношу-поэта, и вся жизнь его проходит под знаком поэзии. Мать находила в сыне все то, чего не хватало ей

в окружающей жизни. Так понятно, что чувство ее к нему все росло и крепло. Что же дала она ему сама, кроме этой любви, которая заставила его написать уже в зрелом возрасте (ему было тогда почти тридцать лет) те строчки в «Возмездии», которые мать его хранила, как драгоценнейшее сокровище, на дне шкатулки, украшающей ее письменный стол? Вот эти строки, написанные рукой сына на особом листе бумаги:

Когда ты загнан и забит
Людьми, заботой и тоскою...
. . . .
По-новому окинешь взглядом
Даль снежных улиц, дым костра,
Ночь, тихо ждущую утра
Над белым запушённым садом,
И небо — книгу между книг,
Найдешь в душе опустошенной
Вновь образ матери склоненный,
И в этот незабвенный миг
Узоры на стекле фонарном,
Мороз, оледенивший кровь,
Твоя холодная любовь —
Все вспыхнет в сердце благодарном,
Ты все благословишь тогда,
Поняв, что жизнь — безмерно боле,
Чем quantum satis * Бранда воли,
А мир прекрасен, как всегда... [1]

Кроме своей великой любви, Александра Андреевна вложила в сына черты своей натуры. Мать и сын были во многом сходны. Повышенная впечатлительность, нежность, страстность, крайняя нервность, склонность к мистицизму и к философскому углублению жизненных явлений, — все это черты, присущие им обоим. К общим чертам матери и сына прибавлю щедрость, искренность, склонность к беспощадному анализу и исканию правды и, наконец, ту детскую веселость, которую Александр Александрович проявлял иногда даже в последний год своей жизни, а мать его утратила годам к тридцати пяти, когда начались первые приступы ее сердечной болезни. В детстве и юности она была самым веселым и жизнерадостным созданием, какое только можно себе представить, но и ей свойственны были те капризы и неровности характера, которые проявились потом у сына. После рождения Саши, когда она отдохнула в родной семье от тяжелых впечатлений разлуки с мужем и зажи-

---

* В полную меру (*лат.*).

ла эта *рана*, — хотя и болезненная, но не очень глубокая, — она опять расцвела и из той печальной и робкой женщины, которой стала она за два года жизни с мужем, опять превратилась в веселое и жизнерадостное существо, напоминавшее скорее молодую девушку, чем женщину и мать, испытавшую столько горя. Когда вышла замуж наша вторая сестра Софья Андреевна и явились на свет ее двое детей, будущие товарищи Сашиных игр, она была их любимицей и, сама нежно любя их, умела их забавлять, как никто. Вообще ее живость и остроумие оживляли всякое общество. Саша был не так экспансивен, как мать. В этом была между ними существенная разница. У нее была непреодолимая потребность высказываться, он же таил свои мысли и чувства в себе или же изливал их в стихах.

Связь между ними была очень сильна. Доказательством этому служат те груды писем к матери, которые доставляют мне столь драгоценный материал[2]. Эту связь поддерживала и общность натур, и близость матери к сыну. До девяти лет он жил всегда в одной комнате с нею. Важно было и то, что Саша рос без отца. Наша семья помогала его матери в заботах о нем, но воспитывала она его сама, как хотела. Я уже говорила, что воспитывать Сашу было очень трудно. Сестра моя делала, что могла. Педагогические приемы были ей чужды. К самим педагогам относилась она очень скептически, считая их в большинстве случаев педантами и тупицами. Она говорила не раз, что воспитывает человека только известная атмосфера, а не дисциплинарные приемы и нравоучения. Когда Саша был еще мальчиком, она подпала под влияние сестры Софьи Андреевны, женщины очень цельной, с твердым характером и принципами и самыми определенными взглядами на жизнь. В это время Александра Андреевна старалась воспитывать Сашу, влияя на его характер и поведение обычными приемами, но чем дальше, тем больше убеждалась в том, что к Саше эти приемы неприменимы. Сделать из него благонравного мальчика было невозможно. Он был хороший мальчик, даже очень хороший, но уж никак не благонравный. Он никогда не обижал младших братьев даже в пустяках, не затевал никаких злостных шалостей, не лгал, не наушничал, никогда не был груб, но капризы, непослушание, безудержность были ему очень свойственны.

Кое-каких результатов усилия матери все же достигли. В физическом отношении она воспитывала Сашу очень тщательно, пользуясь советами доктора Каррика и той книгой, которую он рекомендовал, как лучшее руководство для молодых матерей при воспитании ребенка *. В отношении режима, гигиены или лечения, когда оно было нужно, она добилась от Саши до известного возраста полного повиновения. Требованиям такого рода он подчинялся беспрекословно. И в результате из него вышел очень здоровый и сильный юноша. Что же касается его нервности, то с этим бороться было гораздо труднее. К тому же сама Александра Андреевна была далеко не уравновешенна и выдержкой не отличалась. Ее нельзя было назвать бесхарактерной или слабой, во многих случаях она проявляла большую твердость, например, в перенесении физических страданий. Она всегда казалась здоровее, чем была: держалась очень прямо, даже в старости не ложилась отдыхать среди дня, очень многое делала через силу, не жалея себя, и т. д. Но характер ее был неровен. Раздражительность и частые перемены настроения были для нее обычны. Впрочем, с сыном ее раздражительность проявлялась только в пору его детства. Чем дальше, тем сдержаннее и терпеливее становилась она в своих отношениях с ним.

Близость сына с матерью продолжалась и после второго ее брака. Выходя замуж за Франца Феликсовича, Александра Андреевна думала найти в нем помощника, который заменил бы Саше отца, но этого не случилось. Франц Феликсович был вообще равнодушен к детям, Саша же был не в его духе; кроме того, он ревновал к нему мать. Словом, он не был привязан к мальчику и относился к нему если не прямо враждебно, то по меньшей мере равнодушно. Его взгляды на воспитание были совершенно противоположны тем, которые Александра Андреевна вынесла из своей семьи. Он советовал ей держать сына построже, тяготился его обществом и при первой попытке Саши расположиться со своими игрушками и занятиями в гостиной отослал его в его комнату, чем жестоко обидел Александру Андреевну, привыкшую к совсем другому отношению.

Саша, избалованный неограниченной свободой в доме

---

* Английская книга Комба, переведенная на русский язык[3]. (*Примеч. М. А. Бекетовой.*)

Бекетовых, был несколько озадачен, присмирел и стал держаться в своем углу. Я не думаю, впрочем, чтобы он страдал от этого. Ему бывало жутко только по вечерам, когда мать и отчим куда-нибудь уходили и он оставался один. У него бывали безотчетные страхи, которым часто подвержены нервные дети, но и тут мать поручала его денщикам, большинство которых любили Сашу и отличались добродушием. Иногда приходила еще няня Соня, которая оставалась и ночевать. Вообще Саша не терпел никаких серьезных обид от отчима; доказательством этому служит то, что сам он очень любил его, называл Франциком и <...> способен был о нем даже соскучиться. При всем различии их натур у них оказалось нечто общее: любовь к Сашиной матери и пристрастие к животным. Франц Феликсович тоже обожал своих домашних собак и кошек, а к жене был привязан исключительно. Она была ему дороже всего на свете — кроме службы, к которой он относился с необычайной ревностью и интересом.

Итак, Саша рос без отца и на девятом году своей жизни попал в чуждую и несимпатичную среду. В детстве он сознавал это смутно, только ежился и робел в обществе офицеров, не обращавших на него никакого внимания, но в юности он начал сильно чувствовать рознь между военщиной и тем, что он видел в доме Бекетовых. Александра Андреевна должна была поневоле применяться к этой новой среде, чуждость которой почувствовала сразу и очень болезненно. Она сделала визиты всем полковым дамам, устраивала завтраки с закуской и водкой для товарищей мужа, завязала кое-какие знакомства в полку с наиболее подходящими семьями и т. д. В эту среду, где царила всяческая пошлость, кутежи, карты, сальные разговоры и разврат, перенесла она все благородные традиции своего дома. Муж ее был одним из самых нравственных и порядочных офицеров в полку, но таких было очень немного, а Франц Феликсович далеко не всегда выбирал своих друзей из их числа. Трудно и чуждо было жене его в этой атмосфере. Она, как могла чаще, видалась с родной семьей, лето в Шахматове было праздничным временем как для нее, так и для Саши. Кроме этих радостей и театра, который посещался по возможности часто, у нее была литература.

В нашей семье, где давала тон Сашина бабушка, литературность была, так сказать, в крови. Ею пропитана

была вся атмосфера бекетовского дома. Это проявлялось не только в занятиях литературным трудом, но и в повседневной жизни, в частых цитатах стихов и прозы, в манере выражаться и в интересе к новым книгам. Это «новое» было, однако, только до известной степени. Уже Достоевский был не по вкусу нашим родителям, а из поэтов мать наша остановилась на Полонском и Фете. Сестра Александра Андреевна частенько воевала дома из-за излишнего пристрастия к Тургеневу, непонимания Флобера и т. д. [4].

Как видно, литературность перешла к Саше еще от бабушки, но мать его поддержала семейную традицию и относилась к литературе не только с живейшим интересом, но и с благоговением. Смотреть на литературу, да и вообще на искусство, как на развлечение, она считала кощунственным и говорила, что лучше совсем ничего не читать, чем читать для забавы, не перенося в жизнь своих впечатлений от книги. Это отношение к литературе имело несомненно воспитательное значение.

Чтением Саши тоже руководила мать. Все его детские книжки, сказки, стихи Жуковского и Полонского, конечно, были выбраны ею. Переехав в Гренадерский полк [5], она много читала, но исключительно беллетристику, критику и стихи. Странно, что при всей живости своего характера она не любила сенсационных и бульварных романов, находя их скучными. Но этого вкуса своего она не навязывала сыну, не мешая ему забавляться хотя бы Майн-Ридом, а впоследствии Конан Дойлем. Поэтов, особенно русских, Александра Андреевна знала очень хорошо, перечитывала по многу раз и проникалась их духом, невольно заучивая наизусть многие отдельные стихотворения; между прочим, она говорила, что хорошие стихотворения запоминаются, а плохие не остаются в памяти.

Из русских классиков она особенно любила Льва Толстого и Достоевского, а затем Гоголя. Пушкина предпочитала Лермонтову, но больше всего любила Тютчева, Фета и Полонского, увлекалась и Аполлоном Григорьевым. Из иностранной литературы она больше всего любила Шекспира и Гетева «Фауста», а затем Флобера, Бальзака и Зола. Из поэтов ей одно время был особенно близок Бодлер. Ибсен тоже долгие годы был властителем ее дум. Все свои вкусы мать старалась привить и Саше, но без назойливости. Не внедрением той или другой книги влияла она на него, а скорее общим направлением или,

вернее, окраской своих литературных взглядов. Она привила сыну чистоту вкуса, воспитанного на классических образцах, тяготение к высокому и подлинному лиризму. С уверенностью можно сказать только одно: мать открыла ему глаза на Тютчева, Аполлона Григорьева и Флобера. В частностях вкусы их далеко не всегда сходились. Александра Андреевна была равнодушна к Вячеславу Иванову, которого высоко ценил Александр Александрович, и совсем не признавала Бальмонта, к которому сын ее одно время относился даже восторженно. Зато увлечение Брюсовым она вполне разделяла, не говоря уже об Андрее Белом, к творчеству которого она относилась совершенно так же, как сын. Когда вкусы и взгляды ее окончательно сложились, она говорила обыкновенно, что книга хороша, если она «зовет»; книг, написанных только ради интересной фабулы или изящества формы, Александра Андреевна не признавала. Ей нужна была или идея, главным образом религиозная, но отнюдь не в церковном смысле, или, как в лирических стихах, «поющие слова» и говорящие о неведомом звуки. В Толстом она ценила высшую человечность и говорила, что он гигантскими чертами изображал материнство, детство и т. д. с большой буквы.

Что касается настроений Александра Александровича в его собственной лирике, то тут мать влияла на него совершенно невольно. Смены светлых и мрачных настроений вообще были ей свойственны. Она не могла побороть приливов той безысходной тоски, которые находили на нее все чаще с усилением ее нервной и сердечной болезни. И, конечно, это отражалось на сыне помимо ее воли. И он, как она, не был уравновешенным человеком. Безмятежность не была ему свойственна, всяческий бунт, искание новых путей, бурные порывы — вот то, что взял он от матери, да отчасти и от отца. И неужели было бы лучше, если бы она передала ему только ясность, спокойствие и тишину? Тогда бы Блок не был Блоком, и его поэзия потеряла бы тот острый характер, ту трагическую ноту, которая звучит в ней с такой настойчивостью. Оба они — мать и сын — влияли друг на друга, и общность настроений сближала их души. Отношение к природе было у них не совсем сходное; она доставляла им обоим живейшие радости, но только сын, как поэт-мистик, находил в ней те знаки, по которым ворожил, гадал и ждал новых событий.

Временем наибольшей близости между сыном и матерью была та пора, когда он начал писать первые серьезные стихи (после семнадцати лет). Общение с сыном-поэтом было для нее источником великих радостей. И интересно, и весело было им вместе. Саша интересовался ее переводами, особенно стихотворными, они сочиняли вдвоем шуточные стихи, которые нашла я в его письме к бабушке от 11 апреля 1898 года. Александра Андреевна переводила тогда бодлеровского «Альбатроса». Это и послужило поводом для приводимого ниже стихотворения.

«Из Бодлера»
Посмотри на альбатроса,
Закуривши папиросу,
Как он реет над волной...
Повернись к нему спиной,

Чтоб от дыму папиросы
Не чихали альбатросы...
Вон вдали идут матросы,
Неопрятны и курносы...

и т. д.

Стихотворение это сочинялось за каким-то завтраком в отсутствие Франца Феликсовича. При нем такие забавы были бы немыслимы, так как разговоры о службе, фронтовом ученье и товарищах не вязались с литературой. Трудно было Александре Андреевне лавировать между противоположными интересами сына и мужа. Оба обращались к ней со своим, и ей приходилось вращаться единовременно в двух разных атмосферах. Эта жизнь на два фронта, как выражалась Александра Андреевна, была очень тяжела; чем дальше, тем труднее становилось ей согласовать свое существование с направлением мужа и сына. Душа ее рвалась к интересам сына. Она была его первым цензором еще в эпоху издания «Вестника». Он доверял ее вкусу, а мать поощряла его к писанию и делала ему дельные замечания, на которые он всегда обращал внимание. Она сразу почуяла в нем поэта и была настолько близка к новым веяниям в литературе, что могла понимать его стихи, как очень немногие. Если бы не ее поощрение и живой интерес к его творчеству, он был бы очень одинок, так как в то время его поэзия казалась большинству очень странной и непонятной. Его обвиняли, как водится, и в ломанье, и в желании быть во что бы то ни стало оригинальным и т. д. А он ни-

когда не был самоуверен. Как же важно было для него поощрение матери, мнением которой он дорожил, относясь к ней с уважением и доверием! Она же стала показывать его стихи таким ценителям, как семья М. С. Соловьева (брата философа), а через них узнали эти стихи московские мистики с Андреем Белым во главе, и таким образом она была косвенной причиной всех его дальнейших успехов. Впоследствии сын советовался с матерью и при составлении своих сборников. Иногда ей удавалось уговорить его не поддаваться минутному настроению и не выбрасывать те или другие ценные стихи или сохранить какие-нибудь особенно любимые ею строфы, которые он собирался выкинуть или изменить; в других случаях она же браковала его стихи, находя их слабыми или указывая на недостатки отдельных строк и выражений.

Что же сказать еще об их отношениях? Для нее он рано сделался мудрым наставником, который учил ее жизни и произносил иногда беспощадные, но верные приговоры. Она же была его лучшим и первым другом до той поры, когда он женился на сильной и крупной женщине, значение которой в его жизни было громадно. Мать никогда не мешала сыну в его начинаниях. Он поступил на юридический факультет вопреки ее желанию. Она только поддержала его, когда он задумал перейти на филологический факультет[6], и уговорила кончить университетский курс (в чем тогда он не видел смысла) каким-то простым аргументом. Она никогда не требовала от него блестящих отметок первого ученика и вообще не донимала его излишним материнским самолюбием, а в таком важном деле, как женитьба, была всецело на его стороне. Она сразу приняла в свое сердце его невесту, а потом полюбила его жену, как и всех, кого он любил. Она относилась к Любови Дмитриевне совершенно особенно: смотря на нее глазами сына, бесконечно восхищалась ее наружностью, голосом, словечками и была о ней высокого мнения. Несмотря на это, отношения их не имели сердечного характера. После смерти Александра Александровича они стали ближе. Для тоскующей матери было великой отрадой говорить с невесткой о сыне, тем более что Любовь Дмитриевна имела свойство успокаивать ее нервную тревогу немногими словами, взглядом или улыбкой.

Александра Андреевна пережила сына на полтора года. <...>

А. И. МЕНДЕЛЕЕВА

А. А. БЛОК

Семнадцатого августа 1903 года состоялась свадьба нашей старшей дочери Любы с Александром Блоком.

Огромное здание университета, выходящее узким боком к набережной Невы и длинным фасадом на площадь * против Академии наук, вмещало не только аудитории, лаборатории, актовый зал и церковь, но и квартиры профессоров и служителей с их семьями. Во дворе, налево от ворот, дом с квартирой ректора, дальше огромное мрачное здание странной неправильной формы, построенное еще шведами, служившее при Бироне для «Jeux de pommes»; ** дальше сад. Справа длинный, длинный сводчатый коридор главного здания. В будни коридор кипел жизнью. Непрерывно мелькали фигуры студентов, старых и молодых профессоров, деловито-степенных служителей; тут свой мир. В праздник все погружалось в тишину. В церковь посторонние входили с главного подъезда — с площади; со двора — только свои, жившие в университете. Там все знали друг друга. Вот идет маленький человек с огромными темными очками, утонувший в длинной шубе, с непомерным меховым воротником. Это «Кот Мурлыка», проф. Николай Петрович Вагнер. В кармане он всегда носит свою любимицу — белую крысу, которая пользуется большой свободой: часто выползает из кармана на воздух, выставляя свою белую мордочку с розовыми ушками, к великому удовольствию

* Теперь называется «Линия профессора Менделеева», (*Примеч. А. И. Менделеевой.*)

** Игры в мяч (*фр.*).

ребят, которых в коридоре бывало всегда множество. В толпе их выделяется фигурка в синем пальто белокурого мальчика с огромными светлыми глазами, с приподнятой верхней губкой. Он молча внимательно осмотрел крысу, так же серьезно и внимательно перевел взгляд на стоящую рядом маленькую синеглазую розовую девочку в золотистом плюшевом пальто и шапочке, из-под которой выбивались совсем золотые густые волосики. Девочка с растопыренными, как у куклы, ручками, в крошечных белых варежках, упивалась созерцанием крысы, высматривавшей из-под полы шубы профессора. Оба ребенка были со своими нянями, которые поздоровались и заставили сделать то же самое детей. Белая варежка мальчика потянулась к такой же варежке девочки. Это был маленький Саша Блок и его будущая жена Люба Менделеева.

Саша Блок со своей матерью, Александрой Андреевной, жил и воспитывался в семье своего деда Андрея Николаевича Бекетова, бывшего ректором университета. Семья Бекетовых состояла из отца, Андрея Николаевича, его жены, Елизаветы Григорьевны, и четырех дочерей: Екатерины, Софьи, Александры (мать поэта) и Марии. Белокурый, курчавый мальчик был общим любимцем семьи. Особенно же горячая дружба была между дедушкой и внуком. Гостеприимный дом Бекетовых посещался, кроме их родственников, университетскими профессорами: Менделеевым, Мечниковым, Бутлеровым, Иностранцевым, Вышнеградским и многими другими.

В такой высокоинтеллигентной семье рос Александр Блок. Сам дедушка рассказывал ему сказки. Бабушка Елизавета Григорьевна, тетки все уделяли ему время и ласку. Вся семья Бекетовых занималась более или менее литературой. Елизавета Григорьевна — известная переводчица с английского и других языков. Екатерина Андреевна — автор многих рассказов в «Огоньке» и стихов; один том ее стихотворений издан. Александра и Мария Андреевны также писали стихи и переводили. Маленький «Сашура», конечно, слышал много их и, не зная еще азбуки, лет четырех-пяти начал подбирать рифмы о котике, о зайке. В семье Бекетовых помнят их.

Лето Бекетовы проводили в своем маленьком подмосковном имении Шахматове, верстах в семи от Боблова, имения Дмитрия Ивановича, по совету которого они и купили свое. Трудно представить себе более мирный,

поэтичный и уютный уголок. Старинный дом с балконом, выходящим в сад, совсем как на картинах Борисова-Мусатова, Сомова. Перед окном старая развесистая липа, Под которой большой стол с вечным самоваром; тут варилось варенье, собирались поболтать, полакомиться пенками с варенья — словом, это было любимым местом. Вся усадьба стояла на возвышенности, и с балкона открывалась чисто русская даль. Из парка, через маленькую калитку, шла тропинка под гору к пруду и оврагу, заросшему старыми деревьями, кустарниками и хмелем; а дно оврага и пруд покрывались роскошными незабудками и зеленью; дальше шел большой лес, место постоянных прогулок маленького Саши с дедушкой.

Хозяйством занималась бабушка Елизавета Григорьевна, в важных случаях вопросы решались семейным советом, а в крайне важных поручали Андрею Николаевичу выполнить роль главы — пойти «покричать». Андрей Николаевич, в своем кабинете, погруженный в книги, относившийся с полным равнодушием к материальным вопросам вообще и к хозяйственным в частности, не считал себя в праве отказываться от предоставленной ему роли главы, по призыву вставал с своего кресла, закладывая руки в карманы, нахмуривая брови, выходил на крыльцо, место самых важных объяснений, рассеянно оглядываясь, в какую сторону надо «покричать», выполнял более или менее неудачно свою роль и тотчас принимал свое обычное добродушное выражение, самодовольно улыбаясь, явно переоценивая свою заслугу, шагал обратно к своим книгам и гербариям. Насколько был чужд этот добрый человек помещичьих интересов, видно из рассказа местного крестьянина. Гуляя как-то в своем лесу, Андрей Николаевич увидел старого крестьянина, совершившего порубку и уносившего огромное дерево из бекетовского леса к себе домой. Увидев это, Андрей Николаевич очень смутился и, по обыкновению, хотел сделать вид, что ничего не заметил; но, видя, что деду тащить было очень трудно, не выдержал, робко и конфузливо предложил: «Трофим, дай я тебе помогу», на что тот, надо сказать правду, так же конфузливо согласился, и вот знакомому обоим Фоме (от которого услыхали этот рассказ) представилась забавная и трогательная картина, как барин, надсаживаясь и кряхтя, тащил из собственного леса дерево для укравшего его Крестьянина [1].

К этой симпатичной и дружной семье я очень любила приезжать из нашего Боблова. Спустившись с бобловской горы, самое высокое место в уезде, надо было ехать Дубровками, березовой рощей, потом шел луг, река Лотосня, небольшая, извилистая, то весело и быстро шумящая, то, расширяясь, задумчиво и медленно текущая, в таких местах покрытая белыми нимфеями и кувшинками. Вот мост, направо мельница, опять луг, старинная белая церковь на горе, село и, наконец, Шахматово. Колокольчики наших лошадей доносились издали до его обитателей. С разных уголков стекались они к дому, а иногда и на дорогу встретить редких летом гостей. Вот с гумна идет Елизавета Григорьевна, дочери с книжкой или работой из парка, а немного погодя и Андрей Николаевич с внуком Сашурой из леса. Встретив всегда приветливо гостей, шли под липу. Появлялся или уже стоял на обычном месте самовар, и начинались милые, добродушно-остроумные разговоры. Солнышко ярко золотит цветник с ирисами, нарциссами, пионами. Маленький Саша бегает и оживляет своим голоском и лепетом, а иногда, прижавшись к дедушке, внимательно смотрит своими большими светлыми глазами и на гостя, и на облака, и на бабочек, слушает тихо могучий летний концерт леса и травы, — все воспринимает мальчик, и все выражается на его маленьком загорелом личике. А семья не наглядится, не нарадуется на ребенка. Помню, раз как-то я вздумала взять с собой мою девятимесячную дочку Любу, по молодости лет воображая, что доставлю ей удовольствие, чем очень рассмешила бабушку Елизавету Григорьевну, которая даже пожурила меня за неосторожность: возвращаться надо было под вечер через реку, сырость могла ребенку повредить. Пришедший, по обыкновению, с дедушкой с прогулки Саша нес в руке букет ночных фиалок. Не знаю, подсказал ли ему «дидя», — так он звал Андрея Николаевича, — или догадался сам, но букет он подал Любе, которую держала на руках няня. Это были первые цветы, полученные ею от своего будущего мужа. Тогда она по-своему выразила интерес к подарку, — быстро его растрепала и потянула цветы в ротик. Мальчик серьезно смотрел, не выражая ни протеста, ни смеха над крошечной дикаркой.

Шли годы. Саша стал гимназистом, учился, как я слышала, хорошо. Дома товарищами его игр были двоюродные братья, Фероль и Андрей Кублицкие. Саша был

живой, способный мальчик, он был старший и руководил всеми играми и предприятиями. Игры его были играми интеллигентного ребенка. Он очень любил представления; знал уже Шекспира, к которому всегда имел особое влечение. Раз мать его попала на следующую сцену: Саша усадил свою маленькую кузину на шкаф, приставил к шкафу лестницу, а внизу на полу поставил младшего двоюродного братишку; они должны были изображать Ромео и Юлию; говорил за них он сам. Бедной Юлии было очень неловко на шкафу, но ослушаться Сашу она не могла и послушно выполняла, что он ей приказывал. Освобождение явилось в лице матери Саши. Затеял он как-то издавать журнал; все члены семьи, начиная с дедушки, были сотрудниками, а он сам сотрудником и редактором. Журнал издавался несколько лет и хранится в семье. В этот период я мало видела Сашу; один только раз, когда ему было лет тринадцать, Андрей Николаевич привез его к нам в Боблово. Дети мои были еще очень маленькие; они занимали старшего гостя, как могли: играли в крокет, ходили смотреть «дерево капитана Гранта», забрались в дупло дуба, в котором стоял стул и маленьких могло поместиться несколько человек, словом, осмотрели все достопримечательности. Расстались друзьями, но в Петербурге не виделись.

Вновь появился у нас в Боблове летом Александр Блок, когда ему было семнадцать лет. Это был красивый, стройный юноша, со светлыми вьющимися волосами, с большими мечтательными глазами и с печатью благородства во всех движениях и словах. В Боблове он нашел цветник молодежи, правда, очень зеленой. Любе было пятнадцать лет, брату ее Ване — тринадцать, двое младших близнецов были еще очень маленькие, но у Вани был студент-учитель, у Любы гости — кузины семнадцати и восемнадцати лет и много юных соседей и соседок по имению. Все увлекались в то время театром и готовились к спектаклю. Александр Александрович стал бывать часто и, с увлечением принял участие в спектаклях, исполняя все главные роли. Он сразу как-то стихийно полюбил Любу, самую юную из юных обитательниц Боблова, а она его, о чем он сам говорит в своем дневнике и стихах. Это было поэмой такой необыкновенной, как был необыкновенен сам Александр Блок. Зная ее, вспоминаешь о Лауре и Петрарке, о Данте и Беатриче. О ней будет, конечно, рассказано в свое время, я же

не позволю себе касаться самой глубокой и лучшей стороны его души. Да, думается, сам Александр Александрович все выразил в своих стихах, которых посвящено Любови Дмитриевне, кажется, восемьсот [2].

Но возвращусь к рассказу. Александр Александрович стал руководить бобловскими спектаклями. У нас всегда время от времени бывали они, но отношение к ним и постановка носили детский характер. Возможны были такие курьезы. Исполняли детскую пьесу-сказку, сочиненную племянницей Дмитрия Ивановича, Надеждой Яковлевной Капустиной. На сцене должен был появиться волк, в дупле пряталась заблудившаяся Маша, которую играла десятилетняя Люба. Роль волка была поручена скотнице Федосье; худенькая, поворотливая, она на репетициях отлично исполняла на четвереньках роль волка. Костюм был великолепен — настоящая волчья шкура прикрывала всю небольшую фигурку Федосьи. Спектакль, к общему восторгу, удостоил своим присутствием Дмитрий Иванович, которого усадили на самом почетном месте первого ряда посредине. Все шло хорошо. Дошли до самого эффектного места — появления волка. Волк — Федосья вышел из лесу, как ему полагается, на четвереньках, озираясь и обнюхивая кровожадно воздух. Уже волк дополз до средины сцены; тут из-под волчьей кожи Федосья увидала одним глазом Дмитрия Ивановича. «Здравствуйте, барин», — быстро встав на задние лапы, сказал волк. «Не барин, матушка, а Дмитрий Иванович», — поправил волка не любивший слова «барин» Дмитрий Иванович. «Здравствуйте, Дмитрий Иванович», — покорно поправился волк, стал на четвереньки и, продолжая свою роль, пополз к дуплу, где задыхалась от смеха Маша. Автор был ошеломлен. «Ведь ты волк, — волк, нессчассс-тная», — шипел автор за кулисами. Публика неистово хохотала, хлопала и стучала.

С появлением Александра Александровича началась, можно сказать, новая эра. Он поставил все на должную высоту. Репертуар был установлен классический, самое большое место было отдано Шекспиру, Пушкину, Грибоедову; исполнялся также Чехов. Александр Александрович своим горячим отношением к поэзии и драме увлек своих юных друзей, а дома — своих родных. Приготовление костюмов было поручено бабушке. Сооружая костюм Гамлета, она долго не могла найти пера для его берета; купить в деревне, конечно, было негде, и вот

она отправилась в поле, сопровождаемая шутками семьи, поискать какое-нибудь перо, потерянное птицей. Надежды увенчались полным успехом; после долгих поисков она, усталая, но торжествующая, несла перо ястреба; прикрепила его к беретке, которая вышла хоть куда, а главное, очень шла к семнадцатилетнему артисту.

Трогательное было отношение молодой труппы к исполнению произведений авторов, перед которыми они благоговели со всем пылом юности, искренностью, цельностью. Роскошное лето, уединение сельской жизни — все позволяло отдаться делу. В свободное время ходили в лес, в поле смотреть закат или открывать новые места. Раз как-то Александр Александрович нашел на нашем поле «высшую точку», с которой можно было насчитать тридцать церквей.

Любили также все, и Александр Александрович тоже, сидеть на верхней террасе дома, откуда открывался такой чудный вид. Александр Александрович часто читал вслух, но тогда не читал еще своих стихов — он целомудренно хранил их, как и свою любовь; а в то время он поклонялся уже «Прекрасной Даме», служил ей. Почти все стихи того времени писаны под впечатлением его будущей жены.

Это время было временем роста поэта и, вероятно, лучшим в его непродолжительной жизни. Больной, умирающий, он сказал своей матери, что мог бы сжечь все свои произведения, кроме стихов «о Прекрасной Даме» [3]. На наших глазах развивалась поэма любви, сильной, как стихия. В моей памяти впечатления того времени сливаются в одну сказочную картину: дали, зори, грозы; на белом коне ездит юный, прекрасный всадник. Александра Александровича часто видели верхом, ездившим вокруг Боблова, где он сдерживался бывать слишком часто, но его туда постоянно тянуло — там жила его суженая, его любовь. Когда Андрей Белый в первый раз увидел вместе Александра Александровича с его женой, у него вырвалось: «Царевич с царевной». В дни репетиций белый конь со своим всадником поворачивал к бобловскому дому, где его поджидала «царевна» со своими милыми подругами. После обычных приветствий все спешили в сенной сарай — импровизированный театр.

Старый бревенчатый сарай видел настоящее священнодействие — столько вкладывалось вдохновения, чувств и благоговения к искусству. Репетиции и приготовления

к спектаклю давали артистам много наслаждения и интереса: костюмы, декорации, устройство сцены, зрительного зала, — все делали сами или под своим надзором. Во все было вложено много любви, находчивости и таланта. Но самые спектакли иногда приносили большие огорчения. Публику, кроме родственников и соседей, составляли крестьяне ближних деревень. Репертуар совершенно не подходил под уровень их развития. Происходило следующее: в патетических местах ролей Гамлета, Чацкого, Ромео начинался хохот, который усиливался по мере развития спектакля. «Представление» в понятии деревни того времени должно было непременно потешать, смешить; так как в стихах вышеупомянутых авторов, произносимых спокойно, не было ничего смешного, то когда наступало волнение, жесты, — они думали, что вот тут-то и начинается, и разряжали свою скуку взрывами хохота, что очень смущало артистов. Чем патетичнее была сцена, тем громче был смех. Другие забывали, что это представление, — видели в артистах знакомые им лица: «Шахматовский барин-то как к нашей барышне-то, только, шалишь, не на таковскую напал», и так далее, и опять смех. Женская половина зрителей, наоборот, видела все со слезливой стороны. Раз одна из зрительниц на другой день после представления Гамлета делилась своими впечатлениями с другой: «Он, милая моя, говорил-говорил, говорил-говорил, а тут как замахал руками, — вишь, драться хотел, а Маруся-то и утопилась». Офелия превратилась в Марусю. Свежо предание, а верится с трудом.

Артисты огорчались, но не унывали. Их художественная совесть могла быть спокойна — игра их была талантлива. Александр Александрович, как исполнитель, был сильнее всех с технической стороны. Исполнение же шестнадцатилетней Любовью Дмитриевной роли Офелии, например, было необыкновенно трогательно. Она не знала тогда сценических приемов и эффектов и жила на сцене. Офелия ее не была английской девушкой или русской, а просто девической душой. Как трепетно, вдумчиво слушала она монолог Гамлета и не делала жесты, а они выходили у нее бессознательно, были полны робкой полудетской грации, так же как и выражение лица.

Александр Александрович находил все больше и больше вдохновения в Боблове, что видно из его стихов. Так проходила весна жизни Александра Александровича

Блока и его будущей жены — красиво, радостно, богато внутренней жизнью.

Зимой он продолжал бывать у нас; своих стихов не читал, хотя и писал их в этот период очень много. Раз, впрочем, прочел юмористическую пьеску, забавную и остроумную.

В конце зимы он сделался женихом. Свадьбу решено было сделать летом в деревне. Быстро пролетело время. Весной, как всегда, переехали в наше милое гнездо Боблово, но настроение уже было не беззаботное, а немного грустное. Люба жила в родной семье последние дни. Белый конь со своим всадником все чаще и чаще показывался из Дубровок и направлялся к нашему дому; поэма достигала своего полного развития.

Настал день свадьбы. Александр Александрович и Любовь Дмитриевна венчались в старинной церкви близ Шахматова [4]. Стоит она одиноко, белая, с отдельной звонницей; кругом несколько старых могил с покосившимися крестами; у входа два больших дерева. Внутри мрачная; на окнах железные решетки; очень старые тусклые иконы, а на самом верху иконостаса деревянные фигуры ангелов. Церковь построена далеко от деревни. Богослужения в ней совершались редко; таинственное и мистическое впечатление производила она.

Не буду описывать подробности последнего дня перед венчанием невесты; скажу только, что в подвенечном наряде невеста была хороша: белое платье, вуаль, цветы еще больше оттеняли ее нежность и свежесть, слезы не портили, а скорее шли ей. Александр Александрович давно заметил ее сходство с мадонной Сассо-Феррато, приобрел фотографию этой картины и до последних дней жизни имел ее в своей комнате на стене [5]. Свою невесту в церкви Александр Александрович встретил очень бледный, взволнованный. Вдвоем с ней они долго молились; им хотели уже напомнить, что пора начинать обряд, но Дмитрий Иванович остановил, сказав: «Не мешайте им». Шаферами у Александра Александровича были Сергей Михайлович Соловьев, племянник Владимира Сергеевича Соловьева, и младший брат невесты Иван Дмитриевич Менделеев (теперь философ-математик). У Любови Дмитриевны — Развадовский (теперь католический монах) и Вениамин Смирнов, друг ее детства. Провожатых собралось много: были родственники, соседи по именью, доктор и другие; пришли крестьяне, всегда

дружно жившие с семьями Менделеевых и Бекетовых. Бывшие в церкви говорили, что никогда не забудут красоты юной пары, выражения их лиц и гармонии всего окружающего. Сергей Михайлович Соловьев тут же в церкви сочинил стихи; помню только последние две строки:

И видел я, как голубица
Взвилась в воскрылиях орла [6].

После окончания обряда, когда молодые выходили из церкви, крестьяне вздумали почтить их старинным местным обычаем — поднести им пару белых гусей, украшенных розовыми лентами. Гуси эти долго потом жили в Шахматове, пользуясь особыми правами: ходили в цветник, под липу к чайному столу, на балкон и вообще везде, где хотели.

После венца молодые и гости на разукрашенных дубовыми гирляндами тройках приехали в Боблово. Старая няня и крестьяне, знавшие «Любу Митревну» с детских лет, непременно хотели выполнить русский обычай, и только что молодые вошли на ступеньки крыльца, как были осыпаны хмелем.

Дома стол уже был готов, обед вышел на славу. Дмитрий Иванович, очень расстроенный в церкви, где он во время обряда даже плакал, успокоился. Обед прошел весело. Крестьянки ближних деревень — Боблова, Семичева, Ивлева, Мишнева собрались во дворе и пели подходящие к случаю песни; конечно, их угощали. За столом провозглашали обычные тосты за молодых, говорили «горько». Дмитрий Иванович развеселился — шутил и смешил. Оживлению способствовало и то, что за обеденный стол посадили и младших — брата и сестру (близнецов) невесты и их ровесников-друзей. Маленькая еще сестренка Муся расхрабрилась до того, что, подняв бокал, как делают большие, провозгласила своим звонким голоском: «За всех гостей!», на что почтенный доктор наш, Иван Иванович Орлов, с комической торжественностью ответил: «За вашу храбрость». Это еще больше подбодрило юную компанию и разогрело их веселье.

После обеда подана была тройка. Молодые простились со всеми (невеста со слезами), их усадили в экипаж, ямщик гикнул, лошади тронулись, звеня колокольчиками.

Александр Александрович увозил Любу из-под родительского крова в новую жизнь.

Молодые стали жить у матери поэта Александры Андреевны и ее второго мужа — Кублицкого-Пиоттух. Александр Александрович был еще студентом университета. Летом по-прежнему жили в Шахматове, куда меня тянуло теперь еще больше. Поселились они, по своему желанию, не в большом доме, а в очень маленьком флигельке, бывшем раньше конторой или сторожкой. Обставили и устроили его своими силами; как птицы, свивая свое гнездо, таская все нужное из большого дома, с чердака и откуда попало. Гнездышко вышло прелестное. Когда я подъезжала к Шахматову, глаза мои нетерпеливо обращались в одну сторону, туда, где стоял маленький домик, заросший до самой крыши розами (rose de Provence) и сиренью, оттуда на колокольчики показывалась юная пара — «царевич и царевна»; поэма продолжалась.

Через несколько времени Александр Александрович, окончив курс университета, переехал с Любой на самостоятельную квартиру. Но тут заря их жизни уступила место загоравшемуся дню, юность — зрелости.

На этом я закончу мои воспоминания об А. А. Блоке.

МАР. ГРИБОВСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

⟨...⟩

Вот вижу я его десятилетним мальчиком среди благоуханных полей и лугов родного Шахматова — подмосковного имения дедушки, профессора А. Н. Бекетова. Этих двух существ — белокурого мальчика с голубыми глазами и старика-ботаника с пушистыми, серебряными кудрями — можно было почти всегда видеть вместе, дружно беседующими.

«Сашура» был кумиром всех: и матери своей, и бабушки, Елизаветы Григорьевны Бекетовой, которая как раз в эту пору заканчивала перевод книги «Стэнли в дебрях Африки». Мальчик не на шутку увлекался рассказами об отважном путешественнике и в высокой траве старого шахматовского сада воспроизводил особенно поправившиеся ему местности.

Пришла пора отдавать «Сашуру» в гимназию, и студент В. М. Грибовский, близко знавший семью Бекетовых, предложил для облегчения зимних занятий теперь же, летом, приступить к латинскому языку. Жадно принялся мальчик за новый предмет, восхищая порой своего учителя меткими сравнениями, блестящей памятью.

Рим с его героической историей, с его походами, с его дивными архитектурными памятниками не давал мальчику покоя. Стали замечать, что Сашура куда-то исчезает. Приехали как-то раз соседи: профессора Фаминцын и Менделеев со своей маленькой дочкой, сделавшейся впоследствии женой поэта. Все разбрелись по саду искать мальчика, а он в выпачканном матросском костюме, весь потный, в овраге, усердно проводит римские дороги и акведуки.

— Мне еще нужно в стороне от терм Каракаллы закончить «Via Appia», сейчас п р и д у, — пояснил будущий поэт. <...>

Ф. А. КУБЛИЦКИЙ

САША БЛОК

Из воспоминаний детства и юности

Стройный мальчик, с вьющимися светлыми волосами, веселый, шаловливый, в детстве общительный, а с годами все более замкнутый, чуждающийся «пошлой» житейской обстановки, порой угрюмый, — вот портрет Саши Блока. Открытая, ясная улыбка сменилась несколько грустным, даже ироническим выражением лица; с иронией глядел он на все окружающее и на большинство окружающих. Характер у Саши был в юности мягкий и сдержанный; резкость проявлялась редко.

В детстве и ранней молодости у Саши не было настоящих близких товарищей. Сперва участниками его игр были мы, его младшие двоюродные братья, и другие родственники нашего возраста. Товарищ по гимназии Н. В. Гун едва ли мог быть действительно близок Блоку, так как по всем своим привычкам и вкусам был далек от духа и интересов, господствовавших в бекетовской семье. Точно так же случайна и кратковременна была неожиданно возникшая дружба с кадетом, а затем молодым офицером В. В. Греком. Нелюдимость Блока начинала сказываться уже в довольно ранних годах.

Зимой в Петербурге мы жили довольно далеко друг от друга и видались не часто. Обычно Саша приезжал к нам по субботам, и мы затевали возню. Сначала это были просто детские шалости, затем в моду вошли «представления». В Мариинском театре шел тогда балет «Синяя Борода», на который нас возили [1]. И вот мы втроем — Саша и мы, братья, стали изображать этот балет. Особенно смешон был Саша в роли одной из жен Синей Бороды: он влезал на шкаф в нашей детской и

оттуда махал руками и длинными уже ногами, изображая, как заточенная в башне жена Синей Бороды взывает о помощи.

Большинство наших воспоминаний о Саше Блоке связано с Шахматовом, небольшим имением нашего деда А. Н. Бекетова, куда нас троих привозили каждый год, примерно в мае, и где мы оставались до конца августа или начала сентября. Первой приезжала в деревню бабушка. Затем понемногу съезжались прочие члены семьи. Вновь приезжающих выходили встречать на дорогу, ждали, прислушивались к колокольчику. Когда усталая тройка лошадей в забрызганной коляске въезжала на двор, яростно лаяли дворовые собаки, раздавались шумные приветствия, а мальчики тотчас бежали в сад, во флигель, в любимые места, наслаждаясь деревенским привольем после городской зимы. Начиналась счастливая для детей летняя пора: никаких занятий и уроков, полная свобода, все удовольствия деревенской жизни.

Дедушка и бабушка Бекетовы, приезжая на лето в деревню, стремились к полному одиночеству и отдыху от людей, которые надоедали им за зиму в Петербурге. Всегда подчеркивалось, что мы живем «в деревне», а не на даче. Дачная жизнь считалась синонимом пошлости. В отношении одиночества особенно требовательна была бабушка Елизавета Григорьевна, весьма строго и остроумно, но не всегда справедливо оценивавшая людей. Гостей в Шахматове бывало всегда очень мало, а с соседями почти совершенно не знались. В этом сказывалась бекетовская исключительность, строгость и требовательность к людям, проявившаяся впоследствии так остро и в характере Саши Блока.

В деревне Гудино, в одной версте от Шахматова, ряд лет подряд жили летом какие-то французы или швейцарцы, какой-то мосье Эбрар с женой, преподаватель французского языка в одной из московских гимназий, недурной пейзажист-любитель, дальний родственник довольно известного парижского журналиста, редактора газеты. Дедушка А. Н. Бекетов очень любил французов и все французское и превосходно говорил по-французски, как, впрочем, и вся вообще семья Бекетовых; все ее симпатии всегда были на стороне французов, к немецкому же и к немцам относились враждебно, иронически, презрительно, делая исключение только для немецкой музыки. Тем не менее Эбраров не только никогда не приглашали, но

даже избегали встречи с ними на прогулках. Однажды мы встретились с ними чуть ли не лицом к лицу; мальчики, по-своему выражая настроения старших, бросились в сторону и спрятались от «французов» за поленницу дров.

На дворе в Шахматове была большая куртина из кустов шиповника, сирени, корнуса и спиреи. В этой куртине мы устроили ряд извилистых ходов, площадок и укрытий «для защиты от разбойников», чем вызвали неудовольствие бабушки. Она говорила, что куртина может служить действительно хорошим укрытием, но только для кур и цыплят от коршунов; мы же распугали всех кур.

Тогда мы перенесли нашу деятельность в сад, где за «дальней кленовой дорожкой» была заросшая канава, отделявшая сад от леса. В окружающих кустах Саша задумал устроить укрепления для защиты от неприятеля; мы усердно трудились над расчисткой ходов и площадок под корнями и деревьями, обрубали верхи у деревьев и устраивали естественную «лестницу» на сосну, где был «наблюдательный пункт». Все это сооружение называлось «Нэ», по первому случайному слову, сказанному кем-то из нас троих.

Во всех этих затеях Саше, самому старшему из нас, принадлежало обычно первое место как в отношении замысла, так и в смысле выполнения.

В раннем детстве одной из любимых наших игр была игра в поезда. Все скамейки в саду были названы по имени больших буфетных станций б. Николаевской, ныне Октябрьской железной дороги, которую мы хорошо знали и любили. Первая, ближайшая к дому, скамейка под кустом акации называлась «Любань», далее шла «Малая Вишера», две скамейки посреди главной липовой аллеи изображали Бологое, затем шли и другие станции на дальней дорожке, в березовом кругу и т. д. Игра заключалась в том, что, прижав к ребрам локти согнутых рук и выбрасывая их вперед наподобие поршней, мы бежали по дорожкам, останавливались у станций-скамеек, маневрировали, встречаясь друг с другом, гудели дикими голосами.

Одно время очень сильно увлекались крокетом, но потом он всем надоел.

Устроенная на лужайке «гимнастика» привлекала Сашу: он любил проделывать упражнения на кольцах и на трапеции.

Мы часто катались верхом. На деревенских лошадках изъездили мы все окрестности на расстоянии десяти — пятнадцати верст от Шахматова. У каждого было свое английское седло с особым потником, уздечкой и стеком.

Саша всегда старался забраться куда-нибудь подальше, в новые места, на глухие лесные дороги. Он любил открывать новые виды и дали, которыми так богата эта часть Московской губернии. Большей частью эти поездки совершались под вечер, когда спадала жара и лошадей меньше беспокоили мухи и слепни. Домой возвращались уже почти в темноте. Вставала красная полная луна, туман белой пеленой стлался вдоль реки и подбирался к усадьбе. Приближаясь к дому, мы любили устраивать скачки, не щадя усталых лошадей. Саша, на своем сером, более крупном Мальчике, обычно обгонял нас с братом. Конь этот был с норовом: в молодости его долго держали в темной конюшне и потому зрение его было испорчено; он пугался всего и шарахался в сторону, но Саша привык к его замашкам и справлялся с ним довольно хорошо.

Высокий белый конь, почуя
Прикосновение хлыста,
Уже волнуясь и танцуя,
Его выносит в ворота[2].

Саша необычайно хорошо относился к животным. Особенно любил он собак, и они его любили. Ирландский сеттер Марс, погибший от чумы в Шахматове, был одним из его любимцев. Позднее он постоянно возился а гулял с таксой своей матери Крабом.

У дедушки была такса Пик. Умная и веселая собака горячо любила своего хозяина. После смерти дедушки Пик сделался угрюмым. Он привязался к Саше и охотно всегда гулял с ним. Когда Пик издыхал от сердечного припадка, лежа на полу в гостиной, при этом присутствовали все шахматовские обитатели, в том числе и Саша. Пик взглянул на Сашу, завилял хвостом и опрокинулся на бок. Его похоронили в саду и на могилу положили камень.

Саша не любил общих прогулок. Охотно гулял лишь с дедушкой Бекетовым. Это стремление к уединению росло с годами. Позднее он совершал далекие прогулки вдвоем с женой. Собаки всегда его сопровождали.

В свежие или дождливые вечера мы втроем после чая забирались в гостиной («голубой комнате») на старинный

красного дерева диван, где по бокам лежали два мягких валика и было много подушек. Мы бросались ими и били ими друг друга. Наши матери и тетушки наблюдали за нами со смехом, но не без страха, опасаясь, чтобы подушки не попали в окно или лампу, Саша необычайно ловко и метко тузил нас с братом, швырял в нас подушками и тяжелым валиком с такой стороны, откуда мы не ждали. Это занятие приводило нас в такое неистовство, что унять нас и отправить спать бывало трудно.

Саша не чуждался физической работы, а временами даже увлекался ею. Рубил кусты, пилил деревья, расчищая заросли в саду, к ужасу бабушки, не любившей «чрезмерную», по ее мнению, культурность садовой природы и считавшей, что надо оставить все, как было раньше и как само растет. Саша собственноручно с одним из нас свел небольшую, но очень хорошую березовую рощицу под садом. Взрослые приходили в ужас от такого вандализма, но впоследствии сами были очень ему рады, так как благодаря этому открылся далекий и широкий вид с балкона и из дома:

И дверь звенящая * балкона
Открылась в липы и сирень,
И в синий купол небосклона,
И в лень окрестных деревень [3].

С крестьянами Саша умел разговаривать без той искусственной, фальшивой «простоты», которой часто страдала русская городская интеллигенция, но, в силу своей прирожденной необщительности, он не искал встреч и бесед с ними.

В 1896 году летом мы с моей матерью и с Сашей Блоком ездили на Всероссийскую выставку в Нижний-Новгород. Поездка в провинцию была для мальчиков новостью: кроме Петербурга и Шахматова, они почти не знали России. И дорога и город на берегу Волги возбуждали любопытство. Нарядные выставочные павильоны, толпа, обеды в ресторанах — все это было ново и привлекательно. Помнится, с большим вниманием осматривали мы с Сашей железнодорожный отдел. В большом прохладном павильоне стояло множество чистеньких вагонов и паровозов. Мы с Сашей беспрепятственно лазили

---

* Дверь из столовой на балкон действительно открывалась с каким-то звенящим звуком. (*Примеч. Ф. А. Кублицкого.*)

по ним и с большим удовольствием осматривали всевозможные подробности [4].

Кроме посещений выставки, прогулок по городу и на гору с видом на Волгу и Оку, мы побывали в драматическом театре. Играла труппа московского Малого театра с Южиным и Лешковской. Шла пьеса Вл. И. Немировича-Данченко «Цена жизни». Мы сидели в ложе. При выходе на сцену каждого артиста Саша вполголоса, но весьма авторитетно, пояснял мне, кто выполнял бы эту роль в Александринке (например, Савина, Аполлонский и др.). Его знание театра производило на меня большое впечатление.

Саша с детских лет увлекался декламацией. Он нисколько не стеснялся посторонних и никогда не заставлял себя упрашивать. С удовольствием декламировал шекспировские монологи Отелло, Гамлета, Юлия Цезаря, читал Апухтина («Сумасшедший»), даже в том случае, если среди присутствовавших некоторые находили это «несколько смешным».

Страсть к театру проявилась у Блока очень рано и усердно культивировалась его матерью. Бесконечны были разговоры об «Александринке», восторги перед Савиной и Коммиссаржевской, резкие порицания других артистов. Суждения высказывались строгие и безапелляционные. Признавалась только русская драма, но посещались и спектакли иностранных гастролеров: Сальвини, Тины ди-Лоренцо и др.; о них бывало много разговоров и толков.

Деревенские спектакли были одним из проявлений этой театральной склонности. В ранней юности мы сочинили с Сашей трехактную комедию «Поездка в Италию». Сюжет был заимствован из какого-то нехитрого английского или французского рассказа. Представление было дано на балконе шахматовского дома, причем зрители сидели внизу, в саду, а мы действовали на балконе, как на сцене [5].

К еще более раннему детству относится другое представление, разыгранное в шахматовском саду, на лужайке. Ставился «Спор двух древних греческих философов об изящном» Козьмы Пруткова [6]. Прутков в то время постоянно читался, цитировался нами и возбуждал всеобщее восхищение. Отдельные его словечки повторялись всей семьей, в том числе и Сашей Блоком, сохранившим привязанность к нему на всю жизнь.

Более совершенное театральное представление с настоящей декорацией, занавесом, с костюмами и гримом состоялось в Петербурге, у нас на квартире. В двух маленьких французских пьесках, которые мы разучивали под руководством нашей гувернантки Marie Kuhn, Саша исполнял видные роли. Хорош он был в пьесе Скриба[7], где изображал археолога мосье Пуатрина, откапывавшего разный хлам у себя в саду и выдававшего черепки горшков за фрагменты римской керамики.

Бобловские спектакли относятся к более позднему периоду. Они достаточно подробно описаны М. А. Бекетовой. Приготовлений, разговоров и воспоминаний о них было очень много. Окрестные крестьяне наполняли бобловский сарай и смотрели, как «наша барышня» и «шахматовский барчук» исполняют Шекспира, Пушкина, Грибоедова. Зрители слушали внимательно, но иногда раздавался смех и возгласы удивления. Это были спектакли для участников, а не для зрителей.

После «Гамлета» в чудную июльскую ночь ужинали на большом балконе бобловского дома. Отец «Офелии» Дмитрий Иванович Менделеев, у которого в нижнем этаже построенного им дома была устроена лаборатория и которому, очевидно, мешали шумные гости, не присутствовал на ужине. К концу ужина он вышел, запахивая свой широкий кафтан, и сказал, обращаясь ко всем:

— А вы скоро кончите?

Впрочем, тут же, видя, что до конца далеко, он пригласил одного из гостей сыграть с ним в шахматы, что тот немедленно и исполнил.

Еще позднее, в Петербурге, пришлось видеть Сашу на сцене какого-то любительского театра, кажется, в Зале Павловой. Роль совершенно ему не подходила. Он изображал молодящегося старичка, и выходило это у него довольно плохо. Да и пьеса была изрядно пошла и скучна[8].

К драматическому искусству Саша был мало способен, но отличался большой наблюдательностью и уменьем комически передразнивать разных известных лиц, а также родных и знакомых.

Так, изображал он артистов Аполлонского, Юрьева, Далматова, Бравича, Дальского, поэтов В. Я. Брюсова, З. Н. Гиппиус и др.

Вспоминаются приезды в Шахматово Б. П. Бугаева (Андрея Белого), одного или с А. С. Петровским и с С. М. Соловьевым, студентом Московского университета.

В один из своих приездов Бугаев поразил всех своим необычайным костюмом. На нем была надета белая длинная блуза из очень прозрачной материи, сквозь которую просвечивало тело и которая от ветра заворачивалась сзади. На груди был большой черный крест на черной цепи, как у богомольца. Бугаев был изысканно вежлив и любезен. Целые дни и ночи шли у него с Блоками разговоры на мистические и литературные темы.

Сережа Соловьев, наш троюродный брат, тоже несколько раз приезжал в Шахматово и вел долгие литературные разговоры с Сашей и его женой.

Саша очень редко посещал своих родственников, живших под Москвой, близ Шахматова. В Дедово (близ ст. Крюково) к Соловьевым он ездил всего раз или два, но главную роль играли тут не родственные связи, а литературно-философские интересы. Бывал он также и в маленьком именьице тетушки Софии Григорьевны Карелиной (тети Сони) — Трубицыне. Она, между прочим, пыталась ввести его в семью своих соседей и приятелей Тютчевых, живших в Муранове, но Сашу не удалось уговорить съездить к ним.

В связи с Тютчевыми вспоминается такой случай. У тети Сони в доме жила дальняя родственница «тетя Лена», тоже старушка, не имевшая никаких средств. Сама тетя Соня часто бывала у Тютчевых; естественно, что они гостеприимно приглашали к себе и тетю Лену, но она всегда отговаривалась, и на одно из таких приглашений ответила следующими стихами:

Чтобы ехать к вам в Мураново,
Надо быть одетой заново.
У меня ж на целый год
Старый ваточный капот.
Так меня к себе уж лучше вы
Не зовите в гости, Тютчевы.

Эта шутка имела большой успех и часто повторялась в бекетовской семье, в частности, и Сашей, и его женой [9].

Одной из отличительных черт Саши была искренняя и глубокая любовь ко всему русскому и недружелюбное, иногда даже неприязненное чувство к «загранице». В этом не было ничего похожего на «квасной патриотизм», который жестоко осуждался и презирался в бекетовской семье. Неприязненное отношение к иностранному поддерживалось в Саше его матерью, но не вполне соот-

ветствовало взглядам деда А. Н. Бекетова, горячего поклонника французской культуры.

В немецкий курорт Наугейм Саша ездил с большой неохотой, исключительно ради больной матери. В связи с этими поездками высказывалось немало острых и язвительных суждений о немецкой аккуратности, скупости, безвкусице, филистерстве и т. п.

Несколько ироническое отношение к поездке в Германию видно из сохранившейся у меня его открытки. Я доехал из Петербурга вместе с Александрой Андреевной и Сашей до Берлина, а там наши маршруты разошлись, и мы должны были расстаться, причем это разделение было проделано немцами так стремительно, что мы не успели проститься. Поздравляя меня с днем рождения, Блок пишет 13 июня 1903 г.:

«Поздравляю тебя, брат мой, внезапно утраченный мною в Берлине. Ходил и искал тебя, но тщетно, — наверх не пустили. Некоторые немцы уже начинают изредка удовлетворять мои желания, когда я объясняюсь с ними на туземном наречии. Будь весел и здоров. Твой *Сашура».*

Глубоко понимал и любил Саша русскую деревню и русскую природу, мирную, кроткую, тихую природу средней и северной России, природу Пушкина, Тургенева, Фета. Про него можно было сказать словами Баратынского:

С природой одною он жизнью дышал,
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье.

С. Н. ТУТОЛМИНА

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

Александр Блок приходится мне двоюродным братом: его отец, Александр Львович Блок, профессор Варшавского университета, был родным братом моей матери, а мать их, наша общая с Александром Блоком бабушка, редкий по душе человек, жила всегда у нас.

Александр Львович несколько раз в год приезжал из Варшавы к нам навещать свою мать и жил у нас по нескольку дней. Ясно помню его удивительно красивое лицо, немного напоминающее лицо Гейне, всегда грустные, куда-то устремленные глаза и тихий, красивый, но однотонный голос. Часто он садился за рояль и играл по памяти Шопена (любимый его композитор), а затем декламировал Мицкевича. По вечерам у него бывали длинные и грустные разговоры с бабушкой, после которых бабушка всегда плакала.

Мы с Александром Блоком (Сашурой) родились в одном году — 1880-м. Когда нам исполнилось по семи лет, мы с ним затеяли переписку (его мать не бывала у нас [1], а он сам начал бывать уже значительно позже, с 1895 года, когда наша семья после долгого отсутствия опять поселилась в Петербурге). Переписывались мы и прозой и стихами. К сожалению, эта переписка у меня не сохранилась; помню только две строчки из одного стихотворения:

Ужин был у нас прекрасный
И кисель из клюквы красный.

С 1895 года Ал. Блок начинает навещать нас, сначала редко, а потом все чаще. Помню его в гимназическом

мундирчике, тоненьким, с нежным румянцем, с чудными курчавыми волосами, когда он приходил поздравлять бабушку в различные праздничные дни. Он был всегда тихим, но не печальным; наоборот, от него всегда веяло каким-то душевным равновесием и ясностью.

Когда он сделался студентом, а мы с сестрой одновременно кончили гимназию, мы стали чаще видеться с Сашей. По субботам у нас собиралась молодежь, по преимуществу студенческая (мой отец был тогда директором Электротехнического института), и у нас было много музыки, пения и декламации. В то время Ал. Блок увлекался Шекспиром и летом в имении Шахматово на ст. Подсолнечная играл Гамлета и Отелло вместе со своей будущей женой (Любовью Дмитриевной Менделеевой).

На наших вечеринках он любил декламировать монологи Гамлета, Отелло, а также Дон-Жуана (из пьесы А. Толстого). Кроме того, он прекрасно читал «Сумасшедшего» Апухтина, и я никогда с тех пор не слышала никого, кто бы читал это стихотворение так хорошо, как Ал. Блок.

В 1898 году устроилась у нас на святках «украинская колядка». Компания наша (около сорока человек) разучила несколько народных украинских песен, «колядку» из оперы «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова, застольный хор из оперы «Русалка» Даргомыжского и в крытых дилижансах (так называемых «кукушках») разъезжала по знакомым с мешками для колядования. Конечно, был с нами и Саша, в украинском костюме, но отнюдь не поющий: как мы ни старались, но не могли обнаружить у него ни голоса, ни музыкального слуха. Веселился он вовсю. Мы заезжали в пять-шесть домов, и всюду нам, после наших песен, набивали наши мешки игрушками и сластями. А когда садились в «кукушку», начиналось «сражение»: перекидывались мандаринами и яблоками, как мячами. Как сейчас вижу хохочущее, задорное лицо Саши, терявшего при этом всю свою «солидность».

Однажды Ал. Блок привел к нам своего товарища, Николая Васильевича Гуна, тоже студента университета, который с тех пор тоже часто стал бывать у нас. Он всегда казался мне загадочным: то веселый, то задумчивый, с ярким румянцем и с болезненно худым лицом. Он, кажется, увлекся моей старшей сестрой, а потом, в самом непродолжительном времени, застрелился.

От него у нас сохранились записи в наших с сестрой альбомах. Ал. Блок тоже не раз писал нам в альбомы, но, к сожалению, не свои стихи. Мне он написал в 1898 году «Песню Дездемоны» собственного перевода[2], а в 1899 году — стихотворение Мея «Спишь ты, ангел ночи веет над тобою...». Свои стихотворения по нашей усиленной просьбе он иногда читал, но не придавал им большого значения, и наши похвалы его всегда радовали.

Помню, как Саша в те ранние годы встречался у нас со своим отцом. Отец любил его, расспрашивал об университетских делах, и они подолгу просиживали рядом за столом. Саша, прямой, спокойный, несколько «навытяжку», отвечал немногословно, выговаривая отчетливо все буквы, немного выдвигая нижнюю губу и подбородок. Отец сидел сгорбившись, нервно перебирая часовую цепочку или постукивая по столу длинными желтыми ногтями. Его замечательные черные глаза смотрели из-под густых бровей куда-то в сторону. Иногда он горячился, но голоса никогда не повышал.

Однажды Александр Львович, приехав из Варшавы, сейчас же вызвал сына. «Ты должен выбрать себе какой-нибудь псевдоним, — говорил он Саше, — а не подписывать свои сочинения, как я: «А. Блок». Неудобно ведь мне, старому профессору, когда мне приписывают стихи о какой-то «Прекрасной Даме». Избавь меня, пожалуйста, от этого».

Саша стал подписываться с тех пор иначе[3].

В 1900 году умерли одна за другой сначала наша бабушка, а потом и мама. Отец серьезно захворал и уехал для лечения в Ялту, куда в октябре 1901 года последовала за ним и я. Из Ялты я писала Ал. Блоку и, между прочим, послала ему в письме огромную душистую розу. Он сейчас же ответил мне пространным письмом, описывал мне свое времяпрепровождение, настроение и в конце, как сейчас помню, прибавил: «А роза твоя великолепна, особенно посреди нашей унылой, грязной петербургской осени»[4].

В 1902 году в наш дом вошла мачеха, вечеринки наши прекратились, мы переехали с нашим Электротехническим институтом на Аптекарский остров, и Ал. Блок понемногу перестал бывать у нас.

Встретились мы с ним уже через много лет, когда я после длительного пребывания в разных краях России снова вернулась в Петербург.

Ал. Блок был в полном расцвете своего таланта, и хотя мне очень хотелось видеть его, но я не решалась быть назойливой и злоупотреблять нашим родством с ним и старой дружбой, тем более что я слышала от всех, что он живет совершенно уединенно, избегает новых знакомств и вообще «не любит людей».

Но вот мы, по случайному совпадению, оказались однажды сидящими рядом в театре на представлении оперы «Кармен». Надо было видеть, с какой теплотой, сердечностью и простотой он, узнав меня, заговорил со мной. Он, видимо, был искренно рад видеть меня, и его интересовали все мелочи моей жизни. Вспоминали мы без конца прежнюю жизнь, старые встречи, отсутствующих. Меня поразило, как мало он переменился, — тот же прежний милый Саша Блок. Очень может быть, что под влиянием детских и юношеских воспоминаний он оживился и действительно помолодел. Верно лишь то, что в следующую встречу мою с ним он совсем уже не показался мне таким молодым. Между прочим, когда я просила его прийти ко мне, он мне прямо сказал с милой, доброй улыбкой: «Не сердись, Сонечка, я вряд ли приду к тебе, ведь я боюсь новых людей, я теперь дикий стал».

Конечно, я не стала настаивать. Новая встреча наша произошла 1 января 1916 года. В тот момент я собиралась вторично выходить замуж, но в виду многих обстоятельств мы с мужем хотели устроить свою свадьбу самым конфиденциальным образом, потихоньку от всех многочисленных родных и знакомых, взяв только двух самых необходимых свидетелей, но зато самых близких нашей душе и из тех, которые умеют не болтать. После встречи с Ал. Блоком я решила пригласить его вторым свидетелем (первым был уже приглашен мой родной брат Н. Н. Качалов, горный инженер). С этой целью я написала записку Ал. Блоку, прося его назначить мне свидание у него на квартире с тем, чтобы мы могли с ним поговорить наедине. Я немедленно получила ответ: «Приходи в такой-то час и день, сделаю все так, чтобы нам никто не помешал».

Когда я пришла к нему в назначенное время, Ал. Блок сам открыл мне дверь и сказал, что в квартире, кроме нас, нет ни души. Он повел меня в свой кабинет, выходивший окнами на Пряжку, с удивительно красивым и неожиданно для меня широким видом.

Узнав, с чем я пришла к нему, он очень был доволен.

Он радовался моему новому счастию, но больше всего, по-моему, ему понравилась конспиративность, безлюдность всего дела. Он сейчас же обещал приехать, когда нужно, в церковь и благодарил за доверие, ему оказанное. Затем мы около двух часов проговорили с ним. Всем известно настроение Блока в ту эпоху. Помню его фразу: «Как можно быть счастливым, когда кругом такой ужас?» И когда я ему сказала, что оптимизм тем и хорош, что всегда верит в выход изо всех самых ужасных положений, он грустно сказал: «Я что-то изверился». Между прочим, я рассказала ему, что недавно была у А. А. Каменской, председательницы Спб. теософского общества, и меня поразила обстановка ее приемной: все стены задрапированы какими-то голубыми с серебром тканями, в конце комнаты стоит стол, покрытый тоже голубой тканью, на столе стоят серебряные тройные канделябры, — вообще во всем чувствуется симуляция красоты и какого-то нарочитого настроения. Между тем, подойдя к окну этой приемной, я увидела вывеску самой дрянной грязной мелочной лавчонки.

Ал. Блок с некоторым раздражением заметил: «Вечная глупость — искание красоты в каких-то искусственных внешних формах, а между тем красота всюду, во всех проявлениях повседневной жизни, надо только уметь найти ее. Ты думаешь, в этой вывеске мелочной лавчонки нет красоты? В ней гораздо больше красоты, чем в этих голубых тканях, потому что в ней жизнь и правда, а в голубых тканях — ложь».

Совершенно случайно, по болезни одного из моих ребят, наше таинственное венчание пришлось отложить, а за это время узнали о нем двое или трое из очень близких нам людей, и потому, когда Ал. Блок приехал в церковь, он был неприятно поражен, увидев еще несколько лишних человек. Он даже кротко упрекнул меня за это.

После венчания он сразу уехал к себе и ни за что не захотел принять участие в нашем маленьком ужине. После ужина я имела смелость сочинить стихотворное приветствие, подписанное всеми присутствующими, и мы с мужем, захватив целую охапку цветов, завезли все это Ал. Блоку на квартиру и передали ему через швейцара. Это было 15 января 1916 года.

На другой же день я получила от него то прекрасное письмо, которое напечатано ныне в сочинениях Блока[5].

Больше мы с Ал. Блоком не встречались...

Г. БЛОК

1

ИЗ ОЧЕРКА «ГЕРОИ «ВОЗМЕЗДИЯ»

Несмотря на кровное родство (наши отцы — родные братья), ни родственной, ни другой какой-нибудь близости между нами не было. Не было, собственно, даже и того, что называется «знакомством». Был только один очень длинный разговор незадолго до смерти поэта. Мне хочется, тем не менее, рассказать то малое, что я помню о нем. <...>

Разрыв Александра Львовича <Блока> с первой женой произошел задолго до моего рождения. Отношения ее со всей нашей семьей прекратились. Я увидел ее в первый раз в 1920 году.

В раннем детстве мне приходилось слышать, что существует где-то в Петербурге двоюродный брат Саша, умный мальчик, издающий в гимназии журнал. Имя Саша не нравилось, не нравилось и про журнал. Мне не хотелось с ним знакомиться.

В конце девяностых годов наша встреча все-таки состоялась. Александр Александрович, оторванный до тех пор от родственников, вдруг почему-то завязал с ними сношения. Он появился в доме у тетки Ольги Львовны Качаловой, единственной сестры Александра Львовича и моего отца. Затем стал изредка бывать и у нас.

Семья Качаловых была большая, здоровая, веселая, очень русская. В ту пору она по-весеннему шумела и цвела. Этим цветением и шумом Александр Александрович (очень ненадолго) был, по-видимому, захвачен.

Мне было десять — двенадцать лет, — я был «лицом без речей». Насколько помню, с Александром Александровичем

мы не обменялись в эти годы ни одним словом. Поэтому все относящиеся к этому времени воспоминания мои о нем основаны исключительно на впечатлениях «молчаливого зрителя снизу».

Он только что поступил в университет и увлекался сценой. Всем было известно, что будущность его твердо решена — он будет актером. И держать себя он старался по-актерски. Его кумиром был Далматов, игравший в то время в Суворинском театре Лира и Ивана Грозного. Александр Александрович причесывался как Далматов (плоско на темени и пышно на висках), говорил далматовским голосом (сквозь зубы цедил глуховатым баском).

Раз вечером у нас были гости. И. И. Лапшин, тогда молодой еще доцент, читал какую-то пьесу Зудермана. [1] Чтение было прервано поздним приходом Александра Александровича. Он приехал с репетиции спектакля, в котором участвовал. Когда его спросили, какая у него роль, он своим заправским актерским тоном ответил, что небольшая: «тридцать страниц с репликами». Узнав, какую пьесу читают, он тем же тоном небрежно заметил, что Зудерман ему «не дается». Затем прочитал только что написанную им юмористическую балладу про рыцаря Ральфа. Там, сколько помню, всё чередовались рифмы: простужен, ужин, сконфужен, и он, читая, на эти рифмы налегал [2].

Помню его в другой раз в театре. Он был в ложе с Качаловыми. Играла модная в то время Яворская, только что вышедшая замуж за князя Барятинского. Ее много вызывали. После одного из вызовов, когда она, кланяясь, отступала от рампы, занавес, слишком рано спущенный, ударил ее нижней своей штангой по голове. Последовал новый взрыв оваций. Александр Александрович неистовствовал. Помню — стоит, откинувшись, в глубине ложи, вытянутыми руками хлопает и кричит не «Яворскую», как все, а почему-то: «Барятинскую! Барятинскую!»

Чаще всего в это время приходилось видеть его декламирующим. Помню в его исполнении «Сумасшедшего» Апухтина и гамлетовский монолог «Быть или не быть». Это было не чтение, а именно декламация — традиционно актерская, с жестами и взрывами голоса. «Сумасшедшего» он произносил сидя, Гамлета — стоя, непременно в дверях. Заключительные слова: «Офелия, о нимфа...» — говорил, поднося руку к полузакрытым глазам.

Он был очень хорош собой в эти годы. Дедовское лицо, согретое и смягченное молодостью, очень ранней, было в высокой степени изящно под пепельными курчавыми волосами. Безупречно стройный, в нарядном, ловко сшитом студенческом сюртуке, он был красив и во всех своих движениях. Мне вспоминается — он стоит, прислонясь к роялю, с папиросой в руке, а мой двоюродный брат показывает мне на него и говорит: «Посмотри, как Саша *картинно курить* [3].

Близость его с семьей Качаловых продолжалась очень недолго — кажется, около года. Он исчез так же внезапно, как появился. Он написал им письмо о причинах своего «ухода». Я этого письма не читал. Мне передавали, что в нем он говорил о вступлении на новое поприще, требующее разрушения старой житейской рамы [4]. Помнится, это совпало со временем его женитьбы.

На протяжении следующих двадцати лет были только две мимолетные встречи. «Уход» его был в самом деле решительный, «отеческие увещания» не действовали, и к родственникам он так до самой смерти больше и не заглядывал.

Раз весной (это было вскоре после его исчезновения) мы ехали с отцом на Острова на пароходе. Недалеко от штурвала, под трубой стоял Александр Александрович. Он возвращался домой — в Гренадерские казармы. Когда пароход подходил к Сампсониевскому мосту, он сказал (как мне показалось, тревожно):

— Сейчас он засвистит.

Эти незначащие слова почему-то запечатлелись, и я не раз вспоминал их потом, когда встречал в его писаниях знаки того же, никогда, по-видимому, не оставлявшего его тревожного внимания к техническим мелочам.

Вторая встреча была в начале 1909 года, в большом (гробоподобном) зале Консерватории, на гастроли Дузэ. Шла «Дама с камелиями». Был «весь Петербург». Александр Александрович, в штатском, очень элегантный, зашел к нам в ложу. К величайшему несчастью, почти вслед за ним вошел еще некто — розовый, в золотом pince-nez, один из тех неизбежных петербургских «моветонов», которые «считают долгом бывать на всех первых представлениях». Узнав, что здесь перед ним «известный

поэт», — «моветон» к нему присосался и стал вонзаться снисходительными вопросами, в которых фигурировала и «ваша муза», и тому подобные ужасы (это было время буренинских фельетонов о «декадентах»). Александр Александрович был сдержанно-учтив.

Затем почти двенадцать лет мы не видались вовсе.

Осенью 1911 года я переезжал на новую квартиру, на Галерную, в дом Дервиза. Дворник удивился, когда услышал мою фамилию. Оказалось, что из этого дома только что выехал Александр Александрович [5].

В Варшаве, на похоронах Александра Львовича, мой отец встретился с обоими его детьми. Александр Александрович сказал:

— Вот знакомлюсь с сестрой [6].

Осенью и зимой 1920 года я был в разгаре работы над Фетом и вместе с тем в периоде «первой любви» к стихам Блока, которых до того не знал. Только что вышла его книжка «За гранью прошлых дней». Там в предисловии было признание о Фете [7]. Почти одновременно я прочел статью «Судьба Аполлона Григорьева», где призрак Фета встает во весь рост и таким именно, как он мерещился тогда и мне. Мне настойчиво захотелось увидеться с Александром Александровичем. С. Ф. Ольденбург, давно желавший нас познакомить, предложил передать мое письмо. 23 ноября я получил такой ответ:

22 XI 1920

Многоуважаемый Георгий Петрович.

Не звоню Вам, потому что мой телефон до сих пор не могут починить, хотя и чинят. Рад буду увидеться с Вами и поговорить о Фете. Да, он очень дорог мне, хотя не часто приходится вспоминать о нем в этой пыли. Если не боитесь расстояний, хотите провести вечер у меня? Только для этого созвонимся, я надеюсь, что телефон

будет починен, и тогда я сейчас же к Вам позвоню, — начиная со следующей недели, потому что эта у меня — вся театральная.

Искренно уважающий Вас

Ал. Блок.

Я живу: Офицерская 57 (угол Пряжки), кв. 23, тел. 612-00.

Как всегда учтивый и точный, он сдержал обещание — на следующей неделе позвонил. Заговорил голос — чужой и очень знакомый, глуховатый, с деревянными, нечеловеческими (о ком-то напоминавшими) нотами.

— Георгий Петрович, это вы? Говорит *ваш брат.*

Мы выбрали день и условились, что я приеду «с последним трамваем». Они в то время ходили до шести, но в этот день почему-то остановились раньше. Пришлось идти пешком, «звериными тропами».

Он сам открыл мне дверь и улыбнулся своей младенческой, неповторимо прекрасной улыбкой.

Огромная перемена произошла в его наружности за двенадцать лет. От былой «картинности» не осталось и следа. Волосы были довольно коротко подстрижены — длинное лицо и вся голова от этого казались больше, крупные уши выдались резче. Все черты стали суше — тверже обозначались углы. Первое мое впечатление определилось одним словом: *опаленный,* и это впечатление подтверждалось несоответствием молодого, доброго склада губ и остреньких, старческих морщин под глазами. Он был в защитной куртке военного покроя и в валенках.

Мы сели в кабинете у письменного стола и стали говорить. Разговор вышел долгий. Часов в девять я собрался уходить, но Александр Александрович настойчиво стал меня удерживать («Оставайтесь до комендатуры» — то есть до первого часа ночи), и я остался. Мы оба беспрерывно курили, комната была синяя от дыма.

Мне очень трудно передать этот разговор. По свежим следам я ничего не записал. Память многое стерла, а кое-что, вероятно, исказила. Последнего боюсь больше всего. Буду воспроизводить только те немногие «острова», очертания которых запечатлелись твердо.

Он прежде всего подверг меня тщательному личному допросу. Это не было «любезностью». Он упорно и внимательно *выпытывал* и большое и малое, проникал (по

терминологии его отца) и в «житейское» и в «мечтательность». Вопросы были, например, такие:

— Проходили вы через марксизм?

— Вы какой — живой или вялый? и т. д.

Мне было трудно отвечать, потому что многие вопросы были мне *новы.* Но передо мной в серых, почти безбровых глазах, в частой улыбке было так много кроткой, приветливой *простоты,* что робость моя ушла.

Мы вспомнили наше последнее свидание на гастролях Дузэ. Он сказал:

— Помню ваши красные обшлага[8].

Заговорили о Фете. Я сказал, что теперь, по-моему, его пора. Он не согласился:

— Нет, пора Фета была раньше — двадцать лет тому назад.

Он начал подходить к Фету рано — еще в доме матери, сперва только к «Вечерним огням». Они так и остались ближе, чем молодые стихи. Расцвет любви к Фету был в пору пребывания в кружке Соловьевых (семья Михаила Сергеевича — брата философа).

Я спросил, почему Тургенев боялся Фета (стачивая в его стихах острые углы, то есть лучшие[9], и хвалил так, как ревнивый мужчина хвалит соперников). Александр Александрович ответил:

— Это ясно: Тургенев боялся у Фета революции. Помните, например. «Сладостен зов мне глашатая медного»? *

Я сказал, что общепринятое противоположение Фета Шеншину, по-моему, вздор: очевидно, и в жизни и в стихах — корень один, и нужно его угадать. Он ответил:

— Да, корень один. Он — в стихах. А жизнь — это просто «кое-как». Так бывает почти всегда.

Он подробно расспрашивал меня о жизни Фета. По поводу чего-то заметил:

— По-моему, Фет был развратный. Только не такой развратный, как Лермонтов. Когда я недавно редактировал Лермонтова, я был поражен, до чего он развратен.

Затем добавил — не то успокоительно, не то вопросительно:

— Развратный — это не худо.

Заговорили о Майкове и Полонском. О Майкове он

---

* Из стихотворения Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила...» (*Примеч. Г. Блока.*)

отзывался сурово («декламационный»), а про Полонского сказал так:

— Разница между Фетом и Полонским такая, что Фет дьявольски умен, а Полонский глуп, как пробка. Но оба настоящие поэты.

Спросил, люблю ли я Апухтина, и сказал:

— Я люблю его цыганщину.

Кажется, тут же прибавил:

— Я ведь не люблю стихов читать. Взять книжку и подряд читать — не могу.

Разговор «литературный» закончился упоминанием об одном давно и весьма известном (и ныне здравствующем) писателе-прозаике, который в то время — в Петербурге 1920 года — был виден отовсюду. Александр Александрович сказал:

— Я продолжаю его любить, *несмотря* на то, что знаком с ним вот уже несколько лет. Плохо только, что у него всегда — *надо, надо, надо* [11].

И он, в такт этому «надо», потыкал пальцем куда-то под стол. Потом засмеялся — отцовским, смущенным смехом.

Еще в начале беседы я предупредил его, что плохо умею говорить. Он ответил:

— Это ничего. Я тоже косноязычный.

После «литературы» опять начался допрос, уже более сосредоточенный. Он стал спрашивать меня, живу ли я современностью. Я отвечал отрицательно. Тогда он показал на лежащие на столе бумаги и сказал:

— Вот я редактирую перевод Гейне. Как раз сегодня читал место, где Гейне глумится над Августом Шлегелем за то, что тот изучал прошлое [11]. Гейне прав. Если не жить современностью — *нельзя писать.*

Это составило содержание всего дальнейшего разговора. Он стал говорить много, с жаром и мрачностью, все о том же «нельзя писать».

— Вот вы собираетесь писать о Фете. Должны же вы сказать, почему Фет нужен *сейчас.* А вы этого сказать не можете.

— За последние три года, после «Двенадцати», я не написал ни строчки. Не могу.

— «Двенадцать» — *какие бы они ни были* — это лучшее, что я написал. Потому что тогда я жил современностью. Это продолжалось до весны 1918 года. А когда началась Красная Армия и социалистическое строитель-

ство (он как будто поставил в кавычки эти последние слова), я больше не мог. И с тех пор не пишу.

К этому он был прикован. Временами мы отходили в сторону, как бы отдыхали, потом опять возвращались к прежнему.

Пришли его мать и жена. Он познакомил меня с ними. Стали пить чай — как полагалось в то время: с сахарином, черным хлебом и селедкой. Он ел неохотно, с капризным лицом.

За столом, над скатертью я мог лучше его рассмотреть. Руки крепкие, мужественные, несколько узловатые в пальцах, с крупными выпуклыми ногтями. Кожа на лице нежная, темной расцветки. Когда он улыбался, открывались ровные юношеские зубы, на щеках весело трепетали беспомощные ямочки, а глаза западали глубже и делались светлее.

Временами разговор опять налетал на Фета. Заговорили о том, была ли у него религия. Перебирали его стихи. Я вспомнил:

Вдруг — колокол, и все уяснено,
И, просияв душой, я понимаю,
Что счастье — в этих звуках: вот оно!.. [12]

Александра Андреевна (мать) стала резко возражать: «Это вовсе не религия. Колокол — это совсем другое».

Александр Александрович посмотрел на нее внимательно и сказал:

— Ты думаешь, это как у Соловьева? Пожалуй, это так [13].

По-видимому, сына и мать связывали тесные узы понимания. Мне стало казаться даже (по тому, как он — ученически — посмотрел на нее), что для сына это, может быть, зависимость.

— С тысяча девятьсот шестнадцатого года, — говорил Александр Александрович (он отчетливо помнил все даты), — мне все время приходится делать то, чего не умею. Теперь я все председательствую в разных театральных заседаниях. А я не умею председательствовать. На войне я был в дружине, должен был заведовать питанием. А я не знал, как их питать.

Уходя, уже в передней, я сказал ему: «Разные мы с вами».

Он ответил, улыбаясь той же ласковой, как при встрече, улыбкой:

— Ну что же, и разные хорошо.

Помню — всю дорогу, и всю ночь, и много дней потом я не мог выйти из смятения, внесенного в меня этим вечером. Смущало и то, *что* он говорил, и то, *как* он говорил.

Немыслимо передать характер его речи — изысканной, стенографически сжатой, сплошь условной, все время ищущей как будто созвучия с тем, что он называл «единым музыкальным напором» [14] явлений. Мне, знавшему его отца, было ясно, что мучительство, которому подвергал себя тот в своем беспримерном одиночестве, когда, сгорая, душил язык своей диссертации [15], что это мучительство с ним не умерло. Оно продолжало жечь и сына и обжигало тех, кто хоть ненадолго — как я — к нему прикасался.

Но страшен, конечно, был и смысл слов. И с этим страшным смыслом мне хотелось спорить. Несколько дней спустя я написал ему письмо. В нем были «возражения», которых я не сумел высказать в тот вечер. Помнится, я писал, что его мысль — это только мысль, а его жизнь и моя жизнь — это факты, которые сильнее мыслей. И факт жизни дает право на жизнь. «В утешение» я напомнил ему стихи все того же Фета:

И лениво и скупо мерцающий день
Ничего не укажет в тумане:
У холодной золы изогнувшийся пень
Прочернеет один на поляне.
Но нахмурится н о ч ь, — разгорится костер,
И, виясь, затрещит можжевельник,
И, как пьяных гигантов столпившийся хор,
Покраснев, зашатается ельник [16].

Он (очень скоро) ответил мне так:

10 XII 1920

Спасибо Вам за письмо, дорогой Георгий Петрович. Оно мне очень близко и понятно. Да, конечно, все, что мне нужно, это, чтобы у меня «нахмурилась ночь». Что касается «нельзя писать», то эта мысль много раз перевертывалась и взвешивалась, но, конечно, она — мысль и только покамест. А я, чем старше, тем радостнее готов всякие отвлеченности закидывать на чердак, как только они отслужили свою необходимую, увы, службу. И Вы великолепно говорите о том, что все-таки живете, — сторонитесь или нет, выкидывают Вас или нет.

Не принимайте во мне за «страшное» (слово, которое Вы несколько раз употребили в письме) то, что другие называют еще «пессимизмом», «разлагающим» и т. д. Я действительно хочу многое «разложить» и во многом «усумниться», но это — не «искусство» для искусства, а происходит от большой требовательности к жизни; оттого, что, я думаю, то, чего нельзя разложить, и не разложится, а только очистится. Совсем не считаю себя пессимистом.

Не знаю, когда удастся зайти к Вам, не могу обещать, что скоро, но, очевидно, наша встреча была не последней.

Всего Вам лучшего.

Ваш *Ал. Блок.*

Прошло несколько месяцев. Был, кажется, март. Я стоял в очереди в Доме ученых, в достопамятном «селедочном» коридоре с окнами на унылый фонтан. В темных дверях показался Александр Александрович. Он кого-то торопливо искал. Был в длинном пальто и в маленьком, натянутом до ушей картузике. Он увидел меня, приветливо улыбнулся, подошел и заговорил:

— Ищу жену. Сейчас иду наверх. Там заседание о золотом займе за границей. Хочу послушать. Это очень интересно.

Я спросил: «Ну, что же, теперь — *лучше?»*

Он подумал и, снова улыбаясь, пристально глядя мне в глаза, ответил очень решительно:

— Лучше.

Мы расстались. Я посмотрел ему вслед. Он опять торопливо пошел по коридору, на ходу (холодно, как мне показалось) поздоровался с Виктором Шкловским и исчез. Больше я его не видел.

Август 1923

2

ИЗ ОЧЕРКА «ИЗ СЕМЕЙНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

При первой встрече с Блоком всех поражала неподвижность его лица. Это отмечено многими мемуаристами. Лицо без мимики. Лицо, предназначенное не для живописи и не для графики, а только для ваяния. «Медальный» профиль Блока.

Он держался всегда очень прямо, никогда не горбился. Добавьте к этому спокойную медлительность движений (он не жестикулировал ни при чтении стихов, ни в разговоре), молчаливость, негромкий, ровный, надтреснутый голос и холодноватый взгляд больших светлых глаз изпод темных, чуть приспущенных век.

Таким он бывал во все времена своей жизни: и в самой первой юности, и в поздней молодости, и незадолго до смерти. Но именно только «бывал»: это была завеса или, точнее, забрало.

Блок внутренне находился в непрерывном движении. Как поэт и как человек, он рос медленно, но безостановочно. Он все время менялся. И когда сейчас я стараюсь воссоздать его в памяти, я вижу не один, а много последовательных его образов, между собой несхожих, и не знаю, который из них считать основным, каноническим.

Было в нем, впрочем, и кое-что, так сказать, постоянное, не зависевшее от возраста. Таков был его смех, очень громкий, ребячливый и заразительный. Но он раздавался редко и только в очень тесном кругу.

Такова же была его улыбка. Она несла другую, более ответственную функцию, чем смех. Особенность блоковской улыбки заключалась в том, что она преображала его коренным образом. Лицо, обычно довольно длинное и узкое, тускловатое по расцветке, словно подернутое пеплом, становилось короче и шире, пестрее и ярче. Глаза светлели еще более, вокруг них ложились какие-то новые, глубокие, очень теплые тени и сверкал почти негритянской белизной ровный ряд крепких зубов. Улыбка, как и смех, была очень наивная, ласковая и чистая. Видя ее, я всегда вспоминал слова Льва Толстого о том, что прекрасным можно назвать только такое лицо, которое от улыбки хорошеет. <...>

Теперь мне до очевидности ясно, что он был патологически застенчив. Это была тоже постоянная его черта, не побежденная до смерти и причинявшая ему, вероятно, много огорчений. Но она давала о себе знать только в быту и мгновенно преодолевалась, как только он вступал в исполнение каких-нибудь художественных обязанностей, будь то декламация чужих произведений, игра на сцене или чтение своих стихов. Так было у него и в детстве, когда он нескрываемо боялся людей, когда из-за этого даже хождение в гимназию было для него на первых порах мучительно и когда тем не менее дома, на

елке, нарядившись в костюм Пьеро, он без всякого стеснения показывал гостям фокусы и читал французские стихи *. <...>

Передо мной возникает другой его образ, отделенный от первого целым десятилетием.

Это было в 1907 или в 1908 году. Он был уже широко известен как поэт. Когда говорили о «декадентах», непременно упоминали и его, но не на первом месте, а большей частью на третьем: Бальмонт, Брюсов, Блок. Славы еще не было, всеобщего признания тоже пока не было: в широких читательских и писательских кругах была именно только известность, немного скандальная известность слишком дерзкого новатора. Почетное положение было завоевано к этому времени Блоком лишь в очень узком поэтическом кружке.

Помню такую сцену: отец читает нам с сестрой стихотворение Блока «Обман» («В пустом переулке весенние воды бегут, бормочут...»). Дойдя до стиха «Плывут собачьи уши, борода и красный фрак...», отец вскинул голову, вызывающе посмотрел на нас сквозь сильное пенсне, пожал плечами и захлопнул книгу. Это означало, что Саша на ложном пути. Собачьим ушам нет места в поэзии. Модернизм нравился отцу, как и большинству его сверстников, только в живописи, в архитектуре и в прикладном искусстве. Поколение наших отцов не приняло Блока.

В жизни Блока это был период наибольшей его замкнутости. На нем лежало клеймо одиночества.

Он много пил в это время, но на его внешности это никак не сказывалось. Портрет Сомова — это дешевая, упадочная стилизация. Блок никогда не был таким. Художник ничего не понял: не уловил ни формы, ни характера лица [1]. Блок был и теперь все тем же сильным, здоровым, степенным и опрятным человеком, даже крепче прежнего и мужественнее. От каратыгинских замашек не осталось и следа. Сдержанность манер стала граничить с некоторой чопорностью, но была свободна от всякой напряженности и ничуть не обременяла ни его, ни других. Основная особенность его поведения состояла в том, что он был совершенно одинаково учтив со

---

* В числе гостей был дальний родственник Блока, будущий поэт и переводчик Данта, М. Л. Лозинский, от которого я и узнал об этом выступлении Блока. (*Примеч. Г. Блока.*)

всеми, не делая скидок и надбавок ни на возраст партнера, ни на умственный его уровень, ни на социальный ранг.

На нем черный корректный сюртук, крахмальный стоячий воротничок, темный галстук. Студенческая щеголеватость сменилась петербургским уменьем носить штатское платье. Ничего богемного, ничего похожего на литературный мундир. Никакого парнасского грима. И тем не менее наружность его в то время была такова, что всякий узнал бы в нем поэта. Такой наружности не могло быть ни у чиновника, ни у коммерсанта, ни у актера, ни у ученого, ни у офицера, ни у живописца. Большего соответствия между внешним обликом поэта и сущностью его стихов я не могу себе представить.

Лавры занимательного рассказчика и остроумного собеседника никогда не прельщали Блока. Он был очень далек, принципиально далек от стремления овладевать разговором. Человек, стяжавший положение «души общества», вызывал в Блоке не зависть, а обратное чувство, не лишенное брезгливости. Но в юморе Блок знал толк, и временами, словно против воли, ронял убийственно жестокие эпиграммы. Не могу забыть, как он сказал мне однажды про некоего весьма популярного писателя: «А я все-таки продолжаю любить его, несмотря на то, что давно с ним знаком» [2].

Но, произнеся сквозь зубы что-нибудь подобное, он потом всегда как будто раскаивался. Гораздо больше любил он простые домашние шутки, которые смешили его своей наивной традиционностью. Они-то чаще всего и вызывали его детский хохот.

Шутливость и легкость выражений исключались начисто, когда Блок говорил о своей поэтической работе. Тон его в этих случаях становился таков, будто он толковал не о себе, а о другом человеке, отданном на его попечение. Так мог бы говорить отец о сыне, профессор о любимом ученике, честный врач о трудном пациенте. Речь шла в этих случаях не о «поэтическом даре», а о поэтическом долге и о поэтической ответственности. Это, на мой взгляд, одна из самых характерных черт Блока. <...>

Он видел мир не таким, каким видим его мы.

В этом я убедился воочию, встретив или, точнее говоря, подглядев как-то раз Блока на улице. Это длилось не больше одной минуты. Я ехал на площадке трамвая

по Троицкому мосту. Он шел пешком навстречу и не заметил меня. Было это летом, кажется, 1918 года.

Он глубоко заложил руки в карманы серого летнего пальто. Ноги в белых полотняных брюках двигались быстро, но как-то разбросанно и очень уж легко. Прямой, как всегда, бодро подняв курчавую голову, он весело посматривал по сторонам и то ли бормотал про себя, то ли напевал. С ним происходило что-то до того интимное, что я, наблюдая за ним исподтишка, почувствовал даже некоторую неловкость.

Это шел поэт, но не «поэт, изучающий нравы», и не Чехов с записной книжкой. Было совершенно ясно, что он находится в состоянии творчества, что он весь во власти каких-то только что «принятых в душу» ритмов, которые несомненно совпадали с ритмом его неестественно легких шагов. Он смотрел на свой «железно-серый» город [3], видел его и не видел, то есть видел в нем то, чего реально нет, но что, по его представлению, должно быть и некогда будет. Вокруг каждого предмета, вступавшего в поле зрения Блока, возникал нимб его поэтической мечты. Только эти «нимбы без числа» [4] он и видел. Перед светлыми глазами поэта был тот новый мир, который, по его словам, «неудержимо плывет на нас» [5], та новая, омытая Революцией Россия, что «глядит на н а с , — как он г о в о р и л , — из синей бездны будущего и зовет туда» [6].

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

1

Мне лет восемь, и я еду вдвоем с отцом от станции Подсолнечная. Колокольчик весело звенит, кругом — крутые овраги, горы с зелеными квадратиками молодой ржи. Проехали темный еловый лес, и как-то неожиданно на пригорке появилось небольшое Шахматово: несколько домов, деревни рядом не видно. Наконец осуществилась мечта моего детства: я увижу моего троюродного брата Сашу Блока, о котором мне так много рассказывали и который представляется мне каким-то прекрасным мифом.

Мы входим в дом. Появляются две незнакомые мне тети — тетя Аля и тетя Маня Бекетовы — ласково увлекают меня за собой и спрашивают у прислуги, где Саша. Кухарка отвечает: «Ушли за грибами, не скоро придут». Я первый раз в чужом месте, и мне как-то не по себе... Но Сашура возвращается скорее, чем его ждали. Высокий, светлый гимназист, какой-то вялый и флегматичный, говорит в нос. Но мне сразу становится интересно. Он издавал журнал «Вестник», при участии своих двоюродных братьев Кублицких. Тогда уж меня поразила и пленила в нем любовь к технике литературного дела и особенная аккуратность. Тетради журнала имели образцовый вид, на страницах были приклеены иллюстрации, вырезанные из «Нивы» и других журналов. Он подарил мне несколько таких картинок. Когда я дал ему в «Вестник» рассказ, он прислал мне коробку шоколадных сардин, написав, что это — в подарок, а не в виде *гонорара,* который будет выслан после.

Желая поговорить со мною на интересующую меня тему, он завел речь о богослужении. Предложил отслу-

жить вместе утреннюю литургию в саду и достал откуда-то подобие ораря [1]. Утром жители Шахматова были неожиданно разбужены довольно странными возгласами, доносившимися из сада.

2

Гнездо, из которого вылетел лебедь новой русской поэзии, — Шахматово, — было основано дедом Блока по матери, ботаником А. Н. Бекетовым. Помню его стариком. Некрасивый, но удивительно изящный, в серой крылатке, «старик, как лунь седой», мягкий, благородный, во всем печать французской культуры:

Сладко вспомнить за обедом
Старый, пламенный Париж [2].

В молодости, как убежденный натуралист, ненавидел классицизм, возмущался развратностью древних поэтов, но потом с гордостью говорил: «Саша переводит Горация в стихах».

Жена его, Елизавета Григорьевна, урожденная Карелина, приходилась мне двоюродной бабушкой. Это был сплошной блеск острот. Больная, прикованная к креслу, она не теряла прежней доброты и остроумия. Неустанно работала: переводила с английского Теккерея, Брет Гарта и др. Относилась с отвращением ко всякой метафизике и мистицизму. Терпеть не могла немцев, особенно Гете, и говорила, что он написал вторую часть «Фауста» для того, чтобы никто ничего не понял. Единственным приличным немцем считала Шиллера. В отношении церкви была настоящий Вольтер и называла церковную утварь «бутафорскими принадлежностями». И так неожиданно в этой обстановке прозвучали стихи молодого поэта:

Входите все. Во внутренних покоях
Завета нет, хоть тайна здесь лежит.
Старинных книг на древних аналоях
Смущает вас оцепеневший вид.

Здесь в них жива святая тайна бога,
И этим древностям истленья нет.
Вы, гордые, что создали так много,
Внушитель ваш и зодчий — здешний свет.

Напрасно вы исторгнули безбожно
Крикливые хуленья на творца.
Вы все, рабы свободы невозможной,
Смутитесь здесь пред тайной без конца [3].

3

В августе 1898 года я встречал Блока в перелеске, на границах нашего Дедова. Показался тарантас. В нем — молодой человек, изящно одетый, с венчиком золотистых кудрей, с розой в петлице и тросточкой. Рядом — барышня[4]. Он только что кончил гимназию и веселился. Театр, флирт и стихи... Уже его поэтическое призвание вполне обнаружилось. Во всем подражал Фету, идей еще не было, но пел. Писал стереотипные стихи о соловьях и розах, воспевал Офелию, но уже что-то мощное и чарующее подымалось в его напевах. Помню, как совсем околдовали меня его стихи: «Из потухавшего камина неясный сумрак ночи плыл»[5] и «Полный месяц встал над лугом».

В то время он увлекался декламацией шекспировских монологов. Декламировал на лужайках сада монологи Гамлета и Отелло, громко крича, отчаянно жестикулируя. В театральном отношении он был петербургским патриотом: презирал Ермолову и обожал Савину и Далматова. Мы играли с ним сцену из «Орлеанской Девы»: он был граф Дюнуа, я — король Карл.

Несколько лет потом мы не видались. Когда встретились, я заметил в нем большую перемену. Стал серьезен и задумчив, в стихах появилась метафизика — ἄγραφα δόγματα *[6], — эротические мотивы смолкли. Перешел с юридического факультета на филологический, серьезно принялся за Владимира Соловьева, за «Чтения о богочеловечестве»: «Заперся в храме и молится», говорила о нем мать. Начинался период «Прекрасной Дамы». На первой странице толстой тетради его стихов его крупным, каменным почерком было написано в виде эпиграфа:

Он имел одно виденье,
Непостижное уму[7].

Собирался писать кандидатское сочинение о чудотворных иконах божьей матери[8]. Потом охладел к этой теме, одно время думал заняться письмами Жуковского и наконец подал кандидатское сочинение о «Записках» Болотова[9].

---

* Неписаные догматы (*греч.*).

Пятого ноября 1902 года Блок писал моему отцу о своем намерении собрать для печати шуточные стихи Владимира Соловьева: «Этим делом я бы лично себе принес духовное очарование и, может быть, одоление той, которая тревожит меня более чем когда-либо, вознеслась *горделиво* и *кощунственно.* Перед ее лицом я еще дрожу и зябну, потому что не знаю ее, а другая посещает редко и мимолетно».

Здесь уже намечена двойственность стихов о Прекрасной Даме. Рядом с «ангелом-хранителем» Беатриче возносится другая, которую он тогда называл «Астартой». Рядом с «Тремя свиданиями» Владимира Соловьева возникают соблазны «Воскресших богов» и гностических концепций Мережковского. Часто лик Беатриче в душе поэта подменяется ликом Астарты, и у него является роковое предчувствие:

О, как паду — и горестно и низко,
Не одолев смертельные мечты!
Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты [10].

4

В 1900 году умер Владимир Соловьев. Именно в это время некоторым молодым людям открылась его мистика и его поэзия — поэзия Софии. Андрей Белый написал свою вторую «Симфонию», всю овеянную мистикой Соловьева, с грезами Мусатова о «Жене, облеченной в солнце», со старцем Иоанном, с весенним Новодевичьим монастырем.

23 декабря 1902 года Блок писал моему отцу: «Мне особенно важно, что мои стихи будут помещены в *московском* сборнике [11], — оттого, что ваша Москва чистая, белая, древняя, и я это чувствую с каждым новым петербургским вывертом Мережковских и после каждого номера холодного и рыхлого «Мира искусства». Наконец, последний его номер ясно и цинично обнаружил, как церемонно расшаркиваются наши Дягилев, Бенуа и проч. и как, с другой стороны, с вашей, действительно страшно и до содрогания «цветет сердце» [12] Андрея Белого. Странно, что я никогда не встретился и не обмолвился ни одним словом с этим до такой степени близким и милым мне человеком. По Москве бродил этой осенью и никогда не забуду Новодевичьего монастыря вечером.

Ко всему еще за прудами вились галки и был «гул железного пути» [13], а на могиле [14] — неугасимая лампада и лилии, и проходили черные монахини. Все было так хорошо, что нельзя и незачем было писать стихи, которые я тщетно пытался написать тут же».

В этот период у Блока несомненно было нечто от подлинной мистики Соловьева, стихи его были полны лазури, света и белизны лилий. <...>

5

В марте 1903 года я получил от Блока радостное письмо. Оно звучало как вариант к его стихам:

Вот они — белые звуки
Девственно-горних селений...
Девушки бледные руки,
Белые сказки забвений... [15]

Блок писал: «Тебе одному из немногих и под непременной тайной я решаюсь сообщить самую важную вещь в моей жизни. Я женюсь. Имя моей невесты — Любовь Дмитриевна Менделеева. Срок еще не определен, и не менее *года»* [16].

В следующем письме, где он просил меня быть у него шафером, Блок писал: «Радостно упрекать друг друга в «несвоевременном» (как полагают!) «прерафаэлитстве» (как говорят!). Но дело в том, что

Суровый Дант не презирал сонета,
В нем жар любви Петрарка изливал,
Его игру любил творец Макбета [17]

и многое другое все о том же... Тихий белый цвет, падающий с весенних яблонь, дает о себе весть».

Лето этого года Блок тихо проводил в Наугейме, с матерью, лечившейся от болезни сердца. Там написано прелестное стихотворение «Скрипка стонет под горой».

Свадьба была назначена на 17 августа. Я писал, что по некоторым обстоятельствам не могу быть. Блок прислал мне огорченное и ласковое письмо [18]. В последние дни дела сложились так, что я поехал.

Вечером 15 августа я неожиданно вошел в гостиную шахматовского дома, где Блок сидел с матерью и други-

ми родными. На пальце его уже блестело золотое кольцо. На другой день мы вдвоем с ним поехали в соседнее имение Менделеевых Боблово, где жила невеста Блока. Любовь Дмитриевна встретила нас на крыльце и показалась мне олицетворением стихов:

Месяц и звезды в косах,
Выходи, мой царевич приветный [19].

Ее кузины убирали балкон зеленью. В крепко строенном доме Дмитрия Ивановича Менделеева мы обедали. Я сидел недалеко от великого химика, и мне как-то странно было видеть в натуре лицо, столь известное по картинкам в журналах. Рядом со мною сел шафер невесты, молодой польский граф Развадовский, которого Блок называл «петербургским мистиком». Мы сразу с ним сошлись. Оба мы были настроены крайне ортодоксально и враждебно к новому религиозному движению, которое возглавлялось тогда Розановым и Мережковским. Граф был вегетарьянец. Д. И. Менделеев начал критиковать вегетарьянство. «Нельзя есть живое! — иронически говорил о н . — Ну, а рожь, разве не живое?» Затем он начал смеяться над метафизикой. Он плохо видел, и сын читал ему вслух историю древней философии. Дмитрий Иванович в первый раз узнал системы Пифагора и Платона, и все это ему казалось порядочными глупостями. Развадовский отмалчивался, иногда возражал тихо и сдержанно. «Главное — с м и р е н и е, — говорил он мне в п о л г о л о с а. — Надо не выделяться, быть незаметным, сливаться с окружающей средой».

Уже стемнело, когда подали лошадей. Блок, низко поклонившись, поцеловал руку своей невесте, и мы отъехали. Еще раз, в эту знаменательную для него ночь, ехал он через тот лес, через который привык проезжать верхом, глухою ночью. Ведь его роман начался очень давно, в лето после окончания им гимназии.

На другой день я приехал с розовым букетом к невесте, чтобы везти ее в церковь. «Я г о т о в а», — сказала Любовь Дмитриевна и поднялась с места. Я ждал у дверей. Начался обряд благословения. Старик Менделеев быстро крестил дочь дряхлой, дрожащей рукой и только повторял: «Христос с тобой! Христос с тобой!»

Наш поезд двинулся.

Священник церкви села Тараканова был, по выражению Блока, «не иерей, а поп», и у него бывали постоянные неприятности с шахматовскими господами. Это был старичок резкий и порывистый. «Извольте креститься», — покрикивал он на Блока, растерянно бравшего в пальцы золотой венец, вместо того чтобы приложиться к нему губами. Но после венчания Блок сказал мне, что все было превосходно и священник особенно хорош. За свадебным столом, уставленным майонезами, я опять был рядом с графом Развадовским. Никогда его не забуду. Маленький, беленький, худой и неврастеничный, но упорный и сильный в своей слабости. Скоро мы уже пили на «ты». Он говорил мне, что климат Петербурга ему вреден и что он едет в южные страны. Речь зашла о Польше, о католичестве и пресвятой деве. Граф готовился к пострижению в монахи. Осенью того же года Блок, со своей загадочной манерой выражаться, писал Белому о Развадовском: «Теперь один из нас, «верных испанской звезде», быть может, уже идет по дороге к Кракову в черной рясе» [20].

Обед подвигался к концу. Пили «за науку», пили за «работающего на духовной ниве», т. е. за приходского дьякона. Молодые должны были уезжать в Петербург с ближайшим поездом. Любовь Дмитриевна скоро показалась из своей комнаты, но уже не в белом, а изящном сером дорожном костюме. Отъехала коляска. Мы долго еще говорили с графом и жали друг другу руки. К вечеру я вернулся в опустевшее Шахматово, где около пруда бродили гуси — свадебный подарок местных крестьян.

6

Осенью 1903 года я продолжал с Блоком оживленную переписку. Но его настроение уже заметно менялось, «белая лилия» его поэзии отцветала. Прежние строгие, мистические ноты сменялись чем-то жутко-демоническим, к идеям Соловьева он охладевал. Но еще далеко было до полного расхождения наших путей.

В ноябре 1903 года [21] он мне писал: «Все *перемены* жизни, и мои лично, и твои, и наши, и те, и другие, и еще, и еще!.. все обвили меня белой пеленой, обязали к *чему-то.* Все, что было, отрезало пути к отступлению в

детство жизни. И это прекрасно, и к лучшему. Прежде, *когда-то* мне удавалось прожить твою строфу:

Тревога жизни отзвучала
И замирает далеко.
Змеиной страсти злое жало
В душе уснуло глубоко.

Теперь я почти поручусь, что это когда-то стоящее рядом навсегда остановилось в воспоминании только, и я бессилен понять такую близкую минуту. Тем более это издали поется мне каждый день теперь. И рядом с этим, например, Врубель, который меня затягивает и пугает реально, особенно когда вспомнить, что с ним теперь»[22].

Этой осенью нас обоих совершенно раздавила новая книга Брюсова «Urbi et Orbi». «Я едва выкарабкиваюсь из-под тяжести его стихов», — писал Блок о Брюсове. «Скоро сам напишу стихи, которые все окажутся дубликатом Брюсова». «На языке до сих пор Брюсов. Он не змеею сердце жалит, а как пчела его сосет». «Брюсов мучает меня приблизительно с твоего отъезда, ибо тогда я стал читать его книгу».

Здесь Блок говорит о моем приезде к нему в ноябре 1903 года, когда я останавливался у него в казармах Гренадерского полка. Тогда уже он показался мне не таким, каким я ожидал его встретить после августа. Прощаясь с ним в Шахматове, я усиленно советовал ему заняться чтением «Истории теократии». Но вместо этого нашел у него на столе «Будем как солнце» и «Только любовь» Бальмонта. В новых его стихах уже не было ничего похожего на «конец всеведущей гордыне», «ангельские крылья» и «леса лилий». Вместо этого появилось:

В роще хохочет под круглым горбом
Кто-то косматый, кривой и рогатый.

Но нашей дружбе, нашему единению в мистической идее Владимира Соловьева еще суждено было пышно расцвести на рождестве 1903 года, когда Блок с женой приехал ко мне в Москву.

7

И теперь еще в начале Спиридоновки, недалеко от Большого Вознесения, можно видеть белый двухэтажный дом, принадлежавший братьям Марконет. Когда-то в

уютной квартире первого этажа собиралось большое и веселое общество у моего дяди А. Ф. Марконета. Теперь хозяина уже не было в живых, вдова его была больна и временно находилась в лечебнице. В квартире жила только старая кухарка Марья. За неимением места у меня, я предложил Блоку остановиться в квартире Марконет. Прямо с вокзала Блок приехал ко мне и поспел к утреннему чаю. Здесь произошла первая встреча Блока с Белым — начало знакомства, имевшего такие важные последствия для них обоих. Они не видались раньше, но излишне было их знакомить. «Здравствуйте, Борис Николаевич», — твердо сказал Блок, пожимая руку Белому. Сели. Блок закурил и начал внешний разговор о Петербургском университете, о поэте Леониде Семенове, который ораторствует на митингах «в консервативном духе».

В тот же день Блок переехал на Спиридоновку, и в течение нескольких недель почти каждый вечер мы собирались в пустой квартире Марконет и просиживали с Блоком до глубокой ночи. Успех Блока и Любови Дмитриевны в Москве был большой. Молчаливость, скромность, простота и изящество Любови Дмитриевны всех очаровали. Бальмонт сразу написал ей восторженное стихотворение, которое начиналось:

Я сидел с тобою рядом,
Ты была вся в белом[23].

Ее тициановская и древнерусская красота еще выигрывала от умения изящно одеваться: всего более шло к ней белое, но хороша она была также и в черном, и в ярко-красном. Белый дарил ей розы, я — лилии. Поражало в ней отсутствие всякого style moderne. Она была очень милой и внимательной хозяйкой. Блок бегал в угловую лавочку за сардинками, Любовь Дмитриевна разливала великолепный борщ.

Днем я водил Блоков по кремлевским соборам, мы ездили в Новодевичий монастырь. Мы бродили между могил Новодевичьего монастыря в морозный, голубой январский день. Маковки собора горели, как жар. Весь собор был белый, полукруги икон под куполом — из ясной бирюзы с золотом. Мы долго смотрели на эти иконы. Визжал дикий ветер января, крутя снежинки. Блок говорил: «Особенно хороши эти иконы через дерево» (высокие, обнаженные дерева колыхались перед храмом). Наступала морозная, рдяная заря. Мы, иззябшие, возвра-

щались в город, на Спиридоновку. Вечером — интимное собрание в доме Марконет с Белым или вывоз в свет петербургских гостей.

Во дворе дома Марконет, во флигеле, жил одинокий старичок Владимир Федорович Марконет, учитель истории в отставке, на пенсии. Русское добродушие сочеталось в нем с веселостью и галантностью француза. Он сразу стал поклонником Блоков, не без кавалерства раскланивался перед Любовью Дмитриевной и каждый день забегал к нам со двора, чтобы бросить несколько шуток. Блок вспоминал его потом в письме: «Бывало, пройдет за окном Владимир Федорович в высокой шапке». Любовь Дмитриевна собиралась вышить ему подушку, но так и не собралась...

Казалось, нам с Блоком и Белым открывается долгий путь втроем, заключался прочный триумвират. А в действительности это была вспышка перед концом...

8

В январе Блок вернулся в Петербург завзятым москвичом. Петербург и Москва стали для него символами двух непримиримых начал. Все в Москве ему нравилось: и Белый, и Брюсов, и Рачинский, а Петербург продолжал олицетворяться «астартическими» Мережковским и Гиппиус. Но если раньше он писал о Москве «белая, древняя», то теперь из Петербурга она представлялась ему «розовой». Вообще белые краски исчезали с его палитры, заменялись розовыми, чтобы скоро погаснуть в черно-фиолетовых сплавах, в диком врубелевском колорите. Вскоре после возвращения в Петербург Блок написал длинное стихотворение[24], где изображалась борьба Петербурга с Москвой, антихриста Петра с патроном Московской Руси св. Георгием Победоносцем, кончающаяся победой «светлого мужа» и явлением «Девы алых вечеров». Блок остался недоволен этим стихотворением, находил его искусственным и наивным. Вот некоторые строфы:

Вдруг летит с отвагой ратной
— В бранном шлеме голова —
Ясный, кроткий, златолатный,
Кем возвысилась Москва.

Ангел, мученик, посланец
Поднял звонкую трубу.
Слышу коней тяжкий танец!
Вижу смертную борьбу!

Светлый муж ударил деда!
Белый — черного коня!
Пусть последняя победа
Довершится без меня.

Я бегу на воздух вольный,
Жаром битвы упоен.
Бейся, колокол раздольный!
Разглашай веселый звон!

Чуждый спорам, верный взорам
Девы алых вечеров,
Я опять иду дозором
В тень узорных теремов.

Не мелькнет ли луч в светлице?
Не зажгутся ль терема?
Не сойдет ли от божницы
Лучезарная сама?

По приезде в Петербург Блок нашел письмо из-за границы от графа Развадовского, которое выписал мне целиком. Граф между прочим писал: «L'homme propose, Dieu dispose *. К сожалению, нам не пришлось увидеться. Случилось мне, что я покинул Петербург, и, вероятно, навсегда. Петербурга я не люблю, и мне его не жаль. Слишком в нем много холода, много эгоизма. А я все искал в людях сердца... Запад мне гораздо более по душе, чем Восток... Через месяц едем в Рим. Что делает «Новый путь», что Мережковский, что Розанов и их последователи? *Расширяется ли власть тьмы?»*

Брюсов, с которым Блок познакомился в Москве [25], произвел на него потрясающее впечатление. Брюсов был в зените своего таланта, он читал свои новые стихи «Конь блед» и старые «Приходи путем знакомым». Напев хореев «Конь блед» заметен в стихотворении Блока «Утром, когда люди старались не шевелиться», «Жду я смерти близ денницы» Блок сам назвал «Подражанием», разумея «Приходи путем знакомым». Вообще в этот период Блок подошел к Брюсову как в темах, так и в ритмах своей поэзии. Когда я написал ему небольшую сравнительную характеристику его поэтических приемов и приемов Брюсова, он мне отвечал: «Я совершенно не могу надеяться вырасти до Брюсова, даже теперешнего. *А что*

* Человек предполагает — бог располагает (*фр.*).

будет его будущая книга! Буду ждать с восхищением и надеждою».

И в том же письме: «Чувствую, что тут наступает что-то важное для меня, и именно после наших мистических встреч в Москве. Во всяком случае могу формулировать (донельзя осторожно) так: во мне что-то обрывается а наступает новое в положительном смысле, причем для меня это *желательно,* как никогда прежде. Я чувствую неразрывную связь с Мережковским *только* как с *прошлым* и в смысле *отучения* от *пошлости* и пр. Теперь меня пугает и тревожит Брюсов, в котором я вижу однако неизмеримо больше света, чем в Мережковских. Вспоминаю, что апокалиптизм Брюсова (т. е. его стихотворные приближения к Откровению) не освещены исключительно багрянцем или исключительно рациональной белизной, как у Мережковских. Что он *смятеннее* их *(истинный* безумец), что у него есть *детское* в выражении лица, в неуловимом, что он может быть *положительно* добр. Наконец, что он без сомнения носит в себе возможности многого, которых Мережковский совсем не носит, ибо *большего* уже не скажет! Притом мне кажется теперь, что Брюсов всех крупнее — и Мережковского. Ах, да! Отношение Брюсова к Вл. Соловьеву — положительное, а М<ережковского> — вполне отрицательное. Как-то М<ережковский> сказал: «Начитались Соловьева, что ж — *умный* человек» <!?!>. Вообще, я могу припомнить много словечек Дм<итрия> Серг<еевича>, не говорящих в его пользу. Но он важен и считаться с ним надо».

9

Весной 1904 года Блоки рано, в апреле, переехали в. Шахматово, «главное для ландышей», как писал Блок Белому. Я держал экзамен зрелости и между трудными для меня экзаменами по математике успевал приезжать в Шахматово, хотя от станции Подсолнечная приходилось ехать на лошадях около двадцати верст. Блок и Любовь Дмитриевна жили вдвоем во флигеле, никого из родных не было. Имение было сдано в аренду латышу Мартину, которого я называл «морским котом» из Фаустовой кухни ведьмы.

Деревья еще едва распускались и свистали редкие птицы, когда я в первый раз подъехал к шахматовскому

флигелю. Блок был одет в русскую рубашку, помолодевший, я назвал его «греческим мальчиком». Перед закатом солнца мы ходили в лес за фиалками. Любовь Дмитриевна, несмотря на свое цветущее здоровье, скоро уставала, садилась на пень и завертывала фиалки мохом.

На перекрестке, где даль поставила,
В печальном весельи встречаю весну.
На земле еще жесткой
Пробивается первая травка
И в кружеве березки —
Далеко — глубоко —
Лиловые скаты оврага.
Она взманила,
Земля пустынная![26]

В одну из этих весенних поездок в Шахматово я нечаянно сел в поезд, не останавливавшийся до Клина. Уже вечерело, когда я слез в Клину и стал нанимать лошадей до Шахматова. Это было порядочно далеко. Холодело, а на мне было очень легкое пальто. Но что же делать? Не возвращаться же в Москву! Нанял лошадей и поехал. Опять пошли горы, обрывы, овраги... Заря тускло краснела. У меня в голове подымались строфы:

Отзовись, отзовись! Из-за тучи сверкни
Запоздалой зари огоньком.
О свидании нашем, как в прежние дни,
Не скажу, не скажу ни при ком...

Иль опять, не блеснувши, уйдешь за туман.
И во мраке измучаюсь я?
Иль последний обет — только новый обман,
Золотая царица моя?[27]

Я проезжал мимо имения Менделеевых, Боблова, где в прошлом году пировал на свадьбе Блока. Уже везде были погашены огни, соловьи трещали в парках. Когда я достиг Шахматова, конечно, там уже давно спали. Латыш Мартин встретил меня грозным окриком. Вообще мы с ним не очень ладили, и после одной моей выходки он заявил: «Серега надо на большой кнут». У него была дочка Катя, невзрачная и белоглазая, и я развлекал Блоков стихами:

Там, там блаженство, там отрада,
Туда летит моя душа.
Где на заре скликает стадо
Младая дочка латыша.

Я к ней приду в начале лета
И, покрасневши, молвлю: Кет,
От декадентского поэта
Примите ландышей букет.

И станет жизнь блаженным раем:
Букет мой Катя примет, ты ж
Будь в это время за сараем
И не смотри на нас, латыш.

Я постучался в окошко Блоку. Он узнал мой голос, оделся и впустил меня. Я начал рассказывать мое бедственное путешествие от Клина. Из другой комнаты раздался сострадательный голос Любови Дмитриевны: «Несчастный!»

Она тоже оделась и напоила меня чаем. Блок проводил меня на место ночлега, в большой дом. Заря уже занималась, кричал петух. Блок с радостью смотрел на зарю: эту ночь он чувствовал какую-то тревогу, которая утихала с рассветом.

Немного поспав, я сел на балконе большого шахматовского дома и принялся за математику. Блок с Любовью Дмитриевной прошли гулять в лес. На Любови Дмитриевне был надет черный берет, в котором Блок играл Гамлета, в год окончания им гимназии, когда были написаны первые стихи к Офелии. Когда мне надо было возвращаться в Москву, Блок и Любовь Дмитриевна проводили меня до станции.

Этой весной, собственно, и кончаются светлые воспоминания моей дружбы с Блоком.

Письма его становились холоднее. 21-го октября 1904 года он писал мне: «Почему ты придаешь такое значение Брюсову? Я знаю, что тебя несколько удивит этот вопрос, особенно от меня, который еле выкарабкивается из-под тяжести его стихов. Но ведь что прошло, то прошло. Год минул как раз с тех пор, как «Urbi et Orbi» начало нас всех раздирать пополам. Но половины понемногу склеиваются, раны залечиваются, хочешь другого... Мне искренно кажется, что «Орфей» и «Медея» далеко уступают «Urbi et Orbi». Почти так же немного выше «Конь блед». И так должно быть всегда после затраты чудовищных сил (а ведь Брюсов иногда тратил же их «через силу»). После сильного изнурения пища сразу в рот не полезет. Конечно, при М. Д. [28] «Орфей» разросся перед тобой, но... прислушайся к его «субстанции»: много перебоев, словом, то, что кажется «внешним нут-

ром», на «авось»; много перенятого у самого себя То же в «Медее», которая, однако, выше».

Так резко изменилось его настроение за какие-нибудь полгода. Вместо прежнего бодрого пафоса в тоне писем зазвучало что-то мрачное и разочарованное. В том же письме он говорит: «Конечно, после всех наших споров о Мережковском, мне продолжает быть близко и необходимо «соловьевское заветное», «теократический принцип». Чтобы чувствовать его теперь так исключительно сильно (хотя и односторонне), как прежде, у меня нет пока огня. Кроме того, я не почувствую в нем, вероятно, никогда того, что есть специально Христос».

То, что недавно нас связывало, уже казалось Блоку «односторонним».

В январе 1905 года он усиленно звал меня в Петербург. Отношение его к Мережковским изменилось, он писал, что они *«совсем* другие, чем когда-то. Дмитрий Сергеевич и говорить нечего — ничего, кроме прозрачной белизны, нет. Зинаида Николаевна тоже бела, иногда (часто) — совсем». Я не поехал. А летом 1905 года была моя последняя юношеская поездка в Шахматово.

Пути наши с Блоком круто разошлись. Переписка оборвалась. Скоро она сменилась ожесточенной журнальной полемикой.

10

<...> Мы ожесточенно нападали друг на друга от 1907 до 1910 года. Затем полемика затихла. Появились стихи Блока «На поле Куликовом», где я радостно узнал мощные и светлые звуки прежнего певца «Прекрасной Дамы». <...>

Осенью 1910 года я написал Блоку приветливое письмо, с предложением ликвидировать наш раздор. Он радостно отозвался. 23 ноября 1910 года он писал мне: «Твое письмо очень радостно мне. Да, надо и будем говорить... Я был бы рад видеть тебя скорее».

Но прежней дружбе не суждено было воскреснуть. Мы продолжали смотреть в разные стороны. Встречи наши были ласковы, дружелюбны, но внешни. Вместо первоначальной любви, последовавшей вражды, наступила благосклонная отчужденность.

11

В апреле 1911 года я навестил Блока в Петербурге. Его не было дома. Я сел подождать в кабинете и вникал в стиль его комнаты. Все было очень просто, аккуратно и чисто. Никакого style moderne, ничего изысканного. Небольшой шкап с книгами, на первом месте — многотомная «История России» Соловьева.

Пришел Блок. Из передней я услыхал его обрадованный голос: «Ах! пришел!»

Очень он был нежен. Вся семья — Любовь Дмитриевна, мать Блока Александра Андреевна и вотчим его, полковник Франц Феликсович Кублицкий, — встретили меня как воскресшего из мертвых. Не могу не помянуть добрым словом ныне уже покойного Кублицкого. Худой, поджарый, высокий, с черными усами и кроткими черными глазами, мягкий, деликатный и в то же время убежденный военный, бравый, смелый, обожаемый солдатами. В 1915 году он командовал но южногалицийском фронте и вернулся в Петербург в шинели, забрызганной кровью. При этом он всегда болел туберкулезом легких и кашлял.

Мы условились с Блоком, что я приеду летом в Шахматово. Не веселый это был приезд. Блок жил с матерью в большом доме. Любовь Дмитриевна была где-то далеко на гастролях. Незадолго перед тем Блок получил наследство от отца, профессора Блока, умершего в Варшаве, и перестроил большой шахматовский дом. Появились новые, комфортабельные верхние комнаты, и здесь все было чисто, аккуратно, деловито. Блок сам любил работать топором: он был очень силен.

«Хорошо, что ты приехал, — встретила меня Александра Андреевна. — Саша страшно скучает. Сегодня мы говорили: хоть бы страховой агент приехал!»

В заново отделанном доме нависала тоска. Чувствовался конец старой жизни, ничего от прежнего уюта. Блок предавался онегинскому сплину, говорил, что Пушкина всю жизнь «рвало от скуки», что Пушкин ему особенно близок своей мрачной хандрой.

Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?[29]

На столе у Блока лежали корректурные листы четвертого сборника стихов[30], он давал мне их на утренние прогулки. Здесь были «Итальянские стихи», написанные Блоком во время поездки в Италию, год назад, летом[31].

Путешествие по Италии имело для Блока большое значение. Уже в его ранних стихах было много от итальянских прерафаэлитов: и золото, и лазурь Беато Анжелико, и «белый конь, как цвет вишневый»[32], как на фреске Беноццо Гоццоли во дворце Риккарди, и что-то от влажности Боттичелли. И действительно, в Умбрии в нем ожили напевы стихов о Прекрасной Даме.

С детских лет — видения и грезы,
Умбрии ласкающая мгла.
На оградах вспыхивают розы,
Тонкие поют колокола.

Особенно тонко почувствовал он Равенну, где «тень Данта с профилем орлиным» пела ему о «новой жизни». В стихотворении «Успение» он воспроизвел всю прелесть треченто:[33]

А выше по крутым оврагам
Поет ручей, цветет миндаль,
И над открытым саркофагом
Могильный ангел смотрит вдаль!

Здесь вновь дыхание миндальных цветов, как в юношеском подражании Экклесиасту:

Миндаль цветет на дне долины,
И влажным зноем дышит степь[34].

Но в некоторых из итальянских стихов меня неприятно поразили мотивы «Гавриилиады»[35]. Когда я сказал об этом Блоку, он мрачно ответил: «Так и надо. Если б я не написал «Незнакомку» и «Балаганчик», не было бы написано и «Куликово поле».

За обедом мы говорили о моей предстоящей поездке в Италию. Был серый, сырой день, белый туман окутывал болота. «Поезжай в Умбрию, — сказал Блок. — Погода там обыкновенно вот как здесь теперь».

На стене висела фотография Моны Лизы. Блок указывал мне на фон Леонардо, на эти скалистые дали, и говорил: «Все это — она, это просвечивает сквозь ее лицо». Но в общем разговор не клеился. Мы больше шутили. Я уехал из Шахматова очень скоро и больше не видал его.

Летом 1912 года, когда в моей жизни произошел весьма радостный для меня перелом[36], я, вспомнив старое, написал Блоку интимное письмо, напоминавшее нашу прежнюю переписку. Он отвечал мне с большим чувством, но это было его последнее письмо ко мне[37].

Мы виделись еще несколько раз в Петербурге. Раз он увез меня к себе пить чай после моего доклада в Религиозно-философском обществе. Он жил тогда вместе с матерью и отчимом Кублицким[38], который был генералом и занимал прекрасную квартиру на Офицерской, так непохожую на бедную и темную квартиру казарм Гренадерского полка, где протекала юность Блока и первые годы его брачной жизни. Оба мы были тогда всецело поглощены войной и Галицийский фронтом.

Грусть — ее застилает отравленный пар
С галицийских кровавых полей...

Было то в темных Карпатах,
Было в Богемии дальней...[39]

То же пелось и мне, я уезжал во Львов...

Последний раз виделись мы с моим троюродным братом в октябре 1915 года. Он жил вдвоем с Любовью Дмитриевной, которая играла на сцене в театре Яворской. Очень он был грустен. Говорил, что совсем не пишет стихов и что, может быть, ему, как Фету, суждено петь только в юности и старости. Когда я отказался от третьей котлеты, он вдруг как-то взволновался и испуганно проговорил: «Это ужасно, это ужасно! ты ничего не ешь». О «главном» мы не говорили, зато в некоторых вопросах «не главных» очень поняли друг друга. Блок был страшно увлечен Грибоедовым, говорил даже: «Он мне дороже Пушкина». Развивал мысль о «пушкинско-грибоедовской культуре», которая, по его мнению, была уничтожена Белинским, отцом современной интеллигенции. Он готовил к печати издание стихов Аполлона Григорьева, где в предисловии порядком доставалось «неистовому Виссариону».

Больше мы не встречались. В августе 1921 года в Отнаробе[40] городка Балашова, где я жил, была получена телеграмма о смерти Блока. Вскоре я получил от Белого письмо с подробным описанием последних месяцев жизни друга моего детства. Образ молодого Блока возник передо мною, и мне захотелось поделиться моими воспоминаниями с теми, кому дорога память преждевременно угасшего поэта.

Декабрь 1921

М. А. РЫБНИКОВА

БЛОК В РОЛИ ГАМЛЕТА И ДОН-ЖУАНА

1

Это было летом 1898 года.

В семье профессора Менделеева, в Боблове, барышням хотелось устроить спектакль. Но не было партнера на мужские роли. И вот однажды к дому подъехал всадник, вошел и познакомился.

Юноша в бархатной блузе [1], с хлыстиком в руках, Александр Александрович Блок. Ему семнадцать лет, он только что кончил гимназию, живет в семи верстах, в Шахматове. Он, по привычке, пропадает целые дни, до заката, из родимой усадьбы.

Встречает жадными очами 9
Мир, зримый с высоты седла.
(«Возмездие»)

Теперь, попав в эту среду шумного молодого общества, он будет возвращаться домой еще позже, при звездах ночью.

Спектакль решен. В нем принимает участие Анна Ивановна, супруга профессора Менделеева, мать Любовь Дмитриевны; она первая радуется, что найден нужный актер.

На вопрос, что ставить, у юноши готов ответ: «Гамлета». Монологи Гамлета знает он наизусть, так же как монологи Ромео и Отелло *, но «Гамлет» привлекает неодолимо. Из трагедии выбирают несколько сцен, и роли распределяются так: Гамлет — Александр Александрович, он же и король Клавдий, Офелия — Любовь Дмитриевна, Полония — нет, королева — Серафима Дмитриевна Менделеева, Лаэрт — Лидия Дмитриевна, ее сестра.

---

* Свидетельство М. А. Бекетовой, стр. 55 написанной ею биографии. (*Примеч. М. А. Рыбниковой.*)

Обе они внучки профессора и подруги Любовь Дмитриевны *.

В доме, конечно, находятся и враги спектакля, младшие братья артисток, которые строят козни и подсмеиваются, их не пускают на репетиции и ведут с ними борьбу; но есть и друзья — это сама Анна Ивановна; она руководит репетициями, делает замечания, готовит костюмы и гримирует. Она внутренно ближе всех пока что понимает постановку «Гамлета» и мечты о нем Александра Александровича. Девицы Менделеевы еще очень юны, и новый член труппы смотрит на них чуть-чуть свысока, но с ней, с Анной Ивановной, он беседует подолгу. Б этой семье она первая знает об его стихах и выражает ему сочувствие [2].

Что касается самого профессора Менделеева, он очень далек от этой суеты. Этот постоянный гость, студент Блок, занимает его лишь постольку, поскольку он является внуком его товарища по университету профессора Бекетова.

На репетициях ждут с волнением, кто как прочтет, особенно он — Гамлет. И артистки несколько разочарованы его декламацией; кажется, что читает немного в нос и нараспев. Потом это впечатление сгладилось, и пришло признание его манеры чтения.

Вот произносит Гамлет свой монолог «Быть иль не быть?».

Является Офелия.

Офелия! о нимфа! помяни
Мои грехи в твоей святой молитве!

И вдруг неожиданность: артистка, которой, кстати сказать, всего пятнадцать лет, отвечает ему скороговоркой: она не хочет играть на репетициях. То же и в следующей сцене, где она является сумасшедшей. Всеобщий протест. Но Любовь Дмитриевна заявляет, что она сыграет свою роль на спектакле, а пока она проведет ее лишь вчерне.

Общее разочарование, но она непреклонна; ее подруги знают, что она действительно уходит иногда в лес, чтобы там наедине прорепетировать Офелию, и потому становятся отчасти на ее сторону.

Конечно, и Александр Александрович отделывал свои монологи дома. Он вспоминает в своей автобиографии об

---

* Рассказы двух последних лиц и дали биографическую основу моего очерка. (*Примеч. М. А. Рыбниковой.*)

этом периоде своей жизни: «Внешним образом готовился я тогда в актеры, с упоением декламировал Майкова, Фета, Полонского, Апухтина, играл на любительских спектаклях, в доме моей будущей невесты, Гамлета, Чацкого, Скупого рыцаря и... водевили».

Участницы этого спектакля подтверждают, что действительно самим репетициям придавали значение сравнительно малое, и устраивали их немного, наполняя их шумом, смехом и милым дурачеством. Это был самый обычный любительский спектакль, и устраивался он, как полагается, в сенном сарае.

Приготовления больше велись по части костюмов, эстрады, декораций и освещения. Нужно было сделать подмостки, экран, устроить скамьи для зрителей, найти достаточное количество ламп. И вот молодежь в суете с плотниками, столярами, домашними художниками. Эти дни, последние перед спектаклем, Александру Александровичу и приехать нужно пораньше, и уехать попозже.

В день спектакля сарай битком набит зрителями. Всё окрестные помещики, родственники Менделеевых и крестьяне. У экрана целых пятнадцать ламп, настоящий громадный занавес. Театр!

Вид настолько необычный в деревне, что среди зрителей даже ходит легенда, что это настоящие актеры из Москвы. Труппа гордится этим мифом и волнуется еще сильнее.

Гримируются и одеваются в доме. И вот нужно, накинув шаль или плащ, пробежать через аллеи парка и юркнуть незаметно мимо зрителей за кулисы. Последние минуты, нетерпение растет, наконец, последняя запоздавшая актриса на месте, и можно начинать.

Начинает Александр Александрович. Он выступает перед закрытым занавесом и сообщает зрителям основное содержание пьесы. В отрывках она рискует остаться непонятной.

Наконец, взвивается занавес, и на сцене проходят один за другим монологи Гамлета.

Блок почти не загримирован для роли Гамлета, на нем темная куртка, белые отложные воротнички и манжеты, черные чулки и туфли; шпага придает ему новый оттенок — он датский принц. С этой шпагой через год он будет играть и Дон-Жуана и Скупого рыцаря. Взволнованно и напряженно проходят эти сцены.

Как вел тогда поэт эту роль — об этом с трудом вспоминают его сверстницы. Одно только свидетельство

показательно и любопытно. Смотря через много лет Качалова в роли Гамлета, игравшая когда-то королеву Серафима Дмитриевна подумала: «Нет, у нас было лучше. Качалов дает слишком много простоты. Блок был царственнее и величавее, это был действительно принц датский».

Особенно проникновенно прозвучала тогда эта фраза:

Офелия, о нимфа, помяни
Мои грехи в твоих святых молитвах.

Он произнес ее медленно-медленно, раздельно и молитвенно; какая-то связь с той, кому ее говорил здесь Гамлет, переполняла эти слова чувством и мыслью.

Но вот, в ходе действия, Блок уже должен явиться королем. Это очень просто: на голове корона, прикрепляются борода и усы, на плечи наброшена королевская мантия. Он сидит на сцене рядом с королевой, и врывается бурно Лаэрт. Он в берете с пером, со шпагой, за ним вбегает два-три человека, за сценой шум, звуковые эффекты, производимые двиганьем стульев, но, наконец, тишина; и все сосредотачиваются на бедной Офелии. Она в белом платье с лиловой отделкой, волосы распущены, на голове венок из искусственных роз, в руках целый сноп настоящих свежих цветов. Лаэрт, король и королева, актеры и зрители одновременно, устремлены взорами к ней; из уст Лаэрта раздается:

Тоску и грусть, страданья, самый ад —
Все в красоту она преобразила.

2

Роль Офелии удалась. И мы знаем: в стихах этого 1898 года Блок много раз вспоминает это имя. <...>

Зимой он встречается с Менделеевыми в Петербурге, там собирается та же шумная театральная труппа, и в один из веселых вечеров, когда особенно захотелось пошутить и подурачиться, написали все вместе, во главе с Блоком, «Оканею», драму в двух актах, действие коей происходит на планете Венере. Оканея — имя героини. Драма полна комических неожиданностей, написана незамысловатыми стихами; действуют в ней влюбленные герои и героини, духи и ведьмы. Пьесу эту вся менделеевская молодежь знала наизусть и собиралась ставить.

Сколь она ни малозначительна (она не напечатана, и вряд ли нужна она печати), но связь ее с шекспировским театром — очевидна. Особенно со «Сном в летнюю ночь»: те же неожиданности и нелепости, комическая влюбленность и духи [3].

Кроме «Гамлета», летом 1898 года сыграны были также сцены из «Горя от ума». Любительский выцветший снимок хранит память об этом тоже весьма незамысловатом спектакле. Балконная скамеечка, за нею горшок комнатных цветов: на скамейке Чацкий в студенческой тужурке (лишь пуговицы изменены), с воротничками и галстуком совсем не грибоедовских времен; молодая, веселая полуулыбка на молодом лице — это Блок в «Горе от ума». Рядом Софья в более выдержанном стиле этой эпохи, прическа и костюм двадцатых годов, и сзади горничная Лиза, наклоненная к своей барышне. Снимались в Боблове на балконе, дня через два после спектакля.

Судя по стихам той поры, эти грибоедовские сцены не произвели такого впечатления на Блока, как сцены шекспировские. Да и готовились к ним не так, как к «Гамлету», с меньшим подъемом.

На следующее лето, 1899 года, внимание актеров останавливается на Пушкине. Эта столетняя годовщина со дня рождения великого поэта, которая праздновалась по всем городам и селам России, нашла также свой отклик и в Боблове: задумали постановку пушкинских вещей. Те же маленькие снимочки 9 на 12 передают нам молодого поэта в роли Самозванца, у ног Марины, в обличии Барона, с монетой в руке у сундучка с деньгами, и, наконец, Дон-Жуаном, стоящим у кресла Донны Анны. Опять та же простота в костюмах, особенно в костюме Дон-Жуана, который дан по внешности весьма примитивно, с явно накладными усами и в одежде, только что снятой с Самозванца и тут же наскоро пригнанной к роли. (Это был голубой атласный кунтуш, отделанный серебром, специально сшитый мамой и тетей для роли Лжедмитрий.)

Воспоминание о «Каменном госте» хранит еще следующий совсем деревенский анекдот: Командора играл один из крестьянских подростков, и его появление, переодетого и напудренного, в самом драматическом финале этой маленькой пушкинской трагедии вызвало ремарку из публики: «Вишь, Ваньку-то мукой намазали». Взрыв хохота, Донна Анна лежит в обмороке, потрясаемая смехом, и бедный Дон-Гуан не знает, что ему делать:

смеяться ли вместе со всеми или трагически умирать на подмостках.

Сцена у фонтана была внешне обставлена блестяще. Один юный инженер, из партии враждебной бобловскому театру, решил показать свое искусство: устроил на сцене настоящий фонтан, который бил и играл при свете луны, на фоне настоящих деревьев.

Но и здесь не обошлось без помехи. Когда поднимался занавес, то он занес с собой вверх несколько травинок (сцена была усыпана свежей травой), это мешало смотреть, так как сцена была довольно низкой. И Дмитрию все хотелось сделать такой жест, чтобы задеть как бы нечаянно эту траву и смахнуть ее. Это отвлекало и мешало играть. И еще одно обстоятельство портило дело. Однажды на репетиции Блок оговорился:

Монашеской неволею скукчая.

Поднялся смех, хохотал и он сам. Но всякий раз, дойдя потом до этого места, он или останавливался, ИЛИ говорил «скукчая». На спектакле эту строчку он сказал нарочно потише, чтобы не попасть впросак.

Одним словом, в этом Пушкинском вечере было не без приключений, которым всегда полагается быть на любительской сцене.

Играли в Боблове и на третье лето, 1900 года, но Блок уже охладевал к этим затеям, почитая себя несколько выросшим. В мае 1900 года он, видимо, под влиянием возвращения в деревню, в Шахматово и Боблово, вспоминает пережитое в третьем году уже как отошедшее:

Близка разлука. Ночь темна. 7,5
А все звучит вдали, как в те младые дни:
Мои грехи в твоих святых молитвах,
Офелия, о нимфа, помяни.
И полнится душа тревожно и напрасно
Воспоминаньем дальним и прекрасным.

У Менделеевых ставят сцену из «Женитьбы», он не участвует, так как идут лишь женские роли. Затем в течение двух месяцев репетируют «Снегурочку», но не доводят до конца. Блок — в роли Мизгиря, Любовь Дмитриевна — Снегурочка. В это третье лето Александр Александрович играл только в водевиле «Художник Мазилка», вел главную роль и, говорят, был очень комичен.

Сентябрь 1922

Л. Д. БЛОК

И БЫЛЬ И НЕБЫЛИЦЫ О БЛОКЕ И О СЕБЕ

Dichtung und Wahrheit.
Goethe *

И к былям небылиц без счету прилыгал.
<Крылов>[1]

— Да, наверно все так и было!
— Мои рассказы, как все человеческие слова, правдивы наполовину.
— Да, наверно все так и было. Да, я это утверждаю! Потому что, слушая вас, я страдал...

«Отелло» А. де Виньи

<Благословляю все, что> было.
Я лучшей доли не искал.
О, сердце, сколько ты любило!
О, разум, сколько ты пылал!

А. Блок

Непробудная... Спи до срока.
<А. Блок>[2]

<1>

Когда писатель умер, мы болеем о нем не его скорбью. Для него нет больше скорби, как отдаться чужой воле, сломиться.

Ни нужда, ни цензура, ни дружба, ни даже любовь его не ломали; он оставался таким, каким хотел быть. Но вот он беззащитен, он скован землей, на нем лежит

* Поэзия и правда. *Гете* (*нем.*).

камень тяжелый. Всякий критик мерит его на свой аршин и делает таким, каким ему вздумается. Всякий художник рисует, всякий лепит того пошляка или глупца, какой ему по плечу. И говорит: это Пушкин, это Блок. Ложь и клевета! Не Пушкин и не Блок! А впервые покорный жизни, «достоянье доцента», «побежденный лишь роком»...[4]

Мне ль умножать число клеветников? Ремесленным пером говорить о том, что не всегда давалось и перу гениальному? А давно уж твердят, что я должна писать о виденном. И я сама знаю, что должна: я не только видела, я и смотрела. Но чтобы рассказать виденное, нужна точка зрения, раз виденное воспринималось не пассивно, раз на него смотрела. Годятся ли те прежние точки зрения, с которых смотрела? Нет, они субъективны. Я ждала примиренности, объективности, историзма. Нехорошо в мемуарах сводить счеты со своей жизнью, надо от нее быть уже отрезанным. Такой момент не приходит. Я все еще живу этой своей жизнью, болею болью «незабываемых обид»[5], выбираю любимое и нелюбимое. Если я начну писать искренно, будет совсем не то, что вправе ждать читатель от мемуаров жены Блока.

Так было всю жизнь! «Жена Александра Александровича, и вдруг!..» Они знали, какая я должна быть, потому что они знали, чему равна «функция» в уравнении: поэт и его жена. Но я была не «функция», я была человек, и я-то часто совершенно не знала, чему я «равна», тем более — чему равна «жена поэта» в пресловутом уравнении. Часто бывают, что нулю. И так как я переставала существовать как «функция», я уходила с головой в свое «человеческое» существование.

Упоительные дни, когда идешь по полуразвалившимся деревянным мосткам провинциального городка, вдоль забора, за которым в ярком голубом небе уже набухают почки яблонь, залитые ясным солнцем, под оглушительное чириканье воробьев, встречающих с не меньшим восторгом, чем я, эту весну, эти потоки, и солнце, и <шум> быстрых вод тающего, чистого не по-городскому снега. Освобождение от сумрачного Петербурга, освобождение от его трудностей, от дней, полных неизбывным пробиранием сквозь путы. Легко дышать, и не знаешь, бьется ли твое сердце как угорелое или вовсе замерло. Свобода, весенний ветер и солнце...

Такие и подобные дни — маяки моей жизни; когда оглядываюсь назад, они заставляют меня мириться со многим мрачным, жестоким и «несправедливым», что уготовала мне жизнь.

Если бы не было этой сжигающей весны 1908 года [6], не было других моих театральных сезонов, не было в жизни этих и других осколков своеволья и самоутверждения, не показалась ли бы я и вам, читатель, и себе — жалкой, угнетенной, выдержал ли бы даже мой несокрушимый оптимизм? Смирись я перед своей судьбой, сложи руки, какой беспомощной развалиной была бы я к началу революции! Где нашла бы я силы встать рядом с Блоком в ту минуту, когда ему так нужна оказалась жизненная опора?

Но какое дело до меня читателю? С теми же поднятыми недоуменно бровями, которыми всю жизнь встречапи меня, не «функцию», все «образованные люди» («Жена Блока — и вдруг играет в Оренбурге?!»), встретил бы и всякий читатель все, что я хотела бы рассказать о своей жизни. *Моя* жизнь не нужна, о ней меня не спрашивают! Нужна жизнь жены поэта, «функции» (умоляю корректора сделать опечатку: *фикции!),* которая, повторяю, прекрасно известна читателю. Кроме того, читатель прекрасно знает и что такое Блок. Рассказать ему другого Блока, рассказать Блока, каким он был в жизни? Во-первых, никто не поверит; во-вторых, все будут прежде всего недовольны: нельзя нарушать установившихся канонов.

И я хотела попробовать избрать путь, даже как будто подсказанный самим Блоком: «свято лгать о прошлом»... [7] («Я знаю, не вспомнишь ты, светлая, зла...» [8]) Комфортабельный путь. Комфортабельно чувствовать себя великодушной и всепрощающей. Слишком комфортабельно. И вовсе не по-блоковски. Это было бы вконец предать его собственное отношение к жизни и к себе, а по мне — и к правде. Или же нужно подняться на такой предел отрешенности и святости, которых человек может достигнуть лишь в предсмертный свой час или в аналогичной ему подвижнической схиме. Может быть, иногда Блок и подымал меня на такую высоту в своих просветленных строках. Может быть, даже и ждал такой меня в жизни, в минуты веры и душевной освобожденности. Может быть, и во мне были возможности такого пути. Но

я вступила на другой— мужественный, фаустовский. На этом пути если чему я и выучилась у Блока, то это беспощадности в правде. Эту беспощадность в правде я считаю, как он, лучшим даром, который я могу нести своим друзьям. Этой же беспощадности хочу и для себя. Иначе я написать и не смогу, да и не хочу, и не для чего.

Но, дорогой читатель, не в ваших интересах знать, кто пишет и как он берет жизнь? Это необходимо в целях «критических», необходимо, чтобы оценить удельный вес рассказов пишущего. Может быть, мы и согласуем наши интересы? Дайте мне поговорить и о себе, — так вы получите возможность оценить мою повествовательную достоверность.

И еще вот что: я не буду притворяться и скромничать. В сущности, ведь всякий берущийся за перо тем самым говорит, что он считает себя, свои мысли и чувства интересными и значительными. Жизнь меня поставила, начиная с двадцатилетнего возраста, на второй план, и я этот второй план охотно и отчетливо приняла почти на двадцать лет. Потом, предоставленная сама себе, я постепенно привыкла к самостоятельной мысли, то есть вернулась к ранней моей молодости, когда с таким жаром искала своих путей и в мысли и в искусстве. Теперь между мной и моей юностью нет разрыва, теперь вот тут, за письменным столом, читает и пишет все та же, вернувшаяся из долгих странствий, но не забывшая, не потерявшая огня, вынесенного из отчего дома, умудренная жизнью, состарившаяся, но все та же Л. Д. М., что в юношеских тетрадях Блока. Эта встреча с собой на склоне лет — сладкая отрада. И я люблю себя за эту найденную молодую душу, и эта любовь будет сквозить во всем, что пишу.

Да, я себя очень высоко ценю, — с этим читателю придется примириться, если он хочет дочитать до конца; иначе лучше будет бросить сразу. Я люблю себя, я себе нравлюсь, я верю своему уму и своему вкусу. Только в своем обществе я нахожу собеседника, который с должным (с моей точки зрения) увлечением следует за мной по всем извивам, которые находит моя мысль, восхищается теми неожиданностями, которые восхищают и меня — активную, находящую их.

Дорогой читатель! Не бросайте в негодовании под стол это наглое хвастовство. Тут есть пожива и для вас. Дело

я том, что теперь только, встав смело на ноги, позволив себе и думать и чувствовать самостоятельно, я впервые вижу, как напрасно я смирила и умалила свою мысль перед миром идей Блока, перед его методами и его подходом к жизни. Иначе быть не могло, конечно! В огне его духа, осветившего мне все с такою не соизмеримою со мною силой, я потеряла самоуправление. Я верила в Блока и не верила в себя, потеряла себя. Это было малодушие, — теперь я вижу. Теперь, когда я что-нибудь нахожу в своей душе, в своем уме, что мне нравится самой, я прежде всего горестно восклицаю: «Зачем не могу я отдать это Саше!» Я нахожу в себе вещи, которые ему нравились бы, которые он хвалил бы, которые ему иногда могли бы служить опорой, так как в них есть твердость моего основного качества — неизбывный оптимизм.

А оптимизм как раз то, чего так не хватало Блоку! Да, в жизни я, как могла, стремилась оптимизмом своим рассеивать мраки, которым с каким-то ожесточением так охотно он отдавался. Но если бы я больше верила в себя! Если бы я уже тогда начала культивировать свою мысль и находить в ней отчетливые формы, я могла бы отдавать ему не только отдохновительную свою веселость, но и противоядие против мрака мыслей, мрака, принимаемого им за долг перед собой, перед своим призванием поэта.

И тут и ошибка его, и самый мой большой в жизни грех. В Блоке был такой же источник радости и света, как и отчаяний и пессимизма. Я не посмела, не сумела против них восстать, противопоставить свое, бороться. Замешалось тут и трудное жизненное обстоятельство: мать, на границе психической болезни, но близкая и любимая, тянула Блока в этот мрак. Порвать их близость, разъединить их — это<го> я не могла и по чисто женской мелкой слабости: быть жестокой, «злоупотребить» молодостью, здоровьем и силой — было бы безобразно, было бы в глазах всех — злом. Я недостаточно в себя верила, недостаточно зрело любила в то время Блока, чтобы не убояться. И малодушно дала пребывать своему антагонизму со свекровью в области мелких житейских неувязок. А я должна была вырвать Блока из патологических настроений матери. Должна была это сделать. И не сделала. Из потери себя, из недостатка веры в себя.

Так вот теперь, когда мне остается только возможность рассказать, когда уже все непоправимо, пусть буду

я говорить о себе с верой. Все равно, когда я пишу, я как будто все это читаю ему. Я знаю, что ему нравится, я несу ему то, что ему нужно. Читатель! За это вы должны мне многое простить, ко многому прислушаться. Может быть, в этом смысл моих «дерзаний»! Пусть это будет новый, окольный способ рассказать о Блоке.

И вот что еще приходит мне в голову. Я была по складу души, по способу ощущения и по устремленности мысли другая, чем соратники Блока эпохи русского символизма. Отставала? В том-то и дело, что теперь мне кажется — нет. Мне кажется, что я буду своя в ней и почувствую своей — следующую, еще не пришедшую эпоху искусства. Может быть, она уже во Франции. Меньше литературщины, больше веры в смысл каждого искусства, взятого само по себе. Может быть, от символизма меня отделяла все же какая-то нарочитость, правда, предрешенная борьбой с предшествующей эпохой тенденциозности, но был он гораздо менее от этой же тенденциозности свободен, чем того хотел бы, чем должно искусству большой эпохи.

Вот о чем я и скорблю: если бы я раньше проснулась (Саша всегда говорил: «Ты все спишь! Ты еще совсем не проснулась...»), раньше привела в порядок свои мысли и поверила в себя, как сейчас, я могла бы противопоставить свое — затягивающей литературщине и бодлерианству матери. Может быть, <Блок> и ждал чего-то от меня, ни за что не желая бросать нашу общую жизнь. Может быть, он и ждал от меня... Но, я чувствую, читатель уже задыхается от негодования: «Какое самомнение!..» Не самомнение, а привычка. Мы с Блоком так привыкли нести друг другу все хорошее, что находили в душе, узнавали в искусстве, подсматривали в жизни или у природы, что и теперь, найдя какую-то ступеньку, на которую <можно> *подняться*, — как вы хотите, чтобы я не стремилась нести его ему? А раз я теперь одна, как могу я не горевать, что это было не раньше? <...>

<2>

О, день, роковой для Блока и для меня! Как был он прост и ясен! Жаркий, солнечный июньский день, расцвет московской флоры. До Петров*а*-дня еще далеко, травы стоят некошенные, благоухают. Благоухает душица, лег-

кими, серыми от цвета колосиками обильно порошащая траву вдоль всей «липовой дорожки», где Блок увидал впервые ту, которая так неотделима для него от жизни родных им обоим холмов и лугов, которая так умела сливаться со своим цветущим окружением. Унести с луга в складках платья запах нежно любимой тонкой душицы, заменить городскую прическу туго заплетенной «золотой косой девичьей»[9], из горожанки перевоплощаться сразу по приезде в деревню в неотъемлемую часть и леса, и луга, и сада, инстинктивно владеть тактом, уменьем не оскорбить глаз какой-нибудь неуместной тут городской ухваткой или деталью одежды, — это все дается только с детства подолгу жившим в деревне, и всем этим шестнадцатилетняя Люба владела в совершенстве, бессознательно, конечно, как, впрочем, и вся семья.

После обеда, который в деревне кончался у нас около двух часов, поднялась я в свою комнатку во втором этаже и только что собралась сесть за письмо, — слышу: рысь верховой лошади, кто-то остановился у ворот, открыл калитку, вводит лошадь и спрашивает у кухни, дома ли Анна Ивановна? Из моего окна ворот и этой части двора не видно; прямо под окном — пологая зеленая железная крыша нижней террасы, справа — разросшийся куст сирени загораживает и ворота и двор. Меж листьев и ветвей только мелькает. Уже зная, подсознательно, что это «Саша Бекетов», как говорила мама, рассказывая о своих визитах в Шахматово, я подхожу к окну. Меж листьев сирени мелькает белый конь, которого уводят на конюшню, да невидимо внизу звенят по каменному полу террасы быстрые, твердые, решительные шаги. Сердце бьется тяжело и глухо. Предчувствие? Или что? Но эти удары сердца я слышу и сейчас, и слышу звонкий шаг входившего в мою жизнь.

Автоматически подхожу к зеркалу, автоматически вижу, что надо надеть что-нибудь другое, — мой ситцевый сарафанчик имеет слишком домашний вид. Беру то, что мы так охотно все тогда носили: батистовая английская блузка с туго накрахмаленным стоячим воротничком и манжетами, суконная юбка, кожаный кушак. Моя блузка была розовая, черный маленький галстук, черная юбка, туфли кожаные, коричневые, на низких каблуках. Шляпы в сад я не брала. Входит Муся, моя насмешница-младшая сестра, любимым занятием которой было в то время потешаться над моими заботами о наружности:

«Mademoiselle велит тебе идти в Colonie, она туда пошла с шахматовским Сашей. Нос напудри!» Я не сержусь на этот раз, я сосредоточена.

Colonie — это в конце липовой аллеи наши бывшие детские садики, которые мы разводили во главе с mademoiselle, не меньше нас любившей и деревню и землю. Говорят, липовая аллея цела и посейчас, разросшаяся и тенистая. В те годы липки были молодые, лет десять назад посаженные, еще подстриженные, не затенявшие целиком залитую солнцем дорожку. На полпути к Colonie деревянная скамейка лицом к солнцу и виду на соседние холмы и дали. Дали — краса нашего пейзажа.

Подходя немного сзади через березовую рощицу, вижу, что на этой скамейке mademoiselle «занимает разговорами» сидящего спиной ко мне. Вижу, что он одет в городской темный костюм, на голове — мягкая шляпа. Это сразу меня как-то отчуждает: все молодые, которых я знаю, в форменном платье. Гимназисты, студенты, лицеисты, кадеты, юнкера, офицеры. Штатский? Это что-то не мое, это из другой жизни, или он уже «старый». Да и лицо мне не нравится, когда мы поздоровались. Холодом овеяны светлые глаза с бледными ресницами, не оттененные слабо намеченными бровями. У нас у всех ресницы темные, брови отчетливые, взгляд живой, непосредственный. Тщательно выбритое лицо придавало в то время человеку «актерский» вид, — интересно, но не наше.

Так — как с кем-то далеким — повела я разговор, сейчас же о театре, возможных спектаклях. Блок и держал себя в то время очень «под актера», говорил нескоро и отчетливо, аффектированно курил, смотрел на нас как-то свысока, откидывая голову, опуская веки. Если не говорили о театре, о спектакле, болтал глупости, часто с явным намерением нас смутить чем-то не очень нам понятным, но от чего мы неизбежно краснели. Мы — это мои кузины Менделеевы, Сара и Лида, их подруга Юля Кузьмина и я. Блок очень много цитировал в то время Кузьму Пруткова, целые его анекдоты, которые можно иногда понять и двусмысленно, что я уразумела, конечно, значительно позднее. У него в то время была еще любимая прибаутка, которую он вставлял при всяком случае: «O yes, mein Kind!» * А так как это обращалось иногда

* О да, мое дитя! (*англ. и нем.*)

и прямо к тебе, то и это смущало некорректностью, на которую было неизвестно как реагировать.

В первый же этот день кузины пришли вскоре, проводили время вместе, условились о спектаклях, играли в «хальму» и крокет. Пошли в парк к Смирновым, нашим родным; это была громадная семья — от взрослых барышень и студентов до детей. Играли все вместе в «пятнашки» и горелки. Тут Блок стал другой, вдруг — свой и простой, бегал и хохотал, как и все мы, дети и взрослые.

В первые два-три приезда выходило так, что Блок больше обращал внимания на Лиду <Менделееву> и Юлю Кузьмину. Они умели ловко болтать и легко кокетничать и без труда попали в тон, который он вносил в разговор. Обе очень хорошенькие и веселые, они вызывали мою зависть... Я была очень неумела в болтовне и в ту пору была в отчаянии от своей наружности. С ревности и началось.

Что было мне нужно? Почему мне захотелось внимания человека, который мне вовсе не нравился и был мне далек, которого я в то время считала пустым фатом, стоящим по развитию ниже нас, умных и начитанных девушек? Чувственность моя еще совсем не проснулась; поцелуи, объятия — это было где-то *далеко*, — далеко и нереально. Что меня не столько тянуло, сколько толкало к Блоку?.. «Но то звезды *веленье*», — сказала бы Леонор у Кальдерона [10]. Да, эта точка зрения могла бы выдержать самую свирепую критику, потому что в плане «звезды» все пойдет потом как по маслу: такие совпадения, такие удачи в безнаказанности самых смелых встреч среди бела дня, что и не выдумаешь! Но пока допустим, что Блок, хотя и не воплощал моих девчонкиных байронически-лермонтовских идеалов героя, был все же и наружностью много интереснее всех моих знакомых, был талантливым актером (в то время ни о чем другом, о стихах тем более, еще и речи не было), был фатоватым, но ловким «кавалером» и дразнил какой-то непонятной, своей мужской, неведомой опытностью в жизни, которая не чувствовалась ни в моих бородатых двоюродных братьях, ни в милом и симпатичном, понятном Суме — студенте, репетиторе брата.

Так или иначе, «звезда» или «не звезда», очень скоро я стала ревновать и всеми внутренними своими «флюи-

дами» притягивать внимание Блока к себе. С внешней стороны я, по-видимому, была крайне сдержанна и холодна, — Блок всегда это потом и говорил мне, и писал. Но внутренняя активность моя не пропала даром, и опять-таки очень скоро я стала уже с испугом замечать, что Блок, — да, положительно, — перешел ко мне, и уже это он окружает меня кольцом внимания. Но как все это было не только не сказано, как все это было замкнуто, сдержанно, не видно, укрыто. Всегда можно сомневаться — да или нет? Кажется или так и есть?

Чем говорили? Как давали друг другу знак? Ведь в этот период никогда мы не бывали вдвоем, всегда или среди всей нашей многолюдной молодежи, или, по крайней мере, в присутствии mademoiselle, сестры, братьев. Говорить взглядом мне и в голову не могло прийти; мне казалось бы это даже больше, чем слова, и во много раз страшнее. Я смотрела всегда только внешне-светски и при первой попытке встретить по-другому мой взгляд уклоняла его. Вероятно, это и производило впечатление холодности и равнодушия.

«Нет конца лесным тропинкам...»[11] — это в Церковном лесу, куда направлялись почти все наши прогулки. Лес этот — сказочный, в то время еще не тронутый топором. Вековые ели клонят шатрами седые ветви; длинные седые бороды мхов свисают до земли. Непролазные чащи можжевельника, бересклета, волчьих ягод, папоротника, местами земля покрыта ковром опавшей хвои, местами заросли крупных и темнолистых, как нигде, ландышей. «Тропинка вьется, вот-вот потеряется»[12]. «Нет конца лесным тропинкам».

Мы все любили Церковный лес, а мы с Блоком особенно. Тут бывало подобие прогулки вдвоем. По узкой тропинке нельзя идти гурьбой, — вся наша компания растягивалась. Мы «случайно» оказывались рядом. Помолчать рядом в «сказочном лесу» несколько шагов — это было самое красноречивое в наших встречах. Даже красноречивее, чем потом, по выходе из леса на луговины соседней Александровки, переправа через Белоручей — быстрый, студеный ручей, журчащий и посейчас по разноцветным камушкам. Он не широк, его легко перепрыгнуть, ступив один раз на какой-нибудь торчащий из воды большой валун. Мы всегда это легко проделывали одни.

Но Блок опять-таки умудрялся устроиться так, чтобы без невежливости протянуть для переправы руку только мне, предоставляя Суму и братьям помогать другим барышням. Это было торжество, было весело и задорно, но в лесу понятно было большее.

В «сказочном лесу» были первые безмолвные встречи с другим Блоком, который исчезал, как только снова начинал болтать, и которого я узнала лишь три года спустя.

Первый и единственный за эти годы мой более смелый шаг навстречу Блоку был вечер представления «Гамлета» [13]. Мы были уже в костюмах Гамлета и Офелии, в гриме. Я чувствовала себя смелее. Венок, сноп полевых цветов, распущенный напоказ всем плащ золотых волос, падающий ниже колен... Блок в черном берете, в колете, со шпагой. Мы сидели за кулисами в полутайне, пока готовили сцену. Помост обрывался. Блок сидел на нем, как на скамье, у моих ног, потому что табурет мой стоял выше, на самом помосте. Мы говорили о чем-то более личном, чем всегда, а главное, жуткое — я не бежала, я смотрела в глаза, мы были вместе, мы были ближе, чем слова разговора. Этот, может быть, десятиминутный разговор и был нашим «романом» первых лет встречи, поверх «актера», поверх вымуштрованной барышни, в стране черных плащей, шпаг и беретов, в стране безумной Офелии, склоненной над потоком, где ей суждено погибнуть. Этот разговор и остался для меня реальной связью с Блоком, когда мы встречались потом в городе уже совсем в плане «барышни» и «студента». Когда, еще позднее, мы стали отдаляться, когда я стала опять от Блока отчуждаться, считая унизительной свою влюбленность в «холодного фата», я все же говорила себе: «Но ведь было же...»

Был вот этот разговор и возвращение после него домой. От «театра» — сенного сарая — до дома, вниз под гору, сквозь совсем молодой березнячок, еле в рост человека. Августовская ночь черна в Московской губернии, и «звезды были крупными необычно». Как-то так вышло, что еще в костюмах (переодевались дома) мы ушли с Блоком вдвоем, в кутерьме после спектакля, и очутились вдвоем Офелией и Гамлетом в этой звездной ночи. Мы были еще в мире того разговора, и было не страшно, когда прямо перед нами в широком небосводе медленно

прочертил путь большой, сияющий голубизной метеор. «И вдруг звезда полночная упала...»

Воспоминание о «Гамлете»

1 августа в Боблове

Посв. Л. Д. М.

> Тоску и грусть, страданья, самый ад —
> Все в красоту она преобразила.
>
> *Офелия*

Я шел во тьме к заботам и веселью,
Вверху сверкал незримый мир духов.
За думой вслед лилися трель за трелью
Напевы звонкие пернатых соловьев.
«Зачем дитя Ты?» — мысли повторяли...
«Зачем дитя?» — мне вторил соловей...
Когда в безмолвной, мрачной, темной зале
Предстала тень Офелии моей.
И... бедный Гамлет... я был очарован,
Я ждал желанный сладостный ответ...
Ответ немел... и я, в душе взволнован,
Спросил: «Офелия, честна ты или нет!?!?..»
И вдруг звезда полночная упала,
И ум опять ужалила змея...
Я шел во тьме, и эхо повторяло:
«Зачем дитя Ты, дивная моя?!!?..» [14]

Перед природой, перед ее жизнью и ее участием в судьбах мы с Блоком, как оказалось потом, дышали одним дыханием. Эта голубая «звезда полночная» сказала все, что не было сказано. Пускай «ответ немел», — «дитя Офелия» и не умела бы сказать ничего о том, что просияло мгновенно и перед взором и в сердцах.

Даже руки наши не встретились, и смотрели мы прямо перед собой. И было нам шестнадцать и семнадцать лет.

В дневнике <Блока> 1918 года — запись событий 1898—1901 годов. Тут Саша все перепутал, почти все не на своем месте и не на своей дате. Привожу в порядок, вставляя его абзацы куда следует [15].

После Наугейма продолжалась гимназия. «С января (1898) уже начались стихи в изрядном количестве. В них — К. М. С<адовская>, мечты о страстях, дружба с

Кокой Гуном (уже остывавшая), легкая влюбленность в m-me Левицкую — и болезнь. Весной... на выставке (кажется, передвижной) я встретился с Анной Ивановной Менделеевой, которая пригласила меня бывать у них и приехать к ним летом в Боблово, по соседству.

«В Шахматове началось со скуки и тоски, насколько помню. Меня почти спровадили в Боблово. [«Белый китель» начался лишь со следующего года, студенческого [16].] Меня занимали разговором в березовой роще mademoiselle и Любовь Дмитриевна, которая сразу произвела на меня сильное впечатление. Это было, кажется, в начале июня.

«Я был франт, говорил изрядные пошлости. Приехали «Менделеевы» [17]. В Боблове жил Н. Э. Сум, вихрастый студент (к которому я ревновал). К осени жила Марья Ивановна. Часто бывали Смирновы и жители Стрелицы [18].

«Мы разыграли в сарае... сцены из «Горя от ума» и «Гамлета». Происходила декламация. Я сильно ломался, но был уже страшно влюблен. Сириус и Вега [19].

«Кажется, этой осенью мы с тетей ездили в Трубицыно, где тетя Соня подарила мне золотой; [20] когда вернулись, бабушка дошивала костюм Гамлета.

«Осенью я шил франтоватый сюртук [студенческий], поступил на юридический факультет, ничего не понимал в юриспруденции (завидовал какому-то болтуну — кн. Тенишеву), пробовал зачем-то читать Туна (?), какое-то железнодорожное законодательство в Германии (?). Виделся с m-me С<адовской>, вероятно, стал бывать у Качаловых (Н. Н. и О. Л.).

«...по возращении в Петербург посещения Забалканского [21] стали сравнительно реже (чем Боблова). Любовь Дмитриевна доучивалась у Шаффе [22], я увлекся декламацией и сценой (тут бывал у Качаловых) и играл в драматическом кружке, где были присяжный поверенный Троицкий, Тюменев (переводчик «Кольца»), В. В. Пушкарева, а премьером — Берников, он же — известный агент департамента полиции Ратаев, что мне сурово поставил однажды на вид мой либеральный однокурсник. Режиссером был — Горский Н. А., а суфлером — бедняга Зайцев, с которым Ратаев обращался хамски.

«В декабре этого года я был с mademoiselle и Любовью Дмитриевной на вечере, устроенном в честь Л. Толстого в Петровском зале (на Конюшенной?).

«На одном из спектаклей в Зале Павловой, где я под фамилией «Борский» (почему бы?) играл выходную роль банкира в «Горнозаводчике» (во фраке Л. Ф. Кублицкого), присутствовала Любовь Дмитриевна...»

Саша был два года на втором курсе. Верно ли датированы студенческие беспорядки, я не помню[23].

Далее Саша соединяет два лета в одно — 1899 и 1900. Лето 1899 года, когда по-прежнему в Боблове жили «Менделеевы», проходило почти так же, как лето 1898 года, с внешней стороны, но не повторялась напряженная атмосфера первого лета и его первой влюбленности. Играли «Сцену у фонтана», чеховское «Предложение», «Букет» Потапенки.

К лету 1900 года относится: «Я стал ездить в Боблово как-то реже, и притом должен был ездить в телеге (верхом было не позволено после болезни). Помню ночные возвращения шагом, осыпанные светлячками кусты, темень непроглядную и суровость ко мне Любови Дмитриевны». (Менделеевы уже не жили в этом году; спектакль организовала двоюродная моя сестра, писательница Н. Я. Губкина, уже с благотворительной целью, и тут мы играли «Горящие письма» Гнедича. Ездила ли к Менделеевым в этот год, не помню.)

«К осени [это 1900 год] я, по-видимому, перестал ездить в Боблово (суровость Любови Дмитриевны и телега). Тут я просматривал старый «Северный вестник», где нашел «Зеркала» З. Гиппиус[24]. И с начала петербургского житья у Менделеевых я не бывал, полагая, что это знакомство прекратилось». (Знакомство с А. В. Гиппиусом относится к весне 1901 года[25].)

К разрыву отношений, произошедшему в 1900 году, осенью, я отнеслась очень равнодушно. Я только что окончила VIII класс гимназии, была принята на Высшие курсы[26], куда поступила очень пассивно, по совету мамы, и в надежде, что звание «курсистки» даст мне большую свободу, чем положение барышни, просто живущей дома и изучающей что-нибудь вроде языков, как тогда было очень принято.

Перед началом учебного года мама взяла меня с собой в Париж, на всемирную выставку. Очарование Парижа я ощутила сразу и на всю жизнь. В чем это очарование, никому в точности определить не удается. Оно так же неопределенно, как очарование лица какой-нибудь не очень красивой женщины, в улыбке которой — тысяча

тайн и тысяча красот. Париж — многовековое лицо самого просвещенного, самого переполненного искусством города, от монмартрской мансарды умирающего Модильяни до золотых зал Лувра. Все это — в воздухе его, в линиях набережных и площадей, в переменчивом освещении, в нежном куполе его неба.

В дождь Париж расцветает,
Словно серая роза...

Это у Волошина хорошо, очень в точку. Но, конечно, мои попытки сказать о Париже еще во много раз слабее, чем все прочие. Когда мне подмигивали в ответ на мое признание в любви к Парижу («Ну да! Бульвары, модные магазины, кабачки на Монмартре! Хе, хе!..»), это было так мимо, что и не задевало обидой. Потом, в книгах, я встречала ту же любовь к Парижу, но никогда хорошо в слово не уложившуюся. Потому что тут дело не только в искусстве, мысли или вообще интенсивности творческой энергии, а еще в чем-то многом другом. Но как его сказать? Если слову «вкус» придавать очень, очень большое значение, как <придавал> мой брат И. Д. Менделеев, который считал: неоспоримые преимущества французских математиков коренятся в том, что их формулы и вычисления всегда овеяны прежде всего *вкусом,* то и, говоря о Париже, уместно было бы это слово. Но при условии полной договоренности с читателем и уверенности, что не будет подсунуто бытовое значение этого слова.

Я вернулась влюбленной в Париж, напоенная впечатлениями искусства, но и сильно увлеченная пестрой выставочной жизнью. И, конечно, очень, очень хорошо одетая во всякие парижские прелести. Денег у нас с мамой, как всегда, было не очень много, сейчас я не могу даже приблизительно вспомнить какие-нибудь цифры; но мы решительно поселились в маленьком бедном отельчике около Мадлэны (rue Vignon, Hôtel Vignon), таком старозаветном, что когда мы возвращались откуда-нибудь вечером, портье нам давал по подсвечнику с зажженной свечой, как у Бальзака! А на крутой лестнице и в узких коридорах везде было темно. Зато мы могли видеть все, что хотели, накупили много всяких, столь отличных от всего не парижского, мелочей и сшили у хорошей портнихи по «визитному платью». То есть тип того платья, в котором в Петербурге бывали в театре, в концертах и т. д.

Мамино было черное, тончайшее суконное, мое — такое же, но «bleu pastel», как называла портниха. Это — очень матовый, приглушенный голубой цвет, чуть зеленоватый, чуть сероватый, ни светлый, ни темный. Лучше подобрать и нельзя было к моим волосам и цвету лица, которые так выигрывали, что раз в театре одна чопорная дама, в негодовании глядя на меня, нарочно громко сказала: «Боже, как намазана! А такая еще моloденькая!» А я была едва-едва напудрена. Платье это жило у меня до осени 1902 года, когда оно участвовало в важных событиях.

Хоть я и поступила на Курсы не очень убежденно, но с первых же шагов увлеклась многими лекциями и профессорами, слушала не только свои — первого курса, но и на старших. Платонов, Шляпкин, Ростовцев, каждый по-разному, открывали научные перспективы, которые пленяли меня скорее романтически, художественно, чем строго научно. Рассказы Платонова, его аргументация были сдержанно пламенны; его слушали, затаив дыхание. Шляпкин, наоборот, так фамильярно чувствовал себя со всяким писателем, о ком говорил, со всякой эпохой, что в этом была своеобразная прелесть: эпоха становилась знакомой, не книжной. Ростовцев был красноречив, несмотря на то, что картавил, и его «пеґиоды, базы, этапы» выслушивались с легкостью благодаря интенсивной, громкой, внедряющейся речи. Но кем я увлеклась целиком, это А. И. Введенским. Тут мои запросы нашли настоящую пищу. Неокритицизм помог найти место для всех моих мыслей, освободил всегда живущую во мне веру и указал границы «достоверного познания» и его ценность. Все это было мне очень нужно, всем этим я мучилась. Я слушала лекции и старших курсов, по философии, и с увлечением занималась своим курсом — психологией, так как меня очень забавляла возможность свести «психологию» (!) к экспериментальным мелочам.

Я познакомилась со многими курсистками, пробовала входить даже в общественную жизнь, была сборщицей каких-то курсовых взносов. Но из этого ничего не вышло, так как я не умела эти сборы выжимать — и мне никто ничего не платил. Бывала с увлечением на всех студенческих концертах в Дворянском собрании [27], ходила в маленький зал при артистической, где студенты в виде невинного «протеста» и «нарушения порядка» пели «Из страны, страны далекой...». «Расходились» по очень веж-

ливым увещеваниям пристава. На курсовом концерте была в числе «устроительниц» по «артистической», ездила в карете за Озаровским и еще кем-то, причем моя обязанность была только сидеть в карете, а бегал по лестницам приставленный к этому делу студент, такой же театрал, как я. В артистической я благоговела и блаженствовала, находясь в одном обществе с Мичуриной во французских «академических пальмах», только что полученных. Тут же Тартаков (всегда и везде!), Потоцкая, Куз*а*, Долина. Быстро отделавшись от обязанностей, шла слушать концерт, стоя где-нибудь у колонны с моими новыми подругами — курсистками Зиной Линевой, потом — Шурой Никитиной.

Надо сказать, что уровень исполнителей был очень высок. Голоса певиц и певцов — береженые, холеные, чистые, точные, звучные. Актрисы — элегантные, не ленящиеся давать свой максимум перед этой студенческой молодежью, столь нужной для успехов. Выступления, например, Озаровского — это какие-то музейные образцы эстрадного чтения, хранящиеся в моем воспоминании. Отшлифованность ювелирная, умеренность, точность задания и выполнения и безошибочное знание слушателя и способов воздействия на него. Репертуар — легкий, даже «легчайший», вроде «Как влюбляются от сливы», но исполнение воистину академическое, веселье зрителей и успех — безграничные.

После концерта начинались танцы в зале, и продолжались прогулки в боковых помещениях — среди пестрых киосков с шампанским и цветами. Мы не любили танцевать в тесноте, переходили от группы к группе, разговаривали и веселились, хотя бывшие с нами кавалеры-студенты были так незначительны, что я их даже плохо помню.

Бывала я и у провинциальных курсисток, на вечеринках в тесных студенческих комнатках, — реминисценции каких-то шестидесятых годов, не очень удачные. И рассуждали, и пели студенческие песни, но охотнее слушали учеников консерватории, игравших или певших «Пою тебя, бог Гименей...», и очень умеренно и скромно флиртовали с белобрысыми провинциалами — технологами или горняками.

Так шла моя зима до марта. О Блоке я вспоминала с досадой. Я помню, что в моем дневнике, погибшем в Шахматове, были очень резкие фразы на его счет, вроде

того, что «мне стыдно вспоминать свою влюбленность в этого фата с рыбьим темпераментом и глазами...». Я считала себя освободившейся.

Но в марте (у Блока мы узнали, в каких числах) около Курсов промелькнул где-то его профиль, — он думал, что я не видела его. Эта встреча меня перебудоражила. Почему с приходом солнечной, ясной весны опять <возник> образ Блока? А когда мы оказались рядом на спектакле Сальвини, причем его билет был даже рядом со мной, а не с мамой (мы уже сидели, когда он подошел, поздоровался), до того как были сказаны первые фразы, я с молниеносной быстротой почувствовала, что это уже совсем другой Блок[28]. Проще, мягче, серьезный, благодаря этому — похорошевший (Блоку вовсе не шел задорный тон и бесшабашный вид). В обращении со мной — почти нескрываемая почтительная нежность и покорность, а все фразы, все разговоры — такие серьезные; словом — от того Блока, который уже третий год писал стихи и которого от нас он до сих пор скрывал.

Посещения возобновились сами собой, и тут сложился их тип на два года.

Блок разговаривал с мамой, которая была в молодости очень остроумной и живой собеседницей, любившей поспорить, пусть зачастую и очень парадоксально. Блок говорил о своих чтениях, о взглядах на искусство, о том новом, что зарождалось и в живописи и в литературе. Мама с азартом спорила. Я сидела и молчала, и знала, что все это говорится для меня, что убеждает он меня, что вводит в этот открывшийся ему и любимый мир — меня. Это за чайным столом, в столовой. Потом уходили в гостиную — и Блок мелодекламировал «В стране лучей» А. Толстого, под «Quasi una fantasia», или еще что-нибудь из того, что было в грудах нот, которые мама всегда покупала.

Мне теперь нравилась его наружность. Отсутствие напряженности, надуманности в лице — приближало черты к статуарности, глаза темнели от сосредоточенности и мысли. Прекрасно сшитый военным портным студенческий сюртук красивым, стройным силуэтом условных жестких линий вырисовывался в свете лампы у рояля, в то время как Блок читал, положив одну руку на золотой стул, заваленный нотами, другую — за борт сюртука. Только, конечно, не так ясно и отчетливо все это было передо мной, как теперь. Теперь я научилась остро смотреть на все окружа-

ющее меня — и предметы, и людей, и природу. Так же отчетливо вижу и в прошлом. Тогда все было в дымке. Вечно перед глазами какой-то «романтический туман». Тем более — Блок и окружающие его предметы и пространство. Он волновал и тревожил меня; в упор его рассматривать я не решалась и не могла.

Это ведь и есть то кольцо огней и клубящихся паров вокруг Брунгильды, которое было так понятно на спектаклях Мариинского театра[29]. Ведь они не только защищают Валькирию, но и она отделена ими от мира и от своего героя, видит его сквозь эту огненно-туманную завесу.

В те вечера я сидела в другом конце гостиной на диване, в полутьме стоячей лампы. Дома я бывала одета в черную суконную юбку и шелковую светлую блузку, из привезенных из Парижа. Прическу носила высокую — волосы завиты, лежат тяжелым ореолом вокруг лица и скручены на макушке в тугой узел. Я очень любила духи — более, чем полагалось барышне. В то время у меня были очень крепкие «Coeur de Jannette». Была попрежнему молчалива, болтать так и не выучилась, а говорить любила всю жизнь только вдвоем, не в обществе.

В это время собеседниками для серьезных разговоров были у меня брат мой Ваня, его друг Развадовский и особенно его сестра Маня, учившаяся в ту зиму живописи у Щербиновского, очень в вопросах искусства подвинутая. В разговорах с ней я научилась многому, от нее узнала Бодлера (почему-то «Une charogne»! *), но особенно научилась более серьезному подходу к живописи, чем царившее дома передвижничество, впрочем давно инстинктивно мне чуждое.

Живописи я много насмотрелась в Париже вплоть до крайностей скандинавских «символистов», очень упрощавших задание, сводивших его к сухой умственной формуле, но помогавших оторваться от веры в элементарные, бытовые формы. Что я читала в эту зиму, я точно не помню. Русская литература была с жадностью вся проглочена еще в гимназии. Кажется, в эту зиму все читали «Так говорит Заратустра». Думаю, что в эту зиму я читала и французов, для гимназистки — запретный плод: Мопассана, Бурже, Золя, Лоти, Доде, Марселя Прево, за которого хваталась с жадностью, как за приоткрывавшего

* «Падаль» (*фр.*).

по-прежнему неведомые «тайны жизни». Но вот уж верная-то истина. «Чистому все чисто». <...>

Я действительно очень повзрослела. Не только окрепли и уточнились умственные интересы и любовь к искусству. Я стала с нетерпением ждать прихода жизни. У всех моих подруг были серьезные флирты, с поцелуями, с мольбами о гораздо большем. Я одна ходила «дура дурой», никто мне и руки никогда не поцеловал, никто не ухаживал. Дома у нас из молодежи почти никто не бывал; те, кого я видела у Боткиных на вечерах, были какие-то отдаленные манекены, нужные в данном месте и при данном случае, не более. Из знакомых студентов, которых я встречала у подруг, я ни на ком не могла остановить внимание и, вероятно, была очень холодна и отчуждена.

Боюсь, что они принимали это за подчеркивание разницы в общественном положении, хотя тогда эта мысль мне и в голову не могла прийти. Я не могла бы догадаться, будучи всегда очень демократичной и непосредственной и никогда не ощущая высокого положения отца и нашей семьи. Во всяком случае, я ничего не поняла, когда, как раз в эту зиму, произошел следующий маленький инцидент, теперь мне многое объясняющий. На одном из студенческих вечеров я проводила время со студентом-технологом из моей «провинциальной» компании. Нам было приятно и весело, он не отходил от меня ни на шаг и отвез домой. Я его пригласила прийти к нам как-нибудь. В один из ближайших дней он зашел; я принимала его в нашей большой гостиной, как всех «визитеров». Я помню, он сидел словно в воду опущенный, быстро ушел, и больше я его не видала. Тогда я ничего не подумала и не заинтересовалась причиной исчезновения. Теперь думаю: наше положение в обществе казалось гораздо более пышным, благодаря казенной квартире, красивой, устроенной мамой обстановке со многими картинами хороших передвижников в золотых рамах по стенам, — более пышным, чем оно казалось нам самим. Мы-то жили очень просто и часто были стеснены в деньгах.

Знакомств с молодежью у меня было мало. Среди людей нашего круга было мало семей со взрослыми молодыми людьми, разве — гимназисты. А многочисленных своих троюродных братьев я как-то всерьез не принимала: милые, умные, но какие-то все бородатые «старые студенты».

Правда, мамины знакомства подымались очень высоко. Мне смешно, когда я в «Войне и мире» читаю: «la comtesse Apraxine...» * как неизбежный атрибут светской болтовни, — и у нас в детстве, в разговорах мамы с нашей mademoiselle вечно слышалось: «la comtesse Apraxine...» (мамина подруга детства). Среди маминых «визитеров» было несколько блестящих молодых людей. Но тут у меня опять общая черта с Блоком: тех, кого он называл впоследствии «подонками» (пародирующее название <того>, что принято было называть, напротив того, «сливки общества»), я не принимала всерьез. В те годы за светскими манерами я была неспособна видеть человека; мне казалось, что передо мной — манекен. Так что эти блестящие молодые люди оставались вне моих интересов; это были «мамины гости», я почти никогда и не появлялась в гостиной во время их приходов. До замужества я так и не натолкнулась на круг людей, который был бы мне близок и интересен. Мои студенческие знакомства были, действительно, несколько упрощенного типа. <...>

<4>

И вот пришло «мистическое лето»[30]. Встречи наши с Блоком сложились так. Он бывал у нас раза два в неделю. Я всегда угадывала день, когда он приедет; это теперь — верхом на белом коне и в белом студенческом кителе. После обеда в два часа я садилась с книгой на нижней тенистой террасе, всегда с цветком красной вербены в руках, тонкий запах которой особенно любила в то лето. Одевалась я теперь уже не в блузы с юбкой, а в легкие батистовые платья, часто розовые. Одно было любимое — желтовато-розовое, с легким белым узором. Вскоре звякала рысь подков по камням, Блок отдавал своего Мальчика около ворот и быстро вбегал на террасу. Так как мы встречались «случайно», я не обязана была никуда уходить, и мы подолгу, часами, разговаривали, пока кто-нибудь не придет.

Блок был переполнен своим знакомством с «ними», как мы называли в этих разговорах всех новых, получивших название «символистов». Знакомство пока еще лишь из книг. Он без конца рассказывал, цитировал так легко запоминаемые им стихи, привозил мне книги, даже

* «Графиня Апраксина» (*фр.*).

первый сборник «Северных цветов», который был чуть ли не заветнейшей книгой. Я читала по его указанию первые два романа Мережковского[31], «Вечных спутников»; привозил он мне Тютчева, Соловьева, Фета.

Говорил Блок в то время очень трудно, в долгих переплетах фраз ища еще не пойманную мысль. Я следила с напряжением, но уже вошла в этот уклон мысли, уже ощущала, чем «они» берут и меня. Раз как-то я в разгаре разговора спросила: «Но ведь вы же, наверно, пишете? Вы пишете *стихи?»* Блок сейчас же подтвердил это, но читать свои стихи не согласился, а в следующий раз привез мне переписанные на четырех страницах листка почтовой бумаги: «Ἄγραφα Δόγματα», «Servus-Reginae», «Новый блеск излило небо...», «Тихо вечерние тени...» Первые стихи Блока, которые я узнала. Читала их уже одна.

Первое было мне очень понятно и близко: «космизм» — это одна из моих основ. Еще в предыдущее лето, или раньше, я помню что-то вроде космического экстаза, когда, вот именно, «тяжелый огнь окутал мирозданье...» После грозы на закате поднялся сплошной белый туман и над далью и над садом. Он был пронизан огненными лучами заката — словно все горело: «Тяжелый огнь окутал мирозданье»[32]. Я увидела этот первозданный хаос, это «мирозданье» в окно своей комнаты, упала перед окном, впиваясь глазами, впиваясь руками в подоконник в состоянии потрясенности, вероятно, очень близком к религиозному экстазу, но без всякой религиозности, даже без бога, лицом к лицу с открывшейся вселенной...

От второго («Порой — слуга, порою — милый...») щеки загорелись пожаром. Что же — он говорит? Или еще не говорит? Должна я понять или не понять?..

Но последние два — это образец моих мучений следующих месяцев: меня тут нет. Во всяком случае, в таких и подобных стихах я себя не узнавала, не находила, и злая «ревность женщины к искусству», которую принято так порицать, закрадывалась в душу. Но стихи мне пелись и быстро запоминались.

Понемногу я вошла в этот мир, где не то я, не то не я, но где все певуче, все недосказано, где эти прекрасные стихи так или иначе все же идут от меня. Это обиняками, недосказанностями, окольными путями Блок дал мне понять. Я отдалась странной прелести наших отношений. Как будто и любовь, но в сущности — одни литературные

разговоры, стихи, уход от жизни в другую жизнь, в трепет идей, в запевающие образы. Часто, что было в разговорах, в словах, сказанных мне, я находила потом в стихах. И все же порою с горькой усмешкой бросала я мою красную вербену, увядшую, пролившую свой тонкий аромат так же напрасно, как и этот благоуханный летний день. Никогда не попросил он у меня мою вербену, и никогда не заблудились мы в цветущих кустах...

И вот в июле пришел самый значительный день этого лета. Все наши, все Смирновы собрались ехать пикником в далекий казенный сосновый бор за белыми грибами. Никого не будет, даже и прислуги, останется только папа. Останусь и я, я решила. И заставлю Блока приехать, хотя еще и рано по ритму его посещений. И должен быть, наконец, разговор. На меня дулись, что я не еду, я отговаривалась вздорными предлогами. Улучила минуту одиночества и, помню, в столовой около часов всеми силами души перенеслась за те семь верст, которые нас разделяли, и сказала ему, чтобы он приехал. В обычный час села на свой стул на террасе, с книгой и вербеной. И он приехал. Я не удивилась. Это было неизбежно.

Мы стали ходить взад и вперед по липовой аллее нашей первой встречи. И разговор был другой. Блок мне начал говорить о том, что его приглашают ехать в Сибирь, к тетке[33], он не знает, ехать ли ему, и просит меня сказать, что делать; как я скажу, так он и сделает. Это было уже много, я могла уже думать о серьезном желании его дать мне понять об его отношении ко мне. Я отвечала, что сама очень люблю путешествия, люблю узнавать новые места, что ему хорошо поехать, но мне будет жаль, если он уедет, для себя я этого не хотела бы. Ну, значит, он и не поедет. И мы продолжали ходить и дружески разговаривать, чувствуя, что двумя фразами расстояние, разделявшее нас, стремительно сократилось, пали многие преграды.

Жироду, в романе «Белла», говорит, что героев его, в первые две недели их встреч, ничто не тревожило на пути, не встречалось ничего нарушающего гладкое течение жизни в плоскости пейзажа. У нас — совсем наоборот: во всех поворотных углах нашего пути, да и среди ровных его перегонов, вечно «тревожили» нас «приметы». Никогда не забылся ни Блоком, ни мной мертвый щегленок, лежащий на траве на краю песчаной дорожки, ведущей в липовую аллею, по которой мы ходили, и при

каждом повороте яркое пятнышко тревожило душу щемящей нотой обреченной нежности.

Однако этот разговор ничего внешне не изменил. Все продолжалось по-старому. Только усилилось наше самоощущение двух заговорщиков. Мы знали то, чего другие не знали. Это было время глухого непонимания надвигающегося нового *искусства*, — в нашей семье, как и везде. Осенью гостили у нас Лида и Сара Менделеевы. Помню один разговор в столовой. Помню, как Блок сидел на подоконнике еще со стэком в руках, в белом кителе, высоких сапогах, и говорил на тему зеркал, отчасти гиппиусовских [34], но и о своем, еще не написанном «И встанет призрак беззаконный, холодной гладью отражен...» [35]. Говорил, конечно, рассчитывая только на меня. И кузины, и мама, и тетя и отмахивались, и негодовали, и просто хихикали. Мы были с ним в заговоре, в одном, с неведомыми еще никому «ими». Потом кузины говорили, что Блок, конечно, очень повзрослел, развился, но какие странные вещи говорит: декадент! Вот словцо, которым долго и вкривь и вкось стремились душить все направо и налево!

Это понимание и любовь к новым идеям и новому искусству мгновенно объединяли в те времена и впервые встретившихся *людей*, — таких было еще мало. Нас же разговоры «мистического лета» связали к осени очень крепкими узами, надежным доверием, сблизили до понимания друг друга с полуслова, хотя мы и оставались попрежнему жизненно далеки.

<5>

Началась зима, принесшая много перемен. Я стала учиться на <драматических> курсах М. М. Читау, на Гагаринской.

Влияние Блока усиливалось, так как, неожиданно для себя, я пришла к некоторой церковности, вовсе мне не свойственной.

Я жила интенсивной духовной жизнью. Закаты того года, столь известные и по стихам Блока, и по Андрею Белому, я переживала ярко. Особенно помню их при возвращении с Курсов, через Николаевский мост. Бродить по Петербургу — это и в предыдущую зиму было большой, насыщенной частью дня. Раз, идя по Садовой мимо часовни у Спаса на Сенной, я заглянула в открытые две-

ри. Образа, трепет бесчисленных огоньков восковых свечей, припавшие, молящиеся фигуры. Сердце защемило от того, что я вне этого мира, вне этой древней правды. Никакой Гостиный двор — любимый мираж соблазнов и недоступных фантасмагорий блесков, красок, цветов — не развлек меня. Я пошла дальше и почти машинально вошла в Казанский собор. Я не подошла к богатой и нарядной, в брильянтах, чудотворной иконе, залитой светом, а дальше — за колоннами — остановилась у другой, Казанской, в полутьме с двумя-тремя свечами, перед которой всегда было тихо и пусто. Я опустилась на колени, еще плохо умея молиться. Но потом это стала моя и наша Казанская, к ней же приходила за помощью и после смерти Саши. Однако и тогда, в первый раз, пришли облегчающие, успокоительные слезы. Потом, когда я рассказала, Саша написал:

Медленно в двери церковные
Шла я, душой несвободная,
Слышались песни любовные,
Толпы молились народные.

Или в минуту безверия
Он мне послал облегчение?
Часто в церковные двери я
Ныне вхожу без сомнения.

Падают розы вечерние,
Падают тихо, медлительно.
Я же молюсь суевернее,
Плачу и каюсь мучительно.

Я стала приходить в собор к моей Казанской и ставить ей восковую свечку. Ученица А. И. Введенского понимала, к счастью, что «бедный обряд» [36] или величайшие порывы человеческого ума равно и малы и ценны перед лицом непостижимого рациональному познанию. Но у меня не было потребности ни быть при церковной службе, ни служить молебна. Смириться до посредничества священника я никогда не могла, кроме нескольких месяцев после смерти Саши, когда мне казалось менее кощунственно отслужить на его могиле панихиду, чем предаваться своей индивидуалистической, «красивой» скорби.

В сумерки октябрьского дня (17 октября <1901 года>) я шла по Невскому к собору и встретила Блока. Мы пошли рядом. Я рассказала, куда иду и как все это вышло. Позволила идти с собой. Мы сидели в стемневшем уже

соборе на каменной скамье под окном, близ моей Казанской. То, что мы тут вместе, это было больше всякого объяснения. Мне казалось, что я явно отдаю свою душу, открываю доступ к себе.

Так начались соборы — сначала Казанский, потом и Исаакиевский. Блок много и напряженно писал в эти месяцы. Встречи наши на улице продолжались. Мы все еще делали вид, что они случайны. Но часто после Читау мы шли вместе далекий путь и много говорили. Все о том же. Много о его стихах. Уже ясно было, что связаны они со мной. Говорил Блок мне и о Соловьеве, и о Душе Мира, и о Софье Петровне Хитрово, и о «Трех свиданиях», и обо мне, ставя меня на непонятную мне высоту. Много — о стихотворной сущности стиха, о действенности ритма, в стихе живущего:

И к мидианке | на колени
Склоняю | праздную | главу...

Или:

И к мидианке на колени
Склоняю | праздную главу...[37]

Раз, переходя Введенский мостик, у Обуховской больницы, спросил Блок меня, чт*о* я думаю о его стихах. Я отвечала ему, что я думаю, что он поэт не меньше Фета. Это было для нас громадно: Фет был через каждые два слова. Мы были взволнованы оба, когда я это сказала, потому что в ту пору мы ничего не болтали зря. Каждое слово и говорилось и слушалось со всей ответственностью.

Прибавились встречи у Боткиных, наших старинных знакомых. М. П. Боткин, художник, друг отца, а Екатерина Никитична дружила с мамой. Три дочери — мои сверстницы, и мальчик и девочка — младшие. Очаровательные люди и очаровательный дом. Боткины жили в своем особняке на углу набережной и 18-й линии Васильевского острова. Сверху донизу это был не дом, а музей, содержащий знаменитую боткинскую коллекцию итальянского искусства эпохи Возрождения. Лестница, ведшая во второй этаж, в зал, была обведена старинной резной деревянной панелью, ступени покрыты красным толстым ковром, в котором тонула нога. Зал также весь со старым резным орехом. Мебель такая же, картины, громадные пальмы, два рояля. Все дочери — серьезные музыкантши. В зале никогда не было слишком светло, даже во время б а л о в, — это мне особенно нравилось. Зато

гостиная рядом утопала в в свете, и в блестящем серебристом шелке мягкой мебели. И главная ее краса — зеркальное окно, не закрываемое портьерой, и вечером — с одним из самых красивых видов на Петербург, Неву, Исаакий, мосты, огни. В этой гостиной в зиму 1901 года сестры Боткины устраивали чтения на разные литературные темы; одной из тем были, я помню, «Философические письма» Чаадаева, кажется, еще не очень в то время цензурные, во всяком случае мало известные.

Лиля Боткина была со мной на Курсах. До того мы дружили сначала по-детски, потом я стала бывать у них гимназисткой на их балах, — самые светские мои воспоминания — эти их балы. Круг знакомых их был очень обширен, было много военных, были очень светские люди. Бывал молодой Сомов, который пел старинные итальянские арии. Бывал В. В. Максимов — еще правовед Самусь. Много музыкантов, художники. И мать, и все три дочери были очень похожи и очаровательны общим им семейным шармом. Очень высокие и крупные, с русской красотой, мягкой, приветливой, ласковой манерой принимать и общим им всем певучим говором, они создавали атмосферу такого радушия, так умели казаться заинтересованными собеседниками, что всегда были окружены многочисленными друзьями и поклонниками.

Зная о моей дружбе с Блоком, Екатерина Никитична просила меня передать ему приглашение сначала на бал, куда он не пошел, потом — на чтения, где он бывал несколько раз.

Привожу письмо, ярко рисующее нашу внешнюю отдаленность при такой уже внутренней близости, которая была в ту зиму.

29 ноября. M-me Боткина опять поручила мне, Александр Александрович, передать Вам ее приглашение; только теперь уже не на бал, а на их чтения, о которых я Вам говорила. Екатерина Никитична просит Вас быть у них уже сегодня часов в восемь. Надеюсь, на этот раз исполню ее поручение лучше, чем в прошлый. *Л. Менделеева.*

И ответ:

Многоуважаемая Любовь Дмитриевна. Благодарю Вас очень за Ваше сообщение, непременно буду сегодня у Боткиных, если только не спутаю адреса. Глубоко преданный Вам *Ал. Блок.* 29. XI. 1901. СПб.

Вот каков был внешний обиход!

От Боткиных провожал меня домой на извозчике Блок, Это было не совсем строго корректно, но курсистке все же было можно. Помню, какими крохами я тешила свои женские претензии. Был страшный мороз. Мы ехали на санях. Я была в теплой меховой ротонде. Блок, как полагалось, придерживал меня правой рукой за талию. Я знала, что студенческие шинели холодные, и попросту попросила его взять и спрятать руку. «Я боюсь, что она замерзнет». — «Она психологически не замерзнет». Этот ответ, более «земной», так был отраден, что врезался навсегда в память.

И тем не менее, в январе (29-го) я с Блоком порвала. У меня сохранилось письмо, которое я приготовила и носила с собой, чтобы передать при первой встрече на улице, но передать не решилась, так как все же это была бы я, которая сказала бы первые ясные слова, и моя сдержанность и гордость удержали меня в последнюю минуту. Я просто встретила его с холодным и отчужденным лицом, когда он подошел ко мне на Невском, недалеко от собора, и небрежно, явно показывая, что это предлог, сказала, что боюсь, что нас видели на улице вместе, и что мне это неудобно. Ледяным тоном: «Прощайте!» — и ушла. А письмо было приготовлено вот какое:

«Не осуждайте меня слишком строго за это письмо... Поверьте, все, что я пишу, сущая правда, а вынудил меня написать его страх стать хоть на минуту в неискренние отношения с Вами, чего я вообще не выношу и что с Вами мне было бы особенно тяжело. Мне очень трудно и грустно объяснять Вам все это, не осуждайте же и мой неуклюжий слог.

Я не могу больше оставаться с Вами в тех же дружеских отношениях. До сих пор я была в них совершенно искренна, даю Вам слово. Теперь, чтобы их поддерживать, я должна была бы начать притворяться. Мне вдруг совершенно неожиданно и безо всякого повода ни с Вашей, ни с моей стороны стало ясно — до чего мы чужды друг другу, до чего Вы меня не понимаете. Ведь Вы смотрите на меня, как на какую-то отвлеченную идею; Вы навоображали обо мне всяких хороших вещей и за этой фантастической фикцией, которая жила только в Вашем воображении, Вы меня, живого человека с живой душой, и не заметили, проглядели...

Вы, кажется, даже любили — свою фантазию, свой философский идеал, а я все ждала, когда же Вы увидите меня, когда поймете, чего мне нужно, чем я готова отвечать Вам от всей души... Но Вы продолжали фантазировать и философствовать... Ведь я даже намекала Вам: «надо осуществлять»... Вы отвечали фразой, которая отлично характеризует Ваше отношение ко мне: «Мысль изреченная есть ложь» [38]. Да, все было только мысль, фантазия, а не чувство хотя бы только дружбы. Я долго, искренно ждала хоть немного чувства от Вас, но, наконец, после нашего последнего разговора, возвратясь домой, я почувствовала, что в моей душе что-то вдруг навек оборвалось, умерло; почувствовала, что Ваше отношение ко мне теперь только возмущает все мое существо. Я живой человек и хочу им быть, хотя бы со всеми недостатками; когда же на меня смотрят, как на какую-то отвлеченность, хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо... Да, я вижу теперь, насколько мы с Вами чужды друг другу, вижу, что я Вам никогда не прощу то, что Вы со мной делали все это время, — ведь Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и... скучно.

Простите мне, если я пишу слишком резко и чем-нибудь обижу Вас; но ведь лучше все покончить разом, не обманывать и не притворяться. Что Вы не будете слишком жалеть о прекращении нашей «дружбы», что ли, я уверена; у Вас всегда найдется утешение и в ссылке на судьбу, и в поэзии, и в науке... А у меня на душе еще невольная грусть, как после разочарования, но, надеюсь, и я сумею все поскорей забыть, так забыть, чтобы не осталось ни обиды, ни сожаления...»

Прекрасная Дама взбунтовалась! Ну, дорогой читатель, если вы ее осуждаете, я скажу вам наверно: вам не двадцать лет, вы все испытали в жизни и даже уже потрепаны ею или никогда не чувствовали, как запевает торжественный гимн природе ваша расцветающая молодость. А какой я была в то время, я вам уже рассказала.

Но письмо передано не было, никакого объяснения тоже не было, nach wie vor *, так что «знакомство» бла-

---

* Ни прежде, ни потом (*нем.*).

гополучно продолжалось в его «официальной» части, и Блок бывал у нас по-прежнему.

Впоследствии Блок мне отдал три наброска письма, которые и он хотел мне передать после «разрыва» и так же не решился это сделать, оттягивая объяснение, необходимость которого чувствовалась и им. Вот эти наброски.

<I>

29 января 1902
Спб.

То, что произошло сегодня, должно переменить и переменило многое из того, что недвижно дожидалось случая три с половиной года. Всякая теория перешла непосредственно в практику, к несчастью, для меня — трагическую. Я должен (мистически и по велению своего Ангела) просить Вас выслушать мое письменное показание за то, что я посягнул или преждевременно, или прямо вне времени на божество некоторого своего Сверхбытия; а потому и понес заслуженную кару в простой жизни, простейшим разрешением которой будет смерть по одному Вашему слову или движению. Давно отошло всякое негодующее неповиновение. Теперь передо мной только впереди ныне чистая Вы и, простите за сумасшедшие термины, — по отношению к Вам, — бестрепетно неподвижное Солнце завтра; я каюсь в глубочайших тайниках, доселе Вам только намеревавшихся открыться, — каюсь и умоляю о прощении перед тем, что Вы (и никто другой) несете в Себе. Это — сила моей жизни, что я познал, как величайшую тайну и довременную гармонию самого себя, — ничтожного, озаренного тайным Солнцем Ваших просветлений. Могу просто и безболезненно выразить это так: моя жизнь, т. е. способность жить, немыслима без Исходящего от Вас ко мне некоторого непознанного, а только еще смутно ощущаемого мной Духа. Если разделяемся мы в мысли или разлучаемся в жизни (а последнее было, казалось, сегодня) — моя сила слабеет, остается только страстное всеобъемлющее стремление и тоска. Этой тоске нет исхода в этой жизни, потому что, даже когда я около Вас, она ослабевает только; но не прекращается; ибо нет между нами единения «должного», да и окончательного не могло бы быть (здесь — ясный переход, прямо здраво логического, не говоря

о прочем, свойства: если окончательного единения быть в этой жизни не может, а чистая цель есть окончательное единение, то не оторваться ли от этой жизни? — и т. д.). Но, если Вы так «обильны», как говорит мне о Вас мое «мистическое восприятие», то я, вспоминая Ваши пророческие речи о конце Вашей жизни, — безумно испытываю Ваше милосердие, ибо нет более мне исхода и я принужден идти по пути испытаний своего Бога, — и Вы — мой Бог, при нем же одном мне и все здешние храмы священны. И вот, испытуя и злодействуя, зову я Вас, моя Любовь, на предпоследнее деяние; ибо есть в жизни время, когда нужно это предпоследнее деяние, чтобы не произошло прямо последнее. Зову я Вас моей силой, от Вас исшедшей, моей молитвой, к Вам возносящейся, моей Любовью, которой дышу в Вас, — на решающий поединок, где будет битва предсмертная за соединение духов утверждаемого и отрицаемого. Пройдет три дня. Если они будут напрасны, если молчание ничем не нарушится, наступит последний акт. И одна часть Вашего Света вернется к Вам, ибо покинет оболочку, которой больше нет места живой; а только — мертвой. Жду. Вы — спасенье и последнее утверждение. Дальше — все отрицаемая гибель. Вы — Любовь.

II

5 февраля

Наступает уже то время, когда все должно двинуться вперед далеко. Прежде в стихах изливалась неудовлетворенность стремлений, — теперь и стихи не могут помочь, и страшное мое влечение приняло размеры, угрожающие духу. Надежда еще где-то высоко в небе звенит вдохновительно для слуха. Я призываю Вас всеми заклятиями. Откликнитесь и поймите, что молчанье не может продолжаться и кончится если не так, то иначе... Ибо возврата на старые пути нет, — эти пути одряхлели для моей жизни.

Было бы невозможно изложить все земные пути и все земные слова, которые могут встретиться в этом положении вещей. И я, отбрасывая землю, прошу Вас верить, что задену ее только там, где она прямо касается неба; здесь-то корень зла. А корень добра, затемненный

теперь до последней возможности, еще может открыться, поверьте мне. Главное, что Вас может смутить и удивить, что я разумею и разумею всегда, говоря с Вами, это то, что «что-то определено нам с Вами судьбой», — в это я верю больше, чем во все другое, и так же, как в то, что Вы, что бы ни было с Вашей стороны, останетесь для меня окончательной целью в жизни или в смерти. А в том и в другом Вы властны относительно меня вполне, так что я никогда не задумаюсь над тем или другим, если *Вы* прикажете. Вот это пускай Вам укажет всю степень важности того, чтобы я мог Вас увидеть, хоть один еще раз, чтобы окончательно можно было решить, что *мне* делать; ведь и *Вам* не может быть неощутительно, хоть в малой мере, странное и туманное положение вещей. Подумайте об этом, пожалуйста, и, если сочтете возможным, исполните мою просьбу — — — *, хоть поскольку она касается Вашей определенности. Я же, и в случае Вашего отказа, как согласия, совершенно не могу по отношению к Вам изменить себя и, в каком бы ни было виде, останусь с Вами на всю жизнь.

III

<Между 5 и 7 февраля 1902>

Именем Бога Всемогущего, который ближе к Вам, чем ко мне, но держит в своей Благодати равно Вас и меня, обращаюсь к Вам уже не с обыкновенным письмом, ибо нет более места обыкновенному, а скорее с просительной проповедью, как это ни странно, может быть, для Вашего сравнительного равновесия. Прошу Вас совершенно просто и внимательно отнестись к этому и решить, может быть, трудно, но доступную Вашему бессмертию, в которое я верю больше, чем в свое, загадку целой жизни. Еще раз говорю Вам твердо и уверенно, что *нет больше ничего обыкновенного и не может быть,* потому что Судьба в неизреченной своей милости написала мне мое будущее и настоящее, как и часть прошедшего, в совершенном сочетании с тем, что мне неведомо, а по тому самому служит предметом только поклонения и всяческого почитания, как Бога и прямого источника моей жизни или смерти. Может быть, то, что мне *необходимо* сказать Вам,

* Три тире — в подлиннике.

будет очень отвлеченно, но зато вдохновенно, а все вдохновенное Вы поймете. Я же *должен* передать Вам ту тайну, которой владею, пленительную, но ужасную, совсем не понятную людям, потому что об этой тайне я понял давно уже г л а в н о е, — что понять ее можете только *Вы одна,* и в ее торжестве только *Вы* можете принять участие. В том, что я говорю, нет выдумки, потому что так именно устроена жизнь, здесь корень ее добра и ее зла. И от участников этой жизни зависит принять добро и принять зло. Примите же Высшее Добро, не похожее на обыкновенное, в том свете, который Вам положено увидеть от века. Я знаю Вашу вещую веру в конец Вашей жизни, который воплотился на земле в идею самоубийства, о чем мы говорили не раз. Кроме того, я знаю и чувствую то неизреченное, которое Вас томит, от которого Ваша душа «скорбит смертельно» [39], о котором Вы хотели сказать и говорили мало, потому что нельзя передать, которое я ощутил тогда, как ощущаю теперь, ибо нет моей большей близости внутренней к Вашим помыслам, чем величайшая моя отдаленность от Вас вовне.

Жизнь продолжалась в тех же рамках. Я усиленно училась у Читау, которая была не только очень довольна мной, но уже строила планы о том, как подготовить меня к дебюту в Александринский театр на свое прежнее амплуа — молодых бытовых. Уже этой весной Мария Михайловна показала меня некоторым своим бывшим товарищам (был М. И. Писарев, это помню) в отрывках из гоголевской «Женитьбы». Блок на спектакле был, я послала ему билет с запиской: «Первой идет на спектакле «Женитьба», в которой я играю; если хотите меня видеть, то приходите вовремя, потому что «во время действия покорнейше просят не входить в зал». *Л. Менделеева.* 21-го (марта 1902 г.)».

В «Женитьбе» я и впоследствии играла с большим успехом, но — вот тут, вероятно, одна из моих основных жизненных ошибок — амплуа бытовых меня не удовлетворяло. <...> Если бы я послушалась Марию Михайловну и пошла указанным ею путем, меня ждал бы верный успех на пути молодых б ы т о в ы х, — тут все меня единогласно всегда и очень признавали. Но этот путь меня не прельщал, и осенью я к Читау не вернулась, была без увлекающего дела — и жизнь распорядилась мной по-своему.

Лето в Боблове я провела отчужденно от Блока, хотя он и бывал у нас. Я играла в спектакле в большом соседнем селе Рогачеве (Наташа в «Трудовом хлебе» Островского); Блок ездил меня смотреть. Потом надолго уезжала к кузинам Менделеевым в их новое именье Рыньково, около Можайска. Там я надеялась встретить их двоюродного брата, актера, очень красивого и сильно интересовавшего меня по рассказам. Но судьба и тут или берегла меня, или издевалась надо мной: вместо него приехала его сестра с женихом. Со зла я флиртовала с товарищами Миши Менделеева, мальчиками-реалистами, как и в Боблове с двоюродными братьями — Смирновыми, тоже гимназистами, которые все поочередно влюблялись в меня и в мою сестру. Но что это за флирты! Можно было скорее меня принять за пятнадцатилетнюю девчонку! Да, читатель, когда Вы читаете у Блока о «невинности» царевны [40] и тому подобном, вы смело можете принимать это за чистую монету!

Я рвалась в сторону, рвалась от прошлого; Блок был неизменно тут, и все его поведение показывало, что он ничего не считает ни потерянным, ни изменившимся. Он по-прежнему бывал у нас; вот следы выполненного поручения:

Петербургская сторона
Гренадерские казармы, кв. 7

Многоуважаемая Любовь Дмитриевна.

Сегодня я видел в Университете Александра Павловича Ленца. Его сестра сегодня же была на курсах, а брат поступил на математическое отделение в Университет« Живут они там же, где в прошлом году (Николаевская, 84). Извините, что сообщаю Вам это не лично, а письменно, не имел времени зайти раньше завтрашнего дня, а так — скорее.

Пожалуйста, кланяйтесь от меня Вашей маме.

Преданный Вам *Ал. Блок.*

18 сентября 1902

Но объяснения все не было и не было. Это меня злило, я досадовала: пусть мне будет хоть интересно, если уж теперь и не затронуло бы глубоко. От всякого чувства к Блоку я была в ту осень свободна.

Подходило 7-е ноября, день нашего курсового вечера в Дворянском собрании. И мне вдруг стало ясно: объяс-

нение будет в этот вечер. Не волнение, а любопытство и нетерпение меня одолевали.

Дальше все было очень странно, если не допускать какого-то предопределения и моей абсолютной несвободы в поступках. Я действовала совершенно точно и знала, что и как будет.

Я была на вечере с моими курсовыми подругами — Шурой Никитиной и Верой Макоцковой. На мне было мое парижское суконное голубое платье. Мы сидели на хорах в последних рядах, на уже сбитых в беспорядке стульях, невдалеке от винтовой лестницы, ведущей вниз влево от входа, если стоять лицом к эстраде. Я повернулась к этой лестнице, смотрела неотступно и знала: сейчас покажется на ней Блок.

Блок подымался, ища меня глазами, и прямо подошел к нашей группе. Потом он говорил, что, придя в Дворянское собрание, сразу же направился сюда, хотя прежде на хорах я и мои подруги никогда не бывали. Дальше я уже не сопротивлялась судьбе; по лицу Блока я видела, что сегодня все решится, и затуманило меня какое-то странное чувство: что меня уже больше не спрашивают ни о чем, пойдет все само, вне моей воли, помимо моей воли.

Вечер проводили как всегда, только фразы, которыми мы обменивались с Блоком, были какие-то в полтона, не то как несущественное, не то как у уже договорившихся людей. Так, часа в два он спросил, не устала ли я и не хочу ли идти домой. Я сейчас же согласилась. Когда я надевала свою красную ротонду, меня била лихорадка, как перед всяким надвигающимся событием. Блок был взволнован не менее меня.

Мы вышли молча, и молча, не сговариваясь, пошли вправо по Итальянской, к Моховой, к Литейной — нашим местам. Была очень морозная, снежная ночь. Взвивались снежные вихри. Снег лежал сугробами, глубокий и чистый. Блок начал говорить. Как начал — не помню, но когда мы подходили к Фонтанке, к Семеновскому мосту, он говорил, что любит, что его судьба — в моем ответе. Помню, я отвечала, что теперь уже поздно об этом говорить, что я уже не люблю, что долго ждала его слов и что если и прощу его молчание, вряд ли это чему-нибудь поможет. Блок продолжал говорить как-то мимо моего ответа, и я его слушала. Я отдавалась привычному вниманию, привычной вере в его слова. Он говорил, что для

него вопрос жизни в том, как я приму его слова, и еще долго, долго. Это не запомнилось, но письма, дневники того времени говорят тем же языком. Помню, что я в душе не оттаивала, но действовала как-то помимо воли этой минуты, каким-то нашим прошлым, несколько автоматически. В каких словах я приняла его любовь, что сказала — не помню, но только Блок вынул из кармана сложенный листок, отдал мне, говоря, что если б не мой ответ, утром его уже не было бы в живых. Этот листок я скомкала, и он хранится весь пожелтевший, со следами снега.

Мой адрес: Петербургская сторона, Казармы Л. Гв. Гренадерского полка, кв. полковника Кублицкого, № 13.

7 ноября 1902 года
Город Петербург.

В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне «отвлеченны» и ничего общего с «человеческими» отношениями не имеют. Верую во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Чаю Воскресения мертвых. И Жизни Будущего Века. Аминь.

Поэт Александр Блок, [41].

Потом он отвозил меня домой на санях. Блок склонялся ко мне и что-то спрашивал. Литературно, зная, что так вычитала где-то в романе, я повернулась к нему и приблизила губы к его губам. Тут было пустое мое любопытство, но морозные поцелуи, ничему не научив, сковали наши жизни.

Думаете, началось счастье? Началась сумбурная путаница. Слои подлинных чувств, подлинного упоения молодостью — для меня, и слои недоговоренностей — и его и моих, чужие вмешательства, — словом, плацдарм, насквозь минированный подземными ходами, таящими в себе грядущие катастрофы.

Мы условились встретиться 9-го в Казанском соборе, но я обещала написать непременно 8-го. Проснувшись на другое утро, я еще вполне владела собой, еще не поддалась надвигавшемуся «пожару чувств», и первое мое смешливое побуждение было — пойти рассказать Шуре Никитиной о том, что было вчера. Она иногда работала

за отца корректором в газете «Петербургский листок». Я подождала ее выхода, провожала домой и со смехом рассказывала: «Знаешь, чем кончился вечер? Я целовалась с Блоком!..»

Отправленная мной записочка совершенно пуста и фальшива, — уже потому, что никогда в жизни не называла я Блока, как в семье, «Сашурой» [42].

Но на этом мои конфиденции Шуре Никитиной и прекратились, потому что 9-го я расставалась с Блоком завороженная, взбудораженная, покоренная. Из Казанского собора мы пошли в Исаакиевский. Исаакиевский собор, громадный, высокий и пустой, тонул во мраке зимнего вечера. Кой-где, на далеких расстояниях, горели перед образами лампады или свечи. Мы так затерялись на боковой угловой скамье, в полном мраке, что были более отделены от мира, чем где-нибудь. Ни сторожей, ни молящихся. Мне не трудно было отдаться волнению и «жару» этой «встречи» [43], а неведомая тайна долгих поцелуев стремительно пробуждала к жизни, подчиняла, превращала властно гордую девичью независимость в рабскую женскую покорность.

Вся обстановка, все слова — это были обстановка и слова наших прошлогодних встреч; мир, живший тогда только в словах, теперь воплощался. Как и для Блока, вся реальность была мне преображенной, таинственной, запевающей, полной значительности. Воздух, окружавший нас, звенел теми ритмами, теми тонкими напевами, которые Блок потом улавливал и заключал в стихи. Если и раньше я научилась понимать его, жить его мыслью, тут прибавилось еще то «десятое чувство», которым влюбленная женщина понимает любимого.

Чехов смеется над «Душенькой». Разве это смешно? Разве это не одно из чудес природы — эта способность женской души так точно, как по камертону, находить новый лад? Если хотите, в этом есть доля трагичности, потому что иногда слишком легко и охотно теряют свое, отступают, забывают свою индивидуальность. Я говорю это о себе. Как взапуски, как на пари, я стала бежать от всего своего и стремилась тщательно ассимилироваться с тоном семьи Блока, который он любил. Даже почтовую бумагу переменила, даже почерк. Но это потом. Пока поджидало меня следующее.

На другой день мы опять встретились у Исаакиевского собора, но лишь мимолетно. Блок сказал, что пришел

только предупредить меня, чтобы я не волновалась, что ему запрещено выходить, надо даже лежать, у него жар. Он только умолял меня не беспокоиться, но ничего больше сказать не мог. Мы условились писать друг другу каждый день, он ко мне — на Курсы. <...>

<6>

Конечно, не муж и не жена. О, господи! Какой оп муж и какая уж это была жена! В этом отношении и был прав А. Белый, который разрывался от отчаяния, находя в наших отношениях с Сашей «ложь». Но он ошибался, думая, что и я и Саша упорствуем в своем «браке» из приличия, из трусости и невесть еще из чего. Конечно, он был прав, говоря, что только он любит и ценит *меня, живую женщину,* что только он окружит эту меня тем обожанием, которого женщина ждет и хочет. Но Саша был прав по-другому (о, насколько более суровому, но и высокому!), оставляя меня с собой. А я всегда широко пользовалась правом всякого человека выбирать не легчайший путь.

Я не пошла на услаждение своих «женских» (бабьих) претензий, на счастливую жизнь боготворимой любовницы. Притом — жизнь богатую, по сравнению с нашей почти нищетой в условиях широко звучащей дворянской обстановки. Об ней расскажу в другом месте, и упоминаю о деньгах, лишь примеряя свое поведение на образ мыслей современных девушек или молодых женщин. Не знаю такой, которая бы отказалась от двух-трех десятков тысяч, которые сейчас же хотел реализовать А. Белый, продав уже принадлежащее ему именье.

В те годы на эти деньги можно было объехать весь свет, да еще и после того осталось бы на год-другой удобной жизни. Путешествия были всегда моей страстью, а моя буйная жажда жизни плохо укладывалась в пятьдесят рублей, которые мне давал отец. Саша не мог ничего мне уделить из тех же пятидесяти, получаемых от его отца: тут и университет, и матери на хозяйство, и т. д.[44]. И тем не менее все это я регистрирую только теперь. В ту пору я не только не взвешивала сравнительную материальную сторону той и другой жизни: она просто вовсе не попадала на весы.

Помню, как раз, сидя со мной в моей комнате на маленьком диванчике, Боря в сотый раз доказывал, что наши «братские» отношения (он вечно применял это слово в определении той близости, которая вырастала постепенно сначала из дружбы, потом из его любви ко *мне*), — наши братские отношения больше моей любви к Саше, что они обязывают меня к решительным поступкам, к переустройству моей жизни, и как доказательство возможности крайних решений — рассказывал свое намерение продать именье, чтобы сразу можно было уехать на край света. Я слышала все, что угодно, но цифра, для меня, казалось бы, внушительная, не задела *внимания*, — я ее пропустила мимо ушей. Во всех этих разговорах я всегда просила Борю подождать, не торопить меня с решением.

Отказавшись от этого первого серьезного «искушения», оставшись верной настоящей и трудной моей любви, я потом легко отдавала дань всем встречавшимся *влюбленностям*, — это был уже не вопрос, курс был взят определенный, парус направлен, и «дрейф» в сторону не существен.

За это я иногда впоследствии и ненавидела А. Белого: он сбил меня с моей надежной самоуверенной позиции. Я по-детски непоколебимо верила в единственность моей любви и в свою незыблемую верность в то, что отношения наши с Сашей «потом» наладятся.

Моя жизнь с «мужем» (!) весной 1906 года была уже совсем расшатанной. <...>

Той весной — вижу, когда теперь *оглядываюсь*, — я была брошена на произвол всякого, кто стал бы за мной упорно ухаживать. Если бы я рассудком отстранилась от прошлого, чужого, то против Бори я почти ничего не мог<ла> противупоставить: все мы ему верили, глубоко его уважали и считались с ним, он был свой. Я же, повторяю, до идиотизма не знала жизнь и ребячливо верила в свою непогрешимость.

Да по правде сказать, и была же я в то время и семьей Саши, и московскими «блоковцами» захвачена, превознесена без толку и на все лады, мимо моей простой человеческой сущности. Моя молодость таила в себе какое-то покоряющее очарование, я это видела, это чуяла; и у более умудренной опытом голова могла закружиться. Если я пожимала плечами в ответ на теоретизирования о значении воплощенной во мне женственности, то как

могла я удержаться от соблазна испытывать власть своих взглядов, своих улыбок на окружающих? И прежде всего — на Боре, самом значительном из всех? Боря же кружил мне голову, как самый опытный Дон-Жуан, хотя таким никогда и не был. Долгие, иногда четырех- или шестичасовые его монологи, теоретические, отвлеченные, научные, очень интересные нам, заканчивались неизбежно каким-нибудь сведением всего ко мне; или прямо, или косвенно выходило так, что смысл всего — в моем существовании и в том, какая я.

Не корзины, а целые «бирнамские леса» появлялись иногда в гостиной, — это Наливайко или Владислав[45], смеясь втихомолку, вносили присланные «молодой барыне» цветы. Мне — привыкшей к более чем скромной жизни и обстановке! Говорил <А. Белый> и речью самых влюбленных напевов: приносил Глинку («Как сладко с тобою мне быть...», «Уймитесь, волнения страсти...», еще что-то). Сам садился к роялю, импровизируя; помню мелодию, которую Боря называл: «моя тема» (т. е. его тема). Она хватала за душу какой-то близкой мне отчаянностью и болью о том же, о чем томилась и я, или так мне казалось. Но думаю, что и он, как и я, не измерял опасности тех путей, по которым мы так неосторожно бродили. Злого умысла не было и в нем, как и во мне.

Помню, с каким ужасом я увидала впервые: то единственное, казавшееся неповторимым моему детскому незнанию жизни, то, что было между мной и Сашей, что было для меня моим «изобретением», неведомым, неповторимым, эта «отрава сладкая» взглядов, это проникновение в душу даже без взгляда, даже без прикосновения руки, одним присутствием — это может быть еще раз и с другим? Это — *бывает?* Это я смотрю вот так на «Борю»? И тот же туман, тот же хмель несут мне эти чужие, эти: не Сашины глаза?

Мы возвращались с дневного концерта оркестра графа Шереметева, с «Парсифаля», где были всей семьей и с Борей. Саша ехал на санях с матерью, я с Борей. Давно я знала любовь его, давно кокетливо ее принимала и поддерживала, не разбираясь в своих чувствах, легко укладывая свою заинтересованность им в рамки «братских» (модное было у Белого слово) отношений. Но тут (помню даже где — на набережной, за домиком Петра Великого) на какую-то фразу я повернулась к нему лицом — и

остолбенела. Наши близко встретившиеся взгляды... но ведь это то же, то же! «Отрава сладкая...» Мой мир, моя стихия, куда Саша не хотел возвращаться, о, как уже давно и как недолго им отдавшись! Все время ощущая нелепость, немыслимость, невозможность, я взгляда отвести уже не могла.

И с этих пор пошел кавардак. Я была взбудоражена не менее Бори. Не успевали мы оставаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами, и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев. Ничего не предрешая в сумбуре, я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволяла вынуть тяжелые черепаховые гребни и шпильки, и волосы уже упали золотым плащом (смешно тебе, читательница, это начало всех «падений» моего времени?)... Но тут какое-то неловкое и неверное движение (Боря был в таких делах явно не многим опытнее меня) — отрезвило, и уже волосы собраны, и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна найти я выход из созданной мною путаницы.

(Дорогой читатель, обращаюсь теперь к вам. Я понимаю, как вам трудно поверить моему рассказу! Давайте помиримся на следующем: моя версия все же гораздо ближе к правде, чем ваши слишком лестные для А. Белого предположения.) То, что я не только не потеряла голову, но, наоборот, отшатнулась при первой возможности большей близости, меня очень отрезвило. При следующей встрече я снова взглянула на Борю более спокойным взглядом, и более всего на свете захотелось мне иметь несколько свободных дней или даже недель, чтобы собраться с мыслями, оглядеться, понять, что я собираюсь делать. Я попросила Борю уехать.

В гостиной Александры Андреевны, у рояля, днем, вижу эту сцену: я сидела за роялем, он стоял против меня, облокотившись на рояль, лицом к окнам. Я просила уехать, дать мне эту свободу оглядеться, и обещала ему написать сейчас же, как только пойму. Вижу, как он широко раскрытыми глазами (я их называла «опрокинутыми», — в них тогда бывало не то сумасшествие какое-то, не то что-то нечеловеческое, весь рисунок «опрокинутый»... «Почему опрокинутые?» — пугался всегда Боря) смотрит на меня, покоренный и покорный, и верит мне. Вот тут-то и был тот обман, на который впоследствии же-

стоко жаловался Боря: я ему не показала, что уже отхожу, что уже опомнилась. Я его лишала единственного реального способа борьбы в таких случаях — присутствия. Но, в сущности, более опытному, чем он, тот оборот дела, который я предлагала, был бы достаточно красноречивым указанием на то, что я отхожу. Боря же верил и одурманенным поцелуям, и в дурмане сказанным словам («да, уедем», «да, люблю») и прочему, чему ему приятно было верить.

Как только он уехал, я начала приходить от себя в ужас: что же это? Ведь я ничего уже к нему и не чувствую, а что я выделывала! Мне было и стыдно за себя, и жаль его, но выбора уже не было. Я написала ему, что не люблю его, и просила не приезжать. Он негодовал, засыпал меня письмами, жаловался на меня всякому встречному. Это было даже более комично, чем противно, из-за этого я не смогла сохранить к нему даже дружбу.

Мы уехали в Шахматово рано. Шахматово — тихое прибежище, куда и потом не раз приносили мы свои бури, где эти бури умиротворялись. Мне надо было о многом *думать*, — строй души перестраивался. До тех пор я была во всем покорной ученицей Саши; если я думала и чувствовала не так, как он, я была не права. Но тут вся беда была в том, что равный Саше (так все считали в то время) полюбил меня той самой любовью, о которой я тосковала, которую ждала, которую считала своей стихией (впоследствии мне *говорили*, — не раз, увы! — что я была в этом права). Значит, вовсе это не «низший» мир, значит, вовсе не «астартизм», не «темное», недостойное меня, как старался убедить меня Саша. Любит так, со всем самозабвением страсти — Андрей Белый, который был в те времена авторитет и для Саши, которого мы всей семьей глубоко уважали, признавая тонкость его чувств и верность в их анализе. Да, уйти с ним — это была бы действительно измена.

У Л. Лесной есть стихотвореньице, которое она часто читала с эстрады в те годы, когда я с ней играла в одном театре (Куоккала, 1914 год). «Японец» любил «японку одну», потом стал «обнимать негритянку»; но ведь «он по-японски с ней не говорил? Значит, он не изменил, значит, она случайна...» [46]. С Андреем Белым я могла бы говорить «по-японски»; уйти с ним было бы сказать, что я ошиблась, думая, что люблю Сашу, выбрать из двух

равных. Я выбрала, но самая возможность такого выбора поколебала всю мою самоуверенность. Я пережила в то лето жестокий кризис, каялась, приходила в отчаяние, стремилась к прежней незыблемости. Но дело было сделано; я видела отчетливо перед глазами «возможности», зная в то же время уже наверно, что «не изменю» я никогда, какой бы ни была видимость со стороны. К сожалению, я глубоко равнодушно относилась к суждению и особенно осуждению чужих *людей*, — этой узды для меня не существовало.

Отношение мое к Боре было бесчеловечно, в этом я должна сознаться. Я не жалела его ничуть, раз отшатнувшись. Я стремилась устроить жизнь, как мне нужно, как удобней. Боря добивался, требовал, чтобы я согласилась на то, что он будет жить зимой в Петербурге, что мы будем видеться хотя бы просто как «знакомые». Мне, конечно, это было обременительно, трудно и хлопотли*во*, — бестактность Бори была в те годы баснословна. Зима грозила стать пренеприятнейшей. Но я не думала о том, что все же виновата перед Борей, что свое кокетство, свою эгоистическую игру я завела слишком далеко, что он-то продолжает любить, что я ответственна за это... Обо всем этом я не думала и лишь с досадой рвала и бросала в печку груды писем, получаемых от него. Я думала только о том, как бы избавиться от этой уже ненужной мне любви, и без жалости, без всякой деликатности просто запрещала ему приезд в Петербург. Теперь я вижу, что сама доводила его до эксцессов; тогда я считала себя вправе так поступать, раз я-то уже свободна от влюбленности.

Вызов на дуэль[47] был, конечно, ответ на все мое отношение, на мое поведение, которое Боря не понимал, не верил моим теперешним словам. Раз сам он не изменил чувств, не верил измене моих. Верил весенним моим поступкам и словам. И имел полное основание быть сбитым с толку. Он был уверен, что я «люблю» его по-прежнему, но малодушно отступаю из страха приличия и тому подобных глупостей. А главная его ошибка — был уверен, что Саша оказывает на меня давление, не имея на то морального права. Это он учуял. Нужно ли говорить, что я не только ему, но и вообще никому не говорила о моем горестном браке. Если я вообще была молчалива и скрытна, то уж об этом... Но <А. Белый> совершенно не учуял основного Сашиного свойства. Саша всегда становился совер-

шенно равнодушным, как только видел, что я отхожу от него, что пришла какая-нибудь влюбленность. Так и тут. Он пальцем не пошевелил бы, чтобы удержать. Рта не открыл бы. Разве только для того, чтобы холодно и жестоко, как один он умел, язвить уничтожающими насмешками, нелестными характеристиками моих поступков, их мотивов, меня самой и моей менделеевской семьи на придачу.

Поэтому когда явился секундант Кобылинский, я моментально и энергично, как умею в критические минуты, решила, что сама должна расхлебывать заваренную мною кашу. Прежде всего я спутала ему все карты и с самого начала испортила все дело.

А. Белый говорит[48], что приехал Кобылинский в день отъезда Александры Андреевны, т. е. 10 августа (судя по дневнику М. А. Бекетовой). Может быть, этого я не помню, хотя прекрасно помню все дальнейшее. Мы были с Сашей одни в Шахматове. День был дождливый, осенний. Мы любили гулять в такие дни. Возвращались с Малиновой горы и из Прасолова, из великолепия осеннего золота, промокшие до колен в высоких лесных травах. Подымаемся в саду по дорожке, от пруда, и видим в стеклянную дверь балкона, что по столовой кто-то ходит взад и вперед. Скоро узнаем и уже догадываемся.

Саша, как всегда, спокоен и охотно идет навстречу всему худшему, — это уж его специальность! Но я решила взять дело в свои руки и повернуть все по-своему, не успели мы еще подняться на балкон. Встречаю Кобылинского непринужденно и весело, радушной хозяйкой. На его попытку сохранить официальный тон и попросить немедленного разговора с Сашей наедине, шутя, но настолько властно, что он тут же сбивается с тона, спрашиваю, что же это за секреты? У нас друг от друга секретов нет, прошу говорить при мне. И настолько в этом был силен мой внутренний напор, что он начинает говорить при мне (секундант-то!). Ну, все испорчено. Я сейчас же пристыдила его, что он взялся за такое бессмысленное дело. Но говорить надо долго, и он устал, и мы, давайте сначала пообедаем!

Быстро мы с Сашей меняем наши промокшие платья. Ну, а за обедом уж было пустяшным делом пустить в ход улыбки и «очей немые разговоры»[49], — к этому времени я хорошо научилась ими владеть и знала их действие. К концу обеда мой Лев Львович сидел уже

совсем прирученный, и весь вопрос о дуэли был решен... за чаем. Расстались мы все большими друзьями.

Пришедшая зима 1906—1907 года нашла меня совершенно подготовленной к ее очарованиям, ее «маскам», «снежным кострам» [50], легкой любовной игре, опутавшей и закружившей всех нас. Мы не ломались, нет, упаси господь! Мы просто и искренно все в эту зиму жили не глубокими, основными жизненными слоями души, а ее каким-то легким хмелем. Если не ясно для постороннего говорит об этом «Снежная маска», то чудесно рассказана наша зима В. П. Веригиной в ее воспоминаниях о Блоке. <...>

Не удивляйтесь, уважаемый читатель, умилению и лиризму при воспоминании об этих нескольких зимних месяцах, — потом было много и трудного и горького и в «изменах» и в добродетельных годах (и такие были!). Но эта зима была какая-то передышка, какая-то жизнь вне жизни. И как же не быть ей благодарной, не попытаться и в вас, читатель, вызвать незабываемый ее облик, чтобы, читая и «Снежную маску», и другие стихи той зимы, вы бы развеяли по всему нашему Петербургу эти снежные чары и видели закруженными пургой всех спутников и спутниц Блока. <...>

<ОТДЕЛЬНЫЕ НАБРОСКИ>

<1>

Послушать критиков, даже самых умных, выходит так: не Блок, а какой-то насупившийся гимназист VIII класса, мрачно ковыряя в носу, решает свое «мировоззрение»: с народниками он или с марксистами... Они как будто забывают, что когда — в науке ли, в искусстве ли — находит ученый или поэт *новое,* оно *неведомо* и ему самому, как и всем. *Думал* об одном, решал что-то из знакомого, из уже существующего, а вышло *небывалое,* новое. И приходит это новое путями далеко еще не исследованными, вовсе не укладывающимися в концепцию «умного восьмиклассника», решающего удачно труднейшие задачи, в которую наперебой стремятся критики засунуть всякого поэта, желая его «похвалить». Творческие пути используют подсознательное

в той же мере, как и сознательное мышление, — даже в науке.

Мне не надо выходить из семейных воспоминаний, чтобы вспомнить разительный пример. Да, созданию Периодической системы предшествовала десятилетняя работа, сознательные поиски в нащупывания истины... Но вылилась она в определенную форму в момент подсознательный. Отец сам рассказывал: после долгой ночи за письменным столом, он уже кончил работу, голова была утомлена, мысль уже не работала. Отец «машинально» перебирал карточки с названиями элементов и их свойств и раскладывал их на столе, ни о чем не думая. И вдруг толчок — свет, осветивший все: перед ним на столе лежала Периодическая система. Научный гений для решительного шага в *новое,* в *неведомое* должен был использовать момент усталости, момент, открывший шлюзы подсознательным силам.

Критики меня смешат: через шестнадцать лет после смерти Блока, через тридцать с лишним лет после первого десятилетия деятельности, конечно — возьми его книжки, читай, — и если ты не вовсе дурак, поймешь из пятого в десятое, о чем они, какой ход мысли от одного этапа к другому, к настроениям и идеологии каких социальных или литературных группировок можно эти мысли отнести.

Критик и думает, рассказав эти свои наблюдения, что он что-то сообщит или узнает о *творчестве* Блока. Как бы не так! Уж очень это простенько, товарищ критик, уж очень «гимназист VIII класса»! А получается так простенько потому, что вы берете уже законченное; говоря о начале, вы уже знаете, каков будет конец. Теперь уже *ведомо* и школьнику, что «Двенадцать» венчает творческий и жизненный путь Блока. Но когда Блок писал первое свое стихотворение, ему неведомо было и второе, а то, что впереди...

А вы попробуйте перенестись в конец девяностых годов, когда Блок уже писал «Стихи о Прекрасной Даме», конечно и не подозревая, что он что-либо подобное пишет. Ловит слухом и записывает то, что поется около него, в нем ли — он не знает. Попробуйте перенестись во время до «Мира искусства» и его выставок, до романов Мережковского, до распространения широкого знакомства с французскими символистами, даже до первого приезда Художественного театра[51]. Помню чудный образчик «уровня» — концерт на Высших курсах уже в 1900 году:

с одной стороны, старый, седой, бородатый поэт Поздняков читает, простирая руку под Полонского, «Вперед без страха и сомненья...[52], с другой — Потоцкая жеманно выжимает сдобным голоском что-то Чюминой: «...птичка мертвая лежала»[53].

Пусть семья Блока тонко литературна, пусть Фет, Верлен и Бодлер знакомы с детства, все же, чтобы написать любое стихотворение «Ante Lucem» — какой прорыв, какая неожиданность и ритма, и звуковой инструментовки, не говоря об абсолютной *непонятности* в то время и хода мыслей, и строя чувств.

Помню ясно, как резнули своей неожиданностью первые стихи, которые показал мне Блок в 1901 году. А я была еще к новому подготовлена, во мне самой назревало это новое — совершенно в других слоях души, чем показные, парадные. Может быть, именно благодаря тому, что я пережила этот процесс рождения нового, мне ясно, где и как искать его корни «в творчестве» у великих. С показной стороны я была — член моей культурной семьи со всеми ее широкими интересами в науке и искусстве. Передвижные выставки, «Русская мысль» и «Северный вестник», очень много серьезной музыки дома, все спектакли иностранных гастролеров и трагических актрис. Но вот (откуда?) отношение мое к искусству обострилось, разрослось совсем по-другому, чем это было среди моих.

Это и была основа всего идущего *нового* — особое восприятие искусства, отдавание ему без остатка святого святых души. Черпать в нем свои коренные жизненные силы и ничему так не верить, как тому, что пропоет тебе стих или скажет музыка, что просияет тебе с полотна картины, в штрихе рисунка. С Врубеля у меня и началось. Было мне тогда лет четырнадцать — пятнадцать. Дома всегда покупали новые книги. Купили и иллюстрированного Лермонтова в издании Кнебеля.[54] Врубелевские рисунки к «Демону» меня пронзили. Но они-то как раз и служили главным аттракционом, когда моя просвещенная мама показывала не менее культурным своим приятельницам эти новые иллюстрации к Лермонтову. Смеху и тупым шуткам, которые неизменно, неуклонно порождало всякое проявление нового, конца не было. Мне было больно (по-новому!). Я *не могла* допустить продолжения этих надругательств, унесла Лермонтова и спрятала себе под тюфяк; как ни искали, так и не нашли. Так же по-

трясла душу и взгромоздила в ней целые новые миры Шестая симфония Чайковского в исполнении Никиша. Все восхищались «прекрасным исполнением», я могла только, стиснув зубы, молчать.

Я знаю, что понять меня современному читателю трудно, т. е. трудно представить себе, что это романтически звучащее «высокое» восприятие искусства, сейчас порядочно-таки старомодное, в свое время было передовым двигателем искусства, и двигателем большой мощности. Не только осознать умом, но и ощущать всеми жизненными силами, что самое полное, самое ощутимое познание основ мироздания несет искусство, — вот формула, упуская из виду которую трудно разобраться не только в творчестве Блока, но и многих его современников.

Одно дело — писать стихотворение на *обдуманную* тему, подыскивая ей талантливо нужную форму, — критики, по-видимому, полагают, что этим занимался Блок. Другое — вслушиваться в запевающий (в душе или извне — этого Блок никогда не знал) отголосок, отзвук мира, в певучей своей стихии открывающегося поэту.

Ведь, в конце концов, чем-то поэт отличается от нас с вами, товарищ критик? И отличается он от самого ловкого, самого виртуозного стихослагателя?

<2>

Как странно теперь вспоминать то общество, среди которого я росла и среди которого провела жизнь замужем. Все люди очень не денежные и абсолютно «вне денежные». Приходят деньги — их с удовольствием тратят, не приходят — ничего не делается для их умножения. Деньги — вне интересов, а интересы людей — вне их самих, вне того тонкого слоя навозца, который покрывает кору земного шара. Чтобы жить, надо стоять ногами в этом навозце, надо есть, надо как-нибудь организовать свой быт. Но голова высоко-высоко над ним.

Никогда не слыхала я дома или у нас с Александром Александровичем за обеденным столом или за чаем (которые очень редко протекают без гостя; всегда кого-нибудь да задержит отец или Александр Александрович на обед), никогда не слыхала вульгарно-житейских или тем более хозяйственных разговоров. Тему разговора дает

актуальное событие в искусстве или науке, очень редко — в политике. Отец охотно и много рассказывает из виденного и всегда обобщает, всегда открывает широкие перспективы на мир. У нас зачастую обеденный разговор — это целый диспут Александра Александровича с кем-нибудь из друзей или случайным гостем. Казалось бы, немыслимое времяпрепровождение: пяти-шестичасовой разговор на отвлеченную тему. Но эти разговоры — творческие; не только собеседник, и сам Блок часто находил в них уточнение мыслей, новые прорывы в назревающие темы.

Даже ненавистные «семейные обеды» — и те звучат не вульгарно. Мама любит говорить и рассказывать и часто говорит остроумно, хотя и парадоксально. Она любила сразиться с интересным собеседником, а такие среди наших родных были нередки, и остроумная словесная дуэль заполняет общее внимание. Александра Андреевна несколько ходульно, но очень искренно ненавидела обывательский быт, и в те родственные обеды, где приходилось встречаться с несколько чуждыми людьми, она всегда умудрялась внести элемент «скандала» нарочито вызывающими высказываниями.

Быт трещал. Но большинство тех, кого я видела и в родительском доме и у себя: «что з*а* люди, моншер...» [55] Друзья моих родителей, передвижники — Ярошенко, Куинджи, Репин, бородатые, искренние, большие дети, наивные и незыблемо верящие в раз найденные принципы и идеи. Блестящий causeur * Коновалов (впоследствии академик), с высоко вскинутой красивой головой. Все, кто сталкивался с отцом в работе, все родственники, которые б ы в а л и, — все в этом плане истинной интеллигентности: можно очень любить свою персону, но как раз постольку, поскольку она способна проникать в стоящее выше меня. Это ощущение вверх, а не вокруг себя а не под ногами — самое существенное.

<3>

«Расист» мог бы с удовольствием посмотреть на Блока: он прекрасно воплощал образ светлокудрого, голубоглазого, стройного, героического арийца. Строгость

---

* Собеседник (*фр.*).

манер, их «военность», прямизна выправки, сдержанная манера одеваться и в то же время большое сознание преимуществ своего облика и какая-то приподнятая манера себя нести, себя показывать — довершали образ «зигфридоподобия». Александр Александрович очень любил и ценил свою наружность, она была далеко не последняя его «радость жизни». Когда за год, приблизительно, до болезни он начал чуть-чуть сдавать, чуть поредели виски, чуть не так прям, и взгляд не так *ярок*, — он подходил к зеркалу с горечью и негромко, как-то словно не желая звуком утвердить совершившееся, полушутя говорил: «Совсем уж не то, в трамвае на меня больше не смотрят...» И было это очень, очень горько.

<4>

Чтобы понять облик, характер Александра Александровича, будут полезны эти несколько указаний.

У нас с ним была общей основная черта наших организаций, которая и сделала возможной и неизбежной нашу совместную жизнь, несмотря на всю разницу характеров, времяпрепровождения и внешних вкусов.

Мы оба сами создавали свою жизнь, сами вызывали события, имели силы не поддаваться «бытию»; а за ним тем более — «быту». Но это мелкая черточка по сравнению с нашей внутренней свободой, вернее — с нашей свободой от внешнего. Потому что мне особенно, но и Саше, всегда казалось, что мы, напротив, игрушки в руках Рока, ведущего нас определенной дорогой. У меня даже была такая песенка, из какого-то водевиля:

Марионетки мы с тобою,
И нашей жизни дни не тяжки...

Саша иногда ею забавлялся, а иногда на нее сердился.

Вот, проще, некоторые черты.

Я буду говорить о себе, наравне с Сашей, в том случае, когда я считаю, что говорю об общей нашей черте; про себя можно подробнее рассказать внутренний ход событий, а здесь все в том, что «сознание определяло бытие», не во гнев марксистам будь сказано.

<5>

Жить рядом с Блоком и не понять пафоса революции, не умалиться перед ней со своими индивидуалистическими претензиями — для этого надо было бы быть вовсе закоренелой в косности и вовсе ограничить свои умственные горизонты. К счастью, я все же обладала достаточной свободой мысли и достаточной свободой от обывательского эгоизма. Приехав из Пскова[56] очень «провинциально» настроенной и с очень провинциальными «ужасами» перед всяческой неурядицей, вплоть до неурядиц кухонных, я быстро встряхнулась и нашла в себе мужество вторить тому мощному гимну революции, какой была вся настроенность Блока. Полетело на рынок содержимое моих пяти сундуков актрисьего гардероба! В борьбе за «хлеб насущный» в буквальном смысле слова, так как Блок очень плохо переносил отсутствие именно *хлеба,* наиболее трудно добываемого в то время продукта.

Я не умею долго горевать и органически стремлюсь выпирать из души все тягостное. Если сердце сжималось от ужаса, как перед каким-то концом, когда я вырвала из тщательно подобранной коллекции старинных платков и шалей первый, то следующие упорхнули уже мелкой пташечкой. За ними — нитка жемчуга, которую я обожала, и все, и все, и все... Я пишу это очень нарочно: чем мы не римлянки, приносившие свои драгоценности выхоленными рабынями руками, а мы и руки свои пожертвовали (руки, воспетые поэтом: «Чародейную руку твою...»[57]) — так как они погрубели и потрескались за чисткой мерзлой картошки и вонючих селедок; их запах, их противную скользкость я совершенно не переносила и заливалась горькими слезами, стоя на коленях, потроша их на толстом слое газет, на полу, у плиты, чтобы скорее потом избавиться от запаха и остатков. А селедки были основой всего меню.

Помню, в таких же слезах застала я Олечку Глебову-Судейкину за мытьем кухни. Вечером ей надо было танцевать в «Привале комедиантов», и она плакала над своими красивыми руками, покрасневшими и распухшими.

Я отдала революции все, что имела, так как должна была добывать средства на то, чтобы Блок мог не голодать, исполняя свою волю и свой долг — служа Октябрьской революции не только работой, но и своим присутствием, своим «приятием».

Совершенно так же отчетливо, как и он, я подтвердила: «Да, дезертировать в сытую жизнь, в спокойное существование мы не будем». Я знала, какую тяжесть беру на себя, но я не знала, что тяжесть, падающая на плечи Блока, будет ему не по с и л а м, — он был совсем молодым, крепким и даже полным юношеского задора.

<6>

24 сентября 1921

Когда Саша вернулся из Москвы, я встречала его на вокзале с лошадью Белицкого. Увидела его в окно вагона, улыбающегося. Ноги болели, но не очень; мы шли под. руку, он не давал мне нести чемодан, пока не взял носильщик. День был хороший, мы ехали и разговаривали[58].

Была наша пронзительная нежность, радость видеть опять, за натянутостью после этой несчастной зимы. Настроение после первых часов опять стало мрачное и подавленное, и когда в один из дней до 17-го <мая> я уговорила его пойти со мной погулять по нашим любимым местам (по Пряжке к Мойке, к Неве, к переезду, назад — мимо Франко-русского завода), был солнечный день, росла молодая трава, Нева с и н я я, — все, что мы л ю б и л и, — он не улыбнулся *ни разу* — ни мне, ни всему; этого не могло быть прежде.

17-го <мая>, вторник, когда я пришла откуда-то, он лежал на кушетке в комнате Александры Андреевны, позвал меня и сказал, что у него, вероятно, жар; смерили — оказалось 37,6; уложила его в постель; вечером был доктор. Ломило все тело, особенно руки и ноги — что у него было всю зиму. Ночью плохой сон, испарина, нет чувства отдыха утром, тяжелые сны, кошмары (это его особенно мучило). Вообще состояние «психики» мне показалось сразу ненормальным; я указывала на это доктору Пекелису; он соглашался, хотя уловить явных нарушений было нельзя. Когда мы говорили с ним об этом, мы так формулировали в конце концов: всегдашнее Сашино «нормальное» состояние — уже представляет громадное отклонение для простого человека, и в том — было бы уже «болезнь». Его смены настроения — от детского, беззаботного веселья к мрачному, удрученному пессимизму, несопротивление, никогда, ничему плохому, вспышки раздражения с битьем мебели и посуды... (После них, преж-

де, он как-то испуганно начинал плакать, хватался за голову, говорил: «Что же это со мной? Ты же видишь!» В такие минуты, как бы он ни обидел меня перед этим, он сейчас же становился ребенком для меня, я испытывала ужас, что только что говорила с ним, как со взрослым, что-нибудь как с взрослого ждала и требовала, сердце разрывалось на части, я бросалась к нему, и он так же по-детски быстро поддавался успокаивающим, защищающим рукам, ласкам, словам — и мы скоро опять становились «товарищи».) Так вот теперь, когда все эти проявления болезненно усилились, они составляли только продолжение здорового состояния — и в Саше не вызывали, не сопровождались какими-нибудь клиническими признаками ненормальности. Но будь они у простого человека, наверно, производили бы картину настоящей душевной болезни.

Мрачность, пессимизм, нежелание — глубокое — улучшения и страшная раздражительность, отвращение ко всему — к стенам, картинам, вещам, ко мне. Раз как-то утром он встал и не ложился опять, сидел в кресле у круглого столика, около печки. Я уговаривала его опять лечь, говорила, что ноги отекут, — он страшно раздражался, с ужасом и слезами: «Да что ты с пустяками! Чт*о* ноги, когда мне сны страшные снятся, видения страшные, если начинаю засыпать...» При этом он хватал со стола и бросал на пол все, что там было, в том числе большую голубую кустарную вазу, которую я ему подарила и которую он прежде любил, и свое маленькое карманное зеркало, в которое он всегда смотрелся, когда брился и когда на ночь мазал губы помадой (белой) или лицо — борным вазелином. Зеркало разбилось вдребезги. Это было еще в мае; я не смогла выгнать из сердца ужас, который так и остался, притаившись на дне, от этого им самим нарочно разбитого зеркала. Я про него никому не сказала, сама тщательно все вымела и выбросила.

Вообще у него в начале болезни была страшная потребность бить и ломать: несколько стульев, посуду, а раз утром, опять-таки, он ходил, ходил по квартире в раздражении, потом вошел из передней в свою комнату, закрыл за собой дверь, и сейчас же раздались удары, и что-то шумно посыпалось. Я вошла, боясь, что себе принесет какой-нибудь вред; но он уже кончал разбивать кочергой стоявшего на шкапу Аполлона. Это битье его

успокоило, и на мое восклицание удивления, не очень одобрительное, он спокойно отвечал: «А я хотел посмотреть, на сколько кусков распадется эта грязная рожа».

Большое облегчение ему было, когда (уже позже, в конце июня) мы сняли все картины, все рамки, и все купил и унес Василевский. Потом мебель — часть уносилась, часть разбивалась для плиты[59].

<7>

29 <сентября 1921>

Трепетная нежность наших отношений никак не укладывалась в обыденные, человеческие: брат — сестра, отец — дочь... Нет!.. Больнее, нежнее, невозможней... И у нас сразу же, с первого года нашей общей жизни, началась какая-то игра; мы для наших чувств нашли «маски», окружили себя выдуманными, но совсем живыми для нас существами; наш язык стал совсем условный. Как, что — «конкретно» сказать совсем невозможно, это совершенно невоспринимаемо для третьего человека. Как отдаленное отражение этого мира в стихах — и все твари лесные, и все детское, и крабы и осел в «Соловьином саду». И потому, что бы ни случалось с нами, как бы ни терзала *жизнь*, — у нас всегда был выход в этот мир, где мы были незыблемо неразлучны, верны и чисты. В нем нам всегда было легко и надежно, если мы даже и плакали порой о земных наших бедах.

Когда Саша заболел, он не смог больше уходить туда. Еще в середине мая он нарисовал карикатуру на себя — оттуда; это было последнее. Болезнь отняла у него и этот отдых. Только за неделю до смерти, очнувшись от забытья, он спросил вдруг на нашем языке, отчего я вся в *слезах*, — последняя нежность.

СЕРГЕЙ ШТЕЙН

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ БЛОКЕ

<...>

Мое знакомство с Блоком относится к зиме 1902 года[1].

«Друзья чистой поэзии» из студенческой среды группировались тогда вокруг талантливого, но политически непримиримого монархиста — приват-доцента Петербургского университета Бориса Никольского, впоследствии занимавшего профессорскую кафедру в Юрьевском университете. Позднее, особенно же после бурного 1905 года, мы с ним разошлись принципиально и резко, но в описываемое время его гостеприимный кабинет на Екатерингофском проспекте по средам видел почти всю студенческую пишущую братию.

Из старшего поколения здесь можно было встретить барона А. Ф. Мейендорфа, бывшего товарища председателя Государственной думы, Ив. Ив. Тхоржевского, впоследствии управляющего делами Совета министров, художника И. Я. Билибина и других. Завсегдатаями, уже из числа наших современников, были поэт-толстовец Леонид Семенов (Тян-Шанский), эллинист Ал. Кондратьев, рано погибший талантливый Виктор Поляков, ярый тогда балетоман Ал. Аб. Виленкин и многие другие.

От литературных разговоров постепенно перешли к делу — и решено было заняться издательством. Привлекли художников из мастерской Репина с самим Ильей Ефимовичем во главе, и постепенно составился иллюстрированный литературный сборник, появившийся в следующем 1902 году[2].

В один из зимних вечеров, когда в кабинете Никольского заседала наша веселая молодая компания, среди нас впервые появился скромный студент филолог с пра-

вильными чертами красивого, бледного лица, с застенчивыми манерами... Он принес несколько коротеньких стихотворений для напечатания в студенческом сборнике.

Это был тогда еще никому не известный Александр Блок.

Впоследствии в своей автобиографии, вошедшей в книгу «Первые литературные шаги», Блок вспоминал об этом своем дебюте в печати. «Борис Никольский, — писал он, — взял у меня два стихотворения и поместил в студенческом сборнике, сильно их исказив, — впрочем, с моего согласия»[3].

Признанию Блока охотно поверит каждый из участников литературных сред Никольского. Его редакторская деспотичность и красный карандаш давали себя чувствовать слишком часто.

Помнится, мы радушно встретили Блока, а Никольский рекомендовал его нам как даровитого поэта в лестных для начинающего выражениях[4]. Но на Блока это произвело весьма малое впечатление: равнодушно принял он наши приветствия и при первой возможности поторопился уйти домой.

Он появлялся в кабинете Никольского потом еще несколько раз, но всегда мимолетно, только по делу. И хотя он, по-видимому, сторонился от нашей шумной компании, но в этом отчуждении не было ничего оскорбительного. Чувствовалось, что здесь личное отсутствует: просто ему не нужны были ни наши споры, ни тем более политические ноты, которые нет-нет да и вносились Никольским в совместное собеседование.

Впоследствии я утвердился в этом взгляде на Блока как на художника, духовно и прочно замкнутого в себе. Кое-что о нем пришлось мне слышать впоследствии от упомянутого уже Леонида Семенова, который сблизился с Блоком по редакции «Нового пути» — журнала Д. С. Мережковского, Д. В. Философова и Зинаиды Гиппиус. <...>

Года через два после рассказанного первого знакомства появился юношеский сборник Блока «Стихи о Прекрасной Даме»[5].

Книга эта произвела на меня сильное впечатление. В те поры я особенно увлекался творчеством Владимира Соловьева, в стихотворениях же Блока чувствовалось многое, родственное душе поэта-философа.

Впечатления эти отразились в отзыве, напечатанном мною на страницах «Живописного обозрения» (И. П. Потапенки) [6], где мне поручен был библиографический отдел.

Блок ответил на рецензию милым письмом [7], и литературные отношения наши возобновились.

Особенно участились наши встречи в следующем году, когда я принял на себя после П. В. Быкова заведование литературной частью газеты «Слово».

Совместно с чутким критиком П. П. Перцовым редакция постаралась привлечь к участию в газете многих представителей нового течения в русской поэзии, именно — Вал. Брюсова, Фед. Сологуба, Бор. Садовского, Кондратьева и других. У нас же дебютировал мой давнишний царскосельский знакомец Н. С. Гумилев. Ближайшим нашим сотрудником стал и Ал. Блок.

Здесь удалось ближе познакомиться с его творчеством.

Если до той поры привлекала к себе только его поэтическая индивидуальность, то теперь открылась другая, мне еще неизвестная сторона его литературного облика — именно большое критическое дарование.

Как бы ни был мелок и случаен его критический отзыв, но всегда и во всякой, самой короткой рецензии чувствовалось какое-то особенно углубленное отношение к теме.

В сегодняшнем литературном явлении, как и в странице общественного прошлого, Блок умел находить нечто новое, ускользавшее от внимания прежних исследователей.

Вспоминается его короткая, но замечательная статья о человеке 1840-х годов, впоследствии родоначальнике анархизма М. А. Бакунине. Блок сумел подойти к его своеобразной личности с историко-психологической стороны и на ней обосновал все главнейшие особенности его доктрины, тактики и личного поведения [8].

В упомянутом очерке и в ряде ему подобных Блок стал выявляться не только как поэт, но и как оригинальный мыслитель.

В описываемое время он любил заходить к нам, в редакцию «Слова», и долго беседовал с нашими сотрудниками на различные литературные темы. В последнем отношении он составлял яркий контраст с Д. С. Мережков-

ским, который в своем стремительном полевении, заходя в «Слово», держался в редакции, по выражению П. П. Перцова, как в зачумленном месте.

Внешне — настроение Блока было тогда спокойное и ровное. Но, кажется, то была маска, под которою скрывались смятенные переживания. Не легко дались ему события 1905—1906 года. Кроме того, не ладились и личные университетские дела.

Хороший специалист по истории русской литературы, Блок имел право рассчитывать на оставление при университете. Что он мог быть весьма полезным науке, о том свидетельствуют его статьи и заметки о Пушкине, редактированный им сборник стихотворений Аполлона Григорьева и много других подобных этим работ. Слабее были его познания в области русской народной поэзии, хотя и здесь ему принадлежат интересные и оригинальные мысли.

Однако все эти достоинства Блока, наметившиеся еще на студенческой скамье, разбились об упрямый консерватизм тогдашнего профессора истории русской литературы И. А. Шляпкина. Он решительно воспротивился оставлению при своей кафедре «декадента», и Блок был потерян для русской университетской науки навсегда [9].

Кажется, я уже отмечал, что воспоминания мои о Блоке носят отрывочный характер. Происходит это от двух причин: во-первых, потому что встречи с покойным поэтом носили случайный характер, во-вторых же, оттого, что здесь я останавливаюсь лишь на тех из них, которые почему-либо особенно ярко запечатлелись в памяти.

Одно из таких свиданий произошло весною 1907 года на скромном, интимном вечере у поэта Ал. Ал. Кондратьева.

В его маленькой, тесной квартирке на Галерной улице собралось человек десять молодых поэтов. Исключение среди них составляли прямо к поэзии не причастные — пушкинист Н. О. Лернер да я. Кроме гостеприимного и милого хозяина, присутствовали Блок, Потемкин, Ауслендер, Зоргенфрей, Кузмин, Юр. Юркун и некоторые другие.

Вечер начался чтением одной из пьес Фр. Ведекинда в переводе Потемкина. Если не ошибаюсь, то было нашумевшее впоследствии «Пробуждение весны» [10]. Затем

обменивались впечатлениями по поводу прослушанного произведения, против которого с прямолинейной резкостью ополчился Лернер.

Я следил во все время чтения за выражением лица Блока. Насколько мне было дано понимать внутренний мир поэта, казалось, что ведекиндовская драма не пробуждала отзывных струн его души.

Но маска бесстрастной холодности скрывала настроение Блока. И только парадоксально-остроумные критические приемы Лернера заставили его несколько раз улыбнуться, и огонь живого удовольствия заискрился в глубине его задумчивых глаз.

Стало шумно и весело. Перешли в столовую, и на столе появилось воспетое Блоком в его «Незнакомке» красное вино.

Приступили к Блоку с просьбою прочесть стихи. Он не отказывался и, словно угадывая общее желание, начал: «По вечерам, над ресторанами...»

Нужно было слышать, сколько проникновенности было в блоковском чтении «Незнакомки». Его голос звучал глухо, что сообщало его декламации особенно таинственный, сокровенный смысл. Он не смотрел на *нас*, — казалось, он нас и не видел, весь уйдя в себя. Это чтение был повторный процесс творчества, и когда прозвучали последние слова стихотворения — глаза Блока были полны слез.

Наступило глубокое молчание. Чувствовалось, что для выявления общего настроения слишком бедны и бессильны обычные слова...

В тот вечер я с особенным интересом и вниманием наблюдал за взаимоотношениями Блока и его собратьев по перу. В них была трогательная любовность и вместе с тем сознание глубокого превосходства Блока над всеми ними. И поэт хорошо понимал эти чувствования по отношению к нему: он отвечал ласковым вниманием, но без малейшего оттенка покровительственной снисходительности. Сколько раз ни случалось мне потом встречаться с Блоком, он никогда не стремился разыгрывать роль maitre'a даже при общении с самыми юными литературными дебютантами.

В описываемый вечер таковые оказались и в нашей среде. По настоянию Блока, «волнуясь и спеша», прочитали и они кое-что из своих произведений. И ко всем Блок отнесся с ласковой благожелательностью, а од-

ному молодому политическому поэту, описывавшему смертную казнь в крепости, дружески посоветовал отбросить риторическое заключение, и от этой безболезненной операции стихотворение, к великому восторгу автора, значительно выиграло в своей выразительности.

Брезжило раннее утро, когда мы с Лернером вышли на пустынную Галерную под впечатлением кондратьевского вечера.

— Какой чудесный поэт — Блок, — задумчиво сказал Лернер...

— Но вам, как пушкинисту, не могло не броситься в глаза его чисто пушкинское отношение к младшим собратьям по перу, — добавил я. — Такая же щедрость оценки и увлечение чужими произведениями...

— Да, да... Но этим он совершает бессознательный грех и провоцирует на литературные бестактности «толстокожих». Как не совестно было одному из них после такой глубокой вещи, как «Незнакомка», читать свою безвкусную, звукоподражательную «Железную дорогу»! К тому же еще...

Но Лернер сразу осекся. Стуча по панели кожаными калошами, нас нагонял как раз «толстокожий» автор «железнодорожного» стихотворения [11].

Ранняя осень 1909 года. Мы сидим у моего близкого родственника И. Ф. Анненского на балконе его царскосельской дачи, в одной из уединенных улиц тихой Софии.

Я пользуюсь всякой свободной минутой, чтобы повидать ласкового Иннокентия Федоровича. Но не всегда это удается... В последние два-три года его «открыли» — и в Царское Село началось настоящее паломничество. Кого только тут не было: от маститых профессоров классической филологии до мелких газетных сотрудников включительно... Литературная слава, которая так долго не давалась Анненскому, теперь озаряла его яркими прощальными лучами, подобными лучам этого осеннего заходящего солнца.

Сижу в углу дивана, слушаю оживленную беседу Анненского с Блоком и не предчувствую, что через три месяца, всего через три коротких месяца, жилищем вдохновенного Иннокентия Федоровича станет поэтическое царскосельское кладбище.

В эти минуты внимание мое приковано к Блоку — и он открывается мне с новой стороны.

Здесь, в присутствии яркой индивидуальности и мощной, неизбытой творческой силы Анненского, Блок не стушевывается, остается по-прежнему самим собою.

Он внимателен к творческим замыслам своего собеседника, с интересом расспрашивает о его лекциях по античной литературе, читаемых на Высших женских курсах [12], но какой-то ледок замкнутости окружает его. Что это? Боязнь чужого влияния или стремление сохранить чувство собственного литературного достоинства перед восходящим литературным светилом?

Кажется, ни то, ни другое, а третье: «самость», глубокая духовная законченность, но исполненная в эту минуту особенно четкой, мертвенной холодности, выступающей на ярком фоне другого, столь отличного, внутреннего мира.

Почувствовал это, видимо, и сам Анненский. Проводив Блока, он, вернувшись к нам, сказал:

— Знаете: некоторые называют его — «красивый мертвец»... — А потом прибавил: — Может быть, это и правда. И глубоко задумался [13]. <...>

Уже во дни большевизма я мимоходом встретился с Блоком на одной из людных улиц Петрограда, и мы, перебирая общих знакомых, вспомнили одного из литераторов — коллекционера, обладавшего огромным собранием фотографических карточек всех современных русских писателей [14].

— Мы с вами — университетские товарищи, — сказал я Блоку. — Знаете вы меня почти двадцать лет, а я не имею вашего портрета...

Блок промолчал. Прошло несколько дней — и я получил от него письмо, явившееся отголоском нашего разговора.

«Милый Сергей Владимирович, — писал Блок. — Я повсюду искал свою фотографию — и не нашел. Теперь у меня совсем нет денег, чтобы сняться. Посылаю Вам открытку с моим портретом. Право же, она не так плоха. Когда придут лучшие времена, непременно снимусь и тогда заменю ее настоящим фотографическим портретом» [15].

Милый Александр Александрович!..

ПЕТР ПЕРЦОВ

РАННИЙ БЛОК

1

Это было золотою осенью 1902 года. Стоял мягкий летний сентябрь, когда под Петербургом природа иногда еще замедляет праздник своего расцвета и точно не хочет с ним расстаться. Западный ветер приносит с моря долгий ряд дней, похожих друг на друга, напоенных последней лаской лета... Наш литературный кружок той осенью готовился к своему боевому делу — создавался журнал «Новый путь». Журнал религиозно-философский, орган только недавно открытых, кипевших тогда полной жизнью петербургских первых религиозно-философских собраний, где впервые встретились друг с другом две глубокие струи — традиционная мысль традиционной церкви и новаторская мысль с бессильными взлетами и упорным с т р е м л е н и е м, — мысль так называемой «интеллигенции»... И наряду с этим вырисовывалась другая задача: нужно было дать хоть какой-нибудь простор новым литературным силам, уже достаточно обозначившимся и внутренно окрепшим к тому времени, но все еще не имевшим своего «места» в печати, почти сплошь окованной «традициями», более упорными, чем официальная церковность. Все эти «декаденты», «символисты» — как они тогда именовались — так быстро затем, во второй половине десятилетия, захватившие поле сражения, еще не знали для себя пристанища, не имели где приклонить голову. Трудно поверить, что Сологубу негде было печатать своих стихов, а «Мелкий бес» лежал безнадежно, тщательно переписанный в синих ученических тетрадках, в «портфеле» своего автора, даже не странствуя по

редакциям — ввиду очевидной бесплодности такого путешествия. Брюсов был мишенью постоянного и неутомимого обстрела газетных юмористов («бледные ноги»)[1]; Мережковскому извинялись его стихи, «похожие на Надсона», и полуодобрялись «декадентские» романы (первые две части трилогии)[2], но свою критику ему также негде было печатать, а «Толстой и Достоевский» увидел свет только благодаря мужеству С. П. Дягилева, упрямо печатавшего его в течение двух лет в чисто художественном по заданию «Мире искусства»...

Это недавно так было —
И так давно, так давно...[3]

Итак, той осенью небольшой «декадентский» кружок собирался издавать (без денег и без возможности платить гонорар) синтетический «Новый путь», беспрограммная «программа» которого должна была вести куда-то вдаль... Во главе дела стояли Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус, а так как обстоятельства и выбор кружка сделали меня третьим (и внешне — «ответственным») соредактором, то и приходилось часто видаться с первыми двумя на почве «злободневных» редакционных вопросов. Именно эта необходимость заставила меня в том сентябре сесть в поезд Варшавской железной дороги и направиться в Лугу, где в усадьбе, стоявшей в густом лесу, Мережковские ловили последние минуты дачных радостей, последнюю лазурь и золото сентября —

И догорающего лета
На всем дрожащие лучи...[4]

Известно, какое множество стихотворных рукописей присылается в каждую редакцию с тех самых пор, как изобретено стихосложение или как изобретены редакции. Поэтому в каждый такой приезд мне приходилось сообщать Мережковским, или обратно, то или иное количество «новых» стихов. Это было, так сказать, очередной «редакторской» неизбежностью. Иногда попадались между такими стихами недурные, даже хорошие...

Но только один раз у меня было совсем особое впечатление...

Помню как сейчас широкую серую террасу старого барского дома, эту осеннюю теплынь — и Зинаиду Николаевну Гиппиус с пачкой чьих-то стихов в руках. «Прислали (не помню, от кого)... какой-то петербургский сту-

дент... Александр Блок... посмотрите... Дмитрий Сергеевич забраковал, а по-моему, как будто недурно...»[5] Что Дмитрий Сергеевич забраковал новичка — это было настолько в порядке вещей, что само по себе еще ничего не говорило ни за, ни против. Забраковать сперва он, конечно, должен был во всяком случае, что не могло помешать ему дня через два, может быть, шумно «признать». Одобрение Зинаиды Николаевны значило уже многое, но все-таки оно было еще очень сдержанным. Поэтому я взял стихи без недоверия, но и без особого ожидания. Я прочел их...

Это были стихи из цикла «Прекрасной Дамы». Между ними отчетливо помню: «Когда святого забвения...» и «Я, отрок, зажигаю свечи...» И эта минута на осенней террасе, на даче в Луге, запомнилась навсегда. «Послушайте, это гораздо больше, чем недурно: это, кажется, настоящий поэт», — я сказал что-то в этом роде. «Ну, уж вы всегда преувеличите», — старалась сохранить осторожность Зинаида Николаевна. Но за много лет разной редакционной возни, случайного и обязательного чтения «начинающих» и «обещающих» молодых поэтов только однажды было такое впечатление: пришел большой поэт. Может быть, я и самому себе, из той же «осторожности», не посмел тогда сказать этими именно словами, но *ощущение* было это. Пришел кто-то необыкновенный; никто из «начинающих» никогда еще не начинал такими стихами. Их была тут целая пачка — и все это было необыкновенно. Ведь тут были: «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...», «Новых созвучий ищу на страницах...», «Я к людям не выйду навстречу...», «Гадай и жди...»; был «Экклесиаст». Поражала прежде всего уверенность поэта — та твердая рука, которой все это было написано: это был уже мастер, а не ученик. Я думаю, во впечатлении — после темы (тоже необыкновенной) прежде всего господствовала именно эта черта — полной зрелости таланта, полной уверенности в том, что он хочет сказать и что говорит. Черта, так непохожая на обычную «юношескую» неопределенность и несобранность «начинающих». Что из них выйдет — Фет, Майков, Надсон? Как будто есть ото всех понемногу — или пусть от кого-нибудь одного, но тогда, пожалуй, еще хуже: «выйдет» ли что-нибудь? Здесь не было этого вопроса: облик поэта стоял отчеканенный, ясный. И этот почерк — такой уверенный, отчетливый и такой красивый! Я и

сейчас не знаю почерка красивее, чем у Александра Блока.

Но подкупала, конечно, и тема. Точно воскресала поэзия Владимира Соловьева — ее последние, лучистые озарения. Это казалось прямо каким-то чудом: только два года перед тем замолчала муза мыслителя-ясновидца, и вот вдруг ее звуки переходят на новую лиру, — кто-то пришел как прямой и законный наследник отозванного певца; он уже все знает и ведает, и ведет дальше оборвавшуюся песнь, как заранее знакомое слово *о том же самом.*

Я и теперь считаю «Стихи о Прекрасной Даме» самым чудесным из чудес Блока и его дебют — самым удивительным началом...

С той поры я почувствовал ту особую нить, которая протянулась между мною и автором этих стихов, и он стал для меня особым, «знающим», — тем, с кем внутренне не расстанешься. И теперь, перечитывая его письма ко мне, я нахожу в них и «с той стороны» ощущение той же нити...

Скоро он пришел к нам и в редакцию — высокий, статный юноша с вьющимися белокурыми волосами, с крупными, твердыми чертами лица и с каким-то странным налетом старообразности на все-таки красивом лице. Было в нем что-то отдаленно байроническое, хотя он нисколько не рисовался. Скорее это было какое-то неясное и невольное сходство. Светлые, выпуклые глаза смотрели уверенно и мудро... Синий студенческий воротник подчеркивал эту вневременную мудрость и странно ограничивал ее преждевременные права. Блок держался как «начинающий», — он был застенчив перед Мережковским, иногда огорчался его небрежностью, пасовал перед таким авторитетом. З. Н. Гиппиус была для него гораздо ближе, и юношеская робость таяла в ее сотовариществе, — он скоро стал носить ей свои стихи и литературно беседовать. Влияние Мережковских надолго сказалось на Блоке: еще в самом конце девятисотых годов он выступал не раз в религиозно-философских кружках с докладами на темы и в духе этого влияния; к счастью, его поэзия осталась, кажется, совсем свободной от него.

На редакционных собраниях «Нового пути» Блок появлялся довольно аккуратно, хотя отсутствие сверстников, — по крайней мере, первое время, — замыкало его

в некоторую изолированность. Но журнал был для него «своим» — и не мог не быть ему близок[6].

В эти первые месяцы знакомства — в недели подготовительных для начала журнала работ — я получил от Блока первое письмо. Оно сразу и прямо сказало мне то, о чем молчал (и *должен* был молчать) он при свиданиях. В этом письме ощутительно протянулась *та* «нить», и желание «сказать» превозмогло мудрость хранения:

Многоуважаемый Петр Петрович.

Спасибо Вам. Ваше письмо придало мне бодрости духа[7]. Главное же, что мне особенно и несказанно дорого, — это то, что я воочию вижу нового Ее служителя; и не так уже жутко стоять у алтаря, в преддверии грядущего откровения, когда впереди стоите Вы и Владимир Соловьев. Я могу только сказать (или даже вскрикнуть) чужими, великими, бесконечно дорогими мне словами:

Давно уж ждал друзей я этих песен...

. . . .

О, как мой день сегодняшний чудесен![8]

Глубоко преданный Вам

Ал. Блок.

5 ноября 1902 г.

СПБ.

Петербургская сторона, Гренадерские казармы, кв. № 13.

Цитата из Фета, замыкающая письмо, указывает поэтические корни Блока. Фет был для него действительно всегда дорогим именем, и он досадовал на ту забывчивость, с которой русский читатель уже успел отойти от этого имени после несколько холодного «признания» в эпоху восстановления прав поэзии в 80—90-е годы. Но не лежит ли часть вины здесь и на самом Фете: не был ли в чем-то холоден и сам учитель, не договаривавший того, о чем договорил ученик?

2

В «Новом пути» после первого, дебютного номера. (январь 1903 года) было решено применять систему печатания стихов по авторам: то есть в каждой книжке

помещать одного какого-либо поэта в ряде пьес, напечатанных вместе, взамен традиционной системы — рассыпать разнохарактерные «вещицы» различных авторов по всей книжке журнала, «на затычку». Нехитрая реформа, но тогда и это было новшеством. Так, февральская книжка была отдана Сологубу, а март предназначался для З. Н. Гиппиус. Но она сама пожелала уступить этот месяц Блоку; март казался самым естественным, даже необходимым месяцем для его дебюта: март — месяц Благовещенья. Со стороны молодого журнала была некоторая отвага в таком решении: выдвигать уже в третьей книжке дебютанта, о котором заранее можно было сказать, что «широкая публика» (публика 1903 года!) не примет его как своего певца. В «портфеле» редакции, то есть в ящиках письменного стола, лежали стихи Минского, Мережковского и такого общеприемлемого для всех времен (хотя прекрасного) поэта, как Фофанов. Но хотелось «пустить» Блока — и именно в марте... «Букет» его стихов составился легко и был подобран самим автором[9]. <...>

«Новый путь», как журнал религиозно-светский, был подчинен целым двум цензурам — светской и духовной, в которую направлялись корректуры религиозного или «похожего» на то (по мнению светского цензора) содержания. Большие буквы стихов Блока подчеркнуто говорили о некоей Прекрасной Даме — о чем-то, о к о м - т о, — как понять о ком?

Белая Ты, в глубинах не смутима,
В жизни — строга и гневна.
Тайно тревожна и тайно любима,
Дева, Заря, Купина.

. . . .

Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета.
Вижу очи Твои.

От таких стихов не только наш старомодный и угрюмо подозрительный «черносотенец» Савенков (светский цензор журнала, очень к нему придиравшийся) мог впасть в раздумье... Стихи с большими буквами могли легко угодить в духовную цензуру, и хотя она в общем была мягче светской, но в данном случае и она могла смутиться: менестрелей Прекрасной Дамы не знают русские требники. И без того, отправляя стихи в цензуру, мы трепетали вероятного — минутами казалось: неизбеж-

ного — запрещения. Большие буквы... ах, эти большие буквы! — именно они-то и выдавали, как казалось, автора с головой. «Не пропустят»... И тут вдруг кому-то в редакции мелькнула гениальная мысль: по цензурным правилам, нельзя менять текста после «пропуска» и подписи цензора, но ничего не сказано о чисто корректурных, почти орфографических поправках, как, например, перемена маленьких букв на большие. Итак — почему бы не послать стихи Блока в цензуру в наборе, где не будет ни одной большой буквы, а по возвращении из чистилища, когда разрешительная подпись будет уже на своем месте, почему бы не восстановить все большие буквы на тех местах, где им полагается быть по рукописи? Так и было сделано — и, вероятно, эта уловка спасла дебют Блока: цензор вернул стихи без единой помарки и не заикнулся о духовной цензуре, хотя при встрече выразил мне недоумение: «Странные стихи...» Но ведь странными должны были они показаться далеко не одному благонамеренному старцу Савенкову.

Мартовская книжка — лучшая книжка журнала за оба года его существования (в ней, между прочим, журнальный дебют А. М. Ремизова) — вышла из двойных кавдинских ущелий цензуры только в самом конце месяца. В «Новом пути» помещались цинкографические снимки, подбором которых имелось в виду натолкнуть читателя на более культурные предпочтения, чем те, к каким он традиционно привык в 1903 году. Давались обыкновенно воспроизведения картин Ренессанса и т. п. Для марта мы решили подобрать своего рода художественный антураж к стихам Блока и поместили в листе его стихов четыре «Благовещенья» — Леонардо из Уффиций, деталь — голову Марии с той же картины, фреску Беато Анжелико из флорентийского монастыря св. Марка и алтарный образ нашего Нестерова из придела в Киевском соборе. Блоку была приятна эта иллюстрация, и он горячо благодарил меня за нее. Журнал и он уже вполне знали друг друга.

Какое было впечатление от появления первых стихов Блока? Разумеется, как и следовало ожидать, впечатление едва ли не самого «курьезного» из курьезов курьезнейшего журнала. «Новый путь» считался вообще какой-то копилкой курьезов в нашей журналистике. Только духовные круги серьезно интересовались религиозно-философской стороной журнала, да из среды молодежи посто-

янно приходили сочувственные весточки; все «серьезное» и веское или игнорировало «этих полусумасшедших», или старалось их литературно изолировать, как зараженный элемент (эти старания в конце концов подрезали журнал). Стихи Блока были прямо на руку этим спасателям: какие-то «совершенно непонятные» стихи, бог весть о чем, — какая-то Дева, Заря, Купина, какой-то Дух... большие буквы...

Признаюсь, никоим образом не ожидал я тогда, что пройдет всего четыре-пять лет — и Блок, после «Балаганчика», станет популярным, а там вскоре и «знаменитостью». Популярность его в молодежи стала обозначаться еще раньше. Но правда, что «Балаганчик», так же как и вся социальная сторона Блока наметились и развернулись уже позже; в эпоху «Прекрасной Дамы» даже трудно было их предвидеть. И я продолжаю думать, я надеюсь, что стихи его дебюта, так же как и все стихи его первой книжки, остаются и до сих пор мало популярными...

Характерно, что во всей огромной переписке со мной Брюсова тех годов (1902—1904 гг.) я встречаю только одну строчку о Блоке — и какую? «Блока знаю, — пишет он осенью 1902 года, — он из мира Соловьевых. Он — не поэт». Правда, что вскоре, при личном свидании, по прочтении стихотворений «Я, отрок, зажигаю свечи...» и «Когда святого забвения...», этот краткий и столь безапелляционный приговор был взят обратно. А весной 1903 года, когда мы с Брюсовым ехали вместе из Петербурга в Москву, вскоре после мартовской книжки, у него сложились ночью, под стук поезда, эти превосходные стихи (карандашная запись которых до сих пор хранится у меня):

Они Ее видят! Они Ее слышат!
С Невестой Жених в озаренном дворце...
. . . .
Железные болты сорвать бы! сломать бы!..
. . . .

(Напечатано в сборнике «Urbi et Orbi» под заглавием: «Младшим» [10]).

Следующая серия стихов Блока была напечатана уже в 1904 году, в июньской книжке — последней, редактированной мною. Всего было подобрано двенадцать стихотворений, но три из них зачеркнуты цензурой, и в печати появилось только девять [11]. <...>

Я не помню в тогдашней критике сколько-нибудь ярких отзывов о дебютных стихах Блока. Впрочем, кому было бы и написать такой отзыв? Скабичевскому? Михайловскому? М. Протопопову? А. Б. (Ангелу Богдановичу) из «Мира божьего»? «На первых ролях» были тогда все вышеупомянутые «силы». В беглом же газетном обстреле, которому постоянно подвергался «Новый путь», летела, вероятно, шрапнель и на этот вновь наметившийся «квадрат» [12]. Стихи Блока ведь еще несколько лет потом пугали газетных ценителей — так же как после 1907 года стали умилять их... В не лишенных остроумия пародийных фельетонах Буренина того времени появлялся, во всяком случае, в нашей «новопутейской» компании поэт Блох вместе с философом Мистицизмом Мистицизмовичем Миквой (Вас. Вас. Розанов).

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ БЛОКЕ

I

ЭПОХА ДО ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ

Воспоминания об А. А. Блоке далеко простираются вспять, предваряя годы знакомства. Первую весть о бытии А. А. я имею от С. М. Соловьева * в 1898, не то в 1897 году. Я узнаю, что родственник С. М. Соловьева, тогда еще мальчик, Саша Блок, гимназист, пишет, как все мы, стихи и увлекается театром. В те годы я, тоже гимназист, был ласково принят в гостеприимном доме покойного М. С. Соловьева, брата Влад. Соловьева. Своеобразные отношения складывались тогда между мной и семьей Соловьевых. Я, юноша шестнадцати — семнадцати лот, дружил и с мальчиком Сережей, и с его родителями — С. М. и О. М. Соловьевыми. О. М., художница и переводчица, чуткой душой соединяла интересы к искусству с интересами религиозно-философскими, тогда столь не модными. Она любила английских прерафаэлитов, Фета, тогда начинающего Бальмонта, переводила Рескина, выписывала журнал «Студио», восхищалась стихотворениями Верлена и драмами Метерлинка. Она же и познакомила меня с поэзией Верлена и Уайльда, Бодлера и с Ницше. М. С. Соловьев относился сдержаннее к этим веяниям в искусстве, высоко ценя классиков и прозорливо выделяя все, действительно ищущее и талантливое. Среди московских эстетов уходящего поколения он считался арбитром, не разделяя насмешек их по адресу к едва пробивающимся течениям иных доктрин. Он первый отметил Брюсова эпохи «Шедевров», как поэта с круп-

* Поэта, филолога, критика, ныне священника. (*Примеч. А. Белого.*)

ным будущим, шутил над негодующими критиками декадентства. Всем этим он влиял на меня, поощряя мои юные революционные устремления в литературе, но приучая и воспитывая мой вкус в любви к классикам. Помню его мастерское чтение «Фритиофа» Тегнера, его любовь к северным фосфористам. В те годы я увлекался и Достоевским, и Ибсеном, и Шиллером, и Шекспиром. В тесном кругу соловьевского дома за чайным столом шла беседа: спорили об Ибсене, Ницше. Мы с Сережей тогда увлекались театром и в небольшой квартире Соловьевых наскоро импровизировали отрывки из Шекспира и Шиллера. Так, были в коридоре разыграны сцены из «Макбета», «Мессинской невесты», «Двух миров» Майкова, — мы покушались и на «Орлеанскую деву».

Мать А. А. Блока, А. А. Кублицкая-Пиоттух (по второму браку), урожденная Бекетова, была дочерью тетки О. М. Соловьевой, урожденной Коваленской. Мать О. М. Соловьевой — А. Г. Коваленская, — была в свое время известной детской писательницей. Уже в те времена я знал: неизвестный мне Саша Блок, проживающий зимами в Петербурге, проводит лета неподалеку от Дедова, имения А. Г. Коваленской, и бывает в Дедове, приезжая из Шахматова, имения матери, находящегося в живописнейшей местности по Николаевской жел. дороге, в восемнадцати верстах от ст. Подсолнечная смежной с Крюковом, около которого расположилось Дедово. С 1898 года, веснами, я посещал Дедово. Помнится, я слыхал рассказы обитательницы Дедова, кажется М. В. Коваленской, о сильном впечатлении, которое на ней оставил недавно тут гостивший А. А. Блок, который был тогда гимназистом, преисполненным интереса к театру: монологи из «Гамлета» декламировал ей наизусть он. Так первая память об А. А. настигает меня. Позднее уже имя Блока иначе встречает меня с лета 1901 года.

Чтобы понять тонусы нашей встречи, нужно охарактеризовать веяния, пронесшиеся над некоторыми из нас в 1900—1901 годах. Для многих наступление нового века совпало с решительным переломом в идеологии. С 1900 года в поколении, выступившем вскоре под знаменем символизма, впервые обозначились грани их символического пути и грани, резко их отделяющие от веяния эстетизма и декадентства, перекликавшихся с пессимистической философией Шопенгауэра и Гартмана и с скептиче-

ским иллюзионизмом Бодлера. Культ безвольного созерцания, культ покоя, уничтожения, одинаково окрашивал, казалось бы, несоизмеримые сферы культуры. Молодой Бальмонт упивался лирикой туманов, кувшинок и камышей, утонченники увлекались нежностью драмочек Метерлинка, в «Вопросах психологии и философии» появилась статья Гилярова «Предсмертные мысли Франции», на картинных выставках тенденциозный жанр сменился культом безыдейного пейзажа: появились бледные девы с кувшинками за ушами. Идеология этого, сказал бы я, серо-синего цвета — идеология сна. Идеология сна переживалась сгустками душевного пара в космической бездне. Спорили и народники и марксисты, но революционеры в искусстве те споры считали мышиной суетней жизни. Я был шопенгауэрцем, принимал эстетику Рескина, упивался «вечным покоем» [1], читал речи Будды. Эстетизм как созерцание, как форма освобождения от воли был следствием философии умирающего столетия, и оттого звучал Фет, этот выразитель настроения Веданды [2] в русской природе. Все было тихо. Шептались в уголках метерлинковские тени, да плакал под северным небом [3] Бальмонт. Изредка лишь докатывался до нас лавинный грохот ибсеновских драм, да звучали исступленные диалоги лирики Достоевского как намек на тревожное будущее. Плоскость пессимистической эстетики незаметно здесь выявила свое третье трагическое измерение, и оно прозвучало вдруг «Происхождением трагедии» Ницше. Вдруг все изменилось.

Пессимизм переродился в трагизм. Безмирное пересеклось с мирным, безвременное с временным. Появляется крест, символ пересечения, и с ним трагедия креста, разрешающаяся то в бунт, то в жертву. В бунте и в жертве пассивность преодолевается активностью огней и крови. Бальмонт творит горящие здания, переходя от северной тишины к «будем как солнце» [4]. Бунт горьковских босяков находит наиболее широкий отклик: он делается более модным, чем неврастения «Ивановых» и «Чаек». Ницше охватывает передовые слои русской молодежи лозунгом, что «время сократического человека прошло», выходят сочинения Влад. Соловьева, влекущие первый интерес к религиозно-философским путям. Вечное появляется в линии времени зарей восходящего века. Туманы тоски вдруг разорваны красными зорями совершенно новых дней. Мережковский начинает писать исследования

о Толстом и Достоевском, где высказывает мысль о том, что перерождается самый душевный состав человека и что нашему — именно — поколению предстоит выбор пути между возрождением и смертью. Лозунг его: «или мы, или никто» — становится лозунгом некоторых из молодежи, перекликаясь с древними пророчествами Агриппы Неттесгеймского [5] и «Книги блесков» [6] о значительности 1900 года, как перелома эпохи. И мы эти лозунги сливаем с грезами Соловьева о Третьем Завете [7], Царстве Духа. Срыв старых путей переживается Концом Мира, весть о новой эпохе — Вторым Пришествием. Нам чуется апокалипсический [8] ритм времени. К Началу мы устремляемся сквозь Конец.

Чувство конца, рубежа между сознанием декадентов девяностых годов и сознанием молодых символистов XX века, физиологичность, конкретность восприятия зорь, факт свечения и неожиданность этого факта, а также недоумение и трудность понять причину зорь — вот что сосредоточивает наше внимание [9]. Многие восприняли наступление нового века не эволюцией мировоззрений, а фактом явления в них новых органов восприятия времени. Мировоззрительные объяснения символистов, психологические, логические, мистические, социологические и религиозные носили характер случайных и неудачных гипотез. Факт чувства зорь оставался. Отсюда их пыл и уверенность, победившая сократиков и декадентов. Появляются вдруг видящие зорю и не видящие. Видящих было мало. Они чувствовали друг друга издалека, образуя собой никем не установленное братство ведающих о великом событии близкого времени, о драматической борьбе света и тьмы. Они могли быть атеистами или теистами, архистами, монархистами или анархистами, но они знали, что увидели нечто, чего другие не видят. Во-первых, в эти годы образовался в Москве кружок, сгруппированный около покойного М. С. Соловьева, членов которого соединял звук грядущей эпохи, расслышанный внятно, но объясняемый по-разному: так, одна музыкальная тема допускает вариации красками, звуками, мыслями. В этом маленьком кружке находились люди разных бытов и возрастов, разных идеологий: ученый марксист, будущий символист Эллис [10] встречался с М. С. Соловьевым, определенно православно настроенным, будущий музыкальный критик Вольфинг встречался с консерватором, поклонником Страхова, К. Леонтьева,

Говорухо-Отроком, Розановым, тогда мало известным. Новое, связующее нас как бы в одну семью, не имело касания с прошлым, из которого приподнимались по-разному мы.

В заметке А. А., найденной после кончины его, встречается одно характерное место: «В январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914 года. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было написано в согласии со стихией. Например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько раз ощущал физическим слухом большой шум вокруг, шум слитный, вероятно, шум от крушения старого мира» [11]. В 1900—1901 годах, особенно в 1901-м, мы, молодежь тогдашнего времени, слышали нечто подобное шуму и видели нечто подобное свету. Мы отдавались конкретно стихни грядущих годин, и эта отдача наша — не мечта; она была реальным ощущением свершившегося факта. Именно в 1899—1900 годах и в моем миросозерцательном облике произошла перемена: философия созерцания сменилась исканиями религиозного порядка. От Шопенгауэра я шел в одном направлении к трагическому мировоззрению Ницше, с другой стороны, через Гартмана, к Владимиру Соловьеву, с которым имел случай встретиться, в бытность его в Москве, все в той же гостеприимной квартире М. С. Соловьева. Влад. Соловьев в ту пору переживал перелом от христианского морального квиетизма «Оправдания добра» к пророческим «Трем разговорам». Весною 1900 года я вел с ним разговор, оказавший на меня решительное влияние: с этого времени я жил чувством Конца, а также ощущением благодати новой последней эпохи благовествующего христианства. Символ «Жены, облеченной в Солнце» [12] стал для некоторых символом Благой Вести о новой эре, соединением земли и неба. Он стал символом символистов, разоблачением Существа, Премудрости, или Софии, которую некоторые из нас отождествляли с восходящей зарей. В те времена, как Э. К. Метнер, брат композитора, прослеживал тему слышимых веяний, от Бетховена через Шумана, в темах гениального своего брата, которые тот, по его словам, вынул из звука зорь, в то время, как З. Н. Гиппиус собирала материал для замечательного рассказа «Небесные слова» [13], где дана градация небесных пейзажей, мы, молодежь, сгруппированная вокруг М. С. Соловьева, отыскивали следы лучезарных благовестей в пейзаж-

ной поэзии Влад. Соловьева и старались связать эту поэзию с религиозной символикой философского соловьевства. Это был максималистический вывод к жизненной практике из философии Соловьева, которого побаивались академические ученики покойного философа. Философию Соловьева мы брали в аспекте его теургического [14] лозунга:

Знайте же: вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идет,
В свете немеркнущем новой богини
Небо слилося с пучиною вод...

«Она», или Муза поэзии Соловьева, на нашем жаргоне являлась символом органического начала жизни, душою мира, долженствующей соединиться со словом Христа. Из всех сочинений Влад. Соловьева статья его «О смысле любви», напечатанная в «Вопросах психологии и философии», являлась наиболее объясняющей нам нас в нашем юном искании осветить не одним только мужским логическим началом жизнь, но и женственным началом человечества. Она, или Душа человечества, отображалась нам образно женщиной, религиозно осмысливающей любовь. Мы, молодежь соловьевского толка, представляли собой лишь малую часть людей нового сознания, ощутивших физиологически факт з а р и , — соловьевство же наше было жаргоном, гипотезой оформления, а не догмою; но встреча нас, подлинных соловьевцев, друг с другом — казалась волнующим событием жизни.

В июле 1900 года скончался Владимир Соловьев. Мне, близко стоящему к семейству покойного и посвященному во все интимные устремления покойного философа, вплоть до встреч с людьми, впоследствии обратившими на себя внимание (как-то встречи и разговоры с покойной А. Н. Шмидт, автором «Третьего Завета», с которой я лично познакомился осенью 1900 года и даже обменялся письмами), было естественно переживать все крайние мистические выводы из доктрины почившего, как и молодому племяннику его, С. М. Соловьеву. Можно сказать: в 1901 году мы жили атмосферой его поэзии, как теургическим завершением его учения о Софии-Премудрости *.

* На эту тему были разговоры и переписка, в которой принимали участие О. М. и М. С. Соловьевы, А. Н. Шмидт, тогда бомбардировавшая письмами М. С. Соловьева. Эти письма М. С. давал читать мне; где они — не знаю. (*Примеч. А. Белого.*)

Весна 1901 года, казалось, наполнена была эсхатологическими [15] веяниями. Я писал тогда мою драматическую «Симфонию», где под покровом шутки я рисовал парадоксы крайнего толкования некоторых из соловьевских идей. Весь трюк «Симфонии» есть превращение сокровеннейших чаяний в парадокс от догматического взятия идей и веяний лишь музыкально внятных уху и программою не уплотняемых. В то же время организовалось первое русское Религиозно-философское общество [16] в Петербурге, к деятельности которого я в то время относился враждебно. В Москве организовалась первая группа церковников, считавшаяся с фактом нового сознания. В ней были имена Новоселова, Льва Тихомирова, Виктора Васнецова, священника Фуделя и др. К этой группе я также относился весьма отрицательно. Между петербургскими оргиастами и московскими церковниками мы, соловьевцы, чувствовали себя одиноко, стараясь провести чистоту лозунга нашей Музы меж двух враждебных для нас станов:

И — бедная, меж двух враждебных станов
Тебе спасенья нет... [17]

Существовал в нашем сознании наш, третий стан, принимающий новое откровение Соловьева о женственности, сходящей в жизнь. Это был малый круг, собиравшийся за чайным столом каждый вечер: О. М. я М. С. Соловьевы, их сын, несколько из моих товарищей, главным образом А. С. Петровский; впоследствии, в 1902 году, к нам присоединился Г. А. Рачинский. О. М. Соловьева переписывалась с петербуржцами, — с П. С. Соловьевой (Allegro), З. Н. Гиппиус и с А. А. Кублицкой-Пиоттух, матерью А. А. Блока, — на «наши», как мы тогда говорили, темы. Содержание писем З. Н. Гиппиус и А. А. Кублицкой-Пиоттух О. М. Соловьева передавала мне: они были предметом наших бесед.

Весной и летом 1901 года — максимум напряжения символической мысли: темы Вл. Соловьева начали вызывать необычайный интерес. В Нижнем Новгороде А. Н. Шмидт развивала интимные темы своего «Третьего Завета», Мережковский и Розанов писали свои напряженнейшие статьи, Н. А. Бердяев звал от марксизма к идеализму, зрели «Проблемы идеализма» [18], начались собрания петербургского Религиозно-философского общества.

В Вышнем Волочке собирался религиозный кружок православных: юноши-революционеры, студенты и гимназисты, еще пробивались к религиозной мысли (я разумею впоследствии известные имена священника Флоренского, священника Свенцицкого и покойного философа Эрна). Вячеслав Иванов приходил к концепции своей «религии страдающего бога». Я писал московскую «Драматическую симфонию». В мае и июне композитор Н. Метнер, тогда молодой человек, вынул из воздуха зорь тему первой С-мольной сонаты, которая, облепи только ее словами, пропела бы: «Предчувствую Тебя... Года проходят мимо — все в облике одном предчувствую Тебя. Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо. И молча жду, тоскуя и любя. Весь горизонт в огне, и близко появленье...» И именно 4 июля 1901 года А. А. Блок в Шахматове написал это свое стихотворение, — в дни, когда я в Серебряном Колодце[19] писал о «полевой фантазии» Сергея Мусатова[20], об огромном мистическом движении на северо-востоке России, где образ «Жены, облеченной в Солнце», или Софии-Премудрости, получил свое воплощение в образе земной женщины, Той, о которой Блок в те же числа сказал: «Предчувствую Тебя» и «появленье близко». Все упомянутое мной еще не встретилось, не перекликнулось, еще вынашивалось отдельно, — в Нижнем Новгороде[21], Петербурге, Шахматове, в Дедове, в Серебряном Колодце — где еще? Понятно, что встречи друг с другом людей, слышащих одинаково зарю и отразивших различно ее статьями, стихами, сонатами, вызывали в душе повышенный романтизм. Эти «встречи» друг с другом — первое основание течения, впоследствии получившего несколько ограниченное название «литературной школы русского символизма». Среди символистов встречались и личности, не имевшие отношения к литературному символизму, не написавшие ни одной строчки или позднее писавшие под иными лозунгами, например: Сергей Соловьев, Вольфинг, Н. К. Метнер, А. С. Петровский, Е. П. Иванов, А. Н. Шмидт и др. Именно они-то и выносили в личных исканиях подоплеку позднейшего символизма.

В июле 1901 года я получил от С. М. Соловьева письмо, уведомлявшее о том, что в Дедове у него гостил А. А. Блок[22], с которым они много бродили в полях и говорили на «наши» темы: речь шла о характере понимания поэзии В. Соловьева, о практических выводах его

философии, о любви, о Софии-Премудрости, Той, которую Соловьев называл «Царицей». А. А. предлагал С. М. Соловьеву ряд вопросов и даже форсировал выводы наши, впадая в максимализм и выражая уверенность: «Новая эра уже началась, старый мир рушится».

Это письмо С. М. Соловьева ко мне совпало для меня с эпохой максимального отдания себя соловьевскому мистицизму, теме «смысла любви», темам стихотворений Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Из-под таинственной, холодной полумаски», Фета «Соловей и роза», «Alter Ego» и др., В. Соловьева «Трех свиданий», «К Сайме», «Слов увещательных к морским чертям»[23], «У царицы моей» и т. д. Письмо С. М. Соловьева — событие в моей жизни. Я понял: мы встретили нового брата в пути. Пробую установить время приезда А. А. Блока из Шахматова в Дедово и упираюсь в срок — от середины июня до середины июля, не ранее, не позднее. Это — срок написания следующих стихотворений. Только что были написаны: «Предчувствую Тебя», «Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко» — к этому стихотворению эпиграф из Владимира Соловьева, писалась «Historia» («И близится рассвет, и умирают тени, и, ясная, ты с солнцем потекла»[24]), «Она цвела за дальними горами, Она течет в ряду иных светил», посвященное С. М. Соловьеву. Последнее стихотворение, вероятно, и было прочитано А. А. С. М. Соловьеву в Дедове или могло быть написано под впечатлением пребывания в Дедове *. В течение этого же лета встречаем у А. А. еще одно стихотворение с эпиграфом из Вл. Соловьева и еще одно стихотворение, посвященное С. М. Соловьеву. Все показывает: А. А. был тогда под влиянием круга идей Вл. Соловьева, быть может, тех острых бесед, которыми он обменялся в Дедове с семейством Соловьевых. В конце мая этого же года, здесь же, в Дедове, я читал первую и вторую части «Московской симфонии», о которой Соловьевы могли бы сказать А. А. Блоку.

---

* Помня хорошо пейзажи Дедова и Шахматова, я готов утверждать: аромат пейзажа в данном стихотворении скорее дедовский, а пейзаж хронологически предыдущего стихотворения «Сегодня шла Ты одиноко» — шахматовский: «Там, над горой Твоей высокой зубчатый простирался лес, и этот лес, сомкнутый тесно, и эти горные пути мешали слиться с неизвестным, Твоей лазурью процвести». Зубчатый лес, мешающий процвести лазурью, горы — это Шахматово и его окрестности. (*Примеч. А. Белого.*)

В начале сентября 1901 года я вернулся в Москву. В первое свое посещение Соловьева я ознакомился с рядом стихотворений А. А. («Предчувствую Тебя», «Ты горишь над высокой горою», «Сумерки, сумерки вешние», «Я жду призыва, ищу ответа», «Она росла за дальними горами», «Не сердись и прости», «Одинокий, к тебе прихожу», «Ищу спасенья» и др.). Впечатление было ошеломляющее. Стало явно: то именно, что через пятнадцать лишь лет дошло до сознания читательской публики, — именно, что А. А. первый поэт нашего времени, традиционно связанный с линией Лермонтова, Фета, Вл. Соловьева, пережилось именно в то время. Во-вторых, было ясно сознание: этот огромный художник — наш, совсем наш, он есть выразитель интимнейшей нашей линии московских устремлений *. С первых же строчек А. А. стал мне любимым поэтом. Я понимал: будучи первым поэтом, он был не поэтом для нас, а теургом, соединявшим эстетику с жизненной мистикой, и поднимался вопрос о том, как нам жить, как нам быть, когда явно в мире звучат уже призывы, подобные блоковский.

Осень и зиму 1901 года мы обсуждали стихи А. А., ждали все новых получек из Петербурга. Мнения наши тогда разделились: М. С. Соловьев сдержаннее тогда отзывался о поэзии и о мистике Блока, О. М. Соловьева горячо принимала стихи, не вполне доверяя мистической ноте их. Мы же с С. М. Соловьевым решили, что Блок безусловен, что он единственный продолжатель конкретного соловьевского дела, пресуществивший философию в жизнь. И действительно, А. А. Блок, по времени первый из русских, приподнял поэзию В. Соловьева и осознал всю огромность религиозного смысла ее. Он довел соловьевство до идеологии максимализма, почти до секты. Пусть впоследствии говорили, что в этом крах линии мистики Соловьева (так полагали Г. А. Рачинский, кн. Евг. Трубецкой, священник С. Н. Булгаков и др.), — оп выявил в Соловьеве новые стороны, которые без него вовсе не были бы понятны, как, например, темы «Исповеди» и «Третьего Завета» А. Н. Шмидт.

С осени 1901 года А. Н. Шмидт появляется у Соловьевых. Мне приходится с ней встречаться и не раз вести беседу на тему «Исповеди». В декабре 1901 года

* Этот круг мыслей я высказал в статье «Апокалипсис в русской поэзии» в 1905 г. (*Примеч. А. Белого.*)

произошла моя встреча с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус все в той же квартире Соловьева. С начала 1902 года между З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковским и мною — деятельная переписка. Помню: в 1902 году в Москве уже образуется кружок горячих поклонников поэзии А. А. Блока, я старательно распространяю его стихи среди друзей и знакомых, стихи переписываются и передаются друг другу. Слава о юном поэте опережает его появление в печати. Уже утверждают, что первый из русских поэтов современности не Бальмонт, не Брюсов, не Гиппиус, не Сологуб, а Блок именно. В Москве первые оценили поэзию А. А.: С. М. Соловьев, О. М. Соловьева (его мать), А. С. Петровский, Э. К. Метнер, Н. К. Метнер, В. В. Владимиров (художник), его сестры, Эртель, Батюшков (московский теософ), Новский и др. К этому кругу людей причисляю себя, конечно, и я.

Официальные представители декадентства иначе относятся к стихотворениям Блока. В. Я. Брюсов в 1902 году признает их хорошими, но уступающими многим из молодых авторов того времени. З. П. Гиппиус в 1902 году пишет мне о невероятном преувеличении мною поэзии Блока, которая-де есть пережитой субъективизм, пережитой ими, т. е. Мережковскими, субъективизм. В 1903 или 1904 году она меняет первоначальное мнение, как и Брюсов.

Всякое письмо А. А. Блока этого времени к Соловьевым было показано мне и мною изучено, и казалось, мы с А. А. уже знакомы. Под впечатлением этого, как кажется, в январе 1903 года, я написал А. А. Блоку длинное письмо, которое начиналось с извинения, что я адресуюсь к нему, не будучи лично знакомым. В письме я высказывал, насколько помню, свое отношение к линии его поэзии. Письмо было написано в несколько «застегнутом», как говорят, виде. Предполагалось, что в будущем мы договоримся до интимнейших тем. Я поступил с этим письмом, как поступают «люди порядочного общества», впервые делая друг другу визит, т. е. я написал письмо философского и религиозного содержания, чуть ли не с ссылками на Канта и Шопенгауэра. Каково же было мое изумление: на следующий день по отправке письма я получаю толстый и характерный синий конверт с адресом, написанным рукою А. А. (его руку я уже знал). А. А. в день написания мною письма почувствовал такое же желание, как и я, обратиться впервые ко

мне[25]. Мне этот факт совпадения наших желаний начать переписку показался весьма знаменательным. Первые наши обращения друг к другу скрестились, и наши письма встретились в Бологом <...>[26].

Между нами готова была возникнуть нескончаемая переписка, но случилось событие, потрясшее и его и меня (меня, вероятно, гораздо сильнее), — неожиданная болезнь и смерть М. С. Соловьева и трагическая кончина в ту же ночь О. М. Соловьевой[27]. В одну ночь кончилось бытие дома, в котором в продолжение восьми лет я бывал чуть ли не каждый день и который был для меня второй родиной, не говоря уже о том, что в этом доме завязались мои первые литературно-общественные связи (хотя бы с А. А. Блоком, с петербургскими литературными кружками, сгруппированными вокруг Мережковского, и московскими, сгруппированными вокруг «Скорпиона»). Здесь получил я от А. А. лишь несколько слов, исполненных необыкновенной нежности, участия и грусти, которые показали мне его совсем с другой стороны, показали его как сердечного, чуткого, нежного человека.

Помнится, на похоронах Соловьева 19 января 1903 года, встретившись с madame Манасеиной и с П. С. Соловьевой, знакомыми с А. А., я много расспрашивал их о нем, но не получил никаких конкретных сведений, — и madame Манасеина, и П. С. Соловьева мало интересовались поэзией Блока, увлекаясь более кругом тем Мережковских.

В скором времени возобновилась паша теоретическая переписка с А. А., которая продолжалась без перерыва весь 1903 год, до нашей встречи в Москве в самом начале 1904 года.

Мне трудно охарактеризовать эту переписку. Часть ее, я думаю, могла бы скоро появиться в свет, она носит менее всего личный характер, скорее содержание ее — литература, философия, мистика и «чаяния» молодых символистов того времени. Это блестящий интимный литературный дневник эпохи. Такова переписка этих писем. Она блестяща. Мысль бьет здесь ключом. В них А. А. кипучее, острее, непринужденнее, нежели в статьях своих. Его амплуа — не статьи, а именно дневники, письма. Недаром впоследствии неоднократно хотел он журнала-дневника одновременно. Он пытался, чтобы такой журнал-дневник трех писателей — его, Вяч. Иванова и

меня — возник при книгоиздательстве «Мусагет». «Записки мечтателей» позднее, в 1919 году, пытались стать этим дневником.

Возвращаюсь к нашей переписке 1903 года. Несмотря на всю теоретичность ее и литературность, основной стержень писем ко мне А. А. требует вдумчивого комментария, быть может, превышающего в несколько раз текст писем: всюду сквозь литературный стиль писем просвечивает тот внутренний жаргон, на котором мы, молодые символисты, говорили друг с другом. У нас были свои определения, — и очень сложные психологические переживания фиксировались одним словом, понятным для нас, но не понятным для «непосвященных» современников, ни для более молодых литературных школ, к худу ли, ко благу ли скоро утерявших этот жаргон и выражавшихся прямо: что на уме, то и на языке, — пресловутая кузминская «прекрасная ясность»[28]. Правду сказать: о «прекрасной ясности» мы нисколько не думали, или если и думали, то в одном смысле: достаточно ли ее было до нас в «сократический» период всевозможного нигилизма и позитивизма? Вообще мы не думали о форме, не слишком думали даже о литературном стиле. Проблема, которая мучила нас, была проблемой внутреннего зрения и слуха — мир неуловимых шорохов, звуков и поступей, по которым мы старались угадать приближающуюся эпоху. В этом смысле письма А. А. Блока ко мне, без комментарий и освещения нашего тогда эзотеризма[29], были бы непроницаемы в своем темном ядре. Это «темное ядро» писем А. А. ко мне ничего не стоило бы прояснить, т. е. обложить догматами метафизики Влад. Соловьева, — тогда выявился бы просто и ясно парадоксальный и несколько космический костяк наших вопросов друг к другу: «а что есть Прекрасная Дама», «в каком отношении она находится к учению Влад. Соловьева о будущей теократии»[30], «в каком смысле она церковь в космосе и царица семистолпного дворца поэзии Вл. Соловьева»[31], «в каком отношении учение о Софии-Премудрости В. Соловьева стоит: 1) к метафизике, 2) к церкви, 3) к учению Конта о великом Существе человечества, 4) к гносеологии Канта, 5) к рыцарскому культу Прекрасной Дамы средневековья, 6) к Беатриче Данте, к Ewig Weibliche * Гете, 7) к учению о любви Платона, 8) к личной биографии

* Вечной женственности (*нем.*).

Вл. Соловьева, в которой одно время образ «Трех свиданий» биографически подменялся несколько романтической дружбой его с С. П. Хитрово? Как видите, темы необъятные по количеству углубленнейших вопросов, которых, конечно, не было никакой возможности разрешить нам, молодежи того времени, еще не одолевшей как следует таких титанов, как Данте, Платон, Гете, Кант. Но проблема времени поднимала все эти вопросы, мобилизовала их вокруг острия всей культуры: нового синтеза всех интересов, историей поднимавшихся тем вокруг повой фазы человеческой жизни, в которой личные и конкретные отношения друг к другу (в любви, братстве, в проблемах пола, семьи и т. д.) должны были отображать сверхчеловеческие отношения космоса к логосу, где космическим началом является София гностиков[32], воскрешенная Вл. Соловьевым в гущу самых злободневных тем русской общественной жизни конца XIX столетня, а началом логическим является рождение нового христианского слова-мысли, точнее говоря, христологии. <...>

Всем этим я хочу сказать, что тема «Стихов о Прекрасной Даме» вовсе не есть продукт романтизма незрелых порывов, а огромная и по сие время не раскрытая новая тема жизненной философии, Нового завета, Антропоса с Софией, проблема антропософской культуры грядущего периода, шквал которого — мировая война 1914 года и русская революция 1917—1918 годов. Вместо того, чтобы всею душою осознать все эти темы, ведущие воистину к новой мистерии и проблеме посвящения, вместо того, чтобы переработать именно нашу волю, мысль и чувство в медленном умственном, сердечном и моральном праксисе[33], мы, вынужденные молчать и таить среди избранных эзотеризм наших чаяний, были ввергнуты в нравственно развращенную и умственно варварскую среду литературных культуртрегеров того времени, людей, весьма утонченных и образованных в узкой сфере литературы, стиля и общественных дел и «варваров» в отношении к проблеме, над которой гении вроде Гете и Данте висели десятилетиями. Вместо того чтобы пойти на выучку к этим последним, мы скоро завертелись среди рецептов гг. Брюсовых и Мережковских и прочей литературной отсебятины, быстро выродивших в нашем сознании темы огромной ответственности, новизны, глубины.

Эти темы, оформленные поверхностно, скоро карикатурно всплыли вокруг нас, изображая нас чуть ли не шутами собственных устремлений. С моей точки зрения, А. А. слишком быстро посмотрел на самого себя со стороны оком прохожего варвара, литературного собрата по перу и вследствие ряда несчастных стечений обстоятельств в его личной, литературной и моральной биографии незаслуженно осудил в себе темы этого времени в драме-пародии «Балаганчик», бьющей мимо его же собственных писем ко мне эпохи 1903 года. Всматриваясь, я до сих пор, с риском впасть в полемику, отстаиваю А. А. 1901—1903 годов от А. А. 1907—1908 годов.

Б этих письмах и в последующих встречах в Шахматове[34], в разговорах, в которых принимали участие А. А. Блок, его мать, жена, С. М. Соловьев, я и А. С. Петровский, гостивший со мной у Блока в 1904 году, мы все время осторожно нащупывали основную, так сказать, музыкальную тему новой культуры, лик, имярек этой культуры, то в литературных аналогиях, то в религиозно-догматических разрезах, то в терминах философии, то в смутных образах мистических, целинных, полусознательных переживаний. Наши разговоры, жаргон и словечки требуют такого же комментария, как и жаргон бесконечных гегелевских разговоров кружка Станкевича, где неистовый Виссарион, переживавший в имении Бакуниных ряд чрезвычайных моральных переживаний, посвящался неукротимым Мишелем Бакуниным в ритуалы фихтевской философии (а впоследствии им же был посвящен в ритуалы и гегелевской философии), и, подобно тому как отвлеченнейшие проблемы гегельянизма тогдашней молодежью протаскивались в самые интимные уголки того времени, так что Мишель Бакунин измерял и взвешивал сердечные отношения своих друзей с гегелевской точки зрения и даже корректировал их гегельянски, непроизвольно просовывая свой нос в романы друзей, — так и мы с А. А. Блоком стремились подойти сразу ко всем проблемам жизни, литературы и мысли с точки зрения нового пути жизни, философию, этику и социологию которого следовало бы еще написать (она пишется, быть может, еще в десятилетиях XX века всей тяготою испытаний этого века). Положение бакунинского кружка было проще: он имел Гегеля позади себя, нами чаемый Гегель был впереди нас, — его мы должны были создать, потому что Вл. Соловьев был для нас лишь звуком, при-

зывающим к отчаливанию от берегов старого мира. Характерно, что в скором времени московский кружок символистов провозгласил себя «аргонавтами», т. е. сообществом, имеющим целью отыскивать Золотое руно.

Из переписки А. А. со мной в конце 1903 года уже явно звучит разность подхода к темам Прекрасной Дамы — нашего «Золотого руна» или «действительности» Гегеля. В то время как я системою вопросов стараюсь создать многообразные грани подхода к пониманию тем, связанных с Прекрасной Дамою, т. е. дать этой теме формально гносеологическое обоснование извне и оставить Ее безымянной музыкой в ее внутреннем ядре, А. А. Блок, уже упрекавший меня в музыкальном распылении тем новой культуры, моему идеалистическому обоснованию символа противополагает реалистическое, в котором метафизическая оправа соловьевского учения о Софии звучит как новый религиозный догмат, а жизненное ядро оказывается в сфере уже воплощенного символа: «будут страшны, будут несказанны неземные маски лиц»[35]. В этом отношении характерно одно из писем А. А., рисующее его как максималиста-догматика, старающегося очертить образ Той, имя которой он пишет с большой буквы[36]. <...>

Это письмо я считаю типичным для понимания тех вопросов, которые нас связывали с А. А. и которые требуют бесконечного углубления. Пусть прочтут эти письма, — посмеются над ними, в ком есть сила смеяться, но думаю, что и задумаются. В этом письме характерно обилие словечек и наличность того жаргона, который был для нас в отошедшие годы «нашим» жаргоном, где слова фиксировали трудные, не поддающиеся часто логическому объяснению моменты переживаний и моменты восприятий веяний, которые мы относили к Ней.

Прекрасная Дама, по А. А., меняет свое земное отображение, — и встает вопрос, подобный тому, — как Папа является живым продолжением апостола Петра, так может оказаться, что среди женщин, в которых зеркально отражается новая богиня Соловьева, может оказаться Единственая, Одна, которая и будет естественно тем, чем Папа является для правоверных католиков. Если Папа есть наместник Христов Второго Завета, то Она может оказаться среди нас как естественное отображение Софии, как Пана своего рода (или *«мама»*) Третьего

Завета. Разумеется, что ничего подобного в письмах А. А. Блока ко мне нет, но весь стиль их, весь подход к проблеме таков, что они волят к такому выводу. Этого вывода я боюсь и оказываюсь в нашей переписке того времени своего рода меньшевиком-минималистом. Думаю, что близкие отношения А. А. Блока к С. М. Соловьеву, очень склонному в то время к такого рода догматизированию тем нашего веяния, способствовали и укореняли в нем этот максимализм. Это и был период сближения А. А. Блока с С. М. Соловьевым, тогда поливановцем[37], гимназистом седьмого класса, только что перенесшим потерю отца и матери. Все, что я слышал от С. М. Соловьева за это время об А. А., дышало какой-то особой теплотой. С. М. тогда только что вернулся из Киева, куда он поехал после кончины родителей и где был ласково принят, как родной, в доме князя Трубецкого, тогда еще киевского профессора. По возвращению из Киева, он поселился на Поварской, в небольшом домике, с прислугою. Бабушка его А. Г. Коваленская заботливо приняла на себя хлопоты по устройству его маленького хозяйства. Посещали его весьма часто: я, Г. А. Рачинский, его опекун. В этой маленькой квартирке на Поварской продолжались наши вечерние встречи с С. М., в которых было «много, много дум, и метафизики, и споров»[38]. А. А. Блок, его поэзия, его личность, даже события его биографии были часто темой наших бесед. С. М. Соловьев одно время после смерти родителей впал, я бы сказал, в поэтически-догматический тон, стараясь чуть ли не в ясных теологических догматах фиксировать то новое, что мы все трое (А. А. Блок, он и я) ощущали как наступление новой религиозной эпохи. Думаю, что начавшееся тогда в письмах сближение его с А. А. отразилось в свою очередь на письмах А. А. ко мне, где он выступает с более четкими, парадоксальными для многих контурами своего мировоззрения и где я играл роль своего рода кунктатора[39] и философского обоснователя наших взглядов. Это был период, когда среди сочинений Вл. Соловьева меня особенно занимала «История и будущность теократии» и статья об Ог. Конте.

Скажу откровенно: то, что вынашивалось нами троими в сознании, не имело определенных философских контуров, как бы нащупывало эти контуры из сопоставлений разных сторон многих миросозерцаний. Извне то, о чем

мы говорили, казалось бы синкретизмом, где Платон, Филон, учение о логосе кн. С. Н. Трубецкого, Вл. Соловьев, Конт, Гартман встречались в своеобразных сочетаниях «гротеск». Но, повторяю, без*о*бразный и внерассудочный звук наших исканий был внятный для нас, ясный, конкретный и вполне новый (мы не умели лишь обложить его миросозерцательными словами), — и насколько более глубокий и оригинальный, нежели тогда начавшиеся искания, сгруппированные вокруг «Нового пути», органа Мережковских, к которому мы относились со все возрастающим разочарованием. Кстати сказать, с Мережковским я продолжал состоять в переписке, но я утратил в ту пору остроту интересов к его темам, казавшимся ветхими и не улавливающими того «звука» эпохи, к которому прислушивались мы.

В это время уже я знал, что у А. А. Блока есть невеста, петербургская курсистка, дочь знаменитого химика Д. И. Менделеева, к которой мы проявляли особенный интерес, полагая à priori, что то внимание, которое ей уделяет такой замечательный человек, как А. А., особенно отличает ее. Мы прослеживали в стихах А. А. того времени, как тема его лирики отображает им любимую девушку и как она переплетается с другой темою, темою о Прекрасной Даме. Наконец, мы ощупывали пересечение этих тем в третьей теме и не могли понять, в какой мере нота Софии, Души мира, соединена с обычною, чисто романтическою темою любви. Например, в стихотворении А. А., полученном нами приблизительно в это время, я не мог понять, к кому, собственно, относятся нижеследующие строчки — к Л. Д. Менделеевой или к Деве — Заре — Купине:

Проходила Ты в дальние залы,
Величава, тиха и строга...
Я носил за Тобой покрывало
И смотрел на Твои жемчуга...

С одной стороны, здесь «Ты» с большой буквы, — нужно полагать — небесное видение, с другой стороны — за небесным видением покрывала не носят (покрывало, боа, веер, не все ли равно). И серьезно мы обсуждали вопрос о том, как возможно сосуществование земной встречи с небесной встречей и в какой мере возможно сочетание земного и небесного. Здесь опять выступают

шуточно-карикатурные штрихи наших серьезнейших вопросов, имеющих целью разрешить все конкретности бытовых, национальных и даже социальных отношений в свете нового восприятия действительности. Мы с С. М. Соловьевым были теми «Мишелями», которые в многостраничных письмах но всем правилам гегелевской философии анализировали интимные отношения Станкевича к одной из сестер Бакунина и довели этим бедного Станкевича до того, что он бежал за границу, может быть, не только вследствие своей болезни, но и вследствие гегельянизирования друзьями его сердечных отношений. И был прав, может быть, А. А., выставив впоследствии непрошеных теоретиков воплощения сверхличного в личной жизни в виде дурацких «мистиков» своего «Балаганчика».

В 1903 году весной, помнится, в начале марта я получил приглашение от А. А. приехать в Шахматово на его свадьбу, с просьбой быть шафером его невесты. С. М. Соловьев получил, в свою очередь, также приглашение быть его шафером. Мы дали согласие. Было решено, что летом мы соединимся в Шахматове. Свадьба была назначена на август 1903 года.

Незадолго до этого вышел третий альманах «Северных цветов», в котором были первый раз напечатаны как стихи А. А. под заглавием «Стихи о Прекрасной Даме», так и мои. Мы впервые появились как поэты вместе, но я тогда уже сознавал совершенно отчетливо, насколько я, как поэт, уступал совершенно несравненным нотам поэзии А. А.: он умел выговорить в стихах свою центральную, нутряную, почти словами не выразимую ноту. Я более владел прозою, в стихах же не умел коснуться того, что составляло центральную ось моих внутренних устремлений. В невыраженной части своей души я был несравненно ближе к теме стихов А. А., чем в выраженной: все эти бёклиновские кентавры и фавны, с которыми я выступал, не удовлетворяли меня самого как поэта, — они были выражением внешней лирической зыби, а не внутреннего динамизма творческих устремлений моих.

Весною 1903 года обрывается наша переписка: А. А. уезжает в Бад-Наугейм. Я держу государственные экзамены. В конце мая умирает отец. Эта кончина, нервное переутомление после экзаменов ослабляют меня: я чувствую, что просто не соберусь с силами ехать на

свадьбу А. А. Пишу А. А. об этом. Первая половина июня окрашивается для меня «блоковскими» темами. В день похорон отца ко мне пришел знакомиться покойный теперь писатель Л. Д. Семенов (впоследствии революционер, добролюбовец, тогда студент-монархист еще, поэт, захваченный в круг тем, обсуждавшихся «Новым путем», и еще более в круг тем, связанных с поэзией Блока). Он писал стихи, подражая Блоку. Мы много говорили на темы поэзии А. А. и о самом А. А., с которым Семенов был лично знаком. Мы совершали частые прогулки к Новодевичьему монастырю, посещали могилы отца, Вл. Соловьева, супругов Соловьевых. Средь летней задумчивой обстановки звучали темы стихотворения А. А., написанного несколько позднее:

У забытых могил пробивалась трава,
Мы забыли вчера. И забыли слова,
И настала кругом тишина...

Разговоры о вечности среди тишины могил опять-таки по-новому вызывали звук поэзии Блока. Я смотрел на Новодевичий монастырь глазами уже мною написанной «Симфонии». Мы обходили могилы; задумывались о будущем:

Где впервые в мои восковые черты
Отдаленною жизнью повеяла ты,
Пробиваясь могильной травой...[40]

Л. Д. Семенову я глубоко благодарен за эти две-три проведенных вместе московских недели. Скоро я уехал в деревню.

Помнится, осенью я получил письмо от С. М. Соловьева, тогда только что вернувшегося со свадьбы А. А., письмо, из которого я мог лишь понять, что он чем-то потрясен и радостно взволнован. По возвращении в Москву в конце сентября 1903 года я так и не узнал от С. М. подробностей этой свадьбы. Я понял только, что весь строй переживаний С. М. скорее напоминал настроение человека, только что посвященного в мистерию, чем настроение шафера, возвращавшегося со свадьбы. По его словам, природа Шахматова и Боблова (имения Менделеевых), и погода, и свадебный о б р я д, — все было пронизано какою-то необычайною, непередаваемою атмосферою, — и прозвучал звук эпохи, над которым мы медитировали[41]. Можно сказать, что именно в это время я менее всего был расположен вникать во все эти подроб-

ности, по я понял одно — что свадьба А. А. Блока не есть обывательщина, а какой-то подход к разрешению нами поставленных задач: соловьевство и тут присутствовало. Я видел в С. М. Соловьеве того времени какую-то особенную преданность всему семейству Блоков — ему, его матери, его жене. Он описывал мне всех персонажей этого бракосочетания, обычно меняя тон, переходя от серьезнейших задушевных нот к ему свойственному юмору, изображая в лицах старика Менделеева, его жену Анну Ивановну, Любовь Дмитриевну, жену поэта, самого А. А.; помнится мне, его особенно поразил один из шаферов отношением к обряду и теми разговорами, которые он вел с ним. Он был «наш», т. е., по тогдашнему жаргону, посвящен в эзотеризм наших восприятий действительности, человеком Третьего Завета и, стало быть, убежденным теократом. По словам С. М. Соловьева, он не только понимал неописуемое настроение шахматовских дней лета 1903 года, но понимал то, что нам непонятно. С. М. Соловьева поразило то обстоятельство, что этот молодой человек, как кажется, только что окончивший университет, поляк и католик, должен был ехать навсегда в Польшу, чтобы поступить там в какой-то монастырь. Это был граф Развадовский. С. М. говорил мне, что у него какой-то особый религиозный культ восходящей звезды. Поиски этой «звезды» и повели его в монастырь. И А. А. писал мне приблизительно в это время следующее о графе Развадовском: «Милый и дорогой Борис Николаевич. Осень озолотила и прошла. В ту минуту, как я пишу Вам запоздалый ответ, может быть, один «из нас» (не нас с Вами, а нас нескольких, «преданных Испанской Звезде»[42]) идет по австрийской дороге в священнической рясе. Я не имею никаких данных утверждать это, а если бы и имел, то не был бы в праве сообщать об этом даже Вам, но теперь, теряясь в области предположений, хочу известить о них непременно. Вы могли слышать об этом странном человеке от Сергея Соловьева. Лично у нас с ним как-то (даже когда-то, хотя я не знаю, когда) нечто перекликнулось большое, потерявшееся потом «в лазурном безмирном своде»[43].

Характерно: фамилия этого графа Развадовского только раз всплыла на внешнем разговоре с А. А. — именно в последнем, когда весной этого года, перед отъездом в Москву, А. А. был у меня с Р. В. Ивановым и С. М. Алянским. Мы с А. А. как-то случайно перешли

к разговору от критики струвевского журнала (издававшегося в Софии[44]) к русским, находящимся в Югославии, к славянскому и польскому вопросам; и тут А. А. сообщил мне о каком-то польском епископе, очень реакционно настроенном и действующем в Польше, припомнив, что его светская фамилия — граф Развадовский. Тут А. А. улыбнулся мне и сказал: «Знаешь, ведь это, вероятно, тот самый Развадовский». Я по улыбке, которая появилась у него, понял, что он намекает на ту, далеко отошедшую эпоху, когда шафера А. А., присутствовавшие на его свадьбе, один — ждал наступления нового теократического периода, мирового переворота чуть ли не на свадьбе А. А., а другой — прямо со свадьбы отправился за поисками «звезды», и эта «звезда» привела его, быть может, лишь к реакционной епископской тиаре.

С осени 1903 года до самого начала 1904 года мне пришлось отвлечься и от переписки с А. А., и частью от тем, с нею связанных. Это было в Москве очень шумное время: все то, что подпочвенно сочилось в сознаниях отдельных *людей нового направления,* теперь выявилось, сгруппировалось в кружки. Был кружок молодых писателей, сгруппированных вокруг книгоиздательства «Гриф», был кружок «Скорпиона», был теософский кружок, образовался кружок, сгруппированный вокруг моих воскресений, который Эллис (Л. Л. Кобылинский) прозвал «аргонавтическим». Мы, аргонавты, не имели своего органа, но мы вливались и в «Гриф», и в «Скорпион», и в организованные впоследствии «Весы», и в убогую «Свободную совесть», позднее в Общество свободной эстетики[45], — в дальнейшем в «Дом песни»[46] и в Московское религиозно-философское общество. Объединенные одно время «Мусагетом», мы перекинулись в молодой кружок покойного скульптора Крахта. С 1903 до 1912 года длится весьма активная литературно-общественная нота на бумаге не существовавшего кружка «аргонавтов», которые в 1905 году существовали (правда, очень короткое время) под видом революционного десятка с кличкой «аргонавты». Душою, организатором и толкачом на все парадоксальное был Л. Л. Кобылинский, слабый теоретик и поэт, но в жизни талантливейший человек с проблесками почти гениальности. В 1903 году только еще возникающий кружок «аргонавтов» собирался у меня по воскресеньям, В его состав

входили то одни, то другие. Важен был импульс целого коллектива, а не тот или иной член коллектива. «Аргонавтами» с 1903 до 1907 года считались: Эллис, я, А. С. Петровский, С. М. Соловьев, П. Н. Батюшков, М. А. Эртель, А. С. Челищев, В. В. Владимиров, Г. А. Рачинский, М. И. Сизов, Н. П. Киселев, В. О. Нилендер, Н. И. Астров, В. П. Поливанов, Н. И. Петровская и др. Роль «аргонавтов» была ролью импульсаторов, согревателей душевным динамизмом самых разнообразных течений, перекрещивающихся в «аргонавтическом» русле и впоследствии распавшихся и многообразно оформившихся *. Но главной задачей «аргонавтов» было вынашивать и оформлять тогда слагавшуюся школу символизма. Думаю, что вся идеология московской фракции символизма созрела не в «Скорпионе» и не в «Весах», а в интимных беседах и разговорах среди молодых символистов «аргонавтического» толка. С 1903 года местом наших собраний и встреч были главным образом — мои воскресенья, где, кроме тесного круга друзей, обычными посетителями были молодые поэты «Скорпиона» и «Грифа», а также Бальмонт, Брюсов, С. А. Соколов с женой (псевдоним: Нина Петровская), Г. А. Рачинский, Поярков, С. Л. Кобылинский (брат Л. Л. Кобылинского). Часто появлялся художник Россинский, Липкин, если память не изменяет, Шестеркин, бывал покойный Борисов-Мусатов, одно время пианист Буюкли, композитор Н. Метнер, Б. А. Фохт, П. И. Астров, — появлялись такие, нашему тогдашнему кругу далекие «почтенные люди», как покойный композитор С. И. Танеев, проф. И. А. Каблуков, А. П. Павлов, ныне академик, не убоявшийся превращения профессорского дома в дом «декадентский». Бывали у нас и совершенно случайные, я бы сказал, прохожие люди, вроде Н. А. Кистяковского, тогда еще скромного адвоката **. За столом собиралось до двадцати — двадцати пяти человек: спорили, музыканили, читали стихи до поздней ночи; стоял веселый галдеж. Весь наш круг глубоко ценил поэзию Блока, которого мы считали своим, «аргонавтом». После своего пребывания в Москве, где А. А. имел случай ознакомиться с «арго-

---

* Среды Астрова, кружок Крахта, кружок теософов, Христофоровой, «Орфей», молодой «Мусагет». Наконец, часть «аргонавтов» вошла в московское антропософское общество. (*Примеч. А. Белого.*)

** Впоследствии украинский министр, снискавший далеко не завидную известность. (*Примеч. А. Белого.*)

навтами», он прислал мне стихотворение с эпиграфом из моего «Арго» («Наш Арго, готовясь лететь, золотыми крылами забил»), бывшего своего рода гимном «аргонавтов» *. Вот это стихотворение:

Сторожим у входа в терем,
Верные рабы,
Страстно верим, выси мерим,
Вечно ждем трубы.
Вечно — завтра. У решетки
Каждый день и час
Славословит голос четкий
Одного из нас.
Воздух полон воздыханий,
Грозовых надежд,
Высь горит от несмыканий
Воспаленных вежд.
Ангел розовый укажет,
Скажет: — вот она:
Бисер нижет, в нити вяжет —
Вечная весна.
В светлый миг услышим звуки
Отходящих бурь,
Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь.

Это стихотворение пропитано тем же бодрым «аргонавтическим» воздухом вечного завтра, который господствовал в кружке «аргонавтов» в сезон девятьсот третьего — девятьсот четвертого годов. Идею братства «аргонавтического» коллектива изображают строки: «Молча свяжем вместе руки, отлетим в лазурь».

Осенью и зимой 1903 года почти каждый день мне приходилось бывать где-нибудь: в воскресенья собирались у меня, в среды у Брюсова, если память не изменяет, во вторники днем у Бальмонта, — был «грифский» день, «скорпионовский» день. В то время книгоиздательство «Скорпион» выдвинуло ультиматум: сотрудники «Северных цветов» должны были воздержаться от печатания в альманахе «Гриф». Я и Бальмонт отвергли это предложение и присоединились к «грифам». Я пожаловался А. А. на это насилие «Скорпиона». А. А. к нам, «грифцам», присоединился и прислал шуточное стихотворение, в котором изображены выведенные на свежую

* У «аргонавтов» была вырезана своя печать, которую Эллис в порыве «аргонавтизма» прикладывал ко всему, что попадалось под руку, — к рукописи, стихам, книгам, даже к книжным переплетам. (*Примеч. А. Белого.*)

воду затеи Брюсова и «конспирация» З. Н. Гиппиус. Помню из этого стихотворения лишь слова: «...опрокинут Зинаидин грозный щит...» — и далее рифма: «...разбит...» [47] (разумеется Брюсов и «Скорпион»).

Если в нашем товарищеском коллективе было бодрое настроение, то, наоборот, мне было очень тяжело. Литературная ажитация и убыль внутренних тем — так характеризовал бы я то время. Затруднения и конфликты моего индивидуального сознания побуждали особенно меня искать гармонии ритма в «братстве», в «коммуне мечтателей». В то время я чаще и чаще задумывался над проблемой общения людей, образования братских и сестринских коллективов, мечтал не то о пирах Платона, не то о мистерии, взыскуя о прекрасном обряде жизни. Поэтому я в то время лелеял мечту об организации своего рода ритуала наших бываний и встреч, о гармонизации самих наших касаний друг друга, вызывающих хаос и разорванность сознания. Проблема коммуны, мистерии и новой общественности пересеклась с мыслию об организации самого индивидуализма в своего рода интериндивидуал. Я искал людей и общений не кружковых, а катакомбных, интимных. Помню, что часто бывал в то время в Донском монастыре у одного замечательного человека — епископа на покое Антония. На почве этих исканий тогда подготовлялся один очень грустный эпизод моей жизни, где протянутость к мистерии человеческих отношений опрокинулась в самую обыденную прозу[48]: зори девятьсот первого года, увы, угасли безвозвратно. Поэтому я с какой-то особою тягою обращался мыслию к А. А. Блоку, просто нуждаясь в общении с ним, как с самым близким, как почти с братом, с которым я еще не встречался. Я помнил, что он только что женился, и мысль о том, как построена его личная жизнь, занимала меня: есть ли мистерия в его жизни, есть ли та гармония и ритм, о которых так много и подчас так не ритмично говорилось в начинавших мне уже надоедать юных модернистических кругах. Я получал в то время и письма и стихи от А. А., стихи, то нежные, то тревожные, но общий их, доминирующий фон был мягкой грустью. Чувствовалось, что А. А. бодрится, но за этой форсированной бодростью чувствовалось недоумение. Ноты Прекрасной Дамы, угасая, вспыхнули еще раз там. Но ни в письмах, ни в стихах не было напряженности 1902 года и первой половины 1903 года. Письма

А. А. ко мне были спокойнее, мягче, дружественнее и проще. Лично мне они были большим утешением. Что же касается до наших мистических чаяний, то они как-то отступили на второй план. Вот характерные ноты настроения стихотворений А. А. этого периода: «Я на покой ушел от дня, и сон гоню, чтобы длить молчанье... днем никому не жаль м е н я , — мне ночью жаль мое страданье».

Вот выдержка из письма того времени: «Состояние молчания стало настолько привычным, что я уже не придаю ему цены. Вы, как мне показалось, не привыкли к тому, что лишь второстепенно, и поставили ваше состояние молчания для Вас на первый план, а я уже мирюсь с этим, потому что не вижу крайней необходимости тратить пять лошадиных сил на второстепенное. Вот и «я» все о себе, только, мне кажется, это ничего... Ах, нам многое известно, дорогой Борис Николаевич! Вы спрашиваете, кто я, что я. Разве вы не знаете: то же и то же опять милое, родное, вечное в прошедшем, настоящем и будущем... Я говорю о самом близком, окружающем меня. Один из петербургских поэтов пишет мне: «о вас ходит легенда, что вы, женившись, перестали писать стихи». Мадам Мережковская, кажется, решила это заранее. Что же это значит: мадам Мережковская создала трудную теорию о браке, рассказала мне ее в весеннюю ночь, а я в ту минуту больше любил весеннюю ночь, не расслышал теории, понял только, что она трудная. И вот женился, и вот снова пишу стихи и милое «прежде» осталось милым... А тут сложилась «легенда». Но поймите, наконец, Вы, *московские* и не петербургские мистики, что мне жить *во сто раз* лучше, чем прежде, а стихи писать буду, буду, буду, хотя в эту минуту мне кажется, что стихи мои препоганые».

Еще с начала ноября 1903 года А. А. писал мне и С. М. Соловьеву, что он с женой собирается в Москву погостить. Должен был остановиться на Малой Спиридоновке, в доме В. Ф. Марконет, в пустой квартире, принадлежавшей, если не ошибаюсь, А. М. Марконет. Мы с нетерпением ожидали приезда А. А. в Москву, но этот приезд оттягивался: Блок с женой приехали лишь в первых числах января 1904 года. Помню, в то время только что вышли «Urbi et Orbi» Вал. Брюсова, которые были встречены нами как нечто чрезвычайное. Вот что писал мне А. А. об «Urbi et Orbi»: «Urbi et Orbi» — это

бог знает что. Книга совсем тянет, жалит, ласкает, обвивает. Внешность, содержание — ряд небывалых откровений, прозрений почти гениальных. Я готов говорить еще больше, чем вы, об этой книге, только просижу еще над ней. Могу похвастаться и поплясать по комнате, что не все еще прочел, не разглядел всех страниц. При чтении могут прийти на ум мысли круглого идиота: как многое на свете делается, какие на небе звезды, какая бывает хорошая погода и прочее... Бальмонт тоже натворил чудеса, выпустив последние две книги, а вы — молчание... Вы будете печатать, а я в ответ вместо никуда не годных рецензий — мычать».

В «Urbi et Orbi» было два стихотворения. В них отчетливо сказалось отношение старшей линии модернизма, Бальмонта и Брюсова, к нарождавшемуся течению символизма, к которому в Петербурге относился главным образом А. А. Блок, а в Москве выразителем идеологии этого течения был хаотический кружок «аргонавтов». Одно стихотворение посвящено мне. Оно кончается словами: «Я много верил, я проклял многое и мстил неверным в свой час кинжалом». В смешном стихотворении «Младшим» с эпиграфом: «Там жду я Прекрасной Дамы», поэт восклицает: «Они Ее видят! Они Ее слышат!..» Далее описывается, как поэт прижимается к железным болтам храма, куда его не пускают, и созерцает святослужение: «Железные болты сломать бы, сорвать бы, но пальцы бессильны и голос мой тих». В этих строках выражено недоверие, подозрение и неумение понять, чем мы волнуемся и чего ожидаем. На это стихотворение А. А. Блок ответил Брюсову гимном, обращенным к своей музе:

Тебе, чья тень давно трепещет
В закатно-розовой пыли!
Пред кем томится и скрежещет
Великий маг моей земли... *

Брюсов здесь назван «великий маг» не только в риторическом смысле, но и в текстуальном: именно в эти годы Брюсов проявлял большой интерес к спиритизму, дурного тона оккультизму (интерес больше к эксцессам черной магии, чем к подлинно духовной науке). Этот интерес отразился в его романе «Огненный ангел».

---

* В позднейшей редакции вместо «великий» поставлено «суровый». (*Примеч. А. Белого.*)

А. А. Блок- знал про это заигрывание Брюсова со всякой мелкой бесовщиной; отсюда выражение: «скрежещет маг». Кроме того, вследствие нашего нежелания подчиниться требованию «Скорпиона» о неучастии в «Грифе», отношение В. Я. Брюсова ко мне и к А. А. было несколько «скрежещущим».

Среди лиц, сгруппированных вокруг «грифов», особенно чутко и нежно относились к поэзии А. А.: писательница Нина Петровская и молодой, безвременно умерший писатель Пантюхов. Бальмонт, бывавший почти ежедневно в «Грифе» и очень друживший с грифскою молодежью, наоборот, весьма надменно и свысока смотрел на молодого поэта. Помнится мне, как все мы ожидали появления А. А. в Москве; особенно волновались приездом его, конечно, я и С. М. Итак, наступил 1904 год.

II

А. А. БЛОК В МОСКВЕ

Помню: в начале января 1904 года, за несколько дней до поминовения годовщины смерти М. С. и О. М. Соловьевых, кто-то принес радостное для меня известие, что А. А. Блок с Любовью Дмитриевной приехали в Москву. Помнится: я это узнал до его посещения.

Очень скоро после этого раздался звонок, и когда л вошел в переднюю, то я увидел раздевавшегося молодого человека, очень статного, высокого, широкоплечего, с тонкой талией, в студенческом сюртуке. Это был А. А. Блок с Любовью Дмитриевной. Меня поразило в А. А. (это — первое впечатление): стиль корректности, «светскости» (в лучшем смысле), называемой хорошим тоном. Все было в А. А. хорошего тона, начиная от сюртука, ловко обтягивающего его талию, с высоким воротником, но не того неприятного зеленого оттенка, который был характерен для студентов-белоподкладочников, как тогда называли особый тип студентов-франтов. Кажется, в руках А. А. были белые перчатки, которые он неумело совал в карман пальто. Вид был вполне «визитный». Некоторая чопорность и светскость, более подчеркнутая, чем в А. А., мне бросилась в глаза в Л. Д. Вместе с тем оба они составляли прекрасную пару и очень подходили друг к другу: оба веселые, нарядные, изящные, распространяющие запах духов. Второе, что меня поразило в

А. А., — это здоровый цвет лица, крепость и статность всей фигуры: он имел в себе нечто от военного, а может быть, и от «доброго молодца». Упругость и твердая сдержанность всех движений несколько контрастировали с застенчиво улыбающимся лицом, чуть-чуть склоненным ко мне, и большими, прекрасными голубыми глазами. Лицо это показалось мне уже знакомым, где-то виданным *. Так первое впечатление от облика А. А. вызвало в душе вопрос: «Где я видел его?» Казалось бы, я должен ответить себе: «Да, конечно, я его духовно видел в стихах, в нашей с ним переписке...» Но именно этого-то и не было: образ, возникающий из стихов, ассоциировался во мне с другим образом: я почему-то духовно видел А. А. не таким: маленького роста, с болезненным, бледно-белым, большим, тяжелым лицом, с большим туловищем, небольшими тяжелыми ногами, в сюртуке, не гармонировавшем с его движениями, очень молчаливым и не улыбающимся, с плотно сжатыми губами и с пристальными небольшими синими глазами; и, разумеется, я видел А. А. с гладкими, будто прилизанными волосами, зачесанными назад. Не то чтобы я думал, что он такой. Нет, — просто этот образ вставал как невольная внешняя ассоциация, сопровождавшая все мысли мои о Блоке. А эта курчавая шапка густых, чуть-чуть рыжеватого оттенка волос, этот большой интеллектуальный лоб, улыбающиеся так открыто и так приветливо губы, и глаза, глядящие с детской доверчивостью не вдаль, а вблизь и несколько сконфуженно, рост, статность, — все не соответствовало Блоку, жившему в воображении, Блоку, с которым я обменялся уже рядом писем на интимнейшие темы, Блоку, приславшему мне такую воистину братскую записку после кончины Соловьевых[49]. Признаюсь — впечатление внешнего облика, не соответствовавшего «фиктивному» облику, меня застало врасплох. Нечто даже подобное разочарованию поймал я в своей душе и оттого еще больше переконфузился и быстро принялся приветствовать гостя и его супругу, несколько суетясь, путаясь в движениях, заговаривая зубы собственному своему впечатлению, которое было тотчас же замечено А. А., — оттого он стал ласково лю-

* Впоследствии я не раз говорил А. А., что в выражении его лица было что-то от Гауптмана. Это сходство с Гауптманом впоследствии не поражало меня. (*Примеч. А. Белого.*)

безным, но, как мне кажется, тоже внутренно смутился. Произошла какая-то заминка в первой нашей с ним встрече, в передней. И с этой заминкой мы прошли и гостиную, все втроем, где я, кажется, познакомил А. А. с моей матерью, которая очень любила его стихи и еще больше его письма ко мне; некоторые из них я ей показывал. Помнится, меня поразила та чуткость, с которой А. А. воспринял неуловимое впечатление, им во мне оставленное, то есть смесь радости, смущенности, некоторой настороженности, любопытства ко всей его личности, вплоть до движения его рук, до движения кончиков его улыбающегося рта, до морщинок около смеющихся глаз его, с мороза покрасневшего и слегка обветренного лица. Это неуловимое настроение с неуловимой быстротой передалось и ему, отчего вся его статная, крупная фигура, с уверенными и несколько сдерживаемыми движениями приобрела какую-то мешковатость. Он как-то внутренно затоптался на месте и, в свою очередь, с выжидательно-любопытной улыбкой точно ждал от меня, я не знаю чего, слов ли, жестов ли, полной ли непринужденности или разрешения моего взволнованного, несколько взвинченного настроения, вызванного нашей встречей. Помнится, мы сидели друг перед другом в старых, уже несколько потрепанных креслах в нашей оливковой гостиной, цвет которой я описал в первой главе первого тома моей «Эпопеи» (кресла сохранились в нашей гостиной от времени моего младенчества). В этих же креслах лет за четырнадцать перед тем, помню, сидел дед А. А., Андрей Николаевич Бекетов (бывший ректор Петербургского университета), седой, благообразный, бодрый старик, с длинной бородой и падающими на плечи сединами, а я сидел на его коленях, и он гладил мою голову.

Помню я этот морозный январский день, и лучи солнца, падавшие в гостиную, и эту солнцем освещенную, слегка склоненную набок голову, и эти голубые, большие, не то недоумевающие, не то испытующие, но добрые, добрые глаза, и локти рук, упирающиеся в старое кресло, и слегка дрожавшую правую руку, зажавшую папиросу, и голубоватые дымные струйки.

Я не помню слов, которыми мы обменялись. Помню лишь, что мы говорили об очень внешних вещах: о путешествии А. А. в Москву, о том, сколько А. А. думает здесь погостить, о Мережковском, Брюсове, «Скорпионе»

и о том, что нам следовало бы о многом поговорить. Едва ли мы не заговорили о погоде, но это вышло слишком «визитно», и мы все втроем — А. А., я и Л. Д. вдруг откровенно улыбнулись этому визитному тону и заговорили о том, как трудно отделаться от внешних слов и заговорить по-настоящему. И действительно, нам с А. А. было трудно сразу взять настоящий тон по отношению друг к другу. Вероятно, у А. А. был ряд мыслей обо мне, в связи с письмами к нему, стихами и «Симфонией». Мне кажется, что в одном стихотворении он переоценил мою бренную личность, посвятив мне строчку о том, что — «кому-то на счетах позолоченных дано было сосчитать то, что никому не дано»[50]. Я, в свою очередь, готов был о нем написать подобные же строчки. Слишком много у нас наросло друг о друге душевных образов, не питавшихся фактом личного общения, чтобы сквозь строй дум о «неуловимом» эмпирично коснуться друг друга. Кроме того, с первых мигов встречи сказалась разность наших темпераментов, оттенок меланхоличного в нем и сангвинического во мне, и разные приемы выявлять себя во внешних отношениях. И мне и А. А. приходилось много страдать в свое время от несоответствия общественной среды, в которой складывалась наша жизнь. Слишком долго и мне и ему приходилось таить свое интимнейшее, несказанное. А. А. был близок к своей матери именно в субстанции своих творческих тем, но далек и чужд своему отчиму, прекрасной и добрейшей личности, своим родственникам и той военной среде, которая окружала его отчима, бывшего в то время полковником лейб-гвардии Гренадерского полка. Я слишком долгое время развивался молча и, так сказать, украдкою. Отец и мать были чужды моим философско-религиозным устремлениям, и лишь в семье Соловьевых я, что называется, «распускался». У обоих у нас все то, что выявлялось в литературе, как стихи и чаяния, истекало из своего рода «подполья», в котором мы, заговорщики о будущем, перекликались стихами, как программами какой-то будущей совместной деятельности. Но из «подполья» оба мы не могли вылезти. На обоих наросла средой отложенная маска, как необходимый защитный щит (не оттого ли так много масок фигурирует в поэзии А. А.? — «неземные маски лиц...», «снежные маски» и т. д.). Оттого, вероятно, в моей статье «Маска»,

написанной вскоре, упоминается, что появились люди-маски, то есть люди, вынужденные, выражаясь языком Ницше, жить среди умирающего поколения сократиков и приобретать себе личину «сократической» видимости, утаивая свою дионисскую суть, дабы не быть стертыми с лица земли крепкой и могучей злобой на нас со стороны стариков *.

И вот в А. А. я почувствовал двойной жаргон в его отношениях к людям: его суть и притянутость к последнему в душе человека; вместе с тем: недоверие и скепсис, даже по отношению ко всему серединному, «предпоследнему», где конкретно переживаемое смешивается с абстрактно-полагаемым в зыбкой иллюзии «субъективизма» и «декадентщины»; щит против этой quasi-искусственности в нем несомненно отображался в стиле себя держать, в стиле, продиктованном ему не головой, а естественным «тактом», то есть ритмом, оформленным в ему свойственные ритмические формы. Его поэзия того времени, развив свои ямбы, начала развивать свой великолепный анапест. Я в то время лирически искал своих выражений в коротких, амфибрахических строчках и не мог написать ни одного порядочного ямба. «Такты» нашего положения выражались в диаметрально-противоположных стилях выявления. Я был необыкновенно суетлив и говорлив, много теоретизировал и таскал за волосы цитаты различных мыслителей, и развивал теорию за теорией, будучи вовсе не теоретичен, сравнительно тих в моем внутреннем облике. На А. А. разлился иной «защитный» стиль: стиль выдержанности, светскости и немного шутливого, добродушно-реального отношения к факту жизненной Майи [51], что вместе мы называем «хорошим тоном». Всякий, кто знал меня того времени, мог бы сказать: вот москвич, интеллигент, оптимист, идеалист, немножко Репетилов, побывавший в кружке Станкевича, теоретически символизирующий, подобно тому как в кружке Станкевича гегельянизировали. Немного смешной, немного бестактный, не развивающий хорошего тона. Взглянувши на Блока, можно было сказать: вот петербуржец, вовсе не интеллигент, скорее «дворя-

* Характерный факт: за несколько месяцев перед тем меня провалил на государственном экзамене один приват-доцент исключительно за то, что я декадент, а на похоронах отца несколько профессоров нарочно меня не узнали и не подали руки: за то же. (*Примеч. А. Белого.*)

нин», реалист-скептик, где-то грустно вздохнувший, но на этот вздох натянувший свою улыбку, очень добрую и снисходительную, обласкивающую собеседника, чтобы от всей души окружить его уютом и скрыть от него точку своей тоски, и вместе с тем детски доверчивый, но держащий собственную доверчивость под контролем некоторой строгости, в кружке Станкевича не бывший, но, вероятно, простаивавший когда-то часами на берегу Невы и знающий звук Медного всадника и Адмиралтейской иглы, не считающий нужным подыскивать теории символизма, потому что символическое восприятие действительности есть физиологический факт его бытия. Все это отразилось в его манере держаться: внимательность к собеседнику, наблюдательность, готовность ответить на какой угодно вопрос, прямо, решительно, без обиняков и «абстрактных» подходов, не выжидающего действительного подхода. Словом, я выглядел интеллигентнее, нервнее, слабее, женственнее, демократичнее, рассеяннее, эгоистичпее, смешнее. А. А. выглядел интеллектуальнее, здоровее, сильнее, мужественнее, сосредоточеннее, аристократичнее, добрее; и не было в нем ни одной черты, которая бы со стороны могла показаться смешной. Вместе с тем оба мы не соответствовали своим наружным видом стилю своей лирики. Глядя на А. А. того времени, никто не сказал бы, что он написал «Предчувствую Тебя...», скорее он мог написать рассказ в тургеневской стиле (допустим — лучше Тургенева). Глядя на меня, можно было подумать, что я пишу какое-нибудь философское исследование, а если и пишу стихи, то, вероятно, рифмую в них «искал — идеал». Но под дворянско-светским тоном в А. А. таился максималист: быть может, офицер Лермонтов, или Пестель, или будущий Александр Добролюбов (иного типа). Под моими теоретическими абстракциями «максимум», быть может, таился осторожно нащупывающий почву минималист. Я ко всему подходил окольным путем, нащупывая почву издалека, гипотезой, намеком, методологическим обоснованием, оставаясь в выжидательной нерешительности и ожидая мнения собеседника о центральной оси вопроса, чтобы потом уже приподнять забрало над своим внутренним мнением.

А. А. был немногословен, спокоен, не слишком подходил сам, не давал никаких авансов, как бы ожидая, как к нему сперва подойдут, чтобы вплотную, прямо,

без обиняков ответить короткой фразой без комментарий на что угодно и разрубить сумятицу стучащих мыслительных ассоциаций определенным «да» или «нет».

Я подробно описываю разность и полнейшую противоположность (даже редкую противоположность) в том, что было в нас периферического: в темпераменте, в стиле, в тоне, в такте, что мы сразу же почувствовали, очутившись друг перед другом, что было причиною нескольких мучительных минут, когда мы сидели друг перед другом и не знали, что друг с другом делать, о чем говорить: о погоде не стоит, а о Прекрасной Даме невозможно. Из последующих, уже иных разговоров этого его московского месяца выяснилось, что он был разочарован, увидев меня таким, каким я был. Я — тоже. Но скоро мы оба почувствовали, что, кроме разности «тона», «стиля», «быта» и «темперамента», есть нечто, что и легло впоследствии, как основа его чисто братского, нежного, деликатного и любящего отношения ко мне. Не говорю о себе: я полюбил его в первые же дни нашего московского месяца, хотя был всегда, увы, в десять раз эгоистичнее его в наших взаимоотношениях. Он меня превосходил в чем-то, и оттого-то впоследствии то братское, что нас связывало, отобразилось во мне тем, что я ощущал его «старшим братом»; младшим — был я всегда, хотя мы ровесники. Говорю это без самоуничижения: так, просто. Были и черты, в которых я превосходил его: я был внутренне терпеливее, выносливее, может быть скромнее и робче, не боялся распылиться. Он был мудрее, старше, смелее и внутренне капризнее, нетерпеливее, запальчивее (во внешнем опять наоборот).

Мы почувствовали скоро взаимную перекличку издалека. Мы, точно не видя друг друга, не глядя друг другу в лицо, отделенные забралами наших стилей и темпераментов, так несозвучно, перекидывались издали мячиками из слов. Мы сначала поверили друг в друга, вопреки оболочке, и эта вера перешла незаметно в доверие, перешла в привычку. Мы обтерпелись друг о друга. И тут скажу: я в него поверил как в человека раньше, чем он в меня. Он долго еще осторожно присматривался ко мне, наконец поверил и действительно полюбил меня прочней и конкретней. Я был легкомысленнее его и не раз колебал прочные основания наших отношений теоретическими вопросами, платформами, идеологиями и, наконец, своим эгоизмом. Не раз отношения наши

подвергались серьезному испытанию. Можно сказать, они остались незыблемыми до последнего дня его жизни исключительно благодаря его прекрасной, благородной, в иных случаях пылающей правдивостью душе. Еще штрих, его характеризующий: даю голову на отсечение, что если бы покойного спросили о первой нашей встрече, он ее описал бы не так, как я: он охарактеризовал бы одним метким словом то внутреннее, что создалось между нами, и не стал бы пускаться в психологическую характеристику всех душевных нюансов, сопровождавших ее. Нюансы бы забыл он, но запомнил бы текстуальные фразы, которыми мы обменялись. А я вот не могу привести ни одной его фразы из наших первых встреч (он и говорил меньше, да и я был глуше к произносимым им словам, прислушиваясь к бессловесному фону их), фотографические снимки со всех душевных движений между нами точнее устанавливает мне память.

Когда мы улыбнулись друг другу и отметили, что так трудно заговорить по-настоящему, А. А. поставил и тут точку над «i», подтвердив прямо, без обиняков — да, трудно. Я же, впадая в прекраснодушие, начал анализировать, почему именно трудно, начал характеризовать себя, свое косноязычие, неумение говорить, необходимость для меня «оттаять» от ледяного короста внешних пропыленных словечек, в которые сажает нас, как в тюрьму, «сократическая» обстановка жизни. Это было вполне неуместно, бестактно, «мишелисто» (то есть в стиле молодого гегелианизирующего человеческие отношения Мишеля Бакунина). И могло выглядеть смесью из ненужной риторики, субъективизма и психологизма, то есть именно со всем тем, чего так не любил Блок. По, должно быть, в моем признании сказалась какая-то боль; я почувствовал, как весь стиль наших будущих отношений определится этими первыми впечатлениями друг о друге. И тут я почувствовал, что А. А. через все вдруг мне поверил, увидел меня в моей «тишине», в «человеческом», и сказал «да» этому человеческому, хотя еще конкретно внутренно меня не полюбил.

Оговариваюсь, — может быть, этот разговор и не был первым моим разговором с А. А., а вторым, — то есть произошел на другой день, но во всяком случае он был первым началом нашего многолетнего разговора друг с другом, не прекращавшегося и молчанием. Во всяком случае память моя ассоциирует его с первой встречи.

Из этого посильного анализа моего впечатления об А. А. явствует, что А. А. мне чем-то сразу заимпонировал. У меня было более уважения к нему, чем у него ко мне, было ощущение какой-то тихой силы и незаурядности, которая исходила от его молчаливого, приветливого облика, такого здорового и такого внешне прекрасного. А. А. был очень красив в ту пору, я бы сказал: лучезарен, но не озарен. Его строки «Я озарен... я жду твоих шагов...» — не соответствовали его лику: в нем не было ничего озаренного, «мистического», внешне «таинственного», «романтического». Никакой «романтики» никогда я не видел в нем. О, до чего не соответствовал он сантиментальному представлению о рыцаре Прекрасной Дамы, рыцаре в стиле цветных витражей, — вот что всего менее подходило к нему: никакого средневековья, никакого Данте, больше — Фауста. Но лучезарность была в нем: он излучал, если хотите, озарял разговор чем-то теплым и кровным, я бы сказал — физиологическим. Он был весь — геология. Ничего метеорологического, воздушного в нем не было. Слышалась влажная земля и нутряной, проплавляющий огонь откуда-то, из глубины. Воздуха не было. И вероятно, эта физиологичность, реалистичность, земность и отсутствие озаренной транспарантности, просвеченности и создавали то странное впечатление, которое вызывало вопрос. «Чем же светится этот человек, как он светится?» Какая-то радиоактивная сила излучалась молчанием спокойной, большой и набок склоненной головы, осведомляющейся о таких простых конкретных явлениях жизни, внимательно вглядывающейся и вдруг вскидывающейся наверх молодцевато, бодро и не без вызова. Эта прекрасная голова выпускала из открытых губ струю голубоватого дыма.

А. А. производил впечатление пруда, в котором утаивалась большая, редко на поверхность всплывающая рыба, — не было никакой ряби, мыслей, играющих, как рыбки, и пускающих легкие брызги парадоксов и искристых сопоставлений, никакого кипения — гладь: ни одной теории, ни одной игриво сверкающей мысли. Он не казался умным, рассудочным умом: от этого он многим «умственникам» мог показаться непримечательным. Но чувствовался большой конкретный ум в «такте», в тоне всех жестов, неторопливых, редких, но метких. Вдруг поверхность этого пруда поднималась тяжелым всплеском взвинченной глубины, взвинченной быстрым движением

какой-то большой рыбины: большой, месяцами, быть может, годами вынашиваемой мысли.

Это-то и создавало в нем тон превосходства при его внутренней скромности. Он мог, слушая собеседника, согласиться, не согласиться, быстро взять назад свои слова или просто промолчать. Но эта легкость согласия или несогласия с чужим суждением происходила от бессознательной самозащиты, от желания поскорее отделаться от легкомысленной плоскости взятия мысли легкомысленным «да» или «нет», которые и не «да» и не «нет», ибо подлинный ответ блоковский — «да» или «нет» (большая глубинная рыба) — еще вынашивался, еще не сложился. И наоборот, что Блок знал твердо, что у него было готово, выношено, проведено сквозь строй его *существа*, — это он или таил, или если высказывал, то высказывал в повелительной, утвердительной форме (внешне — с особой мягкостью, с присоединением осторожного «а может быть», «пожалуй», «я думаю»). Если вы тут начнете его убеждать, то он упрется, но опять мягко, с максимальной деликатностью: «а я все-таки думаю», «нет, знаешь, пожалуй, это не так». И с этого «знаешь», «пожалуй», «не так» не сдвинет его никакая сила. Все это я пережил при первом, весьма кратковременном, визитном свидании с А. А. Все это было лейтмотивом наших будущих отношений и встреч. Я почувствовал инстинктивно важность, ответственность и серьезность этой встречи. Серьезность отдалась во мне как своего рода тяжесть, как своего рода грусть, сходная с разочарованием. Так ощущаем мы особую, ни с чем не сравнимую грусть перед важными часами жизни, когда мы говорим: «Да будет воля *Твоя*», — так слышим мы поступь судьбы, независимо от того, несется ли к нам радость или горе. «Блок», восемнадцатилетнее личное знакомство с ним есть важный час моей жизни, есть одна из важных вариаций тем моей судьбы, есть нечаянная большая радость, и, как всякая большая радость, она не радость, а что-то, для чего у нас нет на языке слов, но что включает в себе много горечи.

Все это прозвучало мне издали в первую встречу и в первый миг в передней. Отсюда впечатление грусти и тяжести, отсюда отражение этой тяжести как разочарования: нет, тут не отделаешься, тут испытуется душа, тут или все, или ничего. Помнится, как ни интересовался

я Л. Д., но в это первое наше свидание она промелькнула где-то вдали: А. А. занимал все мое внимание.

Светский «визит» продолжался недолго. Супруги Блок с тою же непроизвольной «визитностью» распростились. Мы решили встретиться в тот же день у С. М. Соловьева. Мне запомнились морозный солнечный январь, взволнованность, грусть. Не знаю, почему захотелось поделиться впечатлением от встречи с Блоком с очень мне близким А. С. Петровским, поклонником его поэзии; я зашел к нему, мы с ним куда-то пошли; помню Никитский бульвар и мое неумение выразить смутное и значительное впечатление от встречи с А. А., смутное до того, что мне стало даже смешно. Я вдруг рассмеялся и развел руками: «Да знаете — вот уж неожиданным оказался Блок». И, в стиле наших тогдашних шалостей определять знакомых и даже незнакомых (прохожих, например) первой попавшейся ассоциацией, совершенно далекой и парадоксальной, всегда карикатурной, всегда гротеск (таков был наш «стиль»), я прибавил: «А знаете, на что похож Блок? Он похож на морковь». Что я этой нелепицей хотел сказать, не знаю. Может быть, продолговатое лицо А. А., показавшееся мне очень розовым, крепким и лучезарным, вызвало это шутливое сравнение: «На морковь или... на Гауптмана». А. С. весело рассмеялся. Мы продолжали шутить и каламбурить. Так я нарочно расшутил то важное и ответственное, что я почувствовал в А. А. Помнится, с Никитского я прошел на Поварскую, в квартиру, где жил С. М. Соловьев (тогда гимназист восьмого класса), и застал супругов Блок у него. Нам всем сразу полегчало — стало проще, теплее, сердечнее. От того ли, что в квартире С. М. не было никого из «взрослых», т. е. людей другого поколения, и создавался веселый, непринужденный приятельский тон бесед, от того ли, что С. М. был родственником Блоку, его знавшим давно, и одновременно моим большим другом, оттого ли, что стиль наших интересов ориентирован был вокруг Влад. Соловьева, созданный нами троими так, что мы образовали естественно какой-то треугольник с «оком», вспыхивающим между нами, с единственной, неповторимой темой Влад. Соловьева, с нашей темой о Ней, о Прекрасной Даме (Конкретной Теократии, в жаргоне С. М., «Жены, облеченной в Солнце» — в жаргоне моем). Да, вероятно, С. М., вызвавший к жизни наши отношения с А. А., был необходимым цементом,

спаявшим наши внешние отношения друг с другом. Кроме того, экспансивный, веселый темперамент С. М., всегда переходившего от серьезного тона к детской беззаботной шутке, под которой чувствовалось недетское молчание, облегчал нашу беседу. Где стоят два человека друг перед другом, внутренне близкие и извне далекие, там всегда чувствуется стесненность, что-то сходное со стыдом. Где появляется третий, одновременно знающий и по-внешнему этих обоих, там появляется нить общественности, братства, т. е. естественности, непринужденности, доверчивости. Мы боимся «замаскированных», но нам с ними весело, когда мы знаем, что под масками наши друзья.

Отсюда естественно, что в наших первых свиданиях с А. А. С. М. нас связывал и, будучи младшим, несколько доминировал, создавал тон и стиль наших бесед втроем, как бы деспотически правил кораблем нашего общения. Он был рулевым корабля, на который мы сели а который, казалось, должен был нас вывезти в новый свет, т. е. в соловьевскую «Будущность теократии», относительно которой у юного С. М. было настолько готовое и ясное представление в то время, что он мог вообразить себе будущее устройство России, — ряд общин, соответствовавших бывшим княжествам с внутренними советами посвященных в Тайны Ее, которой земное отражение (или женский Папа) являлось бы центральной фигурой этого теократического устройства. Но для этого нужно было свергнуть самодержавие, т. е. революция была необходима, как переход к царству свободы, к Ней, к Заре [52]. Перед революцией С. М. не останавливался и в шутливой форме высказывал предположение о том, что, кто знает, может быть и нам предстоит сыграть в этом деле немаловажную роль *.

Помнится мне, что в эту вторую встречу у С. М. я разглядел пристальнее А. А.: он чувствовал себя проще, уютнее, и проступало в нем то лукаво-детское, несколько юмористическое выражение, с которым он делал свои краткие замечания и подавал реплики, отчеканивая слова резким, медленным, несколько металлическим голосом. Юмор А. А. был чисто английский: он выговаривал с

---

* Но он это высказывал несколько позднее, в начале революционного движения, во время которого он ощутил себя внутренним эсером. (*Примеч. А. Белого.*)

совершенно серьезным лицом нечто, что вызывало шутливые ассоциации, и не улыбался, устремив свои большие бледно-голубые глаза перед собой. А между тем неуловимый жест его отношения к словам и тембр голоса подмывал на смех. Из нас троих — я шутить не умел. Мой стиль был стилем лирических излияний, но слушать шутки других было для меня наслаждением. С. М. Соловьев шутил по-«соловьевски», то есть в стиле шутливых стихов Влад. Соловьева. Это был шарж, гротеск, невероятность, вызывающая пресловутое «ха-ха-ха» — грохочущий хохот Влад. Соловьева. А. А. не был шутником, а тонким юмористом. Он сравнивал, не характеризовал, а отмечал черточки в человеке. Было что-то диккенсовское в этих отметках. Так, однажды впоследствии определил он в двух словах все наше сходство и разность: «А знаешь, Боря, ты мот, а я кутила». Этим он хотел сказать, что я легко истрачивался словами, исходил словами, проматывал в них свое душевное содержание. А он кутила — т. е. он способен был отдать самую свою жизнь неожиданно налетевшему моменту стихийности. Этим он отметил свой максимализм и мой минимализм. Недаром мама мне раз сказала: «А должно быть, А. А. большой шутник — когда он говорит, мне всегда хочется смеяться». Он говорил серьезно, жестом, движением папиросы, плечами, легко склоненной головой отмечая юмор. Помнится, поразило меня и чисто грамматическое построение его фраз: они были коротки, эпиграмматичны, тая темный смысл под слишком четким и ясным построением. Между прочим, поразило меня, что А. А. употреблял в речи «чтобы» и там, где его можно было бы пропустить. Например, все говорят — «иду купить», а А. А. говорил: *«иду, чтобы купить себе»...* А. А. в разговоре не очень двигался, он больше сидел в кресле, не развалясь, а сохраняя свою естественную статность и выправку, не двигая руками и ногами, изредка склоняя или откидывая свою кудрявую голову, медленно крутя папиросу или отряхивая пепел, изредка меняя положение ног. (С. М. Соловьев и я — мы много жестикулировали). Иногда лишь, взволнованный разговором, он вставал, переминаясь как-то по-детски, или тихим, мерным шагом пройдясь по комнате чуть-чуть с перевальцем, открывая на собеседника свои большие глаза, как голубые фонари, и, глядя на него с доверчивой детскостью, делал какое-нибудь дружеское призна-

ние или открывал портсигар и молча предлагал папиросу. Все его движения были проникнуты врожденной вежливостью и уважением к собеседнику: если тот говорил перед ним стоя, то А. А. непроизвольно вставал с кресла и слушал его стоя же, наклонив голову набок или уставившись глазами себе в носки, терпеливо ожидая, пока собеседник не догадается и не сядет. Этой вежливостью он естественно умерял порывы московских «аргонавтов», очень пылких, подчас размахивающих руками и забывающих кстати и не кстати о пространстве и времени. Поэтому некоторым он мог показаться холодным, — он, который весь был внутренний мятеж.

У С. М. Соловьева, при втором нашем свидании, и мне было уютно и весело с А. А. и Л. Д. Что-то простое и приятельское водворилось между нами: мы говорили о «Весах», первый номер которых должен был выйти со дня на день, об инциденте между «Грифом» и «Скорпионом», о З. Н. Гиппиус, с которой я дружил в ту эпоху, к которой А. А. относился с сдержанной и благожелательной объективностью, т. е. двойственно, в конце концов сочувственно, но с чуть-чуть добродушной улыбкой, признавая ее необыкновенность, даже личную (отнюдь не писательскую) гениальность. Л. Д. и С. М. относились к З. Н. Гиппиус — первая отрицательно, второй — резко отрицательно.

И у нас возник спор, где я был? На стороне А. А., или, вернее, он был на моей стороне.

Л. Д. говорила мало: в нашей триаде, в узоре наших взаимных отношений она была гармонизирующим фоном. Она аккомпанировала понимающим молчанием нашим словам и подводила как бы итог всему тому, что происходило между нами. Она была как бы носительницей того целого, что объединяло дружбою нас троих в эти далекие, незабвенные годы. Когда кто-то из нас, в этом первом свидании вчетвером, спросил ее о каком-то важном вопросе, она замахала руками и с шутливым добродушием рассмеялась: «Я говорить не умею, я слушаю...» Но это слушание ее всегда было активным. В сущности, она держалась как «старшая», немного сестра, немного инспектриса, умеющая, где нужно, взять нас в ежовые рукавицы.

Впоследствии А. А. написал стихотворение, в котором описываются друзья, возвращающиеся с прогулки, в котором строгая сестра каждому говорит: «будь весел»

(«Скажет каждому: «Будь весел») [53]. Помню ее в красном домашнем капоте, сидящую у морозного окна, за которым розовели закатные снега: она действительно выглядела доброй и чуткой сестрой нашего дружеского молодого коллектива, как бы самой судьбой складывающейся духовной коммуны. Весь этот стиль наших взаимных отношений сразу определился в первый вечер у С. М. По-моему, мы расстались просто и дружески. Впечатление «стесненности» между мной и А. А. рассеялось (оно возникало опять и опять, когда мы оставались вдвоем с А. А., до самого 1905 года).

Остановились Блоки в пустующей квартире Марконет, в доме В. Ф. Марконета, учителя истории Первой гимназии, свойственника С. М. Соловьева, милейшего староколенного человека, не понимающего «новых веяний», смеющегося над декадентами и иронизирующего над моей поэзией, при личных прекрасных отношениях. А. А. Блока неожиданно он каким-то нутряным чутьем понял вплоть до любви к его стихам. Я думаю, что пребывание А. А. в его доме (он часто навещал Блоков в их квартире) необыкновенно расположило его добрую душу к А. А. вплоть до приятия его поэзии. Помню, несколько лет спустя, он с восторгом вспоминал о времени, когда Блоки гостили в его доме, и всегда спрашивал: «Что Блоки? Как? Ах, какая прекрасная, гармоническая пара!» Об А. А., помню, он рассказывал мне с необыкновенной теплотою: «А вот Саша Блок (он называл А. А. Сашей) — это поэт. Что?» — поднимал он на меня свои безбровые брови. («Что» прибавлял он почти к каждому слову.) «Что? Поэт до мозга костей: стоит с ним провести несколько дней, как сейчас же узнаешь — это вот поэт. Что?.. Бывало, выйдем мы на улицу, а он уж голову кверху поднимает и в один миг отметит, какое небо, какая заря, какие оттенки на тучах, какие тени — весенние ли или зимние... Что?.. Все, все заметит: ни одна мелочь на улице не ускользнет: все запомнит... Не надо его и читать... Сразу видно, что действительный, настоящий поэт... Что?.. Только поэты могут так понимать природу... Что?» Пребывание А. А. в марконетовском доме видимо оставило неизгладимый след в чуткой душе В. Ф. Всякая встреча наша с ним на протяжении десяти лет (очень часто на улице) начиналась одними и теми же стереотипными фразами: «А, как вы? Что Сережа? Какую дикость написал Брю-

сов... Ну — как Блоки?», — и лицо его все прояснялось, и начинался разговор о том, какая они пара и какой «Саша» поэт: «Что?» И мы прощались до следующей встречи, до, слово в слово, повторявшегося диалога.

А. А. того времени внушал какую-то особую нежность людям старого поколения. В то время как «отцы» скептически пожимали плечами при имени А. А., почтенные древние старушки из стародворянских семейств, сохранившие остаток энциклопедического воспитания, чуть ли не с первых десятилетий истекшего века (это поколение уже вымерло), часто с особою нежностью относились к А. А. Может быть, они воспринимали его сквозь призму для них еще близкого Жуковского, связанного с их молодостью. Так, например, к А. А. относилась покойная С. Г. Карелина, дочь известного русского путешественника, общего прадеда С. М. Соловьева и А. А. со стороны их матерей. «Видела Блоков... Была у них в Шахматове... Ах, какая пара!.. Что им делается! Здоровы, молоды: цветут... Саша написал прекрасные стихи», — бывало, рассказывает она, приезжая из Шахматова в Дедово, где мы с С. М. Соловьевым проживали вместе лето 1905—1906 годов.

Помнится, в 1905 году я встретился с почтенным, образованным старообрядцем, миллионером и собирателем икон, который объявил мне, что в России есть единственный гениальный поэт — Александр Блок *. Его пленяла особая религиозная атмосфера его стихов того периода.

А. А., отойдя от этого своего периода очень далеко, не далее как во второй половине 1920 года сделал одному дружественному к нему лицу необыкновенно важное признание: он признался, что «Стихи о Прекрасной Даме» не принадлежат лично ему, что он считает многое в этих стихах открывшимся ему непосредственно и что он лишь проводник какой-то духовной интуиции, потом ему закрытой, что он не понимает, как многие могут понимать его стихи, что истинное ядро их не может быть понятно [54]. (Думаю, вряд ли оно было до конца понято и А. А., как и нам, его комментаторам...) Признание это характерно для А. А. эпохи «Двенадцати».

---

* Тогда вышла лишь книга его «Стихов о Прекрасной Даме». При ближайшем разговоре выяснилось, что старообрядец ценил поэзию Блока с сектантски-религиозной точки зрения (он был одним из двигателей какого-то крупного старообрядческого толка). (*Примеч. А. Белого.*)

Оно бросает совсем иной рельеф на его душевный мир последнего времени. Признание это лишь подчеркивает физиологичность для него факта зорь. Это-то и делало А. А., с самого начала его поэтической деятельности, поэтом, не вмещающимся в партии того времени, и группировавшим вокруг его музы избранный кружок самых разнообразных людей (мы, молодежь, декаденты, сектантка А. Н. Шмидт, почтенный старообрядец, староколенный домовладелец и вечный член дворянского клуба В. Ф. Марконет, старушка С. Г. Карелина и др.). Это — необыкновенность его стихотворений, особая острота ни у кого но бывших переживаний, подымающая как бы волну озаренного розово-золотого, душевно-духовного воздуха. Этим воздухом он и был пропитан, когда мы встречались с ним в 1904—1905 годах. Это был кусочек того особого мира, как бы солнечный загар (а не внешняя лишь озаренность), который ложился опять-таки как бы физиологически на него и на темы, связанные с его поэзией, — темы уже погасающие, Видение, уже отходящее; но Видение, бывшее ему, он носил в себе, в своем сердце: и это сердце еще посылало порою ему эти, не ему принадлежащие лучи. Отсюда «загар», т. е. не то духовная опаленность, не то лучезарность, о которой я говорил выше. Но он сознательно не присутствовал при этом, он, вероятно, лишь констатировал, что его темы, строчки, его личное присутствие вызывает в людях какие-то неведомые волны, осознаваемые различно. Одни ощущали А. А. особенно связанным с темою лирики, другие ощущали его «рыцарем», иные каким-то самопосвященным мистиком, третьи испытывали просто чувство необыкновенной симпатии к нему, этому Фаусту, Парсифалю, Мужу-ребенку, скептику Сведенборгу, Аполлону-Дионису. В одних поднимались дионистские волны, другие слышали воздух радений и хлыстовства вокруг его тем, третьи ощущали волну розово-золотой атмосферы, действенного соловьевства, о которой я говорил выше. Наконец, были и такие, которые считали его специально опасным и мистически подозрительным с ортодоксально-христианской точки зрения. Все это было в высшей степени чуждо декадентским кружкам «Скорпиона» и «Грифа», которые брали его лишь как поэта, т. е. мастера слагать строчки, и не понимали иного, более глубокого отношения к антропософской проблеме, которой он был бессознательным носителем в то время.

Отсюда родилась легенда о средневековой стилизации, отсюда же балаганное восприятие темы «Прекрасной Дамы» со стороны тех, кто давал А. А. приют как поэту в их «новых» литературных органах *.

Нов был А. Л. Блок, начиная с поэзии и кончая личностью. Кто близко не встречался с ним до 1905 года, тот не имеет представления о Блоке по существу. Блок 1905—1907 годов большой, большой человек. Блок 1908—1912 годов опять-таки большой Блок. Блок последнего периода опять-таки новый. Но Блок 1904 года — Блок незабвенный, неповторяемый, правда, присутствующий всегда в других «Блоках», но как бы выглядывающий из-за них, как из-за складок тяжелой, прекрасной, то зелено-фиолетовой, то серо-пурпурной, то желто-черной мантии бархата (желтые закаты III тома). Мне удалось застать Блока еще не в этих тонах, а в налете, подобном загару, розово-золотого воздуха, сохранившегося на нем, как живое воспоминание духовных событий 1900—1901 годов (пожалуй, и 1902 года). И этот Блок — неповторимый, единственный. Я помню несколько наших бесед втроем в присутствии нам молча аккомпанирующей Л. Д., бесед, переходивших в язык. полутеней, полуслов, поднимавших присутствовавшее между нами молчание. Помню розово-золотой воздух, как атмосферу, фимиам тишины, поднимающийся между нами троими: будто вспыхивало «Око» треугольника и, выражаясь словами Влад. Соловьева, «Поднималась молча Тайна роковая» [55] — т. е. тайна нашего, нас бессловесно связующего, физиологического почти знания, что Она, эпоха Третьего Завета, идет и что камня на камне не останется от внутренне себя изжившей старой культуры «сократиков». Серьезное и глубокое, не прочитанное нами и по сию пору, смешивалось как-то непроизвольно с нашей молодостью, во многом ребячливостью (нам с А. А. было по двадцать три года, но душой мы были старше и моложе наших лет; Л. Д. был двадцать один год, а С. М. Соловьев был еще восемнадцатилетний юноша). И понятно: мы были мечтателями «по-глупому»,

* Уже старых, т. е. не соответствующих духу эпохи. «Весы», «Мир искусства» и «Новый путь» были бы подлинно революционными новыми журналами, если бы время их появления на свет было не 1899—1903 и 1904 годы, а примерно 1882—1885 годы, когда Врубель уже создавал эпоху подлинно новую демонической философией своего стиля и красок. (*Примеч. А. Белого.*)

Казалось: проблема мистерии и гармонизации человеческих отношений уже подошла и вот-вот прямо в руки дается, что голубиные крылья спускаются, и вот Голубь Жизни Глубинной сам сядет к нам в руки. С. М. Соловьеву мечтались громовые горизонты последней блистательной эры и роль России в н е й, — даже более того — наша роль в ней. (Писал же Мережковский незадолго перед этим: «Или мы, или никто».) Мне мечталась тихая праведная жизнь нас всех вместе, чуть ли не где-то в лесах или на берегу Светлояра, ожидающих восстания Китежа (или Грааля)[56]. И однажды, в квартире Марконет, у меня сорвалась подобная фраза: «Ах, как бы хорошо там зажить нам вместе». И казалось, что нет в этом ничего невозможного, — да и не было ничего невозможного: ведь ушел же Добролюбов, ушел к Добролюбову светский студент Л. Д. Семенов через два с лишком года после этого, ушел сам Лев Толстой, пришел оттуда, из молитвенных чащ и моленен севера, к нам сюда Николай Клюев, наконец я сам уходил (не на Восток, правда, а на Запад) уже в 1912 году[57], ища не старцев, не Китежа, а, может быть, рыцаря Грааля... Не удивительно, что на заре «символизма», на заре нашей культурной жизни, нам казалось, что уйти всем вместе из старого мира и легко и просто, потому что Новый Мир идет навстречу к нам. Помнится, как в поздний час синей лунной январской ночи ясные лучи озаряли затемненные комнаты старой квартиры Марконет, и лежали лунные косяки на полу. Л. Д. сидела у окна и ласково молчала в ответ на наши утопии. Молчал и А. А. Блок, но с невыразимой, мягкой, ему одному свойственной в те минуты, нежностью, одновременно строгий и снисходительный, с доверчиво выжидательным видом, весь слух и зрение, направленные на понимание ритма наших разговоров: и целое, атмосфера, розово-золотой воздух — веял, веял же, реально, конкретно, не с горизонта, а из наших душ, от сердца к сердцу!

Естественно, что речи, сидение вместе и тихое молчание о Главном за чайным столом — все это носило характер особого непроизвольного эзотеризма, не могущего быть понятым «непосвященными». У нас был свой жаргон, свои слова, стиль говорить о виденном, о подслушанном вместе. Нет, в эти минуты мы не были «мистиками» из «Балаганчика». Я, по крайней мере, до сего времени не считаю себя «мистиком» в то время, а бессознатель-

ным антропософом, т. е. тем, кто не в «мистике» чувств, а в «духовном знании» ищет соединения головы и сердца. Думаю, что «мистиком» не был С. М. Соловьев, ни А. А. Блок, когда писал:

Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь.

Но «мистики» были в Москве. Они водились и среди «аргонавтов», и о них я писал уже в 1906 году в «Весах». «Мистиков» было особенно много в эпоху «мистического анархизма», который одно время так возненавидели мы с С. М. Соловьевым (в 1907—1908 г.).

Сами же мы набрасывали покров шуток над нашей заветной зарей, как «Аполлонов ковер» над бездной, как покрывало на лик Новой Богини, Культуры, и начинали подчас дурачиться и шутить о том, какими мы казались бы «непосвященным» людям и какие софизмы и парадоксы вытекли бы, если бы утрировать в преувеличенных схемах то, что не облекаемо словом, т. е. мы видели «Арлекинаду» самих себя. И С. М. с бесконечным остроумием разыгрывал пародию на нас же самих в утрированном виде. Он то устраивал мистерии в стиле «ночной тишины» Кузьмы Пруткова, то называл нас сектой «блоковцев», то выдумывал историка религиозной культуры из XXII века, француза Lapan, на основании стихов Блока, деятельности А. Н. Шмидт, сочинений Влад. Соловьева решавшего вопрос, существовала ли секта «блоковцев», и умаривал нас со смеху, изображая филологический спор ученых будущего о том, была ли «София» идеологии В. С. Соловьева ни чем иным, как С. П., с которой покойный философ дружил, или, наоборот, С. П.-де криптограмма вроде христианской рыбы, — прочитываем: С. П. Х. — «София Премудрость Христова». Но тут появлялся другой комментатор, доказывавший, что С. П. прочитывали: «София Петровна» в аллегорическом смысле, как София, Церковь III Завета, возникшая на Петре, Камне[58], или исторической церкви, и т. п. В этих шутках пародировалась теория солнечного мифа. Доставалось всем: А. А., мне, С. М. Соловьеву и даже Л. Д., ибо, в противоположность солярной теории истолкования соловьевства французом Lapan из XXII столетия, возникала геологическая теория истолкования, «блокизма» каким-нибудь «Pampan», который имя супруги поэта Л. Д. тоже истолковывал терминами ранней мифи-

логии: «Любовь» — как конкретное отображение земной Софии, и потому «Дмитриевна», т. е. испорченное «Деметровна» (Дочь Деметры). Л. Д. весело отмахивалась от этих гротесков. А. А. с веселым удовольствием выслушивал шутки — не любо, и не слушай, а врать не мешай. Это были послеобеденные часы в Шахматове, где мы одно время все вместе проводили время [59].

Но и в 1904 году, в Москве, С. М. Соловьев каламбурил, хотя он переживал максимум своего увлечения левым соловьевством и действительно пытался строить догматы этого нового, скорее не учения, а религии, врезаясь неудержимой стремительностью в гущу неразрешимейших религиозно-философских проблем, которые не грезились ни «Новому пути», ни А. Н. Шмидт (А. Н. Шмидт — автор «Третьего Завета» и «Исповеди»), и несколько смущал этим Блока. Между тем он переживал максимум доверия к А. А. не как к другу, брату и родственнику, но как к тому, кто волею судеб призван быть герольдом, оповещающим шествие в мир нашей религиозной революции (третьей, духовной, а не только политической или социальной).

В ту пору помню его с развевающимися волосами, в коротком сюртуке, с болтающимся белым галстуком, осыпающим меня градом своих стремительных наблюдений и мыслей. Между прочим, он меня увлек своим тогдашним настроением и заставил нас вместе сняться за столом перед поставленным портретом В. Соловьева, подле которого лежала Библия [60].

Если бы «староколенные люди», нас окружающие, подозревали о той горячке, которая нас охватывала порой, то они сказали бы: «Сумасшедшие, видите — мы говорили!» Но если бы декадентские и модернистические круги подглядели нас в наших чаяниях, они сказали бы то же, что и сократики: «сумасшедшие». А наиболее левые из них написали бы, конечно, статью о необходимости создания театра новых и с к а н и й, — о театре-храме, что фатально случилось через два года [61]. Помню мое негодование на «символический» театр того времени.

По-моему, наши переживания этого года были прекрасны, чисты, глубоки. То слишком юное и немного смешное, что им сопутствовало, есть мешковатость отроков, которым выпала задача расти в мужество; и Гете с ломающимся голосом, вероятно, был смешнее Гете-ребенка, но неужели же мы променяем Гете-бебе на авто-

ра «Фауста» и «световой теории»? А «световая теория» наших зорь — все еще впереди, нами не разрешенная, но не угасшая, а лишь временно затуманенная дымом переходного времени. Она возникла, если не в детях, то в сознании внуков, и признание А. А. Блока в 1920 году, по поводу «Стихов о Прекрасной Даме» — мужественно подтверждает это.

А. А., тихий, светский и сдержанно ласковый, возбуждал целые вихри сочувствий в дионисической среде молодых «аргонавтов». И кроме того: возбуждал чисто литературный интерес и любопытство в эстетических кругах Москвы в то свое появление. Одна дама (бальмонтистка) мне о нем говорила: «Блок, он такой нежный, лепестковый, что-то в нем есть от розовых лепестков». Другие, менее «изысканные», говорили проще и лучше: «Александр Александрович, — он хороший, хороший...» В А. А., обращенном к литераторам и поэтам в более узком, техническом смысле, было много светского достоинства: он держался любезно, непринужденно, но гордо и независимо. С свободным достоинством, с высоко поднятою головой, стоял он перед теми, которые, считая себя принцами Гамлетами поэзии, ждали, может быть жаждали, в нем увидеть по отношению к себе хотя бы один придворный жест Гильденштерна и Розенкранца[62]. К сожалению, новое направление в искусстве не было свободно от старых привычек: лести и поклонения, увы, не невыгодных для карьеры многих. Новые литературные «боги» порою сбивались с «божественного» лада на лад «губернаторский» (в «боге» вспыхивал «мэтр» или губернатор литературной провинции). А. А. задал свой собственный независимый тон, который был «дипломатически» усвоен и принят там, где он не усваивался по отношению к «Розенкранцам и Гильденштернам». А. А. сам в этих кругах выглядел если не Гамлетом, то Фаустом. И уехал из Москвы, окруженный ореолом любви и всеобщего уважения.

С теми же, кто был с ним прост, он был непосредственно прост.

Я останавливаюсь на некоторых чертах литературной жизни Москвы потому, что в московской декадентской среде, независимо от индивидуально высококультурных людей, социальная среда складывалась по линии интересов крупного купечества к новой литературе. Миллионер неизбежно входил, входил сам, в литературный салон,

входил осторожно, с конфузом, а выходил... уверенно и без всякого конфуза. И создавался подчас неприятный, случайный привкус во многих подлинных устремлениях и вкусах. (Этой специфичности в Петербурге я не наблюдал.)

Вскоре же по своем приезде в Москву А. А. был у меня на воскресенье, где большинство «аргонавтов» собрались его встретить. Из лиц, присутствовавших у меня в тот вечер, были: Л. Л. и С. Л. Кобылинские, М. А. Эртель, К. Д. Бальмонт, С. М. Соловьев, В. В. Владимиров с сестрами, теософ П. Н. Батюшков, А. С. Челищев (музыкант), С. А. Соколов, Нина Петровская, покойный Поярков, всегда случайный И. А. Кистяковский с женой, тоже случайный И. А. Каблуков, А. С. Петровский, А. В. Часовникова (урожденная Танеева), К. П. Христофорова, Сильверсван, несколько поэтов из «Грифа» и «Скорпиона», кто — не помню. Кажется, не было Брюсова, с которым в то время тянулись у нас нелады, вследствие нашего отхождения в сторону «Грифа», а может быть, Брюсов был — не знаю точно[63]. Преобладали «аргонавты», которые окружили А. А. манифестационным пылом и желанием усадить А. А. поскорее на «Арго», чтобы плыть на поиски «золотого руна». Было, помнится, хаотично, нестройно, оттого ли, что именно в это воскресенье появились у нас несколько случайных людей и случайно не было нескольких неслучайных, или мне, которому хотелось бы больше ритма и интимности, было так тесно в этом шуме и гуле, что порой начинало казаться: «Все кричали у круглых столов, беспокойно меняя место...»[64]

С А. А. я мало был в тот вечер, потому что он был занят разговорами и ознакомлением с новыми для него московскими поклонниками. Помнится, мы зачитали стихи: Бальмонт, он, я и еще кто-то. Бальмонт, с непобедимым видом, вынул свою книжечку (он всегда ходил с записною книжкой, куда набрасывал новые стихи) и стал выбрасывать свои строчки, как перчатки. После читал А. А. Блок; меня поразила манера его чтения и даже сперва не понравилась: мне показалось, что он читает немузыкально, роняя певучую музыку собственного анапеста, — все тем же трезвым и деловым тоном, с каким он произносил свои внешние, слишком грамматично построенные фразы («я пришел, чтобы купить» — вместо: «я пришел купить»). Читал А. А. несколько в нос,

медленно, просто, громко, но придушенным голосом, иногда глотая окончания рифм. Думаю, что характер некоторых из его рифм, например — «границ — царицу», обусловлен тем, что в их произношении А. А. не отчетливо слышалась разница между «ц» и «цу», «ый» и «ы», и разница в окончании слов «обманом» и «туманные» сошла бы за рифму в произношении А. А. В чтении А. А. не чувствовалось повышения и понижения голоса, не чувствовалось разницы пауз: точно кто-то, медленно, глухо, весь закованный в латы, начинал тяжело ступать по полу. Лицо его делалось при чтении соответствующим голосу: оно окаменевало и становилось строже, худее, очерченное тенями. Лишь потом я оценил своеобразную прелесть этого чтения, где ритм стиха, окованный метром голоса, получает особую, сдержанную, аполлиническую упругость[65]. Бальмонт, читая стихи, как бы приговаривает при этом: «Вот же вам, вот же вам, — берите, ругайте или боготворите, — мне все равно, разумеется, вы боготворите, но я к этому привык». Брюсов чтением как бы подает каждую строчку на стол, как отлично сервированное жестом интонации блюдо. Читал в те годы он клокочущим голосом, хрипло-гортанным, переходящим в странное воркование с выговором, не различающим «т» от «к» (например — *математити,* вместо — математики). Я в те годы непроизвольно пел свои стихи, сбиваясь на цыганский романс, с длительными паузами, повышениями и понижениями голоса. А. А. шел по строчкам поступью командора, как бы приговаривая: «Да, да, да... все это есть, есть, есть... что написано, то написано, а я не знаю, что это». Помню, как удивило меня его чтение. К концу вечера мы разбились: часть гостей, посолиднее, осталась в столовой, где К. Д. Бальмонт читал еще ряд своих стихотворений, а мы, молодежь, ушли в мой кабинет, где выражали свою любовь и восхищение перед стихами А. А. Это восхищение было неподдельное. Некоторые из собравшихся два года уже знали и ценили его поэзию в ее доисторическую эпоху.

Помнится, А. А. в этот вечер ближе сошелся с А. С. Петровским, В. В. Владимировым и Эллисом, к которому скоро он стал относиться двойственно, с некоторой опаской, инстинктивно чувствуя в нем совершенно иной стиль и такое же отношение к себе, что впоследствии и обнаружилось. С К. Д. Бальмонтом, насколько помню, у А. А. ничего не вышло: они прошли мимо

друг друга в ту пору, К. Д. Бальмонт с ему свойственным надменством испанского гранда, А. А. с холодной независимостью. Кажется, А. А. не понравился Бальмонту в этот вечер [66].

В эти числа мы все собрались в годовщину смерти супругов Соловьевых в Новодевичьем монастыре и отстояли обедню в розовом монастырском соборе *. Пел хор молодых монахинь. Я невольно вспоминал и свои чаяния девятьсот первого года, и те настроения от монастыря, которые отразились в моей «Симфонии», и Влад. Соловьева, могилу которого мы посетили в этот день, и «Предчувствую Тебя...», — то, что для А. А. было шахматовскими зорями, для меня было зарей за монастырем. И вот, быть с А. А. в «моем» месте было для меня высшей радостью: мы встречались тут в «моем», как в скором времени встретились в «мире зорь» А. А., в Шахматове. Эти минуты в монастыре с А. А. запомнились мне (как посвящение мной А. А. в мое заревое прошлое). Был, если память мне не изменяет, мягкий, матовый январский денек. Снежило. После мы с А. А., Л. Д. и Эллисом почему-то попали на квартиру В. С. Поповой (урожд. Соловьевой) и пили вино. Разговор перешел от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Эллис, исступленный и бледный, с лицом, налезающим на А. А., с кровавыми губами и нестерпимо блестящими зеленоватыми глазками, одной рукой схватывал его за сюртук, а другой размахивал и крутил свои усики и бородку, обдавая А. А. потоком своих мыслей об «Арго», о Брюсове, Бодлере и, кажется, Данте.

Сухость и страстность, неутоленный блеск мыслей и вместе с тем фанатическая стремительность всех эллисовских парадоксов, всегда красивых, но каких-то средневековых... Эллис желал спаять Данте, Бодлера, Савонаролу. Весь он двоился в двух линиях культуры: католичество, чуть ли не иезуитизм — одна линия его тогдашней мысли; кошмары в духе Брегеля, Босха, переплетаемые с химерами Notre-Dame, Эдгара По и Бодлера — другая его линия. В пересечении, в схватке этих, одинаково А. А. чуждых, линий был весь Эллис. Его символизм

* Впоследствии этот собор неудачно перекрасили в белый цвет, но для меня он остается тем же, розовым. Золотые закаты мая девятьсот первого года и розовый этот собор сливаются в моем представлении в розово-золотую атмосферу наших чаяний. (*Примеч. А. Белого.*)

начинался отсюда, а Золотое руно было лишь далекой утопией, для которой и был построен Эллисом «Арго». Все это выступало особенно неуместно, настойчиво в разговоре с А. А., и хотя все это было прикрыто пафосом и форсированным боевым оптимизмом, но все это было А. А. одинаково чуждо: и взвинченная манифестация символа, и скрытая иод ним бескровная черствость, схоластика католического монаха (Эллис принял впоследствии монашество), и чувственность казней и пыток, которыми угрожал Эллис того времени врагам «аргонавтического движения», т. е. главным образом Брюсову, которого верным Ричардом он стал через три года. Мне запомнились в этой квартире у В. С. Поповой почему-то А. А. и Эллис: лихорадочно-холодный Эллис со своими красными губами и зеленовато-мертвенным лицом и жизненный, медленный, корректный А. А. с загаром лучезарности, — так они не походили друг на друга. И А. А. сидел измученный разговорами, слегка позеленевший, с синевой под глазами, с вытянутым от выступивших на лице теней носом. Эллис же — обычно рассеянный, чуть не обрызгивал А. А. слюной, не замечая, что так заставляет страдать его и вдвойне меня: за А. А. и за Эллиса, которого я знал близко и очень любил, вопреки его выявлениям, в единственной, ослепительной, математической почти точке души, которая выявлялась в нем лишь бешеной верностью тому, чему он в настоящую минуту поклонялся. Я останавливаюсь на Эллисе и А. А. потому, что это была встреча подлинно замечательных людей. А. А. был замечателен и во внешнем, Эллис же, плохой поэт, посредственный публицист, главным образом агитатор течения; но под этой несносной, Эллиса роняющей, назойливой агитационной личиной таилась душа глубочайшей загадочности и оригинальности: оригинален хотя бы тот путь, который он нарисовал с 1898 до 1916 года, когда в последний раз вести о нем дошли до меня: от ученого марксизма, через бодлеризм, к символизму, и от последнего, через антропософию, к католицизму самого иезуитского пошиба. Будучи марксистом, еще в девятьсотом году пишущий диссертацию о Канкрине, символист в девятьсот четвертом году, поклонник Бодлера и Данте, «брюсианец» в девятьсот седьмом году, штейнерианец в одиннадцатом и двенадцатом годах и, наконец, почитатель Игнатия Лойолы, обстреливающий меня письмами в четырнадцатом году, где св. к. (святой

костер инквизиции) склонялся во всех падежах. Все в нем А. А. наносило боль, и он всегда необыкновенно уставал от Эллиса. Эту боль в А. А. я ощущал неоднократно, и это и было в нем выражением нетерпимости от сознания дисгармонии, разрыва и фальши при столкновении душ, разнотонно настроенных. А. А. не выносил аритмии душевных движений. При первых звуках фальши он съеживался, как мимоза, и у него всегда появлялось то выражение мешковатой смущенности и искусственно натянутой улыбки на дрожащих губах, которое являлось от усилия себя перемочь. Если нескладица росла, он уже не улыбался, а быстро тускнел, темнел, окаменевал: с него слетал тот загар лучезарности, которым он действовал так на нас; он дурнел и сидел весь в тенях, с обостренным носом и плотно сжатыми сухими губами (дефект сомовского портрета — неверно понятые губы), злой, молчаливый и странный. Тут я был терпеливее его, потому что я тоже очень страдал от каждой фальшивой ноты, и подчас днями, неделями, месяцами ходил точно с ободранной кожей, воспринимая окружающую меня действительность кончиками обнаженных нервов. Но я терпеливо перемогал нестроицы, именно бросаясь в нестроицу, стараясь в ней что-то изменить ценой утраты собственного ритма. Словом: он сжимался от нетерпения, я — разрывался от излишнего и часто ненужного терпения. Порой я взрывался, и тогда всегда выходили инциденты, довольно неожиданные для тех, кто не знал моей психологии (страданий от всяких «не то», «не так»). А. А. в ту пору определенно страдать не хотел, а я ставил себе уж проблему страдания и жертвы: через символ распятого Диониса я вплотную приближался к биографии Ницше. А. А. Ницше был далек — тут мы были в разном. Я был ближе к Эллису, понимая его проблему противоречия, как путь ко Кресту; в проблемах христианского сознания я был более логосичен, А. А. был более космичен и софиански настроен. Историческая проблема христианства была мне ближе; он и к истории подходил сквозь призму Третьего Завета новой революционной эпохи (его максимализм и мой минимализм). Оттого-то я всеми проблемами был более вдвинут в линию интересов Религиозно-философского общества (петербургского и назревающего московского), дружил с Рачинским и Мережковскими, представителями ортодоксального христианства и неохристианства, — для А. А.

все это было уже прошлое. Помнится: мы с А. С. Петровским возили А. А. и Л. Д. к епископу на покое, Антонию, проживающему в Донском монастыре *.

Помнится, свидание А. А. с епископом Антонием вышло столь тусклым, что я ничего не запомнил — ни одного слова Антония, ни одного слова А. А., — оба были весьма не в своих тарелках, весьма не в подлинном виде. Епископ Антоний не обратил на А. А. никакого особого внимания. А. А. сидел молчаливый, опять несколько страдающий, и вышло, что мы с А. С. его затащили насильно. Вообще у нас было посягательство на А. А., — мы его возили и показывали, а одновременно показывали ему то, что нас занимало в то время, но что, может быть, ему было чуждо. И тогда слышалась в нем эта боль сквозь доброту заранее принятого намерения позволить собой распоряжаться, молча оставаясь при своем мнении. Это «свое мнение» в вопросах, нас близко связующих, стало впервые мною переживаться со всей ясностью в Шахматове еще летом девятьсот четвертого года, вызывая между мною и им минуты неловкости, так что не всегда мы чувствовали желание остаться с глазу на глаз, предпочитая интимно дружеское общение en trois или en quatre **. Но меня в моей боли, отдающегося на растерзание тому, что определенно расстраивало, — он понял до дна, и нотою невыразимой нежности, активной и действующей, ответил он мне. Он умел меня попросту обласкать словами, всею манерой со мной держаться, успокоить и отходить от во мне назревающих вспышек и запальчивых взрывов. Тут он стал эмпирически нужен мне. И он это знал: охотно возился со мной заболевавшим себе самому поставленной проблемой: в душе моей стояло совершенно конкретное порывание прийти к мистерии, обряду, своего рода трапезе душ, и потому я себе самому выдвигал задачу, постоянно уводящую меня от пути художественного творчества в направлении к «мистерии»; «мистерия» подменилась хором «аргонавтов», «орхестрой», не имеющей ни общественности, т. е. широких слоев, вовлеченных в интересы, нас связывающие, ни подлинной церковности:

---

* О котором Л. Семенов в эпоху своего толстовства и ухождения в секту сказал непосредственно после своего свидания с Толстым: «Я не знаю, кто больше — Лев Толстой или этот епископ». (*Примеч. А. Белого.*)

** втроем или вчетвером (*фр.*).

«орхестра» разлагалась тем, что новое, нас соединяющее, было в каждом лишь искрой, а прошлое, ветхое, из которого каждый приподнимался к «Арго», перевешивало своим грузом грядущее, которое виделось ведь зарею.

Атмосфера разрывалась: что общего в самом деле было между нами, из каких разных сфер мы подошли друг к другу? Прошлое Эллиса — финансовое право, Маркс, одно время профессор Озеров и агитационная марксистская деятельность в студенческих кругах. Прошлое мое — студент-естественник из исконного профессорского круга; А. С. Петровский — сын редактора «Московских ведомостей», общавшийся некогда с А. А. Тихомировым, Говорухой-Отроком, впоследствии атеист, любивший К. Леонтьева, Страхова, Розанова; Э. К. Метнер — сначала славянофильствующий гётеанец, потом германофильствующий гётеанец же; С. М. Соловьев — «соловьевец» par excellence; * П. Н. Батюшков — теософ; М. А. Эртель — оставленный по истории при Герье, примкнувший с одного бока к нам; П. И. Астров — увлекающийся проповедью священника Петрова в девятьсот четвертом году, в то время судебный следователь и будущий мировой судья, затаскивающий порой на наши шумные юные заседания из городской думы своего брата Н. И. Астрова (будущего деникинского министра), который приходил, как он выражался, погреться в умственных разговорах после практической деятельности; В. П. Поливанов — поэт, шекспирист, недурно играющий, не то ницшеанец, не то байронист; В. В. Владимиров — художник, овеянный веяниями «русского стиля» и музыкой Римского-Корсакова; М. И. Сизов — не то поэт, не то аскет, студент-естественник, занимающийся физиологией и почитатель буддистского трактата; Н. И. Петровская — метущаяся туда и сюда; Г. А. Рачинский — советник губернского правления и бывший член редакционного комитета журнала «Вопросы философии и психологии»; Н. П. Киселев — бездна начитанности, знаток поэзии трубадуров и средневековья, трактатов по оккультизму, впоследствии почтенный музеевед, мечтающий о каталоге всех каталогов. Что было общего в нас? Мозаика профессий, устремлений, вкусов, однако, как-то уживалась вместе, но — в искре, в мгновении, в «неуловимом», чтобы тотчас же угаснуть, заваленной шумными разговорами. Нет, скорее,

* по преимуществу (*фр.*).

«аргонавтическое общение» было проходным двором, станцией, где мы зажигались общением, чтобы безвозвратно разойтись в будущем.

Действительно, как прошлое наше было различно, так различно оказалось и будущее: ныне Эллис — католик, чуть ли не иезуит, С. М. Соловьев — священник, побывавший в православии и в католичестве, А. С. Петровский, Сизов и я — антропософы, Э. К. Метнер — где-то профессорствует в Цюрихе, Эртель — ставший одно время чуть ли не оккультным учителем, ныне канул в Лету забвения. Эта разность прошлого и разность будущего мучительно чувствовались в девятьсот четвертом году, как назревающий диссонанс, разрывающий наши «аргонавтические» чаяния. И в этих диссонансах разрывался я, как Дионис, сошедший в этот хаос, чтобы извлечь из него музыкальный звук «мистерии», пытаясь подслушать в хоре противоречивых мнений совершенно новую проблему общественности, новую коммуну.

А. А. был глубоко чужд конкретностям моей тогдашней московской деятельности: быть сплотителем и организатором «аргонавтической» волны символизма. Он видел: все тут трещит по швам; он — понимал, что я это слышу и страдаю. С нежностью входил он во все мои московские устремления, не для них самих, а ради меня, которого уже к концу этого месяца он полюбил и почувствовал братом. Он видел мой разрыв между христианством и ницшеанством и понимал меня насквозь ради меня. Именно в ту пору в моей душе бывали горькие взрывы. Однажды он ответил мне на письмо и стихотворение, написанное вскоре после его пребывания в Москве, стихами:

> Так, я знал, и ты задул яркий факел, изнывая в дымной мгле...
> Молчаливому от муки шею крепко обниму...
>
> . . . .
>
> Неразлучно будем оба клятву Вечности нести;
> Поздно встретимся у гроба на серебряном пути...
> И тогда в гремящей сфере небывалого огня
> Светлый меч нам вскроет двери ослепительного дня.

Помнится мне характерный вечер в книгоиздательстве «Гриф», где особенно мучительно переживалась нестроица тогдашних московских собраний. Были: А. А., я, Эллис, Батюшков, Эртель, молодые «грифские» поэты, ка-

кие-то барышни в стиле «нуво». Произошел явный «балаганчик» от искусственности одних, смехотворного пафоса других, грубости и нечуткости третьих. Молодые декаденты желали подладиться к «мистикам», А. Блоку и А. Белому, теософы желали показать, что и они «декаденты», Эллис бил всех по голове Бодлером, и при этом ему казалось, что все с ним согласны. Батюшков и Эртель, впавши в мистический экстаз, к часу ночи, заявили: первый — что грядет новый учитель, а второй — что мы «теургией» расплавим мир, что в этом смысле вся Москва охвачена пламенем. Это было уже сценой из «Балаганчика».

Тогда некий присяжный поверенный, равно далекий от искусства, теософии и мистики, громким басом воскликнул, представляясь, что и он чем-то охвачен: «Господа, стол трясется...» *[67]

А. А., любезно светский, стал темнеть, каменеть. Я почувствовал свою обычную боль от того, что все «не так». Кроме того, мне было перед А. А. невыразимо стыдно за москвичей (каждый в отдельности был ведь и чуток, и тонок, а коллектив из каждого извлекал только фальшивые звуки). Было больно и потому, что А. А. имел двоякую атмосферу: атмосферу той тишины и глубины, из которой веял розовый воздух, и атмосферу жути, испуга и безнадежности, которая начинала действовать вокруг него, когда он темнел и каменел. В атмосфере, распространяемой им в такую минуту, казалось, что все, все, все светлое погибло без остатка, сгорело, провалилось в бездонную ночь. От этого мне делалось особенно больно. Наконец, я видел, что «Балаганчик» сердит Л. Д. и мучает Н. И. Петровскую, мучает ее лично, мучает ее и за А. А., и за меня. Так каждый из нас думал о другом, что он, другой, думает. Помню, что А. А. вдруг вышел из своей оцепененности и с необыкновенной, только ему свойственной мягкой жалостью и любовью посмотрел на Н. И. Петровскую и стал вдруг как-то активен. Так, когда мы предчувствуем горе, мы сумрачны, а когда оно разразится, то лучшим из нас не-

---

* Через семь месяцев в этой квартире начались сильные медиумические явления, и объявился спиритический кружок, в котором, если не ошибаюсь, приняли участие Н. И. Петровская, С. А. Соколов, А. А. Ланг, Компов, Ребиков, В. Я. Брюсов. Спириты были нам не интересны и казались просто нечистоплотными. (*Примеч. А. Белого.*)

когда горевать: они спешат пособить горю. А. А. некогда было, в этот вечер, отдаваться своей боли от нестроицы всего этого безобразного вечера. Он спешил помочь мне, действительно переживающему в этот вечер начало катастрофы всех былых чаяний о новой «орхестре», о новой коммуне братски настроенных душ. Помню, когда мы втроем вышли от «грифов» — А. А., Л. Д. и я (я провожал их до Спиридоновки), мы говорили о вечере: Л. Д. сердилась, а А. А. своими неуловимо нежными словами, короткими фразами, улыбкой, переходящей в грустно-юмористическую, буквально отходил меня. В этом внимании к моему миру, ему во многом чуждому, сказалось столько доброты, столько конкретной сердечности, наблюдательности, подлинного христианского братства, что, чем более вникаю, тем более склоняю голову перед ним. И как я был эгоистичен в то время: я видел лишь свои идеалы, чувствовал лишь свою боль. А. А. я любил, но из своего мира мыслей. Я видел его в «моем» и не видел его в «его» собственном мире, где были свои боли, свои тяготы и, быть может, гораздо более глубокие сомнения. О, да; в отношениях между нами двоими я был всегда эгоистом... Я приходил во второй половине московского месяца к Блокам чуть ли не каждый день, усаживался в кресла и жаловался на свои неудачи и разочарования, читал стихи, высказывал свои упования. А. А, молча посиживал рядом со мной, склонив свою кудрявую голову, отряхивая пепел своей папиросы и сопровождая меня всюду в орнаментах моего духовного мира: ну, конечно, он был старше, жизненно мудрее меня. Л. Д. посиживала у окна или наливала чаю. Так создался тогда своеобразный уют между нами троими. Странно, на темы, связанные с Прекрасной Дамой, мы вовсе не говорили в то время. Теократическая горячка, которую вносил в наше общение С. М. Соловьев, оборвалась с его болезнью (он заболел скарлатиной). Мы мало говорили и о литературе. Изумительно, что мы, оба любящие литературу, оба поэты, почти не говорили о поэтах, я даже не представлял себе ясно литературных вкусов А. А.

Мы говорили и о простом, близком, нашем, человеческом. И это простое, близкое и человеческое А. А. мне освещал своей глубинной мудростью: не мудростью теорий, вопросов философии, а мудростью простых жизненных слов, или мы говорили на общие, я бы сказал,

«вольфильские»[68] темы уже тогда, в те годы. Из всех наших разговоров о литературе мне запомнился лишь один: я удивлялся изысканности брюсовских рифм, удивлялся, что А. А. не придает рифмам того значения, которое придавали мы с С. М., что он менее нас увлекается Брюсовым, не считает С. М. Соловьева за поэта («Сережа, — говорил он, — совсем другое»). К Брюсову относился с особым юмором, соединявшим в себе скепсис с своего рода нежностью, — меня же он побранивал за начинающее проглядывать в моих стихах влияние Брюсова; характерно, что он всегда меня не одобрял в мой период увлечения Брюсовым. Характерны строчки из письма его мне: «Спасибо за стихи, книги, а главное, за любовь; в стихах лучшие строчки: «На руках и я носил золотые кольца»[69], а вообще сочинение, если не Валерия Яковлевича Брюсова, то по крайней мере Валерия Николаевича Бугаева. То же все время происходит со мной, и в еще большем размере, так что от моего имени остается разве, что окончание «ок» (Валерий Яковлевич Бр...ок). Я в отчаянии и усиленно надеюсь на исход из «асфальтовых существительных». Асфальтовыми существительными называл он характерные брюсовские рифмы: асфальте, базальте, жальте, которыми мы упивались. Так же, как к Брюсову, относился он вообще к декадентам; позитивисты — те его выводили из терпения: позитивистов и материалистов считал он вредными дураками.

В то время я только что познакомился с тремя юношами, из которых один, математик, бывший ученик моего отца, был глубоко погружен в религиозные проблемы, бывал у меня чаще других, — это был П. А. Флоренский, впоследствии священник. Другие двое — В. Ф. Эрн и В. П. Свенцицкий; все трое организовали религиозно-философский кружок, который вскоре открыл свои действия в университете, как секция истории религии при обществе имени Сергея Трубецкого. На первых заседаниях председательствовал С. А. Котляревский, а постоянными участниками были: Флоренский, Свентицкий, Эрн, братья Сыроечковские, Шер. Частыми посетителями бывали: я, М. И. Сизов, Б. А. Грифцов, Великанов, А. С. Петровский, А. Койранский. В этом кружке я должен был прочесть реферат. В маленькой комнате у Эрна, жившего где-то около храма Спасителя, густо набитой людьми, мне тогда мало знакомыми, состоялось это чтение. Мы были вместе с А. А. Я увидел, что он особенно

был сумрачен и каменен в этот вечер, а я, по обыкновению, пустился во все тяжкие споры и прения. Ни разу в Москве я не видел А. А. таким измученным, как тогда. Когда мы с ним вышли на воздух, он признался, что все в этом кружке ему крайне не нравится. «Люди?» — спросил я его. «Нет, а то, что между ними». Я не понял тогда его, но действительность оправдала слова А. А.: через год в этом кружке образовалось «Христианское братство борьбы»[70], из которого вышли П. А. Флоренский и А. С. Петровский (тогда оба ставшие студентами Троице-Сергиевской духовной академии), ясно почувствовав фальшь и реакционность братства, к которому одно время примкнули А. С. Волжский (Глинка) и С. Н. Булгаков. Братство печатало прокламации и разбрасывало по Москве. Е. Г. Лундберг и некто Беневский взялись распространять эти прокламации на юге России (братство борьбы не имело никакого значения). И далее назревала тяжелая драма личного и идейного характера между членами кружка. А. А. с первого же посещения этого кружка (из которого выветвилось московское Религиозно-философское общество) как бы чуял ауру, над ним скопившуюся. Вообще А. А. был барометром повышения и понижения всех интимнейших индивидуальных, кружковых и общественных настроений. Чуткость его доходила до ясновидения.

Так завершилась наша первая встреча в Москве, так провели мы январь и начало февраля 1904 года в первый раз вместе. В начале февраля Блоки уехали[71]. Из писем А. А. Кублицкой в Москву к кому-то из родственников С. М. мы узнали, что в общем А. А. вернулся бодрым и радостным, довольным Москвой.

III

ШАХМАТОВО

В период от февраля до мая 1904 года мы хоть изредка и переписывались с А. А., но переписка наша не была напряженной: я весь был поглощен теми переживаниями, смятениями и событиями моей биографической жизни, которые вызвали во мне решительный перелом в тоне настроения, — от настроения с 1900 по 1904 гг. к тону настроения от 1905 по 1909 гг. Последние стихотворения «Золота в лазури» дописывались, первые стихо-

творения «Пепла» подходили. А. А. дописывал первые стихотворения периода «Стихов о Прекрасной Даме» и подходил к началу стихов «Нечаянной Радости».

Я подчеркиваю опять: стихии жизни, которым отдавался А. А., переменились. Началась японская война. Предреволюционный период уже чувствовался — с одной стороны, а с другой стороны, цвет зорь изменился (и в символическом и в метеорологическом смысле). Строчки А. А., обращенные некогда ко мне: «понял, что будет темно» [72] — осуществились. Душевная атмосфера темнела. Не было недавней лучезарности и в метеорологическом смысле: зори гасли, период особых свечений 1902—1903 гг., вызванный пепельной пылью, развеянной с места Мартиникской катастрофы по всей земной атмосфере, кончился [73]. Необыкновенные нюансы зорь сменились обычными. В отдельных сознаниях передовых символистов назревала едкая горечь. Самая атмосфера символизма плотнела, экзотеризировалась [74], осаждалась книгами и литературой. Солнечный поэт того времени Бальмонт угашал свои лучи падением в тусклую «Литургию красоты». Наоборот, поэты тьмы и зла — Сологуб и Брюсов — крепли, очерчивались в своих произведениях («Огненный ангел» и «Мелкий бес»). Самая неуловимая стихия, нас обуявшая, проникая в несимволические круги модернизма и передовой критики, ощупывалась, измерялась. Розово-золотой воздух в их руках подменялся шелковой материей. Бралось внешнее оперение внутреннего ядра и создавались абстрактные контуры идеологии символизма. Наконец свершилось пришествие в русский модернистский мир такого крупного идеолога, как Вячеслав Иванов, впервые появившегося в Москве из заграницы весной 1904 года. Он, с одной стороны, дал глубокое обоснование нашим идеям, с другой — непроизвольно расширил самую сферу исканий, лишив ее остроты и напряженности. Спаивая декадентов, неореалистов, символистов и идеалистов в одно стадо и тем подготовляя «александрийский», синкретический период символизма, он давал материал для статейных популяризаций непопуляризируемого. В этом смысле роль Вяч. Иванова огромна и в светлом и в темном смысле: с одной стороны, он стоит как углубитель и обоснователь идеологических лозунгов декадентства и додекадентства, строя мост к символизму через многих и давая материал «несимволистам» считать себя «символистами»; становилось

нечто вроде знака равенства между театром и храмом, мистерией и новой драмой, Христом и Дионисом, Богоматерью и всякой рождающей женщиной, Девою и Менадой, любовью и эротизмом, Платоном и греческой любовью, теургией и филологией, Влад. Соловьевым и Розановым, греческой орхестрой и парламентом, русской первобытной общиною и Новым Иерусалимом[75], левым народничеством и славянофильством и т. д. С другой стороны, роль Вяч. Иванова несомненна как роль отравителя чистоты воздуха самой символической среды — она мало изучена.

Все эти причины, взятые вместе (космические, общеполитические, русско-общественные, кружковые), и вызвали впечатление угасания зорь.

Я характеризую эту эпоху неспроста, а в духе сравнения А. А., который в предисловии к поэме «Возмездие» характеризует стихию России 1910—1911 годов, ищет характеристики в разнообразных факторах общих и индивидуальных. «Все эти факты, — пишет он в предисловии к третьей части поэмы, — казалось бы, столь различные, для меня имеют один музыкальный смысл. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор»[76]. Все истинно философские культуры идут именно этим путем. Таким путем шел Ницше, всматриваясь в культуру Греции. Таким путем идет ныне в Германии замечательный Шпенглер *. Действительность, даже биография А. А. необъяснима без фона ее строящих: ритма и перебоя, «музыкальных напоров», «шума времени», вплоть до личных отношений. Шум времени нас с ним свел, шум иного ветра развел одно время, казалось бы, в разное, а на самом деле в подобное друг другу. Шум времени 1910—11 гг. свел снова. Так наши будущие расхождения с ним, расхождения в оценке событий 1905—06 гг., были подготовлены одинаковым отходом от эпохи 1900-го — 1902-го года, казалось бы, в разные стороны, а на самом деле: с разных сторон мы встретились снова. Период с 1904-го до 1908 года был для А. А. периодом «Нечаянной Радости», драмы «Снежная маска», а для меня — «Пепла», «Кубка метелей»

---

* «Untergang des Abendlandes», «Socialismus Preussentum». (*Примеч. А. Белого.*)

и «Урны». Его интересы к земле и к реализму, к писателям-реалистам *, народнический стиль моего «Пепла», его «Снежной маски», моего «Кубка метелей» (лейтмотив — распыление прежнего, именно розово-золотого воздуха) вели нас путем расхождения и подготовляли нас к новой встрече в теме — Россия. (Тема стихов его третьего тома и тема моих романов «Серебряный голубь» и «Петербург».) Россию мы с ним любили особой любовью. Одинаково начинаем мы с ним период временного угасания зорь (ощущение «Пепла» и «болотного тумана», «Нечаянной Радости»), как одинаково начался у нас период их возжигания.

Помню, что мне, и стихийно и биографически пережившему с болью период подмены зорь медиумизмом, на письма мои и стихи к А. А., начинающиеся с крика боли («Багряницу несут и четыре колючих венца... не оставь меня, друг, не забудь»), А. А. ответил: «И ты задул яркий факел, изнывая в душной тьме». Это — «и ты задул» характерно. А. А. констатирует факт: факелы задувались. И оттого-то впоследствии я с такой необузданной злобою (не делающей чести мне) встретил «Факелы» — сборник мистических анархистов: самое заглавие мне казалось пародией на задутые факелы уже отошедшей, неповторимой, но и не прочитанной до сего дня эпохи. Характерны строки из письма А. А., полученного мною именно в то время, 7 апреля 1904 года: «Мы поняли слишком многое и потому перестали понимать. Я не добросил молота, но небесный свод сам раскололся **. Я вижу, как с одного конца ныряет и расползается муравейник, полный расплющенных сжатым воздухом в каютах, сваренных заживо в нижних этажах, закрученных не остановленной машиной [78], а с другой стороны нашей воли, свободы, просторов. И так везде расколотость, фальшивая для самого себя двуличность, за которую я бы отмстил, если бы был титаном, а теперь только заглажу ее. Как видишь, я пишу несвязно, я окончательно потерял последнюю внутреннюю возможность точности в окончательном. Не знаю ничего, но просто ясно вижу розовую пену и голубой гребень волны, которая меня несет, поэтому пронесет, а что дальше, опять

---

* См. статьи в «Золотом руне» 1907—1908 годов. (*Примеч. А. Белого.*)

** Намек на строчки из моих стихов [77]. (*Примеч. А. Белого.*)

не знаю... Мне кажется, я могу сказать тебе окончательно о тебе самом — ты не умрешь. Представь себе, я, должно быть, знаю это всегда. Иногда я вдруг сознаю в твоем существовании большую поддержку. Письмами, подобно твоему последнему, ты схватываешь меня за локоть и кричишь: не попади под извозчика, а извозчик — В. В. Розанов — едет, едет день и ночь с трясущейся рыженькой бороденкой, с ямой на лбу (как у Розанова). Выйдя вчера ночью от Мережковских, я подумал: мы с Борисом Николаевичем, — но все-таки я не знаю, что же с тобой теперь, и едва ли пойму». Этот неуверенный тон письма точно отображает неуверенность наших тогдашних переживаний.

Помнится мне, что последним моим стихотворением этого периода было стихотворение «Безумец» («Я не болен, нет, нет»), а через короткое время я написал «Тройку», «Аргонавтов», «Я бросил грохочущий город на склоне палящего дня»[79], — т. е. реалистические стихотворения, где встает серенькая природа средней России. А. А. писал, что «фиолетовый запад гнетет, как пожатье десницы свинцовой»[80], и ряд стихотворений, открывающихся его знаменитой «Осенью» — «Битый камень лег по косогорам, скудной глины желтые пласты...»[81] (стихотворение, написанное в период «Нечаянной Радости» и сперва там напечатанное). В стихотворении есть строчка: «нищий, распевающий псалмы». Вот подлинный лейтмотив, соединивший нас в ощущении, что-то недопонято, что-то не введено в жизнь, что-то обмануло: «Арго», взмахнув золотыми крылами, опустился с «безумцем» в сумасшедший дом («я не болен, нет, нет»), откуда безумец бежал («я бросил грохочущий город»), забродил по России с ворами и босяками, совершенно нищий (тема «Пепла»), — но эта тема весной 1904 года еще лежит в подсознании.

Помнится, в апреле 1904 года я проводил время с Э. К. Метнером в Нижнем-Новгороде; там встречались с А. П. Мельниковым * и много беседовали на темы о сектантских и религиозно-философских интересах русского общества. Э. К. восхищался стихами Блока, но не раз мне говорил, что некоторые стихотворения эпохи «Прекрасной Дамы» носят в себе стихию хлыстовства,

---

* Сын Мельникова-Печерского, знатока русского северного сектантства. (*Примеч. А. Белого.*)

что я опровергал. Метнер мне выдвигал психологическую опасность в поэзии тем теургизма и соловьевства, оставляющих в душе яд врубелевской зелено-лиловой сирени (или «Ночной фиалки»), что и А. А. и мне по-разному грозит привкус врубелевской темы, т. е. грозит демон искусства за попытку выйти из сферы чистого искусства. Это Демон, о котором в «Добротолюбии» говорится, что это — Демон Печали: «символом этого духа служит ехидна, которой яд, в малом количестве даваемый, уничтожает другие яды, а принятый неумеренно — убивает» («Добротолюбие», т. I — из Антония Великого «О различных порочных помыслах»). После смерти А. А. мне показали этот текст, подчеркнутый рукой А. А., с припиской — «Этот демон необходим для художника». Другую духовную характеристику сопровождает А. А. пометкой: «Знаю, все знаю» [82]. Это показывает, как А. А. в своем молчании, в скрытой своей глубине, под фактами биографической жизни, наблюдал и изучал факты состояния сознания, а не только слепо отдавался им, т. е., будучи по природе мистиком, силился преодолеть эту свою мистику в сторону «духовного веденья». Это преодоление мистики без «школы опытного знания» (духовной науки [83]) возможно, но опасно, мучительно, длительно и обставлено бывает тяжелыми ударами и разочарованиями в жизни, ужасным томлением. В период: этих испытаний вступил А. А. в 1904 году после периода мистического подъема. Испытание для нас, «мистиков» 1900—1902 гг., было необходимо. В том же томе «Добротолюбия» сказано: «Впрочем, всякий, кто, подражая Аврааму, изшел из земли своей и народа своего, стал через то сильнее». Все эти места я привожу потому, что они подчеркнуты рукой А. А. Лейтмотивом скитаний, блужданий и бесприютности — «нищий, распевающий псалмы», — завершается период, следующий за эпохой «Стихов о Прекрасной Даме». В жизни А. А. внутренне ищет пути, выходя из дому на дорогу: «Выхожу я в путь, открытый взорам...» И внешне: в его жизни кончается период. В 1906 г. А. А. кончает университет, переселяется с женой из дома матери. Все это лишь эмблемы другого переселения, другого ухода, начавшегося еще раньше, ухода из атмосферы 1900—02 годов, после выжидательного периода 1903 г., сопряженного даже с уходом от лучших друзей мистического периода. А. А. расходится в 1905 году с С. М. Соловьевым.

В 1906 году происходит временное отхождение нас друг от друга. У него иные друзья, иные интересы (В. Иванов, Г. Чулков, театр Коммиссаржевской и т. д.). О прежних друзьях пишет приблизительно в 1905 году в «Ночной фиалке» с грустью он: «Ибо что же приятней на свете, чем утрата лучших друзей». Зная верность к друзьям А. А. и его доброту, его глубокую душу, исполненную и размахом моральной фантазии, и глубочайшей элементарной честностью, самая легкость этого заявления — показатель глубины страдания и печали, лежащей под ней. Эта-то глубина боли, связанная с самопознанием и попытками чтения стихии собственной душевной подосновы, есть начало выхода в путь. А. А. становится путником, «нищим, распевающим» на дорогах мира, в то время когда мы, «мистики», тщимся задержать неизбежный ход духовного развития, сохраняя стихию для себя («мистик», осознавший неизбежность преодоления мистики и продолжающий искусственно себя питать суррогатами «подъемов», есть буржуа).

Чувствую себя так: бессознательный буржуа, жаждущий мистического комфорта, в то время, в начале 1904 года, в чувствую А. А. видящим это мое раздвоение и рвущим для себя компромиссы. В эпоху 1904 года я этого еще не мог понять в нем, ибо его «боли» не видел, видел свою боль и сознательно тянулся к А. А., как к старшему брату, ища найти в нем или вокруг него причины, исцеляющие крах моего того переходного времени.

В начале лета 1904 года я получаю приглашение от А. А. приехать к нему в Шахматово погостить вместе с С. М. Соловьевым. Приехав в Москву в июле 1904 года перед смертью Чехова и застряв в ней недели на две, частью по делам, частью потому, что мне как-то неповадно было одному без С. М. ехать к Блоку, ибо я знал, что в Шахматове проживает, кроме А. А. и Л. Д., его мать Александра Андреевна и две его тетки — Мария Андреевна и София Андреевна с семейством. Но С. М. опаздывал. Блоки ждут меня: и я решаюсь ехать один. Но неожиданно мы едем с А. С. Петровским, приглашения не получившим, но почему-то поехавшим со мной. Ему очень хотелось в то время поближе узнать А. А., которого он и любил, и ценил. Не помню, как он решился на эту поездку, но помню, что, сидя в вагоне, мы вдруг

почувствовали конфуз: я от чувства, что еду в чужой дом и везу товарища, который не приглашен, а А. С. от того, что как будто сам напросился на эту поездку. Помнится, нам было как-то не по себе. Стояла прекрасная солнечная погода. И мы говорили, мне помнится, о спиритизме, которому отдались некоторые из знакомых в Москве и который я считал вредным и несостоятельным. Так приехали мы на станцию Подсолнечную, где вышли и наняли какую-то неудобную и тряскую бричку, в которой чувствовали себя плохо, а дорога (восемнадцать верст от станции) была неудобная, ухабистая. Приходилось много ехать лесом. Я осматривал окрестности Подсолнечной и устанавливал разницу в стиле пейзажей между Крюковом и Подсолнечной. До Крюкова тянется один стиль: мягких лугов, березовых лесов, балок, оврагов и гатей. Между Крюковом и Подсолнечной пейзаж резко меняется, становится красивее, менее уютным, более диким, лесным и одновременно более гористым, леса угрюмее, дороги, деревни меньше и беднее (подмосковные деревни обслуживают Москву). Мистическое настроение окрестностей Шахматова таково, что здесь чувствуется как бы борьба, исключительность, напряженность, чувствуется, что зори здесь вырисовываются иные среди зубчатых вершин лесных гор, чувствуется, что и сами леса, полные болот и болотных окон, куда можно провалиться и погибнуть безвозвратно, населены всякой нечистью («болотными попиками» и бесенятами). По вечерам «маячит» Невидимка, но просияет заря, и Она лучом ясного света отражает лесную болотную двойственность. Я описываю стиль окрестностей Шахматова, потому что они так ясно, четко, реалистично отражены творчеством А. А. Пейзажи большинства его стихотворений («Стихов о Прекрасной Даме» и «Нечаянной Радости») — шахматовские. Мне кажется, что я знаю место, где могла стоять «молчавшая и устремившая руки в зенит»[84] — неподалеку от церкви, на лугу, около пруда, где в июле цветут кувшинки. Мне кажется, что высокую гору, над которой Она «жила» («Ты горишь над высокой горою»), я тоже знаю: над ней, над возвышенностью за Шахматовом, бывает такой ясный закат, куда мчались искры от костра поэзии А. А. в 1901 г. А дорога, по которой пошел «нищий, распевающий псалмы» («битый камень лег по к о с о г о р а м»), — московское шоссе по направлению к Клину, где есть и косогоры и где

битый камень, которым трамбуют шоссе, находится в изобилии. По этому шоссе около Клина (следующая станция) я гулял ребенком восьми лет, проживая в Демьянове (Касьяново Котика Летаева[85]) и бывая в Нагорном, которое прекрасно знакомо было и А. А. и Л. Д., ибо оно лежит как раз посредине между Шахматовом и Клином около этого же шоссе. Конечно, я импровизирую: разумеется, в то время я не мог смотреть оком биографа на места, где протекало детство, юность и молодость А. А.

Помнится лишь, что, подъезжая к Шахматову и отмечая связь пейзажей с пейзажами стихотворений А. А., мы с А. С. Петровским впали в романтическое настроение, вспомнив, что мы все, которые должны были вместе провести эти дни в дружественной атмосфере, выросли и провели детство в этих же местах: я под Клином, С. М. Соловьев в Крюкове, А. С. Петровский, если не ошибаюсь, в Поваровке (полустанок между Крюковом и Подсолнечной), А. А. под Подсолнечной и Л. Д. Блок тоже (имение Менделеевых Боблово, если память не изменяет, находится на расстоянии восьми верст от Шахматова).

В таком настроении мы вплотную приближались к Шахматову, усадьба которого, строения и службы вырастают почти незаметно, как бы из леса, укрытые деревьями. Тут мы попросту «по-мальчишески перепугались», когда бричка въехала во двор и мы очутились у крыльца деревянного, серого цвета, одноэтажного домика с мезонинной надстройкой в виде двух комнат второго этажа, в которых мы с А. С. и жили потом. Помню, что в передней нас встретила А. А. Кублицкая и М. А. Бекетова (тетка А. А.). Обе были несколько растеряны нашим приездом до впечатления неприязненности. Так мне показалось тогда, и это впечатление сохранялось во мне в первые часы нашей встречи, но уже к вечеру рассеялось. Мне показалось, что А. А. Кублицкая чуть не ахнула, увидав меня таким, каков я есть, предполагая увидеть какого-то «лебедя», а встретив «гадкого утенка» (все от эгоизма, замкнутости, маски, которую я в себе ощущаю, при всей своей внешней подвижности и говорливости). А. С. Петровский тоже свял. Помню, что нас провели через столовую в гостиную, и мы уселись вчетвером, не зная, что сказать друг другу. Странно: я удивился Александре Андреевне почти так же,

как удивился А. А. при первом свидании с ним. Я не подозревал, что мать Блока такая. Какая? Да такая тихая и простая, незатейливая и внутренне моложавая, одновременно и зоркая, и умная до прозорливости, и вместе с тем сохраняющая вид «институтки-девочки», что при ее летах и внешнем облике было странно. Впоследствии я понял, что причина этого впечатления — подвижная живость и непредвзятость всех ее отношений к А. А., к его друзьям, к темам его поэзии, которые привели меня в скором времени к глубокому уважению и любви (и если осмелюсь сказать, и дружбе), которые я питал и питаю на протяжении восемнадцати лет к А. А. Кублицкой-Пиоттух. Но в эту первую минуту мне было трудно. Я не мог ни за что уцепиться, и мы суетливо метались словами. Узнав, что А. А. и Л. Д. ушли на прогулку в лес, я окончательно впал в уныние, и А. С. — тоже. Помнится мне, что впечатление от комнат, куда мы попали, было уютное, светлое. Обстановка комнат располагала к уюту; обстановка столь мне известных и столь мною любимых небольших домов, где все веяло и скромностью старой дворянской культуры и быта, и вместе с тем безбытностью: чувствовалось во всем, что из этих стен, вполне «стен», т. е. граней сословных и временных, есть-таки межи в «золотое бездорожье» нового времени, — не было ничего специфически старого, портретов предков, мебели и т. д., создающих душность и унылость многих помещичьих усадеб, но не было ничего и от «разночинца», — интеллектуальность во всем и блестящая чистота, всюду сопровождающая Александру Андреевну. Помнится, что после неловкого сидения вместе, во время которого появились молодые люди небольшого роста с вылощенными манерами и были представлены нам как дети Софии Андреевны (один из них правовед), после появления Софии Андреевны, которая мне очень понравилась, мы вышли на террасу в сад, расположенный на горе с крутыми дорожками, переходящими чуть ли не в лесные тропинки (лес окружал усадьбу), прошлись по саду и вышли в поле, где издали увидали возвращающихся с прогулки А. А. и Л. Д. Помню, что образ их мне рельефно запечатлелся: в солнечном дне, среди цветов, Л. Д. в широком, стройном розовом платье-капоте, особенно ей шедшем, и с большим зонтиком в руках, молодая, розовая, сильная, с волосами, отливающими в золото, и с рукой, приподнятой к глазам (старающая-

ся, очевидно, нас разглядеть), напомнила мне Флору, или Розовую Атмосферу, — что-то было в ее облике от строчек А. А.: «зацветающий сон» и «золотистые пряди на лбу»... и от стихотворения «Вечереющий сумрак, поверь». А А. А., шедший рядом с ней, высокий, статный, широкоплечий, загорелый, кажется без шапки, поздоровевший в деревне, в сапогах, в хорошо сшитой просторной белой русской рубашке, расшитой руками А. А. (узор, кажется, белые лебеди, по красной кайме), напоминал того сказочного царевича, о котором вещали сказки. «Царевич с Царевной» — вот что срывалось невольно в душе. Эта солнечная пара среди цветов полевых так запомнилась мне (А. С. Петровский вечером, раздеваясь, сказал мне: как они подходят друг к другу).

И помнится, А. А., увидев нас, сразу узнал и прибавил шагу, чуть ли не побежал к нам и с обычной, спокойной, неторопливой, важной и вместе милою лаской остановился, не удивившись: «Ну, вот и приехали». Это было обращение к А. С. Петровскому, которому он сразу же подчеркнул всем своим видом: «очень хорошо, что и он приехал». А ведь А. А. мог естественно удивиться и сконфузить А. С. Мы все вместе неторопливо пошли в дом, разговаривая о причинах замедления сережиного приезда, о моих московских друзьях, с которыми познакомился А. А., о милых, так себе, пустяках, смысл которых может меняться, выражая скуку, натянутость, ласку, молчание просто. И мне показалось, что все это «ласковое молчание», гласящее: торопиться некуда, — согретое солнцем, и такое легкое, приглашало к комфорту. Я почувствовал себя в Шахматове как дома. Эту атмосферу создавал А. А., который незначащими признаками и тончайшей хозяйской внимательностью рассеял тотчас же между нами последние оттенки принужденности (о, насколько я был неумелым хозяином при первой нашей встрече в Москве!). В А. А. чувствовалась здесь опять-таки (как не раз мною чувствовалось при разных обстоятельствах) не романтичность, а связанность с землею, с пенатами здешних мест. Сразу было видно, что в этом поле, саду, лесу он рос и что природный пейзаж — лишь продолжение его комнаты, что шахматовские поля и закаты — вот подлинные стены его рабочего кабинета, а великолепные кусты никогда мною не виданного ярко-пунцового шиповника с золотой сердцевиной,

на фоне которого теперь вырисовывалась молодая и крепкая эта п а р а, — вот подлинная стилистическая рама его благоухающих строчек: в розово-золотой воздух душевной атмосферы, мною подслушанный еще в Москве, теперь вливались пряные запахи шахматовских цветов и лучи июльского теплого с о л н ы ш к а, — «Запевая, сгорая, взошла па крыльцо», это написанное им тут, казалось мне, всегда тут всходит.

Ловлю себя опять на конфузящем меня казусе. Прошу извинения у читателей этих воспоминаний, наверное литературных поклонников покойного А. А.: им хочется услышать от меня подлинные слова А. А. о том или ином подлинном их интересующем ходе его мыслей, о том или ином предмете, о том или ином литературном явлении, а я, точно нарочно, избегаю приводить подлинный контекст его слов, мыслей, характеристик и вместе с тем рисую внешний облик его и стиль держаться со мною, сопровождая это изображение моими психологическими характеристиками. Я слышу: устраните себя, дайте вместо себя покойного. И — нет, не могу. Не могу по разным причинам. Во-первых, на расстоянии восемнадцати лет невозможно восстановить слова и даже внешнюю линию мысли, не п р и в и р а я, — а привирать не хочу. Во-вторых, особенность моей памяти в том, что она более всего устремляется на фон разговора, на жесты общения, на молчание, питающее его, и запоминает точно, ручается точно за них. Фотографический снимок с жестов, с переживаний — верен. А слова и мысли я вечно путаю (и по сие время не могу привести точно никакой цитаты из поэтов, перевираю всех и прежде всего себя самого). В-третьих, А. А. всегда говорил особенным своим языком, метким и четким, как напряженная стихотворная строчка, языком, поворачивающим вдруг на такой ритм мысль, что, в процессе уловления этого ритма, забывались трудно запоминаемые, как стихи, тексты его фраз. Наконец, у нас был свой жаргон, и многие словечки этого жаргона требовали чуть ли не историко-литературных комментарий. Еще: действовала между нами главным образом атмосфера, слова подстилающая, переживаемая коллективно — то как тишина, то как образование облака, которое в молчании прослеживали: как оно возникло из словесного жеста, куда плыло, куда уходило. Словом, мы часто вызывали между собой невольные ландшафты переживаний, где невозможно было выключить слово

из подстилающего его ландшафта, полного неожиданных метеорологических явлений, вызванных нами, на которых и сосредоточивалось наше внимание и где само приведенное слово, мнение, вне «атмосферы» и «жеста немого», было бы ложью. В этом смысле мое описание причин невозможности приводить мне слова А. А. больше слов А. А. характеризует его молчаливую глубину, которая присуща лишь гениальному человеку, независимо от того, сколько томов записанных разговоров осталось после него. У пас есть две пары ушей: одни слушают внешнее слово, текст слов, другие слушают внутреннее. Когда бодрствуют одни уши, то неизбежно погружаются в сон другие. Эккерман оставил два тома разговоров Гете, и мы благодарны ему за это, но можно с уверенностью сказать, что образ самого Эккермана, встающий хотя бы из слов, обращенных Гете к нему, есть образ милого очень и удобного собеседника, с которым не церемонятся, который не ведает «внутреннего языка», глух к нему, не слышит «темного смысла» в словах дневных («Die Nacht ist tief und tiefer, als der Tag gedacht» * — Ницше[86]), и оттого можно с уверенностью сказать: при написании двух своих томов Эккерман не написал главного, третьего тома, рисующего Гете, выговаривающего изречения Гете. «Внутреннего уха» у Эккермана не было: это был ограниченный «молодой ч е л о в е к», — таким его видел Гете и так с ним говорил, что на всем протяжении двух томов Гете, автор «Фауста», встает лишь в одном или двух местах (например, в возгласе, обращенном к собаке: «Я знаю тебя, Ларва»). Таких «молодых людей» любят нежно: они уютны, с ними не церемонятся, но, во-первых, с ними не говорят по существу, а, во-вторых, они не слышат по существу, даже когда с ними з а г о в о р я т, — оттого-то они так запоминают текст слов и не запоминают «музыку» слов, а ведь в музыке все дело.

«Музыка» жеста, глубина, ширина, невыговоренность, чреватость большими-большими и жизненными мыслями — вот главное в непередаваемом тексте речи А. А., которого я, не «молодой человек Эккерман», пытаюсь уразуметь, слушая «вторыми ушами». И оттого-то теперь, когда хочу воспроизвести слова А. А., я с глубоким удивлением, досадой, отчаянием даже вижу, что они все

* Ночь глубока и глубже, чем думал день (*нем.*).

канули в безгласную бездну забвения. Зато итог сказанного, жест сказанного — передо мною стоят, как живые отчетливые фотографии, я не имею даже права сказать себе: «Отчего я не записал этих слов тогда еще»; если бы я их записывал, вытаскивая исподтишка книжечку, как это делали иные из посетителей Л. Толстого, то никогда между мной и А. А. не произошло бы тех незабываемых жизненных минут, взгляд на которые с биографической точки зрения был бы с моей стороны в то время действительно кощунством. И остается воскликнуть: «Отчего я не Эккерман!» После этого детального разъяснения о стиле моих воспоминаний я уже без зазрения совести продолжаю описывать А. А. так, как: умею.

Да и умей я записывать, немногое я записал бы в этот первый день нашего пребывания в Шахматове, не много бы я записал «текстов» речи и в последующие дни: их почти не было со стороны А. А. (с моей очень много!). Была очень уютная, теплая, проникнутая до последних мелочей, не обращающая на себя внимания ласковость хозяина дома, которому хочется, чтобы гость чувствовал себя в его доме как бы во «внутреннем доме своем», хозяин которого не всякого просит к себе, но кого пригласит, тому уж распахивает дверь совсем до конца, до готовности поделиться последним, включая сюда и «душу» свою, но который в «духе» остается один, неразделенный, непонятый. Так снеговая гора, питая на теле своем все растения всех климатических зон (и подножную розу, и приснежный эдельвейс) — вершиной своей, отделенной туманами, ясно блистает лишь в небо свое — одинокой вершиной. И подобно тому как вершина — источник рождения ключей, зеленеющих надгорья, так ключи, оцветившие нас с А. А. в нашем шахматовском *житье*, — та же медленная ласковость хозяина: «одиночество» чувствовалось в нем, но оно так грело *приветом*, — и я его слушал. Оттого-то так мало было между нами обычных «литературных» тем, обычных абстрактно-философских мысленных выявлений, и оттого-то так часто мы просиживали — «просто», «*ни о чем*», — «*в Главном*», — как говорили мы тогда на нашем языке. И эта главная нота моего общения с А. А. возникала тогда, когда он посиживал передо мной за чаем в своей белой рубашке и, ласково улыбаясь какой-нибудь безобидной болтовне, заведенной мною и часто смешной,

аккомпанировал разговору. Как он любил добродушные шаржи, рисующие В. Я. Брюсова, «великого человека», или Г. А. Рачинского в «чине Мельхиседека» [87], рисующие С. М. Соловьева крестом в знак его рукоположения или восклицающего из тучи папиросного дыма на нас «Урима и Тумина» [88] (знак еврейского первосвященника). А. А. выслушивал мои шаржи на общих знакомых, сиял глазами, содрогаясь грудью от смеха, и в рассеянности покрывал стаканом кружащуюся над вареньем осу. И это Главное веяло от него на меня, когда он вел меня в огород и показывал, взяв в руки тяжелый заступ: «А знаешь, Боря, этот ров копал я всю весну» (ров вокруг огорода). И мне казалось, что в копании этого рва и в огородных занятиях А. А. по утрам такое большое-большое необходимое дело, что от него зависит, быть может, судьба поэзии Блока, связанная с судьбой всего будущего. Серьезно же, мне это казалось порой тогда! И хорошо, что так казалось. И под всем этим поднималось опять тонкое, неуловимое веяние его строк: «Молча свяжем вместе руки, отлетим в лазурь». Мы руки и связывали, становились как бы братьями. И этот обряд побратимства происходил непрерывно в те дни в наших тихих совместных сидениях за чаем, в прогулках, в неторопливом: «еще успеем наговориться». Мне впоследствии, уже как воспоминание о шахматовских днях, навеялись строчки: «Пью закатную печаль — красное вино, знал, забыл, забыть не жаль, все забыл давно»; и далее: «Говорю тебе одно, а смеюсь в другом» [89]. И точно: эти дни первого моего шахматовского житья отозвались во мне, да и не во мне лишь только (и в А. А.), как будто все тяжелое, прежнее, которое «забыть не жаль», кануло (оно и было, это тяжелое, с которым покончил я в Шахматове, давшем мне силу в своем покое). И когда я рисовал перед А. А. свои шуточные и легкие картины из московской хроники, мне казалось: «Говорю тебе одно, а смеюсь в другом». Смеялся же я от легкой радости, что у меня есть такой милый брат и такая добрая сестра (да простит мне супруга покойного) и такая хорошая родственница (да простит мне Александра Андреевна), что к нам спешит Сережа, которого все мы любим, с которым мы все вместе (и А. С. тоже) когда-нибудь «отлетим в лазурь»... А в какую лазурь? Где она? — В лазурь стези: «Не поймешь синего ока, пока сам не станешь как стезя» [90].

Ну не были ли мы, несмотря на всю сложность вопросов, глубинность восприятий, на всю, едва слышимую, грусть закатной печали наших будущих расхождений (до ужаса, до невозможности даже выносить факт бытия друг друга) — ну не были ли мы все же немного детьми: мы, мечтающие в то время о подвиге монашества, — А. С. Петровский, живший в посаде в одной комнате с Флоренским, я — «декадентский ломака», А. А. — «болезненный мистик» и, наконец, Л. Д. — взрослая, трезвая замужняя женщина. И да — мы умели еще быть глупыми детьми, смешными, о, до чего смешными (вот удивились бы газетные рецензенты нам, и, как знать, может быть рука их, вооруженная пером, чтобы проткнуть нас в фельетоне, опустилась бы, и они вычеркнули бы не одну злую фразу!). И как хорошо, что мы были такими. И какое же спасибо за это Шахматову и хозяину нашему, ныне «великому русскому поэту», что он нас сумел так обласкать. А вот чем? Бывало, встанет, подойдет, скажет просто свое: «Пойдем, Боря» — немного шутливо, чуть в нос, немного с насмешкой, приглашая во что-то такое «хорошее» поиграть или что-то свое, особенное, показать. Отойдет — и скажет простое: «Нет, знаешь, ничего, так», т. е. — «все так», «благополучно», «Главное» есть, а там развертывай это Главное. Пожалуй, действительно, будущему историку русской культуры в двадцать втором веке, французу Lapan, изображенному в шарже С. М. Соловьева, придется писать толстый том по вопросу о том, что это было — «детская игра» или «секта блоковцев», а в последнем случае: какова же была философия «блоковцев». А философию-то нужно было еще написать; до сих пор она не написана. Существуют лишь случайные проекты проспектов тогдашней загаданной философии, — и в моей «Эмблематике смысла», и в статьях тома «Луг зеленый», где аромат «зеленого луга» — лирические отзвуки шахматовских минут: в абзаце о душевных спорах, неуловимых переживаниях и в рассказе о том, что жива Катерина, душа русской жизни, жива, и что не убит пан Данило старым колдуном:[91] Россия — большой «луг зеленый» — яснополянский, шахматовский. И ароматом этим жив я доселе. И семена этих трав, как знать, быть может, еще прорастают в Вольфиле, как прорастали они здесь — там на протяжении этих шестнадцати лет, — но пана Данилы уж нет: нет А. А. с нами!..

Возвращаюсь к фактам: они скудны. Помню, как в первый день нашего пребывания в Шахматове водворилась эта уютная обстановка меж нами, немного смущенная за обедом, когда семейство Софии Андреевны, в виде молодых людей, очень светских и, может быть, слишком корректных, вносило некоторую натянутость. Помню, что А. А. мне жаловался в тот день, что его двоюродные братья — позитивисты (а это был не комплимент в устах А. А. того времени), но что это «ничего»: «Они нам не будут мешать». Они жили своею особою жизнью, появлялись, откланивались, произносили несколько нарочито любезных и нарочито незначащих слов и нарочито тактично потом оставляли нас. А. А. утверждал, что они нас чуть-чуть презирают, смеются над нами и вместе с тем удивляются нам, за исключением глухонемого двоюродного брата А. А., понимавшего, мне кажется, по-метерлинковски, что «что-то хорошее» есть между нами, и проявлявшего порою удивительную чуткость к барометрическим колебаниям общей душевной обстановки. Помнится, в этот вечер, уже на закате, А. А., Л. Д., А. С. и я пошли на закат: по дороге от дома, пересекавшей поляну, охваченную болотами и лесами из «Нечаянной Радости», через рощицу, откуда открывалась равнина, за нею возвышенность и над нею розовый, нежно-розовый закат. Л. Д. в своем розовом платье цвета зари выделялась таким светлым пятном перед нами. А. А. сказал мне, протягивая руку: «А вот там Боблово». — «Я жила там», — сказала Л. Д., указывая на небо, сама цвета розового неба. Такою казалась она. И по-другому, таким же зорным казался мне А. А. Даже розовое лицо Петровского (моложавое до неприличия, — двадцать три года, а выглядит восемнадцатилетним), в своей сплющенной шляпе и розовой рубашке, казалось мне тоже закатным. Вероятно, «мисты» мистерий Элевсина[92] переживали сознательно нечто, смутным звуком чего было это стояние наше перед закатом, перед горою, о которой, быть может, А. А. было сказано: «Ты горишь над высокой горою». Помнится, мы возвращались назад: А. С. отвел меня в сторону, мы отстали: в своей скромной шляпочке-кэпи он был и мил и смешон. У А. С. было особое свойство превращать все головные уборы — студенческий картуз, кэпи, шляпу с полями в нашлепку одной формы, почему-то напоминающую мне утку, что я сообщал ему многократно и с чем он соглашался. И до

сей поры еще он, уважаемый музейный деятель, веснами, летами и осенями циркулирует по Москве, надев на лоб свою неизменную «утку». Раз в Базеле мы вместе с ним остановились на выборе головного убора. И тут: выбор его пал на шляпу, форма которой опять-таки мне напомнила «утку». Так вот: А. С. остановил меня и, взволнованный чем-то, сказал, запинаясь: «Я теперь понимаю все это». А что? что? То ли, что мы с С. М. Соловьевым называли шутливо «доктриной Lapan» и на что Э. К. Метнер подавал свою реплику: «Помните, ваша худшая опасность в вашей статье — «теургия». — Думаю, что А. С. понял то именно, что впоследствии сделало его антропософом, — его и меня, т. е. понял: проблему организации своего внутреннего пути («пока не станешь сам как стезя») в связи с организацией в «свой внутренний путь» внешних путей «общественности», т. е. проблему «мистерии», звук которой, далекий, извлекался какой-то, нами тогда непонятой атмосферой, не координируемой без подвига лет и неизбежно превращаемой в sui generis * душевный сеанс.

В те дни это понимал лишь один А. А., т. е. он понимал смутно, как бы сквозь сон, понимал необходимость стези, первого шага. Он, «нищий, распевающий псалмы», не знал этого первого шага, прислушивался к нам, что и мы такое из себя представляем, любил нас, но видел, что и мы ничего не знаем о первом шаге, а лишь импровизируем, и заранее не верил импровизации тут, боялся импровизации, боялся, что будет «к худу» именно оттого, что атмосфера нашего состояния сознания (моя, А. С. и С. М.) была слишком лучезарна: так, слишком лучезарный день бывает обычно между двумя слезливыми и дождливыми. И тут уходил он куда-то в свою молчаливую глубину от всех нас, становясь чужим. Помню, что раз, когда мне стало особенно хорошо, я стал тихий и молчаливый (бывают особые минуты молчания и тишины в минуту максимума душевной деятельности и активности, когда точно вырастают крылья), он, с улыбкой перегнувшись и глядя через плечо кого-то сидящего рядом со мной, сказал ласково и убедительно: «Ну, довольно, Боря». Так чуток до прозорливости он был в то время к неуловимым душевным движениям других. В этом «ну, довольно» теперь для меня — целая гамма

* своего рода (*лат.*).

знания о нем, об его трезвости, строгости, чуткости, настороженной пытливости, интеллектуальности.

Как же мне писать о тексте им произносимых речей того времени, когда одно «ну, довольно» открывает двери для целого размышления в духе Рейсбрука или Эккарта. В А. А. того времени таилось нечто, о чем Метерлинк и не подозревал, а если бы подозревал, то не написал бы своих «Trèsors des humbles» — «Сокровищ смиренных», — не сокровищ и не смиренно написанных. Смиренно-мудр был А. А. того времени, ничего о мистике не написавший.

Вечером первого дня мы весело распивали чай. А когда А. А. провел нас с А. С. в отведенную нам комнату и, побеседовавши с нами, пожелал нам спокойной ночи, то еще долго мы с А. С. не могли уснуть. Нам казалось, что мы уже в Шахматове давно. А. С. высказывал мне свои впечатления неоднократно, ложась и вновь поднимаясь с постели таким, каким я его видывал редко. Я смотрел за окно над деревьями скатывающегося вниз под угол сада, на горизонт уже нежно-голубого неба с чуть золотистыми пепельными облаками, — там вспыхивали зарницы: «в золотистых перьях тучек танец нежных вечерниц»[93]. Словом, первый день нашего шахматовского пребывания прошел так, как если бы это было чтение стихотворений о Прекрасной Даме, а вся вереница дней в Шахматове была циклом блоковских стихотворений.

Я не преувеличиваю своих впечатлений, читатель, скорее умаляю, чтобы не показаться на старости лет с «мухой» в голове.

Так же прошел и второй день. Никогда не забуду я этой линии тихих в своем напряжении и нарастающих дней. Не забуду этой прекрасной в своей монотонности жизни, бурно значительной внутренне. Мы с А. С. медленно вставали у нас наверху, перекидывались впечатлениями, шутками и потом отправлялись вниз, в небольшую столовую, выходящую на террасу, к утреннему кофе, встречались с Александрой Андреевной, с которой всегда заводили интересный, умный разговор. В системе слов, обращенных ко мне Александрой Андреевной, было всегда нечто вопросительное, — точно она, уверовав с одной стороны в наши зори, с другой стороны сомневалась. Этим сочетанием веры и скептицизма Александра Андреевна напоминала мне покойную О. М. Соловьеву,

свою двоюродную сестру. А. А. и Л. Д. появлялись к чаю позднее, часам к одиннадцати, и этот час от десяти до одиннадцати мы всегда проводили с Александрой Андреевной. А. А. и Л. Д. жили не в главном доме, а в уютнейшем, закрытом цветами маленьком домике о двух комнатах, если память не изменяет, в домике, напоминающем что-то о сказочных домиках, в которых обитают феи. Бывало, послышатся шаги их на ступенях террасы, — и вот, веселые, тихие, входят А. А. и Л. Д., А. А. в неизменной русской рубашке, Л. Д. в розовом, падающем широкими складками платье-капоте. Разговор становится проще, линия разговора меняется: определенные разговоры, которыми мы были заняты, расширяются в неопределенное море той спокойной, немного шутливой глубины и ширины, которые всегда чувствовались в этой супружеской паре. У нас с А. С. было впечатление, что «межа» разговора с Александрой Андреевной, обрамленная гранями того быта и той эпохи, переходила в «безбытное и вечное» «золотое бездорожье»: ведет «к бездорожью золотая межа»[94]. Наши сидения по утрам воистину переходили в золотое бездорожье у берега какого-то моря, через которое вот-вот придет корабль (для меня «Арго») и увезет всех через море в Новый Свет. Очень часто мы переходили в соседнюю комнату, просторную, светлую, обставленную уютною мягкою мебелью. Л. Д. садилась с ногами на диван, мы располагались в креслах. Я очень часто, стоя перед ними, начинал развивать какую-нибудь теорию, устраивая импровизационную лекцию. В сущности, вся линия моих слов, теорий и лекций была не в убеждении присутствующих, а в своего рода лакмусовой бумаге, окрашивающейся то в фиолетовый, то в ярко-пурпурный, то в темно-синий цвет. Ткань моих мыслей А. А. умел распестрить всеми оттенками отношений: юмором, молчанием, любопытством, доверием. «А знаешь, Боря, я все-таки думаю, что это не так», или: «А все-таки Валерий Яковлевич математик», и т. д. — и нужная реакция происходила: лакмусовая бумажка окрашивалась, — в первом случае мягкое «не так» становилось поперек моим мыслям, я знал уже, что натолкнусь на глубочайшее упорство А. А., которого не преодолеть годами (оно и не преодолевалось), во втором случае: «а все-таки Валерий Яковлевич математик» — накладывалась резолюция на весьма сложное всех нас отношение к В. Я. Брюсову, который

в те годы всеми нами признавался единственным вожаком декадентства, соединявшим в себе талант поэта, эрудицию историка, сознательность техника, и который был в то же время единственным поэтическим «мэтром». Вяч. Иванов, живший тогда за границей, только временно блеснул своим появлением в Москве. Бальмонта в то время мы не особенно ценили; в Гиппиус, которую А. А. и я ценили как поэтессу, А. А. особенно подчеркивал ее религиозно-философские интересы, для нас той эпохи «ветшающие», а для Александры Андреевны, С. М. Соловьева и А. С. Петровского и по существу сомнительные. Таким образом, В. Я. Брюсов был фигурой, для нас во всех смыслах нас интересовавшей. Кроме того, Брюсов девятьсот четвертого года и Брюсов теперешний — два полюса. Тогда дарование его росло и контуры этого дарования увеличивались. Достижения его «Urbi et Orbi» согласно увеличивались: они казались больше, чреватее будущим, — так в утро туманное кажутся нам выше контуры гор, но взойдет солнце — и «огромные» далекие горы окажутся близкими и не столь внушительными холмами. Так и «Urbi et Orbi», этот внутренний холм, даже гора среди низин бывшей современности (по сравнению с Надсоном, Минаевым, Мережковским, Лохвицкой, Фофановым и даже Бальмонтом), казался вершиной недосягаемой в 1904 году. Брюсов представлял собой интереснейшую фигуру. В ней не было ничего академического: четкость, сухость, формальность всех достижений не стали еще брюсовской «академичностью», а методом, маскою, под которой пытливый ум большого человека высматривает себе стези и пути, нащупывая эти стези на всех путях жизни. В. Я. Брюсов в то же время был единственный из поэтов, усиленно интересовавшийся магией, оккультизмом и гипнотизмом, не брезговавший никакою формой их проявления, одинаково склоненный перед Агриппой Неттесгеймским, им изображенным в романе «Огненный ангел», посещавший усердно сомнительные спиритические кружки, пробуя свои силы, может быть и практически, где можно, «гипнотизируя» (в переносном и буквальном смысле). Он порою казался нам тигром, залегающим в камышах своего академизма, чтобы неожиданным прыжком выпрыгнуть оттуда и предстать в своем, ином, как казалось, подлинном виде: «черным магом». И подобно тому как я, только что написавший статью о теургии, считал, что поэзия должна

стать теургией, т. е. божественной и жизненной одновременно, так этому направлению должно было противостать другое пресуществление поэзии — в «черной магии». К декадентству, как к таковому, мы все относились отрицательно, — считали, что под маскою декадентства крепли «черные силы» задекадентовской линии магической поэзии, которая была нам так враждебна, которой яд вынашивал жизненно Брюсов под личиной измеряемых и точно взвешиваемых форм. В этом смысле Брюсов был для нас всех магом, для одних в серьезном смысле, для других в аллегорическом: недаром А. А. назвал его раз мне: «великий маг моей земли». Да, Брюсов в эти годы считался определенно «великим» мною и С. М. Соловьевым. А. А., любя поэзию Брюсова, так таковую, допуская магизм ее, однако никогда не переоценивал Брюсова, провидя в Брюсове скончавшегося лет одиннадцать до физической кончины А. А. [95], и потому-то фраза «а все-таки В. Я. математик» в то время означала одно: маска форм приросла к Брюсову настолько, что все иное живое под ней, чем бы оно ни было, хотя бы магическим ядом, есть лишь «аллегория формы». Математиком же назвал А. А. Брюсова, если не ошибаюсь, под впечатлением моего рассказа о нем *. Действительно, своеобразная точность выражений Брюсова того времени не раз обращала мое внимание. Я помню, что я возмущался однажды избиениями студентов в Москве, — В. Я. сказал: «Да, это печально, но вспомните, что проделывают теперь на войне: на войне, Борис Николаевич, прокалывают, т. е. вводится штык в тело, сначала прокалывается верхняя одежда, потом нижняя, потом штык холодный касается тела, потом прокалывается кожа, потом прокалывается брюшина, кишки, и штык вводится внутрь». С. М. сделал открытие: да ведь Брюсов — «математик»: он все измеряет и взвешивает. Действительно, В. Я. однажды воскликнул: «Я ужасно люблю все, что касается математи*ти*». Такое восклицание Брюсова «математи*ти*» стало для нас своего рода словечком. Поэтому выражение А. А. о том, что Брюсов «только

---

* В 1903 году, когда мы с С. М. были у В. Я. Брюсова, он нам однажды объявил: «Завтра я ложусь на операционный стол и предаю мое тело сверлам и пилам» — ему должны были делать операцию, продолбить что-то в верхней челюсти. С. М. много смеялся по этому поводу, отмечая стиль выражений — точный и измеривающий. (*Примеч. А. Белого.*)

математик», было, собственно говоря, безапелляционным приговором течению, которое в то время многие из нас преувеличивали, хотя бы в том смысле, что ждали выхода из него опаснейших для наших чаяний врагов (враги оказались лишь «мелкими бесами»).

Так А. А. окрашивал одной фразой свое отношение к тому или другому философскому, религиозному или эстетическому вопросу, а я бессознательно давал ему повод к окраске, проталкивая перед ним различные ткани из теорем, утопий и домыслов. Отсюда явствует, что он был для меня в то время своего рода окраской моих устремлений, давая мне оценку и импульс. Я считал себя «теоретизирующим для внешних» то, что жило сокровенно в его глубине. И тут-то вот натолкнулся я на невероятное молчание Блока. Забегая вперед и строя схемы в пункте переживаний, неясных А. А., в пункте, где у него происходил молчаливый конфликт с пониманием зорь, которые ему так недавно светили и относительно которых по закону внутреннего развития он уже себя ощущал не «герольдом» будущего, а «нищим, распевающим псалмы», характерно: среди отметок А. А. к моим «Запискам чудака» (№ 2 и 3) [96] отчеркнуты слова о вредности и нежелательности закрывания схемами мысли еще не ставшего ясным духовного переживания. Всем существом своим А. А. уже стоял на этом. Он делал различие между миром душевным и миром духовным и, признавая зависимость первого от второго, хотел испытать качество первого вторым. Он был духовно одинок. Я — тоже. Но он сознавал это, а я — нет или старался делать вид: нет. Я протягивался к душевности, я разводил туманы душевности, я погрузился без остатка в ту прекрасную атмосферу, которая господствовала между всеми нами тогда и которая не удовлетворяла уже А. А. Он бессознательно волил к общности душевной, построенной на встрече сокровеннейших духовных переживаний и выведенных оттуда. Мы довольствовались глубинами душевных переживаний, где господствовала уже «Незнакомка» вместо «Прекрасной Дамы», Зари, Купины. И тут я наталкиваюсь на толчки, исходящие извне неведомого духовного мира А. А., который после того, как все было между нами сказано, понято без слов, вдруг темнел и грустнел, и порою казалось, что чем радужнее и дружнее было нам вместе, тем черней и безысходней вдруг порой на мгновенье становилось ему. И я переживал это как испуг:

я думал: чего Блок пугается? Признаюсь, раз промелькнула у меня малая мысль: подлинно ли светел Блок? И у А. А. бывали такие минуты колебаний во мне: помню, что С. М. Соловьев впоследствии передавал мне, как Александра Андреевна ему признавалась о словах А. А., обо мне им сказанных вечером после одного из тех непередаваемо близких сидений, когда мне казалось, что всем так светло, когда я и сам казался себе светлым и добрым, — А. А. с сомнением, даже с испугом сказал обо мне: «Кто же он такой, не пьет и не ест?» Этим «не пьет и не ест» хотел он подчеркнуть ему казавшийся аскетизм моих устремлений или, вернее, форсированную чрезмерность моих устремлений, обреченных для А. А. на крах, ибо, по моим наблюдениям, А. А. считал меня отнюдь не «глашатаем» истины и путей, а человеком в истинном, конкретном смысле обреченным на все человеческие слабости, не принимающим этих слабостей теоретически и уже впавшим в ему невидные человеческие слабости. Он видел горькое разочарование мое в том, что было для меня «каноном спасения», разочарование, способное внести сумятицу и путаницу для всех нас именно на тех путях, на которые я приглашал как бы вместе А. А., — т. е. на путях «синего ока», о котором он сказал: «Не увидишь синего ока, пока не станешь сам как стезя». Своим недоумением обо мне «не ест и не пьет» он хотел высказать мысль: «Неужели он стал как стезя» — а это значило: «Неужели он серьезно думает, что он стал как стезя, — он горько ошибается». На эту мою ошибку и хотел повернуть меня порой А. А., как на нашу общую ошибку, ибо он видел, что С. М. ошибается в своих теократических гипертрофиях и в своих истолкованиях духовного мира А. А.

Помню, раз, именно после нашего сидения в гостиной, А. А. взял бережно меня под локоть и повел невзначай в сад, а потом в поле. Мы шли медленно, часто останавливались: А. А. стал говорить о себе, о своих свойствах, о своей «не мистичности», о том, какую роль в человеке играет косность, родовое, наследственное, как он чувствует в себе эти родовые именно силы, и о том, что он «темный» [97]. И, помнится мне, впервые тогда прозвучала в нем нота позднейшего «Возмездия». Я отмахнулся от этой ноты. Помню, я был растерян и беспомощно глядел в сине-знойное июльское небо, — и небо мне казалось

черным *. Черное небо выступило на мгновение передо мной, а А. А. мне сказал, что он вообще не видит в будущем для себя света, что ему — темно, что он темный, что смерть, может быть, восторжествует («Нам открылось — мертвец впереди рассекает ущелье» [98]). Эти слова меня застали врасплох — до такой степени они не соответствовали всему тому, что стояло, как атмосфера, между нами. И я понял, что и эту атмосферу А. А. рассматривает не как налет духовных зорь, а как своего рода медиумический сеанс, в котором все душевные образы «ангелов» могут, как знать, обернуться «чертями» **. Помнится, в этот вечер мы долго говорили с А. С. Петровским, и он сказал мне: «Неужели и А. А. сгорел?». Этим он хотел сказать, что разочарование, в котором внутренно пребывали А. С. Петровский и я (я во многом разуверен был о близости новой эпохи, А. С. — в его чаяниях обновления церкви), коснулось и А. А. Для всех нас, духовно переживающих «кризис» чаяний, было важно создание душевного верного коллектива: общения душ мы искали с одинаковой страстностью, — мы, «меньшевики», а А. А., «максималист», реалистично и трезво видел и себя и нас из своего духовного одиночества. Мы отмахивались от этого одиночества, и этот стиль отмахиванья от сомнений вводил в наше тогдашнее общение бессознательную ноту борьбы с «духом сомнений» А. А. Но все это протекало где-то в молчании: бездна разочарования была нами сознательно заплетена в розы общения, в розы душистых, ясных, тихих шахматовских дней, где и тени и свет переживались, как эпизоды какой-то нами водимой мистерии. Увы, А. А. в этом уже тогда провидел некоторую взвинченность, театральность и душевный «байрет» [99], столь отталкивающий Ницше от Вагнера. Дело в том, что на Шахматово мы смотрели как на своего рода будущий «Байрет» Блока-Вагнера, а «Вагнер-Блок» Вагнером себя не чувствовал, а чувствовал себя Ницше, борющимся с стремлением его друзей создать вокруг его одинокой души русский Байрет.

---

* Впоследствии А. А. очень понравилось, как я в «Серебряном голубе» описывал впечатления Дарьяльского о небе, которое из голубого вдруг становится черным. (*Примеч. А. Белого.*)

** Отсылаю к приведенному мною письму о недвижности, неизменности Ее и метаморфозе образов Астарты. (*Примеч. А. Белого.*)

Я останавливаюсь на всех этих нюансах наших отношений друг к другу потому, что в них своеобразно очерчивается личность А. А., для всех автора «Стихотворений о Прекрасной Даме», а на самом деле уже автора «Нечаянной Радости», прозвучавшей таким «отчаянным горем» [100]. Мы его стилизовали в его уже безвозвратно уходящем мире эгоистически, для себя, ибо нам, чувствующим себя разбитыми во многом, нужно было иметь «знамя зари» — и им был для нас А. А.

Помнится, время от чая до завтрака протекало в беседах, переходило в беседы за завтраком и после завтраков. Часам к трем мы шли или гулять в поле, в лес, вдвоем, втроем, вчетвером, или расходились до обеда — я с А. С, а А. А. с Л. Д. шли в свой маленький домик. К обеду опять сходились, опять сидели до вечернего чая и оканчивали день на террасе, освещенной мягкой, ясной луной. А. А. и Л. Д. водили нас по дому ласковыми хозяевами, и мы не знали, как их отблагодарить за ласку. Помнится, раз мы гуляли у пруда церкви, обросшей кувшинками: из усердия собрать букет из них А. С. Петровский прямо с сапогами вошел в воду.

С. М. все не приезжал, и мы уже собрались уезжать из Шахматова, когда раз после обеда, накануне нашего отъезда, раздался звон бубенчиков и подкатила тележка, из которой выскочил радостный и бурный С. М. в студенческой тужурке (он только что кончил гимназию), загоревший и возмужавший, и заполнил остаток дня шумом, гамом, хохотом, импровизациями, рассказами о своем пребывании в имении гимназических друзей, где собрались его товарищи. У С. М. были тогда легкие платонические очередные «увлечения для стихов» (т. е. увлечение той или другой барышней оканчивалось очередным сонетом), о которых сам он комически рассказывал, веселя А. А., провоцируя его на шутки. Было решено, что для С. М. мы с А. С. останемся еще на несколько дней. Атмосфера наших зорь была изменена нотою, которую вносил всюду с собой С. М., нотою «теократии» и «философии» соловьевской мистики. Роль теоретика наших устремлений занял он: я ему уступил. Послечайные разговоры сменились разговорами после завтраков, в которых С. М. импровизировал своего мифического француза Lapan — одновременно и Гегеля, и историка будущего, долженствующего написать философию наших чаяний и историческое исследование, выводящее эти чаяния ив секты

блоковцев, существовавшей за два столетия до него (Lapan — француз двадцать второго века). Иногда француз Lapan сменялся пародией в стиле Кузьмы Пруткова, которую, к величайшему удовольствию А. А., учинял С. М. Так, например: не обладая никаким внешним слухом и обладая, однако, способностью подчеркнуть характерное в музыке и в сценах «Пиковой дамы», он проводил перед нами «Пиковую даму» в сценах шаржа, гротеска, изображая и оркестр, и Германна, и Лизу, и Томского. Особенно ему удавалась баллада «Однажды в Версале aux jeux de la reine», квинтет «Мне страшно» (в котором С. М. был и оркестром, и Германном, и Лизой, и князем, и Пиковой дамой) и «Прости, небесное созданье» в исполнении Фигнера. Мы покатывались со смеху. Я, в свою очередь, начинал рисовать карикатуры, утрируя свое неумение рисовать, изображая Брюсова в роли великого человека и нас всех в наших ролях «секты блоковцев».

Эти бурные веселые последние дни не мешали тихой сосредоточенности, в которой мы пребывали. Вопреки многому неясному, я чувствовал себя все более и более братом А. А. и мне было особенно приятно один день походить в его рубашке, вышитой лебедями (не знаю, отчего мне ее дал А. А., — кажется, — я не захватил с собой достаточно одежды, не думая, что мы так застрянем в Шахматове). Это хождение в одежде А. А. было как бы символом нашего побратимства в эти дни.

Я уезжал из Шахматова окрепшим и принявшим решение покончить с одним жизненным обстоятельством, весьма тяжелым, которое я нес в себе, как падение, слабость, срыв[101]. Об этом обстоятельстве открыто я не говорил с А. А., но он знал о нем, и в его молчаливом обращении была братская просьба покончить с этим обстоятельством.

Помню, что утром перед отъездом мы сидели все вместе. В последние минуты мы испытывали грусть, — грусть, что кончается эта жизнь вместе. И было что-то в этой грусти от «горней радости». Подали лошадей. А. А. и Л. Д. стояли у подъезда. Нам казалось, что из некоего мира, где мы себя ощущали «будто мы в пространствах новых, будто в новых временах»[102], мы двинулись в старый мир.

Молча, сосредоточенно ехали мы трое в Москву, и была между нами троими серьезность и тишина, точно кусочек шахматовской атмосферы, розово-золотой воздух

в последний раз ощущался в эти годы. Было чувство, что впереди стоит сознательное и трезвое проведение в жизнь наших идеалов, что период романтизма закончился, что надвигается большое, чреватое событиями будущее. На другой день в Москве мы прочли об убийстве Плеве, бывшем в день нашего отъезда из Шахматова. И почему-то это совпадение нашего отъезда с днем убийства врезалось в память, точно сказалось: ага, вот оно, началось. А что началось? Не знаю... Начался наш путь конкретной переработки жизненной Майи, началась борьба с Майей.

Помнится, что в вечер по приезде мы собрались на новой квартире С. М., где-то в переулке между Поварской и Арбатской, — я, А. С. и С. М., у него был И. И. Щукин, называемый С. М. Ваней Щукиным, который привез ему в подарок из Италии изображение Мадонны. Смешно сказать (да простят мне С. М. и А. С. это разоблачение нас в нашей детской глупости): тайком от Щукина мы возжгли ладан перед Мадонной в соседней комнате, чтобы освятить символ наших зорь, связанных с шахматовскими днями, и при этом очень боялись, что Ваня Щукин в соседней комнате ощутит явственный запах ладана.

IV

ПЕТЕРБУРГ

Со второй половины 1904 года до первых чисел января 1905 года мы мало переписывались с А. А. Вышла первая книга стихотворений, его «Стихов о Прекрасной Даме». Читатель мог бы заметить, что книга разрешена цензурой в Нижнем-Новгороде. Мы боялись, что московская цензура придерется к тем или другим строкам, как к подозрительным с религиозной точки зрения, между тем Э. К. Метнер, большой почитатель А. А., стал ошибкою обстоятельств цензором в Нижнем-Новгороде, — мы и отправили рукопись стихотворений в Нижний-Новгород. Этим и объясняется, почему книга, вышедшая в Москве, разрешена цензурою в Нижнем-Новгороде.

Осенью 1904 года я поступаю вновь в Московский университет на филологический факультет (естественный я кончил в 1903 году), оказываюсь на одном курсе с С. М. Соловьевым, будущим поэтом В. Ф. Ходасевичем, Б. А. Садовским, В. В. Миландером, философом Гордо-

ном, Б. А. Грифцовым и др. Университетские занятия мало отнимали у меня интересов и времени: интересовал лишь семинарий у С. Н. Трубецкого (по Платону) и у Л. М. Лопатина (по Лейбницу). Большое внимание занимал кружок но изучению Влад. Соловьева (участники: В. П. Свенцицкий, Эрн, С. М. Соловьев и др.), секция истории религии при обществе Трубецкого и главным образом «астровские среды», на которых произошла встреча «аргонавтов» моих московских воскресений с группой людей, собиравшихся у П. И. Астрова. Результатом этих встреч было два сборника нелепой «Свободной совести», издаваемой Астровым. Ядро сред составляли: П. И. Астров, его мать, Шкляревский, учитель гимназии, старый художник Астафьев, Эллис, я, Эртель, Рачинский, Сизов и др., а в периферию вошли почему-то часто появляющиеся там московские мировые судьи, а также Н. И. Астров, В. И. Астров, А. И. Астров, Эрн, Свенцицкий и др. Появились в том кружке разнообразные лица, как, например, проф. И. X. Озеров, имевший собеседование с нами на тему «символизм и общественность». Позднее на этих средах бывали: В. И. Иванов, Н. А. Бердяев, профессора Духовной академии. В 1908 г. Боборыкин читал здесь свой реферат о Леониде Андрееве. Темы собраний астровского кружка 1904—05 годов были самые разнообразные. Вот некоторые из них: я прочел здесь «Апокалипсис русской поэзии», «Психологию и теорию знания», Эллис читал «О Данте», М. И. Сизов — «Лунный танец философии», М. А. Эртель «Об Юлиане», Шкляревский «О Хомякове», П. И. Астров «О Дарвине», «О Г. С. Петрове» и т. д. Здесь впервые произошла встреча московских «аргонавтов» с той струей общественности, которая впоследствии вылилась в кадетскую партию. Здесь же оба эти течения, «кадетство» и «аргонавтизм», уже в 1905 году разошлись: «аргонавты» в общественном смысле оказались безмерно «левее» «Свободной совести», они сочувствовали революционным партиям и смеялись над октябризмом и кадетизмом. Это расхождение в общественности не нарушало добрых отношений с братьями Астровыми, которые быстро «левели» в своих литературных вкусах, поддаваясь эллисовской пропаганде символизма. Связь «арго» долго еще оставалась между всеми нами. И «аргонавтов» и астровцев соединяла проблема морального сознания: и те и другие были чужды имморализму господствующих течений литературы. Аст-

ровский кружок играл довольно видную роль в нашей жизни того времени, но каждый порознь не удовлетворяется им. С. М. Соловьев пробует дружить с кружком Свенцицкого, я же общаюсь с неокантианцем Б. А. Фохтом. Во мне складывается определенный мой шаг: от обоснования символизма при помощи Ницше, Шопенгауэра, Вагнера — к обоснованию при помощи Канта, Риля, Риккерта. Риккерт тогда только начал заинтересовывать философские кружки Москвы.

Эта броня из «кантианства» на зорях прошлых лет есть следствие многих горестных разочарований и внешнего факта, что строчки А. А., обращенные ко мне: «Понял, что будет темно» — осуществились для меня.

В эти месяцы происходят мои очень частые встречи и разговоры с В. Я. Брюсовым, носящие характер той остроты и напряженности, какою отмечено в то время мое общение с ним, встречи, оставившие в душе не одну тяжелую рану. Стиль нашего умственного поединка с Брюсовым носил один характер — я утверждаю: «свет победит тьму». В. Я. отвечает: «мрак победит свет, а вы погибнете». Помню один характерный разговор мой с Брюсовым, когда В. Я. воскликнул с совершенно искренним пафосом: «Что же, Борис Николаевич, ведь в Апокалипсисе сказано, что гад будет повержен в смерть. Итак: вы против гада, против слабейшего? Мне — жаль гада, бедный гад, я — с гадом!» Свою «гадологию» того времени В. Я. Брюсов утверждал вплоть до защиты психологии «гадости» с проведением гада в жизнь. Все эти встречи и отношения 1904 года вызывали в душе моей густой, непроницаемый туман, сгущавшийся от грозного рокота приближающейся революции 1905 года, которая уже чувствовалась.

Словом, к концу 1904 года я был и нервно и физически измучен. В то время я получал частые приглашения от Мережковских приехать к ним в Петербург. С другой стороны, звал меня и А. А. После одного очень грустного письма я получил телеграмму от А. А. и Л. Д., вместе настойчиво меня звавших в Петербург. Я поехал вместе с матерью моей, желавшей проведать свою петербургскую подругу. Мы уезжали в день усиливающейся, как лавина, всеобщей петербургской забастовки и прочли за день до отъезда о роли Гапона в ней. Восьмого января выехали мы в Петербург: девятого января утром п р и б ы л и, — в знаменательный день, окончившийся избиением рабочих.

Помню, что мы с матерью разъехались в разные стороны с вокзала — она отправилась к своей подруге, я к знакомому офицеру, гостеприимно предоставившему мне у себя в квартире приют. Проживал он в казармах лейб-гвардии Гренадерского полка на Петербургской стороне. Я с большой готовностью согласился на это гостеприимство: в том же доме, чуть ли не в том же каменном проходе находилась и квартира отчима А. А., полковника лейб-гвардии Гренадерского полка. Возможность видеться с Блоками, жить рядом с ними особенно привлекала меня.

Помнится, как поразил меня вид улиц: еще на Николаевском вокзале парикмахер, бривший меня, сообщил, что сегодня все рабочие пойдут к царю с требованием их принять, что они правы, что дольше жить так нельзя. Тон этих слов лежал на всем, — на том, как прохожие оглядывали друг друга, чувствовалось что-то чрезвычайное; полиции нигде не было видно; отряды солдат, поскрипывающие по морозу, тащились с походной кухней, дымя в мороз. Все это поразило меня на Литейном мосту. Наконец, я был в Гренадерских казармах. Отыскав квартиру офицера, я узнал от денщика, что помещение мне готово, но что их высокоблагородие извиняются, — они на службе. Казармы, как тотчас же я узнал, были пусты, — полк был отведен и расставлен в виде небольших отрядов по всему Петербургу. Умывшись с дороги, я тотчас же отправился к Блокам и нашел их всех (Александру Андреевну, А. А. и Л. Д.) в сильном волнении. Я не запомнил, как мы встретились — А. А. провел меня в столовую к завтраку, и я попал в цепь разговора о петербургских событиях, сильно волновавших Блоков. А. А. и Александра Андреевна были в революционном настроении. Александра Андреевна беспокоилась за мужа, вынужденного долгом службы защищать какой-то мост и вместе с тем с глубоким отвращением относившимся ко всем видам репрессий *. Александра Андреевна беспокоилась, придется или не придется Ф. Ф. встретиться с рабочими. А. А. более волновался тем, что будут расстрелы, и выражал свое возмущение и негодование по адресу правительства, превращавшего манифестацию в восстание. При-

---

* Франц Феликсович Кублицкий-Пиоттух от всего нашего с ним общения оставил впечатление нежнейшего, чуткого, прекраснейшего человека, деликатного до щепетильности; он и ходил и сидел с таким видом, будто боялся невзначай обидеть кого-нибудь или задеть что-нибудь. (*Примеч. А. Белого.*)

ходили смутные слухи о том, что огромные толпы рабочих шли к царю, что были уже столкновения. Я недолго пробыл у Блоков, отправился к Мережковским, у которых застал целую ассамблею людей, волновавшихся событиями. Были точные известия о расстрелах, слухи о смерти Гапона. Помню, что у Мережковских я застал философа студента Смирнова, Е. Г. Лундберга (с которым мы говорили о хаосе), приехал с <баррикад> Васильевского острова Минский и рассказал точно о происходящем. Помню, после обеда мы втроем — Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус и я — отправились к Д. В. Философову и оттуда попали на знаменитое ныне собрание Вольно-экономического общества, где обсуждалось положение вообще Петербурга, раздавались призывы к вооружению, деланию бомб и указывалось, что движение в Петербурге революционное, а отнюдь не поповское. Общее впечатление этого собрания — растерянность перед неожиданным размахом событий. Помню, что Мережковский исчез куда-то *. Я остался один. В этой пестроте и шумихе я встретил К. И. Арабажина (отдаленного свойственника) и чуть-чуть не решил переночевать у него. Помню, как сквозь туман, появление взволнованного Горького и переодетого бритого Гапона, которого тогда никто не узнал и который хриплым голосом восклицал: «Нам нужно вооружаться!». В этом смятения и шуме я потерял из вида К. И. Арабажина и не помню, как очутился на темных, пустынных улицах Петербурга, не охраняемых полицией, полных зловещей тьмы. Только багровые вспышки костров на морозе и тяжелая поступь патрулей нарушали тишину. Кое-как добрался я до Гренадерских казарм и нашел их запертыми. Часовые не пропускали меня. Напрасно я указывал на то, что остановился у офицера — я был отрезан от казарм, и мне предоставлено было провести ночь, блуждая по морозным улицам Петербурга. Вдруг появился обход с офицером, которому я и объяснил свое положение. Этот офицер оказался полковником Коротким, в будущем, кажется, московским полицмейстером или чем-то в этом роде, снискавшим себе печальную известность в Москве. Короткий весьма ажитированно заявил мне: «Хорошо, я вас пропускаю, но, помните, казарма пуста,

---

* Д. С. Мережковский был с каким-то присяжным поверенным делегирован закрывать Мариинский театр в знак национального траура. (*Примеч. А. Белого.*)

к ней идет толпа рабочих, и, впуская вас, я должен вас предупредить, что вы подвергаетесь всем опасностям возможной осады». С этим напутствием он меня пропустил, и я, перегруженный впечатлениями дня, наконец добрался до своего вынужденного обиталища, которое уже тогда, ввиду своего настроения, решил покинуть, перебравшись в квартиру Д. С. Мережковского, который гостеприимно предоставил мне свою спальню. Нисколько не беспокоясь об ужасах возможной «осады», я проспал как убитый и на другой день уже с утра очутился у Блоков, где рассказал обо всем виденном и слышанном, вплоть до последнего инцидента с Коротким. Тут А. А. улыбнулся тою шутливою улыбкою, которая ему была свойственна, и сказал мне: «А знаешь, он трус — вчера вечером он устроил переполох, бегая по офицерским квартирам и пугая офицеров и их семейства ужасами «осады». И разговор перешел на мне знакомого офицера, которого я знал с детства и который принадлежал к семейству, отличительной чертой которого была «импровизация». Открылся один миф этого офицера об имении с оранжереями, которого будто бы обладателем он был, имении, в котором я живал и которое не имело никакого отношения к офицеру. Мы с А. А. весело шутили на этот счет. Александра Андреевна выглядела спокойнее: ее мужу не пришлось пока участвовать в столкновениях войск с рабочими, его отряд стоял в этом смысле в благонадежном месте. Тут же я познакомился и с супругом Александры Андреевны: это был худой, некрасивый военный с прекраснейшими глазами. Он скромно появлялся за стол, скромно садился и молча выслушивал наши полные негодования речи. Я помню, что я старался быть умеренным, входя в трудное, щекотливое положение Франца Феликсовича, а А. А. наоборот: выражался кратко, резко и беспощадно вплоть до несочувствия лицам, вынужденным хотя бы грубою силою поддерживать правительство. Помнится, мне было жаль бедного Франца Феликсовича. Вообще я заметил в А. А. некоторую беспощадность к его трудному положению в ту эпоху.

Эти первые дни моего пребывания в Петербурге я мало воспринимал общение с А. А. Мы все переживали события этих дней, толковали об арестах знакомых, о переменившемся отношении к царю со стороны тех, кто девятого января еще сочувствовал самодержавию. Кроме того, я был слишком занят все увеличивающейся близостью с

Мережковскими. У них я жил, проводя ночи напролет в непрекращающихся разговорах с З. Н. Гиппиус на религиозно-философские темы у ее камина, помешивая железной кочергой с треском рассыпавшиеся уголья и прислушиваясь к поздним звукам (мы ждали, что Д. С. Мережковского арестуют за его участие в закрытии театра, — он был об этом предупрежден). Наконец целый ряд лиц, с которыми я впервые познакомился, заняли все мое внимание. Это было время первых встреч и бесед с Ф. К. Сологубом, В. В. Розановым, Н. А. Бердяевым, С. Н. Булгаковым, А. С. Волжским, А. В. Карташевым, В. А. Тернавцевым, А. Н. Бенуа, Бакстом и целым рядом деятелей искусства и пера. Естественно, что я был перегружен впечатлениями и временно несколько рассеянно относился к моему общению с А. А. Шумные воскресные вечера у Розанова, монотонные у Сологуба, воскресные чаи у Мережковских от четырех до семи: собрания, в которых объединялась группа «Нового пути» с тогдашнею группою «Проблем идеализма», и та интенсивная, с одной стороны, религиозно-философская жизнь, с другой — религиозно-общественная, которую развивали Мережковские, — вот что поглощало меня, тем более, что в ту пору моя трехлетняя переписка с Мережковским, прерываемая редкими личными и очень интимными днями встреч в Москве, перешла, можно сказать, в совместную жизнь, в то, событиями взволнованное, время. Что меня соединяло с Мережковским, в том именно не соприкасались мы с А. А.; ему была гораздо более чужда историческая проблема религии в ее отношении к новой христианской эпохе. Он всегда стоял несколько вдали от того специфически христианского гносиса, который выдвигала проблема конкретного восприятия логоса. Можно было сказать, что логос воспринимал он лишь сквозь ризы Софии, Той, которую он осязал в эпоху своих зорь. Вся линия устремления Мережковского была линией выявления Христова импульса. Потому-то Мережковский и упирался всем центром своих устремлений в проблему исторической церкви, в проблему критики и оценки. Для А. А. не существовало этой проблемы. В своих религиозных чаяниях он был более катастрофичен, а в своем ощупывании ему самому не до конца понятного нового веяния он был более физиологичен и эмпиричен, отправляясь от данного, внутри осязаемого, которое гораздо труднее измерить и взвесить, чем, например, историческую проблему. А. А. как будто отрывал

все хвосты исторического познания и волил к такому духовному опыту, который был бы проницаем всегда здесь, нами, безотносительно к тому, как он мог выглядеть в истории. Для физика, химика возможность произвести опыт во всякое время есть боязнь убедиться в том, что его наука есть действительно точная, а история, зависящая от субъективных свидетельств, для него не была уже точной наукой.

А. А. в темпе своих исканий как бы бессознательно стремился к точному духовному знанию, не распыленному домыслами, а Мережковские, смешавшие опыт с казавшимися ему схоластическими схемами, были чужды, абстрактны и неприемлемы для Блока. В этом разрезе взятый А. А. так относился к устремлениям Мережковских, как какой-нибудь Гельмгольц к устремлениям гегельянизирующего историка, вплетавшего в факты истории отжившую метафизику. И А. А. был безусловно прав. Мережковские глубоко не понимали фактичности, реальности, трезвости, с которой относился он ко всем оформлениям новой эры. Но были правы и Мережковские с своей точки зрения: не понимая физиологичноста, фактичности, опыта миросознания А. А., не доверявшего словесным схемам, они видели в устремлениях поэзии А. А. мистику, субъективизм и неоформленный логосом хаос, способный подменить подлинный опыт в сплошной медиумический сеанс, и всякую общину, построенную на такой мистике, они обвиняли в подмене истинно христианских начал радением, хлыстовством. Поскольку проблема конкретизации опыта и проведение его в жизнь была моей центральной проблемой, постольку я разрывался между Мережковскими и Блоками, и этот разлом я нес мучительно, понимая правоту и неправоту обоих возможных форм выявления нового сознания, нового коллектива, новой жизни. Вот что меня сближало с Мережковскими: Христос, история, проблема новой церковности, ясное членораздельное слово, желание «последнее» провести сквозь строй «предпоследнего», к первому шагу, хотя бы этот первый шаг выражался весьма приблизительно. Наоборот, с Блоком меня связывали следующие темы: София, Вечность. Вневременность, Молчание, проблема мистерии, т. е. организации коллектива, прорастающего в общественность из подлинной организации опыта, музыкальность, неизреченность, нежелание распылять «последнее» заезженными словами и суетой мыслительных ассоциаций, — наконец,

личная дружба и большая, я бы сказал, непосредственная любовь и доверие к тому, что мы называли Главным. Все это соединяло А. А., Л. Д., С. М. Соловьева и меня.

Таким я себя застаю в то время. Моя жизнь и непрекращающееся сближение с Мережковскими делают мне лично достижимым общение с коллективом друзей, в который я попадаю и к которому я подготовлен нашей трехлетней перепиской с Мережковским. Ядро этого кружка: Д. С. Мережковский, Д. В. Философов, З. Н. Гиппиус, Т. Н. Гиппиус, Н. Н. Гиппиус, А. В. Карташев и близкий к ним профессор Успенский, В. А. Тернавцев, Н. А. Бердяев, заглядывающий в эту сторону А. С. Волжский.

Но в этом новом коллективе я чувствую одно время некоторое насилие, принужденность, отсутствие свободы, обязанность вместе с Мережковскими выполнять функции их религиозной общественности. Они мне как бы говорят: «Вы наш, ваш опыт — наш опыт». А я чувствую, что это правильно, но лишь наполовину, что они не понимают того главного, музыкально нежного, в чем я всегда встречал понимание в А. А.

Единственности наших отношений я не ощущал до конца, и чем более ощущал я невозможность сделать это явным, т. е. сделать явным, что я принимаю их — плюс еще что-то, без чего все приятие есть еще «приятие так сказать», тем более создается в моем сознании трудность, почти грех перед Мережковскими высказать им, что этого плюса-то им и недостает. Я ощущаю в нашем, т. е. в моем, общении с Блоком именно этот плюс, и этого не понимают Мережковские, считая, что мои постоянные «убегания» к Блокам и просиживание там целыми днями, есть sui generis болезнь, декадентство, мистика, ибо к линии А. А. — Мережковский в ту эпоху относился с резким недоброжелательством: сколько раз он указывал мне на опасность для меня отдаваться беспочвенной «блоковской» мистике, — «Боря, тут у вас безумие» — неоднократно говорил он мне. Бывало, я пробираюсь в переднюю из квартиры Мережковских (угол Литейного и Пантелеймоновской, дом Мурузи), а З. Н. провожает меня вопросом из гостиной: «Куда?» — «К Блокам». — «Опять? Завиваться в пустоту?» Мои сидения с А. А. и Л. Д. в уютном кабинете А. А. на Петербургской стороне и наши беседы З. Н. называла тогда: «завиваться в пустоту», т. е. разговоры о «несказанном», «не уплотняемом» никаким решением,

формулой, общественным или религиозным поступком. А бывало, когда я возвращаюсь от Блоков (уже вечером) и попадаю в гостиную к Мережковским, к какому-нибудь важному общерелигиозному разговору, где решаются вопросы — «или мы поднимем пожар, или никто», и сидит при этом непременно или Философов, или Бердяев, или Волжский, или Карташев, то Д. С, лукаво взглянув на меня и сделав шутливую гримасу (т. е. давая мне понять, что я опять-таки «завивался» в пустоте), вводит меня в курс разговоров, и я, в свою очередь, начинаю «поднимать» на своих плечах грузную, пудовую, религиозно-общественную тему. Между домом Мурузи и казармами я чувствую себя разорванным все недели моего петербургского жития. Жизнь у Мережковских была интересна, кипуча, чревата вопросами и пронизана подлинным общением и великолепным, сердечным, подлинно братским отношением друг к другу между членами нашего маленького коллектива, но до чего утомительной, грузной мне казалась эта жизнь, приведшая-таки Д. С. Мережковского к струвенской «Полярной звезде» с самого начала революции девятьсот пятого года и замкнувшая его в полярном круге той общественности, к которой мы, «аргонавты», относились тогда еще с предубежденностью, как к кадетской общественности.

К Блокам я вырывался из этой интересно-тяжелой жизни, как к себе домой, в отдых, в тишину, где никто не нападает с вопросами о том, что «или мы, или никто», но где встречают всепонимающие глаза А. А., который, мягкой рукой взяв меня за локоть, проведет к себе, усадит в удобное кресло, улыбнется и предложит из большой деревянной папиросницы папиросы, — мы сидим друг перед другом и помалкиваем с добрыми, чуть-чуть ласковыми улыбками, скользящими на лицах. В этих улыбках, перерываемых затяжкой папирос, происходит между нами немой разговор: «Что, измучился в проблемах? Опять украдкой удрал?» Ответ: «И не говори». — «Опять будет нагоняй и Д. В. Философов прочтет тебе нотацию, что ты у меня «завиваешься», и вечером, в присутствии Таты, Наты, Антона будет разбираться вопрос о том, как быть с Борей, преданным сектантскому безумию?» Все это молчаливо проходит между мной и А. А., ибо он с обычной своей невыразимой чуткостью догадывается о всех картинах моей жизни у Мережковских, вплоть до разговоров там о нем, и провоцирует своими смешками меня к из-

лишней откровенности с ним, на которую я иду, потому что вижу его теплое, мягкое отношение к Мережковским. Он, не перенося их как общественных деятелей, считая их, как таковых, дотошными и слепыми, нарочитыми, особенно отрицательно относясь к ним за компромисс (брак с идеалистами), тем не менее с мягкой человеческой симпатией подходит к ним как к людям. Разговор наш с А. А. в то время часто вращался вокруг Мережковских, потому что А. А. их любил и ценил, понимая их в интимном быту, но поскольку они это свое интимное превращали в общественно обязательное, постольку он видел в них лишь субъективистов, сломавших все ценное в собственных устремлениях, в упорном хотении раздуться до новых Лютеров и обреченных на неудачу. И во-вторых: А. А. видел мое увлечение Мережковскими и, братски любя меня, входил в мои интересы, видя меня, которого он любил, в их среде, видя трудности, возникающие отсюда для меня, понимая, что это все — «не то» для меня. Это сочувствие, умение это перевоплотиться в мелочи моих интересов происходило от большой нежности ко мне и ясного понимания меня в моем внутреннем образе. Я видел это. Уже одна несоизмеримость отношений А. А. к Д. С. Мережковскому сравнительно с отношением Д. С. к А. А., — трезвая любовная чуткость с одной стороны и непонимание с другой, решило мой выбор: я влекся к А. А. всей душой. Так убегал я от религиозной общественности к А. А., как к себе (каждый день убегал), и отдыхал душою и духом в гостеприимном доме. Так что за день до отъезда я простился с Мережковскими и перебрался в гостиницу, чтобы провести мой последний петербургский день нераздельно с А. А. и Л. Д. (после мне «досталось» за это от Мережковских). Время моих путешествий к А. А. через Литейный мост — два-три часа дня. Очень часто просиживал я у Блоков до семи-восьми часов вечера. Квартира, в которой они жили, была светлая, чистая и просторная. Из передней вели две двери, одна — в комнаты А. А. и Л. Д., в кабинет и спальню, отделенные от всей квартиры и составлявшие как бы квартиру в квартире. Другая дверь вела в просторную комнату, поражающую чистотой паркетов и белизною стен. Здесь была расставлена мебель, стоял рояль и, если память мне не изменяет, небольшой книжный шкап. Отсюда направо дверь уводила в столовую, откуда уже шла в комнаты Ф. Ф. и Александры Андреевны, в коридор

и кухню. Очень часто дверь отворял мне сам А. А. и проводил к себе в кабинет: узкую комнату в одно окно, кончавшуюся дверью в спальню, откуда часто к нам выходила Л. Д. или куда скрывалась во время наших долгих сидений. Комнату занимали: большой письменный стол, помнится красного дерева, диван. Перед столом стояло удобное кресло, у окна столик с креслами и против стола узкий книжный шкап. А. А. в эту пору ходил дома в необыкновенно шедшей к нему черной шерстяной рубашке без талии и не перетянутой пояском, расширяющейся к концу, с выпущенным широким отложным белым воротником à la Байрон, с открытой шеей, напоминая поэта начала столетия. Его курчавая голова, высокая шея и вся статная фигура останавливали внимание. Я садился на диван, опершись рукою на край стола. А. А. садился в кресло перед столом, а выходившая к нам Л. Д. очень часто забиралась с ногами на кресло около окна, и начинались наши молчаливые многочасовые сидения, где разговора-то, собственно, не было, где он был лишь случайными гребешками пены какого-то непрерывного душевного журчания струй, а если и был разговор, то вел его главным образом я, а А. А. и Л. Д. были ландшафтом перерезавших их ручья слов. Помнится, что этот ручей был — для ландшафта, где взвивались птицы, восходили и заходили зори. Помнится, З. П. Гиппиус допытывалась у меня: «Ну, о чем вы у Блоков, например, говорите? А. А. человек молчаливый, Л. Д. тоже, я не понимаю, что вы делаете там каждый день». И я должен был раз признаться, что разговора-то в обычном смысле у нас нет вовсе. «Но это какое-то молчаливое радение, — даже возмутилась З. Н., — все эти несказанности, неизреченности, где-то, что-то и кто-то, — весьма опасная вещь». Она не могла понять, что не было никакого «где-то» и «что-то» у Блоков, а было подлинное, хорошее, человеческое конкретное общение, самое представление о котором испарялось в абстрактной, многословной, вырождающейся интеллигентской писательской среде, в которой А. А. был уже в одном своем факте конкретного отношения к человеку подлинным революционером, явлением непонятным, о котором нужно было непременно судить вкривь и вкось. И я слышал эти разговоры об А. А. вкривь и вкось в литературной среде тогдашнего Петербурга. Как в эпоху «Двенадцати» на него косились за «большевизм», так в эпоху выхода «Стихов о Прекрасной

Даме» на него косились как на антиобщественного, как на крайнего «субъективиста», ходящего с какою-то мистической невнятицею в душе. Его, конкретнейшего, трезвейшего среди «абстрактов» тогдашнего времени, обвиняли в невнятице за то, что «невнятицу» часто жалких и квази-ясных схем он не принимал, не понимал и выражал откровенным коротким: «Не понимаю». С этим «не понимаю» появлялся он в кружках тогдашней литературы. Я помню А. А. где-то среди шумного собрания того времени (может быть, у В. В. Розанова), — замкнутый, немой, с окаменелым и казавшимся чем-то испуганным затемненным лицом, с плотно сжатыми губами, сопровождая молчанием разливное море слов, всем видом своим показывал: «не хочу», «не принимаю», «не понимаю», — вызывая любопытное, опасливое отношение к себе: «Блок — он какой-то немой, провалившийся в своем субъективизме». Помнится, я никогда не мог даже защищать его, не мог выявить его таким, каким он был, именно потому, что я ясно представлял себе бездну, отделявшую живые устремления А. А. от слов, слов и слов, от которых ныне не осталось и следа. Я только отмахивался на все характеристики А. А., почти не оспаривая их, ибо мне было так трудно приподнять для «внешних» людей его подлинный образ, как отцу выразить то, что он испытывает к сыну, как мужу, что он испытывает к жене, брату, когда он без слов физиологически несет брата в душе своей.

А. А. Блок, насколько я помню, в ту пору редко показывался на людях. Он все время сидел дома, и я не мог его представить себе без Л. Д. Быть с А. А. значило очень часто быть с Л. Д. Он имел вид домашний, семейный, уютный, разительно противоположный тому виду одинокого, бездомного, каким он порою стал выглядывать позднее. Неотразимый внутренний комфорт распространялся вокруг него, и мне было приятно сознавать, что в этот свой уют и комфорт он принимает меня. Ему было легко со мной в то время, даже казалось, что минуты недоговоренности и взаимной проверки друг друга, бывшие между нами в Шахматове и Москве, отошли в далекое прошлое, что исчезали между нами все вопросы («нет вопросов давно и не нужно речей» [103]), оставалась ясная, тихая, незамутненная поверхность глубокого нашего общения, И эту поверхность я зыбил как угодно (словами, шутками, шалостями, молчанием).

Помнится, это ощущение духовной близости между мною и всем семейством А. А. казалось при всей его парадоксальности настолько ясным, что Александра Андреевна раз сказала мне, как само собою разумеющееся: «Как же нам быть без *вас*», — что я принял как аксиому. И даже вставал вопрос о моем переселении в Петербург.

Изредка, когда А. А. не оказывалось дома (обыкновенно тогда Л. Д. сопровождала его), я оставался с Александрой Андреевной, и мы вели с ней нескончаемые разговоры.

Эта общность бываний вместе не была абстрактной. Каждый к каждому чувствовал своеобразную окраску отношений: у меня была своя окраска для А. А., другая для Л. Д., для Александры Андреевны. Мы в эту пору часто говорили в красочных символах и определяли тоны, в которых мы воспринимали наших знакомых. Я импровизировал, а А. А. реагировал, красочно меня исправляя. Помнится, что отсутствие С. М. Соловьева, доселе всегда участвовавшего в нашем общении, к удивлению, не только не препятствовало нам быть вместе, но даже как будто и облегчало нас: не чувствовалось форсированности «теократического» нажима, было шире, спокойнее, уютнее, прочнее. Если мое пребывание в Шахматове извлекло во мне звук «розово-золотых» зорь, то чувство совместно проведенных с А. А. этих петербургских недель оставило во мне след, как будто я находился под ласковым глубоким голубым небом, перерезанным немного грустными облачками-барашками. Вместе с тем чувствовалась и грусть. Ясно без слов осознавалось: зори ослепительного дня суть зори далекого будущего, которого мы, вероятно, никогда не *увидим*, — ну что же, *ничего*, — оставались отблески зорь в душах. И связь душ друг с другом в их озарении оставалась единственными, ни с чем не сравнимыми человеческими отношениями, которые были нам подарены, как жемчуг, и которые надо было достойно пронести через жизнь.

«О чем пишете, о чем говорите? — способны и по сию пору воскликнуть многие недоумевающие *читатели*. — И о каком общении идет *речь*, — дружеском, идеологическом?» — О том общении, которое есть мистерия человеческих отношений, которую так позорно затаптывают в пыли *жизни*, — о той мистерии отношений, которая и есть мистерия собственно, или загадка, загадываемая и по сие время филологии — чем была мистерия древности, о том

ощущении бессмертия, звуки которого извлекаются только тогда, когда души протянуты к душам, от Главного к Главному, которое есть дух — «глаза в глаза: бирюзовеет... меж глаз — меж нас — я воскрешен, и вестью первою провеет: не я, не ты, не мы, но Он» [104]. К этому стремились Мережковские, но заглушали Главное суетой «вопросов». И это чувствовал как атмосферу А. А. без всякого оформления: звуки далекого, все еще не углубленного нового отношения человека к человеку.

Помнится, в эти революционные дни в Петербурге Айседора Дункан исполняла Седьмую симфонию Бетховена и ряд номеров Шопена, и помнится, как мы (главным образом Л. Д. и я) отдались этой звукоритмии, столь близкой впоследствии для меня. Помню, мы были вместе в концерте. Не забуду никогда появление Дункан в allegretto (вторая часть симфонии) и не забуду Двадцатой прелюдии Шопена. Звуки Двадцатой прелюдии и жесты Дункан были для нас символом новой, юной, зареволюционной России, большого зеленого луга, на котором, как цветы, развиваются новые песни и пляски. Этот звук Двадцатой прелюдии сливался с звуками новой, еще не достигнутой высоты человеческих отношений, той «коммуны мечтателей», о которой впоследствии писал я [105]. «Коммуна» понималась мною тогда наивно-реалистически, понималась как своего рода «наша» коммуна, противоположная «коммуне» Мережковских. Помнится, в один из периодов быстро промчавшихся недель Л. Д. обратилась ко мне с вопросом о том, как обосновать то, что было предметом наших утопических разговоров в Шахматове, т. е. если бы сфантазированный С. М. Соловьевым мыслитель Lapan жил в наши дни, то в схемах какой идеологии мог бы он выразить свою философию? (Л. Д. была тогда курсистка-филологичка и интересовалась философией.) Помнится, что я ответил на это целой попыткой развить новую систему философии и ряд дней читал нечто вроде лекций перед А. А. и Л. Д., начиная с Канта, Вундта и других философов и кончая смелейшими теологическими выводами, — целую философию символизма. Я хотел было ее написать (в эпоху одиннадцатого — двенадцатого годов), но она встретилась во мне с доктриной Рудольфа Штейнера, которой я отдался в те годы.

Так жил я в Петербурге двойной жизнью, проводя дни у Блоков, а вечера и ночи в общении с Мережков-

скими. Помнится, одно время часто приходил ко мне Л. Д. Семенов и вызывал меня от Мережковских в Летний сад, где рассказывал о своем потрясении, о резком сдвиге сознания, — он шел вместе с рабочими к царю, надеясь, что царь выйдет к рабочим, и прямо попал на расстрел, — вокруг него валились люди, и он переживал бурный переворот от монархизма к эсерству. Одно время его мечтой было убить кого-нибудь из царской фамилии. Помнится, в это время к Мережковским явился из Москвы В. Ф. Эрн и В. П. Свенцицкий с проектом обращения к Синоду от группы христиан, протестующих против покрытия расстрелов именем церкви. Мережковский, Философов, Карташев горячо откликнулись на это. Мы собрались в «Пале-рояле» на Пушкинской улице, в номере там жившего П. П. Перцова, для обсуждения этого обращения. Кроме упомянутых мною лиц, меня и П. П. Перцова, помню, что там были: В. А. Тернавцев, секретарь Синода, В. В. Розанов. Тернавцев, выслушав речь Свенцицкого о том, что он готов лично явиться с этим обращением к иерархии, отнесся с недоверием к пафосу Свенцицкого и прибавил: «Ну, что же, может быть, вы и пророки, идите, читайте». На это Философов возразил: «Как это вы, В. А., прекрасно зная, что грозит этим юношам, с такой невинной миною приглашаете их совершить такой проступок, — это значит, направить их в пасть к льву», на что Тернавцев ответил полушутливо, полусерьезно: «Что же, если они считают себя вправе обличать представителей церкви, они должны быть готовы на все». Присутствующий здесь В. В. Розанов все больше помалкивал, блестя золотыми очками и потряхивая коленкой. Он осведомился небрежно о происхождении В. Ф. Эрна и Свенцицкого, подчеркнувши их нерусское происхождение, а относительно их пыла реформировать православие небрежно сказал: «Была навозная куча, и осталась навозная куча, нечего ее и раскапывать». Так был он настроен антиправославно в то время. И тем не менее меня поразила его дружба и согласие во многом с Тернавцевым: они называли друг друга Васей и Валей и поехали от Перцова обнявшись, на одних санях. Я понял, что соединяет их не религия вовсе, а быт, эстетика культа.

Помнится, в эти дни мы вышли от Мережковских втроем, — Свенцицкий, Эрн и я, — и у Литейного моста в разговоре Свенцицкого со мной у него в голове возникла идея «Христианского братства борьбы», которое скоро в

Москве и осуществилось, но к которому в Москве я уже не примкнул. Прокламации братства печатались в комнате Эрна и Свенцицкого, живших вместе на Предтеченке (в угловом доме, наискосок от бывшей Поливановской гимназии: вход к ним был через писчебумажный магазин). Помнится, я шел к А. А. Свенцицкий пришел со мной к Блокам и, усталый, угрюмый, просидел там весь вечер. А. А. он и на этот раз решительно но понравился, а к идее «братства» Блок отнесся резко отрицательно. Так протекали наши петербургские дни, — и вот, уже приближался день отъезда. Последний день я провел у Блоков. В последний раз между нами была тишина и гармония, никогда уже больше не появлявшаяся до периода наших встреч после 1910 года. Мы вступили в трудный и сложный период наших отношений, длившийся с лета 1905 года, когда я еще раз, и в последний, с С. М. Соловьевым, гостил в Шахматове, после которого последовала уже новая встреча, новый цикл отношений, *именно в темном,* что оба мы друг от друга таили в эпоху 1904—05 гг., в том темном бездонном небе, которое однажды выступило у нас, в нашей шахматовской беседе, — в небе, которое может быть и небом духа, и тяжелой судьбою, в зависимости от человеческого подхода к нему, но которое я называю пока внешним сочетанием слов: *«трагедией трезвости»* называю я нашу грядущую встречу. Между этой трагедией трезвости и ласковым душевным уютом с мечтами о мистерии шел трудный кряж для нас одинаково тяжелых годин, 1906—07—08—09 годов, где линия наших встреч из прямой стала вдруг ломаной.

Мне необыкновенно трудно охарактеризовать А. А. в период этих наших встреч. Пришлось бы или вскользь коснуться их, или постараться выявить и членораздельно рассечь узел наших взаимных отношений, сплетенных из решительного переворота в моих идеологических построениях, уже далеких от А. А., вплоть до литературной тактики, и из узла душевного перелома, происшедшего в сознании А. А. Из него он вышел с тем суровым, замкнутым, опаленным видом, с тою, лоб перерезывающей складкой, с теми мешками вокруг глаз, с тем угрюмым почти видом, который был часто для него характерен во всю дальнейшую его жизнь. Блок, загорелый, от розово-золотого воздуха, стал Блоком спаленным, сожженным пламенем судьбы. Кончился период Блока, как автора «Стихов о Прекрасной Даме». Певец «Незнакомки», «болот-

ных марев», создатель «Балаганчика» — вот кто выступил в А. А. из первого периода его поэтической деятельности. И этим периодом оканчивается первый период моего общения с ним, на нем я оканчиваю свои воспоминания об А. А. просто потому, что одна попытка очертить А. А. этой первой эпохи заняла уже столько печатных страниц. Между тем, вспоминая А. А., нельзя было обойти А. А. 1903—04 годов, а я был в этот период ближе многих к нему, и мне выпадает на долю естественно остановиться на этом периоде.

Никогда не забуду последнего нашего дня, проведенного вместе, когда мы уславливались, что встретимся летом в Шахматове. А. А. и Л. Д. провожали меня на вокзал, и когда поезд тронулся, я увидел в окно их ласковые, мне кивавшие лица.

По возвращении в Москву, взяв в руки газету, я узнал об убийстве великого князя Сергея Александровича, происшедшем накануне, в час нашего расставания с А. А. И опять, как при известии об убийстве Плеве в день возвращения из Шахматова в Москву, меня поразило внешнее совпадение моих отъездов к Блоку или от него с днями значительными: отъезд из Шахматова — убийство Плеве, въезд в Петербург — в день расстрела рабочих, отъезд — в день убийства Сергея Александровича, и потом второй отъезд из Шахматова совпал с событиями на броненосце «Потемкин», отъезду в Москву 1905 г. в декабре помешало Декабрьское восстание, приезд к Блокам весной 1906 года совпал с открытием Первой Думы, переезд из Дедова в Москву в 1906 году в связи с моими мыслями об А. А. совпал с взрывом столыпинской дачи на Аптекарском острове [106]. Точно в ритм наших отношений с А. А. врывался другой страшный ритм, который нужно было осознать. Конечно, я ничего не строил на этих совпадениях. Помню только, что в письме А. А. ко мне в Москву было отмечено: совпадение моего отъезда с событием политической важности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мои «Воспоминания» — первая глава воспоминаний. Две другие пока не написаны. Я постараюсь их написать. Они составят период наших общений и встреч 1905—1907 годов. Этот период опять-таки замкнутая глава воспоми-

наний. Здесь стиль наших встреч, общений и разговоров иной, — тревожный и сложный. Этот второй период обнимает деятельность А. А. эпохи писания им стихов о «Нечаянной Радости», «Снежной маски», «Балаганчика», «Незнакомки» и критических статей, помещенных в «Золотом руне», органе, мне и враждебном, и чуждом, как были чужды ему в то время «Весы» и кампания «Весов» против петербургской линии символизма и, в частности, против союза А. А., В. И. Иванова и Г. И. Чулкова, возглавляемого «Факелами» и книгоиздательством «Оры». И, наконец, третий период наших отношений, составляющий третью главу воспоминаний, — эпоха новой встречи и нового, прочного, ничем не замутненного понимания в основном ядре наших личностей при полной противоположности наших выявлений, интересов и оформлений нас в литературных и общественных кругах. Этот период тянется от 1910 до 1921 года, вплоть до смерти поэта. Звук и окраска всех наших встреч этого последнего периода протекают в теме темно-синего, глубокого, сосредоточенно серьезного оттенка, который выбран А. А. для цвета букв заглавия на третьем томе (издания Пашуканиса[107]).

В трех этих периодах личность А. А. очерчивается передо мною всякий раз по-новому. Новый ретуш ложится на то, что заставляет нас и в дружбе и во вражде одинаково живо поворачиваться друг к другу. Но одно общее остается во мне от этих, столь различных наших трех встреч, — утопической первой, трагической во многом второй и спокойно-трезвой и мужественной третьей, где слова «верность» и «доверие» друг к другу являются лучшим характером наших отношений: общее, целое — есть необыкновенная важность самого бытия А. А. для меня и моя обращенность к нему, к его миру мысли со всем, что я носил в себе. Все это показывает, какую роль играл он в моей жизни. Вероятно, он и не подозревал, сколькими статьями я ему обязан, сколько идеологических оформлений во мне созрело под импульсом его глубокой, молчаливой личности! Во многом он сам бывал для меня тою глубинной книгой, которую я читал, порою запутываясь, с трудом дешифрируя сложные и невнятные тексты этой глубинной книги, — разражаясь порой градом фельетонов и публицистических заметок против непонятого текста молчания А. А. Долгий мой период возвеличивания поэзии Брюсова и углубления в тактику специфически московского символизма, вся серия моих заметок в «Весах»

под заглавием «На перевале» стоит в связи с не понятым мною миром сознания А. А., столь мучившим меня, и в связи с моей горькой и глубоко несправедливой рецензией о «Нечаянной Радости» («На перевале» [108]), где сказано, что Блок, подменою «Прекрасной Дамы» «Незнакомкой», приобрел поэтическую внешнюю силу ценою исключения себя из предела Иоаннова Храма, т. е. здания новой культуры, построенного на новом культе человеческих отношений. Вся линия моей полемики с «символическим» театром проистекала из понимания театральных интересов А. А. как подмены некоей *мистерии жизни* в нем театром и балаганом.

Он, такой молчаливый, был для меня ходячей идеологией, влиявшей на меня всегда с неизменною силою, тем магнитом, по линии протяжения или отталкивания от которого строилось очень многое в моей идеологической жизни. А. А. Блок, чистый поэт, далекий от идеологии, для большинства из его поклонников, был для меня сам в себе воплощением идеологии, конкретным философом, а не только любимейшим из поэтов, не только близким и значительным человеком. Это продолжалось до 1912 года, когда я стал близок к проблемам «духовного знания» и в них получил ответ на многие мои вопросы, обращенные некогда к А. А. И А. А. это знал, знал, чем он был для меня, и отвечал мне таким жестом духовного общения, который протягивал над нами связь даже в периоды разрыва всех внешних связей вплоть до перерыва письменных сношений [109].

Вот почему, характеризуя фигуру А. А., я не мог его выключить из общего фона эпохи: его бытие само по себе, его частная жизнь — есть эпоха, настолько эпоха, что эпизоды этой жизни, превращаемые им в стихи, становились любимыми строчками всего живого и передового в истинном смысле на протяжении двух последних десятилетий. Было в нем нечто эпохальное, и потому-то, когда он входил в то или иное общество, сидел, молчал, наиболее чуткие воспринимали это молчаливое присутствие Блока, как присутствие Эпохи и как Чело Века, действующего в этом прекрасном челе, перерезанном строгою морщиной сосредоточенной боли. И молчание этих скорбно изогнутых сжатых уст и несколько надменно закинутая голова, — все действовало как Слово, которое нужно было переживать во многих словах, статьях, идеологиях. Он был как бы сам по себе идеологией, действующей по-

тенциально и вызывающей вокруг себя динамизм. Он не писал идеологических трактатов, но идеологи притягивались к нему: сначала мы, москвичи, потом В. И. Иванов, Г. И. Чулков, потом иные. Блок, такой «безыдейный» в своей поэзии, именно всегда пребывал крупной фигурой того или иного идеологического центра. Таким он оставался до последнего времени, таким своим, личным, считала его Вольно-философская ассоциация, в которой он сравнительно мало выступал, но в которой неизменно духом присутствовал. Таким чувствовало его ранее «Знамя труда», независимо от его беспартийности, таким чувствовали и прежде его «Факелы», «Оры», «Сирин», «Мусагет», «Труды и дни», «Золотое руно» и т. д., — не поэтом только, а идеологом.

Я более, чем кто-либо, всегда осознавал его действующим на весь мир моей мысли и настраивающим его на тот или иной лад. Целый ряд мыслителей, с которыми я общался в то время, не давали мне никакого живого импульса, сколько бы прекрасных и ярких мыслей они ни излагали мне. А. А. одной фразой, одним жестом активно динамизировал мой внутренний мир, и порою мало знавшим наши внутренние отношения могло казаться, что мы обмениваемся незначащими фразами, но эти фразы очень часто были шифром, другим непонятным. Ключи к шифру — тот непередаваемый фон наших внутренних отношений, где с одного слова угадывался ненаписанный том.

И потому, вспоминая фигуру А. А. в одном лишь периоде нашего общения с ним, мне приходится мобилизовать и эпоху, и идейные течения того времени, и разнообразный мир моих мыслей, устремлений и чувств. Можно сказать, я его читал и видел не только по его внешнему облику, а из своего сердца. И чтобы понять его в том или ином его жесте, нужно было мне как бы отвернуться от него, закрыть глаза руками и сосредоточиться на неуловимых движениях сознания. В них прорастало мне то или иное слово А. А., и я отвечал на это слово подчас не внешним ответом, а ответом на образы своего внутреннего мира, встававшие из сердца. Он сразу понимал, *откуда* во мне этот ответ и *куда* он обращен, т. е. мы порою говорили словами о том, что лежит *за словами:* оттого-то, когда мы верно прочитывали друг друга в шифре слов, мы достигали невероятной близости и понимания, а когда не умели прочесть, то между

нами поднималась та сложность и путаница отношений, которая пугала своей катастрофичностью.

В своих воспоминаниях этих, так много говоря о себе, о своем, я выговариваю не свое, а действующего во мне А. А. В этом внутреннем действии на меня — особенность стиля наших отношений, особенность того sui generis * не дружбы, не товарищества, а братства, которое столь редко, столь недосягаемо в жизни людей, которое, когда оно есть, считается чудом. Здесь я останавливаюсь и хочу поставить точку. И нет: еще рано.

Я провел читателя по двум-трем годам нашего общения, а это общение обнимало восемнадцать лет. Теперь я вынужден опустить занавес над этими воспоминаниями. Занавес — краткий обзор, как бы с аэроплана, главнейших географических точек страны наших встреч.

Наши юношеские устремления к заре, в чем бы она ни проявлялась — в идеологии, в жизни, в личном общении, — были как бы планом совместной жизни в новых пространствах и в новых временах. И понятно, когда возникали речи о конкретном материале для здания этой жизни, возникали недоумения и трудности, неведомые тем, кто ясно и трезво делит жизнь на бытовое отправление функций и на абстрактное изложение идей, не зацепляющихся за жизнь.

Эти трудности нарастали. И первый удар нашим чаяниям было полное непонимание друг друга в Шахматове летом 1905 года, когда, с одной стороны, теократические устремления С. М. Соловьева шли вразрез со всем стилем и тоном отношений, сложившихся между мной и А. А. в Петербурге; с другой стороны, моя постоянная жизнь в Москве, а летом в Дедове, с С. М. Соловьевым, стиль наших отношений en deux ** был до конца не ясен и непонятен Блокам. Я видел двойное непонимание друг друга двух лучших моих друзей. И в этом непонимании душа моя раскалывалась пополам. Я хотел сгладить, стушевать острые углы в этом начавшемся расхождении между С. М. Соловьевым и А. А., расхождении, которое стало уже совершившимся фактом в те дни и которое продолжалось почти до кончины А. А.

Трудно и невозможно здесь вскрыть причины этого расхождения. Это не было расхождение лишь идеологи-

---

* своего рода (*лат.*).
** вдвоем (*фр.*).

ческое, — о н е т, — а расхождение двух линий жизни, вплотную подошедших друг к другу и вдруг увидевших, что все, что прежде соединяло их, сплошное недоразумение: тут были и идеологические мотивы, и личные, и та своего рода борьба, которая бывает лишь в столкновениях родственной крови. А. А. вдруг почувствовал в С. М. линию «Коваленских», т. е. линию бабушки С. М., которую исконно не принимал в сознание А. А. Уже тот иррациональный факт, что в С. М. есть нечто «Коваленское», подменял сам образ С. М. и делал для А. А. из его соловьевства лишь маску, под которой утаивалось нечто иное, прямо противоположное. Нечто подобное одно время в А. А. почувствовал и С. М. И вот — два друга обернулись друг к другу новым аспектом, кажущимся обоим химерой. Тут выявилась вся нетерпимость и, сказал бы я, субъективность в отношении А. А. к своему другу и родственнику. И я вынужден был присоединиться во многом к С. М. Были, наконец, и причины, вовсе не поддающиеся описанию, в этом мучительном для меня расхождении [110].

Наконец, тут же выявилась впервые и линия нашего расхождения с А. А. уже совсем в другой плоскости. А. А. и меня увидел другим, не тем, каким я стоял перед. ним прежде: линия нашего общения шла от зорь будущего к самому конкретному братскому общению, в котором он брал меня человеком. Вдруг он увидел ясно во мне ряд, мне самому еще не до конца ясных, «человеческих, чисто человеческих нот, и, не осуждая меня за них, он просто хотел, чтобы и я поставил точку над «i», т. е. признался бы себе в том, в чем я не хотел признаться, какою бы ценой это признание ни было куплено. Я упирался, боролся и закрывался щитом «теократии» С. М. Соловьева, отстаивая последнего в его теократическом фанатизме против А. А. Это не нравилось А. Л., и он с глубокой грустью и тревогой прозирал неминуемые, чисто трагические минуты, которые отсюда возникнут. Я, с своей стороны, впервые увидел в А. А. размах того трагического надрыва, который вел его неизбежно к написанию «Балаганчика». То «черное небо», которое в прошлом году выступило на миг над нами, теперь являлось для меня сплошным фоном его моральной жизни. И потому ряд стихотворений, составляющих ядро его «Нечаянной Радости» и прочтенных им нам в то время, укрепило и С. М. и меня в мысли, что Блок перестал

быть Блоком. Словом, между всеми нами вдруг углубилась линия различия, — союз нас трех был безвозвратно разорван. И этот разрыв уносил я как глубокий надрыв. Подлинная причина «надрыва» лежит, конечно, еще глубже, но о ней трудно писать.

Эта подлинная причина, все развиваясь и развиваясь во мне, в С. М., в А. А., в каждом по-своему, привела к горькому обмену письмами между А. А., с одной стороны, С. М. и мной — с другой. Словом, я написал А. А. письмо, где извещаю его о разрыве наших отношений. Этот разрыв был истинным горем моих осенних и зимних месяцев 1905 года. Наконец я не выдержал и, не имея возможности написать А. А. (это была эпоха почтово-телеграфной забастовки), я нарочно поехал в Петербург, чтобы иметь объяснение с А. А.

Объяснение состоялось. Мы нашли опять ритм, уже новый, и провели несколько недель вместе. Это было в ноябре — декабре 1905 года.

В 1906 году я опять не раз был в Петербурге, — в феврале — марте и в апреле — мае, где причина нашего расхождения опять выявилась во всей своей неприемлемости, что повело нас к бурному обмену объяснений (в августе и сентябре 1906 года в Москве и Петербурге), после чего я уехал за границу, не понимая многого в А. А. Мы и литературно оказались во враждебных лагерях, — он, как мне казалось, в лагере мистического анархизма, который был для меня линией профанации символического течения.

Расхождение с А. А. привело меня к написанию ему одного едкого, почти оскорбительного письма летом 1907 года [111].

В нашем трудном положении друг относительно друга А. А. был гораздо объективнее меня и все время боролся со мной, противополагая свое «нет» моему настойчивому «да». В некоторых вопросах, стоящих между нами одновременно в другой плоскости, более глубокой, как бы обращаясь к самому ядру человеческого сознания во мне, говорил мне свое неизменное «да» и протягивал свою братскую руку вопреки всем расхождениям. Но сфера, куда скрылся для меня А. А., казалась мне именно сферой темной грусти, разлитой вокруг него.

Между тем это была сфера ночного бездонного неба. Наши зори были изорваны. В лоскутья этих зорь облеклись персонажи из «Балаганчика», самое небо разорва-

лось, как папиросная бумага, изображающая небо в «Балаганчике». Но настоящая небесная бездна, а может быть, мне не видная духовная бездна, переживаемая нами, как рок, просвечивала во всех внутренних жестах А. А., оставшегося верным чему-то последнему, внеобразному и в душевных движениях невыразимому. Сферу этого строгого мрака, порога перед подлинным откровением духовного мира, быть может, пытался основать и основывал впоследствии А. А., что показывает стиль его отметок в произведениях Антония Великого («Добротолюбие», т. I). Эти отметки замечательны, и, быть может, этими отметками сигнализировал он бессознательно мне сквозь всю бездну нашего с ним расхождения. Антоний говорит: «Свободу, блаженство духа составляют настоящая чистота и прозрение при временности» (2—18) — подчеркнуто А. А., — «знайте, что дух ничем так не погашается, как суетными беседами» (тоже подчеркнуто). Он хотел со мной быть в общении в той сфере, которая не нарушалась бы суетными беседами, объяснениями, и из какой-то иной сферы протягивал мне руку без слов. Я, видя полный хаос и замутненность в наших духовных отношениях, требовал как бы от него возврата к ясной духовной атмосфере 1904—05 г., увы, уже невозвратной, а сам духовно не мог приподняться над собственной душевной смятенностью и потому-то руку общения, протянутую из Духа, встречал, как черную, мне непонятную тень, перерезавшую сферу душевной мути. Эта «черная тень» вместо «я» А. А., оставаясь непонятой, прочитывалась мной, как действие злых сил на меня сквозь него, и потому-то с такой страстной нетерпимостью я точно прицеливался нарочно в эту мне непонятную сторону отношений ко мне А. А., не прочитываемую мною как *высшая объективность,* а прочитываемую как слабость, дряблость и духовный компромисс.

Весь облик А. А. исказился во мне. Я точно придирался к поводу, чтобы оскорблять его в темной для меня точке его поведения, и в своем придирчивом письме 1907 года я обвинил его чуть ли не в литературном лакействе перед группой писателей, возглавляемых Л. Андреевым, я оскорбил в нем дух, и А. А., такой терпеливый и мягкий во всех расхождениях со мной, ответил мне неожиданно бешеным письмом, кончившимся вызовом на дуэль.

Дуэль не состоялась, по следствием этого резкого обмена мыслями явился приезд А. А. в Москву в августе седьмого года. Он жил тогда в Шахматове, руководил, если не ошибаюсь, оттуда литературным отделом «Золотого руна». Наше свидание с ним произошло, так сказать, тайно от нас разделяющих литературных партий. Я, уведомленный им об его приезде, ждал его с нетерпением, не зная, чем окончится наш разговор, А. А. позвонил ко мне в семь часов вечера. Мы затворились с ним в моем кабинете, и к десяти часам выяснилось, что мы нашли-таки точку, новую точку отношений друг к другу. Мы .ликвидировали, по существу, те душевные недоумения, которые нарастали на наших отношениях с лета девятьсот пятого года. После чая втроем (я, мама и А. А.) мы проговорили с ним всю ночь напролет, пешком на рассвете шли на Николаевский вокзал, по дороге зайдя в какую-то ночную чайную. В семь часов утра он уехал в Шахматово. Этот двенадцатичасовой разговор был первой тропою к стилю наших новых отношений, незыблемых, непререкаемых. И эту тропу, опять-таки, нащупал А. А., так благородно и прямо явившись ко мне и пожелавший, чтоб мы встали духовным лицом друг перед другом. Этот наш разговор был как бы разговором па духу. Душевные отношения еще портились, но незыблемая точка доверия и уважения в последнем друг к другу, оставалась при всех наших дальнейших расхождениях.

Вскоре мы встретились в Киеве. Группу московских поэтов киевляне вызвали на литературный вечер. В последнюю минуту И. А. Бунин отказался ехать, и С. А. Соколов, организовавший эту поездку из Москвы, пришел в уныние. Я предложил позвать А. А. и телеграфировал ему, прося приехать в Киев. Он мне отвечал кратко: «Еду», и мы встретились там.

Наши киевские перипетии были сплошным бум-бум, т. е. спекулятивной рекламой предприятия, в которую нас москвичи по неведению затащили. Но для меня эта поездка была радостной: те четыре-пять дней, которые мы провели с А. А. вместе, опять живут во мне как светлое воспоминание. С необыкновенной добротой и лаской он обхаживал мой душевный смятенный мир, а когда я однажды ночью почувствовал страшный припадок мне неведомого недомогания (чувствую, что я вот сейчас у п а д у, — чувство, воспринятое мной, как припадок начинающейся холеры — тогда в Киеве была сильная холера),

то я вбежал ночью в номер А. А., бесцеремонно поднял его с постели и все время быстро двигался перед ним взад и вперед (мне казалось, что как только я приду в спокойное положение, начнется припадок). Это был просто нервный припадок. А. А., как нянька, несколько часов возился со мной, не пустил меня в мой номер. Между нами возник опять один из тех непередаваемых разговоров, во время которого выяснилось, что А. А. попросту увозит меня из Киева в Петербург, потому что московский воздух мне вреден. Мы спать не ложились и рано утром соорудили кофе.

В этом желании конкретном возиться со мной и взять на себя тяготы общения с больным нервно-измученным человеком, с которым у А. А. было столько запутанных отношений, — в этом сказалось столько доброты, любви и сердечности, и, скажу прямо, самопожертвования (ибо в общении я был неприятным сожителем в то время), что я просто без оговорок с благодарностью согласился на предложение А. А., и А. Л. увез меня в Петербург, неожиданно для ожидавших меня в Москве лиц. И тут он поступил со мной, как старший брат, взял на себя инициативу наших общений.

На другое утро уехали москвичи, а я должен был читать лекцию в Киеве. А. А., которого ждали дела в Петербурге, нарочно остался лишний день, чтобы взять меня с собой вместе. Я еще не вполне оправился от своей нервности. А. А. всю дорогу от Киева до Петербурга оказывал мне ряд заботливых услуг. Всю дорогу мы провели в непрекращающемся разговоре. Так неожиданно я попал в Петербург и провел с А. А. две недели (я жил в гостинице «Angleterre» на площади Исаакиевского собора, а Блок жил в угольном доме улицы, выходящей на Николаевский мост, Галерной).

В октябре — ноябре я опять попадаю в Петербург, и опять я встречаюсь с А. А., но тут выясняется, что причина, проводящая между нами роковой рубеж, все еще неустранима [112]. Внутренно доверяя друг другу, мы остаемся каждый в своем быту, в своем кругу мыслей и разных, даже прямо враждебных литературных партий. Это было время близкого касания А. А. к театру Коммиссаржевской, <где> шел «Балаганчик», на котором мы были однажды с ним вместе.

Самый облик А. А. уже в этот период был не тот. А. А. девятьсот четвертого года как бы прятался в темной нише

образов за складками театральных кулис, откуда выступало то скорбное, строгое и бездонное лицо его, которое, вероятно, многим так памятно.

Восемнадцатого ноября 1907 года я уехал из Петербурга, и мы не встречались с А. А. лично до осени десятого года. Не произошло между нами разрыва. На время установилось то внутреннее молчание, которое выразилось во мне как моя продолжающаяся полемика с линией его литературной ориентации. Моя запальчивая и ужасно несправедливая рецензия на томик драм А. А. превратила это молчание в молчание внешнее, в литературную ссору. А. А. не отвечал мне на мою несправедливую рецензию, но понял ее как приглашение к расхождению. Узнаю это по письму А. А. к Пантюхову, написанному через несколько дней по получении номера «Весов» с моей рецензией, в Петербурге, 22 мая 1908 года: «Разве я не откровенен с Вами, дорогой Михаил Иванович, — нет, я не скрываю ничего и не «оберегаю». Но я чувствую все более тщету слов. С людьми, с которыми было больше всего разговоров (и именно мистических разговоров), как А. Белый, С. Соловьев и др., — я разошелся; отношения наши запутались окончательно, и я сильно подозреваю, что это от систематической «лжи изреченных мыслей».

Это расхождение или, вернее, молчание не нарушилось неловкой встречей нас с ним на вечере памяти Коммиссаржевской, где в пустой лекторской остались неожиданно три человека, которые наименее всего в то время хотели встретиться, — А. А., Г. И. Чулков и я. Помнится, мы сухо протянули с А. А. друг другу руки и тотчас же заходили взад и вперед, не произнося ни одного слова и стараясь друг на друга не глядеть. А. А. ходил от стены к стене, я тоже, но в направлении перпендикуляра, а Г. И. измеривал пространство комнаты по диагонали. Это неловкое молчаливое хождение друг перед другом длилось несколько минут, по я чувствовал уже в глубине души, что путаница между мной и А. А. ликвидирована, что то безусловное, верное и духовное, чему основа заложена нашим двенадцатичасовым разговором в Москве, развивается в нас вопреки всем формам духовного понимания и непонимания, вопреки всякой полемике, нас отделяющей. В это время был эпизод с напечатанием моей неудачной и мною же осужденной заметки «Штемпелеванная калоша» [113], вызвавшей шум и бойкот меня со стороны группы некоторых лиц, — инцидент, во время

которого А. А., внешне со мной все порвавший, держал себя с необыкновенным благородством и мужественно защищал меня от обвинений, в которых я был неповинен (повинен лишь в легкомысленности — мгновенном и субъективном помысле, от которого я сам отказался вскоре).

Я нарочно даю лишь внешний обзор наших сложных отношений друг с другом в эту эпоху, не вскрывая узла этих расхождений. Описание моих встреч с А. А. этого периода и детальная характеристика его отношений ко мне потребовали бы не этого краткого абриса, а ряда печатных листов, которыми в настоящем издании я не могу располагать [114]. Летом 1910 года произошла моя последняя, третья встреча с А. А., продолжавшаяся без единого облачка в наших отношениях на протяжении одиннадцати лет. Я случайно прочел в Волынской губернии стихотворение «Куликово поле», и действие этого стихотворения на меня было действием грома. Как цикл шахматовских стихов знаменовал для меня первую встречу с А. А., a priori окрашенную тонусом наших отношений, которые я пытался охарактеризовать в предыдущих отрывках, как чтение «Балаганчика» в феврале шестого года открывало для меня вторую тяжелую фазу наших отношений, так «Куликово поле» было для меня лейтмотивом последнего и окончательного «да» между нами. «Куликово поле» мне раз навсегда показало неслучайность наших с А. А. путей, перекрещивающихся фатально и независимо от нас, ибо стиль и тон настроения, вплоть до мельчайших подробностей, был выражением того самого, к чему я пришел, что я чувствовал, что я переживал всеми фибрами своей души, не умея это все высказать в словах. И вот А. А. за меня выразил в своем стихотворении это мое, т. е. опять-таки «наше с ним». Тут я понял, что эти годы внешнего молчания нас соединили вновь больше всех разговоров и общений, соединили в том, что уже не требует никакого общения, соединили нас в духе. В десятом году я уже задумывался над темою «Петербурга». И пусть «Петербург» носит совершенно иной внешний вид, чем «Куликово поле», однако глубиной — мотив «Петербурга», неудачно выявленный и загроможденный внешней психологической фабулой, едва слышимой читателю, укладывается в строки А. А.: «Доспех тяжел, как перед боем, теперь Твой час настал — молись» (а вся психологическая фабула «Петер-

бурга» есть подлинный рассказ о том, какими оккультными путями злая сила развязывает «дикие страсти под игом ущербной луны», и рассказ о том, как «не знаю, что делать с собою, куда мне лететь за тобой» [115]). Я тотчас же написал А. А. письмо, подобное первому, мною написанному (по поводу «Стихов о Прекрасной Даме»), и получил от него тотчас же ласковый, острый ответ, говорящий моему письму: «Да». И вновь возникла переписка между нами, а осенью десятого года мы все встретились в Москве уже по-настоящему, вечному. В эту встречу я познакомил его с моей будущей женой. Не забуду тех вечеров, когда А. А. проводил со мной время у трех сестер Тургеневых, из которых одна стала моей женой, а другая женою С. М. Соловьева. В этот приезд его в Москву в «Мусагете» наладилось издание его стихотворений.

В одиннадцатом году мне было трудно в материальном отношении. Предстояла альтернатива — отказаться от написания «Петербурга» и искать средств к жизни мелкой газетной, журнальной и редакционной работой или писать «Петербург» (но подвергнуть себя и жену лишениям голода и холода). А. А. случайно узнал об этом «Петербурге» * и в деликатнейшей форме уговорил меня принять от него в долг пятьсот рублей, бросить мелкую работу и сосредоточиться на «Петербурге». Это был решительный импульс к работе для меня, и я считаю, что А. А. косвенно вызвал к жизни мой «Петербург».

Помню еще одну незабвенную встречу с А. А. в феврале двенадцатого года в Петербурге, в один из периодов, которые назывались в петербургских литературных кругах периодами мрачности А. А., когда его нельзя было увидеть. В этой полосе мрачности он находился, когда мы с женой жили в Петербурге у В. И. Иванова, на «Башне» [116]. А. А. не виделся в ту пору ни с кем решительно, и особенно трудна была ему атмосфера «Башни». С В. И. он почему-то не хотел встречаться. И я не хотел смущать его покоя, но он сам уведомил меня запиской, которую мне передали тайно от В. П., что он желает меня видеть, но просит сохранить наше свидание в тайне, дабы

---

* Заказанном «Русской мыслью», ею потом отвергнутым в лице В. Я. Брюсова, П. В. Струве, не обеспечивших мне требуемых месяцев работы и, однако, поставивших условием в три месяца подать 12 печатных листов. (*Примеч. А. Белого.*)

не обидеть друзей, с которыми он не видится. Он мне назначил свидание, не помню где, кажется в каком-то третьеразрядном, глухом, никем не посещаемом ресторанчике. И тут мы встретились и провели несколько часов вместе. Этот наш разговор, редкий, но меткий, как все наши встречи этого периода, мне показал, какого друга я имею в лице А. А. Помню, я рассказал ему все обстоятельства моей так странно складывающейся жизни и все события, бывшие со мной за период от девятого до двенадцатого года, события, определившие мою встречу с Штейнером в мае двенадцатого года. Он слушал меня молча, сосредоточенно, хотя оформление моего пути было чуждо ему. Однако ядро моих недоумений и запросов было ему и приятно и близко. До позднего вечера просидели мы с ним и, как заговорщики, разошлись в разные стороны желто-туманной, слякотной февральской улицы.

Мы ясно пожали тогда друг другу руки, как «дети России», именно «как дети страшных лет» [117]. Мой скорый после того приход к антропософии, ему чуждой, он понял для меня и за меня, но нисколько не удивился ему, — он был подготовлен к нему теми нашими разговорами. Он сам иначе разрешал свой путь, — в методах разрешения мы были различны, в ядре, в ощупывании действительности, в Духе мы были в одном и тогда. Стиль его пометок к «Запискам чудака» (номер второй и третий [118]), которые он читал уже больной, остался мне, как последний, как бы загробный привет мне, как «да» тому, в чем мы встретились еще в 1910 году.

С 1913 года А. А. становится и в внешнем смысле для меня добрым гением, оставаясь всегда внутренне братом. Он устраивает с Р. В. Ивановым в «Сирине» мой «Петербург», отстаивает энергично его (издатель и редактор «Сирина» не хотели печатать «Петербурга») и тем дает мне два года материальной свободы, в которые я упорно и деятельно изучаю антропософию. Позднее, в шестнадцатом году, зная критическое положение нас, русских, отрезанных от России, с Р. В. Ивановым энергично принимается за выпуск «Петербурга» отдельным изданием от моего имени, устраивая мне материальное существование, помогая мне расплатиться с долгами, берет на себя бремя хлопот и всевозможных забот.

Повернувшись ко мне своим ликом Марии, т. е. будучи для меня источником душевно-духовной помощи во многих обстоятельствах моей жизни, А. А. становится

для меня и Марфой, т. е. берет бремя забот и хлопот для обеспечения моего материального существования [119].

Здесь, рисуя А. А. далеких годов, я не могу не отметить этих прекрасных штрихов его отношения ко мне в более позднюю уже эпоху, так чудесно обрисовывающих А. А. с ног до головы, от его душевных устремлений через душевную личность и теплоту, конкретизированную до самой внешней любви и заботливости к ближнему. В то время, как иные из моих личных друзей, постоянно связанных со мной физическим планом, и не догадывались о моих реальных заботах и нуждах, он, «великий поэт», постоянно обремененный собственными делами и отдаленный от меня чисто физически, из своего далекого Петербурга сквозь все грани, нас отделявшие, видит ясно меня, барахтающегося в жизненных потемках то в Москве, то за границей, и протягивает издалека руку не только моральной помощи, но и материальной.

А. А. стоит передо мной прекрасный и вечный, — весь с головы до ног «великий поэт», «большой человек», «человек новый», «человек правдивый», — а это больше, чем «великий», — человек прекрасный, т. е. изящный во всех своих проявлениях, и человек хороший, добрый, т. е. прекрасный *в малом,* умалившийся *до малого,* до забот о хлебе насущном своих друзей.

Он сотворил своею краткою человеческой жизнью вечную память в сердцах тех, кто его знал и любил. И этот памятник нерукотворный живее, бессмертнее и долговечнее тех памятников, которые будут ему поставлены из материалов и напечатанных о нем трудов. Этот памятник — его бессмертная жизнь, ибо мы в Боге родимся, во Христе умираем и в Святом Духе возрождаемся.

ИСПЕПЕЛЯЮЩИЕ ГОДЫ

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.

СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

1

Александр Блок — поэт того огромного культурного и психологического провала, который образовался между двумя революциями — Пятого и Семнадцатого года. С нежнейшими очами и детски-чистым сердцем спустился он в бездну, бесстрашно прошел самыми жуткими ее ущельями и вынес свой дантовски тяжелый опыт в ослепительную современность. Острая значительность его поэзии для наших дней и бессмертие ее в истории большой русской литературы определяется той исключительной честностью песнопения, с которой он выполнил свой подвиг и которая делает самые фантастические строки его стихов фактическим документом его эпохи.

Чужой ему внутренне, я имел счастье и радость начинать свою литературную работу под непосредственным его влиянием. Под солнцем нашей молодости была какая-то общая узкая тропка, где-то в снежных лесах Сольвейг или на весенних проталинках, где прыгает болотный попик, может быть, в болезненно-нежной и наивно-мистической атмосфере «Тропинки» — детского журнала, издаваемого Поликсеной Соловьевой, сестрой философа, куда Блок прежде всего меня направил и где он сам чувствовал себя хорошо. Во всяком случае, моя память, при всей ясности дальнейшего разлада, резко определившегося в последней прошлогодней встрече [1], любовно хранит начало нашей работы, почти одновременное.

И я хочу вспомнить юность, как вспоминали мы ее с ним в прошлом году, и воскресить незабываемо прекрасный образ молодого Блока, — остальную же его жизнь, темную и страшную, осветить лучами его юности.

У меня нет сейчас его писем [2], и я не хочу писать «биографическую канву», я считаю первым долгом восстановить и сохранить его ранний лучистый образ. Как он встал передо мной нынешней осенью, на море, в мучительный момент известия о его смерти, так и стоит, и другого Блока я еще не вижу, а вижу только того, каким вошел он в ад. А может быть, только такой Блок и был, во всей своей поэзии и в жизни своей всей.

2

Я встретился с ним в первый раз и познакомился на лекциях по сербскому языку профессора Лаврова. Я переходил на третий курс, он, должно быть, был на четвертом.

В старинном здании Петербургского университета — Двенадцати коллегий — есть замкнутые, очень солнечные маленькие аудитории, где читают профессора, которых не слушают. Таким и был Лавров, читавший предмет обязательный, но скучный. Толстый, красный, сонный, он учил нас сербскому языку и читал нам былины. В сербском языке, в прошедшем времени, «л» переходит в «о»: «мойя майко помамио» — получается какой-то голубиный лепет. Блоку это нравилось, мне тоже, и, кажется, на этот именно предмет мы обменялись с ним первой фразой. Он ходил в аккуратном студенческом сюртучке, всегда застегнутом, воротник был светло-синий (мода была на темные), волосы вились, как нимб, вокруг его аполлоновского лба, и весь оп был чистый, светлый, я бы сказал, изолированный — от лохмачей, так же как и от модников. Студентов было очень мало. Блок лекций не пропускал и аккуратно записывал все, что говорил Лавров, в синие гимназические тетрадки. Я ходил редко, и Блок мне передал свои записки — несколько тетрадок должны быть в моем архиве в Петербурге, если он цел. Там, ранним его почерком, записана вся сербская премудрость.

Не помню как, но очень скоро выяснилось, что мы оба пишем стихи. Наметилась близость. Скоро я услышал Блока в литературном кружке приват-доцента Никольского [3], где читал еще Семенов и Кондратьев, будущие поэты. Ничего не понял, но был сразу и навсегда, как все, очарован внутренней музыкой блоковского чтения, уже тогда имевшего все свои характерные черты. Этот голос, это чтение, может быть, единственное в литературе,

потом наполнилось страстью — в эпоху «Снежной маски», потом мучительностью — в дни «Ночных часов», потом смертельной усталостью — когда пришло «Возмездие». Но ритм всю жизнь оставался тот же, и та же всегда была напряженность горения. Кто слышал Блока, тому нельзя слышать его стихи в другом чтении. Одна из самых больных мыслей при его смерти: «Как же голос неизъяснимый не услышим, записан ли он фонографом?» [4]

Кружок собирался в большой аудитории «Jeu de pomme'»а — так называлось старое здание во дворе университета. Все сидели за длинным столом, освещаемым несколькими зелеными лампами. Тени скрадывали углы, было уютно и ново. Лысый и юркий Никольский, почитатель и исследователь Фета, сам плохой поэт, умел придать этим вечерам торжественную интимность. Но Блока не умели там оценить в полной мере. Пожалуй, больше всех выделяли Леонида Семенова, поэта талантливого, но не овладевшего тайной слова, онемевшего, как Александр Добролюбов, и сгинувшего где-то в деревнях.

Встречи с Блоком в университете всегда мне были радостны. Правда, болтливой студенческой беседы с ним никогда не выходило, но он умел простым словам придавать особую значительность. По типу мышления он с ранних лет был подлинным символистом. Бодлеровские «корреспондансы» [5] я постиг впервые у него.

Летние вакации нас разлучили — он уехал в Шахматово, на станцию Подсолнечное, записав мне свой адрес, и за лето мы обменялись несколькими письмами. Осенью мы встретились уже у него.

Он жил тогда в Семеновских [6] казармах на Невке, и весь второй цикл стихов о Прекрасной Даме, где дается антитеза первому облику Девы, тесно связан с этой фабричной окраиной. Огромная казарма на берегу реки со всех сторон окружена фабриками и жилищами рабочих. Деревянный мост — не тот ли самый, на котором стояла Незнакомка [7], — дает вид в одну сторону на блестящий город, в другую — на фабрики. По казенным лестницам и коридорам я пробегал к высокой казенной двери, за которой открывалась квартира полковника Кублицкого-Пиоттух, мужа Александры Андреевны, матери Блока, и в этой квартире — две незабвенных комнаты, где жил Блок.

Я их помню наизусть.

Первая — длинная, узкая, со старинным диваном, на котором отдыхал когда-то Достоевский, белая, с высоким

окном; аккуратный письменный стол низкая полка с книгами, на ней всегда гиацинт. На стене большая голова Исадоры Дункан, Монна Лиза и Мадонна Нестерова. Ощущение чистоты и молитвенности, как в церкви. Так нигде ни у кого не было, как в этой первой комнате Блока. Вторую я не любил — большая, с мягкой мебелью, обыкновенная.

Навстречу выходил Блок, в длинной рабочей куртке с большим белым воротником, совсем не студент, а флорентинец раннего Ренессанса, и его Прекрасная Дама, тоже, как со старинной картины, в венецианских волосах. Потом переходили в гостиную и столовую. Приходили Андрей Белый и Евгений Иванов, Татьяна Гиппиус. За чаем начиналась беседа, читались стихи. О чем говорили? Некоторые темы помню: о синтезе искусств, о пути «a realibus ad realiora» * — по позднейшему термину Вячеслава Иванова. Я участвовал и понимал, поскольку беседа была общей, поскольку говорили и Евгений Иванов, и Александра Андреевна. Но вдруг Белый и Блок уходили в туман и, уставившись друг на друга, подолгу говорили о чем-то своем, словами обыкновенными, но уже ассоциированными с особыми, им одним понятными переживаниями. Рождался мир образов, предчувствий, намеков, соответствий — та музыка слов, откуда вышли и «Симфонии» и все метаморфозы Прекрасной Дамы. Потом опять шли в белую келью и поздно расходились. Чудесно было бежать далеко домой по ночному городу с горячей головой.

Блок и тогда был чутким критиком. Я уверен, что он никогда и никого не оттолкнул из осаждавших его бесчисленных начинающих поэтов. Я писал тогда еще совершенно дрянные детские стихи и никому, кроме Блока, и нигде, кроме как у него, их не читал. И такого прямого и нежного толчка к развитию и творчеству, как от косноязычных реплик Блока, я никогда и позднее не имел, даже от самых признанных критиков — от них всего менее. И чрезвычайно тонко вселил он в меня благотворный скепсис к редакциям и уверенность в важности своего личного пути для каждого, когда я стал посылать стихи в редакции и их решительно нигде не брали в печать. Сам Блок уже напечатал свои стихи в «Новом пути». Помню, как я бегал в Публичную библиотеку

---

* От реального к реальнейшему (*лат.*).

читать лиловые книжки. Помню, как в университете Блок торжественно мне передал первую свою книжку с ласковой надписью — «грифовское» издание с готическим рисунком на обложке, который я тут же опротестовал, как ложь и несоответствие. Для литературного университета книжка была праздником. Молодежь догадалась о ее значении раньше, чем критика. Я упорно многого не понимал и требовал объяснений непонятных мест, совсем как знаменитые критики того времени. Блок ничего объяснить не мог и только улыбался своей безмятежной и каменной улыбкой греческой статуи.

Для него тогда был первый трудный период. К выходу книги уже определился раскол в его центральном образе, и небесные черты Девы, встреченной в храме, уже болезненно искажались, подготовляя образ Незнакомки. Райская чистота первых видений уже столкнулась с миром фабричных перекрестков. Поставленные в первой книге теза и антитеза расширялись и раздирали поверхностный синтез последнего стихотворения книги[8]. Все юношеские муки мысли, ставшие известными только теперь, по недавно обнародованным стихам периода до Прекрасной Дамы, обнажались под первыми проблесками уже шедшей революции. Блок Прекрасной Дамы уже тогда спорил с Блоком «Двенадцати». И этот внутренний спор приходилось выдерживать ему и вести одному, потому что литературное болото «Нового пути» и немного позднее — «сред» Вячеслава Иванова старалось закрепить, зафиксировать, сделать стилем Блока только тезы, Блока мистики деревенской церкви. В обоих лагерях критики, как шипящей, так и кадившей, не было ни одного голоса, который оценил бы и двинул Блока антитезы, Блока фабричных перекрестков. Теперь это может быть ясно всем, — тогда это никому не было видно, и если Блок пришел к «Двенадцати» — в этом его личный подвиг, в этом его величайшая победа над мещанской средой, засасывавшей тогда его первоцвет так же, как теперь засасывается его память.

3

Тревожный, ищущий, обворожительно кроткий, встретил Блок Пятый год. Помню, как Любовь Дмитриевна с гордостью сказала мне: «Саша нес красное знамя» — в одной из первых демонстраций рабочих[9]. Помню, как

значительно читал он стихотворение, только что написанное, где говорится о рыцаре на крыше Зимнего дворца, склонившем свой меч [10]. Бродили в нем большие замыслы. Он говорил, что пишет поэму — написал только отрывок о кораблях, вошедший в «Нечаянную Радость» [11]. Эта зима, с черными силуэтами детей, подстреленных 9 января на деревьях Александровского сада, с казачьими патрулями, разъезжавшими по городу, была для него зимой большого творчества, давшего позднее «Нечаянную Радость», основные темы которой зрели тогда. Прилив сил, освеженное чувство природы, детски чистое ощущение цельности мироздания дал Блоку Пятый год. Летом он увидел болотного попика [12], бога тварей, что было большой дерзостью тогда. Долго искал он объединяющего названия для новой книги. Помню, Белый, на узеньком листике, своим порхающим почерком набросал около десятка названий, — было среди них: «Зацветающий посох» [13]. К выходу книги Блок остановился на «Нечаянной Радости». Но гибель революции Пятого года и связанный с ней расцвет мистического болота не дал всем этим исканиям развернуться в полнозвучную песню. Все же эта книга остается единственной книгой радости Блока. Дальше пошли пытки и голгофы.

К этому периоду относится время наибольшей моей дружбы с ним. Я жил в Лесном. Блок умел и любил гулять в лесу, на окраинах. Мы ходили весной через Удельный парк, к Озеркам, зеленый семафор горел на алой заре. Летом мы опять переписывались. Мужественно-здорового, крепкого, деревенского много было в Блоке этого периода. Мистическая дымка первых дней отлетела от него, тревога и хмель снежной ночи [14] еще не нахлынули. Он еще не думал о театре, родившемся из его раздвоенности. Северная сила была в нем, без неврастении Гамсуна, без трагедий Ибсена. Была возможность Блока, нигде не узнанного, каким он был бы, если бы Пятый год был Семнадцатым. Была возможность могучего сдвига таланта в сторону Пушкина (от Лермонтова — властителя ранних дум Блока) и Толстого (от Вл. Соловьева, сознательно взятого в вожди в первый период). Этого Блока выявить и высвободить нужно, чтобы понять огромный запас сил, с каким он совершил свое нисхождение в провал между Пятым и Семнадцатым годами. Но история готовила ему другую судьбу. Реакция убила его Сольвейг [15] и от музыки зеленого леса привела его к арфам

и скрипкам цыганского оркестра. Важно указать, что он знал и любил себя — силача, здоровяка. Никогда после он так хорошо не умел смеяться и шутить, как в этот период. Помню, играли мы втроем: он, я и Владимир Пяст, пародируя названия книг и фамилии новых поэтов. «Александр Клок» — предложил оп про себя и: «Отчаянная гадость» («Нечаянная Радость») [16].

Летом этого года я написал в деревне центральные стихи «Яри». Послал ему. Он один из первых и мудрее многих сказал о них то, о чем через год все кричали.

Осенью начались «среды» Вячеслава Иванова [17], на Таврической, над Государственной Думой. Я там не бывал. Блок бережно меня от них отстранял. По-прежнему мы встречались только у него. Подвел Пяст. В конце года оп привел меня на «Башню», как назывались чердачные чертоги Вячеслава. Ввиду того, что в период «Снежной маски» «среды» сыграли для Блока большую роль, нужно на них, немного забегая вперед, остановиться. Большая мансарда с узким окном прямо в звезды. Свечи в канделябрах. Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал в хитоне. И вся литература, сгруппировавшаяся около «Нового пути», переходившего в «Вопросы жизни». Бывали: мистики — троица: Мережковский, Гиппиус, Философов; Бердяев; профессура и доцентура: Зелинский, Ростовцев, Евгений Аничков; Георгий Чулков, творивший тогда свой «мистический анархизм» и «Факелы», Валерий Брюсов, Блок, Андрей Белый, Бальмонт, Сологуб, Ремизов, Эрберг; критики только что нарождавшихся понедельничных газет — Чуковский и Нильский; писатели из «Знания» — Леонид Андреев, Семен Юшкевич; затем эстеты — Рафалович, Осип Дымов, Сергей Маковский, Макс Волошин; был представлен и марксизм — Столпнером и, кажется, один раз Луначарским; художники — Сомов, Бакст, Добужинский, Бенуа и, наконец, молодежь: Кузмин, Пяст, Рославлев, Яков Годин, Модест Гофман. Собирались поздно. После двенадцати Вячеслав, или Аничков, или еще кто-нибудь делали сообщение на темы мистического анархизма, соборного индивидуализма, страдающего бога эллинской религии, соборного театра, Христа и Антихриста и т. д. Спорили бурно и долго. Блестящий подбор сил гарантировал каждой теме многоцветное освещение — но лучами все одного и того же волшебного фонаря мистики. Маленький Столпнер возражал язвительно и умно, но один в поле не воин. Надо отдать справедливость, что

много в этих «средах» было будоражащего мысль, захватывающего и волнующего, но, к сожалению, в одном только направлении. После диспута, к утру, начиналось чтение стихов. Это проходило превосходно. Возбужденность мозга, хотя своеобразный, но все же исключительно высокий интеллект аудитории создавали нужное настроение. Много прекрасных вещей, вошедших в литературу, прозвучали там впервые.

Оттуда пошла и «Незнакомка» Блока. В своем длинном сюртуке, с изысканно-небрежно повязанным мягким галстуком, в нимбе пепельно-золотых волос, он был романтически-прекрасен тогда, в шестом — седьмом году. Он медленно выходил к столику со свечами, обводил всех каменными глазами и сам окаменевал, пока тишина не достигала беззвучия. И давал голос, мучительно-хорошо держа строфу и чуть замедляя темп на рифмах. Он завораживал своим чтением, и когда кончал стихотворение, не меняя голоса, внезапно, всегда казалось, что слишком рано кончилось наслаждение, и нужно было еще слышать. Под настойчивыми требованиями он иногда повторял стихи. Все были влюблены в него, но вместе с обожанием точили яд разложения на него.

В конце пятого года и в шестом «среды» Вячеслава еще имели некоторую связь с революцией, с общественностью. Но выявление их и развитие шло в сторону интеллигентского сектантства, мистической соборности, выставляемой против анархизма личности, тоже поощряемого. Все более накипало гурманства в отношении к темам. Ничего не решалось крепко и ясно. Процесс обсуждения был важнее самого искомого суждения. Целью художнику ставилось идти от земной реальности к реальности небесной через какие-то промежуточные звенья сознания, которые именно и должен был уловить поэт-символист путем изображения «соответствий». В конце концов, всю эту хитрую музыку каждый понимал по-своему, но она постулировалась как всеми искомая единственная истина. Возражали: будущие богоискатели, марксисты, реалисты, но настроение давал Вячеслав. От идеи страдающего Диониса и, следовательно, поэта-жертвы он уже начинал переходить к идее «совлечения», «нисхождения», применяемой к исторической судьбе России. Достоевский назывался «Федором Михайловичем», как сообщник и хороший знакомый. Чем больше разгоралась реакция, тем более «среды» заинтересовывались идеями эротики. Прав-

да, здесь никогда не ставились «проблемы пола», и Вербицкая была в презрении, но по существу-то разница была только в марке. Из этой хитрой музыки выявлялись самые разнообразные течения. Чулков спелся с Вячеславом на теме «мистического анархизма» и ловил на «Факелы» Андреева и Блока. Первый попался больше, чем второй. Молодой студент Модест Гофман изобрел «соборный индивидуализм». Но все было замкнуто в узком мистико-эротическом, интеллигентски самодовольном кругу. Запах тления воспринимался как божественный фимиам. Сладко-дурманящая, убаюкивающая идейными наркозами атмосфера стояла на «Башне», построенной «высоко над мороком жизни» [18]. Дурман все сгущался. Эстетика «сред» все гуще проникалась истонченной эротикой. Кузмин пел свои пастушески-сладострастные «Александрийские песни», Сомов и Бакст были законодателями вкуса в живописи, пряно-чувственного — у первого через призму помещичьей жизни, у второго через античность. «Бурно ринулась Мэнада, словно лань, словно л а н ь », — без конца читал Вячеслав свое любимое всеми стихотворение. Все были жрецами Диониса. На этом Парнасе бесноватых Блок держался как «бог в лупанаре» (название стихотворения Вячеслава, обращенного к Блоку). Но душа его была уже в театре, что означало победу в нем лирики над эпосом, ночи — над солнцем, мистики — над революцией.

Из трех его «лирических драм» только в отдельных местах «Короля на площади» и в сатирических сценах буржуазной гостиной «Незнакомки» чувствуется Блок, несший красное знамя с рабочими Пятого года. «Балаганчик» же, за исключением сцены заседания мистиков, целиком мистико-эротический дурман, рожденный реакцией. Именно он стал любимой пьесой в театре Коммиссаржевской — Мейерхольда. Театр сильно увлек Блока. Первому представлению «Балаганчика» — 31 декабря 1906 г. — предшествовал целый ряд чтений пьесы у Блока и Вячеслава. Пьеса заколдовывала внимание. Это, пожалуй, единственная пьеса русской романтики со всеми ее непременными чертами: ироническим реализмом и мистической мечтой. Тема арлекинады целиком вышла из предыдущих стихов Блока. Арлекинада — любимый лейтмотив Блока («Двенадцать» — тоже арлекинада). Вокруг «Балаганчика» сразу создалась борьба защитников и возражателей. Последние много нападали на структуру

пьесы, построенной как лирическое стихотворение. Театр Мейерхольда как нельзя лучше осуществил трудные задания автора. Музыка Кузмина, особенно вальс, затягивала в сладкий омут. Декорации Сапунова отлично передавали мистически-чувственный колорит пьесы. Мейерхольд в тревожных mise-en-scène чутко уловил символику блоковских образов. Это была безусловная победа театра.

На первом представлении Блок маской торжественности скрывал большое беспокойство. Театр был первым его исходом из узкого круга лирики, — исходом, которого он искал всю жизнь. Аплодисменты и шиканье встретили спуск занавеса. Но мастер был доволен. В зимних метелях уже мелькал облик «Снежной маски». Вокруг Блока очертился магический круг. Внешне он совершенно ясен: «среды» Вячеслава, вечера у Коммиссаржевской, ее театр, вечера у Веры Ивановой, только что сыгравшей Раутенделейн в театре Суворина, ночные поездки парами на лихачах на Острова, «Снежная маска». Из магического круга своей белой комнаты, своей первой юности, Блок вошел в другой круг, более глубокий, ниже, ближе к аду, но тоже замкнутый, — круг театра, метелей, страсти. Кажется, он был счастлив. По крайней мере, он был наиболее красив в этот период. Осознав себя мастером, почуяв в театре Мейерхольда простор, счастливый в страсти, Блок маленький вальс своего круга воспринимал как мировое вихренье. Но не надолго. «Мрежи иные» его ожидали, «иные заботы» [19].

4

Как зерно на солнце, рвалась из него коренная его, здоровая сила. Следующий период его жизни характеризуется героическими попытками выйти из заколдованного круга мистического индивидуализма на широкую дорогу большого, общественно-нужного писателя. Он дал только забыться себе в снежных вихрях метели. Пронеслась «Снежная маска», и тотчас же в посвистах вьюги он услыхал стоны «Куликова поля». Он только притворился поэтом вальсирующей интеллигенции. Быть может, на минуту поверил своему притворству. В его столе, на котором он в одну ночь набрасывал симфонию «Снежной маски», тотчас изданной «Орами» Вяч. Иванова с рисунком Бакста, таились другие строки, изданные только те-

перь. «Снежная Маска» мгновенно выросла в «Землю в снегу». «Лелей, пои, тан ту новь»[20], — писал он тогда же, повторяя в своих стихах завет Тютчева: «Молчи, скрывайся и таи». В своем же заколдованном кругу умел он видеть тогда же «гроба, наполненные гнилью», «довольных сытое обличье»[21] и клялся, в эти же годы: «Нет, не забуду никогда»[22]. Но окружающая его среда, но темное безвременье реакции не давало этому его голосу силы, загоняя его вглубь, зажигая тот внутренний пожар, в котором он и испепелился под надетой в последние годы маской немоты. Внутрь и вглубь ушел подлинный Блок, и надменным денди, не допускающим мысли о том, чт*о* внутри его, пошел он по кругам ада все глубже и ниже, бесстрашно и покорно.

Этой внутренней силой питались в последующие годы все его взрывы и вылеты за предназначенный предел. Их было много. В лирике эти взрывы отразились приливами гейневской иронии и злобы. Главной мукой Блока было — к <190>8-му году — это то, чтоб нельзя было про него сказать: «Был он только литератор модный, только слов кощунственных творец»[23]. Она продиктовала ему гневные строки про свою «малую» судьбу — лирика интеллигенции, каким его посейчас делают: «Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда»[24]. Все шире открывались глаза Блока на болото «Башни» и весь мистический круг. Никто злее не говорил о литературных друзьях, чем он: «Друг другу мы тайно враждебны, завистливы, глухи, чужды»[25], «Когда напивались, то в дружбе клялись. Болтали цинично и пряно»[26]. Еще злее говорит он о мещанском обществе, сливки которого он уже высмеял в первых пьесах: «Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцой. А вот у поэта — всемирный запой, и мало ему конституций». Ни одна статья из бесчисленных, появившихся после смерти Блока статей, не говорит о нем как о сатирике. А сатира — основной тон всех лет его немоты и отчаянья. «Я задохнулся», — говорил он матери еще тогда. «Вот моя клетка», — говорил он позже. «Песни вам нравятся! Я же, измученный, нового жду и скучаю опять»[27]. Он ненавидел тех (и за то), кому его песни нравились. Бунт против эстетов был первым его бунтом.

Оставленные Блоком книги его стихов — только знаки его мучений над основными вопросами его большой литературной деятельности, которую он всячески старался

выявить. Потому они и дороги, как раны распятого. Но ни его отчаянье, ни его «мировые запои», ни его порывания к юному идеалу Прекрасной Дамы, ни арфы, ни скрипки его «Страшного мира» не будут понятны, если не изучить большого русла, по которому он хотел идти — и не мог. Смерчи в пустыне ложатся наносами. По их направлению можно узнать силу и путь бури. Такими упавшими смерчами после Блока остались: 1) его статьи, 2) его театр, 3) опыты его прозы (если они сохранились[28]), 4) его поэма[29].

Я не могу усвоить данных памяти, что этот период тянулся целых восемь лет — с 8-го по 16-й, когда я уехал на К а в к а з, — настолько цельным и неизменным стоит передо мной Блок этих годов. Я помню его в разных позах и жестах, но кажется, что это прошел год, а не восемь. Где-то на Литейном, в каком-то доме пьянства, под утро, за коньяком, с Аничковым, в оцепенении, с остекленевшими глазами. Он и в пьянстве был прекрасен, мудр, молчалив — весь в себе. На эстрадах каких-то огромных белых зал, восторженно встречающих его чтение все тех же стихов и посылавших ему в момент ухода с эстрады девушку с восторженными глазами, подававшую ему лилии и розы. У него, в его кабинетах, которые стали большими и мрачными, заставленными к н и г а м и, — но осталась прежняя тяга к окраинам, к реке (он умер на Пряжке). Мы оба стали уже литераторами, и беседы у нас были литературными, на текущие темы, причем каждой текущей теме Блок давал отпор. Он ненавидел всякие литературные комбинации, кружки, течения, моды, и от всего этого иронически отделывался уничтожающими фразами. Периодически вспыхивали у него ссоры и дружбы с Вячеславом, Чулковым, Белым, Мережковским. Он никогда не лицемерил в литературных отношениях, и мнения свои говорил резко и прямо. На редакционных собраниях в «Шиповнике» помню его немного среди болтунов, ушедшего в себя и все время измерявшего свою глубину лотами внешней литературной суеты... У себя, среди друзей, когда иногда вдруг вспыхивало что-то прежнее, молодое... Но в общем на литературной улице он стоял памятником. Хорошие, живые минуты бывали дома, у него, вдвоем, когда он читал новые стихи с четвертушек, резко исписанных, с нажимом, показывал корректуры, свои и чужие новые книги. Он был отличный библиограф, у него был полный список стихов со всеми

пометками: когда написано, где напечатано. Не терпел растрепанных листов. Нарезанная бумага лежала ровно в столе, и аккуратно все складывалось в черные клеенчатые покрышки от тетрадей. Еще хороши бывали случайные встречи — над Невой, или в книжной лавке Митюрникова. Иногда опять мы долго шли вместе, в беседе, и каменная маска с него спадала. Волосы носил он короче и только любил маленький локон из-под шапки.

Критика установит, какой из указанных выше порывов был для Блока важнее, в какой они между собой зависимости и хронологии. Я беру их глыбами, как выявления одной и той же силы, таившейся в нем. И теперь же укажу на два факта из его бедной внешними событиями жизни, имевших огромное влияние на углубление его писательского самосознания. Это — смерть, тотчас после рождения, его ребенка и смерть его отца. Обе эти личные потери — желанного ребенка, который жил несколько часов[30], отца, которого он всю жизнь не видел[31], пережиты им были как тяжелые правонарушения космического порядка, усилив общее сознание неблагополучия мира, обострив его одиночество, из которого он искал выхода, и озлив его порывы на волю из клетки.

Первым по времени его порывом были его статьи в «Золотом руне». Публицист в нем жил крепко. Студенческой его работой было исследование о Болотове. Страницы «Золотого руна» были первые, на которых он мог продумать свои мысли. Он не смутился тем, что его голос прозвучал из цитадели купеческого эстетизма. Начал он свою работу в «Золотом руне» с теоретической статьи «Слова и краски» (если память не искажает названия, но смысл тот), в которой цитировал мои стихи[32]. Помню, с лукавой и доброй улыбкой показал он мне этот номер. Но не об эстетике хотел он говорить. Он обложился зелеными книжками «Знания», презираемого у эстетов, внимательно перечел всю беллетристику реалистов и дал ряд очерков о Горьком и других[33]. Это был прямой шаг на волю из узкого круга эстетизма, который его душил. Внутри круга статьи были встречены с враждебным недоумением. Вне круга они не получили эха, потому что «Золотое руно» не доходило до широкого читателя. Круг был настолько узок, что, помню, когда я мог поехать к Льву Толстому, мне вбивалось в голову, что это неприлично. Печататься можно было только в «Орах», «Грифе»,

«Скорпионе». С трудом принимался «Шиповник». И вот в этом воздухе прозвучал вдруг отчетливый, всем наперекор, голос Блока о реалистической литературе. Этот голос заглох, и статьи сыграли значение только для Блока, как проверка самого себя.

Опять его энергия ушла вглубь. Стала нарастать тема «Руси», которая впоследствии дошла до «Скифов». Своеобразное народничество Блока вскоре выразилось в его переписке с Клюевым. Одной из своих знакомых он писал в то время: «Сестра моя, Христос среди нас. Это — Николай Клюев»[34]. Мессианство в России, высокая предназначенность ее народа и жажда найти и утвердить свою личную близость с народной стихией — вот дорога, на которую выходил Блок из эстетики.

Мы часто говорили с ним об Александре Добролюбове, «ушедшем в народ». Он любил Ивана Коневского. И при редких приходах в город Леонида Семенова, тоже ушедшего в деревню, он всегда с ним виделся. Его взволновал Пимен Карпов[35]. В Клюева он крепко поверил. Благодаря тому, что Клюев целиком использовал Блока в ранних своих стихах, он казался Блоку родным. Блока не могло не радовать, что его слово пустило корни в народ, воплощением которого казался и показывал себя Клюев. В этих настроениях подошел Блок к первому своему опыту большого театра — «Песне Судьбы».

Все, о чем я сейчас пишу, и статьи, и пьесы, и поэма, давались Блоку с большим трудом. Работать он умел и любил. Знал высшее счастье свободного и совершенного творчества. «Снежная маска», «Двенадцать» и многие циклы писал он в одну ночь[36]. Но на пьесы и поэму он тратил огромные силы.

Но не было и не могло быть тогда театра, который дал бы ему возможность развиться в драматурга. «Песню Судьбы» Блок непременно хотел ставить в Художественном. В результате долгих переговоров постановка все-таки не состоялась. (То же повторилось через несколько лет с «Розой и Крестом».) Эта неудача была тяжелым ударом для Блока. Неудача на премьере не испугала бы его. Но невозможность постановки подрывала его драматургию. Круг был заколдован. Опять разбивалось на мучительные строфы возлелеянное им сокровище, и большие замыслы дробились на лирические циклы.

Театральные техники могут сколько угодно рассуждать о несовершенстве пьес Блока. Но то, что он видел на

сцене только «Балаганчик» и, кажется, «Незнакомку», лежит клеймом позора на его эпохе, па ее культуре. Блок мог создать театр. Помню, с какой любовью перевел он «Действо о Теофиле» для дризеновского Старинного театра, как волновала его атмосфера театра. Романтическая лирика неминуемо разрешается театром. Из противоречия между вечным идеалом и остро наблюдаемой реальностью родится ирония (путь Гейне, которого любил и переводил Блок, и его личный путь), которая может вырасти в сатиру. Театр был самым естественным выходом для Блока на широкий путь. И он оказался за семью заставами. Среда, эпоха, с одной стороны, не давала Блоку довести свою драматургию до наглядного совершенства, с другой стороны, омещанила весь театральный аппарат до того, что в нем не нашлось ни одних подмостков для опытов Блока в театре. Вспоминая все перипетии театральной работы Блока, я думаю, что самым тяжелым в его литературной, в общем победительной, жизни были его неудачи в театре.

Но большая сила, не вмещавшаяся в лирику, рвалась наружу. Оставался только эпос. Я отчетливо помню, что был момент, когда Блок пробовал писать рассказы. Мне он говорил об этом с какой-то недоуменно-покаянной улыбкой, но текста не показывал. Как будто он показывал их Леониду Андрееву, с которым одно время был в дружбе. Может быть, видел их З. И. Гржебин («Шиповник»). Не знаю, сохранились ли они[37]. Но, во всяком случае, они были бы любопытнейшим и ценнейшим документом его усилий разорвать кольцо лирики. Так или иначе, и эта попытка не удалась.

Следующим опытом было «Возмездие».

С похорон отца в Варшаве Блок вернулся сосредоточенным и встревоженным. «Весь мир казался мне Варшавой». В стихах, посвященных сестре («Ямбы»), раскрылись все раны, нанесенные поэтическому сознанию Блока еще в юности, на берегах Невки, социальными контрастами. Незнакомка закуталась в меха и ушла. Язвы мира предстали опустошенной душе поэта. Он задумывает своих «Ругон-Маккаров». Паутина символики истлела под упрекающим взором парижских нищих[38]. Взор поэта ослеп к вечно сущему или, вернее, стал искать его на земле, в реальности. Этот кризис символической техники у Блока был выражением общего кризиса, в который вступил символизм. Блок начал «Возмездие» аналити-

чески, прощупывая предметы мира насквозь, замечая все, вплоть до спичечной коробки [39] в кабинете, из которого в гробу унесли отца. И, может быть, сразу бы он закончил большую работу. Но вскормившее его болото оплело его и не выпускало.

Я помню первое чтение «Возмездия», в присутствии немногих, у Вячеслава Иванова. Поэма произвела ошеломляющее впечатление. Я уже начинал тогда воевать с символизмом, и меня она поразила свежестью зрения, богатством быта, предметностью — всеми этими запретными для всякого символиста вещами. Но наш учитель глядел грозой и метал громы. Он видел разложение, распад, как результат богоотступничества, номинализма, как говорили мы немного позднее, преступление и гибель в этой поэме. Блок сидел подавленный. Он не умел защищаться. Он спорить мог только музыкально. И когда Вячеслав пошел в атаку, развернув все знамена символизма, неофит реализма сдался почти без сопротивления [40]. Поэма легла в стол, где пробыла до последних лет, когда Блок сделал попытку если не докончить, то привести ее в порядок. Это воспоминание — одно из самых тяжелых у меня в литературной жизни. Нельзя, конечно, винить Вячеслава Иванова, что он для защиты своего учения надавил всем своим авторитетом, всей своей ученостью, всем своим обаянием, что он, в окружении своей эпохи, ничего вне ее не видел и не слышал. Нельзя требовать от Блока, еще не остывшего от творческой работы и породивших ее мучений, полного сознания этой работы. Как лирик, он меньше всего сам знал, в момент создания, что им создано. Он привык определять значение своих вещей по отгулу их — в своем же кругу. Как бы то ни было, работа в эпосе была сорвана так же, как и в драме, и по тем же общим причинам. От великих бурь остались только упавшие смерчи. И пустыня.

5

У него все-таки хватило силы противостоять шовинистическому угару, охватившему русское общество в 1914 году. «Ура» прозвучало для него как «пора!» [41]. Он не любил рассказывать о кратковременном своем пребывании на фронте на службе связи [42]. Он держался в стороне от военного шума, захлестнувшего и литературу, многие представители которой в 15 и 16 гг. щеголяли в

блестящих мундирах и ловили «Георгиев». В это время он написал «Соловьиный сад», который был бы значительнейшей его вещью, если б ирония в ней была доведена до конца. Ишачий крик (символ труда?) освобождает каменщика из объятий женщины, и он идет ломать камни.

В последний раз ожил Блок юности, деревенского труда, веселья. Первое, что он мне сказал, когда мы обнялись летом 20-го года после долгой разлуки, это то, что колет и таскает дрова и каждый день купается в Пряжке. Он был загорелый, красный, похожий на финна. Про дрова сказал не с дамски-интеллигентской кокетливостью, как все, а как здоровяк. Глаза у него были упорно-веселые, — те глаза, которые создали трагическую гримасу, связавшись с морщинами страдания, на последнем его портрете. Встреча эта была чудесная, незабвенная. «Милому с нежным поцелуем», — написал он мне на «Двенадцати». Опять сидели за столом, как в юности, все — Любовь Дмитриевна и Александра Андреевна. Он больше требовал рассказов, особенно про деревню, откуда я приехал, чем сам рассказывал. Никакого нытья я в нем не заметил. Весь быт его был цел. На полках в порядке, как всегда, *лежала* новые его книги, он с молодой ловкостью доставал их с верхних полок. Я был счастлив, что встретил его живым и здоровым. И показался он мне живым, нашим, по эту сторону огненной реки, расколовшей всех на два лагеря. Вспомнили все и всех. В нем была жадность понять, увидеть, осязать новое, вложить персты в рану революции и убедиться. Но когда я ему говорил о значении «Двенадцати», о том, как эта поэма принята была на Кавказе, мне почудилось, что он не все знает об этой вещи, синтезирующей всю его поэзию. В любимой форме арлекинады (Ванька, Петруха, Катька — Арлекин, Пьеро, Коломбина) он, до Октября[43], уловил его лозунги, правда, в их внешней, стихийно-бунтарской форме, но все же уловил и дал им оправдание, опять-таки, как и Клюев, в старой, церковной идее Христа, которому давно сам он сказал: «Скорбеть я буду без тебя»[44], — но уловил и оправдал.

Для многих «Двенадцать» были более действенны, чем для него самого. Усталой души Блока хватило только на последний порыв. И за месяц своего пребывания в Петербурге я скоро убедился, что первое впечатление о сохранности его первоприродных сил было у меня преувеличено. Вскоре я его увидел во всех позах его последней жизни:

на вечере его в Вольфиле[45], где он читал «Возмездие» аудитории из дам и барышень, любивших в нем совсем не то, куда он шел сокровенно; в палаццо «Всемирки»[46], где он дендировал революцию вместе с ненавистным ему Гумилевым; в канцеляриях и заседаниях. Был еще хороший момент, когда он пришел к Раскольниковым в Адмиралтейство, где жил также Рейснер, ученик его отца, построившего социологическую систему в алгебраической форме, где Лариса Рейснер, прошедшая всю Волгу и Персию с революционерами, была неодолимым агитатором, где были немецкие товарищи, приехавшие на Коминтерн. В этой среде Блок раскрылся необычайно глубоко. Любовь и уважение этих новых людей дали ему возможность оценить петербургское литературное болото, которое затянуло его с головой. Он опять был весел, молод, остроумен и силен. Но наутро опять начиналась осада эстетов и литераторов и канцелярская скука. Его рвали на две части новый мир и старый, причем к новому у пего не было практически прямой дороги. Старое нагрузло на нем, объявило его своим гением, своим Пушкиным — и задушило. «Россия задушила меня, как свинья своего поросенка», — написал он кому-то перед смертью[47]. Какая Россия задушила его? Недостаточно отчетливо он понял это, остался на перепутье в тот момент, когда нужно было бесповоротно взять дорогу, — и задохнулся.

На моем вечере, в Думе, где я читал новые стихи, в которых с обычным мне наскоком на будущее фиксировал в данность желаемое и требуемое, он очень взволнованно говорил мне, что не все принимает, что я многого не вижу и не знаю. Этот разговор продлился потом и в последние дни перед моим отъездом дошел до разлада, правда, не такого, какой у меня произошел с депутацией петербургской интеллигенции, возглавляемой Гумилевым, но все же трещина ощутилась очень болезненно, и с этим тяжелым впечатлением я и уехал, чтобы не увидеть Блока никогда больше. Но все же стоит он навсегда в моей памяти не таким, каким погибнул, а таким, каким погибал, — недорожденным сыном новой России.

ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ

АЛЕКСАНДР БЛОК И ЕГО ВРЕМЯ

1

Имя Александра Блока я впервые услышал из уст Анны Николаевны Шмидт, особы примечательной и загадочной, чья судьба, как известно, была связана с судьбою Владимира Соловьева. Встретился я с Анною Николаевною Шмидт вот при каких обстоятельствах. В 1903 году я жил поневоле в Нижнем-Новгороде. Меня вернули из Якутской области, но в столицах жить не разрешили, и я без паспорта, под гласным надзором полиции, жил в чужом городе, не зная, что с собою делать. Я в это время писал с увлечением стихи. Стихи были несовершенные по форме, — даже странно перечитывать, — а между тем в них была некая лирическая правда, насколько лирика может быть правдивою. И вот однажды ровно в полночь ко мне явилась незнакомая старушка и объявила, что намерена прочесть мне сейчас же, в эту ночь, свою рукопись — «Третий Завет». Она тут же вытащила из большого сака, вышитого бисером, несколько тетрадей и, между прочим, только что вышедшую тогда мою первую книжку стихов «Кремнистый путь». Эта странная старушка была та самая А. Н. Шмидт, чьи сочинения вместе с письмами к ней Владимира Соловьева были опубликованы в 1916 году, т. е. спустя десять лет после ее смерти (она умерла 7 марта 1905 года).

Анна Николаевна раскрыла мою книжку и указала мне на три мои стихотворения — «О, медиума странный взор...», «Я молюсь тебе, как солнцу, как сиянью дня...» и, наконец, мое стихотворное переложение «Песни Песней».

— Это мне дает право требовать от вас внимательного отношения к моему «Третьему Завету», — сказала она тихо и торжественно.

В самом деле, хотя я никогда лично не знал Владимира Соловьева и заочно не имел с ним связи, если только не считать косвенного к нему касания через его брата Михаила Сергеевича Соловьева († 16 января 1903 г.), который был моим учителем в Шестой классической гимназии и всегда относился ко мне благосклонно, все-таки в душе моей бессознательно преобладала тогда тема «софианства», соловьевская тема, с ее ослепительным светом и с ее мучительными противоречиями. Это сказалось и в моих стихах. Анна Николаевна Шмидт тотчас же почувствовала во мне «своего человека», и немудрено, что мы заговорили об Александре Блоке, об этом духовном наследнике Соловьева, успевшем тогда напечатать цикл стихов в «Северных цветах» и «Новом пути».

Моя книжка вышла в 1903 году и помечена на обложке 1904 годом. Спустя год вышла книжка Александра Блока «Стихи о Прекрасной Даме». Книжка датирована 1905 годом. Обе книжки — моя и Блока — вышли в Москве, а цензурою были пропущены в Нижнем-Новгороде: в то время там цензором был Э. К. Метнер, брат композитора, впоследствии сотрудник «Золотого руна» и «Мусагета». К счастью или к несчастию, моя тогдашняя лирика обратила на себя внимание З. Н. Гиппиус, и, по ее инициативе, Поликсена Сергеевна Соловьева напечатала в «Новом пути» статью обо мне [1]. Эта статья определила мою судьбу: получив разрешение на жительство в Петербурге (ныне Ленинграде), я прежде всего пошел к Мережковским. В том же 1904 году в их доме я познакомился с А. А. Блоком.

При первых встречах моих с Блоком мы, кажется, несколько дичились друг друга, хотя успели перекинуться «символическими» словами: «софианство» сближало нас, но оно же и ставило между нами преграду. Я, причастный этому внутреннему опыту, страшился его, однако. И этот страх перед соблазном нашел себе впоследствии выражение в моей статье «Поэзия Владимира Соловьева», на которую отозвался Блок примечательным письмом [2]. Но об этом письме — после.

В самом раннем сохранившемся у меня письме Блока встречается имя А. II. Шмидт. Письмо написано 15 июня 1904 г. В это время Блок был в Шахматове. Из письма видно, что А. Н. Шмидт приезжала к Блоку в деревню в мае месяце. Встреча ее с поэтом так же провиденциальна, как встреча ее с Владимиром Соловье-

вым[3]. Она явилась как бы живым предостережением всем, кто шел соловьевскими путями. Мы все повторяли гетевское «Das Ewig Weibliche zieht uns hinan»... * Однако вокруг «вечно женственного» возникали такие марева, что кружились не только слабые головы, но и головы достаточно сильные. И «высшее» оказывалось порою «бездною внизу»[4]. Старушка Шмидт, поверившая со всею искренностью безумия, что именно она воплощенная София, и с этою странною вестью явившаяся к Владимиру Соловьеву незадолго до его смерти — это ли не возмездие одинокому мистику, дерзнувшему на свой страх и риск утверждать новый догмат? Я имел случай теперь — в 1922 году — изучить некоторые загадочные автографы Владимира Соловьева, до сих пор не опубликованные. Эти автографы — особого рода записи поэта-философа, сделанные им автоматически в состоянии транса. Это состояние (как бы медиумическое) было свойственно Соловьеву по временам. Темою соловьевских записей является все она же — «София», подлинная или мнимая — это другой вопрос. Во всяком случае, характер записей таков, что не приходится сомневаться в «демоничности» переживаний, сопутствовавших духовному опыту поклонника Девы Радужных Ворот[5].

Сам Блок верил, что в эту эпоху, т. е. до 1905 года, ему был ведом особый — светлый мир, исполненный благодатной красоты и благоухания. На первой книге стихов, переизданной «Мусагетом» в 1911 году, Блок сделал мне такую надпись: «Георгию Ивановичу Чулкову с любовью, с просьбою узнать и эту, лучшую часть моей души». Подпись: «Александр Блок». Дата: «Май 1911. СПБ.». И все так думают, что в стихах о Прекрасной Даме поэт выразит свое заветное и светлое. И я так думал, не переоценивая того внутреннего опыта, который понудил Блока славить Таинственную Возлюбленную. Теперь — признаюсь — у меня возникают большие сомнения об источнике этих очарований. Эти сомнения — кажется — бывали во мне и раньше, но лишь в последние годы я убедился, что есть такая «тайная прелесть», которая ужаснее иногда «явного безобразия».

В сущности, если вчитаться внимательно в первую книгу Блока, нетрудно в ней найти все мотивы, которые

---

* Вечная женственность, тянет нас к ней (*нем.*) — стих из трагедии Гёте «Фауст», в переводе Б. Пастернака.

впоследствии нашли себе более полное выражение в «Нечаянной Радости» и «Снежной ночи». «Балаганчик» был уже весь в предчувствиях, и нужен был только срок для его воплощения. Еще в 1902 году Блок чувствовал, что в его Прекрасной Даме — «великий свет и злая тьма»... Об этом у него было точно сказано в стихотворении «Я тварь дрожащая. Лучами...».

Не знаешь Ты, какие цели
Таишь в глубинах Роз Твоих,
Какие Ангелы слетели,
Кто у преддверия затих...
В Тебе таятся в ожиданьи
Великий свет и злая тьма —
Разгадка всякого познанья
И бред великого ума.

Вот это смешение света и тьмы — характернейшая черта всякого декадента. И в этом смысле Блок всегда был декадентом. Но первое впечатление от него, как личности, было светлое. Блок был красив. Портрет К. А. Сомова — прекрасный сам по себе, как умное истолкование важного (я бы сказал — «могильного») в Блоке, не передает вовсе иного существенного — живого ритма его лица. Блок любил сравнивать свои таинственные переживания со звуками скрипок. В Блоке, в его лице, было что-то певучее, гармоническое и стройное. В нем воистину пела какая-то волшебная скрипка. Кажется, у Блока было внешнее сходство с дедом Бекетовым, но немецкое происхождение отца сказалось в чертах поэта[6]. Было что-то германское в его красоте. Его можно было себе представить в обществе Шиллера и Гете или, быть может, Новалиса. Особенно пленительны были жесты Блока, едва заметные, сдержанные, строгие, ритмичные. Он был вежлив, как рыцарь, и всегда и со всеми ровен. Он всегда оставался самим собою — в светском салоне, в кружке поэтов или где-нибудь в шантане, в обществе эстрадных актрис. Но в глазах Блока, таких светлых и как будто красивых, было что-то неживое — вот это, должно быть, и поразило Сомова. Поэту как будто сопутствовал ангел или демон смерти. В этом демоне, как и: в Таинственной Возлюбленной поэта, были

Великий свет и злая тьма...

Но демона в начале нашего знакомства с Блоком я не увидел. Я, как и все тогда, был очарован поэтом.

После двух-трех встреч в доме Мережковских и в редакции «Нового пути» мы стали бывать друг у друга. Редакция журнала помещалась тогда в Саперном переулке, и я жил в квартире редакции, а Блок жил в казармах л.-гв. Гренадерского полка, на набережной Большой Невки, в квартире своего отчима, Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух. Здесь, если не ошибаюсь, я познакомился с женою поэта, Л. Д. Блок (рожденная Менделеева). В те дни (это был первый год их супружества) они казались какими-то беглецами от суеты, ревниво хранящими тишину своего терема от иных, «не сказочных» людей. Я тогда еще не предвидел, какую роль сыграет Блок в моей жизни. Любовь Дмитриевна, жена поэта, говорила мне впоследствии, что она и Александр Александрович смотрели на меня тогда как на «литератора», — термин не слишком. лестный в их устах. Сблизился я с Блоком позднее, приблизительно через год, за пределами «литературы». Тогда он представился мне в ином свете, и он перестал смотреть на меня деловито, как на «ближайшего сотрудника» «Нового пути». Мы нашли общий язык, не для всех внятный. Этот тогдашний «эзотеризм» теперь едва ли кому понятен. Впрочем, о нем все равно не расскажешь, как должно. А психологическая обстановка нашей жизни была вот какая. Это было время, когда на Дальнем Востоке решалась судьба нашего великодержавия. Тревожное настроение внутри страны, наше военное поражение, убийство 15 июля министра внутренних дел В. К. фон Плеве, сентиментальное министерство кн. Святополк-Мирского и, наконец, именной «высочайший указ о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» — это 1904 год, эпоха либеральных банкетов, провокаторской деятельности департамента полиции, канун 9 января...

Умер А. П. Чехов, умер Н. К. Михайловский — сумерки русской провинциальной общественности исчезли безвозвратно. Страшное пришло на смену скучного. И правительство, и наша либеральная интеллигенция не были готовы к событиям. Почти никто не предвидел будущего и не понимал прошлого. Н. К. Михайловский в одной из своих последних статей с наивной искренностью недоумевал, почему у нас появились декаденты [7]. Там, на Западе — думал он — декаденты пришли закономерно: это плод старой, утомленной, пережившей себя культуры, а у нас, мы ведь еще только начинаем жить?.. Эта мысль Н. К. Михайловского чрезвычайно типична для

нашей полуобразованной интеллигенции. Тысячелетней русской истории как будто не существовало. Допетровская Русь была безвестна: никто не любопытствовал, кто и как создал памятники нашего старинного зодчества; никто не подозревал, что уже в пятнадцатом веке на Руси были художники, которые являются счастливыми соперниками итальянцев эпохи Возрождения. А императорская Россия привлекала внимание интеллигентов только в той мере, в какой за эти двести лет развивалось у нас бунтарское и революционное движение. Константин Леонтьев, полагавший, что огромная тысячелетняя культура России нашла себе завершение и что ее дальнейшая жизнь подлежит сомнению, вовсе не был понятен большинству. А между тем пришли декаденты и фактом своего существования засвидетельствовали, что мы вовсе не новички в истории. Таких декадентов не выдумаешь. Это были подлинные поэты, и они пришли, как вестники великого культурного кризиса. Марксисты были тогда терпимее и культурнее народников. На страницах «Русского богатства» нельзя себе представить Федора Сологуба или З. Н. Гиппиус, а марксистский журнал «Жизнь» печатал года за два до «Нового пути» новых поэтов, пугавших воображение интеллигентов. И марксисты и декаденты сошлись тогда на невинном желании «эпатировать буржуа». Позднее, в эпоху «мистического анархизма», я помню одну квартиру в районе Загородного проспекта, где собирались большевики, ныне здравствующие, из коих многие занимают сейчас передовые посты в нашей республике. Здесь бывал и я, а у меня была тогда репутация декадента из декадентов, ибо я проповедовал тогда «перманентную революцию», стараясь оправдать оную «мистически». Это «дела давно минувших дней» — хотя, в сущности, это было так недавно! — теперь, однако, все это кажется «преданьем старины глубокой...». Декадентство «переплеснулось» за пределы литературы. Один из видных теперь политических деятелей (он же эстет), когда у него умер ребенок, счел для себя возможным и утешительным читать вместе с женою у гроба младенца «Литургию красоты» К. Д. Бальмонта, который, вероятно, никогда не рассчитывал на соперничество с псаломопевцем Давидом.

Одним словом, мы встретились с Блоком в те дни, когда торжествовала не «органическая», а «критическая» культура, когда были утрачены связи с коренным и

«почвенным». Поверхностная оппозиционность и вольнодумство средней интеллигенции не могли удовлетворить ни будущих наших «коммунистов», ни тех, кому навязали прозвище «декадентов». Двадцать лет тому назад уже повеяло духом революции. Сонное царство Александра III, несмотря на декорацию пасифизма, всем опостылело. Если бы на его смену пришел какой-нибудь новый великий Петр, может быть, монархия нашла бы еще в себе силы и волю к жизни, но на престоле сидел несчастный слепец и упрямец, типичный «последний монарх». Он был самый подходящий царь для эпохи «ликвидации дворянского землевладения». И вовсе не случайно именно Александр Блок, поэт-декадент, написал «по неизданным документам» трезвую и беспристрастную книжку «Последние дни императорской власти».

Но кризис культуры вышел за пределы России. Ставился вопрос вообще о переоценке «ценностей». Александр Блок явился к нам на рубеже XIX и XX вв. По крови на три четверти русский и на одну четверть немец, поэт чувствовал реально свою связь с Западом. Первая глава «Возмездия» дает материал для понимания мыслей Блока о так называемой европейской цивилизации XIX века. В основу этой цивилизации была положена, как известно, идея прогресса. Поэтому уместно вспомнить, что в предисловии к «Возмездию» наш лирик откровенно признается, что концепция его поэмы «возникла под давлением все растущей в нем ненависти к различным теориям прогресса». Предисловие было написано в июле 1919 года, а первая глава начата в 1911 году.

Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной, беззвездный
Беспечный брошен человек.
В ночь умозрительных понятий,
Материалистских малых дел,
Бессильных жалоб и проклятий
Бескровных душ и слабых тел.
С тобой пришли чуме на смену
Нейрастения, скука, сплин,
Век расшибанья лбов о стену
Экономических доктрин,
Конгрессов, банков, федераций,
Застольных спичей, красных слов;
Век акций, рент и облигаций,
И малодейственных умов,
И дарований половинных

(Так справедливей — пополам!),
Век не салонов, а гостиных,
Не Рекамье, а просто дам...
Век буржуазного богатства
(Растущего незримо зла!);
Под знаком равенства и братства
Здесь зрели темные дела...

Эта внутренняя характеристика XIX века вполне созвучна характеристике «внешней» того же века, которая всегда на устах наших марксистов.

Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла)...

———

И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть, и ненависть к отчизне...
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи...

«Неслыханные перемены» (например, карта Европы после всемирной войны) и «невиданные мятежи» (Октябрьская революция) не заставили себя долго ждать. Поэты предугадывали события. Лирика, как лакмусовая бумажка, тотчас меняет свой цвет, когда еще простым глазом не увидишь в пробирке совершившуюся химическую реакцию. В воздухе носился сладостный и смертоносный запах, как будто запах горького миндаля — так чудилось поэту [8]. Эпитет «предсмертный» стал привычным и внутренне необходимым.

В какой среде жил в это время Блок? 1904 год был весь под знаком Мережковского — Гиппиус. Дом Мурузи на Литейном проспекте был своего рода психологическим магнитом, куда тянулись философствующие лирики и лирические философы.

«Дом Мурузи» играл ту же роль, какую впоследствии играла «Башня» Вяч. Ив. Иванова.

Новейшее поколение того времени искало и находило в Мережковском связь с ушедшим поколением. Каждый из нас, встретив Мережковского в Летнем саду на утренней ежедневной прогулке, думал, глядя на его маленькую фигурку, узенькие плечи и неровную походку, что этот человек связан какими-то незримыми нитями с Вла-

димиром Соловьевым, значит, и с Достоевским — и далее с Гоголем и Пушкиным. Пусть Соловьев относился к Мережковскому недружелюбно, но у них, однако, была общая тема, казавшаяся нам пророческой и гениальной. Блок так это чувствовал. Правда, он то и дело «уходил» от Мережковских, но потом опять неизбежно к ним тянулся. Впрочем, тогда все «символисты» и «декаденты» изнемогали в любви-вражде. Все, как символисты, хотели соединиться, и все, как декаденты, бежали друг от друга, страшась будто бы соблазна, требуя друг от друга «во Имя», этим знанием «Имени», однако, не обладая.

В доме Мережковских был особого рода дух — я бы сказал, сектантский, хотя они, конечно, всегда это отрицали и, вероятно, отрицают и теперь. Но такова судьба всех религиозных мечтателей, утративших связь с духовной метрополией. Иногда казалось, что Мережковский «рубит сплеча», но когда он, бывало, уличит какую-нибудь модную литературную «особу» в тупеньком мещанстве и крикнет, растягивая своеобразно гласные: «Ведь это пошла-а-асть!», невольно хотелось пожать ему руку. Как бы ни относиться к Мережковскому, но отрицать едва ли возможно ценность его книг о Достоевском и Толстом и особенно о Гоголе. А в то время эти книги были приняты символистами, и в том числе Блоком, как события.

Мережковский с бо́льшим основанием мог бы сказать, как сказал про себя В. В. Розанов: «Пусть я не талантлив: тема-то моя гениальна!» [9]

К историческому христианству предъявлены были огромные неоплаченные векселя. Мережковский закричал, завопил, пожалуй, даже визгливо и нескладно, но с совершенною искренностью, о правах «натуры и культуры», о том, что ведь должна же история иметь какой-то смысл, если она тянется после Голгофы две тысячи лет. Холодный, но честный пафос Мережковского и тонкая, остроумная диалектика З. Н. Гиппиус гипнотически действовали на некоторых тогда еще молодых, а ныне уже вполне сложившихся людей, из коих некоторые покинули даже наш бренный мир.

Кружок Мережковских, где бывал и Блок постоянно, состоял из людей двух поколений — старшее было представлено В. В. Розановым, Н. М. Минским, П. С. Соловьевой и др., младшее — А. В. Карташевым, В. В. Успенским, Д. В. Философовым, А. А. Смирновым, Е. П. Ивановым, Д. Н. Фридбергом, Леонидом Семеновым,

В. А. Пестовским (Пястом) и мн. др. Не все в равной мере находились под влиянием Зинаиды Николаевны Гиппиус и Дмитрия Сергеевича, но почти все были в них немного «влюблены».

Полулежа на мягком диване и покуривая изящно тоненькую душистую папироску, З. Н. Гиппиус чаровала своих юных друзей философическими и психологическими парадоксами, маня их воображение загадками и намеками. Несмотря на соблазнительность салонного стиля, в этих беседах была значительность и глубина, и нет ничего удивительного, что Блок был в сетях Мережковских — ускользал из этих сетей и вновь в них попадал. Как же Мережковские относились к Блоку? В последнем, декабрьском, нумере «Нового пути» за 1904 год появилась статья о книге поэта, подписанная буквою «Х»[10]. Она, кажется, выражает довольно точно отношение к Блоку обитателей дома Мурузи. «Автор стихов о Прекрасной Д а м е, — сказано было в с т а т ь е, — еще слишком туманен, он — безверен: сама мистическая неопределенность его недостаточно определенна; но там, где в стихах его есть уклон к чистой эстетике и чистой мистике — стихи нехудожественны, неудачны, от них веет смертью. Страшно, что те именно мертвее, в которых автор самостоятельнее. Вся первая ч а с т ь, — посвященная сплошь Прекрасной Д а м е, — гораздо лучше остальных частей. А в ней чувствуется несомненное — если не подражание Вл. Соловьеву, не его в л и я н и е, — то все же тень Вл. Соловьева. Стихи без Дамы — часто слабый, легкий бред, точно призрачный кошмар, даже не страшный и не очень неприятный, а просто едва существующий; та непонятность, которую и не хочется понимать...»

Несправедливо было бы понять этот отзыв как простое брюзжание «отцов» на «детей». В нем была действительно честная требовательность, справедливое желание подчинить туманную неопределенность какому-то высшему смыслу. И все же Мережковские «влюбились» в Блока и каждый раз страдали от его «измен».

В салоне Мережковских беседы велись на темы «церковь и культура», «язычество и христианство», «религия и общественность». Тема политики в точном смысле стала занимать Мережковских значительно позднее, когда у них завязались противоестественные отношения с социалистами-революционерами. Тогда Мережковские до этого еще не дошли.

Центром внимания в доме Мережковских нередко был В В. Розанов, впоследствии ими изгнанный из Религиозно-философского общества за политические убеждения и юдофобство. А в то время Мережковский, провозгласивший Розанова гением, увивался вокруг него, восхищался каждым его парадоксом. Я помню, в тот вечер, когда я в первый раз увидел у Мережковских Розанова, этот лукавый мистик поразил меня своею откровенностью. В ответ на вопрос Мережковского: «Кто же, по-вашему, был Христос?», Розанов, тряся коленкою и пуская слюну, просюсюкал: «Что ж! Сами догадайтесь! От него ведь пошли все скорби и печали. Значит, дух тьмы...»

Юные поэты, окружавшие З. Н. Гиппиус, как пажи королеву, говорили тихо, многозначительно, все чаяли новых откровений и верили, что наступила эпоха «Третьего Завета». Блок среди них был «свой» и «чужой», вечно ускользающий — так же как и «Боря Бугаев» (Андрей Белый), о чем хорошо рассказано в его воспоминаниях о Блоке. Тут же бывал В. А. Тернавцев, тогда еще не писатель, однако влиявший весьма на мировоззрение Мережковских. Впрочем, впоследствии Мережковские от него отреклись, как отреклись от своего ближайшего друга Розанова.

Был в это время — я говорю про 1904 год — еще один дом, который посещал нередко А. А. Блок. Это — дом Федора Кузьмича Тетерникова (Федора Сологуба). Федор Кузьмич жил на Васильевском острове в доме городского училища, где он служил в качестве инспектора. Собрания у Сологуба были иного характера. Преобладали не чаяния нового откровения, а поэзия по преимуществу. В доме с холодноватою полуказенною обстановкою жил Федор Кузьмич с своею сестрою Ольгою Кузьминичною, тихою, гостеприимною, уже не молодою девушкою. Гостей сажали за длинный стол, уставленный яствами, угощали радушно вкусными соленьями и какими-то настойками. А после угощенья поэты переходили в кабинет хозяина, где по требованию мэтра покорно читали свои стихи, выслушивая почтительно его замечания, чаще всего формальные, а иногда и по существу, сдобренные иронией. Все было с внешней стороны по-провинциальному чопорно, но поэты понимали, что за этим условным бытом и за маскою инспектора городского училища таится великий чародей утонченнейшей поэзии.

Но близилась другая эпоха. Декадентские «кельи» и «тайные общины», под напором внешних событий, должны

были утратить свой замкнутый конспиративный характер. Мережковские первые возжаждали «общественности». Однако новые люди, приглашенные в редакцию «Нового пути», прожили мирно всего лишь три месяца. После редакционного кризиса журнал прекратил свое существование. На развалинах «Нового пути» возникли «Вопросы жизни».

Этот 1905 год ознаменовался для меня сближением с Блоком, но в этот же год у меня с ним был спор о Влад. Соловьеве. Поводом была моя статья «Поэзия Владимира Соловьева». Печатные возражения на эту статью С. М. Соловьева и С. Н. Булгакова имели свои основания. Возражения Блока были другого порядка. Ему, в сущности, не было надобности спорить со мною в этом пункте, но он все-таки спорил и, как мне казалось тогда, ломился в открытую дверь. Блок спорил не со мною, а с самим собою. Он боялся тех выводов, на которые я решался, исходя из тех же представлений о Соловьеве, как и он. Драма моих отношений с Блоком заключалась в том, что я всегда старался обострить темы, нас волновавшие, поставить точку над «i», а он предпочитал уклоняться от выводов и обобщений. Это с его стороны не было просто робостью. Он был насквозь лиричен, а из лирики нет исхода. Блок был в заколдованном кругу. А я спешил пройти все этапы тогдашних мыслей и переживаний, интуитивно чувствуя, что лучше все это романтическое зелье выпить до дна и, может быть, впредь уж не искать жадно опасной чаши. Блок медлил ее испить, боясь похмелья. Как поэт, пожалуй, он был прав. Если в самом деле «слова поэта суть уже его дела» [11], Блок исполнил свой подвиг до конца. Таково, должно быть, было его предназначение. Но и я не сожалею о том, что поторопился тогда броситься навстречу опасности. Лично и биографически я был за это жестоко наказан, но зато я преодолел в конце концов и последний соблазн, так называемый «мистический анархизм», сначала принятый Блоком, а потом им отвергнутый — увы! — только на словах. Жизненно, реально, он так и остался «мистиком-анархистом» до конца своих дней, в чем я убедился из беседы с ним в Москве незадолго до его кончины.

Историческую декорацию 1905 года легко себе представить, но мы, участники тогдашней трагедии, переживали события с такою острою напряженностью, какую едва ли можно сейчас выразить точными и убедительными словами. Возможно ли передать, например, ночь

с 8-го на 9-е января в помещении редакции «Сына отечества»? Тогда все петербургские писатели сошлись здесь, чувствуя ответственность за надвигающиеся события. Самые противоположные люди толпились теперь в одной комнате, сознавая себя связанными круговою порукою. Здесь были все, начиная от Максима Горького и кончая Мережковским. В течение всей ночи велись переговоры с правительством. Наши депутаты уезжали и приезжали. Там, за оградою правящей бюрократии, все ссылались друг на друга. Как будто никто не был повинен в том, что изо всех казарм шли солдаты и что готовится расстрел безоружных рабочих. Вот эти залпы и трупы несчастных, «поверивших в царя», были вещим знаком — особливо для поэтов.

И когда в ту страшную ночь там, в редакции «Сына отечества», Мякотин предложил немедленно захватить типографии для выпуска газет явочным порядком, без цензуры, мы все почувствовали, что началась революция.

Блок принял революцию, но как? Он принял ее не в положительных ее чаяниях, а в ее разрушительной *стихии*, — прежде всего из ненависти к буржуазии. Я не могу не напомнить одного стихотворения поэта, которое почему-то не часто вспоминают:

СЫТЫЕ

Они давно меня томили:
В разгаре девственной мечты
Они скучали, и не жили,
И мяли белые цветы.
И вот — в столовых и гостиных,
Над грудой рюмок, дам, старух,
Над скукой их обедов чинных
Свет электрический потух.
К чему-то вносят, ставят свечи,
На лицах желтые круги,
Шипят пергаментные речи,
С трудом шевелятся мозги.
Так негодует все, что сыто,
Тоскует сытость важных чрев:
Ведь опрокинуто корыто,
Встревожен их прогнивший хлев.
Теперь им выпал скудный жребий:
Их дом стоит неосвещен,
И жгут им слух — мольбы о хлебе
И красный смех чужих знамен.
Пусть доживут свой век *привычно*. —
Нам жаль их сытость разрушать.
Лишь чистым детям неприлично
Их старой скуке подражать.

В ту эпоху, однако, я был ближе к революции, чем Блок. Правда, я никогда не был в партии, дорожа вольностью лирика и скитальца, но связь моя с революцией была реальна еще со студенческой скамьи, а Блок в университете так был равнодушен к общественности, что по рассеянности как-то даже скомпрометировал себя в глазах товарищей во время студенческого движения. Мне кажется, что именно на мою долю выпало «научить» Блока «слушать музыку революции». Правда, впоследствии мы стали различать разные мотивы в этой музыке и иногда расходились в их оценках.

Впрочем, наше отношение к революции не всегда могло удовлетворить трезвых политиков. Я помню паша скитальчества с Блоком в белые петербургские ночи и долгие беседы где-нибудь на скамейке Островов. В этих беседах преобладали не «экономика», «статистика», не то, что называется «реальной политикой», а совсем другие понятия и категории, выходящие за пределы так называемой «действительности». Чудились иные голоса, пела сама стихия, иные лица казались масками, а за маревом внешней жизни мерещилось иное, таинственное лицо. Вот в эти дни слагалась у меня в душе та, по слову Вячеслава Иванова, одегетика [12], которую я назвал «мистическим анархизмом». Мои тогдашние манифесты и брошюры (опубликованные после закрытия «Вопросов жизни») вызвали, как известно, всеобщую брань и насмешки. В самом деле, все эти тогдашние мои публикации были весьма незрелы, неосторожны и самонадеянны, но все же в них заключалась некоторая правда, никем до меня не высказанная. Первоначально Блок почувствовал эту правду, т. е. что «уж если бунтовать, так бунтовать до конца», не останавливаясь на половине пути, но потом — под влиянием всеобщей травли — смутился и отступил. Это случилось спустя два года после первых наших ночных бесед о «перманентной революции».

Все эти метаморфозы наших отношений в связи с темою мистического анархизма читатель найдет в письмах Блока ко мне. <...>

В это же время произошло мое духовное сближение с Вячеславом Ивановым, который на своих знаменитых «средах» на «Башне» (он жил в то время на Таврической улице) объединял самых разнообразных людей, начиная с Блока и кончая многими из теперь всему миру известных большевиков. Его концепция «неприятия мира»

встретилась с моим «мистическим анархизмом», и мы в 1906 году под этим названием выпустили одну книгу в издательстве «Факелы» [13]. Три сборника «Факелов» стали излюбленною мишенью для обстрела критиков всех сортов и качеств. Яростнее всего восстали против «Факелов» те, кому, казалось бы, менее всего надлежало против них восставать. Тут уж было дело не в идеях, а совсем в ином, о чем говорить сейчас невозможно, да и впоследствии едва ли понадобится [14].

Помимо идей, параллельно с теорией, шла тогда весьма сложная запутанная жизнь. Чувство «катастрофичности» овладело поэтами с поистине изумительною, ничем не преоборимою силою. Александр Блок воистину был тогда персонификацией катастрофы. И в то время, как я и Вячеслав Иванов, которому я чрезвычайно обязан, не потеряли еще уверенности, что жизнь определяется не только отрицанием, но и утверждением, у Блока в душе не было ничего, кроме все более и более растущего огромного «нет». Он уже тогда ничему не говорил «да», ничего не утверждал, кроме слепой стихии, ей одной отдаваясь и ничему не веря. Необыкновенно точный и аккуратный, безупречный в своих манерах и жизни, гордо-вежливый, загадочно-красивый, он был для людей, близко его знавших, самым растревоженным, измученным и в сущности — уже безумным человеком. Блок уже тогда сжег свои корабли.

Великое свое отрицание Блок оправдал своими подлинными страданиями. Размножившиеся тогда декаденты в большинстве случаев из-за моды «эпатировали буржуа», и с их легкой руки до наших дней возникающие «школы» продолжают свое легкомысленное занятие, даже не догадываясь, какою ценою купили себе право на это отрицание старшие декаденты.

2

Мои отношения с Блоком всегда были неровны. То мы виделись с ним очень часто (однажды случилось, что мы не расставались с ним трое суток, блуждая и ночуя в окрестностях Петербурга), то нам не хотелось смотреть друг на друга, трудно было вымолвить слово и прислушаться к тому, что говорит собеседник. На то были причины.

Иногда наши разногласия достигали какого-то предела и находили даже внешнее себе выражение. Эти отталкивания случались именно около тех тем, которые казались каждому из нас самыми заветными. Таких «взрывов» в наших отношениях было три. Первый — это письмо Блока о Соловьеве; второй — отречение Блока от «мистического анархизма»; третий — спор наш об интеллигенции и народе.

Вот это последнее столкновение произошло в 1908 году по поводу доклада Блока «Интеллигенция и народ», прочитанного им сначала в Религиозно-философском обществе, а потом в Литературном обществе. Содержание этого доклада теперь всем известно, потому что в 1919 году «Алконост» издал его вместе с другими статьями Блока отдельной книжкой.

Доклад Блока был весьма примечателен своим пророческим духом. Поэт в самом деле с необычайной остротою предчувствовал стихийный характер надвигавшейся революции. Он был сам сейсмографом, свидетельствующим, что близко землетрясение. Чувство катастрофичности всегда было присуще и мне, — и не эти предчувствия вызвали мое возражение Блоку. Мне был неприятен в его докладе тот невыносимый, удушающий пессимизм, которым веяло от всего этого мистического косноязычия. Я тогда же устно и печатно возражал Блоку [15].

Теперь, конечно, я бы иначе возражал ему, но от сущности моего тогдашнего возражения я и теперь не отказываюсь. Я и теперь думаю, что, приписывая нашей интеллигенции такие свойства, как «индивидуализм, эстетизм и отчаяние», Блок глубоко ошибался. Я не отрекусь от моих тогдашних слов: «Неужели не ясно, что все три темы, влюбившие в себя поэта, — индивидуализм, эстетика и отчаяние, — все эти темы являются предметом ненависти нашего интеллигента? Неужели Блок не понимает, что влюбленность в эти темы есть крайнее *декадентство?* И неужели не очевидно, что декадентство *полярно* по отношению к интеллигенции? Интеллигенция, со времени Белинского утверждавшая идею общественности и народолюбия, со времени Писарева провозгласившая парадоксальное разрушение эстетики и, наконец, в лице своих революционеров объявившая войну апатии и косному отчаянию, — что общего имеет эта интеллигенция с тем орхидейным интеллигентом, который расцветает в декадентской оранжерее! Образ двойника заслонил Бло-

ку образ интеллигенции, и печать смерти на лице этого двойника Блок принял на печальный знак гибели всего нашего общества...»

Иные пессимисты, пожалуй, готовы будут признать пророчества Блока исполнившимися с буквальной точностью, но я и теперь не склонен к такой мрачности. Я и теперь готов подписаться под тогдашними моими строками: «Поэт был несправедлив к нашей интеллигенции: он слишком умалил ее добродетели и, с другой стороны, *слишком польстил ей,* предположив, что она стоит на той высокой ступени культуры, откуда видны последние противоречия нашей жизни и где у слабых кружится голова над раскрывшейся бездной...»

«У Глеба Успенского есть очерк «Овца без стада». В этом очерке фигурирует «балашовский барин», который непрестанно печалуется о народе и вечно к нему стремится, но из его хождения в народ ничего не выходит. «Мешает мне мое в высшей степени ложное положение, положение барина... — признается он; — заметьте, что я говорю — мешает положение *не интеллигентного человека, а просто барина»...* Я боюсь, что Блок попал в это «ложное положение», как выражается герой Глеба Успенского. И это вовсе не значит, что у Блока нет связи с народом, с Россией. Охотно верю, что такая связь имеется, но не там она, где думает Блок. Любовь к народу и родной стране вовсе не требует тех самообличений, которыми так увлекся поэт, и того хождения в народ, которым занялся «балашовский барин»...»

Блок был задет моими возражениями, и во втором своем докладе — «Стихия и культура», прочитанном в том же 1908 году в Религиозно-философском обществе, говорил, между прочим: «Георгий Чулков заявил печатно, что вся моя тема в сущности совсем не об интеллигенции, а о декадентах...» Блок настаивал на том, что «во всех нас заложено чувство болезни, тревоги, катастрофы, разрыва...». Это было сказано 30 января 1908 года. Я напечатал тогда статью «Лицом к лицу» [16]. Там я писал: «Мы все предчувствуем катастрофу. Но эти предчувствия не должны, однако, угашать в нас разума. И если наш внутренний опыт подобен динамиту или той бомбе, о которой живописно рассказал Блок, то все же нет надобности бросать эту бомбу так, зря, как была она брошена или — что еще хуже — забыта по рассеянности на столике Café de Paris. Блок однажды заявил, что он ниче-

го общего не имеет с мистическим анархизмом. Это верно. Зато он имеет нечто общее с анархическим мистицизмом, с тем подозрительным мистицизмом, который лишен знания и определяется лишь настроением и лирикой...»

Так мы с Блоком пугались друг друга, чувствуя, что с одною катастрофой в душе не проживешь. Меня удивлял и раздражал тогда обличительный тон выступлений Блока. Я не видел и сейчас не вижу, «во имя» чего, собственно, поэт восставал против интеллигенции. Его цитата из «Переписки с друзьями» [17] была для меня не убедительна, ибо у Блока еще менее было прав на учительство, чем у Гоголя. Наша общая беда была в том, что никакого «имени» не было в то время ни у него, ни *у* меня. А у Блока даже до последних его дней. Я тогда еще бормотал нескладно, что я «ночной ученик», что я «Никодим» [18]. Блок даже этого не мог сказать.

Но, несмотря на все наши размолвки, я любил Блока. Я понимал до конца весь тот волшебный мир, в котором жила и пела его душа. А поэт ценил во мне то, что со мною можно было говорить не по-интеллигентски, что я с полуслова понимаю его символический язык.

Но надо признаться, что тот дурной анархический мистицизм, в котором я упрекал Блока, был и мне свойствен, если не идейно, то «житейски», биографически. Это уж была болезнь эпохи. И первым ее проявлением была ирония. Александром Блоком в 1908 году была написана статья с таким же названием — «Ирония». «Самые живые, самые чуткие дети нашего века, — писал он, — поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь — сродни душевным недугам и может быть названа *иронией.* Ее проявления — приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается — буйством и кощунством».

«И все мы, современные поэты, — у очага страшной заразы. Все мы пропитаны провокаторской иронией Гейне. Тою безмерною влюбленностью, которая для нас самих искажает лики наших икон, чернит сияние ризы наших святынь...» «Кто знает то состояние, о котором говорит одинокий Гейне: *«Я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо».* Ведь это — крик о спасении...» [19]

Эта жуткая ирония, которая всегда присутствует в романтической поэзии, была культивируема всеми нами в ту петербургско-декадентскую эпоху. Эта ирония казалась необходимой, как соль к трапезе. Без нее нельзя было написать стихотворения, прочесть доклад, поговорить за ужином с приятелем. Даже влюбляться без иронии казалось многим чем-то вульгарным и неприличным. Это была эпоха петербургского альманаха «Белые ночи», иронического пролога к «Трагедии смерти» Федора Сологуба, где есть пародия на Блока[20], — это была эпоха бесконечных каламбуров и мистических двусмысленностей. Каламбуры любил Блок, но иногда он защищался от них шутками и эпиграммами. Я помню, как однажды на мой каламбур Блок ответил эпиграммой:

Чулков и я стрелой амура
Истыканы со всех концов,
Но сладким ядом каламбура
Не проведет меня Чулков.

К сожалению, это была эпоха, когда мы все злоупотребляли словами, и при этом «слово не расходилось с делом». Многие из нас «для красного словца» не жалели заветного. Это были дни и ночи, когда мы нередко искали истины на дне стакана.

Однажды, когда я писал рассказ «Одна ночь», а Блок только что написал стихи «Белая ночь» (а в это время Андрей Белый яростно бранил в «Весах» и меня и Блока), Александр Александрович сочинил шутливое четверостишие:

Чулков «Одною ночью» занят,
Я «Белой ночью» занялся, —
Ведь ругань Белого не ранит
Того, кто все равно спился...

В старинных учебниках истории всегда можно было найти главу «Распущенность нравов накануне революции». В этой исторической обстановке Александр Блок писал свой «Балаганчик», «Незнакомку» и позднее «Снежную маску». В апреле 1912 года на третьей книге своих стихов, переизданной «Мусагетом», Блок сделал мне надпись: «Милому Георгию Ивановичу Чулкову на память о пережитом вместе». Так это и было: самое страшное и опасное, что в те дни соблазняло души, воистину нам пришлось пережить вместе с ним.

Однажды Блок, беседуя со мною, перелистывал томик Баратынского. И вдруг неожиданно сказал: «Хотите, я

отмечу мои любимые стихи Баратынского». И он стал отмечать их бумажными закладками, надписывая на них названия стихов своим прекрасным, точным почерком. Закладки эти почти истлели, и я хочу сохранить этот список любимых Блоком стихов. Вот эти три стихотворения: «Когда взойдет денница золотая...», «В дни безграничных увлечений...», «Наслаждайтесь: все проходит...» Этот выбор чрезвычайно характерен для Блока — смешение живой радости и тоски в первой пьесе, «жар восторгов несогласных», свойственных «превратному гению», и присутствие, однако, в душе поэта «прекрасных соразмерностей» — во второй и, наконец, заключительные строки последнего стихотворения, где Баратынский утверждает, что «и веселью, и печали на изменчивой земле боги праведные дали одинакие криле»: все это воистину «блоковское». Быть может, задумавшись над этими стихами, Блок впервые замыслил ту тему, какая впоследствии стала лейтмотивом его «Розы и Креста»:

Сердцу закон непреложный —
Радость-Страданье одно...
Радость, о, Радость-Страданье,
Боль неизведанных ран...

Впрочем, надо с большой осторожностью говорить о «замыслах» Блока. Он всегда исходил не от замысла, а от образа-символа. Поэт «мыслит вещами», уподобляясь иному, безмерно более высокому источнику бытия, которому приписано это свойство мудрецами. Так и Блок, даже впадая в парадоксальные крайности, всегда стремился освободиться от «смысла». Он сам придумал иронический термин: «священный идиотизм». Однажды он воистину злоупотребил этою двусмысленною добродетелью. В один прекрасный вечер он объявил, что у него в душе возникла тема драматического произведения. На вопрос: «Какая же это тема?», Блок ответил очень серьезно: «Аист на крыше и заря». На шутливое замечание, что это, пожалуй, маловато для трагедии, Блок стал уверять, что ничего другого у него нет в душе, но что «заря и аист» вполне достаточны для пьесы. Однако из этого «аиста» ничего не вышло.

Верленовские nuances * не исключали в Блоке любви к точности. Только блоковская точность была иного по-

---

* Нюансы (*фр.*).

рядка, чем точность внешних и трезвых душ. Правда, Блок не достигал «математического символизма» Эдгара По, однако в его поэзии, особенно в эпоху «Ночных часов», стали преобладать ямбы — кристаллы прозрачной ясности и строгой чеканки.

Но Блок никогда не был способен к прочным и твердо очерченным идейным настроениям. «Геометризм», свойственный в значительной мере Вл. Соловьеву, был совершенно чужд Блоку. Поэт любил не самого Соловьева, а миф о нем, а если и любил его самого, то в некоторых его стихах, и в его письмах, и даже в его каламбурах и шутливой пьесе «Белая лилия». Едва ли Блок удосужился когда-либо прочесть до конца «Оправдание добра». Блок не хотел и теократии: ему надобен был мятеж. Но чем мятежнее и мучительнее была внутренняя жизнь Блока, тем настойчивее старался он устроить свой дом уютно и благообразно. У Блока было две жизни — бытовая, домашняя, тихая и другая — безбытная, уличная, хмельная. В доме у Блока был порядок, размеренность и внешнее благополучие. Правда, благополучия подлинного и здесь не было, но он дорожил его видимостью. Под маскою корректности и педантизма таился страшный незнакомец — хаос[21].

В прекрасных анапестах стихотворения «К Музе», написанных уже в 1912 году, Блок сам еще раз подводит итоги своей жизненной судьбы. Кто была его Муза?

Зла, добра ли? — Ты вся — не отсюда.
Мудрено про тебя говорят:
Для иных ты и Муза, и чудо,
Для меня ты — мученье и ад.

Недавно я перечитал его «Розу и Крест». Это — одна из немногих попыток Блока выйти из магического круга иронии и отрицания. В жертве Бертрана поэт мечтал найти наконец оправдание и смысл нашей жизни. Но, должно быть, не положительное утверждение бытия, а его переоценка до конца свойственны были хмельному сердцу поэта,

И была роковая отрада
В попираньи заветных святынь,
И безумная сердцу услада —
Эта горькая страсть, как полынь.

Июль 1924

ВЛ. ПЯСТ

1
ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ

⟨...⟩

Январь 1905 года. Я, «первокурсник», отнесший несколько своих стихотворений в «Новый путь», попадаю нежданно-негаданно в литературный круг. В воскресенье днем собираются у Мережковских. Многие, — поэты, художники, философы. Несколько студентов в том числе. Один из них — высокий в своем прекрасно сшитом сюртуке, стройный, как Аполлон, и лицом вызывающий мысль об этом боге.

Это Блок. Я, *обожающий* его стихи уже год, с первого «новопутейского» цикла, представлял себе поэта (этого... «поэта всех времен и народов», — несется мысль моя) совсем иным. Нежным, мягким и юным, как апрельский пух на деревах. Непременно белокурым и болезненным.

У него глубокий — «природой поставленный» — голос. Смелость, благородство и вместе мягкость — рыцарство — в каждом проявлении.

Разговор заходит об отсутствующем поэте. «Как он мелко плавает! Какая банальность это последнее, что он напечатал:

О, Елена, Елена, Елена!..» —

произносит свой суд лицо, очень влиятельное, очень большим правом на приговоры в этой области обладающее. Очень ценимое Блоком, много в его внутреннем мире значащее [1].

Но Блок — один он — сейчас же вступается. Наперекор всей, одобряющей суждение, аудитории. Говорит звучно и прямо:

— «Но там у него дальше:

Ты и жизнь, ты и смерть кораблей.

И потом уже идет хорошо» [2].

Такова была моя первая встреча с Блоком.

Прошел 1905 года октябрь. Меня застает больным первое письмо Блока ко мне с приглашением к нему. Лицо, много значившее для нас обоих, считало очень нужным, чтобы мы познакомились ближе. Я не попадаю в назначенный день к нему. Кроме меня, у него должен был быть в тот день (в декабре 1917 года зверски убитый) поэт Леонид Семенов (истинный создатель «гипердактилей» в поэзии *).

Меня, вместе с лихорадкой от инфлуэнцы, колотит лихорадочное желание скорее увидеть Блока у него, в «его атмосфере», которая уже издали кажется мне волшебной. Не знаю я никаких терминов, не знаю, что такое «астрал»; даже про гипнотизм считаю, что фактичность его наукою не признается. Я на математическом факультете и приспособляю свой образ мыслей к среде, с которою сталкиваюсь за ежедневной работой. Но, помимо моей воли и разума, «то» — «Тайна», «заветное», «непомерное», «беззакатное» — овладевает мною. Оно так и исходит от него, от Блока, из его стихов, из него как человека, про которого его сверстник, — тоже, но совсем по-иному, весь насыщенный «тем», — говорит как-то при мне:

«Это у него от гипнотизма».

Едва становится мне лучше, без всякого предупреждения хозяина я мчусь к нему в гости. Простукиваю палочкой Литейный (и эта деталь в нашем знакомстве не несущественна. Столько странствуем мы впоследствии вместе по городу и за городом! Журнал, который мы затеваем в 1911 году вместе, Блок предлагает назвать «Путником», и самое открытие этого имени доставляет

---

* Хронологически первым был Дельвиг, но у него они не напечатаны и лишь в 1920 году «открыты». У Полонского — только в шутку; у З. Гиппиус — не раньше Л. Семенова. (*Примеч. Вл. Пяста.*)

ему много удовольствия. Тогда же, почти как в память этой первой нашей встречи, он хочет подарить мне, ходящему уже без палки, тросточку).

Сажусь у Окружного <суда> в конку, схожу у Сампсониевского моста; торгуюсь с извозчиком, который к Гренадерским казармам ехать отказывается. Беру другого — и еду во тьме по абсолютно пустынной набережной. Извозчик, как и я, где именно на этой набережной Гренадерские казармы — не знает.

Наконец, попадается одинокий пешеход. Велю вознице приостановиться и окликаю встречного вопросом.

Но сейчас же сам перебиваю себя: «Александр Александрович, это вы? Здравствуйте».

Блок сходит с тротуара, всматриваясь в меня, прикрывает сверху лицо рукой и говорит:

— Кто это? Не вижу, не узнаю.

Соскочив с извозчика, называю себя. А тросточка моя предупреждает меня, еще раньше выскальзывая из рук и падая посеред тротуара...

Он усиленно зван в этот вечер к Рериху. На Галерную; в первый раз. Конечно, я провожаю его до самого художника. И путь нам кажется не только близким, но прямо-таки «страшно» коротким. Это потому, что так много сказали мы друг другу за это время.

Придя домой, я записал все сказанное; почти, думаю, до слова.

Прошагали некоторое время молча. Затем Блок сказал:

— Как все это странно?

— Что?

— Наша встреча.

Я согласился, что действительно сцепление обстоятельств, имевших в результате эту встречу, было так сложно, что можно предположить, будто им управлял не простой случай. Я окликнул именно того, кого искал, не зная, что его окликаю. Вышел из дому, сел на конку, взял извозчика — все именно в такое время, чтобы эта встреча имела место. Согласись ехать первый извозчик, с которым я торговался, не согласись второй, на котором я *поехал*, — мы бы не встретились. Но всю необычайность этого сцепления обстоятельств я понял не сразу. Еще сидя на извозчике, я все представлял себе Блока в ежедневных прогулках по пустынной этой набережной. Вот почему эта встреча, совпавшая с тем, чем было

занято мое воображение в эту минуту, не показалась мне удивительной.

Заговорили о своем неумении говорить. «Пока я ехал к вам, у меня было много, что сказать вам, а теперь не знаю, удастся ли».

Блок: — Ох, как это я хорошо знаю, — по себе знаю! Почти никогда не удается. Я уже за последнее время поэтому говорю казенно. И как! — кощунственно казенно. О самом важном говорю казенно, о самом внутреннем. Но знаете? Иногда удается. Вдруг, на улице — именно как сейчас, в темь, под мелким дождем, бывает, что многое скажется.

Я на это ответил: — Мне и то очень многие говорили, что я похож на вас в некоторых отношениях...

Блок: — И говорили, вероятно, с большим укором?

Я: — Вот уж не помню, кажется, нет... Во всяком случае, когда и хочешь и можешь сказать, говоришь все-таки не то, что думаешь.

Блок: — О да, да!.. И часто это оттого, что собеседник ваш не существует.

— ?

— Да, я теперь, за последнее время, достоверно узнал про некоторых, что они не существуют. Но про немногих.

Я: — От Андрея Белого я слышал подобное. Вот он говорит, что не существует, например, один московский лектор и критик Ш.....[3]. Не существует. Придет домой, разберет свой механизм: руки, ноги, голову, туловище, все положит отдельно по ящикам комода.

Блок: — Ш—на я не знаю. Но Андрей Белый, говоря так, от своей полноты ставил крест над ним; я же — от пустоты своей: как катящийся нуль, я не задеваю того, кто «не существует», и он меня никак не касается. Я знаю это про немногих, и почти исключительно про тех, которые на поверхностный взгляд особенно полны. Вот, например, про ———ского (речь идет не о Мережковском. — *В. П.*), про которого я недавно писал в «Новом пути». Я думал, что он для меня много значит. А вдруг достоверно узнал, что не существует[4].

— А про меня что вы можете сказать?

— Про вас наверно могу сказать, что вы существуете для меня. Впрочем, это познается внезапно. Вот мы будем когда-нибудь сидеть, говорить, и вдруг оба почувствуем друг друга, откуда тот... И тогда будет хорошо, а

может быть, плохо... Откуда вы и я, кто вы, какого вы духа, кому служите — всё вдруг узнается.

Я: — Но знаете, я-то не убежден, существую ли я. За последнее время мне иногда кажется, что я — как верхняя кожица, самая верхняя, ложусь на многое, и это многое представляю и покрываю собой. Но это многое — не я. Я — только кожица.

Блок: — Это как бы скромность по отношению к себе в своих мыслях. И у меня это бывает. Пустота моя очень ощущается мною, — например, на этих днях. Это то же. Нет, я думаю, мы действительно очень похожи. Вот: ведь у вас бывали экстазы?

— Экстазы?.. На это очень трудно ответить. Дайте мне какое-нибудь определение... (Блок промолчал, я продолжал.) Если брать самое общее: выхождение из чувственного мира, — тогда, наверное, да.

Блок: — Но мне кажется, в них еще что-то всегда есть, кроме выхождения. В конце должно быть слияние с миром. Как в стихах Владимира Соловьева. У меня вначале была тоска, а потом радость. Рождается из тоски, а кончается просветлением.

Я: — То, что вы говорили о людях, то я во время экстаза испытываю по отношению ко всему миру в целом. Несуществование мира. Но тоска не разрешается. Впрочем, не тоска, а леденящее безумие мира. Конечно, это нельзя высказать.

Блок: — А знаете, мне кажется, у меня именно то же бывает. По некоторым признакам.

После нескольких слов о лице, явившемся виновником нашего знакомства, я продолжал описывать приблизительными словами экстатические состояния, при которых мировой процесс кажется «феерическим». «Не знаю, поймете ли вы, — сказал я Блоку, — но другого слова не подыскать...»

Блок: — Чтобы говорить *настоящими* словами, иногда мне кажется — надо преобразиться. Но то, что вы говорите, мне кажется, я могу понять. Могу понять вас и знаю, почему вам так кажется...

Далее я рассказал Блоку два свои недавние сна, ярко отпечатлевшиеся в моей памяти. Один из них был о девушке, которой я во сне крикнул: «А, так вы та, о которой писал Достоевский!»

— Тогда, во сне, — говорил я, — я припомнил что-то с такой быстротой, что когда вспоминаю о скорости своей

мысли теперь, в самом деле как-то кружится голова. Я ясно помню, как сейчас же, во сне же, я забыл то, что я припомнил, — и вместо имени истинного создателя этой женщины назвал во сне имя наиболее близкого к нему. Вот что такое слова, их неуловимость... И во сне, даже во сне, не мог я назвать настоящего слова, которое ускользнуло от меня...

Блок: — Но вы назвали Достоевского, и это было *ничего,* не правда ли? А у меня гораздо хуже. Я просто забыл все. Позитивно забыл. И не мог бы назвать даже приблизительно, как вы.

Я: — Нет, *так* я не забыл. И думаю, что все это еще придет снова. Но я полагаю, что наши экстазы — разное.

Блок: — Ах, это одно и то же. У вас, у Диккенса, у Достоевского. У Диккенса есть одна «Темза в осеннюю ночь». А у Достоевского это в «Идиоте», когда, например, тот <Мышкин> перед встречей с Рогожиным, ждущим его с ножом, целый день видит перед собою один и те же глаза. Или когда он описывает его состояние перед падучей.

Я упорствую, указывая, что в нас есть что-то чужое. Вспоминаю его статью, где Блок находит мелким мистицизм этого самого Диккенса и Эдгара По по сравнению с глубинами Достоевского[5]. Блок отвечает, что относительно Эдгара По он уже переменил мнение, и о Диккенсе тоже. Он стал понимать всю глубину западного.

Наш разговор перешел на обмороки. Я спросил, случались ли они с Блоком.

— Нет. Только один, но самый незначительный.

— Но все-таки расскажите.

— Не стоит, да хорошенько не помню. Самый обыкновенный. Мне было тогда лет шестнадцать. Я много читал в тот день: должно быть, кровь прилила к голове, и я упал на мгновение без сознания. Вошла мама, и я сейчас же очнулся. А почему вы об этом спросили?

«Здесь, вероятно, было простое любопытство, а может быть, худшее...» Я рассказал про свой обморок, тоже бывший со мною лишь однажды.

— В момент падения вся моя жизнь точно пронеслась перед моими глазами. Все ее образы путались с неестественными образами людей, находившихся со мною в комнате, которые проплывали, склоняясь снизу вверх, перед моими глазами... Мое падение длилось... и мгновение и вместе — не ошибусь, если скажу: время,

равное веку... Но с экстазом, как выхождением из чувственного мира, этот обморок не имел ничего общего. Все образы были из этой жизни, чувственные, так сказать — «биографические».

Блок: — Нет, у меня при обмороке ничего, даже и этого, не было.

Я: — Знаете, я думаю, что я совершенно по-своему понимаю и ваши стихи. Вашу «Прекрасную Даму». Ведь в ней я вижу вот что: тайну. И мне кажется, что когда вы пытаетесь ее выразить, охватить осязательнее, — вам это не удается. Но в этом-то все и дело. Тут не любовь главное, как я понимаю, а именно это леденящее, неохватимое. Выхождение...

Блок: — Ну, конечно же так. «Прекрасная Дама» — это только название, термин; к тому же данный Валерием Брюсовым [6].

Я: — Ну, я так и думал. Но все же я ничего не знаю. Не знаю, чувствуете ли вы, что она — то, о чем я вам говорю. Не действует ли на меня так только красота ваших стихов?

Блок: — Ну да, именно это, то есть то, что вы говорили — «Прекрасная Дама». А чт*о* — невозможно выразить.

(Пауза — недолгая, но внятная.)

— А Христа я никогда не знал.

Это было сказано совершенно неожиданно, без всякого подготовления: о Христе во всем предыдущем разговоре не было произнесено ни слова. И когда я, не удивившись совершенно такому переходу, признался со своей стороны, что тоже не ощущал Христа, — «только разве один раз, и то — поверхностно, в один благоуханный летний вечер, на поляне у всходов к «горе Пик», — Блок продолжал:

— Ну, и я, может быть, только раз. И тоже, кажется, очень поверхностно. Чуть-чуть... Ни Христа, ни Антихриста.

Мы давно уже стояли около парадного входа в рериховскую квартиру и долго прощались, не могли расстаться.

Незнание Блоком Христа, ни в его божественном, ни в человеческом образе, продолжалось и через двенадцать лет, когда он писал свои «Двенадцать», и Христос, по его признанию, вошел в поэму помимо его сознания и во-

ли[7], и не в том образе, про который язычник Пилат сказал бы: «Ecce Homo» *.

Предсказанный Блоком в разговоре миг, когда «друг про друга чувствуют, кто он, откуда, какого духа, кому служит», он был между нами впоследствии, — впервые в 1906 году, когда мы были далеко друг от друга.

Психологический, почти психиатрический уклон нашего разговора не был обычным в беседах Блока. Помню, однажды у А. А. Кондратьева, о котором будет говориться, с Блоком встретился его гимназический репетитор, педагог и писатель особого пошиба (впоследствии основатель специфической гимназии) Вяч. М. Грибовский. После многих разговоров этот последний спросил у своего бывшего ученика, как бы невзначай: «Не было ли у вас галлюцинаций?»

Блок твердо и очень сухо ответил: «Нет».

Экстазы — явление совершенно другого порядка, чем галлюцинаторная деятельность больного мозга. Больным душевно Блок не был до последних своих дней.

В середине ноября, придя к Блоку, по условию, один, я застал его дома. Провели вечер в присутствии жены его матери и, некоторое время, вотчима[8]. Небольшая комната дышала каким-то рабочим уютом. На письменном столе лежал раскрытый том Байрона и — на писчей бумаге — только что сделанный Блоком по заказу перевод байроновских стихов «Аннслейские холмы». Большую часть этого вечера провели в том, что я, только однажды до того «напечатавшийся», читал свои стихи; Блок делал замечания. Одно стихотворение — «Ночь бледнеет знакомой кудесницею...»[9] — ему довольно понравилось.

С обитателями квартиры так гармонировали сцены из рыцарской жизни, на прозрачной цветной бумаге, которыми были оклеены нижние стекла высоких окон.

В следующее посещение Блока я застал у него длинного, большеносого, длинноволосого, хитроглазого студента. Студента этого я сразу узнал: это он произносил ранней осенью такую — и образную, и вместе развязную и вместе — sit venia verbo ** — ужасно плоскую речь на

---

* Се Человек (*лат.*).
** Да будет позволено сказать (*лат.*).

выборах «старост». Так он знаком с Блоком! Так он поэт! Вот как!

Да, и поэт очень, очень талантливый. Блок первый, и еще поэт А. А. Кондратьев (о котором, кстати, столько времени никаких вестей) восхищаются свежестью, оригинальностью, подлинностью чутья древности (доисторической) и другими качествами поэзии Сергея Городецкого. Яркость «Яри» через несколько месяцев, помните, кинулась в глаза всем!

Четверо мы — инициатива живчика Городецкого — задумываем кружок, общество молодого искусства. Городецкий привлекает к нему своих друзей и товарищей (между прочим, поэтов В. А. Юнгера и Н. В. Недоброво, обоих ныне — более трех лет — покойных, а также своего младшего брата, талантливого художника — одного из первых футуристов, А. М. Городецкого, безвременно скончавшегося еще до войны). От Блока в этот круг входит друг его, член религиозно-философских собраний, впоследствии же — Религиозно-философского общества, Евг. П. Иванов. Когда приезжает Андрей Белый, он неизменно посещает собрания кружка (два — у Блока). Бывает художница Т. Н. Гиппиус. Также поэт Яков Годин (ныне крестьянин). Затем мой университетский товарищ П. П. Потемкин, только что меняющий замысленную карьеру психиатра на противоположную ей (по его же тогдашнему мнению) карьеру поэта-декадента.

П. П. Потемкин собирался пройти естественный факультет университета, затем поступить на третий курс медицинской академии, а окончив ее, ехать за границу для ознакомления с психиатрическими новейшими методами, имея в виду научно доказать, что произведения клинических душевнобольных по существу ничем не отличаются от декадентских и символических стихотворений. «Pia desideria» * многих скептических умов, начиная с Макса Нордау, применительно к каждому зачинающемуся направлению в искусстве. Но и теперь существуют ученые и полуученые люди, которые с пресерьезным видом цитируют соловьевские «горизонты вертикальные» [10], когда разговор заходит о современной поэзии, в блаженной инерции своего мышления не соображая того, что часть таких соловьевских современников убелена сединами, другая же мирно покоится в могилах. Пре-

* Благие пожелания (*лат.*).

бывание П. П. Потемкина в нашем обществе имело следствием отказ его от всех своих взглядов в этом направлении, так как он сам вскоре соблазнился на стихописание.

Кроме перечисленных, кружок посещали два пианиста (Мерович и П. Мосолов), брат последнего, Б. С. Мосолов, и еще два-три любителя искусства.

О собраниях этого кружка, длившихся до весны, когда Блок начал усиленно готовиться к государственным экзаменам, подробно рассказывать не буду, так как эта завело бы меня далеко от темы. Скажу, что мне всегда бывало как-то жаль видеть Блока и Белого, отдающих свою «несказанность» этому, как я определял, «салону». Хорошо про них как-то впоследствии выразился в одной статье Д. В. Философов: «Солнечные юноши, самому существованию которых среди нас надо бы удивляться и радоваться», принимая его как не заслуженный нами дар небес...

Характер собрания менялся в зависимости от квартиры, в которой оно происходило. У Городецких бывал упор на изобразительные искусства. Рассматривали коллекцию, принадлежавшую главным образом младшему брату, — коллекцию глиняных свистулек, пряничков и статуэток русского кустарного искусства, доказывавшую, что в нем живы до наших дней традиции незапамятно седой старины: Ольвии, скифских курганов, свастики, Лед и лебедей и т. п.

У меня — на собрании преобладало невинно-шутливое настроение. У Блока — атмосфера подымалась, все как-то выравнивались, раскрывали свое лучшее, давали настоящее искусство, немного таинственное, колдовское. Перед собраниями приходил покойный вотчим Александра Александровича, полковник Франц Феликсович Кублицкий-Пиоттух, и брал с меня и Городецкого, как устроителей, честное слово, что политического характера собрание носить не будет.

На одном из них Блок потряс нас всех чтением своего «Балаганчика». Помню возращение с этого вечера; зачарованные, мы несколько пришли в себя, затеяв по дороге игру в снежки.

Одним из участников этого собрания оно воспето было впоследствии в нескольких строфах его поэмы [11].

Готовился А. А. Блок к государственным экзаменам, что называется, истово: со всею щепетильной

аккуратностью, что была в его натуре; со всею становящейся силою своей воли. Говорю: становящейся, вспоминая очень характерную для юноши Блока «анкету», которую мне недавно показывали в семье Александра Александровича. Анкета рассылалась едва ли но детям, едва ли не «Задушевным словом». Блок отвечал на нее для себя и домашних, не для отсылки в редакцию, — из возраста, анкеты он, во всяком случае, вышел. Но тем искреннее были ответы его.

Спрашивались имена любимых героев истории и литературы, любимые занятия и т. п. На вопрос: «Какой свой недостаток вы находите главным?» — А. А. Блок отвечает: слабоволие, а в параграфе, предназначенном для указания того, что больше всего отвечающий желал бы иметь, — шестнадцатилетний Блок пишет: сильную волю [12].

«Воля к воле», — но ведь это именно и рождает и формирует самую волю. Незримый процесс совершается в таком случае постепенно, и искомое желанное неизбежно приходит в результате. Если ты хочешь «волить», ты уже тем самым «волишь».

С начала Великого поста Блок тщательнейшим образом переключает весь свой обиход на потребный для экзаменного бдения. Самое испытание еще не скоро, но Блок уже «невидим» ни для кого, кроме имеющих непосредственное отношение к задуманному им делу (с некоторыми университетскими товарищами он готовится к двум-трем экзаменам совместно [13]). Кроме того, он очень регулярно встает в одно и то же время; ест, пьет, ходит гулять (пешком, далеко) в определенные часы; занимается почти ежедневно одно и то же количество часов и ложится в одинаковую пору. По сдаче каждого экзамена позволяет себе более продолжительную прогулку и, кажется, судя по письму ко мне в Мюнхен, заходит в ресторан пить красное вино. Я не думаю, что это метафора. Насколько помню, это он обучил Г. И. Чулкова «пить красное вино» (с начала будущего сезона), именно привыкнув это делать сам между экзаменами (изредка, конечно).

Но поэт не дремлет в его подсознательном. Перед самой экзаменной страдою Блок взволновал нас жутью «Балаганчика», — во время этой страды назревает в нем «Незнакомка». Прогулки свои часто совершает он по Удельному парку (сплошь почти еловому, в противопо-

ложность Сосновке, Лесному и другим паркам на север от Питера). По-видимому, во время больших прогулок попадает Блок и в таинственно-будничные Озерки,

Где дамы щеголяют модами,
Где каждый лицеист остер...

Поэтическое вдохновение наичаще посещает при двух противоположных состояниях человеческого существа: либо при полном far niente *, либо при сильном духовном и умственном напряжении, при продолжительной и полной встряске всего организма. Последнее — в том только случае, если организм достаточно силен и здоров.

Таким был в экзаменную пору организм молодого Блока.

Раз, до окончания его экзаменов, незадолго до отъезда моего за границу, днем, я все-таки был у него и из разговора нашего, — кроме общей обстановки — апрельского, уже очень теплого в том году, солнца в комнате, заваленной книгами значительно гуще обычного; кроме рассказа Блока об экзаменах, — помню, как он остановил мои намерения поведать ему о своем душевном состоянии. Александр Александрович сказал:

— Ведь это все не кончилось, я знаю. Не надо же, нельзя рассказывать пока...

В этот день потом Блок, как это значится в дневнике Е. П. Иванова, гулял со мною в Лесном. Но об этой прогулке ничего сейчас не могу вспомнить.

В Мюнхен, в мае 1906 года, пришли ко мне письма: от А. А. Блока — хорошее, довольное письмо об окончании им курса, и от С. Городецкого, в котором сообщалось о написании Блоком «Незнакомки» (Вяч. Ивановым — посвящения Сомову [14], а самим Городецким — прелестной «Весны монастырской»: «Стоны, звоны...»).

С осени 1906 года А. А. Блок с женою переехал на собственную квартиру, на Лахтинскую. Начался «период театра Комиссаржевской» в его жизни, о котором лучше, чем я, из знакомых Блока сумеет рассказать М. Л. Гофман. Личная моя жизнь в ближайшие годы, до конца 1910-го, была наполнена несколько слишком, что способствовало не отчуждению, но чисто, так сказать, физиче-

* Безделье (*ит.*).

скому отдалению от поэта. Бывал я у него сравнительно редко. Но все-таки бывал. Приходил и Блок ко мне, именно приходил, пешком, и в Лесной, в котором я жил в 1907 году, и на Удельную — в 1908 году.

Состояние духа Блока в ту пору было трагическое. Он нуждался в утешителе: в человеке, могущем все понять и «отпустить», как исповедник. В человеке, стоящем хотя бы в данный момент выше страстей, не имеющем собственных. В этом случае возраст не играет особой роли. Найденный Блоком человек был значительно моложе Александра Александровича [15].

«Черный шлейф», у которого провел Блок целый год [16], не принес ему ни жизненного, ни творческого счастья. «Снежная маска» и «Песня Судьбы» — бессмертные памятники этого года — все же относятся к слабейшим вещам в его творчестве. Будь Блок автором только этих двух книг, не могло бы быть речи о том исключительном месте в русской поэзии, которое ему присуще.

Из свиданий моих с Блоком в эту пору припомню здесь два случая, оба — в дополнение к воспоминаниям В. А. Зоргенфрея. <...>

В статье В. А. Зоргенфрея рассказывается, между прочим, как осенью 1906 года у меня собрались поэты и предались «неизменным» буримэ [17]. Здесь требуется нотабене. Во-первых, буримэ для поэтов той поры были занятиями не «неизменными», а исключительными. Единожды только введено было подобное легкомыслие, и, каюсь, мною, по молодости лет. А во-вторых, это вовсе были не «буримэ» (стихи на заданные рифмы), но цепное стихотворчество. Один начинал (два несрифмованных стиха), второй заканчивал строфу и задавал новую, третий видел только начало новой строфы и, не зная в чем дело, должен был заканчивать ее и все стихотворение.

Были присуждены плебисцитом премии за конченные таким образом вещи, и каждая из премий делилась между всеми тремя участниками в сложении стихотворения; второму из них, как автору четырех стихов, выдавалась главная часть премии (бант).

Одно из стихотворений, и именно удостоенное первой премии, кончал Блок. Главную часть награды получил поэт А. А. Кондратьев, написавший середину стихотворения [18]. Начинал его М. Л. Гофман. Вот оно:

Скользкая жаба-змея с мутно-ласковым взглядом
В перьях зеленых ко мне приползла, увилась и впилась.

Жабе той стан я обвил, сел с ней под липою рядом,
Выдернул перья в пучок, жаба в любви мне клялась:
«Милый, ты нравишься мне, как попик болотный, ты сладок,
Блока задумчивей ты, голосом — сущий Кузмин!»

Блоку досталось как раз разрешение этих загадок.
Горько он плачет о них. Не может решить их один.

То стихотворение, о котором вспоминает В. А. Зоргенфрей и в котором Блоку принадлежит середина, звучало так:

Близятся выборы в Думу;
Граждане, к урнам спешите,

Ловите, ловите коварную пуму,
Ловите, ловите, ловите, ловите.
Где дворники ходят, как лютые тигры,
Где городовые ведут вас в участок,

Где пристав свирепый ведет свои игры,
Разит вас глубоко его глаз ток.

Конец принадлежал не искушенному в стихотворчестве Б. С. Мосолову.

Еще в одном стихотворении принял участие Блок как «зачинатель». Вот оно:

Для исполнения программы
Я заручусь согласьем сил.

А для меня, как модной дамы,
Всякий стих уж будет мил.
Так смотрите, не забудьте,
Напишите что-нибудь!

Оросив слезами грудь,
Музу петь свою принудьте.

Так искусно вышел из затруднения, в завершающем дистихе, тот же А. Кондратьев.

У меня в памяти сохранились все стихи того вечера, в писаньи которых приняли участие, кроме названных, поэты Я. Годин, Б. Дикс, Анат. Попов, А. Вир, П. Потемкин; затем С. Ауслендер, брат мой, я, еще несколько гостей; только Вяч. Иванов да Е. П. Иванов отказались.

В. А. Зоргенфрей вспоминает еще о другом, легкомысленном, но в ином роде, вечере у А. А. Кондратьева. На этом вечере отличался необыкновенной словоохотливостью, с уклоном в сторону «некурящих», некий Б.,

выпустивший книжку стихов и, кажется, готовившийся стать драматургом. Он быстро канул в Лету. От его развязности и пошлости страшно коробило некоторых из нас.

Во время ужина я предложил хозяину сказать спич. Но Б. перебил меня. «Слово принадлежит старшему, чем А. А., поэту, — Пушкину!» — вскричал он и, процитировав:

> Поднимем бокалы, содвинем их разом, 6,5
> Да здравствуют музы, да здравствует разум! —

протянул свой бокал к А. А. Блоку.

Тот немножечко приподнял свою рюмку, чуть наклонил голову, — но чокнуться с г-ном Б. не пожелал.

И многие из нас облегченно вздохнули, так как А. А. Блок отожествлялся в ту минуту с нашим, как бы сказать, представителем. Если бы он чокнулся, никто бы от чоканья с Б. не уклонился, должно быть!

А ведь на Блока было оказано давление авторитетом не чьим иным, как Пушкина, бессменного, так сказать, председателя содружества поэтов.

С таким достоинством выйти из затруднительного положения, так мягко осадить — поперхнувшегося после сего — «шантажиста» мог только он, — мягкий, нежный, но в некоторых отношениях всегда твердый Блок.

Когда в ноябре 1910 года я без зова неожиданно пришел к А. А. Блоку на его новую квартиру, на углу Большой и Малой Монетной, в «его» места, которые он населил карликами и другими существами в стихах своих «Перекрестков»[19], — этот вечер Блок назвал вечером нашего второго, или нового, знакомства. Вскорости я пришел к нему во второй раз, с идеями о журнале, внушенными мне недавно только выпущенным из тюрьмы Е. В. Аничковым. Проекты журнала, редакторами которого должны были бы быть Аничков, Блок и я, а редакционной коллегией, чуть периферичнее: А. Ремизов, Ю. Верховский, Вяч. Иванов и Вл. Княжнин, возникали в разных вариантах до середины лета 1911 года, когда окончательно развалились. Блок принимал неизменное и горячее участие во всех как заседаниях, так и «хождениях» (для обдумывания) по поводу журнала[20].

Следующий год — 1911-й — был годом особенной, близости нас, когда, по выражению А. А. Блока, «так уж

случилось, что о малейшем повороте колесиков мозгового механизма» мы привыкли один другого осведомлять. Слова эти привожу из блоковского письма[21], где он называет автором их Августа Стриндберга.

В автобиографическом своем очерке, предназначенном для Венгеровского словаря и написанном после нашего расхождения, А. А. Блок делает мне честь упоминанием о роли, сыгранной в его жизни знакомством со Стриндбергом, называя меня своим проводником в этом отношении[22]. Здесь поэтому не неуместно было бы упомянуть о чтимом нами обоими лице, которое натолкнуло на Стриндберга, в частности на поэму «Одинокий», мое внимание. Это сестра знаменитого художника, А. А. Врубель. Все поразило меня в великом шведе, который сразу попал для меня в разряд «откровений». С кем же откровением поделиться, как не с Блоком?.. Через год же он пишет мне, что к Стриндбергу меня ревнует: «Зачем не я, а Вы его «открыли»!»[23] Ревность не мешает Блоку, однако, устроить мне знакомство с представителем «Русского слова» А. В. Румановым и тем дать мне возможность съездить в Стокгольм к умирающему писателю в качестве корреспондента этой газеты. Не мешает ему и затем настоять, чтобы на стриндберговском спектакле в Териоках 14 июля 1912 года я говорил речь о Стриндберге.

Забегая вперед, ввиду упоминания о Териоках, расскажу здесь же об этом эпизоде блоковской жизни, В организации териокской труппы 1912 года, с Мейерхольдом как режиссером, доктором Кульбиным как главным декоратором и Прониным — по хозяйственной части, — Блок принимал самое важное, хотя и вполне закулисное участие. Он был вдохновителем ее осуществления. Благодаря его воле, главным образом, это предприятие не осталось в числе мостящих ад благих намерений. Сам он ездил в Териоки редко; приезжая, останавливался не в общей огромной комедиантской даче, но в гостинице; тем не менее как-то чувствовалось, что он именно тот «шкипер» (ср. коротенькую «Встречу с Блоком» П. Сторицына в газете «Жизнь искусства»[24]), кем «движется» корабль этого дела[25].

«Под знаком полной автономии, больше того — самостоятельности Финляндии — будет вестись это дело», — передавала мне как-то, в Териоках, слова мужа участница труппы, Л. Д. Блок.

Мне, автору стихов, где Русь я называю «Финляндии соседкой»[26] (в 1912 же году), бальзамом ложатся на сердце блоковские тогдашние настроения.

Когда мы были в Териоках вместе, Блок познакомил меня с художником Н. Н. Сапуновым, последнего месяца жизни которого (в то лето, как помните, Сапунов в Териоках утонул) Блок был главным, наиболее близким свидетелем. К нему покойный живописец, смерть свою предчувствовавший, ходил в это время чаще всего с исповедью, с рассказами о самом интимном и заветном.

Сапунов вел очень «рассеянную» жизнь. Много пил и кутил и страдал от этого — по Достоевскому. Нисколько не хочу сказать, что художник следовал литературным образцам в своей жизни. А только то, что жизнь его было бы под силу описать Достоевскому, и, пожалуй, великий романист от этого бы не отказался.

Помню шведский пунш, выпитый нами втроем на веранде териокского казино. В тот наш приезд в Териоки туда же приехали поэты Борис Садовской и Вл. Княжнин, познакомившиеся друг с другом на обратном пути. Как сейчас помню площадку вагона, на которой это событие имело место, и А. А. Блока, деловито переходившего с нее в купе, где мы имели с ним разговор, — уже какой-то тревожный, уже в чем-то предвещавший будущее наше расхождение...

Решительно не помню: в чем. Решительно не представляю себе предмета нашего расхождения. Но вот в письме ко мне Блока 1915 года встречается фраза: «Между нами с 1912 года завелась какая-то неправда»[27]. И вот я помню, что ощущение этой неправды впервые обозначилось между нами именно там, в вагоне.

Тут же расскажу и еще об одной полосе этой эпохи.

Зимою, в начале 1912 года, Блок сообщил мне, что его часто навещает, — приезжая, конечно, на автомобиле, — представитель крупной газеты[28] — человек, *всем* в Петербурге известный, некто <Руманов>. Из-за его визитов к Блоку нам пришлось даже отменить два-три свидания друг с другом. Целью посещений <Руманова> было привлечение А. А. Блока в газету. Но не просто так вообще, а вместе с привлечением — *обрабатывание* будущего сотрудника в известном духе, препарированье его.

— Газета эта, — рассказывал мне Блок, — обладает

средствами и влиянием громадными: вся Русь на восток и на юг от Москвы получает ее, кормится ею, а никак не «Новым временем»...

Кстати, последнее Блок очень не любил (за исключением Розанова да Буренина, в чьих выходках по адресу себя Блок видел объективное мерило литературной собственной ценности; не злили они его, а забавляли и даже радовали). В поэме «Возмездие», в вариантах (третьей) главы, впоследствии Блоком исключенных, имелись следующие стиха про Варшаву:

Где хамство с каждым годом пуще,
Где «Новым временем» смердит,
Где самовластны, всемогущи
Лишь офицер, жандарм <и жид>.

Разнообразные «haines» * имел кроткий поэт!..

Так вот в этой газете, при ее средствах — так: каждый имеет свое, очень точно ограниченное, амплуа. И если кто появляется со стихами, читатель ждет и признает у того сотрудника только стихи; ничего другого от него не воспримет. Но стихов ждала от Блока эта газета. Задалась она целью приобрести в его лице страстного публициста. Отчасти на место одного писателя, которого к тому времени пришлось, по настоянию либералов, из числа сотрудников газеты исключить (в течение года по удалении выплачивая ему все-таки жалование[29]). Но в Блоке цровидел <Руманов> публицистическую силу еще более крупного калибра. «Катковское наследие, — буркал впоследствии сблизившийся со мной журналист, — вы понимаете?»

Но мы все-таки тогда совсем не понимали всей правоты заданий почтенного редактора! Более года не отказывался от них <Руманов> и, наконец, махнул рукой[30], В газете стали появляться блоковские стихи. Поэту это было невыгодно, конечно, — но когда же поэт держится за свою выгоду?

Газета же приобрела стоившее десятка желательных ей передовиц стихотворение, появившееся там вместе с другими уже во время войны. Это стихотворение, признаюсь, было для меня последнею *великою* радостью от творчества Блока. «О чем поет ветер», «Художник», «Соловьиный сад» — радовали меня уже значительно

---

* Ненависти, злобы (*фр.*).

меньше. Прочее же доставляло невыносимую, неизбывную боль...

Я говорю о классически-простом «Грешить бесстыдно, непробудно...». <...>

Вернемся же к 1911 году. В эту пору от творчества Блока радости было много-много. Им было написано стихотворение (о котором я уже мельком говорил в начале книги), начинающееся с дум о пластах руды и соли на русском юге[31]. Я как раз был у Блока, когда почта принесла журнал «Горное дело». В своей передовице первого номера этот орган ссылался на это стихотворение, густо цитируя его в доказательство необходимости осуществлять мудрые мысли поэта и скорее и интенсивнее эксплуатировать естественные богатства России[32]. Оба мы глубоко обрадовались этому. Мы тут воочию видели силу воздействия слова, поэзии, на действительность... <...>

С самых первых проб полетов на Коломяжском аэродроме, в знакомых Блоку с детства по прогулкам мес*тах*, — он — неизменный их посетитель. Там знакомлю я его с математиком Н. И. Идельсоном, чьим и инженера В. Н. Егорова (сына помощника Д. И. Менделеева по Палате мер и весов) обществом Блоку предстоит пользоваться впоследствии в течение всего отбывания окопной повинности табельщиком в Пинских болотах. По образованию сам филолог, Блок, не надо *забывать*, — внук выдающегося ботаника и муж дочери мирового химика. В 1911 году в числе близких знакомых его — физик Б. П. Гущин, затем инженер Н. П. Бычков. Ближайший к Блоку по духу сверстник его, Андрей Белый — получил законченное образование как естественник, не как филолог. Последние вообще более чужды были нам, то есть тому, говоря оккультным языком, эгрегору[33], который образовывался нашим общением. Хотя отдельно каждый из нас находил много соответствий интересам своим в филологической среде, но, поскольку мы были вместе, нас влекло не к ней, а к обществу представителей так называемых точных наук и техники. И в последних, по-видимому, отвращения общение с поэтами не вызывало.

Бывали мы вместе и по соседству с аэродромом — на ипподроме. Описывая в 1907 году в «Вольных мыслях» смерть жокея, Блок тогда еще на скачках ни разу не бывал. Он наблюдал их (редкий тип скакового зрителя, но существовавший!) извне, из-за забора в Удельном парке, куда с ранней юности любил забираться из Гренадерских казарм пешком. «Игра» к Блоку не привилась, хотя он с удовольствием сделал две-три ставки. В карты он не играл; в шахматы играл, но слабо. И, однако, ко всем этим чуждым ему человеческим слабостям относился не только с терпимостью, но и с уважением, видя в них элементы, мировое целое в каких-то отношениях обогащающие. У меня было довольно позднее (года 1914-го) блоковское письмо, где он исключительно пишет об одном: просит оказать содействие какому-то ремесленнику для входа в Шахматное общество, где тому хотелось бы развернуть свои таланты.

Самое приятное было для нас поездки за город. На Острова поездки начинались уже с марта, при первом талом снеге, и тогда уже в творчество прорывалась — очень по-разному — весна.

Первая загородная в 1911 году была прогулка наша с Юрием Верховским в Сестрорецк; началось это с вечера у Блока, где, кроме нас, были еще гости. Остальные ушли, а мы трое не легли спать, проговорили до шести часов и отправились к Приморскому вокзалу, к первому поезду. Дальнейшее у меня описано в послании к Юрию Верховскому. Так как эти стихи напечатаны только за границей, приведу их здесь.

Благодарю. Твой ласковый привет
С Кавказских гор — мне прозвучал отрадно,
И мысль моя к тебе помчалась жадно,
Поэт.

Мне вспомнились прошедшая весна
И нашей суточной, бессонной и невинной
Прогулки день, когда твоей старинной
Виолы стала петь струна.

И узкая песчаная коса,
И первый сон наш на полу беседки,
Где к Руси прилегла *ее Соседки
Суровая краса.*

И чахлой зеленью поросшие холмы
На берегу извивной речки малой.
Ты вновь там спал, тяжелый и усталый, —
Твой сон хранили мы.

Мы отошли, тебя от мух укрыв,
И, разогнав сонливости остатки —
Без сюртука — как были сбеги сладки
К воде, в обрыв!

Ты мирно спал, а я и *тот поэт*
(Ах, ставший днесь угрюмцем нелюдимым!)
Вели вдвоем о всем невыразимом
Вполголоса совет...

Потом ты мылся, зачерпнув воды
Своим цилиндром, будто он из меди...
Ах, волован забуду ли в обеде
Среди другой еды!..[34]

Есть у меня от Блока письмо, написанное им под свежим впечатлением нашей бессонной беседы на берегу пограничной реки; в нем больше всего говорится о «savoir vivre» *. Кроме же этого, мы говорили, действительно, о «невыразимом»...[35]

Затем Блок уехал в Шахматово и ждал туда меня. Вследствие опухоли, которую я, вопреки ясному диагнозу врача, упорно считал за свинку, поехать к Блоку мне не пришлось. Сильно жалею, что не повидал его в этой, родной для него по-иному, обстановке.

По возвращении в Питер Блок скоро собрался за границу. Но до этого он «научился» от меня прогулкам в Шуваловский парк и купанью по дороге. Раньше он знал только кладбище (см. «Вольные мысли»), парка не знал. С того лета узнал и полюбил и ездил туда один. Зимою же любимою его поездкой стало путешествие (в одиночестве) с Приморского вокзала по железной дороге до Озерков. Там выпивал он, также в одиночестве, вина; уезжал обратно. И фраппировал видом знатного иностранца буфетную прислугу, железнодорожников и шпиков.

Заведя речь о поездках, припоминаю много разных. Зимнюю этого года в Юкки, в тамошний ресторан, — поездку, которая имела для Блока своего рода роковое зна-

---

* Об умении жить (*фр.*).

чение. Дело в том, что там, впервые в жизни, он вкусил сладость замирания сердца при спуске с гор. В ту зиму там были устроены великолепно расчищенные снеговые скаты через лес прямо на середину озера. Мальчишки с санками вертелись на гребне горы («Русская Швейцария»), предлагая свои услуги. Мы уселись и скатились благополучно раз. Блок захотел сейчас же другой. А потом так пристрастился к этому «сильному ощущению», что с открытием «американских гор» в «Луна-Парке» сделался их постоянным страстным посетителем. Ездил туда и один, и с подружившимся с ним вскоре М. И. Терещенко (издателем «Сирин», а впоследствии министром финансов). В одно лето, за первую половину его, Блок спустился с гор, по собственному подсчету, восемьдесят раз.

Другая совместная поездка моя с Блоком была в начале 1912 года в Шуваловский парк, в готическую церковь парка; это было в Страстную пятницу. Раннюю же Пасху этого года, в десятиградусный мороз, мы, по условию, встретили вместе, сойдясь у памятника Петру Фальконета и сразу пройдя на площадь Исаакиевского собора.

В следующее лето совершили поездку в Белоостров — и оттуда на лошади, мимо забытых рельсов, в Сестрорецк. Подобные прогулки Блок делал часто один, «открыв» этот путь, очень ему нравившийся уединением.

Раз летом были мы, вместе с жившим там Евг. П. Ивановым, в Петергофе. Это была специальная прогулка на велосипедах. Мой носил название «Аплодисмент», Блока — назывался просто: «Васька». Помню дивный вид с Монплезира; помню путь по Заячьему ремизу на Бабигон.

Отраднейшее впечатление оставила поездка в августе 1912 года в Лесной и Мурино. Для нее я ночевал у Блока в его новой квартире — в доме, которому суждено было стать последним приютом его на этой земле.

Помню утренний путь от Пряжки на извозчике до Выборгской и оттуда на паровике к трактиру в Лесном — последней остановке у начала Старопарголовского и Сосновки. Подкрепили силы закуской и взяли извозчика в Мурино, туда — прямо, а обратно — через Первое Парголово к Приморскому вокзалу в Озерках. В Мурине выкупались в речонке (к плаванию Блок оказывал малые способности, но купанье ценил во всякую погоду и особенно, конечно, помнил и любил свои океанские купанья: в 1911 году — в Бретани, в 1913 году — в Биаррице),

осмотрели село, которого ни тот, ни другой никогда не видали, и отправились под вечер на Бугры. В дальней деревне виднелось зарево: горели Дранишники или Лупполово; и совесть немножко грызла, что не погнали извозчика туда (в те поры вполне в наших средствах было это сделать).

Бугры совсем околдовали нас. Всего в трех верстах от населеннейшего Шувалова, в пятнадцати от Петербурга — настоящий оазис в безлюдной пустыне болот и полей; притом — сам безлюдный, покинутый. «Haunted cottage» * — пустые красивые строения (тщетно за год до того силились зазвать туда публику, открыв «пансион»), заброшенный теннис, пруды; живописный, таинствено-жуткий в августовское новолуние парк...

Жалел я, что не показал Блоку лучших под Петербургом мест: Левашовского парка, десятой версты за Ораниенбаумом по пути на Красную Горку, Токсова... Природу он умел чувствовать как мало кто. Мельчайшие, разнообразные виды среднерусской флоры были ему близки каждый по-своему.

На Лахте, в Стрельне, в местах за Нарвской заставой **, куда Блок полюбил уезжать в последние годы своей жизни (за Нарвскую заставу была его последняя прогулка весною 1921 года), вместе с Блоком я никогда не бывал...

Зато сколько частей Петербурга исходили мы с ним вдвоем! Таракановку и Петровский остров, Петербургскую и Пески. Лесной и Екатерингоф, но больше всего Острова.

С 1911 года на Островах в роскошной ампирной даче гр. Мордвинова, с ее прелестным «китайским павильоном» в густом саду, поселился наш общий приятель, старший много, но молодой душою не менее нас — энтузиаст доцент (профессором не утверждавшийся) Е. В. Аничков. Первые прогулки на Острова совершали мы с последним и Блоком еще до того, как Аничков «заделался туземцем». Как сейчас помню одно такое возвращение со Стрелки пешком. Тогда нельзя было почему-то, при таком возвращении по Каменному острову, не попасть на одну аллею, к пустому месту, к небольшому саду сгоревшей или вообще уничтоженной дачи (такая была тогда всего одна на весь остров!).

* Заколдованный дом (*англ.*).
** Княжево, Дачное и т. д. (*Примеч. Вл. Пяста.*)

Каким бы путем вы ни шли в ту сторону, как бы вы ни старались вернуться тою же дорогою и обойти это м е с т о, — вам никогда миновать его не удавалось! Отлично помнится наш разговор по этому поводу — о неизбежной встрече этой дачи... Совершенно то же случалось всегда со всеми нами тремя!

Были раз мы у Аничкова на Каменном, и Блок и я вместе, зимою. Именно — 1 января 1913 года — на спиритическом сеансе, единственном у Аничкова, который вовсе не склонен был к занятиям этого рода. Но тут один кружок предложил в виде опыта F. В. Аничкову устроить у себя сеанс с Гузиком, на что он и согласился.

А. А. Блок (как и я) впервые в жизни участвовал в спиритическом сеансе. Говорю «участвовал», так как для всех собравшихся ясно было, что присутствие Блока не было безразличным для хода явлений (о подделке их в данных обстоятельствах, конечно, не могло быть и речи). Медиумичность А. А. Блока, несомненно, помогала большей отчетливости как световых, так и стуковых и даже двигательных явлений, которые все имели место в данном сеансе. А, как известно, кружки в новом составе очень редко с первого раза добиваются явлений — особенно всех трех порядков сразу. А. А. Блок задавал «Шварценбергу» («нечто», воплощавшееся около Гузика) несколько вопросов, причем относился с нежною сострадательностью как к шалящему «духу», так, в особенности, к медиуму, находя его очень истощенным во время последовавшего ужина. Помню его настоящее соболезнование, когда он узнал о сумме вознаграждения, определяемого Ив. Гузиком за сеанс... [36]

Тут же припоминается мне, что в театре вместе с А. А. Блоком я почти не бывал. Два представления (еще в 1907 году) «Балаганчика», один «Кукольный театр» (в году уже 1916-м, в особняке Гауша на Английской набережной), да еще ложа, осенью 1911 года, на оперетке «Романтическая женщина». Очень пленяла меня эта оперетта с песнею «Роза, Роза», исполнявшейся всем залом, и я достал ложу, где мы были вчетвером, с женами, после чего поехали ко мне на Пески, где я только что впервые поселился «самостоятельным домом».

Блока очень беспокоила сырость моего помещения, которую он почувствовал, войдя; и в скором времени я получил от него подарок — керосино-калильную печку. Честно служила она мне несколько лет, надобилась часто,

исчезла только после того, как я завез ее зимою 1919 года в избу дальнего Борисоглебского уезда, где семейство мое спасалось от голода...

В 1911 году Блок крестил моего сына Виктора, которому не суждено было дожить до четырех лет (умер от странной формы менингита, при которой до последних минут не потерял сознания, в 1915 году).

При всех наших поездках, прогулках, сидениях и блужданиях любимыми темами для разговора были мысли о России... «Смотрите, — говаривал А. А. Блок, — настоящей конституции нет; Думу быстрейшим образом обкорнали... А между тем, вы знаете, что за эти пять-шесть лет России не узнать. Едва свобода дохнула, как незримо, но от того не менее сильно и действительно, ее самодеятельность пробудилась. Если бы иностранец, посетивший нас в 1903 году, приехал бы к нам теперь, через восемь лет, он увидел бы перед собою совсем другую страну. Вы, да и никто не может отдать себе даже приблизительного отчета, до чего много народом за это время выделено из себя, самого настоящего, осязательного; сколько предприятий возникло, строится и расширилось, сколько производительной энергии освободилось...»[37]

Блок говорил это немного иными словами, не протокольными; я этих слов не записывал, но за точную передачу мыслей его могу ручаться... Меткость определений, острота наблюдений были свойством не только его стихов, но и той работы мозга, что некоторым показалась бы par excellence * прозаической... Но для автора «Возмездия», начатой им поэмы, над которой работал он и умирая, это было неотделимо.

Таким, с такими мыслями знал и любил я вас, Блок!

Меня просят поделиться тем, что я знаю об отношениях Блока к женщинам. Он не был, как всем известно, ригористом.

Однако чересчур снисходительным назвать его было нельзя. Помню еще в 1907 году совместное выступление поэтов летом в Териоках. В числе участвовавших был

* По преимуществу (*фр.*).

некто Р. Блок отозвал нас остальных в сторону и предупредил, чтобы мы были осторожны и не компрометировались якшанием с этим Р., которое тот несомненно будет нам навязывать.

— О н , — сказал Б л о к , — таскает из карманов носовые платки. Вы понимаете?

«Чужие жены» составляли главный предмет этого Р.

Отношение Блока к этому вопросу было чисто британским.

В зарубежной прессе появились воспоминания Горького, рисующие один эпизод встречи Блока с «проституткою» [38].

Я помню тоже подобный эпизод. В нем участвовал ряд благополучно ныне здравствующих литераторов. Кроме одного, мы все были тогда солидные, хотя и молодые, но женатые люди.

Поздним вечером однажды, зимою, решили совершить экскурсию в одно из. «злачных» мест не особенно высокой марки.

Сели за столик невдалеке от эстрады, где горланили безголосые шансонетки. Подозвали робко проходившую мимо «барышню».

Для некоторых из нас это был первый случай общения с «тем миром». На одного произвело это такое сильное впечатление, что он после этого начал писать целую «петербургскую повесть» в гофмановом жанре, героиней которой хотел сделать эту женщину.

Угостили ее, конечно. Сколько помнится, Блок, недавно тогда получивший наследство и взявший часть денег из банка, платил за всех.

Барышня оказалась интеллигентной, окончившей гимназию, любящей чтение. Однако от известной героини купринской «Ямы» значительно отличалась: скромностью — с одной стороны, непроходимой пошлостью обиходных своих понятий — с другой.

Кому-то из нас пришло в голову попросить нашу собеседницу определить, кто мы такие:

Она покрутила головой и, взглядывая по очереди на каждого, говорила:

— Вы (обратилась она ко мне) производите впечатление такое, что служите на определенном месте и получаете ежемесячное, небольшое, но верное жалованье.

Мы переглянулись, до чего метко она попала. Я действительно был тогда «чиновник».

— А вы, — продолжала она, указывая на К<няжни>на, — скорее что купец. Когда «пофартит», деньги у вас есть, а то и так сидите.

К<няжнин>, действительно нигде не служил; купцом хотя никогда не был, но происходил именно из купеческого новгородского рода. Денег у него, точно, частенько вовсе не ночевало. Так что и тут попала она почти в точку.

Но более всего изумились мы шерлок-холмсовской проницательности барышни, когда, взглянув на Блока, она сказала:

— А вы, сдается, так живете, сами по себе, со своего капитала.

Ничтожный заработок Блока в это время был притчею во языцех, и об этом дебатировали рабочие в уголке, отведенном для них одной тогдашней либеральничающей газетой. Он именно тогда «систематически тратил капитал», как рассказывал мне.

Тщетно, однако, допрашивали мы барышню насчет двоих остальных писателей — В<ерховского> и Ч<улкова>. Наружность их не давала никаких указаний для нового Шерлока в юбке. Беспомощно помотала она головой и отказалась определить социальное их положение — наотрез. «А о вас, господа, ничего но могу сказать, не знаю, не понимаю. Никогда таких не видала».

Нам очень хотелось узнать, входит ли вообще в ее мозг понятие о писателях. Знает ли, освоилась ли с мыслью, что вообще существуют такие.

— А что нас всех объединяет, что между всеми нами общее? — допрашивали мы барышню. — Почему мы вместе?

Она отрицательно мотала головой.

Тогда один из нас сказал, что мы писатели. Она выслушала, похлопала глазами и как-то совсем скисла.

— Да, писатели? — машинально повторила она.

Видимо — нет, никогда не задумывалась над вопросом о существовании таких людей.

Впрочем, через минуту оживилась. Начала разговор о каком-то сочинении одного современного писателя, которое она недавно прочитала.

— А вот тот, которого вы приняли за рантье, — сказал Ч<улков>, — известный наш, знаменитый поэт Блок. Читали вы его стихи?

Оказалось, читала.

— Нравятся?

— Нравятся. Я помню: «Незнакомка».

Говорила она все-таки без энтузиазма. Это была Соня Мармеладова, но как-то, очевидно, без семьи на плечах, как-то без трагедии...

Однако Александр Александрович подал ей свою визитную карточку; примеру его последовали и некоторые другие. Блок это делал в ту пору при каждом своем знакомстве с «такими женщинами». Даже и настолько «мимолетном», как это, которое не сопровождалось ничем интимным[39].

Это был его жест протеста против социального строя. А с другой стороны — прямота, рыцарство, вежливость по отношению к женщине. Ему стыдно было скрываться, прятаться. Рыцарь без страха и упрека, сидевший в нем, заставлял его афишировать именно то в себе, что не было, так сказать, казовым.

Но здесь, как я отметил, львиная доля приходилась и на ту социальную ненависть, которая глухо росла в нем до 1918 года, когда вылилась в «Двенадцати». Помню, как в годы около войны Блок мне признавался:

— И вот, когда видишь все это кругом, эту нищету и этот ужас, в котором задыхаешься, и эту невозможность, бессилие переменить что-либо в этом, когда знаешь, что вот какими-нибудь пятьюдесятью рублями ты можешь сделать для кого-<нибудь> доброе, действительно доброе дело, но — одно, а в общем все останется по-прежнему, — то вот берешь и со сладострастием, нарочно тратишь не пятьдесят, а сто, двести на никому, а меньше всего себе, не нужный кутеж.

Вместе с социальным гневом, однако, в этом признании улавливал я и нотки старинного «демона извращенности», определенного поэтом, которого Блок чувствовал, — Эдгаром По.

Еще одна мелочь из «кутильной» стороны блоковской жизни. Я помню, мы спросили как-то вдвоем с ним себе устриц. Я признался в своей любви к ним. Блок — тоже, но при этом сказал:

— Знаете? Ведь устрицы *полезны.* В них железо и так далее. Но в этом их трагедия!

Трагедия, собственно, не устриц, но их потребителей, конечно. И это очень характерно для него и демона извращенности в нем. Полезность кушанья — то есть то, что при другой (нормальной?) психологии служило бы свойством, оправдывающим в собственных глазах при-

страстие к нему, — Блоку казалось, наоборот, свойством трагическим и было для него непереносимо.

И, наконец, еще одно. Блок сообщил мне как-то, что врач ему сказал: «Ваш организм очень крепкий, но вы сделали все, чтобы его расшатать». Блок признавал чай — крепкий, как кофе; вино, бессонные ночи, острое, пряное — все оттого, что это было *вредно.*

С начала войны наше расхождение стало впервые серьезным. До той поры оно было чисто внешним; в зиму 1913—1914 гг. вращались мы просто в кругах немного разных художественных толков [40]. Но при встречах (совпадениях), при пересечениях «наших путей» оказываясь в одном месте (например, на лекции только что впущенного из-за границы Бальмонта), обменивались мы подробнейшими отчетами о «движении колесиков»; довольно часто шагивал я и на Пряжку и неизменно заговаривался до трех-четырех часов.

Во время войны наше общение продолжалось. Но вместо согласия мыслей часы наших встреч чаще стали заполняться спорами.

Дело в том, что при вспышке национальных чувств, которою сопровождалась «планетарная война», такое чувство вдруг сильно заговорило и в А. А. Блоке. Именно — голос *отцов.* Как известно, только дед (и прадеды с отцовской стороны) Блока был лютеранином; мать отца его — русская. Следовательно, немецкой крови в нем не более четверти. Тем не менее эта четверть вдруг сильно сказалась в поэте.

Он не то чтобы «стоял за немцев» или «не принимал войны», — нет, он был убежден в необходимости для России начатую войну честно закончить. Но он был *против союзников.* Он не любил ни французов, ни англичан — ни как людей, ни национальные идеи этих народов. Бельгия ему сравнительно была дороже; он путешествовал по ней и по Голландии и много отрадного вынес оттуда; сильнейшее впечатление оставил на нем праотец нидерландской школы — Квентин Массейс. Но я помню, как в жар и в холод одновременно бросила меня одна фраза А. Блока в начале войны: «Ваши игрушечные Бельгия и Швеция...»

Накануне моей явки на сборный пункт, как ратника первого разряда — по семейному положению, — было это

в середине ноября 1914 года, — у меня собрались наиболее дорогие мои друзья той поры. В числе их не было Е. В. Аничкова, которого мы уже проводили добровольцем на фронт в конце октября... Он исхлопотал себе прапорщика, несмотря на то что, как бывший политический преступник, офицерством долго не принимался. Но редкий в ту пору у меня гость, А. А. Блок, был.

Явка в участок предстояла в шесть утра; гости досидели до трех; скоротать время до шести я отправился с Викт. Б. Шкловским в не запирающуюся «Бродячую собаку»[41]. До Михайловской площади проводил нас и А. А. Блок. При расставании он заметил — дружественно, но мрачно: «Начало вашей службы, Владимир Алексеевич, не предвещает доброго».

Мы, по обычаю, крепко расцеловались. Должен я сказать даже, что немалую роль в бесповоротности моего решения пройти военную службу, в полном согласии с законом, не прибегая ни к оттяжкам, ни к суррогатам военных должностей, сыграло влияние не кого иного, а именно Блока. Он благословлял меня, по праву старшего друга и по доброму русскому обычаю, на службу отечеству...

Но предсказание оправдалось вполне — увы! Военная служба моя была крайне непродолжительна. В Свеаборге, куда на пятый после того день я был отправлен со всей дружиной, в очень скором времени я тяжело заболел. Был в декабре переведен в Николаевский госпиталь в Петербурге, а поправившись, был признан к военной службе негодным.

Пока я лежал в госпитале, А. А. Блок проявил по отношению ко мне самую нежную заботливость. Между прочим, зная о затруднительности для меня общения с издателями, Блок за меня действовал в этом направлении, как я бы действовал сам. В это время были коллективные выходы из одного издания, возвращения в него (когда выяснилось недоразумение в пункте, подавшем повод к этому действию) и т. п. С моей точки зрения, не было сделано при этом за меня ни одного faux pas *.

Помню, по выздоровлении, совместную поездку с Блоком и кем-то еще к Г. И. Чулкову, в Царское Село. И опять-таки ко мне, не вполне еще оправившемуся, Блок был в пути и на месте трогательно заботлив. Устраивал послеобеденный отдых и т. п. ...

---

* Ложного шага (*фр.*).

Со следующей зимы пришла очередь и самому А. А. Блоку быть призванным.

В его приезды из Лунинецких болот мы неизменно виделись. Блок был довольно горд своим полувоенным одеянием, погонами и даже шашкою, которую носил. В сущности, он рыл целый год окопы почти под огнем неприятеля; рабочие дружины, подобные той, в которой он служил, на всех фронтах рассматривались как части войск, разгонялись огнем и брались в плен...

Его эта судьба не постигла.

Совершенно особою «страною» (по любимому его выражению) была та страница из его биографии, которая протекла в окопной службе. Его товарищи по ней, мною в середине статьи перечисленные, должны подробно поделиться с нами воспоминаниями[42].

В один из отпусков Блока с фронта, летом 1916 года, мы совершили с ним и недавно женившимся и поселившимся у меня нашим общим другом Е. П. Ивановым последнюю общую нашу загородную поездку.

Она была в «мои» места, давно уже сделавшиеся также любимыми и Блоком, — в Шуваловский парк, который мы исходили в тот раз с его нагорной, обращенной к полотну (в двух-трех верстах) стороны.

Как дети, радовались природе, бегали, собирали цветы. А по дороге и купались.

Возвращались по Приморской, а оттуда дошли пешком до Карповки. Е. П. Иванов лучше, может быть, помнит, о чем говорили...

Кроме Е. П. Иванова, ближайшим другом А. А. Блока был видавшийся с ним редко с тех пор, как, став взрослым, уехал служить в провинцию, один из трех братьев Гиппиус — Александр Васильевич. Несколько раз, во время приезда последнего в Петербург, в эту эпоху мы сиживали у Блока втроем и без помех и без конца разговаривали. Понимали друг друга *полно.* Логически вполне понятные фразы собеседником, *не* близким душевно, постигаются совсем иначе, чем теми, кому весь строй мыслей другого известен и дорог, что имело место в данном случае.

Февральская революция. Блок проводит ее еще в болотах [43]. Приезжая, получает приглашение служить в следственной по делу сановников комиссии; предлагает помогать ему редактировать стенографические ее отчеты — мне, В. Н. Княжнину, Е. П. Иванову. Работа оказывается пригодной лишь для второго из нас. Блок страшно занят ею. Ничего художественного не создает. Почти «невидим» для друзей...

Раз, летом, встречаемся на Петербургской стороне. Быстро расходимся. Слышу из уст его фразу: «Мир, мир, только бы мир! Теперь готов я был бы на всякий мир, на самый похабный...»

Все более враждебными внутренно становимся друг другу. В январе 1918 года опять мелько встречаемся. На Усачевом переулке. С этою встречею знакомство прекратилось на три года.

Эти три года мы постоянно «видались» во «Всемирной литературе», в Союзе поэтов, Доме искусств и в других местах, но не кланялись один другому. Не буду говорить, — сейчас нельзя, — какой сильной внутренней борьбы с самим собою мне стоило это отношение к бескорыстному другу, которого я продолжал иметь в его лице. Знаю, что заочно он был по-прежнему ко мне благожелателен и помогал отзывами в тех случаях, которые от него зависели. Раз, по инициативе родных одного моего далеко жившего в то время друга, я обратился к А. А. Блоку по телефону с просьбою поручиться перед властями за идейную аполитичность этого самого моего друга, которого и Блок когда-то знал хорошо. А. А. Блок без промедления исполнил эту просьбу.

Одно лицо, хорошо относившееся к нам обоим [44], задалось целью восстановить нашу дружбу, точно предчувствуя скорую кончину старшего из нас. При посредстве этого лица мы обменялись нашими умонастроениями: было это раннею весною 1921 года. Оказалось, что «платформы» наши вновь сблизились; осталось лишь механическое действие — рукопожатие.

Последнее имело место на ежегодном пленарном собрании членов Дома искусств, состоявшемся, должно

быть, в апреле. Присутствовали мы оба, друг с другом не поздоровавшись, почти с начала собрания. По окончании его Блок подошел ко мне.

На душе стало легче.

Прошло около недели. Однажды вечером меня потянуло по-старому на Пряжку, где

В доме сером и высоком
У морских ворот Невы[45]

(цитирую стихи А. Ахматовой) обитал Блок.

Надо было мне его видеть очень. Мне хотелось получить от него совет по одному, очень личному, делу, — совет, который мог мне дать только такой старый, знавший так меня друг, каким был Блок. Хотя касалось это неизвестных ему людей и отношений.

Кроме того, я шел пригласить его принять участие в устраиваемой при Институте живого слова комиссии по теории декламации.

Блока еще не было дома, когда я пришел к нему на квартиру. За время нашей разлуки он переехал по той же лестнице[46] двумя этажами ниже, в меньшее помещение, чего я не знал и прошагал к нему сначала в продышанный воспоминаниями верхний этаж дома.

К одиннадцати часам Блок вернулся из театра. Он мало изменился внутренно, сравнительно с тем его обликом, в каком я его знал и любил в лучшее, довоенное время. Внешне же изменился сильно. Не то что постарел, но очень похудел. Нисколько не «опустился», но очень измучился.

Видимо, нуждался в длительном отдыхе.

Разговор по теории декламации вели мы в присутствии его родных. Не буду останавливаться на нем, так как разговор этот приведен мною в заметке «Два слова о чтении Блоком стихов», помещенной в уже вышедшем в издательстве «Картонный домик» сборнике его памяти.

Потом родные Блока сами чутко догадались о желании моем разговора наедине и оставили нас в тесной столовой вдвоем. Блок выслушал меня и сказал: «До конца вас понимаю».

Чувствовал я, что это так и что только он один может понять именно до конца.

Потом он дал и совет, — «если уж вы хотите идти в этом направлении», — добавил он. Советом мне, по неожиданным причинам, воспользоваться в жизни не пришлось.

Блоку не случилось видеть меня после некоторого важного поворота обстоятельств моей личной жизни, произошедшего тогда же.

В последний раз живым видел я Блока вскоре после этого во дворе Дома искусств. В этот день я уезжал в Москву (была Вербная суббота), и мы обменялись почти только взаимными информациями о наших поездках. Он отправлялся туда же на Пасхе. «От Дома искусств ли едете?» — спросил он меня; я заявил, что от Союза поэтов. Он нахмурился — и мы распрощались. На всю жизнь. <...>

2

ДВА СЛОВА О ЧТЕНИИ БЛОКОМ СТИХОВ

1

Мало кто помнит теперь (да и я этого времени сам «не застал»), что известности Блока (в передовых артистических кругах) как *поэта* предшествовала его известность как *декламатора.*

Не раз мне рассказывали, и разные люди, что вот в гостиной появляется молодой красивый студент (в сюртуке непременно, «тужурок» он не носил). «Саша Блок» — передавали друг другу имя пришедшего в отдаленных углах. «Он будет говорить стихи».

И если Блока об этом просили, он декламировал с охотой. Коронными его вещами были «Сумасшедший» Апухтина и менее известное одноименное стихотворение Полонского.

Было это в самом начале девятисотых годов. А когда А. А. Блок познакомился с будущей своей женой, Л. Д. Менделеевой (впоследствии Блок-Басаргиной), в 1898 году, в именье отца последней они играли «Горе от ума», пьесу, требующую, вследствие совершенства своих стихов, искусной как ритмически, так и эмоционально читки.

2

«Гладкое место» — слышал я такое выражение про блоковскую манеру чтения, представьте себе, от поэта. А вот одна моя знакомая актриса ходила на вечера Блока со специальною целью благоговейно учиться исключительно манере чтения Блока, находя ее не только

безупречной, но потрясающей. Другой мой знакомый, актер, выражался иначе: в чтении Блока — изумительное мастерство, но отнюдь не такое, как у артиста, потому что в нем что-то свое, не чувствуется никакой школы... Я на это возразил, что ведь был же «первый портной», у которого учились следующие, а самому ему учиться не у кого было.

Классическая простота и экономия в пользовании голосовыми средствами при произнесении стиха — вот что делало манеру чтения Блока в глазах людей, привыкших к эстетике контрастов, похожею на «гладкое место». Я бы выразился так: и исчерченная алфавитными знаками страница книги для иного покажется гладким местом. Для неграмотного. Для умеющего же читать — оденется во всю волнующую красоту божественного смысла человеческой речи.

Вообще мало близкий к Верлену, в чтении своем Блок следовал точно принципам этого родоначальника *символизма как школы:*

> Pas la couleur, rien que la nuance...

и

> Rien n'est plus cher que la chanson grise,
> Où l'Jndécis au Précis se joint...

То есть:

> Не цвета, нужны одни оттенки...

и

> Ничего нет лучше пьяной песни,
> Где неточность к точному стремится...

3

В тесных, если хотите, с актерской (вот почему замечание *поэта* в его устах ужасно звучало странно; скажи это актер, я бы скорее понял), с актерской точки зрения, в *тесных* пределах звуковой формы, звукового задания стихотворенья, в границах, которые он *сам никогда* не нарушал, А. А. Блок давал полную амплитуду душевного, астрального движения стихотворения. То есть: у него не топорщились строки во все стороны, как у наших бывших александрийцев (ныне академиков); не

---

* Небольшое замедление темпа (*ит.*), — музыкальный термин.

ного по музыке стиха accelerando *; третья, скажем, строфа на вторую во время произнесения стихотворения, состоящего из шести строф, не лепилась по той случайной причине, что третью строфу поэт начал с союза «и», а вторая строчка не лезла безобразно на первую, оттого что в ней было дополнение к сказуемому, которым кончалась первая строчка. Ни одна рифма не проглатывалась. Но, подобно тому, как всякое чувство им только *оттенялось* в процессе произнесения поэмы, а не красил он каждое слово, не пускал его, по чьему-то образному словечку, «с выраженьем на л и ц е», — подобно этому Блок и рифму оттенял чуть-чуть, и ритм стиха выделял едва... Теперь я понял, почему и поэты могли подходить к его манере чтения с утверждением о «гладком месте»! И для них, горланящих и ноющих, блоковское чтение должно было казаться недостаточно рельефным.

А между тем он актуально (а не только схематично намечая) пользовался всеми сторонами голосовых средств для художественной передачи всего quantum'a **, *выразимого* в его стихах (за чем следовала еще бесконечно б*о*льшая — у него par excellence *** — страна невыразимого; тут уже он переходил в область магнетизма, которого мы учитывать еще не умеем). Я говорю не только о динамике: crescendo, diminuendo, pianissimo, mezzo-forte etc. ****. Я говорю не только о разнообразии акцентуации и самой артикуляции отдельных произносимых им слогов, разнообразии, которым он подчеркивал (сознательно) разнородную их выразительность. Нет, о тембрах.

Тембр его голоса вообще был глухой. Но когда у него «кости лязгали о кости», то сколько-нибудь чуткое ухо слышало *костяной* звук, исходивший из его уст; а когда

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и п е л и, —

то слышали мы и металл, и скрип, и гармонику...

---

* Постепенное ускорение темпа (*ит.*), — музыкальный термин.

** В данном случае: мера, количество (*лат.*).

*** В особенности (*фр.*).

**** Увеличивая, уменьшая, тишайше, вполсилы и т. д. (*ит.*), — музыкальные термины.

4

Все-таки о «невыразимом». Есть лица, схватывающие чужую манеру чтения не внешним подражанием ей, но медиумическим проникновением ею. С таким сильным, хоть и бессознательным, гипнотизером, каким был Блок, это случалось, думаю, нередко: поддаться ему было и легко, и неудержимо соблазнительно. Как он читал одно из любимейших мною стихотворений:

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и д н я м , —

я никогда, сколько помню, не слышал. Между тем, когда одна известная писательница теперь, после смерти А. А. Блока, вдруг заговорила наизусть эти стихи, мне стало жутко и сладко вместе: на минуту поэт точно воскрес.

С. И. Бернштейн, к чьему исследованию «О голосе Блока» эти мои несколько слов предназначены служить вступлением или «постскриптумом», мог бы о т ч а с т и, — не научно, конечно, а все-таки несколько дополнить память своих валиков памятью внушений этого мага, но только сейчас, пока они свежи, не с т е р т ы, — кликнув клич по sujets d'hypnotisme * поэта и собрав их голоса на драгоценные (имеющие стать таковыми) мембраны [1].

5

В заключение — о моем последнем свидании с А. А. Блоком, когда я ходил к нему, между прочим, с целью пригласить поэта на почетнейшее место в открывающейся при Институте живого слова комиссии по теории декламации. В ней он был бы законодателем и как признаннейший из современных поэтов (кому же, по признанию культурных декламаторов и актеров, кому и указывать — как произносить стихи, как не самим их творцам?) и как не имеющий школы, но — пока потенциальный — создатель школы, декламатор.

А. А. Блок встретил это приглашение, что называется, довольно кисло. «В мировом масштабе чиновничье заседание... еще одно? Знаем...» В этом роде ответил он.

---

* <По> лицам, поддавшимся гипнотизму <поэта> (*фр.*).

Он отговаривался недосугом даже и тогда, когда я указал, что его участие в комиссии мыслится не в виде постоянной черновой работы, но как присутствие на расширенных и публичных собраниях комиссии, долженствующей влиять на публику концертов и спектаклей в смысле развития в ней эстетической грамотности...

«Ваш опыт за последние годы, как руководителя Большого драматического театра, особенно незаменим для нас в этом отношении», — говорил я.

— А знаете, к чему этот опыт меня привел? — ответил А. А. Блок. — К тому, что нельзя установить законы для произнесения. Даже самые общие.

— Иной раз, — продолжал он, — такое актер отморозит, с нарушением текста, — а выйдет хорошо. Значит, и это можно.

— Но ведь ритм... — замолвил я слово за нечто, связавшее нас на всю жизнь в области произносительной более даже, чем творческой.

— Нет, и ритм... И текст и ритм нарушить можно при чтении, — сказал А. А. Блок[2].

И я считаю себя обязанным привести эти слова покойного поэта, как почетнейшего из членов нашей комиссии. Хотя я был и остаюсь отнюдь не согласен с этой точкой зрения, хотя она, буде одержит верх, сведет к нулю чуть не все результаты работ по становящейся теории декламации, дорогого и мне и другим участникам этого сборника детища нашего общего.

Но это голос старшего поэта и знатока.

Тогда я убеждал А. А. Блока именно это и высказать в комиссии. И за него высказываю это теперь. Только немного с ним тут же полемизирую.

Припомним латинскую пословицу: «Quod licet Jovi, non licet bovi» *. Сопоставим это с тем, что в собственном своем искусстве чтения Блок никогда не допускал этих нарушений. И (теперь, раз он скончался, мы можем не стыдясь сказать это) — было бы ведь парадоксально утверждать: «Quod licet bovi, non licet Jovi».

Не потому, что бык действительно не допускает таких вещей, какие Юпитеру не приличествуют, но потому, что наша цель: быка поднять до Юпитера, а не Юпитера спустить до образа быка.

* Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (*лат.*).

А. А. ГРОМОВ

В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

...В 1905—06 году среди пестрой разноголосо-шумной студенческой толпы, в прокуренной «столовке», в знаменитом бесконечном нашем коридоре, прислушиваясь к пылкому спору горячего товарища Абрама с выдержанно-спокойным В. В. Ермоловым, на пути в библиотеку или между лекциями иногда появлялись, изредка вместе, чаще — врозь, три студента, имена которых уже и в те годы были известны знатокам и любителям поэзии. Эти трое были: А. А. Блок, В. Л. Поляков и Л. Д. Семенов.

Первый достиг зенита славы и, вероятно, возможных для него вершин творчества; с двумя другими судьба расправилась своенравно-жестоко: в двух скромных, любовно изданных книжках — лишь первые робкие запевы, лишь народился в рассветном тумане очерк несомненного дарованья.

Не знаю, был ли Блок близок с Поляковым [1], который вообще держался особняком, изучая Гете и увлекаясь блестящими комментариями к Пушкину безвременно погибшего Б. В. Никольского; но с Л. Семеновым он был дружен [2].

Задумчивый, словно прислушивающийся к какому-то тайному голосу, Блок, неизменно спокойный, но всегда готовый улыбнуться и откликнуться на веселую шутку и острое слово, и Семенов, живой, непостоянный, волнующийся и мечущийся в поисках новых ощущений: от «Нового пути» — к декадентским детищам московских меценатов, от великосветского салона — к социал-демократии, от К. Маркса — к Л. Толстому, из семинария по классической филологии, где вдохновенно плакал о разлуке Гектора с Андромахой поэт и ученый Ф. Ф. Зелинский, — в деревенскую избу, на пашню. А далее — женитьба на крестьянке и безвременная смерть...

«Типично русская натура» — не то досадуя, не то

любовно восхищаясь, сказал мне однажды о Семенове Зелинский, у которого покойный поэт работал недолю, но упорно, увлеченный своим блестящим руководителем...

Насколько Семенов разбрасывался, не останавливаясь ни на чем и жадно вбирая острые и яркие впечатления жизни, настолько Блок был методичен в своей работе и, я сказал бы — в своих исканьях.

Но вдвоем они дополняли друг друга каким-то неуловимым духовным сродством, своего «лица необщим выраженьем» [3], резко выделяясь из студенческой массы.

С прирожденно-державным взглядом «сероглазого короля» [4], с прекрасными вьющимися волосами, задумчивый и медлительно важный, Блок был что Аполлон — в ловко сшитом мундире русского студента; а рядом с ним — стремительный Меркурий, гордо несущий породистую темнокудрую голову, — Меркурий по свойственной ему лукавой насмешливости, в подражание маскированному Фебу решивший тоже пощеголять, — изумляя «коллег» и поддразнивая «товарищей», — в изящной новенькой тужурке «царского сукна»...

Но веселого вестника богов не спасла его окрыленная напевами душа: он затонул в пучине российской трясины, привлеченный обманчивой красотою ее болотных цветов; но и утопая, не изменил себе — дал смертным последнее представленье из жизни никчемных русских интеллигентов, обернувшись на прощанье не то «народником», не то «толстовцем»...

А величавый Аполлон пошел дальше по цветущей земле с золотою кифарой за стройными плечами, и

Несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь... [5]

В 1905 году Блок был уже определившимся певцом Прекрасной Дамы, которая пришла из романтически-задумчивых далей, от нездешних берегов поэзии Жуковского, Тютчева и Вл. Соловьева.

Но, всегда сдержанно-гордый и замкнутый, он был поэтом для друзей, а для товарищей по университету лишь «студентом Блоком»; даже в тесном кругу филологов-словесников его мало кто знал как поэта, а многие из «знавших» были враждебны.

Помню, как один из печальников горя народного возмущался Блоком:

— Помилуйте, Блок оскорбляет русскую женщину! Он пишет, что «в сердце каждой девушки — альков» [6].

Хриплый баритон сурового цензора звучал убежденно, речь дышала искренним негодованием.

Блок добросовестно работал у всех профессоров славяно-русского отделения, согласно «Правилам о зачетах», но особое внимание уделял двум: А. И. Соболевскому и И. А. Шляпкину.

А. И. Соболевский читал в наши годы ряд разнообразных курсов: «русский исторический синтаксис», «древнецерковнославянский язык», «история русского языка», «русская диалектология», «славяно-русская палеография»; кроме того, он вел на дому и в университете практические занятия по летописи, обнаруживая поразительную начитанность в области древних памятников и увлекая нас блестящим остроумием своих конъектур при анализе летописного текста.

Соболевский не терпел «налетчиков» — случайных посетителей — и расправлялся с ними на лекциях круто и не стесняясь; но зато около него всегда группировалось двадцать—двадцать пять человек, работой которых Алексей Иванович руководил внимательно и любовно и оставил по себе благодарную память. Каждый участник его семинария обязан был представить реферат на одну из многочисленных тем, которые Соболевский раздавал в начале занятий, — по анализу языка. Докладчик сменял докладчика: от «Супральской рукописи» мы переходили к «языку Ал. Толстого», от «стиля и языка К. Рылеева» к такому же разбору «Жития протопопа Аввакума».

Блок остановился на теме «язык Александрии русских хронографов» и выполнил свою работу с присущей ему отчетливостью: скупой на похвалы и крайне требовательный Соболевский признал труд Блока превосходным [7].

...И. А. Шляпкин умер в лютые годы военного безвременья.

Будущий историк б. императорского Санкт-Петербургского университета, так же как историк русской литературы и русской общественности, внимательно остановится на этой своеобразной и красочной фигуре. Сын крестьянина, до конца дней сидевший на своем «наделе» в Белострове, среди изумительных книжных сокровищ, окруженный предметами искусства, редкостями и просто вещами, каждая из которых имела свою «историю», — Шляпкин пользовался неизменной симпатией молодежи,

несмотря на свое «черносотенство», как многие называли его лукаво-загадочную анархо-монархическую идеологию, пугавшую обывателей, покорных политической моде и злобе дня.

Он умел как-то душевно, интимно подойти к человеку, и эта неизменно дружеская настроенность и терпимость к чужим мнениям, отзывчивость и жадная чуткость ко всем явлениям жизни — сказывались и в лекциях белоостровского отшельника, и в его хаотически-интересных семинарских занятиях.

Блок писал Илье Александровичу реферат о Болотове. Помню, что профессор не раз отзывался о работе Блока почти восторженно и находил в авторе методологический навык и крупное исследовательское чутье.

Как поэта Шляпкин узнал Блока позднее, пережив однажды типичную для него «запойную» пору интереса к новейшей литературе. В 1909—1910 гг. Вольф предложил ему редактировать хрестоматию современной поэзии. Фактически работа выполнялась мною: был составлен план издания, подобран материал, написана большая руководящая статья. В процессе этой работы у меня возникали частые беседы с Ильей Александровичем о новой поэзии. Многое читали вместе. Поклонник Пушкина и его школы, Шляпкин из Блока особенно почувствовал и оценил «Незнакомку».

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука, —

медленно повторял, вслушиваясь в музыку стиха, Илья Александрович. «Это поэзия! Это не Городецкий».

Издание не состоялось. Все материалы к нему должны быть в архиве покойного профессора Шляпкина, где, вероятно, находится и работа Блока о Болотове, которую Шляпкин тоже собирался печатать [8].

Поэт не порвал связи со своими университетскими учителями по окончании курса: одно время он серьезно думал об оставлении при кафедре — на чем настаивал и Шляпкин — и хотел готовиться к магистерским экзаменам.

Мы, словесники 1905—06 гг., кончали университет небольшою группой в 9—10 человек, начав экзамены в декабре 1905 года и сдав их весной 1906-го.

С обычной добросовестностью отнесся Блок и к экзаменам. В эту пору он часто бывал у меня: по санскриту, древним и славянским языкам готовились сообща. Я жил тогда на Могилевской улице (ныне Лермонтовский проспект), недалеко от Египетского моста, в 1905 году провалившегося под конным отрядом войска.

Этот провал приводил в злорадный восторг И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, у которого мы занимались санскритом, благо профессор жил тоже на Могилевской улице:

— Так *им* и надо, — брызгая слюной и заикаясь, веселился знаменитый исправитель Далевского словаря, — хр-христолюбивое в-воинство!..

Подготовка к экзаменам шла своим чередом, но возможность производства испытаний была сомнительна. Вероятны были и студенческие волнения, и правительственные репрессии: и то и другое отразилось бы на судьбе экзаменационной комиссии как официально действующего учреждения. Много студентов уехало в провинцию, иные просто махнули рукой на университет, потеряв надежду на скорое возобновление нормальной жизни.

Памятником и свидетельством этих тревожных настроений служат сохранившиеся у меня письма Блока, характерные и для их автора, и для времени, когда мы кончали университет. Вот эти письма:

1

Многоуважаемый Александр Александрович. Сегодня (13) днем я получил от Н. А. Редько внезапное извещение о том, что «по постановлению Совета наши экзамены будут перенесены на декабрь». Сейчас же пошел в Университет, надеясь встретить кого-нибудь для разъяснений, но никого не встретил, а вернувшись в 6 ч., нашел приглашение в Университет по телефону к 6 ч. Идти было уже поздно. Верно, Вы знаете что-нибудь. Будьте добры, напишите мне несколько слов о том, что было в Университете и каково положение дел. Жму Вашу руку.

Ваш *Ал. Блок.*

P. S. Можно задержать на несколько дней «Ars poetica», Брауна и лавровскую программу? Читал «Ars poetica» — удивительно интересно и стройно написано, как все у Зелинского[9].

13 сентября <1903>

2

Многоуважаемый Александр Александрович. Большое спасибо за извещение. Простите, что все тревожу Вас. Я не мог сегодня (16) попасть на сходку. Черкните два слова, на чем решили. Будет ли что-нибудь в понедельник (начало занятий или опять сходка?). В «Новом времени» объявлено и то и другое.

Ваш *Ал. Блок,*

16 сентября <1905>

3

Многоуважаемый Александр Александрович.

Спасибо за извещение о Б<одуэне>-де-Куртенэ. Завтра едва ли приду на сходку, кажется не будет времени.

Ваш *Ал. Блок.*

30 сентября 1905 г.

4

Многоуважаемый А. А. Спасибо за письмо. Извините, что в субботу занят и не могу попасть к Вам. Мне кажется, нам теперь было бы приятнее всего получить зачет семестра, если даже не будет экзаменов. В противном случае мы останемся на неопределенное время между небом и землей. Попробую как-нибудь еще раз зайти к Брауну поговорить.

Ваш *Ал. Блок.*

28 X 1905

5

Многоуважаемый Александр Александрович. Есть ли что-нибудь определенное в нашем положении? Узнали ли что-нибудь? Жду Вашего ответа.

Ваш *Ал. Блок.*

9 ноября <1905>

6

Многоуважаемый А. А. Спасибо, приду к Вам завтра (в пятницу) вечером. Мало надеюсь на успех — ведь дело идет только о 3—4 лицах.

Ваш *Ал. Блок*

10 ноября 1905

Тревожная полоса кончилась: хотя дело и шло «о 3—4 лицах», но в начале декабря испытательная комиссия была назначена и опасность остаться «на неопределенное время между небом и землей» исчезла. Наступила горячая пора подготовки к экзаменам.

В моей скромной студенческой комнате, заваленной книгами, провели мы много вечерних часов, то вглядываясь в причудливые очертания «деванагари» [10], то скандируя «Вакханок» Еврипида, то разбирая древнеславянские тексты...

И не заметишь, бывало, как заглянет в окна белая ночь — и потянет на воздух из душной комнаты...

Идем по набережной Фонтанки — не замечая времени — к Лоцманскому острову, на взморье, где открывается чудесный северный вид. Сядем на ветхой скамейке у какого-то старого домика — и ведем оживленно-тихую беседу. Метерлинк и Пушкин, Мицкевич и «Ars poetica» — чередовались с событиями современной политической жизни. Имею основание полагать, что кое-что — заветное — из передуманного в те часы Блок донес неизменным до могилы.

Но скоро жизненные пути наши разошлись. Он стихийно, как писатель-профессионал, втягивался в круг интересов текущей литературы, внешне уйдя в тот мир редакций, где «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать» [11]. Встречались мы изредка и случайно, — и каждый раз новым являлся мне облик поэта. Мучительная складка печали легла на его еще недавно такое светло-спокойное и прекрасное лицо. Казалось иногда, мерцает над его головой «неяркий пурпурово-серый круг» [12], одинаково присущий и трагической музе Блока, и опальному ангелу.

Но редкие наши встречи по-старинному насыщены были мыслью и чувством — и запоминались.

Помню, например, долгий, внешне бессвязный, но внутренне многозначительный разговор о любви, — об ее «изломах», «муке» и «жертвенности» (выражения Блока), который возник у нас во время такой встречи в 1909 или в 1910 г.; помнится улыбка, зарницей мелькнувшая на сумрачном лице поэта, усталого и больного, когда во время другой такой же случайной встречи я рассказывал Александру Александровичу о своих впечатлениях от провинции, где я читал (1909—1914 гг.) публичные лекции о новых поэтах (в том числе и о Блоке)... [13]

Чем ближе подходили смутные годы, тем реже мы встречались. Лишь по вопросу о сборнике в честь профессора Шляпкина говорили мы с ним несколько раз по телефону, и он прислал стихотворение [14], которое я в скором времени вернул ему, так как сборник не состоялся...

В июне 1921 года мне крайне понадобился «Театр» Блока, мой экземпляр которого, по милому «русскому» обыкновению, кто-то «зачитал». Не зная, что Блок болен, я написал ему, прося указать, где я могу найти книгу.

А 13 июля получил ответ, написанный карандашом. Тот же знакомый четкий, но старчески дрожащий почерк:

13.VII.21

Многоуважаемый Александр Александрович. Простите за поздний ответ, я болен так, что не всегда могу держать карандаш в руках. Ничего сообщить благоприятного не могу, книжка давно распродана, найти ее можно только случайно. Могу рекомендовать Вам магазин Дома искусств. Всего Вам доброго. *Ал. Блок* [15].

К письму была приложена визитная карточка формата и шрифта, знакомых мне еще со студенческих времен: *«Александр Александрович Блок* просит отпустить А. А. Громову книги из магазина Дома искусств, на Морской».

Седьмого августа А. А. Блок скончался...

Теперь еще не время для Блока. Но первая четверть нашего века прошла под его знаком, и нашим, более счастливым, чем мы, потомкам предстоит завидная доля (и возможность!) изучать и разгадывать эту сложную, тонкую и богато одаренную натуру поэта и провидца апокалиптической эпохи.

Нам же, его современникам, необходимо выполнить свой долг — собрать возможно больше материалов для изучения Блока.

Более полувека понадобилось, чтобы Россия начала понимать и усваивать Пушкина, придя к возможности его понимания долгим и страдным путем, несмотря на Венгерова, Лернера, Айхенвальда, Гершензона и Брюсова.

Такова же, быть может, и судьба Блока, в существенном схожая при жизни поэта с судьбою Пушкина, несмотря на несоизмеримость их гения.

Февраль 1923

В. П. ВЕРИГИНА

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

В то время как в Москве молодой режиссер [1], окруженный юными единомышленниками, искал новые формы в театральном искусстве, в Петербурге начинающий поэт Блок говорил свое новое в «Стихах о Прекрасной Даме». Поэт перестал мечтать о театре, как в ранней юности («Мое любимое занятие — театр»), но театр готовил на него нападение. Откристаллизовавшейся в Москве труппе во главе с Мейерхольдом суждено было сделать театр снова желанным и нужным для поэта.

В некоторых воспоминаниях о Блоке говорится, что поэт бывал за кулисами, вращался в кругу актеров. Многим это должно показаться случайным: молодой человек развлекался театральными представлениями, веселился в кругу интересных женщин.

«Болтали... Много хохотали...» — пишет М. А. Бекетова мимоходом. На самом деле это было несколько не так.

В театре Коммиссаржевской создалась особая атмосфера, подходящая для поэта Блока. Перед открытием сезона устраивали собрания по субботам, на которые приглашались все наиболее значительные новые литераторы и поэты, для того чтобы актеры, общаясь с ними, находились в сфере влияния нового искусства [2].

Театр ремонтировался, и гостей пришлось принимать на Мастерской <улице>, в помещении Латышского клуба, там же, где шли репетиции. Художника Н. Н. Сапунова попросили как-нибудь украсить нескладную длинную комнату с узкой эстрадой. Он удивил всех своей изобретательностью. Голубое ажурное полотно, напоминающее сети или, скорее, паутину, окутало стены. Это была часть

декораций для «Гедды Габлер». Невзрачная дешевая кушетка закрылась ковром. На покрытом сукном столе стояли свечи. Комната преобразилась. Труппа собралась заранее. У актеров было приподнятое настроение, но вели себя все очень сдержанно.

Вера Федоровна Коммиссаржевская, трепещущая и торжественная, как перед первым представлением, ждала гостей.

В этот вечер Сологуб читал свою пьесу «Дар мудрых пчел». Я не заметила, когда вошел Блок, только после чтения я увидела его, стоявшего у стены рядом с женой, Любовью Дмитриевной, одетой в черное платье с белым воротничком. Она была высокого роста, с нежным розовым тоном лица, золотыми волосами на прямой пробор, закрывающими уши. В ней чувствовалась настоящая русская женщина и еще в большей степени — героиня северных саг.

Наружность Блока покорила всех. Он был похож на германских поэтов — собирательное из Гете и Шиллера. В тот вечер, по примеру других поэтов, он читал стихи в знакомой нам манере, но с совершенно индивидуальными интонациями и особенным металлическим звуком голоса. В нем чувствовалась внутренняя сила и большая значительность.

Блок приковал к себе общее внимание, хотя героем вечера должен был быть Ф. К. Сологуб. Сергей Городецкий делил успех с первым. Оригинальный и обаятельный, он стал нам близким как-то сразу. Из всех стихов, прочитанных Блоком, «Девочка в розовом капоре» [3] пленила меня больше всего; мне так захотелось прослушать еще раз это стихотворение, что я обратилась к Блоку с довольно странной просьбой — прочитать мне его. Александр Александрович охотно и просто согласился на это. Мы стали оба за полуоткрытой дверью, и поэт прочел мне со всей проникновенностью «Девочку в розовом капоре».

Собрание было многолюдно. Все присутствующие читали свои стихи. Кузмин пел «Александрийские песни». Вера Федоровна пела и декламировала. Кажется, в первую же субботу был поставлен «Дифирамб» Вячеслава Иванова [4]. Все наши актеры, скрытые занавесом, изображали хор. Я читала слова пифии. В промежутках между декламацией и пением весело болтали группами, завязывались знакомства. Мелькали женские улыбки, локоны, шарфы... Вихреобразные движения Филипповой,

скользящая походка Мунт, пылающие глаза Волоховой, усталые, пленительные движения Ивановой и, как горящий факел над всем, — сама Коммиссаржевская; все эти женщины приветливо слушали, восхищались и восхищали, переносясь от одной группы писателей к другой.

Конец вечера Мунт, Иванова, Волохова и я провели в компании Блока и Городецкого. Они оба мне вспоминаются как-то нераздельно. Тут началось наше дружество. Я попросила обоих поэтов дать мне стихи для чтения, и оба охотно исполнили мою просьбу.

В следующую субботу я получила от Городецкого собственноручно переписанную «Весну монастырскую» и от Блока — «Вот явилась, заслонила всех нарядных, всех подруг...» [5]. Почему-то впоследствии Блок изменил в этом стихотворении строки, которые особенно мне нравились. Вместо напечатанных теперь — «золотой твой пояс стянут» и т. д., там было следующее: «Так пускай же ветер будет петь обманы, петь шелка, пусть вовек не знают люди, как узка твоя рука...» В такой редакции я всегда и читала это стихотворение [6].

На втором собрании [7] Блок читал свою пьесу «Король на площади». И еще более неотразимое впечатление он произвел на нас. Поэт сидел за столом, голова его приходилась между двумя красными свечами. Лицо, не склоненное над рукописью, только опущенные глаза. Я думаю, что та радость, которую я испытывала при ощущении гармонии в существе поэта, охватывала и других присутствующих.

Блок сам, его внешность, голос, манера чтения гармонировали с его стихами. Пьеса, навеянная современностью, получилась все же неожиданной и далекой от надоевшей повседневности. Во время перерыва я услышала, как Блок сказал кому-то: «Зодчий и его дочь — это кадеты». Я рассмеялась про себя, потому что мысленно поставила рядом с образом Зодчего думского говоруна в визитке. Тогда я еще не привыкла к отображению действительности в стихах Блока. Всякий действительный факт преображается в его творчестве. Такое же недоумение вызвала у меня другая фраза Блока, тоже в самом начале знакомства. Разговор зашел о стихотворении «В голубой далекой спаленке твой ребенок опочил...» Я спросила: «Ребенок умер?» — и получила ответ: «Мать его задушила». Помню, что у меня вырвалось: «Не может быть! Тут нет убийства!» Александр Александрович

улыбнулся и сказал: «Ну, просто умер, можно и так». Несомненно, что в данном случае какое-то происшествие из газет попало в мир блоковской поэзии и было выражено таким образом [8].

После небольшого перерыва, во время которого обсуждалась прочитанная пьеса [9], автора и других поэтов попросили опять читать стихи. На этот раз Блок прочитал «Незнакомку» [10]. Н. Н. Волохова была тут, не подозревая, что сама явится ее воплощением [11]. «По вечерам над ресторанами...» имело наибольший успех. Этот вечер можно считать началом тесной дружбы Александра Блока с небольшой группой актеров, которая впоследствии принимала участие в его «снежных хороводах»: Н. Н. Волохова, Е. М. Мунт, В. В. Иванова, В. П. Веригина, В. Э. Мейерхольд, Б. К. Пронин, позднее А. А. Голубев, Случилось это, вероятно, потому, что мы больше всех других хотели постоянно соприкасаться с миром Блока, относились ко всему, что было связано с ним, с наибольшим азартом. Я вспоминаю Александра Александровича в черном сюртуке, торжественного, но без всякой напыщенности, и с ним рядом Городецкого — славного, во всем настоящего, веселого, изобретательного и оригинального. От него веяло «древними поверьями» [12], славянской Русью. Эти оба стали сразу близкими, быть может, оттого еще, что они были самыми молодыми.

Поэтов и художников приглашали не только в гости, но и на генеральные репетиции. После первого представления «Гедды Габлер» все собрались в фойе театра [13]. Потом мы уже небольшой компанией начали собираться, по субботам, у Веры Викторовны Ивановой.

ПОЭТ И ТРИ АКТРИСЫ. ШУТКИ И СЕРЬЕЗНОЕ

К нашим сказкам, милый рыцарь,
Приклоните слух...

И влюбленность звала — не дала отойти от окна,
Не смотреть в роковые черты, оторваться
от светлой мечты.

А. Блок

К нам в театр чаще других поэтов приходил Блок и каждый раз появлялся в нашей уборной. Волохова, Мунт и я гримировались в общей уборной. Обычно он проводил

в антракте некоторое время внизу, перехваченный Мейерхольдом или Ф. Ф. Коммиссаржевским. Несмотря на молодость, Александр Александрович всем импонировал, все дорожили его словами, его мнением. Иногда он разговаривал с Верой Федоровной и затем сейчас же отправлялся наверх. Мы встречали его с неизменной приветливостью, хотя и не так почтительно, как те, внизу. Я угадала как-то сразу за плечом строгого поэта присутствие его веселого двойника, который мне стал так близок. Не знаю, когда и как это случилось, но очень скоро у нас установилось особое юмористическое отношение друг к другу.

На длинном узком столе — три зеркала, перед каждым по две лампы, на белой клеенке грим, пуховки, лапки, растушевки. Если шла пьеса Юшкевича «В городе» — за столом сидели: Дина Гланк с лицом врубелевского ангела (Волохова), большеглазая Ева с голубоватым тоном лица (Мунт) и безумная Элька, вся в ленточках (Веригина). Если шла «Сестра Беатриса» — тут были игуменья и три голубых монахини (третья — В. В. Иванова). В вечер «Балаганчика» — голубая средневековая дама, розовая маска и черная маска в зловещем красном уборе и черно-красном костюме. Мы подправляли грим, перебрасываясь словами. В дверь стучали, появлялась высокая фигура поэта.

Раздавалось звенящее: «А-а-а!» — приветствие Мунт. Волохова молча улыбалась своей победной улыбкой. Блок почтительно целовал руку у моих подруг, затем здоровался со мной, отчеканивая слова: «Здравствуйте, Валентина Петровна!» (Ударение делалось на первом слове.) У этой фразы был неизменно задорный оттенок. Между нами как бы произошло соглашение. При каждой встрече посмотрим друг на друга быстрым, ускользающим взглядом и потянется цепь смешных слов.

На генеральных репетициях и первых представлениях Александр Александрович прежде всего высказывал свое мнение о постановке, о нашей игре, затем уже шла болтовня — вдохновенный вздор, как я это называла. Во время рядовых спектаклей мы не говорили о пьесах и вообще не вели никаких серьезных разговоров. При звуке колокольчика спускались вниз. Александр Александрович шел за нами и иногда оставался у двери, ведущей на сцену, дожидаясь, когда кто-нибудь освободится. Тут говорили шепотом; часто к нам присоединялся Мейерхольд и другие актеры или кто-нибудь из художников.

Больше всего, особенно первое время, Блок говорил со мной, и Н. Н. Волохова даже думала, что он приходит за кулисы главным образом ради Веригиной, но однажды во время генеральной репетиции «Сестры Беатрисы» она с изумлением узнала настоящую причину его частых посещений.

Блок зашел, по обыкновению, к нам в уборную. Когда кончился антракт, мы пошли проводить его до лестницы. Он спустился вниз, Волохова осталась стоять наверху и посмотрела ему вслед. Вдруг Александр Александрович обернулся, сделал несколько нерешительных шагов к ней, потом опять отпрянул и, наконец, поднявшись на первые ступени лестницы, сказал смущенно и торжественно, что теперь, сию минуту, он понял, что означало его предчувствие, его смятение последних месяцев. «Я только что увидел это в ваших глазах, только сейчас осознал, что это именно они и ничто другое заставляют меня приходить в театр» [14].

Влюбленность Блока скоро стала очевидной для всех. Каждое стихотворение, посвященное Волоховой, вызывало острый интерес среди поэтов. Первые стихи ей он написал по ее же просьбе. Она просто попросила дать что-нибудь для чтения в концертах. 1 января 1907 года поэт прислал Волоховой красные розы с новыми стихами: «Я в дольний мир вошла, как в ложу. Театр взволнованный погас, и я одна лишь мрак тревожу живым огнем крылатых глаз».

Н. Н. была восхищена и вместе с тем смущена этими строками, но, разумеется, никогда не решалась читать их с эстрады. Вокруг выражения «крылатые глаза» между поэтами возник спор: хорошо ли это, возможно ли глаза называть крылатыми и т. д. Стихотворение обратило на себя исключительное внимание потому, что оно явилось разрешением смятенного состояния души, в котором находился Блок, естественно очень интересовавший своих собратьев. Этот интерес был перенесен теперь и на Волохову.

Всякому, кто хорошо знал Наталью Николаевну, должно быть понятно и не удивительно общее увлечение ею в этот период. Она сочетала в себе тонкую, торжественную красоту, интересный ум и благородство характера.

Разумеется, увлечение поэта не могло оставаться тайной для его жены, но отнеслась она к этому необыч-

но. Она почувствовала, что он любит в Волоховой свою музу данного периода. Стихи о «Незнакомке» предрекли «Прекрасной Даме» появление соперницы, но, несмотря на естественную в данном случае ревность, она отдавала должное красоте и значительности Волоховой, к тому же, может быть, и безотчетно знала, что сама непреходяща для Блока. Действительно, близ Любови Дмитриевны он остался до самого конца. Тут была не только литература, а настоящая привязанность, большая человеческая любовь и преклонение. В разговорах с нами о ней Александр Александрович часто говорил: «Люба мудрая». Не надо забывать, что она стала его первым увлечением — «розовой девушкой, в которой была вся его сказка» [15].

Вскоре после нашего знакомства Л. Д. Блок пригласила Волохову и меня к себе, и мы сделались частыми гостями на Лахтинской, где тогда жили Блоки. Там иногда мы встречали Анну Ивановну Менделееву, мать Любови Дмитриевны, Марию Андреевну Бекетову, тетку Блока, и Александру Андреевну. Существует мнение, что у большинства выдающихся людей были незаурядные матери, это мнение лишний раз подтверждается примером Блока. Как-то Любовь Дмитриевна говорила мне: «Александра Андреевна и Александр Александрович до такой степени похожи друг на друга». Мне самой всегда казалось, что многое в них было одинаковым: особая манера речи, их суждения об окружающем, отношение к различным явлениям жизни. Многое слишком серьезно, даже болезненно принималось обоими. У сына и у матери все чувства были чрезмерны — чрезмерной была у Александры Андреевны и любовь к сыну, однако это нисколько не мешало ей быть справедливым судьей его стихов. Она умела тонко разбираться в творчестве Блока. Свои произведения он читал ей первой и очень считался с ее мнением. В конце сезона Александра Андреевна уезжала из Петербурга, и я лично познакомилась с ней ближе гораздо позднее. В 1915 году у нас произошел разговор, который я привожу теперь для характеристики ее созвучности с сыном. Мы говорили о стихотворении «На поле Куликовом», о его пророческом смысле.

И вечный бой, покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль.
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

По поводу этих строк Александра Андреевна мне сказала: «Саша описал мой сон. Я постоянно вижу во сне, что мчусь куда-то и не могу остановиться... Мимо меня все мелькает, ветер дует в лицо, а я лечу с мучительным чувством, знаю, что не будет покоя».

Мы бывали у Блоков обычно после спектакля и просиживали до 3-х и даже до 4-х часов вчетвером. Говорили о литературе, главным образом о стихах, о наших театральных делах и, наконец, шутили, просто болтали.

Блок в своем существе поэта был строг и даже суров, но у него был веселый двойник, который ничего не хотел знать о строгом поэте с его высокой миссией. Они были раздельны. Вдохновенный вздор, словесную игру заводил с нами этот другой Блок, который был особенно близок мне. Ему самому тоже всегда хотелось шутить и смеяться в моем присутствии. Н. Н. Волохова и Любовь Дмитриевна говорили, что мы вдохновляем друг друга.

Иногда мне кажется непростительным, что я не записывала наши диалоги, иногда, наоборот, думаю, что это не важно. В конце концов, все дело заключалось в тоне, в смешной, неподражаемой манере произносить фразы. Когда большой актер умирает, с ним гаснут интонации, которыми он волновал зрителя, и в рассказе нельзя дать никакого понятия о них.

Теперь, когда Блока не стало, так же безнадежно трудно передать его веселость, его творческое дурачество. «Вот оно, мое веселье, пляшет и звенит, звенит, в кустах пропав»[16].

Отзвенело веселье, звук умер, но он еще дрожит в ушах тех, кто его слышал.

Я слышала звон его веселья и видела тогда только его снежный образ. Известно, что жизнь Блока не была безгрешной, и все же никогда в его существе не запечатлевались соприкасания с низменной землей. Я видела его всегда затянутым «лентой млечной»[17], отвлеченным и чистым. Н. Н. Волохова сказала однажды: «К Блоку тянулось много грязных рук, многим почему-то хотелось утянуть его в трясину, но с него все соскальзывало, как со льда, и он оставался прозрачным». В начале нашего знакомства я положительно не хотела верить в его многочисленные увлечения, и однажды, когда он, читая нам: «Открыли дверь мою метели», дошел до слов: «И женщин жалкие объятья знакомы мне, я к ним привык»[18], — я

расхохоталась: эти слова в устах Блока мне показались странными и совсем не подходящими. Я заявила ему это совершенно откровенно, когда он с удивленной улыбкой спросил меня, чему я смеюсь. Александр Александрович и Любовь Дмитриевна, в свою очередь, начали смеяться надо мной. Она упрекнула меня за то, что я смотрю на Блока как на гимназиста. Разумеется, я не смотрела на него так, но он мне казался всегда бесконечно далеким от земли. То, что я бывала почти ежедневно па Лахтинской и видела его в повседневности, нисколько не мешало этому. В квартире Блоков жили Поэт и Прекрасная Дама — настоящие, без тени того декадентского ломанья, которое было свойственно тогда некоторым поэтам и особенно их дамам. Безыскусственность, скромность и предельная искренность отличали обоих от большинства.

Наши посещения Лахтинской давали нам много ценного. Общение с Блоком способствовало духовному росту — не одно лишь веселье мы черпали там. Путь к Блокам через Неву на Петербургскую сторону радовал. Снежный Петербург и наш друг — поэт были неразделимы. Погружаясь в снежную мглу, мы уже вступали в царство Блока. Я приезжала на Лахтинскую всегда в приподнятом настроении. Помню момент, когда на наш звонок обычно открывал дверь сам Александр Александрович. Неизменно в темно-синей блузе с белым отложным воротничком. При виде Волоховой он опускал на мгновение глаза, но я тотчас же разбивала «трепетное» настроение какой-нибудь неожиданной фразой, которая его смешила. Он преувеличенно вежливо снимал с меня пальто. Часто юмористический тон появлялся не сразу. Иногда мы говорили о чем-нибудь насущном для нас в данный момент, обсуждали что-нибудь достаточно серьезное, вдруг в Александра Александровича «вступало». Передавая мне чашку чая, он говорил напыщенно, каким-то пустым звуком: «Как я счастлив передать вам это». Обычно я сентиментально вздыхала, а Любовь Дмитриевна со смешком на низких нотах говорила: «Ну, начинается!» И уж раз началось, не скоро кончалось. Иногда Блок дурачился до изнеможения. Волохова говорила, что ее начинала беспокоить в таких случаях напряженная атмосфера, — я не замечала этого, меня несло в веселом вихре шуток вслед за Блоком. Впрочем, некоторую чрезмерную остроту ощущала иногда и я, это бывало

главным образом в разговорах о Клотильдочке и Морисе, которые появились уже на второй год нашего знакомства. Однажды Александр Александрович сказал мне: «Мы должны с вами породниться, Валентина Петровна. Давайте женим наших детей». Я возразила на это, что у нас нет никаких детей. «Ничего, будут. У вас будет дочь Клотильдочка, а у меня сын Морис. Они должны пожениться». Через несколько дней после этого разговора мы с Волоховой пришли к Блокам. Я забыла о Клотильдочке. Александр Александрович неожиданно ушел к себе и через некоторое время возвратился с довольным видом, держа больших, вырезанных из газеты кукол. Одну он поднес мне со словами: «Вот ваша Клотильдочка, Валентина Петровна, у нее ножки как у вас, смотрите». Я нашла этих детей прелестными, но с большой наклонностью к дегенерации. Блок, смеясь, защищал их и уверял, что Клотильдочка — мой портрет. Его Морис был с кудрявыми волосами и невероятно тонкой шеей. Александр Александрович повесил кукол на отдушину печки и во всех рассказах о них изощрялся один. Тут я только слушала вместе с другими и хохотала. «Саша доходит до истерики с этими Клотильдочками», — говорила Любовь Дмитриевна.

Одновременно с шутками и шалостями моя дружба с Блоком шла и по другой линии. А. А. был для меня тем, кто знает больше всех. Я ощутила это сразу почти с первой встречи, поэтому он имел на меня самое большое влияние из всех моих значительных друзей. В серьезном он относился ко мне строго, с предельной правдивостью. У Блока совершенно отсутствовала манера золотить пилюлю.

Во время знакомства с Александром Александровичем мы находились в сфере еще других влияний. В литературных и отчасти в артистических кругах говорилось много такого, о чем, в сущности, за чайным столом и в гостиных говорить легкомысленно. Словами «мистический анархизм», «неприятие мира», «третье царство», «преображенный мир» и т. п. часто просто жонглировали.

Но у Блока не было слов без глубокого содержания, причем у него они рождались из уверенности в их значимости, поэтому он очень сердился на всех тех, кто в словах находил лишь внешность. Когда поэт веселился и шутил, он шутил в области, где можно было быть

легкомысленным, в противоположность, например, Мейерхольду, который мог шутить всем. Так, Мейерхольд иногда увлекательно развивал какую-нибудь идею, казался влюбленным в нее и через короткий промежуток времени мог издеваться над любимым. Я знала, что Александр Александрович такого отношения не прощал, но сама я невольно прощала это Мейерхольду, потому что в нем — художнике и режиссере — я не видела никаких недостатков, была совершенно покорена его театральными замыслами. Блок относился к нему по-разному. В некоторых постановках он видел черты гениальности, другие отвергал. Мейерхольд говорил мне полушутя: «Я всегда ношу маску», и мне кажется, что в те моменты, когда на нем бывала маска, которой он овладевал до конца, Блок принимал его, когда же он примерял какую-нибудь новую и чувствовал себя в ней неуверенно, Александр Александрович отшатывался от него. Когда я говорю о масках Мейерхольда, я не хочу порицать его, это его природа — подлинно театральная.

Несмотря на огромную разницу в характерах, Блок и Мейерхольд иногда соприкасались в сферах творчества. Примером этого может служить постановка «Балаганчика», о котором я буду говорить дальше.

Я уже говорила, что у нас с Блоком были не только шутливые отношения. Со всем наиболее существенным, касающимся моей внутренней жизни, и некоторыми вопросами, в плане театральной работы, я обращалась к Александру Александровичу, который всегда был готов помочь разобраться во всех затруднениях, возникавших вследствие моей неопытности. Привожу его письмо ко мне от 25 ноября 1906 года:

Многоуважаемая Валентина Петровна!

Спасибо за Ваше письмо. Непременно приду к Вам завтра часа в 4, как Вы пишете. Постараюсь передать Вам все, что сумею. Искренне Вам сочувствую и понимаю Ваше настроение: и со мной случается, но обыкновенно к лучшему: когда тоскую об утрате себя, это значит, что стихи лучше напишу, а когда доволен собой, обречен на бесплодность.

Искренне уважающий Вас

Александр Блок,

25-XI-06 [19]
СПБ.

Блок зашел ко мне, как обещал, в четыре часа. (Он вообще был чрезвычайно точен.) Я рассказала ему о своих сомнениях, и он помог мне несколькими ценными замечаниями, помог главным образом тем, что заставил внутренне подобраться.

Нередко рядом с обыкновенными разговорами при наших встречах возникали неожиданно интересные темы. Помню ясно один из разговоров о Библии. Я была в гостях на Лахтинской. Мы сидели в кабинете, Александр Александрович — в кресле перед столом. В одной руке он держал папиросу, другая лежала на ручке кресла, голова с приподнятым подбородком была чуть-чуть склонена набок. Он улыбался — разговор был веселый.

Внезапно мне пришла в голову мысль спросить его мнение о Библии. С этим вопросом я давно собиралась обратиться к нему, по как-то не было подходящего случая. Я знала, что Библия считалась многими великими людьми книгой книг и вообще превозносилась как книга практической мудрости, а я почему-то чувствовала к ней отвращение. Напрасно я старалась проникнуться мрачной поэзией книги пророков — их трагический вой наводил на меня только тоску. Я сказала об этом Александру Александровичу, прибавив, что все жульничества Иова и Иакова вызывают во мне отвращение. Полуулыбка Блока перешла в улыбку, он повел слегка головой и почти серьезно заметил: «А я ведь тоже не люблю Библии». Тогда у меня вырвалось: «Отлично, теперь я буду ненавидеть ее с легким сердцем». Он засмеялся и сказал категорически: «И ненавидьте».

Через некоторое время Библия выплыла опять (кажется, во втором сезоне).

Александр Александрович, Любовь Дмитриевна, Н. Н. Волохова и я отправились в Религиозно-философское общество на доклад В. В. Розанова. У автора была плохая дикция, и за него читал кто-то другой, а сам он сидел за столом спиной к аудитории. Это бросалось в глаза, мы переглянулись и сразу пришли в веселое настроение.

В докладе Розанов доказывал, что Христос никого не спас, а принес с собой только печаль, что Евангелие — книга мрачная, а Библия, наоборот, радостная, проникнутая смехом. Улучив минуту, я шепнула Блоку, что не заметила там никакого смеха: «Один раз, правда, хихикнула

Сарра...» Блок быстро повернул ко мне лицо — задорное, по-детски веселое, и начал меня упрашивать: «Скажите, скажите это вслух». Разумеется, я на это не решилась, но Александру Александровичу очень хотелось, чтобы я огорошила почтенное собрание своим заявлением.

Вообще иногда Блок относился к окружающему с невыразимым юмором. В иные периоды веселость сопровождала нас всюду. Даже на средах Вячеслава Иванова и на воскресеньях Сологуба она находила себе пищу.

К Вячеславу Иванову Мунт, Волохову и меня возил всегда Мейерхольд. Блоки приезжали туда всякий раз, когда бывали и мы, — мы сговаривались. Надо сказать, что раньше Любовь Дмитриевна почти не появлялась вместе с Блоком: она не любила, чтобы на нее смотрели, как на «чучело» — жену поэта (ее собственное определение). Но с нами она подружилась и вошла в наш «хоровод».

У Иванова собиралось всегда очень много народу, Вячеслав Иванов пользовался большим авторитетом. На его средах поэты читали свои новые стихи, пьесы (Блок читал «Незнакомку» и «Снежную маску»), делали доклады. Тему вечера давал сам Вячеслав Иванович. Например, был вечер, посвященный Эросу, затем помню вечер, на котором М. А. Волошин читал доклад на тему о Вечной Женственности, Премудрости-Софии.

Тут произошел некий потешный инцидент. Сначала все шло благополучно, было серьезно и торжественно. Правда, мы явились, как всегда, в веселом настроении. С Блоком встретились еще у подъезда, и я вошла с ним вместе. Я заявила, что сяду от него подальше, чтобы не впасть в легкомысленное настроение. Он посмотрел на меня с победоносным видом, сделал едва заметное движение подбородком, как бы желая сказать: «Берегитесь!» Я села на край сундука у самой двери рядом с Мунт и принялась с интересом слушать. Мое внимание довольно долго было занято докладом, но в какое-то мгновение я вспомнила о Блоке. Мне неудержимо захотелось взглянуть в его сторону. Внутренний голос говорил, как Хоме Бруту[20]: «Не гляди!», а я все-таки посмотрела. Ужас! Блок сидел у стены с торжественным лицом, нелепо держа перед собой указательный палец. Глаза его смотрели на меня с безмятежным спокойствием. Я не выдержала

этого испытания и, чтобы скрыть душивший меня смех, спряталась за Мунт.

По докладу первый выступал Вячеслав Иванов, который говорил всегда совершенно замечательно. Все слушали его с большим вниманием, но после его речи произошло нечто неожиданное (инцидент, о котором я упоминала). Поднялся некий думский депутат из Одессы (неизвестно, кто привел этого человека, потом, кажется, так никто и не сознался). В его манере не было заметно ни тени смущения, наоборот, — вид у него был самый решительный. Депутат с необыкновенным темпераментом обрушился на докладчика и самого Вячеслава Иванова. Он наивно издевался над ними, как над сумасшедшими. Восхваления вечной женственности, рассуждения о Премудрости-Софии привели его в полнейшее негодование; женщина — существо второстепенное, в синагоге она не имеет права даже молиться вместе с мужчинами, и какая у нее может быть мудрость, когда она нелогична.

Все были озадачены этим выступлением. Мне показалось, что Вячеслав Иванович смущен: как любезному хозяину, ему неудобно было осадить оратора, который, в сущности, сорвал настроение вечера. Мы с Е. М. Мунт содрогались от сдерживаемого смеха. Было очевидно, что депутат с Премудростью-Софией отождествлял каких-то известных ему женщин.

Спасла положение жена Вячеслава Иванова — Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал. Она заявила: «Женщина нелогична потому, что гениальна». Все зааплодировали, расхохотались, и смелому оратору пришлось стушеваться. Во время его замечательной речи я не решалась взглянуть на Блока. Только когда явилась возможность открыто смеяться, я посмотрела в его сторону. У него были веселые глаза, он искал ими оратора. Рот по-мальчишески был полуоткрыт. По-видимому, депутат вызвал в нем интерес, смешанный с жалостью и некоторым отвращением к его чрезмерной смелости. Когда через несколько минут мы оказались рядом, Блок сказал по его адресу:

— Да, уж...

Это все, что заслужил от него злополучный провинциал.

«БАЛАГАНЧИК». ВЕЧЕР БУМАЖНЫХ ДАМ

Идеальной постановкой маленькой феерии «Балаганчик» я обязан Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду, его труппе, художнику Сапунову и М. А. Кузмину.

Блок

Благословенный час театров и концертов — это час их праздника. И все окружающее их в этот час — это убранство праздника.

П. Муратов. Образы Италии

В период до постановки «Балаганчика»[21] спектакли, концерты, литературные журфиксы, ночные беседы у Блоков продолжались. Мы приближались к настроениям «Снежной маски». Подошли к постановке «Балаганчика», который был написан для предполагаемого театра-журнала «Факелы» и Мейерхольду сразу стал желанным. Вполне понятно, что при первой возможности он предложил пьесу театру Коммиссаржевской. Как раз Вере Федоровне необходимо было отдохнуть, она играла почти ежедневно, и предложение было принято. Решили ставить «Балаганчик» Блока вместе с «Чудом святого Антония». Роли в первой пьесе распределились так: Коломбина — Русьева, Пьеро — Мейерхольд, Арлекин — Голубев. Первая пара влюбленных — Мунт и Таиров. Вторая пара влюбленных (вихрь плащей) — Веригина и Бецкий[22]. (Мейерхольд сказал, что Блок сам назначил мне роль «черной маски».) Третья пара влюбленных — Волохова и Горенский. Мистики — Гибшман, Лебединский, Жабровский, Захаров. Председатель — Грузинский, Паяц — Шаров, Автор — Феона.

Я уже говорила, что Мейерхольд, во многом противоположный Блоку, за какой-то чертой творчества приближался к нему. Это была грань, за которой режиссер оставлял быт, грубую театральность, все обычное сегодняшнего и вчерашнего дня и погружался в музыкальную сферу иронии, где, в период «Балаганчика», витал поэт, откуда он смотрел на мир. Фантазия Мейерхольда надела очки, приближающие его зрение к поэтическому зрению Блока, и он увидел, что написал поэт[23].

Воплотить такую отвлеченную, ажурную пьесу, привести на сцену, где все материально, казалось просто не-

возможным, однако режиссер нашел для нее сразу нужную сценическую форму. Без лишних разговоров, без особого разбора текста (если не считать пояснений Г. И. Чулкова, которые были только литературными [24]), режиссер приступил к репетициям. Особым приемом, свойственным только ему, главным образом чарами актерского дирижера, он сумел заставить звучать свой оркестр, как ему было нужно. Истинное лицо поэта Блока через режиссера было воспринято актерами. Мейерхольд сам совершенно замечательно, синтетично играл Пьеро, доводя роль до жуткой серьезности и подлинности.

Н. Н. Сапунов построил на сцене маленький театрик с традиционным, поднимающимся кверху занавесом. При поднятии его зрители видели в глубине сцены посередине окно. Параллельно рампе стоял стол, покрытый черным сукном, за столом сидели «мистики», в центре председатель. Они помещались за черными картонными сюртуками. Из манжет виднелись кисти рук, из воротничков торчали головы. Мистики говорили неодинаково — одни притушенным звуком, другие — почти звонко. Они прислушивались к неведомому, к жуткому, но желанному приближению. Когда В. Э. Мейерхольд репетировал с нами за столом, он читал за некоторых сам, причем всегда закрывая глаза. Он делал это невольно и прислушивался к чему-то невидимому, таким образом сосредоточивался. Эта сосредоточенность и творческий трепет режиссера помогали актерам в работе, совершенно новой и трудной для многих.

Художник Н. Н. Сапунов и М. А. Кузмин, написавший музыку, помогли в значительной мере очарованию «Балаганчика», который был исключительным, каким-то магическим спектаклем.

«Балаганчик» шел с десяти репетиций и зазвучал сразу. Невозможно передать то волнение, которое охватило нас, актеров, во время генеральной репетиции и особенно на первом представлении. Когда мы надели полумаски, когда зазвучала музыка, обаятельная, вводящая в «очарованный круг» [25], что-то случилось такое, что заставило каждого отрешиться от своей сущности. Маски сделали всё необычным и чудесным. Даже за кулисами перед выходом мы разговаривали по-иному. Я помню момент перед началом действия во время первого спектакля. Я стояла и ждала музыки своего выхода с особым трепетом. Мой кавалер Бецкий и его двойник тихо расхаживали

поодаль, кутаясь в плащи. Я почувствовала, что кто-то стоит у моего плеча, и обернулась. Это была белая фигура Пьеро. Мне вдруг стало тревожно и неприятно: «Что, если он скажет что-нибудь обычное, свое, пошутит и разрушит очарование», но я тотчас же устыдилась мелькнувшей мысли: глаза Пьеро смотрели через прорезь маски *по-иному.* Он молчал. Ведь мы находились в таинственном мире поэзии Блока. Мейерхольд, по-видимому, в этот момент ощущал это больше всех.

Послышался шепот: «Бакст пошел», — это означало, что подняли первый занавес, расписанный Бакстом. Представление началось. В зрительном зале чувствовалась напряженная тишина. Тянулись невидимые нити от нас в публику и оттуда к нам. Музыка волновала и, как усилитель, перебрасывала чары создания Блока в зрительный зал. Когда опустился занавес, все как-то не сразу вернулись к действительности. Через мгновение раздались бурные аплодисменты с одной стороны и протест с другой, последнего было, правда, гораздо меньше. Вызывали особенно Блока и Мейерхольда. На вызов с ними вышли все участвующие. Когда раздавались свистки, усиливались знаки одобрения. Сразу было ясно, что это был необыкновенный, из ряда вон выходящий спектакль.

Многие потом бывали на «Балаганчике» по нескольку раз, но была и такая публика, которая не понимала его совсем и никак не принимала[26].

Кажется, в антракт перед «Чудом святого Антония», ставившегося в один вечер с «Балаганчиком», а может быть, после окончания спектакля к нам в уборную пришел Блок и поднес цветы — Мунт розовые, Волоховой белые и мне красные. Он был в праздничном, приподнятом настроении, и мы очень радовались его успеху.

За два или три дня до представления нам пришла мысль отпраздновать постановку «Балаганчика». По совету Бориса Пронина решили устроить вечер масок. Заговорили об этом при Е. М. Мунт, с которой мы вместе жили. Волохова и В. В. Иванова приветствовали эту идею, и Вера Викторовна предложила свою квартиру, так что в дальнейшем к ней были перенесены и субботники, на которые приглашались наиболее близкие знакомые из художественного и артистического мира.

Решили одеться в платья из гофрированной цветной бумаги, закрепив ее на шелковых чехлах, головные уборы сделать из той же бумаги.

Вечер должен был называться «Вечером бумажных дам». Для мужчин заготовили черные полумаски. Мужчинам было разрешено не надевать маскарадного костюма, их только обязывали надевать маску, которую предлагали при входе каждому. Написали приглашение. Его текст приблизительно был следующий: «Бумажные Дамы на аэростате выдумки прилетели с луны. Не угодно ли Вам посетить их бал в доме на Торговой улице...» Следовал адрес В. В. Ивановой, т. е. номер дома и квартиры без ее фамилии. Она ни за что не хотела, чтобы в ней видели хозяйку.

Это приглашение давали читать в антракте во время первого представления «Балаганчика» всем, кого хотели пригласить.

Вечер состоялся, кажется, после первого представления «Балаганчика». На нем присутствовали следующие лица: Л. Д. и А. А. Блок, О. М. и В. Э. Мейерхольд, В. В. Иванова, Н. Н. Волохова, Е. М. Мунт, Веригина, М. А. Кузмин, Н. Н. Сапунов, К. А. Сюннерберг, С. М. Городецкий, Б. К. Пронин, Чулков, Ауслендер и др.

Почти все дамы были в бумажных костюмах одного фасона. На Н. Н. Волоховой было длинное со шлейфом светло-лиловое бумажное платье. Голову ее украшала диадема, которую Блок назвал в стихах «трехвенечной тиарой». Волохова в этот вечер была как-то призрачно красива, впрочем, теперь и все остальные мне кажутся чудесными призраками. Точно мерещились кому-то «дамы, прилетевшие с луны». Мунт с излучистым ртом, в желтом наряде, как диковинный цветок, скользящая неслышно по комнате; Вера Иванова, вся розовая, тонкая, с нервными и усталыми движениями, и другие. Я сама, одетая в красные лепестки мятой бумаги, показалась себе незнакомой в большом зеркале. У меня тогда мелькнула мысль: не взмахи ли большого веера Веры вызвали нас к жизни? Она сложит веер, и вдруг мы пропадем. Я сейчас же улыбнулась этой мысли...

М. А. Кузмин в «Картонном домике» описал вечер «бумажных дам», сделав его фоном для своего романа. Надо сказать, однако, что героев этого романа на нашем вечере не было:

«Женщины, встретившие громким смехом и рукоплесканиями нелепую и чувствительную песенку, были по уговору в разноцветных однофасонных костюмах из тонкой бумаги, перевязанных тоненькими же цветными

ленточками, в полумасках, незнакомые, новые и молодые в свете цветных фонариков. Танцевали, кружились, садились на пол, пели, пили красневшее в длинных стаканах вино, как-то нежно и бесшумно веселясь в полутемной комнате» [27].

Вот строки, совершенно точно рисующие с внешней стороны вечер. Одна из комнат действительно была убрана разноцветными фонариками, и маски нежно и бесшумно веселились в призрачном свете. Все были новые и незнакомые, но молодые они были на самом деле, а не только в свете фонариков.

Было условлено говорить со всеми на «ты».

В нашей среде литературно-артистической богемы была некоторая непринужденность, но все же все были достаточно сдержанны и учтивы, такое обращение вошло в привычку, поэтому так жутко было говорить «ты», несмотря на маску. В самом начале вечера, когда еще все немного стеснялись и как-то не решались обращаться друг к другу на «ты», а если делали это, то по обязанности, через силу, меня рассмешил короткий диалог Веры Викторовны с К. А. Сюннербергом. Она — по виду настоящая дама общества, он — господин в визитке, чрезвычайно сдержанный и учтивый. Они разговаривали на «ты» без улыбки, о чем-то не относящемся к вечеру, серьезном, и получалось такое впечатление, что оба сошли с ума.

Всего легче «ты» говорилось Блоку. В полумраке среди других масок, в хороводе бумажных дам, Блок казался нереальным, как некий символ.

Однако и здесь за плечом строгого поэта был его веселый двойник, реальный для меня — красной маски, теперь, как никогда в другое время. Казалось бы, что Блоку не до шуток: как раз на вечере «бумажных дам» лиловая маска Н. Н. Волохова окончательно покорила его. Он сказал об этом сам:

Из очей ее крылатых
Светит мгла.
Трехвенечная тиара
Вкруг чела.
Золотистый уголь в сердце
Мне возжгла.

От загоревшегося чувства поэт стал трепетным и серьезным, однако, повторяю, я совершенно ясно почувствовала, что веселый двойник был тут же. Помню момент в столовой: живописная группа наряженных жен-

щин в разноцветных костюмах и мужчин в черном. Поэты читали стихи, сидя за столом. Строгая на вид лиловая маска, рядом с ней поэт Блок. В глазах Волоховой блестел *иной* огонь: тогда-то «на конце ботинки узкой» дремала «тихая змея»[28]. Н. Н., по-видимому, прониклась ролью таинственной бумажной дамы. Когда я увидела эту торжественную группу, мне вдруг захотелось нарушить ее вдохновенную серьезность. Из всех присутствующих я выбрала Блока и обратилась со своим весельем именно к нему, хотя повторяю — казалось бы, момент был совершенно не подходящий. Я сделала это инстинктивно, почувствовала за пафосом его влюбленности беззаботную веселость юности.

Действительно, Александр Александрович сейчас же отозвался на мой юмор. Выражение лица у него стало задорным, он развеселился и с этого момента в продолжение всего вечера двоился: поэт трепетал и склонялся перед лиловой дамой, а его двойник говорил вдохновенный вздор с красной маской.

В болтовне и шалостях, самых забавных, также моим партнером бывал Сергей Городецкий, у которого оказывался совершенно неистощимый запас дурачеств. Мы, его «другини», как он сам окрестил Иванову, Волохову, Мунт, Л. Д. Блок и меня, очень радовались, когда его высокая фигура появлялась среди нас.

На том же вечере в первый раз мы встретились с молодым писателем Сергеем Ауслендером.

Через некоторое время из столовой мы перешли опять в комнату, освещенную фонариками. Там на диване сидела Любовь Дмитриевна и рядом с ней, кажется, Г. И. Чулков. Ее фигура в легком розовом платье из лепестков тонкой бумаги не казалась крупной в углу дивана. Легким движением красивой руки она гладила край оборки. Глаза были опущены. Мне показалось странным выражение ее лица, оно не было детским или лукаво мудрым, как обычно, а какое-то непонятное для меня. Когда вошли И. Н. Волохова и Блок, она выпрямилась и замерла на некоторое мгновение. Волохова опустилась в кресло недалеко от дивана. Любовь Дмитриевна встала, сняла со своей шеи бусы и надела их на лиловую маску. Ни в той, ни в другой не было женского отношения друг к другу. Как раз Блок очень разграничивал женское и женственное, причем первое ненавидел.

Так после постановки «Балаганчика», с вечера бумажных дам, мы вступили в волшебный круг игры, в котором закружилась наша юность.

«СНЕЖНАЯ ДЕВА». «В УГЛУ ДИВАНА»

Но сердце Снежной Девы немо
И никогда не примет меч,
Чтобы ремень стального шлема
Рукою страстною рассечь.

Блок

Центром этого круга была блоковская Снежная Дева, она жила не только в Н. Н. Волоховой, но в такой же мере и во всех нас. Не один Блок был «серебром ее веселий оглушен, на воздушной карусели закружен, легкой брагой снежных хмелей напоен» [29], но также Городецкий, Мейерхольд, Ауслендер и другие. Той же Снежной Девой была Вера Иванова с сияющими голубыми глазами. Именно у нее был «синий, синий взор», и у ее шлейфа, тоже «забрызганного звездами», склонялся поэт Городецкий. Правда, он не был ею смирен — он оставался таким же буйным и радостным в ее присутствии, однако снежный хмель бродил и в его голове.

Художник Миллер-Норден написал несколько портретов В. В. Ивановой, когда она была шестнадцатилетней девушкой. «Portrait blanc» *, находившийся прежде в петербургской Академии художеств, очень точно передает ее — девушка в белом платье со странным взором из-под длинных ресниц.

Сергей Ауслендер — Валентин мисс Белинды [30] — еще менее реальными цепями был прикован к шлейфу своей «дамы» — то был только «луч, протянутый от сердца» [31].

Мейерхольд, также завороженный и окруженный масками, бывал созвучен блоковскому хороводу и, как все мы, жил двойной жизнью: одной — реальной, другой — в серебре блоковских метелей. Тут ничего не было настоящего — ни надрыва, ни тоски, ни ревности, ни страха, лишь беззаботное кружение масок на белом снегу под темным звездным небом.

Звездный купол сиял над нами даже тогда, когда мы сидели в квартире Блоков или перед камином у В. В. Ивановой. У нее мы стали собираться по субботам тесной

* Белый портрет (*фр.*).

компанией, причем у нас был уговор не приходить в будничных платьях, а непременно в лучших вечерних нарядах, чтобы чувствовать себя празднично. В эти вечера темы наших разговоров менялись много раз, менялось и настроение: то мы тихо сидели все вместе на одном из длинных диванов или группами, то затевали какие-нибудь шалости.

В один из вечеров особенно дурачились Мейерхольд и Городецкий. Чрезвычайно ясно остались в памяти некоторые моменты. Мы с Любовью Дмитриевной и Ауслендером сидели на розовом диване. Перед камином на полу Борис Пронин приготовлял глинтвейн. На другом таком же диване по левую сторону камина сидели Н. Н. Волохова, Блок и еще кто-то. Вера Иванова, Мейерхольд и Городецкий слонялись по комнате, придумывая шалости, наконец, Мейерхольд предложил Городецкому сделать слона, на что тот немедленно согласился. Всеволод Эмильевич обратился ко мне: «Хотите быть индийской принцессой?» Я ответила утвердительно. Александр Александрович принял живейшее участие в этой затее и вместе с моим московским приятелем Н. П. Б<ычковым> водрузил меня на фантастического слона Мейерхольда — Городецкого, которые торжественно совершили круг по комнате с индийской принцессой.

Через несколько лет вместе с Н. П. Б<ычковым>, который стал моим мужем, я очутилась в одном обществе. Кто-то из присутствующих сказал мне с усмешкой, что во время существования театра Коммиссаржевской. в Петербурге был кружок, в который входили некоторые актрисы и поэты. Они устраивали оргии — ходили по спинам... Сначала я даже не поняла, о чем, собственно, велась речь, и сказала только, что не понимаю такого рода удовольствия, особенно для тех, по чьим спинам ходят. Но потом мне вдруг вспомнился «слон», и сразу стало все ясно. Я спокойно заявила, что, впрочем, знаю это общество, потому что была его членом.

Ввиду того что на наши собрания мало кто допускался, находились завистники, распускавшие о нас нелепые слухи, но все это давно замерло, и осталось лишь свидетельство «Снежной маски» Блока, которая родилась там, остались чудесные стихи, они не могли расцвести в атмосфере пошлости. Тем более здесь не могло быть ничего подобного, так как Блок не выносил цинизма и «соборного греха».

«СНЕЖНАЯ МАСКА» Н. Н. ВОЛОХОВА

Мы ли пляшущие тени,
Или мы бросаем тень?
Снов, обманов и видений
Догоревший полон день.

...Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита,
Никогда не откроешь ты плечи,
Но над нами — хмельная мечта.

А. Блок

Когда я оглядываюсь назад, чтобы мысленно пробежать вновь прочтенные страницы жизни, мне кажется, что там, перед камином, «в углу дивана», с нашими выдумками мы были только пляшущими тенями. Это были сны, очаровательные обманы и виденья. «И твои мне светят очи наяву или во сне. Даже в полдень, даже в дне разметались космы ночи...» Вот слова, свидетельствующие о том, что Блок, а вместе с ним все мы жили в кружении карнавала ночных таинственных фантазий и в повседневной действительности непрерывно в течение целого периода.

Те два театральных сезона были незабываемым, чудесным сном для всех, причастных снежным, ослепительным видениям Блока.

Вспоминая о наших вечерах, я вновь и вновь вижу всех нас на розовом диване и шкуру белого медведя перед камином, «а на завесе оконной золотится луч, протянутый от сердца, — тонкий, цепкий шнур...».

Этот луч-шнур опутывает нас, но он такой неощутимый и не тягостный, он золотится только на завесе оконной, протянут от сердца пляшущих теней... масок.

В длинной сказке,
Тайно кроясь,
Бьет условный час,
В темной маске
Прорезь
Ярких глаз.
Нет печальней покрывала,
Тоньше стана нет...
— Вы любезней, чем я знала,
Господин поэт.
— Вы не знаете по-русски,
Госпожа моя...

Слова последних шести строк были сказаны Блоком и Волоховой в действительности. И еще на вечере бумажных дам Н. Н. подвела поэту брови, а он написал об этом: «Подвела мне брови красным, посмотрела и сказала: — Я не знала: тоже можешь быть прекрасным, темный рыцарь, ты». Так почти во всех стихах «Снежной маски» заключены настоящие разговоры и факты тех дней. Маски — пляшущие тени — в бездумном радостном кружении не страшились «снов, обманов и видений», но сам поэт, вызвавший эти видения, испытывал по временам тревогу:

Маска, дай мне чутко слушать
Сердце темное твое,
Возврати мне, маска, душу.
Горе светлое мое!

Среди веселья он ощущал страх перед своей Снежной Девой:

И вновь, сверкнув из чаши винной,
Ты поселила в сердце страх
Своей улыбкою невинной
В тяжелозмейных волосах.

Смятение чувствуется в стихах «Снежной маски». Его отношение к Волоховой различно — оно одинаково только полнотой влюбленности. То он называет ее насмешницей, то обвиняет в том, что она «завела, сковала взорами <...> и холодными призорами белой смерти предала», или говорит о «маках злых очей», а то: «Тихо смотрит в меня темноокая». По существу она действительно, как это знал наверное Блок, — простая, серьезная и строгая, но не надо забывать, что тогда она находилась в своем круге игры и носила маску Снежной Девы блоковской поэзии. «Девичий стан, шелками схваченный», мерещившийся поэту сквозь хрусталь стакана с красным вином, вдруг реально появился среди театральных декораций. По-настоящему вспыхнули «траурные зори — ее крылатые глаза». Поэт сказал уже воплотившейся мечте: «И ты смеешься дивным смехом, змеишься в чаше золотой, и над твоим собольим мехом гуляет ветер голубой».

Мария Андреевна Бекетова в своих воспоминаниях о Блоке говорит про Волохову: «Кто видел ее тогда, в пору его увлечения, тот знает, какое это было дивное обаяние. Высокий, тонкий стан, бледное лицо, тонкие черты, черные волосы и глаза, именно крылатые, чер-

ные, широко открытые «маки злых очей». И еще поразительна была улыбка, сверкающая белизной зубов, какая-то торжествующая, победоносная улыбка... Но странно, все это сияние длилось до тех пор, пока продолжалось увлечение поэта. Он отошел, и она сразу потухла».

То же самое мне говорила мать Александра Александровича. Однако это неверно, верно одно, что Снежная Дева потухла, ушла, но сама Волохова осталась той же яркой индивидуальностью, как и до увлечения ею Блока. Ее сверкающую улыбку и широко открытые черные глаза видели фойе и кулисы Художественного театра, где она училась. Ее красота, индивидуальность там уже были оценены по достоинству. Прекрасное лицо. Обаяние, чарующий голос, прекрасный русский говор, интересный ум — все, вместе взятое, делало ее бесконечно обаятельной. Волохова сама была индивидуальностью настолько сильной, что она могла спорить с Блоком. Она часто противоречила ему, дальше я остановлюсь на этом. Она сама была влюблена в Петербург и его мглу и огни, и указывала на них поэту. Оба много гуляли и катались по вечерам, и отсюда посвящение к «Снежной маске»: «Тебе, высокая женщина в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города».

Этот период ярко отразился на творчестве поэта.

Чувство Волоховой было в высшей степени интеллектуальным, собственно — романтика встречи заменяла чувство. Тут настоящей женской любви не было никогда. Она только что рассталась со своей большой живой любовью, сердце ее истекало кровью. Поэтому, когда с приближением Блока в ней проснулись Снежная Дева и захватывающий интерес к окружающему, я очень обрадовалась.

Но здесь была двойственность: с одной стороны, глубокое, большое чувство к отсутствующему, с другой — двойственное, скорее интеллектуально-экстатическое отношение к тому, что происходило в окружении Блока. В эту эпоху она была особенно интересна, потому Блок и называл ее падучей звездой и кометой. Наталия Николаевна бесконечно ценила Блока как поэта и личность, любила в нем мудрого друга и исключительно обаятельного человека, но при всем этом не могла любить его обычной женской любовью. Может быть, потому еще, что он, как ей казалось, любил не ее живую, а в ней свою мечту.

По временам Н. Н. Волоховой хотелось избавиться от

своего мучительного чувства к другому, и она жалела что не может влюбиться в Блока. «Зачем вы не такой кого бы я могла полюбить!» — вырвалось у нее однажды.

«Снежная маска» вылилась из первого смятения от неожиданного отношения женщины. Блок говорил: «Так со мной никто не обращался». Все же он облекся в форму красивую — не отвергнутого любовника, а рыцаря желанного и в высшей степени нужного. По его словам от Волоховой он получил второе крещение: «И гордость нового крещения мне сердце обратила в лед». Пламя живой любви отвергнуто, начинается любовь снежная, снежное вино: «И нет моей завидней доли: в снегах забвенья догореть и на прибрежном снежном поле под звонкой вьюгой умереть».

Однако по временам в стихах опять слышится мучительная мольба: «Не будь и ты со мною строгой и маской не дразни меня, и в темной памяти не трогай иного, страшного огня». Опять упоминается страсть: «И твоя ли неизбежность совлекла меня с пути, и моя ли страсть и нежность хочет вьюгой изойти».

Неразрешающаяся романтика мучила... Это тревожило мать. Блок принял второе крещение и как бы преобразился, но теперь он и Н. Н. Волохову обрек на снежность, на вневременность, на отчуждение от всего жизненного. Он рвал всякую связь ее с людьми и землею, говорил, что она «явилась», а не просто родилась, как все, явилась, как комета, как падучая звезда. «Вы звезда, ваше имя Мария», — говорил он. Отсюда происходил их спор. Она с болью настаивала на своем праве существовать живой и жить жизнью живой женщины, не облеченной миссией оторванности от мира. Может быть, особенно горячо и с особенной мукой она настаивала на этом потому, что действительно в ней был какой-то разлад с миром, она в душе чувствовала себя глубоко одинокой и часто во многом сама не принимала мира таковым, как он есть («Мир невелик и не богат, и не глядеть бы взором черным...»). Мне понятно волнение и протест Волоховой. Соприкоснуться так близко с тайной поэзии Блока, заглянуть в ее снежную сверкающую бездну — страшно: она, разумеется, сейчас же ощутила, что стоит рядом с поэтом, которому «вселенная представлялась страшной и удивительной, действительной, как смерть...».

Блок был неумолим. Он требовал, чтобы Волохова приняла и уважала свою миссию, как он — свою миссию

поэта. Но Наталия Николаевна не захотела отказаться от «горестной земли», — и случилось так, что он в конце концов отошел. После он написал о своей Снежной Деве стихотворение, полное злобы, уничтожающее ее и совершенно несправедливое[32]. Я не знала об этом, так же как и она, до последнего времени. Она прочла с ужасом и возмущением, с горечью — за что? Думаю, за то, что он поверил до конца в звезду и явленную комету, и вдруг оказалось, что ее не было, тогда он дошел до крайности, осыпая ее незаслуженными упреками. Любовь Дмитриевна в свое время, вероятно, также порой тяготилась своей обреченностью Прекрасной Дамы, потому что она вначале любила Александра Александровича обычной земной любовью. Она осталась с ним до конца благодаря тому, что была очень сильная, а он нуждался в ней больше, чем в ком-либо. «Люба мудрая, Люба знает». А она, разумеется, верила, что он знает больше всех, что его речи являются известного рода «откровением». Отсюда и смирение Любови Дмитриевны. Но об этом дальше, а теперь снова возвращаюсь к Волоховой.

Она гуляла и каталась с Блоком по улицам Петербурга, влюбленная в его мглу и огни[33]. Между ними шел неустанный спор, от которого он мучился, она иногда уставала. Однажды я сказала Н. Н. полушутя, что впоследствии почитатели поэта будут порицать ее за холодность, как негодую, например, я на Амалию, что из-за нее страдал Гейне. Н. Н. рассмеялась над моими словами и сказала мне, что иногда она не верит в подлинные страдания Блока: может быть, это только литература.

А над Любовью Дмитриевной взвился «костер высокий». Однажды она приехала к Волоховой и прямо спросила, может ли, хочет ли Н. Н. принять Блока на всю жизнь, принять поэта с его высокой миссией, как это сделала она, его Прекрасная Дама. Наталья Николаевна говорила мне, что Любовь Дмитриевна была в эту минуту проста и трагична, строга и покорна судьбе. Ее мудрые глаза видели, кто был ее мужем, поэтому для нее так непонятно было отношение другой женщины, ценившей его недостаточно. Волохова ответила: «Нет». Так же просто и откровенно она сказала, что ей мешает любить его любовью настоящей еще живое чувство к другому, но отказаться сейчас от Блока совсем она не может... Слишком было упоительно и радостно духовное общение с поэтом.

ВОЗДУШНАЯ КАРУСЕЛЬ

Серебром моих веселий
Оглушу,
На воздушной карусели
Закружу...

Блок

С Таврической от Вячеслава Иванова и с Васильевского острова от Сологуба мы шли обычно бо́льшую часть дороги пешком. Блок, Ауслендер, Мейерхольд и Городецкий провожали четырех дам — Волохову, Иванову, Мунт и меня (мы жили в районе Офицерской). Мне вспоминается, как далекая картина, видение — одно из таких возвращений. Было тихо и снежно. Мы шли по призрачному городу, через каналы, по фантастическим мостам Северной Венеции и, верно, сами казались призраками, походили на венецианских баутт[34] прошлого. Наша жизнь того периода также проходила в некоем нереальном плане — в игре. После «Балаганчика», на вечере бумажных дам, маски сделали нашу встречу чудесной, и мы не вышли из магического круга два зимних сезона, пока не расстались. Незабываемые пляски среди метелей под «песни вьюги легковейной», в «среброснежных чертогах». Высокая фигура Сергея Городецкого, крутящаяся в снежной мгле, силуэт Блока, этот врезанный в снежную мглу профиль поэта, снежный иней на меховой шапке над строгой бровью, перебеги в снегу, звуки «струнных женских голосов» (слова Блока), звездные очи Волоховой, голубые сияющие — Веры Ивановой.

Так часто блуждали мы по улицам снежного города, новые северные баутты, а северный поэт из этих снежных кружений тайно сплетал вязь... «То стихов его пленная вязь». Всюду мы были вместе в своем тесном, близком кругу, и, где бы ни появлялись, наше оживление передавалось другим: на литературных журфиксах, на концертах, в театре. Многие врывались на миг в этот блоковский круг, но быстро ускользали, и в нем оставались только самые близкие, спаянные одинаковыми настроениями.

Все театральные события, казавшиеся важными в свое время, потускнели в моей памяти. Игра в театре, которую я так любила, кажется мне теперь далеко не такой волнующей и яркой, как та игра масок в блоковском кругу. Правда, что уже в ту пору я не смотрела на наши встречи, собрания и прогулки, как на простые

развлечения. Несомненно, и другие чувствовали значительность и творческую ценность всего этого, однако мы не догадывались, что чары поэзии Блока почти лишили всех нас своей реальной сущности, превратив в северных б а у т т, — «Я какие хочешь сказки расскажу и какие хочешь маски приведу».

Вот еще возвращение с Васильевского острова от Сологуба. Мы шли вчетвером: Волохова, Блок, я и приват-доцент Аничков, который в этот вечер, очевидно, был затронут бауттами. Блок был в ударе: говорил свои очаровательные, смешные слова без конца. Он шел рядом с Н. Н. Волоховой и перебрасывался фразами со мной, шедшей немного впереди. Я отвечала вполуоборот и, не видя его лица, только слыша короткие, задорные смешки. Перешли Неву и где-то расстались с Аничковым. После его ухода стали говорить о «Снежной маске» — о рыцаре с темными цепями на стальных руках. «Я вам покажу его, он на Зимнем дворце. Я смотрел на него, когда ходил в у н и в е р с и т е т», — сказал Александр Александрович[35].

После этого вечера я была много занята. В театре начали ставить «Комедию любви». Свангильд играла Вера Федоровна Коммиссаржевская, с ней в очередь должны были играть Е. М. Мунт и я. Екатерина Михайловна заболела и не играла этой роли. Когда я выступала в роли Свангильд в первый раз, в театр пришли наши друзья, поэты и художники. После третьего действия, уходя со сцены, за кулисами я встретила Александра Александровича и Н. Н. Волохову. Они ждали меня — она с букетом белых роз, а Блок — с книгой стихов. Он поднес мне «Нечаянную Радость» со словами:

— Дарю вам отчаянную гадость.

На книге была надпись: «Белой лебеди Свангильд — Валентине Петровне Веригиной. Александр Блок».

На другой день наступило 10 февраля — мои именины. Мы с Екатериной Михайловной переехали к тому времени на Торговую. Мунт уже поправилась от воспаления легких, но еще не выходила. Городецкий, Иванова, Ауслендер, Пронин, Сапунов и другие явились с поздравлениями. Александр Александрович и Наталия Николаевна приехали поздно. Они были в нашем театре на первом представлении «Свадьбы Зобеиды». В пьесе ни я, ни Волохова не участвовали. По дороге Блок и Наташа сочиняли стихи, подражая «Менаде» Вячеслава Иванова. Явились они оба веселые, возбужденные, принесли мо-

розный воздух, смех, звук металлических голосов. Сейчас же стали декламировать только что сочиненное стихотворение:

Мы пойдем на «Зобеиду»,
Верно дрянь, верно дрянь.
Но уйдем мы без обиды,
Словно лань, словно лань.

Мы поедем в Сестрорецкий
Вчетвером, вчетвером,
Если будет Городецкий —
Вшестером, вшестером.

Тут упоминается Сестрорецкий вокзал, избранный нами для прогулок по милости Блока: он любил туда ездить по вечерам весной совершенно один, в одиночестве пить терпкое красное вино. Там ему чудилась «Незнакомка»:[36]

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен,
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен...

Однажды Блок и нам предложил туда поехать. Случилось это в первый раз в конце января. Из Москвы приехал наш друг Н. П. Бычков и пришел к нам на спектакль. Кажется, шел «Балаганчик», на котором Александр Александрович всегда бывал. Оба встретились в антракте в нашей уборной. Тут и было решено, что после спектакля Блок, Волохова, я и Бычков поедем в гости к «Незнакомке». Мы взяли финских лошадок, запряженных в крошечные санки. Нам захотелось ехать без кучеров, чтобы мужчины правили сами. Мы отправились туда, где блуждала блоковская Незнакомка, в туман, мимо тихой замерзшей реки, мимо миражных мачт.

Эта зимняя поездка с Волоховой отразилась, как я уже говорила выше, в стихах Блока:

Но для меня неразделимы
С тобою ночь и мгла реки,
И застывающие дымы,
И рифм веселых огоньки...

Или:

И, снежные брызги влача за собой,
Мы летим в миллион бездн,
Ты смотришь вое той же пленной душой
В купол все тот же — звездный...
И смотришь в печали,
И снег синей...
Темные дали

И блистательный бег саней...
. . . .
Вышина. Глубина. Снеговая тишь.
И ты молчишь.
И в душе твоей безнадежной
Та же легкая, пленная грусть...

И теперь, когда читаю эти строки, встают в моей памяти ночная поездка на Сестрорецкий вокзал в «снеговой тиши». Впереди в маленьких санках две стройные фигуры: поэта и Н. Н. Волоховой — с пленной грустью в безнадежной душе, наш приезд на скромно освещенный вокзал. Купол звездный отходит, печаль покидает Волохову — ею овладевает Снежная Дева.

Здесь мы все баутты. Мы смеемся, пьем рислинг, делаемся легкими. Тут не поэт перед нами, а его двойник, предводитель снежных масок. Мы говорим опять вдохновенный вздор, насыщенный чем-то неизъяснимо чарующим. Это обворожительный юмор Блока, юмор, таящийся за словами, в полуулыбке, в металле голоса. Воплотившаяся в Волоховой Незнакомка сидит тут рядом, только у нее очи не «синие бездонные», у нее «черные глаза, неизбежные глаза». Запрыгали огоньки веселья, и опять «позвякивали миги».

И звенела влага в сердце...
И дразнил зеленый зайчик
В догоревшем хрустале.

Нам всем так понравилась эта поездка, что скоро мы ее повторили опять по инициативе Блока. Н. П. <Бычков> уехал уже в Москву, и с нами ездил Ауслендер, один из постоянных участников наших собраний.

«ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА»

Своеобразность выражения — это
начало и конец всякого искусства.

Гете

Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века, и жизнию иной,
И о земле позабывал.

Лермонтов

Последней постановкой сезона была пьеса Леонида Андреева «Жизнь Человека», в которой Мейерхольд одержал решительную победу. Между прочим, постанов-

ка произвела потрясающее впечатление на Блока, он приходил почти на каждый спектакль и большей частью смотрел из-за кулис. Ему особенно нравилось находиться у самой декорации. Кулис обычных не было: темные провалы, которые казались бесконечными, колонны, мебель в пятнах электрического освещения. Освещенный диван, стол, стулья или кровать, а кругом безграничный мрак. Блок говорил, что тут он ощущает себя «в сферах». Эту постановку Мейерхольда Александр Александрович очень хвалил. Об авторе он говорил Наталье Николаевне: «Андреев глупее, чем его мысли, он сам не понимает, как он бывает громаден временами».

Режиссер исходил из ремарки автора: «Все как во сне», и впечатление сна действительно получалось. Возникали видения, происходили события и исчезали, как бы расплывались во мраке, потому что всех действующих лиц поглощал мрак, когда они уходили со сцены. В свете лампы или люстры появлялись человеческие фигуры, волновались, действовали и вдруг куда-то скрывались, и чем реальнее, чем страстнее были их речи, чем ярче и конкретнее образы, тем страшнее казалась подстерегающая их тьма.

После первого представления «Жизни Человека» мы собрались, как всегда, у Веры Викторовны. За некоторым исключением были те же лица, которые присутствовали на вечере бумажных дам. Мы собрались в честь Мейерхольда и нашей подруги Мунт, прекрасно игравшей жену Человека. Мейерхольд, разумеется, в конце концов оказался центром, вокруг которого все группировались в этот вечер. Его хвалили без конца, вспоминая различные моменты постановки. Хвалили и Андреева. Блок был заметно взволнован, но больше молчал. Я видела, что он потрясен пьесой, и мне стало неприятно. Блок и Андреев в моем представлении были такими разными, такими далекими друг другу.

Мне лично Андреев был всегда глубоко чужд, и я тут же решила это высказать, может быть, я несколько преувеличенно раскритиковала пьесу за истерический мрак. Блок сделал какое-то довольно резкое замечание по поводу моей критики. Помню, что в этот момент мы все сидели всё на том же воспетом в «Снежной маске» диване: Блок на одном конце, прямо, как стрела, рядом с Волоховой, я на другом, далеко от него. По правде сказать, я не обратила особенного внимания на его резкость,

потому что заранее знала, что он меня выругает за Андреева. Я чувствовала себя очень утомленной: последние недели мы много репетировали, играли каждый вечер. Несмотря на удачный спектакль, на успех Мейерхольда, который нас очень радовал, к концу вечера я как-то выдохлась. На другой день совершенно неожиданно получила от Блока письмо:[37]

Многоуважаемая и милая Валентина Петровна.

Пожалуйста, простите меня за то, что я говорил. Я сам знаю, что нельзя говорить так при чужих. Хочу сказать Вам несколько слов в объяснение, а не в оправдание себя, так как чувствую себя виноватым. Я знаю, что Вы не чувствуете теперь Леонида Андреева, может быть, от усталости, может быть, оттого, что не знаете того последнего отчаяния, которое сверлит его душу. Каждая его фраза — безобразный визг, как от пилы, когда он слабый человек, и звериный рев, когда он творец и художник. Меня эти визги и вопли проникают всего, от них я застываю и переселяюсь в них, так что перестаю чувствовать живую душу, становлюсь жестоким и ненавидящим всех, кто *не с нами* (потому что в эти мгновения — я с Л. Андреевым — одно, и оба мы отчаявшиеся и отчаянные). Последнее отчаяние мне слишком близко, и оно рождает последнюю искренность, притом, может быть, вывороченную наизнанку. Так вот, простите. Мне хочется, чтобы Вы знали, как я отношусь к Вам. Может быть, я в Вас бичую собственные пороки. Мне хочется во всем как можно больше правды. Пожалуйста, выругайте меня и простите.

Целую Вашу руку.

Искренно любящий Вас *Александр Блок.*

Письмо это меня удивило, тронуло, обрадовало, продолжает радовать до сих пор. До него я не знала размера дружеских чувств Александра Александровича ко мне.

«Жизнь Человека» мы сыграли при полных сборах десять раз, и сезон кончился. Постом часть труппы уехала с В. Ф. Коммиссаржевской гастролировать с ее старым репертуаром. Уехали Волохова и Мунт. Вера Иванова отправилась играть в Тифлис. Я собиралась ехать отдохнуть к своим, а до того еще меня пригласили к себе в Куоккала Мейерхольды.

Там было тихо, зима кончилась, но было еще очень снежно. Мы ходили на лыжах в молчаливый хвойный лес. Мейерхольд, уставший от бурного сезона — борьбы, успехов и провалов — был тоже молчалив. Однажды я отправилась в Петербург. Там меня встретили с обычным доброжелательством, и я остановилась у Блоков, а в Куоккала только приезжала изредка.

Блок любил ходить один по городу: «Я один, я в толпе, я как все...». Скорбно звучат стихи этой весны. Далекий гул, предвещавший раннюю кончину, слышит уже поэт. Но, должно быть, для того, чтобы скрасить поэту «минуты, мелькнувшие наяву» [38], ему была дана веселость, которая неожиданно била освежающим ключом сейчас же после мучительных дум и предчувствий. Я уже говорила, что двойник Александра Блока не хотел знать ни об ответственности, ни о страдании, ни о неизбежном. Ему-то и было «сладко тихое незнанье о дальних ропотах земли» [39]. Он шутил без горечи, без иронии. Александр Александрович был остроумен в эту весну, как никогда. Мы много времени проводили вместе с ним и Любой, и нам было неизменно весело втроем. Откуда-то появился маленький мячик. Однажды мы забавлялись им целый день — цепь веселых слов соединяла полеты мячика. Помню, я бросала его об стену. Блок стоял, опершись на кресло: он держал папиросу в руке, часто подносил ее ко рту, выпускал дым с чуть-чуть приподнятой головой и бросал вслед клубам дыма слова неожиданно смешные. Мои ответы следовали вслед за вылетом мяча. Таким образом, игра наших мыслей и выражавших их слов была подчинена некоему ритму. Совершенно не помню, о чем мы говорили, помню только ощущение какого-то восторга, пробегающий по спине мороз, как во время игры на сцене, когда бываешь в. ударе. Помню даже, что Александр Александрович сказал мне: «Вы сегодня в ударе, Валентина Петровна». На самом деле он же сам был причиной моего юмористического вдохновения. Помню также один вечер — окно в закатном свете, мы втроем сидели вплотную к окну в больших креслах и рассказывали разные разности. Между прочим, я рассказывала легенду о черном рыцаре, слышанную мною в детстве от отца. Блоку она очень понравилась, понравилось также, как я рассказываю. Когда он слушал, у него было детское выражение лица, широко открытые глаза смотрели внимательно.

Я кончила, он сказал: «Вы хорошо рассказываете, Валентина Петровна. Вам надо писать». Конечно, такая оценка была результатом его искренности и воображения, которое переоценило мой рассказ. Когда стемнело и зажгли лампу, настроение изменилось. Мы опять смеялись. Любовь Дмитриевна начала первая, вспомнила какую-то яму с лягушками, которых она боялась. Очевидно, они оба вспоминали что-то детское, смешное, потому что, когда она сказала: «Саша, помнишь?» — он тоже принялся хохотать и сделался похожим на портрет ранней юности, про который она говорила: «Я люблю эту фотографию — тогда Саша был только моим».

Однажды, возвращаясь из Куоккала от Мейерхольдов к Блокам, я встретила у подъезда К. А. Сомова, который тоже шел к ним. Он приветствовал меня восклицанием: «А-а, eine artistische Erscheinung!» *

Сомов начал писать портрет Александра Александровича. Я присутствовала почти при всех сеансах. Блок ухитрялся, позируя и сохраняя неподвижность губ, разговаривать со мной с его обычным остроумием. Сомову очень нравились наши диалоги, он говорил мне: «Непременно приходите всегда на сеансы развлекать Александра Александровича». Одновременно и Анна Ивановна Менделеева — мать Любови Дмитриевны — писала портрет Александра Александровича. С ней я тоже чувствовала себя всегда легко и весело, она была живая, умная и безыскусственная.

Портрет не удался. Я не могу понять, откуда художник взял эту маску с истерической складкой под глазами, с красными, как у вампира, губами. До сих пор так ясно стоит передо мной молодое лицо Блока, со строгим рисунком рта, с кажущимися неподвижными губами — лицо, пронизанное смехом, так хорошо знакомое мне лицо двойника поэта. В данном случае сыграла роль индивидуальность Сомова, его манера подчеркивать, отыскивать отрицательное в лицах. Здесь это случилось, очевидно, даже помимо его воли, потому что он сам был недоволен своим произведением. Портрет не понравился никому из близких Блока. Он послал фотографию, снятую с злополучного портрета, матери с надписью: «Я сам, позорный и продажный, с кругами синими у глаз...»[40]

* А-а, артистическое создание! (*нем.*)

В середине поста я начала готовиться к отъезду в Москву. Любовь Дмитриевна помогала мне делать покупки. Александр Александрович дурачился, преувеличенно восхищался всякой ерундой. Покупая шляпу, мы старались выбирать цвет и фасон модный, но в то же время напоминающий старинные шляпы с цветными вуалями. Блок взял мою новую шляпу, надел мне на голову задом наперед и сказал, что так я точно сошла с картины Брюллова. В новый портплед запаковал меня самое и вместе с Любовью Дмитриевной торжественно пронес по комнате, после чего заявил с облегченным вздохом: «Да, это вполне пригодная вещь». Наконец, простившись с Мейерхольдами и Блоками, я уехала в Москву. Так окончился один из самых ярких сезонов моей театральной жизни. <...>

ВТОРОЙ СЕЗОН В ТЕАТРЕ КОММИССАРЖЕВСКОЙ. ВОЗОБНОВЛЕННЫЕ ВСТРЕЧИ

Сезон 1907—1908 года начался гастролями в Москве. Шли пьесы, в которых играла Коммиссаржевская. Но «Балаганчик» тоже был показан, он шел в один вечер с «Сестрой Беатрисой». Публика реагировала очень бурно. Были шумные одобрения, были и протесты. В общем спектакли проходили с подъемом [41].

Вернулись в Петербург бодрые, с громадным запасом интереса к искусству. Мы с Волоховой радостно вступили в круг друзей. Опять возникла та же творчески насыщенная атмосфера, то же веселье.

Блоки переехали на Галерную и очутились гораздо ближе к нам с Н. Н. Волоховой. Мы обе жили на Офицерской и теперь еще чаще стали бывать у них.

В одно из посещений Галерной мы нашли Блока взволнованным и рассерженным. Он нам сейчас же показал номер «Русского слова» с ругательной статьей Розанова по его адресу [42], а то, что тут были задеты актрисы театра Коммиссаржевской, главным образом огорчило Александра Александровича [43]. Надо сказать что этому предшествовала не очень одобрительная статья Блока о Религиозно-философском обществе [44]. Благодаря впечатлению, полученному от одного вечера, Блок написал, что аудитория Религиозно-философского общества полна «свояченицами в приличных кофточках».

Известно, что В. В. Розанов при всем своем таланте иногда писал недопустимые вещи, и эта его статья о Блоке, написанная без всякого повода, была до последней степени вздорной, если не сказать больше. В ней говорилось, например (ни с того, ни с сего), о том, что хорошо поэту плакать о падших созданиях, слоняющихся по улицам, когда сам он, сидя в уютной комнате с женой, пьет чай с печеньем. Затем, что он получает большие гонорары из «Золотого руна» и ставит «Балаганчик» в театре Коммиссаржевской, а актрисы ему дарят цветы.

Александр Александрович, сердясь, говорил: «Это свинство, я не подам ему руки», и действительно, так и сделал, высказав при этом свое негодование Розанову. Однако тот, как ни в чем не бывало, держал свою руку протянутой и говорил: «Ну вот еще, стоит сердиться, Александр Александрович. Вы завели мою свояченицу, я отомстил вам». Оказалось, что Религиозно-философское общество как раз посещала его свояченица.

Журфиксы у В. В. Ивановой не возобновлялись: у нее развивался туберкулез, и в эту осень она окончательно расхворалась. Доктора советовали ей ехать в Давос.

За несколько дней до отъезда Вера Викторовна позвала к себе обедать самых близких из нашего кружка: Волохову, Л. Д. Блок, А. А. Блока, Городецкого, Мунт, Ауслендера, Мейерхольда и меня, причем Мейерхольд и Мунт придти не смогли.

За столом наше настроение было необычно: налет грусти лежал на всех лицах, и грусть проскальзывала сквозь шутки и смех. Выбывала одна из наших «баутт». Не было ли это предзнаменованием того, что остальные тоже скоро расцепят руки и хоровод разойдется? Мы верили, что Вера Викторовна возвратится, что все кончится благополучно, однако было несомненно, что яркая полоса нашей жизни приходит к концу. В. В. Иванова первая с большим сожалением должна была снять маску и очутиться в холодном, тусклом мире «настоящего».

В последний раз мы сидели все вместе на розовом диване, в последний раз дурачился Городецкий, приставая с какими-то нелепыми россказнями к Сергею Ауслендеру, в последний раз слышал Блок, как «звенели угольки в камине».

Не желая переутомлять Веру Викторовну, мы ушли довольно рано, но, по обыкновению, рано не расстались, а отправились к Блокам. Там мы сидели притихшие. Я чувствовала себя вялой, уставшей. Вдруг в передней раздался звонок, и явилась совершенно неожиданно Екатерина Михайловна Мунт в сопровождении Л. В. Собинова. Я знала, что она рассказывала ему много о Блоке и всех нас. Увы, мы не оправдали ожидания Собинова, — в этот вечер мы были выдохшиеся и под впечатлением отъезда Ивановой. Гостя занимал главным образом Александр Александрович, удачно играя роль любезного хозяина[45].

Итак, собрания у Веры Ивановой прекратились, но мы стали бывать у Блоков иногда всей компанией. В наш круг вступило новое лицо — А. А. Голубев, актер нашего театра, уже упоминавшийся на этих страницах. Он подружился с Мунт и Волоховой в весеннюю поездку.

Все мы бывали часто у Мейерхольда, который жил на Алексеевской. С Блоками виделись мы с Наташей Волоховой почти ежедневно, просиживали у них до трех и четырех часов утра. Нам как-то каждый раз было жаль расставаться. В этот сезон в Петербург приезжал несколько раз Борис Николаевич Бугаев — Андрей Белый. Мы с ним встречались у Блока. По просьбе Любови Дмитриевны и моей он любезно согласился прочитать лекцию в пользу политических ссыльных[46]. Андрей Белый знакомил меня с марксизмом. Он обладал в этой области большой эрудицией. Александр Александрович тут мало что знал. Я даже хвасталась перед ним тем, что прочла первый том «Капитала», а он мне на это говорил с особой интонацией: «Какая вы образованная, Валентина Петровна, а я не читал».

В этот же период приблизился к нам Ф. К. Сологуб. В театре репетировали его пьесу «Победа смерти», в которой мы с Волоховой участвовали. Сологуб начал бывать у нас. Иногда он посещал Волохову и часто — меня с сестрой. Сестра моя Вера Веригина, о которой упоминает Блок в своем дневнике, училась тогда на Бестужевских курсах первый год. В ней было еще много детской серьезности, которая так шла ко всему ее облику. Большие черные глаза — главное в ее лице — и две длинные косы. При всей своей видимой строгости Вера

обладала юмором и оригинальной интонацией. С ней очень смешно разговаривал Мейерхольд — непременно с пафосом. «Вера, Вы мадонна! Мне хочется распластаться перед Вами». «Мадонна» отвечала ему на это тихо, в комедийных полутонах, получалось необыкновенно забавно. Сологуба она больше слушала. Он, разумеется, не мог войти в наш круг наравне с другими, для этого он был уже немолод и всем существом своим в другом плане — пессимизм и иронию, в лучшем случае каламбур, приносил он с собой. Я слушала его с интересом, иногда он бывал мудрым, но неизменно тягостное чувство оставалось у меня после продолжительных бесед с Сологубом, который считал мир страшным и ничего не принимал в нем. После таких бесед с чувством облегчения отправлялась на Галерную, где впечатление от сологубовского пессимизма рассеивалось, как дым. Как только я попадала туда, начинались представления с Клотильдочкой и Морисом, о которых я уже упоминала, или читались стихи — снежные, поднимающие над «горестной землей» даже и тогда, когда в них говорилось о ней.

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Пою приятеля младого
И множество его причуд.

А. Пушкин

Екатерина Михайловна Мунт пригласила всю нашу компанию на свои именины. Мы решили их отпраздновать необычно. Кому-то пришла мысль устроить представление — импровизацию. Сценарий начали сочинять все вместе у Блока и продолжали у Мейерхольда. Придумывал все главным образом Блок, и в конечном счете осталась его редакция. Самое чудесное во всем этом и было выдумывание сценария.

Александр Александрович сидел в конце стола на председательском месте, мы все вокруг. Мейерхольд, ходивший по комнате, давал от времени до времени смешные советы, Сологуб — издевательские; тут он несомненно мешал. У Блока было, как всегда в таких случаях, озорное выражение глаз и мальчишеский рот. Он важно заносил на бумагу схему, по его словам, исходя из характера дарований.

Вот действующие лица его мелодрамы:

Некто в черном [47]	Ал. Блок
Ревнивый муж (опирается обо все косяки)	Голубев
Невинная жена (вяжет чулок, ходит на пуантах)	Мунт
Некая подлая в красном	Веригина
Молчаливый любовник в черной маске	Мейерхольд
Наташа (действующее лицо из другой пьесы)	Волохова
Ремарка	Вера Веригина

У Мейерхольда, по его просьбе, роль была бессловесная. Он говорил сочинителям:

— Нет, господа, я боюсь, я не могу импровизировать.

Блок на это сказал:

— Хорошо, вы будете изображать молчаливого любовника, который всех целует.

Так и было решено.

Интрига развивалась между ревнивым мужем, невинной женой и некоей подлой в красном. Эта злодейка, влюбленная в ревнивого мужа, должна была предложить невинной жене отравленное молоко и говорить монолог к «месяцу щербатому». Наташе надлежало говорить слова из другой пьесы, никак не относящиеся к мелодраме, предоставив, таким образом, остальным действующим лицам выпутываться из создавшегося положения. Задача молчаливого любовника в маске состояла в том, чтобы мешать актерам своими неуместными поцелуями, а помощь приходила от Ремарки, которая могла объяснить зрителю, что актриса, изображающая Наташу, совсем не должна была появляться сегодня, что она это сделала по забывчивости, и многое другое, когда актеры придут в замешательство. Репетиций не было ни одной. Блок сказал, что иначе это не будет импровизацией, — как выйдет, так и выйдет...

Настал день представления. Мунт жила на Алексеевской, вместе с Мейерхольдами. Собралось довольно много народу, все наши друзья, разумеется. У Мейерхольда было мало мебели и много места — Екатерина Михайловна обшила несколько подушек кустарной материей, разбросала их по ковру у стены и усадила зрителей. Мы отправились одеваться. На помощь пришел театральный гардероб Мунт. Она сама оделась в пачки, потому что Александр Александрович хотел, чтобы она стояла на пальцах, раз у нее от природы «стальной носок». Для меня не нашлось красного костюма, пришлось надеть

желтый, испанский. Я спросила Блока, хорошо ли это, и он ответил, что так даже лучше — смешнее. Зато Сологуб начал меня дразнить и довел до слез. Впрочем, это послужило на пользу, потому что моя отповедь ему украсила монолог к «месяцу щербатому».

Начал представление сам Блок — Некто в черном. Он вышел в черном плаще со свечкой, которую держал перед собой. Подражая андреевскому прологу из «Жизни Человека», он начал бесстрастным голосом: «Вот пройдут перед вами: ревнивый муж, опирающийся обо все косяки, совершенно невинная жена, вяжущая чулок, некая подлая в красном, и Наташа не из той пьесы, и молчаливый любовник» и т. д. Он ловко закончил пролог, не рассказав ничего о пьесе, потому что сам не знал, чем она кончится.

Некто в черном стоял перед занавесом, который был сделан из шалей. Когда пролог кончился, Блок остался совсем близко у кулисы или, вернее, у занавешенной двери, сбоку, чтобы руководить представлением.

Открыли занавес. Невинная жена в пачках с добродетельным чулком на спицах ходила на пуантах, прилежно вязала, вздыхала об отсутствующем муже и рассказывала зрителям о своей невинности. Когда Блок нашел, что она рассказала о себе достаточно, на сцену был выпущен Ревнивый муж. Он громко вздыхал, стонал, заламывал руки, опираясь о косяк двери. Невинная жена, чтобы спастись от первой вспышки ревности, поспешно набросила на голову шарф и хотела уйти, как вдруг навстречу ей устремился Молчаливый любовник в черной маске и, как-то механически разводя руками, обнял ее и поцеловал. Бросив полный страха взгляд на Ревнивого мужа, она быстро удалилась на носочках в ужасе, как Эсмеральда, не забыв, впрочем, вытереть щеку после поцелуя маски. Между тем Молчаливый любовник с мрачным видом проследовал дальше по сцене, по дороге поцеловав кстати Ревнивого мужа. Последний отмахнулся от него, как от мухи, добросовестно оперся обо все косяки и, завернувшись в плащ, застыл в позе отчаяния. Тут вышла Некая подлая в красном и стала всячески стараться обратить на себя внимание Ревнивого мужа, но это ей не удавалось. Ремарка (в костюме Снегурочки) заявила, что сейчас стол и скамью уберут, а зрители пусть вообразят, что они видят перекресток и

месяц, потому что Некая подлая в красном должна говорить монолог на перекрестке к месяцу щербатому, Я просила Блока, чтобы он разрешил мне сказать только несколько слов: пожаловаться месяцу на холодность Ревнивого мужа, поворожить на перекрестке и кончить, но Александр Александрович неумолимо заявил:

— Нет, вы должны говорить долго, по крайней мере страницу, так полагается.

Я уже упомянула о том, что мой монолог украсила отповедь Сологубу, и все сошло вполне благополучно.

В следующем действии Некая подлая в красном пришла, закутанная в черный платок, к Невинной жене я предложила ей купить молоко, в которое был подсыпан яд. Тут вдруг появилось новое лицо, именуемое Наташей. Она была в костюме средневековой дамы из «Балаганчика», наговорила какой-то ерунды про звезды, выпила отравленное молоко, приняв его за лимонад, и, кажется, намеревалась надолго еще остаться на сцене, когда Молчаливый любовник, по своему обычаю, неожиданно поцеловал ее. Она в замешательстве поспешила уйти. Ремарка сейчас же попросила публику считать, что яд не выпит, так как Наташа — действующее лицо из другой пьесы и выпущена на сцену помощником режиссера нечаянно.

Невинная жена благополучно выпила отравленное молоко и стала умирать. Тогда муж, вдруг поняв свою неправоту и придя в отчаяние, закололся на сцене, то же самое сделала Некая подлая в красном (или, вернее, в желтом), когда увидела его гибель. Молчаливый любовник задумался, соображая, кого бы поцеловать, но, вспомнив, что перецеловал всех, подошел и поцеловал Ремарку, вызвав ее неожиданную реплику: «Ах ты, мерзавец! Не на такую напал». Последняя реплика не была импровизацией: ее продиктовал Блок. Он же обязал Ремарку говорить бесстрастным голосом, никак не тонируя, что получалось очень смешно. Замечательно играли свои роли Молчаливого любовника Мейерхольд и Блок — Некто в черном. Он так и остался весь вечер в черном плаще, как и все мы в наших костюмах. Вечер удался — актеры и зрители остались довольны друг другом. Было как-то особенно приятно и весело.

ДВОЙНИК ПОЭТА. КОНЕЦ «СНЕЖНОЙ ДЕВЫ»

Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав.
Блок

Непонятная случайность соединила однажды певца Фигнера с символистами. Это был концерт Фигнера в Малом заде Консерватории, участвовать в котором почему-то пригласили Блока, Городецкого, Волохову и Веригину.

О знаменитом певце не могу ничего сказать. Голос свой он уже потерял, и в этот вечер я его почти не слушала. Помню, что очень волновалась перед выходом. Публика состояла главным образом из старых поклонников Фигнера, и мы были, в сущности, тут ни к селу, ни к городу. Я прошептала тихонько: «Как я боюсь». Вдруг Н. Н. Фигнер взял меня за руку и сказал: «Какие пустяки. Я вас выведу». Не успела я опомниться, как он действительно вывел меня за эстраду. В публике послышался шепот: «Это его дочь». Я читала «Кентавра» Андрея Белого, но дочери Фигнера старые поклонники, очевидно, решили все простить, и я имела успех.

Поэты смеялись надо мной, поддразнивая, говорили, что меня вывели на эстраду, как «цирковую звезду». Нам было очень весело, в концерт за компанию поехала Любовь Дмитриевна, которую мы попросили послушать нас. Стало жаль расставаться, и, почему-то решив поехать в «Вену», попросили нас отвезти туда. Любовь Дмитриевна, я и Городецкий ехали в одной карете. Городецкий в этот период шутя называл меня своей женой. Началось это так: однажды он и Ауслендер провожали меня из театра к Сологубу, и Городецкий сказал извозчику: «Свезите нас, пожалуйста, меня, жену и сыночка Ауслешу». У Сологуба он вполне серьезно отрекомендовал нас так каким-то незнакомым гостям.

По дороге в «Вену» он опять об этом вспомнил. За столиком без конца дурачились, и Городецкий написал мне стихи, которые теперь утеряны, помню только последние строки:

Я жен женатых ждать женитьбы не хочу,
Женившись, я тобой, одной женой, богат,
Женитьбе верен, женину лучу.

Александр Александрович запротестовал: «Нет, надо было совсем не так, я сочиню за него по-другому». И написал:

Жена моя, и ты угасла, жить не могла меня любя,
Смотрю печально из-за прясла звериным взором на тебя.

Малознакомый поэт с барышней-поэтессой подсели к нам, сделалось сразу неуютно и скучно. Поэт предложил читать стихи. Читать стихи за столом в ресторане, — я знала, что это не улыбалось Блоку. Однако, сверх ожидания, он сказал с довольным видом: «Хорошо», и добавил сейчас же: «Только я прочту стихи Валентины Петровны». Я обмерла. Он говорил о стихах, которые я сочинила, будучи совсем маленькой, на смерть Александра III. Стихи эти умиляли своей нелепостью Блока — он даже выучил их наизусть. И тут в ресторане в присутствии малознакомых людей он начал читать своим металлическим голосом потешное детское стихотворение:

Да, преждевременно угас наш венценосец!
Угас он навсегда,
Но не угасла его слава
И не угаснет никогда...
И т. д.

Поэт и дама в первую секунду не знали даже, как отнестись к такой декламации. Чтобы помешать им обидеться, мы сейчас же всё обратили в шутку и начали смеяться первые. Таким образом, все обошлось благополучно. Когда мы вышли из ресторана, оказалось, что выпал снег — это было в ноябре. Мы поехали на концерт в карете в бальных туфлях, без ботиков, теперь стояли и ждали у подъезда, пока наши кавалеры достанут извозчиков. В память этого вечера и первого снега Городецкий написал три стихотворения о нас трех. В стихотворении «Аленькая», относящемся ко мне, есть несколько строк о Блоке.

Алая, на беленьком не майся ты снежку,
Пробирайся к кожаному красному возку,
Вон того, веселого в сукне да в соболях,
Живо перегоним мы в дороге на полях,
Чтоб его подруга застыдила — ахти-ах.

Мы часто читали в концертах стихи вместе с нашими друзьями-поэтами. Был случай, когда друг Сомова, князь Эристов, пригласил нас участвовать в одном бла-

готворительном вечере. (Это было еще в первом сезоне.) Мы охотно согласились и приехали все вместе: Блок, Городецкий, Ауслендер, Волохова, Иванова, Мунт а я. Это был барский дом, не помню, на какой улице. Выступали мы в зале без эстрады. Народу было довольно много, насколько позволяло помещение. Между прочим, оказалось, что других выступающих, кроме нас, нет. Мы добросовестно прочли и стали собираться уезжать. Нас усиленно приглашали остаться ужинать, и лица устроителей выразили разочарование, когда мы наотрез отказались от такой чести. Мы поняли, что великосветское общество устроило вечер с «декадентами»; с нами хотели познакомиться из любопытства.

На Рождество нам предстояло играть по два раза в день почти ежедневно, остался только Сочельник, когда не было спектакля, и этот вечер мы провели на Галерной. Нас было немного: Н. Н. Волохова, моя сестра, и потом пришел Евгений Павлович Иванов, который постоянно бывал у Блоков. Евгения Павловича я принимала как должное, но разговоров их почти не понимала. Они говорили с Александром Александровичем на эзотерическом языке. Юмор Евгения Павловича совершенно ускользал от меня. Только впоследствии, когда я познакомилась с ним близко, я сумела оценить его.

Мы сидели за чайным столом и ели традиционные орехи с синим изюмом. Отлично помню, что говорили все время о Лермонтове и Пушкине. У Блоков эта тема часто появлялась в наших разговорах. Александр Александрович сам постоянно заводил о них речь. Кажется, Лермонтов был ему всего ближе. Тот Лермонтов, которого любишь в детстве, уже перестал пленять меня, а мрачная красота поэзии настоящего Лермонтова в ту пору меня пугала. Я предпочитала Пушкина. Александр Александрович, чтобы поддразнить меня, говорил: «Если бы Лермонтов жил теперь среди нас, с вами, Валентина Петровна, он наверное бы ссорился, у него ведь был мрачный характер». На задорный тон Блока я отвечала, что меня это нисколько не трогает. Пусть Лермонтов гениален, все же он юнкер в маске Чайльд-Гарольда. Блок в долгу не остался. «А ваш Пушкин пыхтел, как самовар, когда танцевал», — отчеканил он, чуть-чуть прищурившись. На это я сказала, что о нем говорил так его враг, и мало ли что можно рассказать о человеке после того, как он умер. «Еще неизвестно, что будут

говорить о вас». Александр Александрович поднял кверху подбородок и с юмористическим огоньком в глазах спросил важным тоном: «Разве я Лермонтов, Валентина Петровна?» На это я ответила, что для меня он выше Лермонтова. Он рассмеялся, и на этом мы примирились, но разговор в юмористическом духе не продолжался. Помню, как мы много говорили о Пушкине, сожалея о том, что он жил в холодном обществе, среди предрассудков: нам казалось, что мы сберегли бы его. Никто из нас не предчувствовал, что ранняя смерть унесет и Блока.

После чая перешли в кабинет и занялись рассматриванием старинных журналов. В какой-то момент Александр Александрович сделал мне знак следовать за ним и вышел. С самым серьезным видом он выдвинул стол из столовой и, пододвинув его к двери кабинета, забаррикадировал ее. На стол водрузил маленький столик и стулья. Затем подсунул под низ французскую булку, сказав мимоходом: «Чтобы они не умерли с голоду». После этого мы отправились в комнату Любы. Блок надел на себя белую кружевную мантилью, взял в руки ручное зеркальце и сел в кокетливой позе, положив одну ногу на колено. Я встала на окно за занавески. Через некоторое время мы услышали грохот рухнувшей баррикады и смех. Пленники направились к нашей двери. Она оказалась запертой. Мы слышали, как они шептались за дверью и что-то громоздили. Через несколько секунд я увидела через стекло над дверью лицо Наташи Волоховой. Она сказала стоявшим внизу: «Где же она? Тут только какая-то испанка с зеркальцем». Тогда полезли и остальные смотреть на испанку. Мне было видно лицо Блока в профиль, полузакрытое белым кружевом, с опущенными ресницами и отчаянно веселым улыбающимся ртом. Я прыгнула с подоконника на пол. Все, бывшие за дверью, отпрянули от неожиданности. Александр Александрович сбросил мантилью и открыл передо мною галантно дверь с какой-то нестерпимо банальной любезностью. В этот вечер он изображал «господина в котелке», нанизывал одну «общую» фразу на другую, и было невероятно смешно это слышать из его уст. С серьезным, важным видом он говорил общие места, острил, по примеру «испытанных остряков», но, несмотря на смелый тон, Блок умел оставаться на грани учтивости. Он как-то едва уловимо отмечал в своей собеседнице даму. Это

не значит, что мы были кавалером и дамой в общепринятом смысле: ни тени увлечения ни с той, ни с другой стороны. Я даже как-то выразила удивление по поводу того, что не могу им увлечься, и получила довольно дерзкий ответ: «Я тоже никак бы не мог в вас влюбиться». Я рассмеялась, потому что эта фраза была произнесена таким тоном, в котором слышалось: «И не дожидайтесь, сударыня». То же самое, но в более мягкой форме сказал Блок обо мне Волоховой на ее вопрос: неужели никогда никакого более сильного чувства, чем дружба и юмор, не могло бы появиться у него ко мне. «Валентина Петровна пленительна, а я не мог бы увлечься ею». Мне кажется, что благодаря отсутствию увлечения-флирта нам и было так особенно легко в весело вместе. Блок видел во мне даму, с которой он мог блуждать по лабиринту шуток, где-то в отражении. Это была та же воздушная карусель, только без влюбленности.

Мы доигрывали в театре свои роли в постановках Мейерхольда, а репетировали на квартире Мунт пьесы для гастролей: Мейерхольд и второй режиссер Унгерн предпринимал поездку по западным и южным городам. Всеволод Эмильевич пригласил Любовь Дмитриевну Блок на роль Клитемнестры в «Электре» Гофмансталя. Она с радостью дала согласие и стала посещать репетиции. Любовь Дмитриевна раньше была уже на драматических курсах Читау, а в этом сезоне усиленно занималась постановкой голоса, декламацией и танцами. В ней дремал громадный стихийный темперамент. Блок знал это, и ему сделалось страшно, когда она захотела пойти своей дорогой [48]. Его муза вспомнила о ней. Он написал чудеснейшее стихотворение:

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.

К сожалению, оно огорчило Любу: в нем была обидная неправда:

Но час настал, и ты ушла из дому,
Я бросил в ночь заветное кольцо.

Кольцо бросил поэт раньше, когда взор его обратился в сторону Незнакомки, а затем Волоховой.

Н. Н. Волохова мне говорила, что Блок хотел ехать с нашей труппой, чтобы не расставаться с ней. Н. Н.

тогда запротестовала, находя, что это недостойно его — ездить за актерами, а также сама не хотела показываться в будничной обстановке между репетициями и спектаклями, когда приходится возиться с тряпками и утюгом. Она хотела уберечь его от вульгарного. Наталья Николаевна говорила мне, что сказала Блоку нарочно в очень резкой форме. Она слишком уважала поэта для того, чтобы позволить ему унижаться. Однако он не понял ее и обиделся — это была их первая размолвка. В поездке Волохова постоянно получала от него письма в синих конвертах. К сожалению, все они сгорели вместе с портретами поэта в доме родственников Н. Н. в ее отсутствие. Уцелела только подаренная ей книга «Земля в снегу» — с надписью:

Наталии Николаевне
Волоховой.

Позвольте поднести Вам
эту книгу — очень несовершенную,
тяжелую и сомнительную для меня.
Что в ней правда и что ложь,
покажет только будущее. Я знаю
только, что она неслучайна, и то, что
в ней неслучайно, люблю.

Александр Блок.
3 ноября 1908 г.
СПб.

В письмах было много лирики и милой заботливости о ее здоровье. Она как раз писала ему, что устает, а он жалел ее, негодуя на обстоятельства и людей. Последняя переписка отразилась в некоторых из его стихотворений, например, в следующих строчках:

И в комнате моей белеет утро.
Оно на всем: на книгах и столах,
И на постели, и на мягком кресле,
И на письме трагической актрисы:
«Я вся усталая. Я вся больная.
Цветы меня не радуют. Пишите...
Простите и сожгите этот бред...»
И томные слова... И длинный почерк
Усталый, как ее усталый шлейф,
И томностью пылающие буквы,
Как яркий камень в черных волосах[49].

На четвертой неделе Великого поста некоторые из наших товарищей поехали в Москву, в числе их были и мы с Волоховой. Блок не выдержал и явился тоже в Москву. Н. Н. получила от него письмо с посыльным. Поэт умолял ее придти повидаться с ним. Они встретились и говорили долго и напрасно. Он о своей любви, — она опять о невозможности отвечать на его чувство, и на этот раз также ничего не было разрешено. Об этой встрече говорится в стихотворении:

Я помню длительные муки...
. . . .
И утро длилось, длилось, длилось,
И праздный тяготил вопрос,
И ничего не разрешилось
Весенним ливнем бурных слез[50].

Теперь поэт был еще больше раздосадован: между ним и Волоховой появилась даже некоторая враждебность. Мы уехали с Натальей Николаевной в Херсон, где должна была опять собраться вся наша труппа. Поездка продолжалась еще месяца полтора.

Александр Александрович ждал Волохову с нетерпением в Петербурге. Но когда, по окончании мейерхольдовских гастролей, она явилась туда, он ясно увидел, что Н. Н. приехала не для него, и отошел от нее окончательно[51]. Впоследствии Блок отзывался о Волоховой с раздражением и некоторое время почти ненавидел ее. Я уже говорила о том, что он написал стихотворение, в котором зло искажен ее образ. Между прочим, все стихотворения, посвященные Волоховой, Блок приносил всегда первой ей, и когда в них бывало что-нибудь не соответствующее действительности, например, хотя бы такие строки:

Я ль не пела, не любила,
Поцелуев не дарила
От зари и до зари, —

он с опущенными глазами просил ее простить его, говоря, что поэт иногда позволяет себе отступить от правды и что sub specie aeternitatis (под знаком вечности) это простительно.

Единственное стихотворение, а именно: «У шлейфа черного...», написанное в тот же период[52], он скрыл от нее. Очевидно, оно вылилось в момент мучительной досады на холодность Н. Н. Последующие стихи опять

говорят о рыцарском поклонении и преданности. «У шлейфа черного...» было напечатано позднее. Ссылаться на это стихотворение и утверждать, что год, проведенный у шлейфа черного, Блоку ничего не дал, как это сделал кто-то из критиков, никак нельзя. Среди многих других стихотворений того периода оно случайно.

Впоследствии Наталья Николаевна встречалась с Блоком раза два и всегда замечала волнение и смущение которых он не мог скрыть. В последний раз она увиделась с ним в Художественном театре в 1921 году, незадолго до смерти поэта[53]. Волохова заметила в нем какой-то порыв навстречу ей. Они условились встретиться в следующий антракт, но когда окончилось действие и Н. Н. стала искать глазами Блока, его не оказалось в зрительном зале. Дама, с которой он был в театре[54], сказала, что он заметно нервничал во время этого действия и ушел.

Кончился зимний сезон, мы уехали в последний раз вместе с тем, чтобы после поездки разлететься в разные стороны. Кончилась пленительная, фантастическая игра юности. Блок всегда вспоминал ее с нежностью и грустью. «Прошла наша юность, Валентина Петровна», — повторял он впоследствии все те же слова.

С сезоном 1908 года как будто бы действительно кончилась юность Блока, хотя на самом деле он был еще очень молод:

Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла[55].

Вышли из круга игры, столкнулись с обыденным, скукой, страшным.

Утешающая творческая игра возникает не часто между людьми. Такое счастье выпадает на долю немногих. Поэзия Блока и его веселый двойник, а также сочетание индивидуальностей создали эту игру. Высокая влюбленность... новые рыцари и дамы — ни клятв, ни страданий, ни женских слез, ни обязанностей — фантастическая чудесная пляска среди метелей. «Сны мятели светлозмейной, Песни вьюги легковейной, Очи девы чародейной...»

Мы встретились с Блоком через год. Это не была уже встреча веселых, нереальных масок: мы были людьми в серьезном жизненном плане. Хотя юмористический тон и появлялся порой, но баутта была снята навсегда.

ОПЯТЬ У БЛОКА

Так дуновенья бурь земных
И нас нечаянно касались.

Пушкин

Постом 1908 года я подписала контракт на зимний сезон в театре Корша и попала в чужой мне мир. Из близких вместе со мной служила только одна Н. И. Комаровская, моя подруга по школе Художественного театра. Мне очень недоставало петербургских друзей.

В Москве я продолжала жить впечатлениями предыдущего сезона настолько, что не выдержала и в середине зимы поехала в Петербург на два дня. Приехав туда, сейчас же отправилась к Блокам. Александр Александрович, снимая с меня шубу, заявил с полуулыбкой: «Ну, Валентина Петровна, я стал серьезным», — на что я ответила: «Сейчас увидим». Оказалось, что серьезное настроение его быстро покинуло — через минуту мы шутили по-прежнему. Любовь Дмитриевна очень обрадовалась мне, но показалась грустной. Блок рассказывал о том, как он проводил эту зиму: читал доклады, много говорил с литераторами и поэтами — все о серьезном. Этот вечер прошел как будто бы так же, как прежние вечера, но, уезжая, я почувствовала ясно, что время снежных масок прошло безвозвратно.

В 1909 году я приехала опять в Петербург осенью и пробыла больше месяца. Почти все вечера проводила у Блоков. Они вернулись из Италии. Александр Александрович написал цикл «Итальянских стихов»; читал их нам с Любовью Дмитриевной наизусть и особенно хорошо «Равенну». Блок сидел обычно на диване один, мы — в больших креслах напротив.

Когда мы рассматривали фотографии и открытки, привезенные Блоком из Италии, он, между прочим, указал на одну из фресок, изображающую Благовещение, и сказал: «Как раз это Благовещение в моих стихах»[56]. Действительно, ангел на той картине был демоничный «темноликий ангел с дерзкой ветвью», в темно-красных развевающихся одеждах. После чтения «Итальянских стихов» являлось особое настроение, как будто мы переносились в иной мир. То были образы и картины «его» Италии. В такие вечера я чувствовала себя отделенной от внешнего мира как бы завесой и заключенной в пространстве, где царят только чары поэта. Такие моменты

искупали все дневные неприятности — мелочи жизни отступали далеко. Большею частью подобное настроение приходило, когда мы бывали втроем. Иногда, кроме меня, заходил еще кто-нибудь, часто Анна Ивановна Менделеева. Случалось, что Александр Александрович бывал веселым. В ту пору он изощрялся в стиле Ната Пинкертона. Например, приглашая нас с Любовью Дмитриевной в кинематограф на Петербургскую сторону, говорил: «Пойдемте через Темзу в Сити», а однажды, когда мы втроем шли по мосту через «Темзу» и впереди нас оказался пьяный оборванец, едва державшийся на ногах, Блок повернул ко мне голову и спросил с необыкновенно значительной интонацией: «Вы не находите, что от этого джентльмена сильно пахнет виски?» В кинематографе Александр Александрович продолжал с нами разговаривать в том же духе, мы смеялись и почти совершенно не обращали внимания на экран. Возвратились домой очень веселые. За чаем Блок предложил мне переписываться и тотчас же написал письмо, которое, к сожалению, пропало. Помню из него только несколько строчек; начиналось оно следующими словами: «Дорогая моя! Сегодня приходил зет! Я ответил ему ударом кулака по столу...» Дальше шли намеки на какие-то таинственные события и ни с того, ни с сего фраза: «NN падает в непрестанные обмороки». Кончалось письмо так: «Сегодня вечером я приеду за тобой на своем автомобиле, в «Лештуков переулок» (там было совершено какое-то преступление), и мы отправимся на мои золотые прииски. Постарайся обмануть тетку... Твой Александр Блок». Передавая письмо через стол, Блок сказал: «Ответьте мне, Валентина Петровна». Я немедленно исполнила его просьбу и между прочим, когда дошло дело до обморока NN, я написала *«она»*. Александр Александрович спросил меня: «Разве NN — женщина?» Я удивилась тому, что у него мужчина падает в непрестанные обмороки. Александр Александрович чистосердечно сознался, что он просто не думал, о ком писал. Так мы шутили весь вечер, не предчувствуя мрачного периода в жизни Блока, наступившего через несколько дней.

Александр Александрович совершенно неожиданно серьезно заболел. Люба была настроена довольно мрачно еще до этого. Основной тон ее был грустный, уже когда я приехала. Она решила бросить сцену, но решение это

явилось, мне кажется, под влиянием Блока. Люба ничем определенным не занималась. На мой вопрос, что она делает, ответила: «Да ничего, книжки читаю». Такое ничегонеделание было плохим знаком. Обычно Люба чем-нибудь интересовалась. То изучала старую архитектуру Петербурга, то фарфор, то кружево, то разыскивала старинные журналы, причем все это делала основательно и серьезно, в ней сказывалась кровь ученой семьи. Итак, незадолго до моего отъезда Блок заболел. Однажды я пришла днем, он был дома, но сразу ко мне но вышел, появился только к обеду с завязанной щекой, говорил, что болят десны. После обеда сейчас же ушел к себе. Через несколько дней я зашла проститься. Александр Александрович не вышел совсем. От Любови Дмитриевны я узнала, что он очень страдает. Я уехала в Москву, кажется, в начале ноября и встретилась с Блоками только через два года.

ТЕРИОКСКИЙ ТЕАТР

Кто молод —
Расстанься с дольнею жизнью.

Блок

В благословенный день вздохнула
Душа у синих вод Невы.

Княжнин [57]

Весной 1912 года, после зимнего сезона в провинции, я приехала в Петербург вместе со своим мужем Н. П. Бычковым. Он кончил Московское техническое училище и получил место в Петербурге. Мы поселились на Мытнинской набережной — на берегу Невы, против Зимнего дворца и Адмиралтейства. Перед глазами у нас была всегда волнующаяся Нева, стянутая каменным поясом. Вдали на крыше дворца «только мнился» блоковский рыцарь. Мы постоянно смотрели в ту сторону. Иногда у нашего окна сидела Любовь Дмитриевна. Она часто бывала у нас, и, когда я приезжала к ней, я заставала ее большей частью одну. Первую встречу с Блоком этой весной не помню. С Любой мы вели бесконечные разговоры о театре, о ролях. В ней опять проснулось желание играть. Она расспрашивала меня о моей

работе в провинции и, наконец, не выдержала, — предложила что-нибудь устроить летом под Петербургом, собрав компанию из своих знакомых актеров. Я сейчас же согласилась на это. С Александром Александровичем мы пока не говорили, Люба не сообщила вначале, как он относится к нашей затее. Я лично с ним виделась редко и как-то не улавливала его настроения. Стихи его, разумеется, по-прежнему глубоко меня интересовали, и Любовь Дмитриевна дала мне два новых стихотворения — «Пляску смерти» и «Шаги Командора». С этих пор я ощутила реально, что Блоком все чаще овладевает «последнее отчаяние», и мне стало страшно за поэта.

Однажды я пришла к Любови Дмитриевне, не рассчитывая застать Блока дома, и неожиданно увидела его в столовой, стоящего у окна в солнечном весеннем освещении. Он показался мне таким, как был весной 1907 года. На лице то же юношеское выражение, та же задорная улыбка, та же дружественная приветливость по отношению ко мне. В эту минуту ничто в его существе не говорило о «последнем отчаянии». На этот раз мы втроем чувствовали себя совсем прежними. Блоковский юмор и шалости нас веселили и смешили в течение нескольких часов.

Когда нам вздумалось перейти из столовой в кабинет, Блок пошел впереди и вдруг с силой ударился головой об дверь. Мы с Любовью Дмитриевной вскрикнули от неожиданности. Александр Александрович вскрикнул тоже, но совершенно бесстрастным голосом: «Ай, ай». Оказалось, что он ударил рукой по двери, мгновенно приблизив к ней лоб почти вплотную. Получалось впечатление, что он по-настоящему колотится головой об дверь. Он проделал свой фокус несколько раз, и мы каждый раз не могли удержаться от того, чтобы не вскрикнуть. Сам Блок повторял свое «ай, ай» и смеялся коротким смешком, искренним, как всегда в минуты своих дурачеств. Ни о чем серьезном мы не говорили, так и прохохотали до самого моего ухода, а под конец Блок вдруг сказал с грустью, о которой я упоминала выше: «Прошла наша юность, Валентина Петровна». Впоследствии он повторял мне это несколько раз. Кажется, в этот же день Блок подарил мне «Ночные часы» с надписью: «Валентине Петровне Веригиной с приветом и уважением Александр Блок. Март 1912. СПб.».

Кроме встреч у нас и у Блоков, мы с Любой постоянно виделись в «Бродячей собаке» Пронина.

«Бродячая собака» являлась местом, где собиралась художественная, литературная и артистическая богема. Любови Дмитриевне, мне и Н. П. <Бычкову> очень нравилось бывать там. Мы встретили много старых знакомых, между прочим — художника Сапунова, с которым я была дружна еще в театре Коммиссаржевской. Теперь мы рассказали ему о наших мечтах и планах на лето. Николай Николаевич очень загорелся и согласился принимать участие в нашем театральном предприятии. Он, Н. П. Бычков, Пронин и А. А. Мгебров с азартом взялись за это дело. Любовь Дмитриевна предложила передать им все полномочия по организационной части. О Мейерхольде, которому потом некоторые газеты приписали эту затею, вначале не было речи. В то время он разошелся с Прониным и не бывал в «Бродячей собаке». Кому-то пришла мысль выбрать Териоки. В один чудесный весенний день мы отправились туда вчетвером: Любовь Дмитриевна, Пронин, Н. П. Бычков и я.

Казино и театр в Териоках арендовал В. И. Ионкер, молодой швед, с которым Н. П. и Пронин быстро сговорились. Ионкер сдал нам театр на процентных условиях, причем его предупредили, что будет ряд экспериментов и рассчитывать на спектакли для дачной публики не придется.

Виктор Иванович произвел на нас очень хорошее впечатление. Он был культурный и симпатичный человек. Кажется, в этот же раз мы смотрели дачу для актеров. Вернулись в Петербург в радужном настроении. Мне запомнился этот солнечный день, Любино розовое, нежное лицо, такое счастливое, и золотистые бананы, которые мы ели по дороге. Труппу набрали из актеров, посещавших «Бродячую собаку», из тех, кто более или менее подходил для ролей в намеченных пьесах. Сняли большую дачу на берегу моря с чудесным парком. Тут должны были жить актеры. Все в одном месте. Перед переездом в Териоки возник вопрос, какой пьесой начать. Любовь Дмитриевна сказала, что, по ее мнению, надо попросить Мейерхольда что-нибудь поставить, пока он еще не уехал. Так и решено было сделать. Всеволод Эмильевич начал работать над двумя пантомимами.

В первый раз он пришел в «Бродячую собаку» днем и снова встретился с Прониным по-дружески. Почти одновременно с Мейерхольдом вошел в наш кружок Н. Кульбин, который привел впоследствии Юрия Бонди как художника. Александр Александрович не присутствовал ни на наших репетициях, ни на собраниях, но все же был с нами[58]. Он интересовался делом Любови Дмитриевны.

Когда пришел В. Э. Мейерхольд и с ним В. Н. Соловьев, оба старались увлечь нас в сторону «Комедиа дель'арте», главным образом пантомимы. Блоку это не нравилось. Он увлекался тогда Стриндбергом, увлекался по-блоковски, до крайности. Все время говорил о нем. Естественно, что все мы, близко стоящие к Блоку, тоже стали читать Стриндберга, и на нас его писания произвели глубокое впечатление. Поэтому было не случайно, что поэт Пяст дал нам свой перевод нигде не напечатанной пьесы Стриндберга «Виновны — не виновны». Однако нас интересовала и «Комедиа дель'арте», благодаря тому, что заключала в себе подлинную театральность.

После смерти Александра Александровича из его дневника я узнала, что на открытии Териокского театра поэту больше всего понравились «Два болтуна» (Любовь Дмитриевна и Миклашевский)[59]. Нам всем в вечер представления он хвалил исполнение пантомимы «Арлекин — ходатай свадеб». Мне сказал: «Очень хорошо, Валентина Петровна, очень профессионально».

Помню, что «испанская пантомима» «Влюбленные», очень интересно поставленная Мейерхольдом, не произвела впечатления на Блока. Очевидно, он увидел в ней черты дилетантизма. Никто из нас не был профессионален в испанском танце, который возникал по ходу действия, на короткие моменты.

Наше пребывание в Териоках омрачилось неожиданной гибелью Н. Н. Сапунова. 14 июня он приехал к нам вместе с художницами — Л. В. Яковлевой, Бебутовой, поэтом Кузминым и нашей общей приятельницей Б. Назарбек.

Ночью вся компания по настоянию Сапунова поехала кататься на лодке без гребца. Кто-то устал грести, и стали меняться местами. От неверного движения небольшая лодка сильно качнулась и опрокинулась. Финн, возвращавшийся с рыбной ловли, услышал крики.

Все были спасены, но Сапунов утонул. Он не умел плавать.

В тот роковой день Николай Николаевич звал Блока, горячо убеждая его ехать в Териоки, но Александр Александрович почему-то не смог поехать.

Мне кажется, что последнее обстоятельство сыграло печальную роль.

Если бы Александр Александрович согласился, катастрофа не произошла бы. Блок приезжал главным образом с целью навестить Любовь Дмитриевну и непременно пришел бы на дачу после репетиции, а с ним, разумеется, Сапунов и остальные. Эти соображения никогда не были высказаны мной Блоку. Это огорчило бы его. Он хорошо относился к Сапунову, который был из тех, кого Блок называл «настоящими».

Смерть Сапунова наложила горестную печать на дело, которое мы начали с такой бурной радостью вместе с ним.

Печальная улыбка его Арлекина на флаге нашего театра напоминала об ушедшем художнике.

Однако мало-помалу время или, вернее, искусство взяло свое.

Мы опять вошли в колею работы и испытали радость творчества и удачи. Я не буду останавливаться на всех наших постановках, потому что это увело бы меня от темы Блока. Я хочу говорить о спектакле, на котором сказалось его влияние.

«ВИНОВНЫ — НЕ ВИНОВНЫ»

Нахожусь под знаком Стриндберга.

Блок

Самой интересной постановкой сезона и одним из лучших созданий Мейерхольда нужно считать «Виновны — не виновны» Стриндберга. Пьеса эта была рекомендована Блоком.

Я уже говорила, что в тот период все его мысли были обращены к Стриндбергу. Нашим делом Александр Александрович интересовался и, конечно, влиял на него. Не все шло по его желанию, но главное, чем был отмечен сезон, исходило от него. <...>

Я помню, как Александр Александрович Блок был взволнован постановкой, как он прежде всего отметил язык пьесы, со сцены звучавший как должно. В каких выражениях он высказал мне это, не помню, знаю только, что он упомянул о математических формулах. Привожу здесь слова, которые он потом написал: «Жизнь души переведена на язык математических формул, а эти формулы в свою очередь написаны условными знаками»[60]. Молодой художник Юрий Бонди, болезненный, хрупкий, духовно не был ни немощным, ни вялым, его творческая энергия, его интуиция очень помогли Мейерхольду при постановке стриндберговской пьесы. Достоинство декораций Бонди заключалось главным образом в том, что силуэт человеческих фигур был остро подан в черной раме на фоне транспаранта.

Блоку чрезвычайно понравился акт, где Морис встречается с Генриеттой в Люксембургском саду. Парк был показан лишь тенью сучьев на золотом фоне заката. Черная фигура Мориса и малиновое манто Генриетты на этом же фоне. Они сидели на скамье, и их быстрые слова без пауз ударялись друг о друга, как рапиры двух врагов. Эта катастрофическая любовь во вражде не могла иметь иного обрамления, иного фона. Александр Александрович вообще не обращал особенно много внимания на декоративную, внешнюю сторону в театральных представлениях, но тут он отметил ее. «Заря и малиновый плащ, грозное в Стриндберге этим подчеркнуто». Вообще, эта сцена одна из самых главных. Тут заключено все роковое, вся неизбежность. Вот общий смысл сказанного мне Блоком о картине в Люксембургском саду.

В декоративном отношении чрезвычайно интересно было сделано действие в ресторане, о котором я уже говорила. Большой диван посередине со столиком перед ним, и на авансцене сбоку — маленький столик, на котором стоял шандал с тремя свечами. За диваном против зрителей — громадное окно, и за ним — занимающаяся утренняя заря. Вначале окно завешено черным. Черный костюм Мориса и белое вечернее платье Генриетты, свечи, карты, бокалы с шампанским, желтые перчатки. Под конец действия черный занавес отдергивался. Транспарантом, за рамой окна показывалась утренняя заря, и одновременно слуга вносил вазу с желтыми цветами. Все это было заключено, как я уже говорила, в черную раму, и большое пространство еще оставалось впереди: широ-

кий просцениум, на котором сбоку помещался портрет Стриндберга, прекрасно исполненный Кульбиным. Тут же стоял рояль. Антракты заполнялись музыкой. Играл И. Сухов, очень даровитый, но тогда совсем юный музыкант. И его Мейерхольд сумел сделать причастным трагической атмосфере спектакля. Черная рама не только создавала впечатление картины, но играла гораздо более важную роль: она сделала действие на сцене сконцентрированным. Актеры не видели зрителей, были всецело поглощены друг другом, но, играя для кого-то далекого, они творческим инстинктом посылали себя далеко за просцениум. У меня лично было ощущение подобное тому, как во время представления «Балаганчика»: зрители втягивались к нам за рампу. На первом представлении пьесы «Виновны — не виновны» присутствовали дочь Стриндберга и ее муж. Они были очень взволнованы спектаклем и спрашивали, неужели такая замечательная постановка не будет показана в Петербурге. Повторяю, Блок был потрясен ею так же, как когда-то «Жизнью Человека». Он принял все целиком. Особенно ему понравилась Люба в роли Жанны.

МЕЧТЫ И ПРОЕКТЫ

Живи и верь обманам,
И сказкам, и мечтам.

Федор Сологуб

После териокского сезона я должна была служить в провинции, но возвратилась оттуда уже в октябре. Приехав в Петербург, я опять стала часто видеться с Блоком. В этот период у него появилось особое отношение к искусству. Когда я по привычке делилась с поэтом впечатлениями от прочитанного талантливого произведения или игры даровитого музыканта, он неизменно говорил: «Да, но ведь это не имеет мирового значения». Блок считал, что заслуживает внимания только то, что имеет такое значение. Иногда это выводило меня из себя, и однажды я сказала ему: «Я сама прежде всего не имею мирового значения, так вы самое лучшее не разговаривайте со мной». Он рассмеялся и обещал в беседах со мною не оценивать все с такой непомерной строгостью, а потом сейчас же сказал: «Нет, я все-таки должен говорить так, ведь иначе нельзя думать». Помню, что в эти

же дни говорили об Андрееве, которого Блок разлюбил уже тогда за новые писания. Александр Александрович отмечал в нем «хаосничество».

В ноябре Любовь Дмитриевна уехала из Петербурга, и мы начали встречаться с Блоком у его матери, А. А. Кублицкой-Пиоттух, которая жила на Офицерской. Там мы продолжали вести и шутливые разговоры, и серьезные. Когда мы с Н. П. <Бычковым> приезжали к Кублицким без Александра Александровича, мы говорили много о его стихах и о нем самом. Александру Андреевну очень тревожило его увлечение Стриндбергом и в связи с этим возникшая дружба с Пястом, который был «под знаком Стриндберга». Она находила, что Пяст убийственно влияет на состояние духа ее сына своей чрезмерной нервностью и мраком. Вл. Ал. Пяст на многих производил мрачное впечатление, но я лично часто видела его веселым. Он острил по-своему, с юмором. Когда мы с Блоком вели наши шутливые диалоги в его присутствии, он удачно вторил. По словам Александры Андреевны, в Стриндберге Блока поражала и восхищала духовная сила — быть на грани безумия и удержаться, не переступить. И еще она говорила следующее: «У Саши и у меня есть общее со Стриндбергом помешательство. Мы всюду видим знаки, стараемся угадать значение самых обычных явлений. Стриндберг идет по дороге, видит ползущую гусеницу, для него это некий знак... и так во всем...»

У Александры Андреевны мы встречались с другом Блока Евгением Павловичем Ивановым и познакомились с ним настолько близко, что он стал бывать у нас.

Перед войной 14-го года в ряды людей искусства вторглась какая-то почти неуловимая тривиальность, и если она в какой-то мере коснулась даже Сологуба, то нечего удивляться, что целый ряд талантливых людей отдал ей дань, хотя бы ненадолго. Липковская, тонкая, обаятельная певица с несомненным вкусом, решила играть «Псишу», не умея говорить со сцены, и писать рассказы, не умея писать. Северянин, воспевавший мороженое пралине, декламировал свои стихи нараспев с цыганской манерой. Рецензенты и всякие режиссеры толковали вкривь и вкось о кризисе театра. В этой области процветал беззастенчивый дилетантизм. Произносились всерьез такие фразы, как: «Богиня больна! Все собрались вокруг ее ложа, ища средства спасти ее» (это — театр). И все в

этом роде. Как ледяное изваяние, к которому ничто пошлое не могло пристать, стоял Блок, один, среди пестрого общества художников, литераторов и поэтов. Он неизменно оставался «самим собой». Малейшие крупицы пошлости болезненно раздражали его. Вполне понятно, что то же самое испытывали и те, кто часто общался с Блоком. Он был для них маяком, предостерегающим, освещающим тривиальность и мелкое. У нас росло недовольство окружающим, и в конце концов явилось желание как-то протестовать, хотя бы в своем небольшом кружке. Всего чаще мы бывали втроем: Любовь Дмитриевна, Н. П. Бычков и я. Все мечты и проекты рождались у нас на Петербургской стороне, затем мы сообщали друзьям — Мейерхольду, Гнесину, Бонди и другим, если это было в их отсутствие. Всякие решения, разумеется, доводились до сведения Александра Александровича — Любой в первую очередь. Когда у нас зародилась мысль устроить кружок, мы решили притянуть Александру Андреевну[61]. Как выяснилось из разговоров, эта потребность ощущалась и ею самой в такой же почти мере, как у нас. Конкретно мы заговорили об этом в январе 1913 года. Мать Блока откликнулась на наш призыв, очень заинтересовалась и назначила собрание у себя. Мы сообщили всем, чье присутствие считали необходимым. На первом собрании на Офицерской, кроме хозяев — Александры Андреевны и Франца Феликсовича Кублицкого-Пиоттух, были следующие лица: Ю. М. и С. М. Бонди, Е. П. Иванов, В. А. Пяст, В. Н. Соловьев, Л. Д. Блок, Н. П. Бычков и я. Мне вспоминается этот вечер, как нечто чудесное, яркое. Все вопросы обсуждались с большим подъемом. Решили устроить нечто вроде клуба, где предполагали читать доклады и философского содержания, и касающиеся вопросов искусства и общественности. Мы поставили себе задачей борьбу с духом пустоты, который всегда был ненавистен Блоку. Высшая похвала у него выражалась словами: «Духа пустоты нет». Так сказал он, между прочим, о нашем Териокском театре. После первого собрания, на котором Александр Александрович не присутствовал, он мне сказал: «Мама говорила мне... очень хвалила». Через несколько дней собрание кружка состоялось опять у Александры Андреевны. На этот раз ясно обозначилось стремление большинства в сторону театра. Первые мы с Любой выразили, сначала довольно робко, желание организовать, наряду с докладами, драматическую

студию и поднести ее Мейерхольду. Это предложение поддержало большинство. Через недолю собрались у нас с Николаем Павловичем, Обсуждался вопрос, делать ли драматическую студию или ограничиться докладами и диспутами по разным вопросам под руководством Блока. Хотя большинство было за студию, все-таки к окончательному решению не пришли. Еще через неделю разговоры о кружке возобновились опять у Александры Андреевны; на этот раз присутствовал Блок. Настроение было особенно приподнятое.

Все мы находились под впечатлением «Розы и Креста» — новой пьесы Блока, прочитанной нам автором за три дня до этого собрания у себя. На чтении пьесы, кроме участников собрания, присутствовали Ольга Михайловна и Всеволод Эмильевич Мейерхольд, поэт Верховский и, кажется, сестра Чеботаревской. На Мейерхольда, как на всех присутствующих, пьеса произвела сильное впечатление. Ему очень хотелось ее поставить, и он предложил Блоку провести «Розу и Крест» в Александринский театр, однако поэт не хотел давать свою пьесу никому, кроме Художественного театра, который, как известно, взял ее и не поставил. И на меня пьеса произвела громадное впечатление. Океан, туман Бретани, Седой рыцарь через незабываемый звук блоковского голоса предстали передо мной по-особенному реальные, и не хотелось их видеть грубо воспроизведенными на сцене. Мне казалось, что там все будет так, как не надо, и первая мысль, которая пришла мне в голову, была: «Только бы он не вздумал ставить эту пьесу». Я высказала свое опасение потом Блоку. Многие просили у него «Розу и Крест», и всякий раз, когда он говорил об этом мне, был с моей стороны тревожный вопрос, не дал ли он согласия, но Блок неизменно отвечал: «Нет, Валентина Петровна, не дал и не дам». Втайне он, очевидно, все-таки мечтал о Художественном театре.

Наступила весна. Мы продолжали часто видеться с Блоком, причем он бывал почти всегда очень веселым. Однажды я пожаловалась на то, что у меня идет кровь из десен, и Александр Александрович сейчас же заявил с довольным видом, что непременно меня вылечит, так как сам испытал подобные страдания. Он посоветовал мне тинктуру галларум, которую ему прописали во время его болезни. Теперь он говорил об этом с легким смехом.

«Я вас сейчас напишу рецепт, Валентина Петровна», — прибавил он и написал три рецепта на маленьких листочках — по-русски, по-французски и по-немецки. Последний пропал, привожу здесь первые два:

Pour les dents et pour les dentellès de m-me Bitschkoff. Paris, institut de l'agriculture et des siences phisiques 105. Tincture Gallarum 10 cop. (en monnaie russe).

Membre de l'institut *A. Block* *.

Затем: «Госпоже Бычковой Тинктура Галларум — на 10 коп.

Фельдшер епархиальной Оренбургской больницы *Ал. Блок».*

Александр Александрович передал мне эти рецепты через стол с довольным видом, со словами: «Теперь у вас все пройдет...» После смерти Блока я с удивлением читала мрачные, безнадежные фразы под числами тех дней, когда я его видела безудержно веселым.

«Тинктура Галларум», молодой смех и такие слова, как «тоскую...», «безнадежная тоска» и т. п. Думаю, что мрачное настроение часто появлялось у него внезапно, заставляя зачеркивать все веселое и светлое, пережитое в течение дня.

В ту пору я часто навещала Александру Андреевну на Офицерской. Однажды пришла к Кублицким вместе с Н. П. <Бычковым>. Вскоре зашла Люба, а потом Александр Александрович в веселом настроении. Ему пришла фантазия отправиться вместе с нами в «Луна-парк», который находился совсем близко. Мы охотно согласились. Блоку главным образом хотелось прокатиться по искусственным горам, мы и отправились прямо туда. Николай Павлович уже испытал это удовольствие раньше и предупредил, что неожиданные крутые обрывы, взлеты вверх и особенно вниз производят неприятное впечатление, действуют на сердце. Заявление это повлияло на Любу — она осталась стоять у загородки. Мы с Блоком решительно взяли билеты и поехали на тележке, в которой было мало народу.

---

* Для зубов и кружев г-жи Бычковой. Париж. Институт сельского хозяйства и физических наук 105. Тинктура Галларум. 10 коп. (русскими деньгами). Член института *А. Блок* (*фр.*).

Александр Александрович прощался с остающимися «на всякий случай», а они напутствовали нас комическими пожеланиями. Нам обоим понравилось мчаться вокруг горы, поднимаясь все выше над городом, и неожиданно лететь вниз на каких-то сумасшедших поворотах. Когда мы приехали обратно, лицо Блока сияло от удовольствия. Люба и Н. П. смотрели на нас, вопросительно улыбаясь. Блок сказал: «Чудесно. Едемте, Валентина Петровна, опять». После этих слов наши спутники молча переглянулись и тоже взяли билеты. Мы вчетвером поместились. на передних скамейках, а позади уселось несколько девиц, которые все время визжали как-то механически. Это действовало очень неприятно. Нам сказали, что содержатель «Луна-парка» им платил за это. Было непонятно, что прибавлял такой визг к аттракционам? Мы бы катались бесконечно, если бы не этот раздражающий, пустой крик. После гор мы поплыли в лодке по гротам, но это оказалось совсем неинтересно — совершенно бездарная выдумка, которая нас почти рассердила. Затем мы отправились. в лабиринт. Туда нужно было входить по одному, друг за другом. Впереди меня шел Н. П., за мной Александр Александрович и за ним — Любовь Дмитриевна. Была кромешная тьма, мы ступали по чему-то мягкому, пол под ногами прыгал, позади опять кричали пустыми голосами. На меня лично это действовало ужасно. В то время как мои спутники веселились, у меня сердце сжималось от непонятной тоски. Блок говорил мне смешной вздор, но я на этот раз не могла отвечать ему в том же тоне, меня давила темнота, и я собрала все силы, чтобы не закричать от ужаса. Когда я потом рассказала об этом Блоку, он очень удивился и сказал, что на него темнота не действует так удручающе. Мы зашли в некоторые павильоны и потом долго сидели в саду на скамейке. Через несколько дней после этого к нам пришла Люба и рассказала, что Александр Александрович каждый день ходит один кататься на горах. «Докатывается до сумасшествия...» С ним всегда так бывало: когда начинал увлекаться чем-нибудь, весь отдавался этому. В конце мая я уехала к родным. Н. П. писал мне в деревню, что был в «Луна-парке» с моим братом и встретил там Любовь Дмитриевну с Александром Александровичем. Они просили передать мне привет, говорили, что скоро уезжают за границу.

ЛИРИЧЕСКИЕ ДРАМЫ А. БЛОКА В ТЕНИШЕВСКОЙ АУДИТОРИИ

> Автор: Нет, эти господа не годятся для такого рода поэзии. *Я* уж лучше уйду.
>
> *Тик. Кот в сапогах*

Осенью 1913 года наша компания собралась снова. Все были бодры, полны энергии, и некоторым нашим мечтам суждено было осуществиться: мы организовали драматическую студию для Вс. Эм. Мейерхольда. Ввиду того, что, в основном, в нашей студии преподавалась пантомима и музыкальное чтение, что было ново и интересно, студию посещали артисты наряду с начинающей молодежью. В середине зимы мы решили издавать журнал, который должен был освещать работы студии, заявлять о новых исканиях в искусстве. «Журнал Доктора Дапертутто — Любовь к трем апельсинам» стоил совсем дешево его издателям. Все сотрудники писали даром, художник Бонди и затем Головин оформляли его тоже gratis *, редакция помещалась в квартире Мейерхольда. Подписываться на журнал заставляли родственников, которые были вовсе не причастны к театральным делам. Каждый номер выходил в количестве ста экземпляров.

Разумеется, сейчас же был поднят вопрос об участии Блока. Любовь Дмитриевна выразила сомнение в том, что он захочет участвовать в нашем предприятии; по ее словам, он не чувствовал никакого пристрастия к комедии масок, которая как раз прежде всего интересовала издателей. Однако Любовь Дмитриевна ошиблась. Когда Блоку предложили взять на себя редакцию поэтического отдела, он согласился и даже сам давал свои стихи в журнал. В первой книге было напечатано его стихотворение «Анне Ахматовой», в четвертой — цикл, озаглавленный «Кармен», и в первой книге 1916 года — «Голос из хора». На суд Александра Александровича, собственно, поступал весь номер целиком, и Любовь Дмитриевна рассказывала, как он иногда сердился за какие-нибудь промахи, принимал наши дела близко к сердцу. Однажды я ему пожаловалась на то, что подписчики-родственники относятся с пренебрежением к нашему журналу, подписались из благотворительности и ни одной строчки не читают. Блок

* Бесплатно (*лат.*).

рассмеялся и сказал: «Не огорчайтесь, обыватели всегда говорят: «Какой же писатель Иван Иванович? Я вчера с ним чай пил». Теперь наш журнал стал редкостью, мне часто случается слышать фразу: «Не знаете ли, где можно достать журнал «Любовь к трем апельсинам»?» Каждый раз у меня является желание ответить: «У издательских теток, если они не сожгли его во время кризиса топлива».

Как я уже говорила, в студии главным образом занимались пантомимой, но, несмотря на это, пришли к решению поставить лирические драмы Блока в Тенишевской аудитории. По желанию В. Э. Мейерхольда, который давно мечтал о «Незнакомке», приступили к работе над этой пьесой и над «Балаганчиком». Поставить спектакль силами одной студии, разумеется, не удалось. Пришлось пригласить на роль Голубого А. А. Голубева, на Звездочета — А. А. Мгеброва и на роль Председателя мистиков в «Балаганчике» — прежнего исполнителя Гибшмана. Все эти актеры работали уже раньше с Мейерхольдом, и от ах участия спектакль мог только выиграть, однако для «Незнакомки» не хватало главного — самой Незнакомки. Из актрис, посещавших студию, к этой роли никто не подходил ни по внешности, ни по характеру дарования. Мейерхольд решился дать Незнакомку ученице Ильяшенко, способной, хорошенькой киевлянке с мягким южным говором. Было совершенно очевидно, что выбранная исполнительница «причастна не тем раденьям»[62], надо было только удивляться, как не хотели этого видеть. Правда, вначале думали поручить Незнакомку Любови Дмитриевне, но она наотрез отказалась. Во-первых, это выступление было бы слишком ответственным для нее, во-вторых, она считала вообще, что ей неудобно, как жене автора, играть в пьесе главную роль. Любовь Дмитриевна много занималась с Ильяшенко и сделала все, что было возможно, чтобы приобщить ее к творчеству Блока. Вторая Незнакомка — Зноско-Боровская — с внешней стороны была значительнее, по дикции и в передаче стихов несколько лучше, но также еще мало артистична, кроме того, уступала первой в голосовых данных. Мейерхольд, очевидно, рассчитывал, что общий план постановки спасет «Незнакомку». Его увлекло все в целом, и он допустил эту ошибку.

В конце концов я тоже стала надеяться на то, что общий замысел постановки, чрезвычайно интересный, со-

вершит чудо. Мейерхольд и Юрий Бонди хотели, чтобы виденья, вместо обычного занавеса, заволакивала пелена снега.

Белое полотно, голубой газ с расшитыми на нем звездами, легкий деревянный мост горбом — все это должно было создать впечатление легкости. Вместо действия — действительно виденья. У меня явилось опасение, что слуги просцениума, которые должны были действовать в продолжение всего спектакля, убирать предметы, менять занавес, помогать действующим лицам, как раз помешают впечатлению легкости, отяжелят представление. На самом деле вышло не так. Слуги просцениума оказались на высоте положения. Одетые в серое, ритмичные, ловкие, они сами были подобны видениям. Кроме того, их благоговейное отношение к блоковскому спектаклю передавалось залу. То, как они возносили синее звездное небо за мостом, как заволакивали белым, как бы пеленой снега, компанию в кабаке, как закрывали вуалем каждого, входившего на мост, особенно как становились на колени перед эстрадой с зажженными свечами в руках, изображая рампу, и запечатлевалось главным образом в памяти настоящего зрителя. Слуг просцениума играли студийцы: Кулябко-Корецкая, танцовщица Ада Корвин, скрывавшаяся под фамилией Алексеевой, Грипич, Петрова, сам Мейерхольд, скрытый полумаской, Сергей Бонди и другие. Одним из настоящих зрителей блоковского спектакля был покойный Вахтангов, оценивший его как должно. Впоследствии он воспользовался идеей Мейерхольда и ввел слуг просцениума, под странным названием «цани»[63], в «Принцессу Турандот». Вообще, постановка этой пьесы вылилась из «Журнала Доктора Дапертутто».

Однако у вахтанговских «цани» была другая задача — подчеркнутый ритм движения, точно под музыку; внешняя веселость сделала их обыкновенными цирковыми, а слуги просцениума Мейерхольда были совсем иными. Их музыкальность выявлялась не так просто, а главное, они были торжественными, священнодействовали во время представления. Юрий Бонди придумал грим для действующих лиц. Чрезвычайно удачно были сделаны глаза Незнакомки и Голубого. От ресниц, как бы продолжением их, шли синие лучи к бровям и вниз. От этого глаза получались большие и сияющие. Бобрищев-Пушкин насмешливо писал об этом: «У Незнакомки были огромные ресницы во все щеки, нарисованные так, как рисуют де-

ти». На самом деле лучи шли вниз чуть-чуть дальше, чем подводят обычно глаза. Тот же рецензент не уразумел игры длинного плаща Голубого. Один из слуг просцениума благоговейно расстилал край плаща, подчеркивая его значение, заставляя ткань играть, участвовать в театральном представлении, а пошлый рецензент писал: «Так как на лестнице было трудно стоять с плащом, то один из прислужников все время ему укладывал плащ, как поудобнее»[64]. Рецензент бранил спектакль, в сущности, за плюсы, но в представлении нашем были и некоторые минусы, которых я не хочу замалчивать. Прежде всего — убогое освещение Тенишевской аудитории, его, должно быть, не учли режиссер и художник, задумав игру с тканями, заменяющими кулисы, задник и обычный занавес, изображающий снег и небесный свод. Я убеждена, что если бы было надлежащее освещение, спектакль имел бы б*о*льший успех даже у средней буржуазной публики.

Затем, многие, близко стоящие к делу, считали неуместным участие в блоковском спектакле жонглеров-китайчат, которыми Мейерхольд пленился где-то на улице во время их представления и захотел, чтобы они выступили во время антракта. Эта идея его настолько захватила, что с ним ничего нельзя было поделать, он точно помешался на этих несчастных китайчатах. Они жонглировали ножами во время антракта. Это получалось трогательно-нелепо, как-то ни с того, ни с сего. Точно пришел кто-то с улицы и заорал: «Ножи точить, паять...» Также казалось мне тогда неправильным, что слуги просцениума разбрасывали среди публики апельсины: казалось, это не гармонировало с содержанием спектакля.

«Балаганчик», о котором Чеботаревская писала, что он «выдержан с б*о*льшею стойкостью и разыгран совсем хорошо»[65], по-моему, проиграл в новой постановке. Прежде всего большим минусом было то, что Пьеро играл не Мейерхольд, и еще то, что представление было вынесено в публику. На месте уничтоженных первых рядов развертывалось действие с масками.

В театре Коммиссаржевской маленькая сцена «Балаганчика» была отодвинута в глубину, и только те из зрителей, внимание которых особенно устремлялось к актерам, ощущались ими и втягивались в их круг. Чуждое оставалось в зрительном зале. В Тенишевской аудитории актеры оказались во враждебном лагере. По крайней ме-

ре, половина зрителей была глуха к поэзии Блока и враждебна режиссеру, актеры же вынуждены были действовать в тесном окружении такой публики, что, несомненно, влияло на их настроение отрицательно. Итак, «Балаганчик» разыгрывался главным образом среди зрителей, на эстраде находился лишь стол мистиков.

Впрочем, последним рядам, которые шли в высоту, зрелище должно было казаться, как в цирке, более собранным. Мейерхольд и Бонди эффектно задумали освещение, но оно, как я уже говорила, не совсем удалось, благодаря слабым лампам аудитории. Люстры завесили цветной бумагой и слюдой, что было очень красиво само по себе, но синий цвет растянутых полотен от этого казался грязноватым. Кроме оформления, изменилось коечто и в построении ролей, и в ритмах. Например, была переделана мной, по требованию режиссера, роль Черной маски из «вихря плащей», хотя такой, как я играла ее раньше, она нравилась автору и режиссеру, критике и публике, дружественной «Балаганчику». Тогда слова произносились в несколько замедленном темпе, зазывающе, нараспев, а вихреобразный движения шли в своем ритме, разумеется соответствовавшем ритму речи. В этом-то и было то новое, что отмечалось критикой. Во второй постановке режиссер заставил меня говорить в том же вихреобразном ритме, и, вероятно, благодаря этому роль доходила до всякой публики. Так Черная маска звучала проще. Теперь и костюм был другой, обязывающий к другим движениям. Юрий Бонди сделал его коротким, с ментиком, заменяющим плащ, а сапуновский был длинным, плиссированным, состоял из двух половин — черной и красной. Длинные разрезные рукава играли вместо плаща. Головной убор — в виде громадного банта. В аудитории нам дали мало репетиций. Генеральную репетицию пришлось сделать в Страстную субботу. Как всегда водится, последняя затянулась. Когда время стало близиться к одиннадцати часам ночи, все начали волноваться, некоторые барышни даже тихонько поплакали. Приближался час заутрени, всех ожидали нотации, неприятности от домашних. Однако никто из участвующих не посмел заикнуться о том, что пора кончить репетировать. Мейерхольд работал в этот день с бешеной энергией. Декорации трудно прилаживались, слуги просцениума должны были ловко делать перемены, возились главным образом с этим. Заказанная в Александринском театре бутафория оказалась никуда не

годной. Режиссер и художник решили ее переделать. Им хотелось, чтобы все яства, фрукты имели вид не натуральный, а театральный, чтобы предметы эти «играли». Студийцы, во главе с братьями Бонди, принялись за работу и просидели за ней в Тенишевской аудитории, кажется, три дня.

На первом спектакле[66] было очень много народу, пустых мест не оставалось. «Балаганчик» шел после «Незнакомки», так что мне удалось увидеть второе «виденье». Первое прошло благополучно. Когда возвели горбатый мост и слуги просцениума торжественно подняли синий вуаль звездного неба на бамбуковых палках, я стала надеяться, что и второе прозвучит по-настоящему, хотя бы благодаря Голубому, которого играл А. А. Голубев, и Мгеброву, игравшему Звездочета. Но на первом представлении Мгебров «выплеснулся» (выскочил) из образа. Однако надо сказать, что на следующих спектаклях он уже играл как должно. Незнакомка не приблизила зрителей к видениям Блока. Роль для нее была трудна. Все же некоторым она нравилась. Но главным образом взбесили публику китайчата своим неуместным жонглированием.

Нам, участникам «Балаганчика», после их выступления пришлось бороться с враждебными настроениями, и тут нам в значительной мере помогла обаятельная музыка Кузмина. На первом представлении пьеса в целом успеха не имела. Блока все-таки вызывали. Он вышел через силу, с опущенными глазами, с сжатым ртом, а актеры, с наклеенными носами, с преувеличенно намазанными лицами, радостно аплодировали ему, и казалось, что вокруг него кривляются какие-то чудища. Я убежала скорее за кулисы, стараясь не встретиться с Блоком в этот вечер. Александр Александрович ушел домой мрачный и не приходил на спектакли два или три дня, но потом сердце его не выдержало, и он пришел опять. Он сел на ступеньки между рядами вместе с Юрием Бонди, и на этот раз ему вдруг представление понравилось. После этого Блок не пропустил уже ни одного спектакля. Он даже жалел, что сделал перерыв после первого.

Теперь, когда я вспоминаю эту постановку, вижу ее на расстоянии, для меня ясно, что в ней была своя правда — и наклеенные носы посетителей кабачка, и китайчата в их черной одежде с серебряными драконами, и золотые апельсины, и выход Мейерхольда на вызов с Юри-

ем Бонди на руках — все это было молодо и талантливо и нисколько не умаляло поэзии Блока. В этом был свой особый шарм, который подействовал, как я уже говорила, на самого Блока и на молодого режиссера Вахтангова, толкнув последнего на новые рельсы, и, кроме этих двух, еще на целый ряд деятелей искусства.

Прошли блоковские спектакли, закончились занятия в студии.

Вскоре после пасхальной недели я уехала в деревню, куда меня вызвали телеграммой к больному родственнику. В сентябре мы с Н. П. <Бычковым> предполагали ехать за границу. Незадолго до отъезда в деревню я была у Блоков. Александр Александрович много шутил. Я рассказала ему с огорчением, что экземпляр «Снежной маски», подаренный им когда-то мне, изгрыз охотничий щенок, который потом подох от чумы.

Блок немедленно подарил мне опять книжечку стихов «Снежной маски» со следующей надписью: «Сия книга, ныне являющаяся библиографической редкостью, поднесена автором Валентине Петровне Веригиной ввиду сделанного ею 23 апреля сего 1914 года заявления о том, что первобытный ее (книги) экземпляр был съеден собакою, которая от того скончалась. О, сколь изменчивы и превратны судьбы творений, нами тиснению предаваемых! *А. Блок».*

ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ПОСЛЕДНИЕ ИСКРЫ ВЕСЕЛЬЯ

И реже смех средь песен раздается,
И чаще мы вздыхаем и молчим.

Пушкин

Я возвратилась в Петербург в июле. Меня ждала война и разлука с близким мне человеком. Не знаю, был ли Блок в Петербурге во время объявления войны. С Любой мы виделись, говорили по телефону. Она начала действовать сейчас же: поступила в госпиталь сестрой милосердия, чтобы затем отправиться на фронт. Советовала и мне сделать то же, говорила, что мне будет легче, но я действовать не могла, мне было слишком тяжело. Я страдала не только от того, что боялась за жизнь мужа, призванного в ряды армии, но и от общей тревоги. Мне казалось, что воздух содрогается от этой тревоги, что вся ат-

мосфера насыщена беспокойством миллионов людей, их страхом и печалью за близких.

Я осталась совсем одинокой потому еще, что все мои друзья, мои «близкие», стали вдруг «далекими». Куда я ни заходила, везде висела на стене карта, утыканная флажками, которые продавались в магазинах специально для патриотически настроенной публики. Такими флажками обозначались районы, занятые нашими войсками. Если в каком-нибудь доме и не висела такая карта, то все-таки велись разговоры о сражениях, терзавшие мне сердце. Все увлекались войной, как будто бы это была какая-нибудь игра в шахматы. Я скоро стала избегать встреч со знакомыми. Казалось бы, что в таком настроении мне лучше всего было пойти к Александре Андреевне, где я могла встретиться с Блоком. Казалось бы, что в такой серьезный момент мне прежде всего следовало прибегнуть к его мудрости, однако именно этого я и не захотела сделать. Должна сознаться, что я боялась встретить там то же «патриотическое» настроение. В конце концов мне пришлось увидеться с Блоком, пришлось говорить с ним и о войне, но это было позднее, когда прошел самый острый момент. После того как я выразила негодование по поводу всеевропейского избиения, он сказал серьезно, что в главном согласен со мной, но что все-таки тут есть нечто и положительное, нечто возвышающее людей. У простых, грубых появилось что-то новое в лицах и движениях. Стоит только посмотреть на какого-нибудь солдата и его жену, стоящих на площадке трамвая, как они ласково держат друг друга за руки, какие у них серьезные, светлые *лица*, — чувствуется, что перед разлукой, перед грядущей опасностью, ссоры и дрязги, все мелкое и обыденное отошло от них и они ценят теперь каждую минуту, проведенную вместе.

От Блока и его матери я не слышала стереотипных фраз. О войне заходила речь в связи с пребыванием Любови Дмитриевны на фронте — собственно, больше о ней.

Однажды Александра Андреевна была в Мариинском театре. В ту пору перед началом оперных спектаклей исполнялись гимны всех союзных наций. Как раз на другой день я зашла к Кублицким, и Александра Андреевна заговорила об этом. Она сказала, что больше всего по музыке ей нравится русский гимн, а «Марсельеза» возмущает своей внешней эффектностью. Мать Блока не любила французов, находя их поверхностными и легкомысленны-

ми, называла часто «французишки». Русскому гению близок гений немецкий, говорила она, «это неестественно, что мы воюем с немцами». Я согласилась с этим, так как очень любила немецкую романтику — в лице Гофмана, Тика, Клейста — и немецкую музыку.

В тот же день зашел Блок. В разговоре с ним я заметила, что, по-моему, разные национальности никогда не могут понять до конца друг друга. Немцы, например, мне как будто бы близки, но когда я подумаю о вкусах и стремлениях всего народа, я чувствую, что они мне чужды.

На это Александр Александрович возразил: «Нет, люди искусства у всех народов одинаковые по существу. Поэт-немец поймет русского поэта гораздо скорее, чем своего соотечественника, не причастного к искусству». И прибавил, что в тех иностранных писателях, кого он знал, он никогда не видел другую национальность с чужими чертами, они были для него свои, понятные.

Все эти разговоры велись, разумеется, не в начале осени, а гораздо позднее. Повторяю, первые недели войны я не встречалась с Блоком. В то время я была придавлена событиями и не могла ни о чем думать, кроме того ужаса, который заволакивал мой мир.

В конце августа я получила извещение о том, что мой муж ранен, и поехала в Варшаву. Его привезли в Петербург, и месяца через полтора он выздоровел. Наконец наступило настоящее облегчение: Н. П., как специалиста-инженера, перевели в мастерские автомобильной роты, которая формировалась в Петербурге. Таким образом, три-четыре месяца я могла отдохнуть от тревоги и стала опять посещать студию, бывать у знакомых и встречаться с Блоком у Александры Андреевны.

Однажды он пришел к Кублицким при мне в каком-то особенном, заметно приподнятом настроении. Мы сидели за чайным столом втроем и все время говорили о Любе, которая была на австрийском фронте. Еще до прихода Александра Александровича Александра Андреевна сказала мне: «Саша послал Любе модные журналы, сам ходил покупать». Я удивленно спросила, зачем ей там моды. На это Александра Андреевна ответила: «Саша знает, что она это любит — ее немного развлечет»... Меня очень тронули эти «журналы»: в обычное время

Блок относился к таким вещам с насмешкой. Среди разговора Александр Александрович вынул из бокового кармана сложенные листы с напечатанными стихотворениями и передал мне их со словами: «Вот, Валентина Петровна, это я хочу дать вам». Мне запомнилось мягкое выражение его глаз в тот момент, печальный, исполненный нежности, звук голоса. Я сразу поняла, что стихи относились к Любови Дмитриевне. Я пробежала их глазами. «За горами, лесами, за дорогами пыльными, за холмами могильными...»

Я невольно прочла вслух конец: «И сжимаю руками моими чародейную руку твою».

В этом было столько Любы и Александра Александровича!

Блок молчал, опустив глаза. На листках было напечатано еще два или три стихотворения. Кажется, «Приближается звук...», «Протекли за годами года...», «Пусть я и жил не любя...». Эти листки не сохранились у меня: они пропали вместе с шуточным письмом и немецким рецептом. Настроение всего вечера окрашивалось цветом Любы. Мне ее тоже недоставало, и я рада была ощутить хотя бы ее тень. Опять чудился запах «Розы Коти» в комнате, где мы часто бывали все вместе, где она смеялась своим искренним смехом.

Каждый час, проведенный с Блоком и его матерью, вносил освежающую струю в мою жизнь. Здесь было совсем по-другому, чем в других знакомых домах. Мы не говорили о фронтах и не гадали о том, кто кого победит. Если в разговоре Блока встречался мотив войны, он тотчас же углублялся в обобщения и как-то становился непохожим на жуткую злобу дня того времени. Александр Александрович, разумеется, не мог и не хотел отмахиваться от происходящей трагедии, но он не жил деталями ее, а всегда смотрел в будущее, которое пугало его, пожалуй; еще больше. Последнее начало проскальзывать все чаще и чаще с конца 1915 года.

В феврале, до спектакля студии, Н. П. уехал в Белосток, куда направили сформированную автомобильную роту. Я поехала туда в начале марта и возвратилась в Петербург осенью.

Тринадцатого октября у меня родился сын. Любовь Дмитриевна согласилась быть крестной матерью. Первый

мой выезд после болезни был к Блокам. С фронта приехал на несколько дней Н. П. Любовь Дмитриевна зашла к нам и пригласила к себе от имени Александра Александровича. Помню, как я радовалась предстоящему свиданию с Блоком, радовалась, что буду за «блоковской чертой» — и станет необычно. Собралась всегдашняя наша компания в небольшом количестве. Весь вечер Блок был в чудном настроении. После чая мы перешли в кабинет. Соловьев и, кажется, Кузмин стали играть в шахматы. Кому-то вздумалось держать пари за одного из них Александр Александрович немедленно принял участие и вошел в азарт. Ему скоро надоело дожидаться конца партии, и он предложил просто играть в чет или нечет, открывая наудачу книгу на какой-нибудь странице. Стали играть все. Меня нисколько не увлекала игра, но мне нравилось смотреть на смеющееся, азартное лицо Блока, который веселился, когда выигрывал и проигрывал, одинаково. В результате в проигрыше остался он один, и все над ним потешались.

Мне было весело, как в былые времена на Лахтинской и на Галерной. Я нисколько не подозревала, что больше такой вечер не повторится никогда. Мы продолжали видеться с Блоком еще почти полтора года и, случалось, вели веселые разговоры, но уже не так.

Я уже упоминала о том, что Блок редактировал стихотворный отдел в «Журнале Доктора Дапертутто». В первой книжке 1915 года напечатан «Голос из хора»

Как часто плачем, вы и я,
Над жалкой жизнию своей,
О, если б знали вы, друзья,
Холод и мрак грядущих дней!

С этих пор мрачные ноты все чаще встречаются и в разговорах Блока. При свиданиях мы реже шутили и смеялись. Лето я провела в Пскове. Когда приехала в Петербург, узнала, что Люба собирается уезжать в провинцию.

Н. П. отправился со своей частью на румынский фронт. Личные переживания опять закрыли для меня все остальное. Я даже не удосужилась пойти ни на одно выступление певца Алчевского, который с большим успехом, очень тонко исполнял романсы Гнесина на слова Блока. Песнь Алискана из пьесы «Роза и Крест» Гнесин играл и напевал нам сам у Бонди.

В январе я неожиданно получила телеграмму от мужа, который вызвал меня в Одессу, так как туда перевели их мастерскую. Последнюю встречу с Блоком не помню.

В 1916 году он был призван и, кажется, уехал еще до моего отъезда.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Мне вечность заглянула в очи,
Покой на сердце низвела,
Прохладной влагой синей ночи
Костер волненья залила.

Блок

Я уехала в Одессу за месяц до Февральской революции. После февраля получила письмо, полное восторга, от Ады Корвин, которая встретила революцию с большой радостью. Через некоторое время я стала получать письма и от Любы. В одном из них она жаловалась на то, что Александр Александрович ничего не пишет, очень занят общественными делами. Ближе к осени она обратилась ко мне с просьбой прислать им белого хлеба. Я исполнила ее просьбу, но ответа уже не получила. Сообщение становилось все затруднительней. Я рвалась к себе домой, но из-за маленьких детей (в Одессе родился мой второй сын) я вынуждена была оставаться на юге около четырех лет. Все эти годы я копила вопросы Блоку. Я привыкла нести все свои суждения на его суд. Брестский мир вызвал у меня новые мысли, и я представляла себе, как передам их Блоку, гадая, что он на это ответит. Через некоторое время до нас дошли «Скифы» и «Двенадцать». В кругах интеллигенции ходила фраза: «Блок благословил большевизм». Нас все больше и больше тянуло на родину, но мы попали туда только в 1920 году. По приезде в Москву я прежде всего встретилась там с Мейерхольдом, который заведовал Театральным отделом.

Мне очень хотелось поскорее увидеть Александра Александровича и Любу. Я собиралась поехать осенью в Петербург, но вскоре после моего приезда в Москву Блок приехал туда сам, чтобы выступить на вечере. Я узнала об этом, но, к своему большому огорчению, никак не могла пойти повидаться с ним. Я была нездорова,

и встречаться с Александром Александровичем после долгой разлуки больной мне не хотелось.

Я надеялась, что скоро увижу его и Любовь Дмитриевну в Петербурге. Мне передавали потом, что в этот приезд у Блока был очень болезненный вид, он казался слабым, его видели на вокзале перед отходом поезда опирающимся на палку[67]. Выше я описывала встречу Волоховой с Блоком в Художественном театре. Встреча эта произошла как раз тогда[68]. Несмотря на сообщения о плохом состоянии здоровья поэта, мне не приходила в голову мысль, что болезнь его опасна. Поэтому смерть Блока явилась для меня совершенно неожиданным ударом. Помню, в яркий солнечный день летом, нежданно-негаданно пришло ко мне известие о его кончине — через банальную газетную заметку. Писал Коган: «Умер Александр Александрович Блок — вспомнились мои разговоры с ним...» дальше я не стала читать, достаточно было первой фразы: то, что следовало дальше, было уже не о Блоке. Смерть Александра Александровича показалась каким-то невероятным явлением, странным, никак не укладывающимся в сознании. Ушел самый большой, самый нужный из нас, так рано, в разгаре творческой жизни! Это первое, что сверлило мозг, что мучило сознание, затем все больше с каждым днем росло ощущение утраты необходимого, важного для меня лично. Все скопившиеся вопросы остались без ответа. Вообще я могла подолгу не видеть Блока и не переписываться с ним. Мне достаточно было помнить, что он, знающий больше всех других, существует, что у него можно спросить при свидании обо всем, что интересует, прибегнуть к его мудрости. И еще мне было горько от того, что покинул жизнь вместе с поэтом его веселый двойник, умевший зажигать огни неповторимых шуток и вызывать в нас беспечный смех.

Зимой я поехала в Петербург с тем, чтобы повидаться с Любовью Дмитриевной и Александрой Андреевной. Они жили в блоковской квартире (угол Пряжки и Офицерской) вместе с Марией Андреевной Бекетовой, «тетей», как называл ее Александр Александрович, не прибавляя имени.

Александра Андреевна едва говорила, настолько она чувствовала себя плохо, но мне очень обрадовалась и все время, пока я у них была, сидела со мной. Сначала я боялась упоминать об Александре Александровиче,

но потом случилось как-то так, что мы только о нем и говорили. Вышло это просто и легко. Александра Андреевна вспоминала о сыне так, как будто он не ушел навсегда. На письменном столе стояла фотография Блока с очень худым лицом и большими сияющими глазами — необыкновенно живыми[69]. Когда я стала ее рассматривать, Александра Андреевна сказала: «Сашенька тут веселый, он ведь часто бывал веселым даже и в последние годы».

Пока Люба занималась хозяйскими делами в столовой, я сидела с «тетей» и Александрой Андреевной в их комнате. Между прочим, мать Блока сказала: «Валечка, Люба меня теперь любит, она заботится обо мне». Когда пришла Люба, я сразу почувствовала, что с ней не надо говорить о Блоке. Она очень изменилась, одетая во все черное, казалась другой. Траур подчеркивал ее скорбь. Люба старалась говорить обо мне, расспрашивала о Н. П. и о детях, о своей жизни почти не говорила. Только в следующие приезды, когда горе улеглось, она рассказала мне о последних днях Блока. Когда я приехала опять в Петербург, кажется, через год, я не застала Александру Андреевну в живых. С Марией Андреевной я виделась без Любы, и «тетя», говоря о ней, по обыкновению, с нежностью, все-таки упрекнула ее за жестокий, по ее мнению, поступок с Александрой Андреевной. Незадолго до смерти Александра Александровича, будучи не в состоянии выдержать дальше разлуку с больным сыном, мать его приехала в Петербург. Когда она пришла к Блоку, Любовь Дмитриевна не пустила ее в квартиру, стояла с ней на лестнице и упросила отложить свидание с сыном, уверяя, что волнение плохо отразится на его здоровье. Александра Андреевна подчинилась этому требованию и уехала, но ей не пришлось уже больше увидеться с Александром Александровичем, так как он вскоре умер[70]. Я не заговаривала об этом случае с Любовью Дмитриевной, впоследствии она рассказала мне о нем сама. Между прочим, она говорила, что мать убийственно действовала на Блока во время болезни. После свидания с ней ему становилось значительно хуже. И раньше, всякий раз, когда настроение Александры Андреевны бывало подавленным, когда она нервничала, это отражалось на настроении сына, и обратно. Они неизменно заражали друг друга своей нервозностью. Люба говорила еще, что во время болезни, несмотря на сильную

привязанность к матери, Блок не выражал желания видеть ее близ себя. Он хотел присутствия одной Любы. По ее словам, для нее самой было очень тяжело то, что она была вынуждена отговорить Александру Андреевну видеться с сыном, но я надеялась, говорила Любовь Дмитриевна, что он поправится, а тут мне казалось, что свидание это его окончательно убьет. Сама Александра Андреевна простила ей, это доказывает вышеприведенная фраза: «Люба меня любит...», и т. д. Действительно, после смерти Блока Любовь Дмитриевна очень заботилась о его матери, окружала ее вниманием и лаской. <...>

Мне лично осталось лишь печальное утешение, что я не была свидетельницей угасания Блока, и в моей памяти остался большой, веривший в свою миссию поэт и ничем не заслоненный образ беззаботного предводителя снежных масок, «того, веселого, в сукне да соболях» [71].

КОММЕНТАРИИ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Настоящий двухтомник является, по существу, первым сводом воспоминаний об Александре Блоке. Небольшую книжку «А. А. Блок в воспоминаниях современников и его письмах» (М., 1924), составленную Н. С. Ашукиным, не приходится брать в расчет: в нее, наряду с другими материалами, вошли крайне незначительные по объему отрывки из немногих воспоминаний, опубликованных к тому времени. Вторым — и последним — опытом отчасти в этом роде явилась книга: «Судьба Блока». По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам составили О. Немеровская и Ц. Вольпе (Л., 1930). Это образец модного в свое время мозаического «монтажа», в котором в числе других разнообразных источников использованы выдержки из мемуарной литературы.

В настоящем сборнике объединена б*о*льшая часть самого содержательного, ценного и достоверного из того, что современники рассказали об Александре Блоке. Многие воспоминания извлечены из редких и труднодоступных изданий. Некоторая часть материала полностью или частично публикуется впервые (воспоминания Ф. А. Кублицкого, Г. П. Блока, Л. Д. Блок, К. С. Арсеневой, Н. А. Нолле-Коган, И. Н. Розанова).

Два слова о расположении материала. Почти все воспоминания охватывают факты и события разных лет, так что приурочить их к какому-либо определенному периоду жизни Блока — невозможно. Дробить же воспоминания на части значило бы непоправимо нарушить целостность рассказа и вернуться к не оправдавшим себя принципам «монтажа».

Материал сборника распределен по трем крупным разделам («Юность поэта» «Испепеляющие годы» и «Великий Октябрь»), а внутри разделов расположен, как правило, в единственно доступном в данном случае хронологическом порядке — по времени первой встречи мемуариста с А. А. Блоком. Отступления от этого правила сделаны в тех немногих случаях, когда *основное* содержание воспоминаний касается более позднего времени, нежели время первой встречи. Общая последовательность жизни и деятельности Блока при таком расположении материала все

же соблюдена — в той мере, в какой это оказалось возможным.

В немногих случаях в тексте воспоминаний сделаны купюры, отмеченные многоточием в угловых скобках. Сокращения коснулись главным образом того, что уводит в сторону от предмета рассказа, не имеет прямого отношения к А. А. Блоку либо дублирует уже рассказанное другим мемуаристом. При всем том, конечно, нельзя было — при обширности и пестроте материала — избежать отдельных повторений, особенно в тех случаях, когда речь идет о событиях, происходивших на глазах у многих людей (публичные выступления Блока, его похороны и т. п.). В необходимых случаях они оговорены в примечаниях, равно как и встречающиеся в тексте противоречия.

Полная унификация текста в данном случае остается недостижимой. На некоторых воспоминаниях лежит яркая печать индивидуального стиля и манеры, выраженных даже в особенностях пунктуации. Это касается, например, А. Белого или А. Ремизова. Сглаживать такое стилистическое своеобразие, разумеется, не было оснований.

Вместе с тем следует отметить, что публикуемый в сборнике текст воспоминаний А. Белого дефектен: очевидно, он был записан под диктовку, а в дальнейшем не выправлен. Он засорен множеством ошибок в написании отдельных слов, фамилий, инициалов и названий, в падежных согласованиях, в пунктуации и т. д. Ошибки устранены — в той мере, в какой это удалось сделать.

Библиографические справки (в примечаниях) ограничиваются указанием на первую публикацию и на источник печатаемого текста. Если воспоминания публиковались единожды, указывается только источник текста.

Краткие справки об упоминаемых в тексте лицах, а также литературных произведениях, периодических изданиях, издательствах и т. п. вынесены в Указатель имен и названий (во II томе сборника). Широко известные имена оставлены без пояснений.

Приношу благодарность И. П. Абрамскому, Л. Н. Качалову, П. В. Куприяновскому, Ю. М. Лотману, З. Г. Минц и В. С. Спасской, которые помогли мне сообщением некоторых нужных сведений.

В подготовке издания на последнем этапе работы деятельно участвовали К. А. Кумпан и А. М. Конечный.

Вынесенные в эпиграф слова поэта Ю. Н. Верховского взяты из его неопубликованного очерка «В память Александра Блока. Отрывочные записи, припоминания, раздумья» (копия в собрании В. Н. Орлова).

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

I—VIII — Александр Блок. Собрание сочинений в восьми томах. Под общей редакцией В. Н. Орлова, А. А. Суркова, К. И. Чуковского. М.—Л., Государственное издательство художественной литературы, 1960—1963.

IX — Александр Блок. Записные книжки 1901—1920. Под общей редакцией В. Н. Орлова, А. А. Суркова, К. И. Чуковского. Составление, подготовка текста, предисловие и примечания Вл. Орлова. М., «Художественная литература», 1965.

Блоковский сборник, I—II — Блоковский сборник. Труды научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока, май 1962 года. Тартуский гос. университет. Тарту, 1964. Блоковский сборник, II. Труды Второй научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока. Тартуский гос. университет. Тарту, 1972.

ИРЛИ — Архив А. А. Блока в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР,

ЛН — «Литературное наследство».

Переписка — «Александр Блок и Андрей Белый. Переписка». Редакция, вступительная статья и комментарии В. Н. Орлова. М., Государственный литературный музей. Летописи, книга седьмая, 1940.

Письма к родным, I—II — «Письма Александра Блока к родным». С предисловием и примечаниями М. А. Бекетовой. Л., «Academia», 1927. «Письма Александра Блока к родным», II. Под редакцией и с примечаниями М. А. Бекетовой и предисловием В. А. Десницкого. М.—Л., «Academia», 1932.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы в искусства СССР.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЮНОСТЬ ПОЭТА

М. А. БЕКЕТОВА

АЛЕКСАНДР БЛОК И ЕГО МАТЬ

1. АЛЕКСАНДР БЛОК

Печатается (в извлечениях) по книге: М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать. Воспоминания и заметки. Л.—М., 1925 (с. 13—91).

Бекетова Мария Андреевна (1862—1938) — тетка Блока, четвертая, младшая, дочь А. Н. Бекетова, писательница и переводчица (с польского, немецкого, французского), автор популярных пересказов (Жюль Верн, Сильвио Пеллико), биографий (Андерсен), научно-популярных очерков («Голландия», «История Англии» и др.). Перу М. А. Бекетовой принадлежат две книги: «Александр Блок. Биографический очерк» (1922; изд. 2-е—1930) и «Александр Блок и его мать» (1925) и очерк «Веселость и юмор Блока» (в сб. «О Блоке». М., 1929), написанные на основании личных воспоминаний и материалов семейного архива. Под редакцией и с пояснениями М. А. Бекетовой были изданы «Письма Александра Блока к родным» в двух томах (1927—1932). В рукописи остались работы М. А. Бекетовой — «Шахматовская хроника», «Александр Блок в письмах <разных лиц> к отцу» и незаконченная биография А. Н. Бекетова. Важным источником биографических сведений о Блоке служит неопубликованный дневник М. А. Бекетовой *(ИРЛИ).*

1. *Мать Блока* — Александра Андреевна Бекетова, третья дочь профессора-ботаника и ректора Петербургского университета (в 1876—1883 гг.) А. Н. Бекетова, 7 января 1879 г. вышла замуж за приват-доцента Варшавского университета юриста и философа А. Л. Блока и сразу после свадьбы уехала с мужем в Варшаву.

Осенью 1880 г. А. Л. Блок вместе с беременной женой (это была вторая беременность Александры Андреевны, — первый ребенок умер в сентябре 1879 г. при родах) приехал в Петербург для защиты магистерской диссертации. Здесь Александра Андреевна призналась родителям, что муж жестоко обращается с нею. Уступив настояниям семьи (главным образом отца), она решила расстаться с А. Л. Блоком. Сохранился черновик письма, в котором А. Н. Бекетов извещал А. Л. Блока, что жена к нему не вернется (А. Щербакова. Андрей Николаевич Бекетов. М., 1958, с. 33). Окончательный разрыв произошел накануне рождения А. А. Блока. Поэт родился 16(28) ноября 1880 г. в «ректорском доме» Петербургского университета (Университетская набережная, 9), рос и воспитывался в семье Бекетовых до сентября 1889 г., когда его мать вторично вышла замуж — за гвардейского офицера Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух. Но и после этого Блок был связан с Бекетовыми теснейшим образом.

2. В одном из «планов» поэмы «Возмездие», написанной в значительной части по семейным преданиям, Блок говорил (в 1911 г.): «Итак, — священен кабинет деда, где вечером и ночью совещаются общественные деятели, конспирируют, разрешают самые общие политические вопросы (а в университете их тем временем разрешают, как всегда, студенты), — а утром маленький внук, будущий индивидуалист, пачкает и рвет «Жизнь животных» Брэма, и няня читает с ним долго-долго, внимательно, изо дня в день:

Гроб качается хрустальный...
Спит царевна мертвым сном.

Внук читает с няней в дедушкином кабинете (Кот Мурлыка, Андерсен, Топелиус), а на другом конце квартиры веселится молодежь. Молодая мать, тройки, разношерстные молодые люди — и кудластые студенты, и молодые военные...» (*III,* 463—464). *Няня* — любимая Блоком «няня Соня» (С. И. Колпакова). Она и впоследствии часто навещала Блока — вплоть до 1918 г., а когда под старость ослепла и была помещена в богадельню, Блок ей помогал. Известна дарственная надпись Блока на его первой книге — «Стихи о Прекрасной Даме»: «Милой моей няне Соне в знак любви. 16 ноября 1904 года. Петербург» (В. Аристов. История блоковского автографа. — «Вечерний Ленинград», 1966, 24 декабря).

3. В *Шахматове* — подмосковной усадьбе А. П. Бекетова (в 17 км. от станции Подсолнечная б. Николаевской ж. д.) — Блок ежегодно проводил летние месяцы.

4. «Темная, бледно-зеленая...» (*I,* 301).

5. Очень высокую оценку этой книге Блок дал в 1915 г., указав, что в детстве он ее любил (*IX,* 269—271).

6. Об этом стихотворении Я. П Полонского Блок вспоминает в Автобиографии, говоря о «набегавших» на него в раннем детстве «лирических волнах» (*VII,* 12—13).

7. Приведенные М. А. Бекетовой многочисленные образцы детского и отроческого творчества Блока, а также полный пересказ содержания «Вестника» (с. 34—62 ее книги) здесь опущены. Все дошедшие до нас стихи мальчика Блока опубликованы в издании: Александр Блок. Полное собрание стихотворений в двух томах. «Библиотека поэта», Л., 1946 (т. 2, с. 341—365). Комплект рукописного журнала «Вестник» хранится в *ИРЛИ.* Роли в редакции «Вестника» были распределены следующим образом: «Редактор-издатель г-н А. А Блок; заведующий беллетристическим отделом — г-н Ф. А. Кублицкий-Пиоттух; заведующий научным отделом — г-н Н. Е. Лозинский; заведующий картинным отделом — г-н А. А. Кублицкий-Пиоттух; цензор — г-жа А. А. Кублицкая-Пиоттух». О детском творчестве поэта см. также публикацию З. Минц «Рукописные журналы Блока-ребенка» (*Блоковский сборник, II,* с. 292—308).

8. Лист с этими рисунками воспроизведен в книге М. А. Бекетовой «Александр Блок» (изд. 2-е, с. 55) и вторично — *ЛН,* т. 27-28, с. 685.

9. Ошибка памяти; нужно: 1896 года.

10. Встречи с К. М. Садовской (в мае 1897 г., в немецком курортном городе Бад-Наугейм, а потом — в Петербурге, вплоть до конца 1899 г.) оставили глубокий след в творчестве Блока. Кроме стихотворений, обращенных к К. М. Садовской в 1897—1900 и 1903 гг., с воспоминанием о ней связан стихотворный цикл «Через двенадцать лет», написанный в 1909—1910 гг., частично в том же Бад-Наугейме, а также отдельные стихи, например — «Посещение» (1910), «Я вижу блеск, забытый мной...» (1913). До нас дошло двенадцать писем Блока к К. М. Садовской (*VIII,* с. 8 и 11; *Блоковский сборник, II,* с. 315—323).

11. *Боблово* было расположено в семи верстах от бекетовского Шахматова. О любительских спектаклях в Боблове, организатором и душой которых был Блок, рассказано в книгах М. А. Бекетовой «Александр Блок» и «Александр Блок и его мать», а также в воспоминаниях Л. Д. Блок, А. И., С. Д. и Л. Д. Менделеевых (см. наст. том, — последние — в пересказе М. А. Рыбниковой).

12. Осенью и зимой 1899 г. Блок участвовал в Петербургском драматическом кружке. На одном из открытых спектаклей

кружка, устроенном в концертном зале Павловой (на Троицкой ул., 13), он (под фамилией: Борский) играл выходную роль банкира в пьесе Ж. Онэ «Горнозаводчик».

13. См., например: «Летний вечер» (1898), «Ночной туман застал меня в дороге...» (1899), «Еще воспоминание» (1899), «Когда я был ребенком...» (1899), «Белый конь чуть ступает усталой ногой...» (1905); также относящиеся к 1921 г. наброски продолжения второй главы поэмы «Возмездие» (*III,* 470).

2. МАТЬ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

Печатается по книге: М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать. Воспоминания и заметки. Л.—М., 1925 (с. 95—106).

1. Отрывок из третьей главы поэмы «Возмездие», написанный в январе 1911 г. (когда Блоку было не «почти тридцать лет», а шел тридцать первый год); в цитируемом отрывке допущены неточности; курсив в стихах — М. А. Бекетовой.

2. Письма Блока к матери опубликованы в издании *«Письма к родным», I—II;* частично — в *VIII.*

3. Э. Комб. Уход sa детьми, физиологический и нравственный, А. Комба, медика английской королевы, и практические наставления об умственном и телесном воспитании детей дома и в школе. Изд. 4-е. СПб., 1878.

4. Ср. в Автобиографии Блока: «Детство мое прошло в семье матери. Здесь именно любили и понимали *слово;* в семье господствовали, в общем, старинные понятия о литературных ценностях и идеалах. Говоря вульгарно, по-верлэновски, преобладание имела здесь *éloquence* (красноречие); одной только матери моей свойственны были постоянный мятеж и беспокойство о новом, и мои стремления к *musique* находили поддержку у нее» (*VII,* 12).

5. То есть в офицерский корпус казарм л.-гв. Гренадерского полка, в котором служил ее второй муж. Казармы были расположены на тогдашней окраине Петербурга, на берегу Большой Невки, по соседству с фабричным районом Выборгской стороны. Здесь Блок прожил семнадцать лет — с 17 сентября 1889 по 2 сентября 1906 г.

6. В Автобиографии Блок писал: «...я поступил на юридический факультет Петербургского университета довольно бессознательно, и только перейдя на третий курс, понял, что совершенно чужд юридической науке. В 1901 году, исключительно важном для меня и решившем мою судьбу, я перешел на филологический факультет» (*VII,* 15).

А. И. МЕНДЕЛЕЕВА

А. А. БЛОК

Впервые — «Всемирная иллюстрация», 1923, № 11. Печатается по книге: А. И. Менделеева. Менделеев в жизни. М., 1928.

Менделеева (урожденная Попова) Анна Ивановна (1860—1942) — вторая жена Д. И. Менделеева, теща Блока. Дилетантски занималась живописью и поддерживала дружеские связи с художниками, преимущественно из круга «передвижников». Блок относился к А. И. Менделеевой неприязненно, видел в ней — в ее личности и в ее житейских правилах — воплощение ненавистного ему духа «сытости», самодовольного мещанского благополучия и реакционной косности. Крайне нелестная характеристика А. И. Менделеевой содержится в дневнике Блока 1911 г. (*VII,* 111—112).

1. Этот анекдотический рассказ передал и Блок в Автобиографии (*VII,* 8).

2. Преувеличение. Цифра взята из Автобиографии Блока, где она означает общее число стихотворений, написанных до выхода в свет первого сборника (*VII,* 13).

3. В оценке «Стихов о Прекрасной Даме» А. И. Менделеева повторяет мнение Блока, неоднократно им высказывавшееся; как известно, своей ранней лирике Блок придавал значение особое.

4. Около деревни Тараканово.

5. Имеется в виду картина Сассоферрато «Дева Мария» из флорентийской галереи Уффици (см.: *VII,* 46 и 470).

6. В письмах С. М. Соловьева к Белому *(ЦГАЛИ)* сохранились три стихотворения Соловьева, написанные в августе 1903 г. по случаю свадьбы Блока (в печать автор их не отдал). Двустишия, которое приводит А. И. Менделеева, в этих стихах нет.

МАР. ГРИБОВСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

Печатается по газете «Рижский курьер» (вечерн. выпуск), 1921, 7 сентября.

Грибовская Мария Александровна — жена В. М. Грибовского, юриста, писателя, профессора Петербургского университета и Высшей школы в Латвии, в студенческие годы готовившего Блока к поступлению в гимназию. М. А. Грибовская кое-что писала и печатала; ей принадлежит путеводитель по Риму, изданный в 1906 г.

Ф. А. КУБЛИЦКИЙ

САША БЛОК

Печатается впервые — по рукописи, которая была представлена автором в издательство «Художественная литература» для задуманного (в 1946 г.) сборника воспоминаний о Блоке.

Кублицкий-Пиоттух Феликс Адамович (1884—1970) — двоюродный брат Блока, сын его тетки Софьи Андреевны (урожденной Бекетовой) и служившего по министерству уделов А. Ф. Кублицкого-Пиоттух (впоследствии директор Лесного департамента и инспектор корпуса лесничих, тайный советник и сенатор). Получив юридическое образование, Феликс Кублицкий с 1907 по 1917 г. служил в канцелярии Государственной думы, в 1919—1922 гг. находился в рядах Красной Армии, в 1922—1947 гг. работал в Москве — юрисконсультом в разных учреждениях, в библиотеках, в издательстве «Иностранная литература».

В детские и отроческие годы Блок тесно общался с братьями Кублицкими-Пиоттух — Феликсом (*Феролем*) и глухонемым Андреем, но впоследствии пути их разошлись, хотя они и продолжали изредка встречаться — в Шахматове (до 1910 г.) и в Петербурге. В мае 1921 г., будучи в Москве, Блок навестил братьев Кублицких, — это была их последняя встреча.

1. Об увлечении балетом «Синяя борода», относящемся к 1893—1894 гг., см. у М. А. Бекетовой — выше, с. 46.

2. Стихи Блока — из черновых набросков продолжения второй главы поэмы «Возмездие» (*III,* 70).

3. То же (*III,* 468).

4. Первыми впечатлениями от дороги и от Нижнего-Новгорода Блок поделился в письме к матери от 7 июня 1896 г. (*Письма к родным, I,* с. 29—30).

5. *«Поездка в Италию»* («Раздирательная драма в 3-х действиях») сохранилась в составе рукописного журнала «Вестник» *(ИРЛИ).* Пьеса была представлена 23 июня 1896 г. «на частной сцене Шахматовского театра». Блок исполнял заглавную роль В. И. Полякова, «богатого негоцианта»; Ф. Кублицкий — роль П. П. Рупорова, «морского офицера, забулдыги»; А. Кублицкий— роль лакея, «расторопного малого без речей». Источник сюжета пьесы не установлен.

6. Первое представление драматической сцены «Спор древних греческих философов об изящном» состоялось не раньше, а позже «Поездки в Италию» — 1 июля 1896 г.

7. Имеется в виду пьеса не Скриба, а Лябиша («La grammaire»). См. у М. А. Бекетовой, выше, с. 53.

8. См. выше, примеч. 12 к воспоминаниям М. А. Бекетовой (с. 496 наст. тома).

9. В связи с известием о смерти «тети Лены» Блок в дневнике (27 января 1912 г.) вспомнил рассказы о ней и, между прочим, приведенные стихи (*VII,* 127).

С. Н. ТУТОЛМИНА

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

Печатается по журналу «Литературный современник», 1936, № 9, — с двумя добавлениями по авторизованной копии (собрание В. Н. Орлова).

Тутолмина (урожденная Качалова) Софья Николаевна (1880—1967) — двоюродная сестра Блока, дочь его тетки О. Л. Качаловой (урожденной Блок). В 1897 г. окончила гимназию, в 1903 г. — музыкальную школу, в 1905 г. работала на Дальнем Востоке сестрой милосердия военно-санитарного поезда. В молодости Блок, по настоянию отца, поддерживал добрые отношения с семьей Качаловых, особенно — с сестрами Софьей и Ольгой. «Теперь я довольно часто бываю у Качаловых (по субботам), где все со мной очень милы и л ю б е з н ы, — сообщает он отцу 18 октября 1898 г. — Близко познакомился с кузинами и постоянно провожу с ними время» (*VIII,* 7—8).

1. В авторизованной копии это место уточнено: «Хотя мы оба жили в Петербурге, однако семьи наши не бывали друг у друга: наша бабушка, Ариадна Александровна Блок, которая жила с нами, не могла простить матери поэта ее уход от Александра Львовича, ее обожаемого старшего сына, и отношения были порваны».

2. Очевидно, в чужом переводе. Песенка Дездемоны (из трагедии Шекспира «Отелло») была переведена Блоком в 1919 г. (*III,* 414). О переводе, якобы выполненном Блоком в 1898 г., ничего не известно.

3. В первой публикации (студенческий сборник 1903 г.) стихи Блока были подписаны: А. А. Блок. Накануне второй публикации он писал В. Брюсову 1 февраля 1903 г.: «Имею к Вам покорнейшую просьбу поставить в моей подписи мое имя полностью: *Александр* Блок, потому что мой отец, варшавский профессор, подписывался на диссертациях А. Блок или Ал. Блок, и ему нежелательно, чтобы нас с ним смешивали» (*VIII,* 55).

4. Письмо Блока не сохранилось.

5. *VIII,* 453—455.

Г. БЛОК

1. ИЗ ОЧЕРКА «ГЕРОИ «ВОЗМЕЗДИЯ»

Печатается по журналу «Русский современник», 1924, № 3, — в части, относящейся к Блоку (значительная часть очерка посвящена деду, бабке и отцу поэта). В 1940-х гг. Г. П. Блок написал воспоминания об А. А. Блоке заново (рукопись под заглавием «Из семейных воспоминаний» была представлена в 1946 г. в издательство «Художественная литература»). Однако сравнительно с первой редакцией содержание их заметно обеднено. Поэтому предпочтение нами отдано тексту 1924 г.. к которому присоединена общая характеристика А. А. Блока, извлеченная из второй редакции воспоминаний.

Блок Георгий Петрович (1888—1962) — двоюродный брат Блока, сын присяжного поверенного и присяжного стряпчего П. Л. Блока. В 1909 г. окончил Александровский лицей, до 1917 г. служил в канцелярии Сената, имел придворное звание камер-юнкера; в 1918—1923 гг. работал в Академии наук, в 1923—1934 гг. — главным редактором издательства «Время». Писатель, литературовед, переводчик, автор книг: «Рождение поэта. Повесть о молодости Фета» (1924), «Одиночество» (1929), «Каменская управа» (1935), «Пушкин в работе над историческими источниками» (1949), «Московляне» (1951).

1. Ошибка: читалась пьеса не Зудермана, а Бьернсона («Перчатка»).

2. Блок читал известную юмористическую «полубалладу» Вл. Соловьева «Осенняя прогулка рыцаря Ральфа».

3. Дополняем по рукописи очерка «Из семейных воспоминаний»: «Появление молодого нарядного студента взбудоражило не только нас, детвору. Большое впечатление произвел он, по-видимому, и на взрослых. Им любовались и много говорили об его хороших манерах, об его литературности, в которой с удовлетворением видели наследственную черту. Все находили, что он похож на деда Льва Александровича Блока. С этим соглашалась и Сашина мать. Только отец мой настойчиво твердил, что у Саши большое сходство с актером Нильским. Помню, как один из дядюшек, глядя на Сашину спину, красиво обтянутую серой тужуркой, проговорил с явной фамильной гордостью: «До чего строен!» Он и впрямь был превосходно сложен: сухой, широкий в плечах, узкий в бедрах, с крутой грудью и сильными лопатками, плавно сбегавшими к тонкой, молодецки выгнутой пояснице. Это была совсем не городская статность, а какая-то наездническая, казачья, степная или даже, пожалуй, горская. Но правы

были и мой отец, и Никс: Саша держался в то время по-актерски и действительно впадал в картинность. <...> Никс заметил, что у Саши всегда немного дрожат руки. Он не без робости спросил, отчего это. Саша ответил многозначительно: «Следы былых страстей!» Это сильно подняло его в наших глазах. Однако «следы страстей» изгладились довольно быстро: руки вскоре перестали дрожать».

4. Это письмо не выявлено.

5. Блок выехал из дома Дервиза (Галерная, 41) еще летом 1910 г.

6. Раньше Блок лишь мимолетно встречался со сводной сестрой Ангелиной Александровной (дочерью А. Л. Блока от второго брака, с М. Т. Беляевой), когда она была маленькой девочкой. После встречи в Варшаве он с нею сблизился. В очерке «Из семейных воспоминаний» Г. П. Блок пишет: «Мне памятны рассказы моего отца о встречах с Блоком в Варшаве на похоронах Александра Львовича. Мой отец вернулся оттуда очарованный Сашей: много говорил о том, с каким тактом, достоинством и мягкостью вел себя Блок в трудной обстановке погребальных церемоний, в общении со множеством незнакомых и неприятных ему лиц. В жизни Блока эти трагические варшавские дни были одними из самых решающих. Мне передавали, что Блок по дороге на кладбище поглаживал уже запаянный гроб отца. В эти минуты он впервые, должно быть, понял, чем был и чем мог стать для него отец, которого при жизни он проглядел и о котором впоследствии так хорошо сказал в своей Автобиографии: «Я встречался с ним мало, но помню его кровно».

7. «Заглавие книжки заимствовано из стихов Фета, которые некогда были для меня путеводной звездой» (*I*, 332).

8. Г. П. Блок был в ту пору учеником Александровского лицея.

9. И. С. Тургенев редактировал стихи Фета для печати, устраняя подчас их стилистическое своеобразие.

10. Имеется в виду А. М. Горький.

11. Во второй книге трактата «Романтическая школа». Ближайшим образом Блок, очевидно, имел в виду следующее место о Шлегеле: «...все, что относится к современности, остается ему непонятным... Не понимая духа, оживляющего ее, он видит во всей нашей современной жизни лишь прозаическую харю. Вообще, никто, кроме великого поэта, не может понять поэзию своего собственного времени. Поэзия прошлого открывается нам гораздо легче, познание ее легче передать другим. Поэтому г. Шлегелю удалось прославить перед толпой поэтические произведения, в которых погребено прошлое, за счет произведений, в которых

живет и дышит наша современность. Но смерть не поэтичнее жизни» (Генрих Гейне. Полное собрание сочинений, т. 7. М.—Л., 1936, с. 213).

12. Из стих. Фета «Грезы».

13. Возможно, Блок имел в виду строфу из поэмы Вл. Соловьева «Три свидания»:

Один лишь миг! Видение сокрылось —
И солнца шар всходил на небосклон.
В пустыне тишина. Душа молилась,
И не смолкал в ней благовестный звон.

14. Из предисловия к поэме «Возмездие» (*III,* 297).

15. См. в Автобиографии Блока (*VII,* 12).

16. Из стих. Фета «Ярким солнцем в лесу пламенеет Костер...».

2. ИЗ ОЧЕРКА «ИЗ СЕМЕЙНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

1. Однажды на просьбу подписать репродукцию этого портрета Блок ответил: «Портрет Сомова нисколько не похож на меня, и я не хочу его подписывать» («Новый мир», 1955, № 11, с. 153).

2. См. выше — с. 502, примеч. 10.

3. Из стих. Блока «Снежная Дева» (*II, 267*).

4. Из стих. Блока «Успение» (*III,* 120).

5. Из статьи Блока «Владимир Соловьев и наши дни» (*VI,* 158).

6. Из статьи Блока «Дитя Гоголя» (*V,* 379).

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

Печатается по изданию: «Письма Александра Блока». Со вступительными статьями и примечаниями С. М. Соловьева, Г. И. Чулкова, А. Д. Скалдина и В. Н. Княжнина. Л., 1925.

Соловьев Сергей Михайлович (1885—1942) — троюродный брат Блока, сын педагога и переводчика М. С. Соловьева (брата философа) и художницы и переводчицы О. М. Соловьевой, урожденной Коваленской, приходившейся матери Блока двоюродной сестрой. Поэт, переводчик, филолог, автор стихотворных сборников: «Цветы и ладан» (1907), «Crurifragium» (1908), «Апрель» (1910), «Цветник царевны» (1913), «Возвращение в дом отчий» (1916) и поэмы «Италия» (1915), а также книг: «К войне с Германией» (1914), «Богословские и критические очерки» (1916),

«Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева» (написана в 1922—1923 гг., издана в 1977 г. в Брюсселе). Редактор трех изданий стихотворного наследия Вл. Соловьева (1915, 1921). В советское время преподавал в Высшем литературном институте (курс латинского языка, семинар по стихосложению), переводил Эсхила, Софокла, Вергилия, Сенеку, Шекспира, Мицкевича и др. В 1900-е гг. один из активнейших участников кружка мистиков-«соловьевцев» («аргонавтов»), ближайший друг и соратник Андрея Белого. Впоследствии — православный священник; в начале 1920-х гг. перешел в католичество. С Блоком поддерживал тесные дружеские отношения до 1905 г.; в дальнейшем, после крайней острой личной и литературной ссоры (1906—1910 гг.), дружба уже не восстановилась, встречи были редкими и случайными. Общественно-литературная позиция Блока после Октябрьской революции была для Соловьева неприемлема. В 1918 г., после появления поэмы «Двенадцать», он назвал Блока «святотатцем» и «певцом современного сатанизма» («Гонение на церковь». — «Накануне», 1918, № 6, с. 7).

1. *Орарь* — принадлежность облачения дьякона (узкая лента через левое плечо).

2. Из стих. Блока «Светлый сон, ты не обманешь...» (*I*, 313—314).

3. Стихотворение, написанное 14 июля 1901 г. и посвященное С. Соловьеву (*I*, 111),

4. Мария Викторовна Коваленская, троюродная сестра Блока. См. письмо Блока к матери из Дедова от 7 августа 1898 г. — *Письма к родным, I,* с. 42.

5. Первоначальная редакция стих. «Одиночество» (*I*, 636).

6. *«Неписаные догматы»* — выражение Аристотеля, характеризующее сокровенное учение Платона. Так озаглавлено стих. Блока «Я видел мрак дневной и свет ночной...» (22 августа 1900 г.; *I*, 56).

7. Из стих. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...».

8. «Думаю о сочинении (зачетном) на тему: «Сказания об иконах Богородицы»; вероятно, займусь им летом», — писал Блок отцу 30 декабря 1903 г. (*Письма к родным, I,* с. 99).

9. «Болотов и Новиков» (опубликовано по черновику в Собрании сочинений, т. XI, Л., 1934). См. воспоминания А. А. Громова — с. 405 наст. тома.

10. Из стих. «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...» (*I*, 94).

11. Имеется в виду альманах «Северные цветы».

12. Из стих. Вл. Соловьева «Белые колокольчики»: «Наше сердце цветет и вздыхает...»

13. Из стих. Вл. Соловьева «Там, где семьей столпились ивы...».

14. На могиле Вл. Соловьева.

15. *I*, 529.

16. Письмо от 20 марта 1903 г. (*VIII,* 55—56).

17. Из стих. Пушкина «Сонет».

18. Письмо от 9 августа 1903 г. (Письма Александра Блока. Л., 1925, с. 52—54).

19. Из стих. Блока «Я вырезал посох из дуба...» (*I*, 273).

20. Цитировано по памяти (см.: *VIII,* 65).

21. 20 декабря 1903 г. (*VIII,* 77).

22. Первые симптомы душевной болезни появились у Врубеля в мае 1902 г.

23. См.: «Новый путь», 1904, март, с. 91, также: К. Бальмонт. Литургия красоты. М., 1905, с. 54.

24. «Поединок» (22 февраля 1904 г.; *II,* 144—145).

25. Блок познакомился с В. Я. Брюсовым раньше — в Петербурге 30 января 1903 г.

26. Из стих. Блока «На перекрестке...» (*II,* 8).

27. Это стих. С. Соловьева, насколько мне известно, в печати не появилось.

28. Имеется в виду М. Д. Менделеева, младшая сестра Л. Д. Блок.

29. Стихи Пушкина («Отрывок из путешествия Онегина»).

30. «Ночные часы» (1911).

31. Блок ездил в Италию летом 1909 г.

32. Из стих. Блока «Дали слепы, дни безгневны...» (*I*, 320).

33. *Треченто* — итальянское название XIV в., открывшего эпоху Высокого Возрождения.

34. Из стих. «Экклесиаст» (*I*, 220).

35. С. Соловьев, безусловно, имеет в виду «Благовещение» (*III,* 116).

36. С. М. Соловьев женился на Т. А. Тургеневой.

37. Это письмо не выявлено.

38. Блок не жил вместе с матерью и отчимом. Эта встреча (на квартире матери) состоялась 22 декабря 1914 г. Доклад С. Соловьева «О современном патриотизме» состоялся накануне, 21 декабря. Блок, очевидно, на докладе не был (*IX,* 251).

39. Цитаты из стих. Блока «Петроградское небо мутилось дождем...» *(III,* 276) и «Было то в темных Карпатах...» (*III,* 290).

40. *Отнароб* — Отдел народного образования.

М. А. РЫБНИКОВА

БЛОК В РОЛИ ГАМЛЕТА И ДОН-ЖУАНА

Печатается по книге: М. А. Рыбникова. А. Блок — Гамлет. М., 1923.

Рыбникова Мария Александровна (1885—1942) — педагог, литературовед, писательница. В 1903 г. окончила Мариинское училище в Москве, в 1909 г. — московские Высшие женские курсы, в 1909—1918 гг. преподавала в средних школах, а с 1923 г. — в Институте живого слова. В печати выступила в 1914 г., автор работ по методике преподавания русской литературы и по стилистике, исследовательница русского народного творчества. В ее «Книге о языке» (1925) большое место уделено рассмотрению языка Блока (ч. I, гл. 6—7; *ч.* II, гл. 1—3). Публикуемый здесь рассказ о любительских спектаклях в Боблове был записан М. А. Рыбниковой со слов участниц этих спектаклей Серафимы Дмитриевны и Лидии Дмитриевны Менделеевых (внучатых племянниц Д. И. Менделеева) и тем самым имеет значение мемуарного первоисточника.

1. «Бархатной блузы» Блок не носил.

2. Стихов своих А. И. Менделеевой Блок не читал.

3. Текст «Оканеи» восстановлен по памяти С. Д. Менделеевой; рукопись находится в Государственном литературном музее в Москве: «Оканея». Фантастическая драма в двух действиях. Действие на Венере. 1899. Соч. Л. и И. Менделеевых, О. Озаровской, А. Блока. Дополнительные сведения об этой пьесе сообщает О. Э. Озаровская (тесно связанная с семьей Менделеевых): «Однажды, проходя к Анне Ивановне через столовую, я была встречена буйными кликами молодежи, окружавшей кольцом Сашу Блока в студенческом мундире. «К нам, к нам! К нам на помощь! Мы пишем пьесу!..» <...> Дело происходило на планете Венере, есть колдунья, есть загадочная героиня, есть два влюбленных, но дело остановилось — дальше фабула ни с места. Я подала мысль разгадать героиню: она не может никого любить, потому что тоскует по той звезде, которую называют Землею. Колдунья исполняет ее мечту и отправляет ее на Землю. Стали писать коллективно. Александр Блок создавал лирические стихи всерьез («Тоска по Земле»), Ваня (И. Д. Менделеев) и я гнули на сатиру. <...> Любовь Дмитриевна восхищенно приветствовала выдумку каждого. Писали со мной и окончили в два сеанса. Вышла вздорная шутка, как<ую> можно ожидать от шуточного коллективного творчества. Только блоковская линия выделялась серьезностью настроения. И странно: мне всегда кажется, что

фантастика «Незнакомки» (пьесы) возникла именно из этой шутки. Конечно, это только ощущение. Эту пьеску молодежь как-то разыграла в родственном доме Дмитрия Ивановича Менделеева — врача (племянника профессора)» («Д. И. Менделеев по воспоминаниям О. Э. Озаровской». М., 1929, с. 154—155).

Л. Д. БЛОК

И БЫЛЬ И НЕБЫЛИЦЫ О БЛОКЕ И О СЕБЕ

Печатается (в части, относящейся к Блоку) по черновой рукописи *(ЦГАЛИ)*. Отрывки из воспоминаний были опубликованы в сборнике «День поэзии 1965» (Л., 1965) (Л. Д. Менделеева-Блок. Три эпизода из воспоминаний об Александре Блоке) и в комментариях к письмам Блока к жене (*ЛН,* т. 89. М., 1978).

Блок Любовь Дмитриевна (1881—1939) — жена А. А. Блока, старшая дочь Д. И. Менделеева от второго брака (с А. И. Поповой). Посещала Высшие женские курсы, также театральные курсы М. М. Читау, с 1908 по 1921 г. (с длительными перерывами) играла на драматической сцене (под фамилиями Блок и Басаргина) — в труппе В. Мейерхольда, в нескольких провинциальных театрах (Оренбург, Псков), в петроградском Театре народной комедии. В последние пятнадцать лет жизни много занималась историей и теорией балета, написала книгу об искусстве классического танца (готовится к изданию), собрала ценную коллекцию материалов по истории русского балетного театра. В 1925 г. был издан подготовленный Л. Д. Блок сборник: А. Блок. Стихи (1898—1921), не вошедшие в собрания сочинений. К воспоминаниям о Блоке Л. Д. Блок приступила, по всем данным, не раньше 1937 г. (если не считать нескольких разрозненных набросков, относящихся к 1921 и 1929 гг.) и писала их главным образом в 1938—1939 гг. (Именно в это время она прочитала мне некоторые отрывки из написанного.) Рукопись осталась незаконченной и носит черновой характер. Сложные взаимоотношения А. А. Блока и его жены освещены в моем очерке «История одной любви» (Вл. Орлов. Пути и судьбы. Изд. 2-е. Л., 1971, с. 636—743).

Если не считать встреч в раннем детском возрасте, А. А. Блок и Л. Д. Менделеева встретились «сознательно» летом 1898 г. в усадьбе Менделеевых Боблово. Стадии их романа прослежены в воспоминаниях Любови Дмитриевны. 7 ноября 1902 г. произошло их решительное объяснение на студенческом балу в зале Дворянского собрания; 2 января 1903 г. Блок сделал предложение

и получил согласие родителей Л. Д. Менделеевой; 25 мая 1903 г. состоялось обручение, 17 августа — свадьба (венчание — в церкви села Тараканово вблизи Шахматова, свадебный обед — в Боблове). Летом 1905 г., в Шахматове, начался запутанный, несчастный роман Л. Д. Блок и Андрея Белого, расшатавший семейную жизнь Блоков и в конечном счете определивший дальнейшее поведение Любови Дмитриевны. После разрыва с А. Белым и «сжигающей весны 1908 года», уведшей ее далеко от Блока, в августе 1908 г. она возвращается к Блоку; в феврале 1909 г. родился и погиб ее ребенок, которого Блок хотел усыновить. После этого общая жизнь по видимости наладилась — примерно до осени 1912 г., когда Любовь Дмитриевну настигли новые сердечные бури. В дальнейшем они жили вместе, под одной крышей, но, в сущности, каждый своей отдельной жизнью, оставаясь, как выразилась Любовь Дмитриевна, «товарищами». Некоторое внешнее сближение произошло еще раз — в год революции. В трудных условиях первых послеоктябрьских лет Любовь Дмитриевна, как могла, поддерживала Блока, была заботливой, внимательной хозяйкой, верным другом. Но мира и покоя в семье Блока так и не было до конца: Любовь Дмитриевна бурно ссорилась со свекровью, и Блок переживал эти ссоры мучительно. Смерть Блока потрясла Любовь Дмитриевну: «...просто кончено все житейское, что мы называем жизнью... — писала она вскоре младшей сестре. — Сашина смерть — гибель гения, не случайная, подлинная, оправдание подлинности его чувств и предчувствий... Сердце мое уже по ту сторону жизни и неразрывно с ним».

1. В рукописи Л. Д. Блок этот эпиграф ошибочно приписан А. С. Грибоедову.

2. Из стих. «Благословляю все, что было...» (*III,* 137). В рукописи первый стих по ошибке памяти взят из другого стих. — «Всё это было, было, было...» (*III,* 131).

3. Из стих. «Ночная» (*I,* 318).

4. Первая цитата из стих. Блока «Друзьям» (*III,* 126), вторая — из стих. Тютчева «Два голоса».

5. Из стих. Блока «На смерть младенца» (*III,* 70).

6. Л. Д. Блок имеет в виду гастрольную поездку на юг с труппой В. Э. Мейерхольда, сыгравшую важную роль в ее дальнейших отношениях с Блоком (см.: Александр Блок. Письма к жене. — *ЛН*, т. 89, с. 216—218 и далее).

7. Из стих. Блока «Повеселись на буйном пире...» (*III,* 35).

8. Из стих. Блока «Когда я уйду на покой от времен...» (*I,* 296).

9. Цитата из Блока: «Мне золотой косы девичей // Понятна томная игра» (*I*, 516); ср.: «На листах холодеющей книги — // Золотая девичья коса» (*I*, 236).

10. В драме Кальдерона «Врач своей чести» в переводе К. Бальмонта (Сочинения Кальдерона, вып. 3. М., 1912, с. 43).

11. Начальная строка стих. Блока, написанного 2 сентября 1901 г. и помеченного: «Церковный лес» (*I,* 124).

12. Может быть, неточная цитата из стих. Вл. Соловьева «Нет, силой не поднять тяжелого покрова...»: «Все та же вдаль тропинка вьется снова...»

13. 1 августа 1898 г.

14. Первоначальный текст стих., переработанного в 1910 г. и в новой редакции вошедшего в I-й том Собрания стихотворений Блока (1911).

15. Ср.: *VII,* 338—345.

16. В квадратных скобках (здесь и далее) — вставки Л. Д. Блок. В дневнике Блока сказано: «Я приехал туда на белой моей лошади и в белом кителе, со стэком» (*VII,* 339).

17. Родственники Любови Дмитриевны, семья Д. И. Менделеева-младшего (врача).

18. Тоже родственники Менделеевых, жившие в соседней усадьбе.

19. См. стих. Блока «Окрай небес — звезда омега...» (*I*, 15).

20. *Тетя* — М. А. Бекетова. *Трубицино* — усадьба С. Г. Карелиной (*тети Сони*), сестры Е. Г. Бекетовой, бабки Блока.

21. На Забалканском пр., 19, в здании Палаты Мер и Весов, помещалась казенная квартира Д. И. Менделеева.

22. Частная женская гимназия Э. П. Шаффе.

23. В дневнике Блок соединил два события, происшедшие в разное время: первую всероссийскую студенческую забастовку (8 февраля 1899 г.) и разгон студенческой демонстрации у Казанского собора (4 марта 1901 г.) — см.: *VII,* 340 и 509.

24. «Северный вестник», 1896, № 11. Повесть З. Гиппиус произвела на Блока сильное впечатление: к стих. «Кошмар» (24 августа 1899 г.; *I*, 432) он сделал примечание, что оно было написано под влиянием этой повести.

25. Блок упоминает А. В. Гиппиуса уже в письме от 23 ноября 1900 г. (*Письма к родным. I,* с. 58).

26. Высшие женские курсы (Бестужевские).

27. Ныне Большой зал Ленинградской филармонии.

28. Ср.: *VII,* 342.

29. Три части музыкально-драматической тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунгов» (1853—1874) были поставлены на сцене

Мариинского театра: «Валькирия» (сезон 1900/901 г.), «Зигфрид» (февраль 1902 г.), «Гибель богов» (январь 1903 г.).

30. Так Блок называл лето 1901 г., которое считал «исключительно важным», решившим его судьбу (*VII,* 15).

31. «Смерть богов» (1896) и «Воскресшие боги» (1901).

32. Из стих. Блока «АГРАФА ДОГМАТА» (*I,* 56).

33. Семья тетки Блока — Софьи Андреевны — в 1900—1901 гг. жила в Барнауле, где ее муж, А. Ф. Кублицкий-Пиоттух, занимал должность управляющего Алтайским округом.

34. См. выше, примеч. 24.

35. Неточная цитата из стих. Блока «Пытался сердцем отдохнуть я...» (*I,* 211).

36. Из стих. Блока «Вхожу я в темные храмы...» (*I,* 232)

37. Из стих. Вл. Соловьева «Неопалимая купина».

38. Из стих. Тютчева «Silentium!».

39. Из Евангелия от Матфея (26. 38).

40. См. стих. «Царица смотрела заставки...» (*I,* 249).

41. Эта записка была опубликована в *ЛН,* т. 27—28. М., 1937, с. 370.

42. Вот текст этой «записочки» (на конверте — дата: 8 ноября 1902 г.): «Мой милый, дорогой, бесценный Сашура, я люблю тебя! Твоя».

43. Из стих. Блока «Там, в полусумраке собора...» (14 января 1902 г.; *I,* 159):

Глубокий жар случайной встречи
Дохнул с церковной высоты
На эти дремлющие свечи,
На образа и на цветы.

44. Блок до окончания университетского курса получал от отца по сто руб. ежемесячно.

45. Денщики Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух.

46. См.: Л. Лесная. Аллея причуд. Стихотворения. [СПб., 1915], с. 35.

47. В результате сложных перипетий — нервной переписки и личных объяснений, имевших место весной и летом 1906 г., А. Белый послал Блоку вызов на дуэль (письмо это до нас не дошло). Сама идея поединка принадлежала другу Белого Л. Л. Кобылинскому (Эллису), который и поехал к Блоку в Шахматово, в качестве секунданта. Подробно — в моем очерке «История одной любви» (Вл. Орлов. Пути и судьбы. Изд. 2-е. Л., 1971, с. 690—702).

48. В кн.: Андрей Белый. Между двух революций. Л., 1934, с. 92. Белый со слов Л. Кобылинского рассказал об этом эпизоде совершенно иначе.

49. Из популярного романса П. И. Чайковского на стихи А. Н. Апухтина «Забыть так скоро...». Вряд ли справедливо Л. Д. Блок приписывает себе решающую роль в ликвидации инцидента.

50. Образы Блока из лирического цикла «Снежная маска» (1907), связанного с увлечением его Н. Н. Волоховой.

51. Имеется в виду первая гастрольная поездка Московского Художественного театра в Петербург с 19 февраля по 23 марта 1901 г. (ср.: *VII,* 245).

52. Первая строка известного стих. А. Н. Плещеева.

53. Из стих. О. Чюминой «У болота».

54. Не Кнебеля, а И. Н. Кушнерова (тт. I—II, М., 1891).

55. Цитата из «Горя от ума» Грибоедова (слова Репетилова).

56. Л. Д. Блок 1 августа 1917 г. вернулась в Петроград из Пскова, где играла в местном театре.

57. Из стих. Блока «За горами, лесами...» (*III,* 226), обращенного к Л. Д. Блок.

58. Вернувшись из последней поездки в Москву, Блок записал в дневнике 11 мая 1921 г.: «Люба встретила меня на вокзале <...> мне захотелось плакать, одно из немногих живых чувств за это время (давно; тень чувства)» (*VII,* 420).

59. О ходе предсмертной болезни Блока рассказано в отчете лечившего его доктора А. Г. Пекелиса. Приводим (с небольшими сокращениями) этот документ, в советской печати до сих пор полностью не обнародованный.

«Впервые я был приглашен к А. А. весной 1920 г. по поводу лихорадочного недомогания. Нашел я тогда у него инфлуэнцу с легкими катаральными явлениями, причем тогда же отметил невроз сердца в средней степени... Это было в апреле 1920 года.

В мае текущего года я снова увидел А. А. Он рассказал о своей поездке в Москву и о недомогании там, которое, по его словам, выражалось слабостью, болями в ногах, головной болью и вообще лихорадочным состоянием. Пришлось даже обращаться к местному врачу.

При исследовании я обнаружил следующее: температура 39, жалуется только на общую слабость и тяжесть головы; со стороны сердца увеличение поперечника влево на палец и вправо на 1/2, шум не резкий у верхушки и во втором межреберном промежутке справа, аритмии не было, отеков тоже. Со стороны органов дыхания и кровообращения ничего существенного не обнаружено.

Тогда же у меня явилась мысль об остром эндокардите как вероятном источнике патологического процесса, быть может, стоящего в непосредственной связи с наблюдавшимся у больного в Москве заболеванием, по-видимому, гриппозного характера.

Принятые меры не дали, однако, улучшения, процесс заметно прогрессировал; помимо этого стали обнаруживаться еще и тягостные симптомы значительного угнетения нервно-психической сферы.

По моей инициативе была созвана консультация при участии профессора П. В. Троицкого и доктора Э. А. Гизе, признавших у больного наличие острого эндокардита, а также и психостению. Назначено строгое постельное содержание впредь до общего улучшения. Для специального же лечения сердца и рациональной терапии нервно-психического аппарата было признано необходимым отправить больного в одну из заграничных санаторий, лучше всего в ближайшую Финляндию, — (в) Grankulla (у Гельсингфорса). Тогда же (в начале июня), тотчас после консультации, возбуждено было соответствующее ходатайство.

К глубокому сожалению, процесс упорно выявлял тенденцию к ухудшению. Моя задача сводилась, главным образом, к поддержанию сил больного, в частности — сердца, настолько, чтобы стало возможным переправить его в санаторию...

<...> между тем процесс роковым образом шел к концу. Отеки медленно, но стойко росли, увеличивалась общая слабость, все заметнее и резче проявлялась ненормальность в сфере психики, главным образом в смысле угнетения; иногда, правда, бывали редкие светлые промежутки, когда больному становилось лучше, он мог даже работать, но они длились очень короткое время (несколько дней). Все чаще овладевала больным апатия, равнодушие к окружающему.

У меня оставалась слабая надежда на возможность встряски нервно-психической сферы, так сказать, сдвига с «мертвой точки», на которой остановилась мыслительная деятельность больного, что могло бы произойти в случае перемещения его в совершенно новые условия существования, резко отличные от обычных. Такой «встряской» могла быть только заграничная поездка в санаторию... Все предпринимавшиеся меры лечебного характера не достигали цели, в последнее время больной стал отказываться от приема лекарств, терял аппетит, быстро худел, заметно таял и угасал и, при все нарастающих явлениях сердечной слабости, тихо скончался.

В заключение невольно напрашивается вопрос: отчего такой роковой ход болезни? Оставляя, по понятным причинам, точный ответ об этиологии данного процесса в стороне, мне кажется, однако, возможным высказать такое предположение. Если всем нам, в частности, нашему нервно-психическому аппарату, предъявляются в переживаемое нами время особые повышенные требования, ответчиком за которые служит сердце, то нет ничего

удивительного в том, что этот орган должен был стать «местом наименьшего сопротивления» для такого вдумчивого, проникновенного наблюдателя жизни, глубоко чувствовавшего и переживавшего душой все то, чему его «свидетелем господь поставил», каким был покойный А. А. Блок.

Доктор медицины Александр Георгиевич Пекелис.

27 августа 1921»
(«Болезнь и кончина Блока (Отчет врача)», — газета «Голос России» (Берлин), 1922, 6 августа).

СЕРГЕЙ ШТЕЙН

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ БЛОКЕ

Печатается по газете «Последние известия» (Ревель), 1921, 21 и 24 августа.

Штейн Сергей Владимирович (род. в 1882 г.) — литературный критик и журналист; занимался античной литературой; в молодости писал стихи (см. сборник «Рассвет», кн. 1. СПб., 1901, и «Литературно-художественный сборник студентов Петербургского университета». СПб., 1903); в 1906 г. заведовал литературным отделом газеты «Слово»; в первые годы после Октября служил в Пушкинском доме Академии наук. С 1921 г. белоэмигрант, приват-доцент Тартуского университета. В 1927 г. издал книгу «Пушкин и Гофман» и представил ее к защите в качестве докторской диссертации; после провала диссертации уехал из Тарту, выпустил новую книгу — «Пушкин-мистик» (Рига, 1931). В дальнейшем следы его теряются; известно лишь, что он жил вначале в Югославии (в Любляне), а в середине 1950-х гг. — в Западной Германии.

1. Речь идет о зиме 1901/902 г.

2. «Литературно-художественный сборник. Стихотворения студентов С.-Петербурского университета под редакциею Б. В. Никольского, с иллюстрациями студентов Академии художеств под редакциею И. Е. Репина». СПб., 1903. Мысль об издании сборника возникла в сентябре 1901 г.; книга вышла в свет ранней весной 1903 г. (цензурное разрешение — от 28 декабря 1902 г.).

3. Цитировано не точно (ср.: Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей. Собрал Ф. Ф. Фидлер. М., 1911, с. 86). В «Литературно-художественном сборнике» были помещены три стих. Блока: «Ранний час. В пути

незрима...» (без последней строфы), «Чем больней душе мятежной...» (с изменением во второй строфе) и «Тихо ясные дни подошли...» (в авторской редакции: «Видно, дни золотые пришли...»). В. В. Никольский мало считался с авторской волей поэтов, хотя в предисловии к сборнику сказано: «...редакторы безусловно воздерживались ото всякого давления на сотрудников в угоду своим личным вкусам, симпатиям или образу мысли». Об участии Блока в студенческом сборнике см. публикацию В. Беззубова и С. Исакова (*Блоковский сборник, II,* с. 325—332), где приведены выдержки из дневника Б. В. Никольского и три письма к нему Блока (письма впервые были опубликованы в «Сибирских огнях», 1968, № 4, с. 163). Свои стихи в сборник Блок отдал в феврале 1902 г. (см. письмо к отцу от 12 марта 1902 г. — *Письма к родным, I,* с. 73). Это была его третья попытка напечататься: первая, не увенчавшаяся успехом, относится к осени 1900 г., когда он отнес свои стихи в журнал «Мир божий»; вторая — к сентябрю 1901 г. (стихи были посланы В. Брюсову, но случайно не дошли по назначению). В августе—октябре 1902 г. стихи Блока были приняты также в журнал «Новый путь» и в альманах «Северные цветы». Литературный дебют Блока состоялся в марте — апреле 1903 г., когда почти одновременно вышли в свет третья книжка «Нового пути», альманах «Северные цветы на 1903 год» и студенческий «Литературно-художественный сборник».

4. Ср. высказывания о Блоке в дневнике (1902 г.) Б. В. Никольского: «убогий полудекадент» (10 февраля); «...симпатичный, но сбившийся с толку юноша. Декадентствует совершенно зря» (17 февраля). Поделив участников сборника по «сортам», Никольский отнес Блока к «отрицательным» поэтам, оговаривая, что из них «еще может покаяться Блок» (24 февраля) (*Блоковский сборник, II,* с. 329—330).

5. Книга «Стихи о Прекрасной Даме», помеченная 1905 г., вышла в свет в октябре 1904 г.

6. См. «Живописное обозрение», 1904, № 50 (от 12 декабря), с. 879 (без подписи). Причислив Блока к лагерю «левых декадентов», рецензент сказал, что несколько стихотворений в книге «достойны внимания» — «все же остальное, выраженное совершенно дико, нечеловеческим языком... не дает ни образов, ни настроений». В заключение рецензент советовал Блоку сбросить «цепи литературных условностей» и «смело выходить на самостоятельную дорогу».

7. Это письмо не выявлено. Вряд ли оно носило характер «милого».

8. Статья «Михаил Александрович Бакунин», предназначав-

шаяся для газеты «Слово», за прекращением газеты (в июле 1906 г.) была напечатана в феврале 1907 г. в журнале «Перевал» (см. *V,* 31 и 714).

9. Эта версия не отвечает действительности. Из воспоминаний А. А. Громова известно, что И. А. Шляпкин высоко ценил как историко-литературные работы Блока, так и его стихи, и именно настаивал на оставлении его при своей кафедре (см. с. 405 наст. тома).

10. Речь идет о драме Ф. Ведекинда «Пляска мертвых». Перевод П. Потемкина был издан в 1907 г.

11. Очевидно, имеется в виду М. Волошин и его «звукоподражательное» стихотворение «В вагоне».

12. И. Ф. Анненский читал не на Высших женских курсах (Бестужевских), а на частных женских историко-литературных курсах Н. П. Раева.

13. И. Анненскому принадлежит следующее четверостишие «К портрету А. А. Блока»:

Под беломраморным обличьем андрогина
Он стал бы радостью, но чьих-то давних грез.
Стихи его горят — на солнце георгина,
Горят, но холодом невыстраданных слез.

И. Анненский очень высоко оценил творчество Блока в статье «О современном лиризме» («Аполлон», 1909, № 2).

14. Имеется в виду Ф. Ф. Фидлер, собравший богатую коллекцию иконографических материалов и различных «реликвий» по современной русской литературе.

15. Подлинник письма не выявлен.

ПЕТР ПЕРЦОВ

РАННИЙ БЛОК

Печатается по книге: Петр Перцов. Ранний Блок. М., 1922. Впоследствии (около 1946 г.) П. П. Перцов изложил свои воспоминания о Блоке заново в короткой заметке «Блок в синем воротнике» (копия рукописи — в собрании В. П. Орлова). Но здесь он почти ничего существенного не добавил к сказанному раньше.

Перцов Петр Петрович (1868—1947) — поэт и беллетрист (в молодости), критик, публицист, писатель по вопросам искусства. Окончил гимназию в Казани и Казанский университет (по юридическому факультету); литературную деятельность начал в 1890 г., заведовал литературным отделом газеты «Волжский вест-

ник», сотрудничал в журнале «Русское богатство», затем — в «Вопросах философии и психологии», в «Мире искусства» и др.; им составлены антологии «Молодая поэзия» (1895) и «Философские течения русской поэзии» (1896). В середине 1890-х гг. сблизился с В. Брюсовым и кругом Д. Мережковского, З. Гиппиус и В. Розанова; в 1903—1904 гг. редактор журнала «Новый путь»; в 1906 г. редактировал газету «Слово», где часто печатался Блок. С 1910 г. жил в Москве; после Октябрьской революции работал в Театральном отделе Наркомпроса и в Отделе охраны памятников искусства. Автор книг: «Письма о поэзии» (1895), «Первый сборник» (1902), «Венеция» (1906; см. сочувственный отзыв Блока об этой книге — *VIII,* 149), «Венеция и венецианская живопись» (1912, — расширенное переиздание «Венеции»), «Панруссизм или панславизм?» (1913), «Третьяковская галерея» (1922), «Подмосковные» (1925), «Художественные музеи Москвы» (1925), «Литературные воспоминания» (1933).

1. Имеется в виду получившее скандальную известность однострочное стихотворение юного В. Брюсова: «О, закрой свои бледные ноги!..»

2. «Смерть богов» (1896) и «Воскресшие боги» (1901).

3. Очевидно, П. Перцов вспомнил (неточно) строчку из стих. С. Сафонова, напечатанного в собранной им самим антологии «Молодая поэзия» (1895): «Это было давно, я не помню, когда это было...» (ср. у А. К. Толстого: «Все это было когда-то, // Но только не помню когда!»).

4. Цитата из стих. П. Перцова «Осень» («Новый путь», 1903, № 8, с. 32).

5. Здесь П. П. Перцову, очевидно, изменила память. З. Н. Гиппиус получила стихи Блока от О. М. Соловьевой осенью 1901 г. Это были два стих.: «Предчувствую Тебя...» и «Ищу спасенья...». Как сообщила О. М. Соловьева в неизданном письме к матери Блока от 19 сентября 1901 г. *(ЦГАЛИ),* «Гиппиус разбранила стихи, написала о них резко, длинно, даже как будто со страстью... Показала стихи Мережковскому и говорит, что он с ней согласен». Осенью 1902 г. стихи были переданы в «Новый путь» самим Блоком.

6. Впоследствии, в заметке «Блок в синем воротнике», написанной уже после ознакомления с юношеским дневником и письмами Блока, П. П. Перцов существенно уточнил свое воспоминание о Блоке на редакционных собраниях «Нового пути»: «Изредка он читал свои стихи (цикла «Прекрасной Дамы»), но, как ни странно покажется это теперь, они не производили на слушателей особого впечатления... Хвалили, одобряли, но больше

по долгу журнальной солидарности. И сам Блок не чувствовал себя в «Новом пути» на своей дороге, что сказалось и в записях его дневника того времени. А в будущем жизнь увела его еще дальше....»

7. П. П. Перцов писал Блоку 1 ноября 1902 г.: «Я с искренней радостью прочел Ваши стихи: мало что на свете радует больше, чем встреча с истинным, «божией милостью», талантом, в какой бы то ни было области, в области поэзии особенно. Мне лично Ваша поэзия «Прекрасной Дамы», как говорите Вы, или «Бого-природы», как говорю я, на языке моей философии, — особенно близка и понятна. Пусть же Она пошлет Вам лучшие свои вдохновения!» *(ЦГАЛИ)*

8. Неточная цитата из стих. Фета «На пятидесятилетие музы».

9. Цикл «Из посвящений» составили десять следующих стихотворений: «Предчувствую Тебя...», «Новых созвучий ищу на страницах...», «Гадай и жди...», «Старик», «Когда святого забвения...», «Я, отрок, зажигаю свечи...», «Экклесиаст», «Я к людям не выйду навстречу...», «Царица смотрела заставки...» и «Верю в Солнце Завета...».

10. Стихотворение «Младшим», снабженное эпиграфом из Блока: «Там жду я Прекрасной Дамы», служит документом полемики, разгоревшейся в 1903—1904 гг. между В. Брюсовым, признанным лидером символистской школы, и «младшими» символистами — «соловьевцами» (Блок, А. Белый, С. Соловьев). Брюсов возражал против стремления «младших» сделать поэзию «служанкой» мистической философии. «Дайте мне быть только слагателем стихов, только художником в узком смысле слова, — все большее довершите вы, молодые», — писал Брюсов Блоку в ноябре 1904 г. («Печать и революция», 1928, № 4, с. 43). Ср. заметку П. Перцова «Брюсовское стихотворение «Младшим» (Из литературных воспоминаний)». — «30 дней», 1939, № 10/11, с. 127.

11. Цензурному запрещению подверглись стихотворения: «Был вечер яростно багровый...», «Мой любимый, мой князь, мой жених...» и «Я — меч, заостренный с обеих сторон...». Причина запрещения — «неканоничность» этих стихов с религиозно-церковной точки зрения.

12. В качестве образца первых откликов на стихи Блока в газетной прессе привожу выдержку из статьи В. Буренина: «Критические очерки» («Новое время», 1903, 25 апреля): «В поэзии журнал г. Перцова, кажется, тоже склоняется к легкому сумбуру в так называемом стиле «модерн». Вот, например, характерный образчик подобного стихотворного сумбура, предлагаемый одним, кажется, начинающим поэтом (приведено целиком стих. Блока «Царица смотрела заставки...»). Надо полагать,

что сама «Царица, ищущая смысла», несмотря на то, что она «просиживала синие ночи за книгой голубинной», ничего не поймет в этом стихотворении. Если г. Перцов полагает, что эти вирши представляют «новый путь» в поэзии, то его можно поздравить с чрезвычайно глубокими критическими вкусом и разумением». Далее следует пародия В. Буренина на стихи Блока:

Г. Перцов смотрел заставки
В «Новом пути» — своем журнале,
А г. Минский в камилавке
И г. Мережковский в рясе щеголяли.
Рассыпали мистицизма зерна
И плескались в сумбуре их перья,
А г. Розанов упорно
Объяснял еврейские поверья...

И т. д.

В другой черносотенной газете, «Знамя» (1903, 24 марта), писали: «Стихотворения откуда-то выкопанного поэта Ал. Блока... — набор слов, оскорбительных и для здравого смысла и для печатного слова... Новый путь в старую больницу для умалишенных».

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ОВ АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ БЛОКЕ

Печатается (с исправлением очевидных опечаток) по журналу «Записки мечтателей», № 6 (1922), с. 7—122. (Есть отдельное издание: Bradda Books Ltd. Letchworth. Hertfordschire, 1964).

Воспоминания были написаны в Петрограде и в Москве сразу после смерти Блока. Отрывки предварительно печатались в журнале «Литературные записки», 1922, № 2, И в альманахе «Северные дни», сб. 2 (М., 1922). Вторая, значительно расширенная редакция воспоминаний была оформлена в Германии, в ноябре 1921 — декабре 1922 г. и опубликована в журнале «Эпопея» (Берлин): №№ 1 (апрель 1922 г.), 2 (сентябрь 1922 г.), 3 (декабрь 1922 г.) и 4 (апрель 1923 г.). Этот текст также издан отдельно: Wilhelm Fink Verlag. München, 1969. Отрывки предварительно появились в газетах: «Голос России» (Берлин), 1922, 28 февраля и 5 апреля; «Накануне» (Берлин), 1922, 6 апреля, и «Последние новости» (Париж), 1922, 7 апреля. В дальнейшем «Воспоминания о Блоке», уже в «Эпопее» переросшие в повествование о событиях и людях целой эпохи, легли в основу первых томов пятитомной хроники А. Белого «Начало ве-

ка», оставшейся незавершенной и в целом не опубликованной (изложение должно было дойти до 1921 г.). Отрывки из этого сочинения печатались в журналах: «Беседа» (Берлин), 1923, № 2; «Современные записки» (Париж), 1923, №№ 16 и 17; «Россия» (Москва), 1924, № 1. Несколько эпизодов, касающихся Блока (в том числе ранее не публиковавшихся), напечатаны в «Вопросах литературы», 1974, № 6, с. 215—245. Значительно позже А. Белый переработал готовый текст «Начала века» в три мемуарные книги — «На рубеже двух столетий» (1930, изд. 2-е — 1931), «Начало века» (1933) и «Между двух революций» (1934). Во второй и третьей из этих книг, сравнительно с воспоминаниями, напечатанными в «Записках мечтателей» и в «Эпопее», отношение А. Белого к Блоку резко изменилось, и весь рассказ о нем изложен в тоне раздраженном и негодующем (подробнее об этом — во вступительной статье к наст. изд.).

Андрей Белый — литературный псевдоним Бориса Николаевича Бугаева (1880—1934), виднейшего деятеля и теоретика русского символизма. Литературная работа Андрея Белого, впервые выступившего в печати в 1902 г. с книгой «Симфония» (2-я, «Драматическая»), приобрела чрезвычайно широкий размах: он действовал как поэт, прозаик, драматург, очеркист, литературный критик и теоретик, философ и публицист, исследователь русского стиха, мемуарист. С 1902 по 1934 г. Андреем Белым было издано 46 отдельных книг (не считая переизданий) и свыше 300 статей, очерков, рассказов и т. п., не считая стихотворений. Многое осталось неизданным, незавершенным или на стадии замысла.

Сын известного русского ученого-математика, профессора Московского университета Н. В. Бугаева, Андрей Белый окончил в Москве частную гимназию Л. Поливанова и два факультета университета — физико-математический и филологический. Это был человек глубоких и разносторонних знаний, большой культуры, яркой одаренности.

Личность крайне сложная, А. Белый всю жизнь лихорадочно менял пути своих идейных исканий и все больше запутывался в боровших его противоречиях. Начав со страстной и воинствующей пропаганды соловьевского учения, он глубоко пережил революцию 1905 года, но пытался примирить демократические идеи с религиозной мистикой; в разгар реакции писал стихи, проникнутые горячим сочувствием к народу, и остро ощутил кризис старого буржуазного мира и его культуры, но вскоре с головой погрузился в антропософию (одно из ответвлений теософско-оккультного «тайного знания»); искренне приветствовал Октябрьскую революцию, но так и не смог принять теорию революцион-

ного марксизма. При всем том этот большой писатель не разделил судьбы многих представителей русского символизма и закончил свой путь активным участником советского литературного движения.

Взаимоотношения Блока и Андрея Белого отличались редкой сложностью и запутанностью. Их тесная, экзальтированная и, по верному определению А. Белого, «истерическая» дружба, начавшаяся в 1903 г., вскоре, уже в 1906 г., сменяется резким личным и литературным разладом, приведшим в мае 1908 г. к полному разрыву (крупную роль в разладе сыграли романические отношения, возникшие в 1905 г. между А. Белым и Л. Д. Блок, — об этом они, каждый по-своему, рассказывают в своих воспоминаниях о Блоке). Примирение, состоявшееся осенью 1910 г., уже не воскресило прежней задушевной дружбы, но закрепило внешне приятельские, а по существу далековатые отношения двух писателей, идущих и в жизни и в творчестве по разным путям.

Пути эти еще раз скрестились в 1917 г., когда Блок и Белый, каждый со своих позиций и со своими выводами, заявили о своем признании и принятии Октябрьской социалистической революции и оба подверглись ожесточенной травле в лагере буржуазной общественности и литературы.

Обширная переписка их, охватывающая время с 1903 по 1919 г., издана отдельной книгой в 1940 г. Литературные и личные взаимоотношения Блока и А. Белого освещены в двух моих очерках: «История одной «дружбы-вражды» и «История одной любви» (в кн.: Вл. Орлов. Пути и судьбы. Литературные очерки. Изд. 2-е. Л., 1971, с. 507—743).

1. *«Вечный покой».* — А. Белый, очевидно, имеет в виду нирвану, под которой в буддийской философии понимают непостижимое состояние блаженства, когда полностью растворяются внешние обстоятельства индивидуального существования человека.

2. *Веданда* (Веданта) — раздел древнеиндуистского учения, в котором рассматривается отношение индивидуальной души к мировой.

3. *«Под северным небом»* — название стихотворного сборника К. Бальмонта (1894).

4. *«Тишина»* (1898), *«Горящие здания»* (1900), *«Будем как солнце»* (1903) — названия стихотворных сборников К. Бальмонта.

5. Известный в средневековье немецкий ревнитель «тайного знания» Агриппа Неттесгеймский (1486—1535) «предсказал», что в 1900 г. мир вступит в новую эру.

6. Не ясно, что имеет в виду А. Белый.

7. *Третий Завет* — термин мистической философии Вл. Соловьева, учившего, что после предвещанных Священным писанием «конца мира» и «второго пришествия» власть Антихриста будет сокрушена и наступит тысячелетнее царство Третьего Завета, ознаменованное установлением всеобщей божественной гармонии. Эта идея в пророческом тоне была провозглашена в одном из последних сочинений Вл. Соловьева «Три разговора» (1899—1900), которое произвело особенно глубокое впечатление на младших символистов соловьевского толка.

8. *Апокалипсис,* или Откровение святого Иоанна — древнейшая из евангельских книг; содержит пророчества о грядущем «конце века» и наступлении новой эры в жизни человечества.

9. В 1902 г. произошло сильнейшее извержение вулкана на острове Мартиника (Вест-Индия); по словам А. Белого, «пепел, рассеявшись в атмосфере, окрашивал зори совершенно особенно», придавал им «особое свечение».

10. «Марксизм» Л. Кобылинского (Эллиса) был не более как проходящим увлечением и сводился к поверхностному ознакомлению с трудами К. Маркса. На деле Л. Кобылинский (Эллис) был и остался воинствующим мистиком и обскурантом, закономерно закончившим свой путь монахом иезуитского ордена.

11. Цитируется (не точно) так называемая «Записка о „Двенадцати"», датированная 1 апреля 1920 г. (*III,* 474).

12. Термин мистической философии Вл. Соловьева.

13. Рассказ З. Гиппиус «Небесные слова» (1901) был напечатан в альманахе «Северные цветы на 1902 год» (вошел в сб. рассказов З. Гиппиус «Алый меч». СПб., 1908).

14. *Теургическое* — чудодейственное, способное входить в общение с духами и богами. Далее цитируется стих. В. Соловьева «Das Ewig-Weibliche».

15. *Эсхатологические* — проникнутые чувством «конца мира», конечных судеб человечества.

16. Религиозно-философские собрания начались в получастном порядке в Петербурге (по почину Д. Мережковского, З. Гиппиус, Д. Философова и В. Розанова) 29 ноября 1901 г., под председательством ректора Духовной академии епископа Сергия Финляндского. Собрания происходили в зале Географического общества. Задачей собраний было «сближение интеллигенции с церковью». В апреле 1903 г. собрания были запрещены обер-прокурором Синода К. П. Победоносцевым. В октябре 1907 г. они возобновились — уже в качестве многолюдного Религиозно-философского общества (под председательством А. В. Карташева). Сте-

нографические отчеты первых двадцати собраний (всего их состоялось до закрытия 22) печатались в журнале «Новый путь» (1903); отдельно — в кн.: «Записки Петербургских религиозно-философских собраний (1902—1903)». СПб., 1906. Отчеты возобновленных собраний (1907—1915) опубликованы в «Записках С.-Петербургского Религиозно-философского общества», вып. 1—6. СПб., 1908 — П., 1914—1916.

17. Неточная цитата из стих. Вл. Соловьева «В стране морозных вьюг, среди седых туманов...».

18. *«Проблемы идеализма»* — сборник статей, изданный в 1902 г. Московским Психологическим обществом и ознаменовавший наступление представителей идеалистической мысли на философском фронте. В числе участников сборника были: С. Булгаков, Е. Трубецкой, Н. Бердяев, С. Франк, С. Аскольдов, С. Трубецкой, П. Новгородцев, Б. Кистяковский.

19. *Серебряный Колодезь* — усадьба Н. В. Бугаева, отца А. Белого, в Ефремовском уезде Тульской губернии.

20. Речь идет о «Драматической симфонии» А. Белого.

21. В Нижнем-Новгороде служил друг А. Белого и участник его кружка Э. К. Метнер.

22. Блок гостил в Дедове не в июле, а в августе 1901 г.

23. Имеется в виду стих. Вл. Соловьева «Das Ewig-Weibliche».

24. Из стих. «В бездействии младом, в передрассветной лени...».

25. Первое письмо Блока к А. Белому датировано 3 января 1903 г., первое письмо А. Белого к Блоку — 4 января 1903 г.

26. Опущено письмо Блока от 3 января 1903 г. (*VIII,* 51).

27. Как только М. С. Соловьев скончался (16 января 1903 г.), О. М. Соловьева вышла в соседнюю комнату и застрелилась.

28. Имеется в виду программная статья М. Кузмина «О прекрасной ясности» («Аполлон», 1910, № 1), в которой были подвергнуты иронической критике религиозно-мистические каноны теории символизма и основным критерием художественности был провозглашен «кларизм» (ясность, логичность).

29. *Эзотеризм* — тайновидение, способность постичь нечто недоступное непосвященным.

30. *Теократия* (греч.: боговластие) — система государственного устройства, при котором верховным правителем предполагается само божество, изрекающее свою волю через духовенство. Вл. Соловьев развивал идею «Всемирной Теократии» на основе грядущего соединения церквей (православной, католической, лютеранской).

31. Имеются в виду стихи Вл. Соловьева:

У царицы моей есть высокий дворец,
О семи он столбах золотых...

32. *Гностики* — философы и богословы первых веков христианства, стремившиеся обосновать христианское вероучение путем сочетания элементов греческой философии, религиозных учений Востока и еврейской теологии. Учение о Софии-Премудрости — одна из основ гностицизма.

33. *Праксис* (греч.) — дело, действие.

34. А. Белый, С. Соловьев и А. Петровский гостили у Блока в Шахматове в первой половине июля 1904 г. и вторично — в июне 1905 г. (на этот раз без А. Петровского). Во время этих визитов обнаружилось недоразумение между ними и Блоком, в дальнейшем приведшее к острому конфликту.

35. Строка из стих. Блока «Ты свята, но я тебе не верю...» (29 октября 1902 г.; *I*, 233).

36. Опущено письмо Блока от 1 июля (18 июня) 1903 г. из Бад-Наугейма (*Переписка,* с. 34).

37. *Поливановец* — ученик частной гимназии Л. Поливанова в Москве.

38. Неточная цитата из поэмы А. Белого «Первое свидание» (1921). Нужно: «...и метафизики, и шумов...».

39. *Кунктатор* (лат.) — медлитель.

40. Из того же стих. Блока (*I*, 274).

41. *Медитировать* — размышлять.

42. Имеется в виду стихотворная строка К. Бальмонта: «Я предан испанской звезде!» («Испанский цветок» — 1901).

43. Перифраз из стих. А. Белого «Все тот же раскинулся свод...» (1902); письмо цитируется не точно (ср.: *VIII,* 65).

44. Белоэмигрантский журнал «Русская мысль», издававшийся в 1921 г. в Софии под редакцией П. Струве.

45. *Общество свободной эстетики* — клуб ревнителей «нового искусства», образовавшийся в 1906 г. при Московском Литературно-художественном кружке. Возглавлял Общество В. Брюсов.

46. *«Дом песни»* — возникший в 1908 г. в Москве центр концертуо-лекционной пропаганды новых идей в музыке, был организован французским писателем и журналистом П. И. д'Альгеймом (1862—1922) и его женой, известной камерной певицей М. А. Олениной-д'Альгейм.

47. Это обращенное к А. Белому шуточное стих., датированное 10 ноября 1903 г., Белый цитирует не точно (см.: *I*, 553).

48. Белый имеет в виду до крайности осложнившиеся свои отношения с Н. Петровской и В. Брюсовым. См.: Андрей

Белый. Начало века. М.—Л., 1933, с. 145—168 и 469—473; В. Ходасевич. Некрополь. Брюссель, 1939 (очерк «Конец Ренаты»).

49. «Братская записка» (от 17 января 1903 г.): «Милый и дорогой Борис Николаевич. Сегодня получил Ваше письмо. Тогда же узнал все. Обнимаю Вас. Целую. Верно, так надо. Если не трудно, напишите только несколько слов — каков Сережа? Милый, возлюбленный — я с Вами. Люблю Вас. Глубоко преданный Вам *Ал. Блок».*

50. См. посвященное А. Белому стих. Блока «Я смотрел на слепое людское строение...», написанное 5 декабря 1902 г. (*I*, 248).

51. *Майя* — в индийской поэзии и философии имя богини, воплотившей обман в мире; в европейской философии это слово стало известно благодаря выражению А. Шопенгауэра «покрывало Майи», которым он хотел выразить иллюзорный характер эмпирической действительности.

52. Трактовка теократических чаяний С. Соловьева, как будто бы предусматривающих «свержение самодержавия», носит у А. Белого характер совершенно произвольный и фантастический.

53. Имеется в виду обращенное к А. Белому стих. «Милый брат! Завечерело...», написанное 13 января 1906 г. (*II*, 92).

54. Трудно сказать, кому Блок сделал это признание. Возможно, имеется в виду длинный разговор Блока с В. Ходасевичем, состоявшийся не «во второй половине 1920 года», а 16 февраля 1921 г. Но в передаче Ходасевича слова Блока имели существенно иной акцент. Вспоминая время юности, он «признавался, что многих тогдашних стихов своих он больше не понимает: «Забыл, что тогда значили многие слова. А ведь казались сакраментальными. А теперь читаю эти стихи как чужие, и не всегда понимаю, что, собственно, хотел сказать автор» (В. Ходасевич. Некрополь. Брюссель, 1939, с. 126). Если в самом деле имелся в виду этот разговор, Белый перетолковал слова Блока в духе своих попыток «антропософизации» его творчества.

55. Из стих. Вл. Соловьева «Другу молодости».

56. Имеется в виду русское народнопоэтическое предание о невидимом граде Китеже, опустившемся на дно озера Светлояра (в б. Нижегородской губернии). *Грааль* — в средневековом рыцарском эпосе священный источник всяческих чудес.

57. А. Белый имеет в виду свое приобщение к антропософской общине Р. Штейнера.

58. *Петр* — по-гречески: камень. В Евангелии от Матфея (16, 18) Христос обращается к апостолу Петру: «И Я говорю

тебе: ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».

59. По свидетельству М. А. Бекетовой, взвинченно-шутовская атмосфера, творившаяся «блоковцами» в июле 1904 г. в Шахматове, «получалась тяжеловатая» и оставляла «неприятный осадок»; «сам Александр Александрович... не принимал во всем этом никакого участия» (М. Бекетова. Александр Блок. Изд. 2-е. Л., 1930, с. 91).

6. Этот фотографический снимок воспроизведен в кн.: *Переписка,* между с. 64 и 65. На столике, кроме Библии и портрета Вл. Соловьева, также портрет Л. Д. Блок.

61. Имеются в виду проекты создания театра мистериального действа, возникавшие в 1905—1906 гг. в кругу Вяч. Иванова и Г. Чулкова, с которыми А. Белый в ту пору вел резкую полемику.

62. Персонажи трагедии Шекспира «Гамлет», ловкие царедворцы.

63. В. Брюсов присутствовал на этом вечере.

64. Стихи Блока (*I*, 252).

65. О присущей Блоку манере чтения стихов см.: Вл. Пяст. Два слова о чтении Блоком стихов (наст. том, с. 397—401, и примеч. на с. 541).

66. Свои впечатления от вечера Блок подробно изложил в письме к матери от 14—15 января 1904 г. (*VIII,* 82).

67. Вероятно, имеется в виду сам хозяин дома, владелец издательства «Гриф», плохой поэт, прикидывавшийся демонистом, а в быту благополучный присяжный поверенный С. А. Соколов (Кречетов). Блок писал матери после этого вечера: «Соколов произвел дурное впечатление, фальшивое, вечер был неудачен» (*VIII,* 86).

68. *Вольфила* — Вольная философская ассоциация, задуманная в конце 1918 г. группой лояльно настроенных по отношению к Советской власти философов-идеалистов и литераторов-публицистов левоэсеровского толка, отчасти в противовес учрежденной в Москве в 1918 г. Социалистической академии, ставшей центром марксистской мысли. Начала свою деятельность в Петрограде 16 ноября 1919 г. Руководящую роль в Вольфиле играл Р. В. Иванов-Разумник; Блок и А. Белый были в числе членов-учредителей. В уставе Вольфилы было сказано, что она учреждается с целью «исследования в разработки в духе социализма и философии вопросов культурного творчества, а также с целью распространения в широких народных массах социалистического и философски углубленного отношения к этим вопросам». Однако на деле Вольфила оказалась пристанищем людей, для которых

пропаганда «культурного творчества» служила формой борьбы с марксизмом. Вольфила прекратила свою деятельность в мае 1924 г.

69. Из стих. А. Белого «Попрошайка».

70. *Христианское братство борьбы* — полулегальная религиозно-анархическая и экстремистская организация, возникшая в 1905 г. по почину В. П. Свенцицкого, отличавшегося крайним фанатизмом.

71. Блоки уехали из Москвы 22 января 1904 г.

72. Из обращенного к А. Белому стих. «Я смотрел на слепое людское строение...» (*I*, 248).

73. См. выше, примеч. 9.

74. *Экзотерический* — общедоступный, предназначенный и для непосвященных (в противоположность эзотерическому).

75. *Новый Иерусалим* — образ будущего праведного мира в Апокалипсисе: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба...» (21, 2).

76. *III*, 297.

77. См. стих. А. Белого «Осень»:

> В небесное стекло
> С размаху свой пустил железный молот...
> И молот грянул тяжело.
> Казалось мне — небесный свод расколот.

78. Блок имеет в виду трагическую гибель броненосца «Петропавловск», потопленного японской эскадрой 31 марта 1904 г.

79. Вариант первой строки стих. А. Белого «Шоссе».

80. *II*, 38.

81. А. Белый цитирует стих. Блока «Осенняя воля» (*II*, 75).

82. Блок читал первый том «Добротолюбия» в 1916 г. и особенно высоко оценил сочинения монаха Евагрия (IV в.), — см. письмо к матери от 16 июня 1916 г. (*VIII*, 463—464), так же — в записной книжке (*IX*, 306). Экземпляр этого тома с многочисленными пометами Блока был подарен им Н. А. Павлович.

83. *Духовная наука* — антропософия.

84. Перифраз двух строк из стих. Блока «Пляски осенние» (*II*, 24).

85. *Котик Летаев* — герой одноименного автобиографического романа А. Белого.

86. Неточная цитата из «Пьяной песни» в последней части книги Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».

87. *Мельхиседеков чин* — религиозная секта, обходившаяся без «поставленных» священников (по имени Мельхиседека —

мифического «Царя Мира», упоминаемого в библейской Книге Бытия).

88. *Урим* и *Туммим* (а не Тумин) — по-древнееврейски: «светы и совершенства»; по Библии — драгоценные камни, принадлежавшие к облачению иудейского первосвященника.

89. Из стих. А. Белого «Всё забыл...» (1906).

90. Не точно процитировано стих. Блока «Вот Он — Христос...» (*II*, 84).

91. Образы гоголевской повести «Страшная месть» положены в основу программной статьи А. Белого «Луг зеленый», напечатанной в «Весах», 1905, № 8, и вошедшей в его книгу «Луг зеленый» (М., 1910). Там же — статья «Апокалипсис в русской поэзии» (1905), где А. Белый впервые в печати высказался о поэзии Блока.

92. *Мистерии Элевсина* — ежегодные религиозные праздники в Древней Греции, в честь богинь Деметры и Персефоны.

93. Цитата из стих. Блока «Светлый сон, ты не обманешь...» (*I*, 314).

94. Из стих. Блока «Верю в Солнце Завета...» (*I*, 170).

95. Имеется в виду творческая «смерть» В. Брюсова, в сущности исчерпавшего свои возможности в 1910—1912 гг.

96. Имеется в виду журнальная публикация романа «Записки чудака» — в «Записках мечтателей», № 2/3 (1921).

97. Ср. в письме Блока к А. Белому от 15 октября 1905 г.: «Отчего Ты думаешь, что я мистик? Я не мистик, я всегда был хулиганом, я думаю. Для меня и место-то, может быть, совсем не с Тобой, Провидцем и знающим пути, а с Горьким, который ничего не знает, или с декадентами, которые тоже ничего не знают» (*VIII*, 138).

98. Неточная цитата из стих. Блока «Фиолетовый запад гнетет...» (*II*, 38).

99. *Байрет* — громоздкое и помпезное театральное здание, построенное по замыслу Р. Вагнера специально для исполнения его произведений. Здесь — в иносказательном смысле.

100. Этот «каламбур» содержится в рецензии А. Белого на сборник «Нечаянная Радость» («Перевал», 1907, № 4).

101. См. выше, примеч. 48.

102. Неточная цитата из стих. Блока «Милый брат! Завечерело...» (*II*, 91).

103. Из стих. Вл. Соловьева «Нет вопросов давно, и не нужно речей...».

104. Неточная цитата из поэмы А. Белого «Первое свидание» (1921).

105. О «коммуне мечтателей» А. Белый писал в заметке-декларации, открывающей первый помер журнала «Записки мечтателей» (1919).

106. 12 августа 1906 г. в Петербурге террористом-эсером была взорвана летняя резиденция премьер-министра П. Столыпина.

107. Блок строго соблюдал цветовые различия на обложках своего трехтомного собрания стихов (в изданиях 1911—1912, 1916 и 1918—1921 гг.): слово «Стихотворения» в I томе печаталось красным шрифтом, во II томе — зеленым, в III томе — темно-синим.

108. Резкая рецензия А. Белого на сборник Блока «Нечаянная Радость» была напечатана в «Перевале», 1907, № 4 (февраль). Блок ответил А. Белому 24 марта: «Приношу Тебе мою глубокую благодарность и любовное уважение за рецензию о «Нечаянной Радости». <...> Она имела для меня очень большое значение простым и наглядным выяснением тех опаснейших для меня пунктов, которые я сознаю не менее. Но, принимая во внимание Твои заключительные слова о «тревоге» и «горячей любви к обнаженной душе поэта», я только прошу Тебя, бичуя мое кощунство, не принимать «Балаганчика» и подобного ему — за «горькие издевательства над своим прошлым». Издевательство искони чуждо мне, и это я знаю так же твердо, как то, что сознательно иду по своему пути, мне предназначенному, и *должен* идти по нему неуклонно» (*VIII,* 184).

109. Добросовестное заблуждение Белого в то время: «духовное знание» (антропософия) было для Блока пустым звуком, и никаких «жестов духовного общения» в отношении А. Белого он не делал.

110. А. Белый имеет в виду свои запутанные романические отношения с Л. Д. Блок.

111. Оскорбительное письмо А. Белого от 5 или 6 августа 1907 г. (*Переписка,* с. 192), на которое Блок ответил дуэльным вызовом (*VIII,* 191).

112. См. выше, примеч. 110.

113. *«Штемпелеванная калоша»* — фельетон А. Белого («Весы», 1907, № 5), в необузданном тоне обличавший «петербургских литераторов» (Вяч. Иванова, Блока, Г. Чулкова) в профанации символизма.

114. Последняя встреча А. Белого с Блоком в этот период состоялась в Петербурге, в ресторане Палкина, 23 января 1908 г. После этого еще некоторое время продолжалась переписка — до 3 мая 1908 г., когда А. Белый известил Блока, что прерывает с ним отношения. Более чем через два года, в конце августа — начале сентября 1910 г. А. Белый обратился к Блоку с примирительным письмом.

115. Стихи Блока из цикла «На поле Куликовом» (*III,* 252—253).

116. *Башня* — принятое в литературной среде название квартиры Вячеслава Иванова (см. о ней подробнее в воспоминаниях С. Городецкого, с. 331—333 наст. тома).

117. Стих Блока: «Мы, дети страшных лет России» («Рожденные в года глухие...»; *III,* 278).

118. См. выше, примеч. 96.

119. *Мария* и *Марфа* — упоминаемые в Евангелии сестры, из которых одна олицетворяет духовные, а другая — земные заботы.

ИСПЕПЕЛЯЮЩИЕ ГОДЫ

СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

Печатается по журналу «Печать и революция», 1922, № 1.

Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967) — поэт, беллетрист, переводчик. Родился в семье литератора-историка и любителя живописи, учился в Орле и Петербурге — в 6-й гимназии (окончил в 1902 г. с золотой медалью) и на историко-филологическом факультете университета (не окончив курса, в 1911 г. уволился по прошению). Стихи писал с детства, в печати выступил в декабре 1905 г., тогда же вошел в круг Вяч. Иванова; в 1906 г., сообща с А. Гидони, организовал при университете литературно-художественный Кружок молодых. На первых порах С. Городецкий выступал как активный участник символистского движения, в 1906—1907 гг. вместе с Вяч. Ивановым и Г. Чулковым пропагандировал идеи «соборности» и «мистического анархизма». В 1912 г. примкнул к зарождавшемуся акмеизму и сообща с Н. Гумилевым организовал Цех поэтов. В годы мировой войны занимал «ура-патриотическую» позицию; в 1915—1916 гг. был корреспондентом газеты «Русское слово» на турецком фронте; в 1917—1920 гг. жил и работал и Иране (Шерифханэ) и в Закавказье (Тифлис, Баку); в 1920 г. в Петрограде некоторое время заведовал литературной частью политуправления Балтфлота; с весны 1921 г. поселился в Москве. Продолжал литературную деятельность до конца жизни, наиболее активно как переводчик и автор оперных либретто.

Знакомство С. Городецкого с Блоком произошло, очевидно, в ноябре—декабре 1903 г. Примерно до 1908 г. их связывали тесные дружеские отношения. Первый стихотворный сборник С. Городецкого «Ярь» (1907) был воспринят Блоком как

«большая книга», «книга открытий» (*IX,* 85); так же высоко оце¬нил Блок и вышедший тогда же второй сборник стихов Городецкого — «Перун» (*V,* 145—151). Однако вскоре же, 20 августа 1907 г., Блок записывает, что Городецкому грозит опасность «погибнуть от легкомыслия и беспочвенности» (*IX,* 97). Отзывы Блока о последующих книгах Городецкого носят в основном отрицательный характер (*V,* 649; *VII,* 178). После приобщения Городецкого к акмеизму личные связи поэтов, по существу, оборвались. В августе 1920 г. Блок произнес вступительное слово на вечере С. Городецкого в Петроградском Союзе поэтов (*VI,* 437).

1. Ср. воспоминания Л. В. Никулина (т. II наст. изд.).

2. С. Городецкий, к сожалению, не сумел сберечь письма Блока (крайне интересные и важные для понимания его литературных взглядов и мнений).

3. Блок начал посещать кружок Б. В. Никольского с февраля 1902 г. (см. воспоминания С. Штейна, с. 188—189 наст. тома).

4. См. воспоминания С. И. Бернштейна (т. II наст. изд.).

5. *Correspondances* (фр.) — соответствия.

6. Не Семеновских, а Гренадерских.

7. Имеется в виду не драма «Незнакомка», а стих. «Зачатый в ночь, я в ночь рожден...» (*II,* 130): «Та — незнакомая — пришла // И встала на мосту».

8. Последнее стихотворение в сб. «Стихи о Прекрасной Даме» — «Дали слепы, дни безгневны...» (*I,* 319).

9. По всей вероятности, это было 17 октября 1905 г.

10. «Еще прекрасно серое небо...», написанное 18 октября 1905 г. (*II,* 176).

11. Имеются в виду семь фрагментов неоконченной поэмы «Ее прибытие» (*II,* 50).

12. Стих. «Болотный попик» датировано 17 апреля 1905 г. (*II,* 14).

13. Этот листик сохранился среди бумаг Блока. Записано одиннадцать названий: «Стовратный город», «Воздушный прибой», «Пересветы», «Зацветающий вихрь», «Вихряные просветы», «Осенницы», «Нечаянная Радость», «Ночная Фиалка», «Воздаяние», «Светы мирные» и «Качка эфиров» (публикуется впервые). У С. Городецкого есть сборник стихов, озаглавленный: «Цветущий посох» (1914).

14. *«Снежная ночь»* — название третьей книги Собрания стихотворений Блока (1912).

15. Имеется в виду стих. Блока «Сольвейг» (1906), посвященное С. Городецкому (*II,* 98).

16. В воспоминаниях М. Л. Гофмана (газета «Руль»

(Берлин), 1925, 25 апреля) игра эта отнесена к лету 1907 г. Вот примеры переиначенных имен и названии: Похерий Злюсов (Валерий Брюсов), Язык Чесанов (Вячеслав Иванов), Гордей Безуздецкий (Сергей Городецкий), «Хи-хи, напрасно вы сами) («Стихи о Прекрасной Даме»), «Нежная таска» («Снежная маска»), «Здорово надули» («Золото в лазури» А. Белого), «Вырви и порви» («Urbi et Orbi» В. Брюсова), «Веник» («Венок» В. Брюсова), «Невзрачность» («Прозрачность» Вяч. Иванова), «Таврический гостинец» («Трагический зверинец» Л. Зиновьевой-Аннибал), «Заборный ерундилизм» («Соборный индивидуализм» — брошюра М. Гофмана).

17. Среды Вячеслава Иванова на его «Башне» (Таврическая ул., 25; в 1913—1914 гг. дом перенумерован в № 35) начались 21 сентября 1905 г. и продолжались с небольшими перерывами до весны 1912 г.

18. Неточная цитата из стих. Вяч. Иванова «На башне»: «Пришелец, на башне приют я обрел // С моею царицей — Сивиллой, // Над городом — м*о*роком, — смурый орел // С орлицей ширококрылой...»

19. Из стих. Пушкина «Отрок».

20. Из стих. Блока «Я ухо приложил к земле...» (*III,* 86).

21. Из стих. Блока «Тропами тайными, ночными...» (*III,* 87).

22. Из стих. Блока «Так. Буря этих лет прошла...» (*III,* 92).

23. Из стих. Блока «За гробом» (*III,* 123).

24. Из стих. Блока «Друзьям» (*III,* 126).

25. Оттуда же.

26. Эта и следующая цитаты — из стих. Блока «Поэты» (*III,* 127).

27. Из стих. Блока «Художник» (*III*, 146).

28. Наброски рассказов, относящиеся к 1907—1908 гг., погибли в Шахматове.

29. «Возмездие».

30. С. Городецкий сильно преувеличивает значение для Блока смерти ребенка Л. Д. Блок, прожившего несколько дней (а не часов).

31. Неточность: Блок многократно встречался с отцом, когда тот приезжал в Петербург.

32. В статье «Краски и слова» («Золотое руно», 1906, № 1) Блок полностью привел стих. С. Городецкого «Зной» (*V,* 21).

33. Имеются в виду статьи Блока, опубликованные в «Золотом руне»: «О реалистах» (1907, № 5), «О лирике» (1907, № 6), «О драме» (1907, № 7—9), «Литературные итоги 1907 года» (1907, № 11—12), «Три вопроса» (1908, № 2), «О театре» (1908, № 3—4 и 5), «Письма о поэзии» (1908, № 7—9 и 10), «Солнце над

Россией» (1908, № 7—9), «Вопросы, вопросы и вопросы» (1908, № 11—12), «Народ и интеллигенция» (1909, № 1).

34. Такое письмо Блока не известно.

35. См. статью Блока о книге П. Карпова «Пламень» (*V,* 483).

36. Это не соответствует действительности.

37. См. выше, примеч. 28.

38. Неточность; у Блока, в «Ямбах», сказано: *«Ты видел ли детей в Париже, // Иль нищих на мосту зимой?»* (*III,* 93).

39. В третьей главе поэмы «Возмездие» фигурируют «коробки из-под папирос».

40. Нет оснований видеть в «атаке» Вяч. Иванова причину, по которой Блок в свое время не закончил поэму «Возмездие» (см. предисловие Блока к поэме — *III*, 295).

41. Имеется в виду стих. «Петроградское небо мутилось дождем...» (*III*, 275):

А с дождливых полей все неслось к нам *ура,*
В грозном клике звучало: *пора!*

42. Блок в 1916—1917 гг. служил в инженерно-строительной дружине.

43. Ошибка: поэма «Двенадцать» была написана через два месяца после Октября — в январе 1918 г.

44. В стих. «На смерть младенца» (1909; *III*, 70).

45. *Вольфила* — см. выше, воспоминания А. Белого, примеч. 68 (с. 525).

46. Издательство «Всемирная литература», помещавшееся в особняке герцогини Лейхтенбергской.

47. См. письмо к К. И. Чуковскому от 26 мая 1921 г. (*VIII,* 537).

ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ

АЛЕКСАНДР БЛОК И ЕГО ВРЕМЯ

Печатается по изданию: «Письма Александра Блока». Со вступительными статьями и примечаниями С. М. Соловьева, Г. И. Чулкова, А. Д. Скалдина и В. Н. Княжнина (Л., 1925). С незначительными изменениями и под заглавием «Александр Блок» вошло в книгу воспоминаний Г. Чулкова «Годы странствий» (М., 1930). Первый короткий набросок воспоминаний — в статье «Памяти Александра Блока», написанной 11 сентября 1921 г. и напечатанной в сборнике статей Г. Чулкова «Наши спутники» (М., 1922). См. также заметку Г. Чулкова «Из истории «Балаганчика» — в журнале «Культура театра», 1921, № 7/8.

Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — писатель-символист, поэт, прозаик, драматург и критик-литературовед. Родился в семье чиновника, писавшего по юридическим вопросам; в 1898 г. окончил в Москве гимназию, четыре года учился на медицинском факультете Московского университета, но не успел получить диплома, так как был арестован в феврале 1902 г. как член студенческого исполкома, связанный с революционными пролетарскими кружками. Был сослан в Якутскую область (селение Амга в 300 верстах от Якутска), через год переведен в Нижний-Новгород (под надзор полиции), где встретился с М. Горьким. В печати выступил в 1899 г., с рассказом в газете «Курьер». В 1904 г. вышел в свет первый стихотворный сборник Г. Чулкова «Кремнистый путь». С 1904 г. Г. Чулков — в Петербурге, где сблизился с кругом участников журнала «Новый путь»; в 1905 г. заведовал редакцией журнала «Вопросы жизни». В 1906 г. в тесном сотрудничестве с Вяч. Ивановым выступил с пропагандой идеи «мистического анархизма». Книга Г. Чулкова «О мистическом анархизме» (1906) и редактированные им три выпуска альманаха «Факелы» (1906—1908) вызвали ожесточенную полемику в символистской печати; в числе наиболее непримиримых противников Г. Чулкова были А. Белый, З. Гиппиус, В. Брюсов. В дальнейшем Г. И. Чулков продолжал активную литературную деятельность, преимущественно как прозаик и литературовед. В числе его трудов — Сочинения в шести томах (1909—1913), романы «Сатана» (1915), «Сережа Нестроев» (1916), «Метель» (1916), «Salto mortale» (1930), сборники рассказов «Люди в тумане» (1916), «Посрамленные бесы» (1921), «Вечерние зори» (1924), книга «Стихотворения» (1922), работы о Тютчеве, Достоевском и Пушкине.

Блок познакомился и сблизился с Г. И. Чулковым весной 1904 г., поддерживал с ним дружеские отношения до 1908 г. Но уже в 1907 г., в разгар полемики вокруг «мистического анархизма», Блок нередко отзывался о Чулкове осудительно: «У него, если пафос, так похож на чужой, а чаще — поддельный — напыщенная риторика»; «...он совсем некультурен. Возмутительно его притягивание меня к своей бездарности» (*IX*, 96—98). В дальнейшем, поддерживая с Г. Чулковым далековатые отношения, Блок видел в его литературной деятельности один из примеров декадентской «безответственности» и суетливого делячества (см., например, *VII*, 103: «...такая неприятная неправда, надоедливо разит Чулковым»). В 1913 г. Блок упоминает Г. Чулкова в числе тех, которых «просто нет для меня — тех, которые „были"» (*VII*, 246). Октябрьскую революцию Г. Чулков встретил

враждебно и резко полемизировал с Блоком — автором статьи «Интеллигенция и Революция» и поэмы «Двенадцать» (см.: Вл. Орлов. Поэма Александра Блока «Двенадцать». Изд. 2-е, дополн. М., 1967, с. 55 и 154).

1. Allegro. Георгий Чулков. Кремнистый путь. — «Новый путь», февраль, с. 215.

2. Статья Г. Чулкова «Поэзия Владимира Соловьева» была напечатана в «Вопросах жизни», 1905, № 4 и 5. Письмо Блока от 23 июня 1905 г. — *VIII,* 126.

3. А. Н. Шмидт провела в Шахматове два дня — 12—13 мая 1904 г.; содержание разговора ее с Блоком неизвестно.

4. Имеется в виду мистифицированное понятие «двух бездн» («верхней» и «нижней»), выдвинутое Д. Мережковским.

5. *Дева Радужных Ворот* — гностический термин, один из образов «Софии» в мистической философии и поэзии Вл. Соловьева.

6. Родные находили у Блока редкое сходство не с А. Н. Бекетовым, а с другим дедом, по отцовской линии — с Л. А. Блоком.

7. Н. К. Михайловский посвятил русским декадентам три статьи: «Русское отражение французского символизма» («Русское богатство», 1893, № 2), «Еще о декадентах, символистах и магах» (там же, 1893, № 4), «Русские символисты» (там же, 1895, № 10).

8. О «горьком запахе миндаля» Блок писал в стих. «Здесь в сумерки в конце зимы...» (март 1909 г.; *III,* 181) и в статье «О современном состоянии русского символизма» (март — апрель 1910 г.; *V,* 425).

9. Это изречение В. В. Розанова стало известно (в нескольких вариантах), вероятно, в устной передаче; в книгах Розанова оно не обнаружено.

10. Автором этой статьи была З. Н. Гиппиус.

11. Слова Пушкина, переданные В. А. Жуковским в статье «О поэте и современном его значении» (Полн. собр. соч., т. X. СПб, 1902, с. 81).

12. *Одегетика* (греч.) — путевождение.

13. Георгий Чулков. О мистическом анархизме. Со вступительной статьей Вячеслава Иванова «Идея неприятия мира и мистический анархизм». СПб, 1906.

14. Г. Чулков имеет в виду свои личные отношения с А. Белым и З. Гиппиус.

15. Устно — в прениях по докладу в Литературном обществе (12 декабря 1908 г.), печатно — в статье «Memento mori» («Речь», 1908, 22 декабря). Блок ответил Г. Чулкову в докладе «Стихия и культура» (*V,* 350).

16. «Золотое руно», 1909, № 1.

17. «Монастырь наш — Россия! Облеките же себя умственно рясой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней...» и т. д. (*V,* 326).

18. *Никодим* — по евангельской легенде, тайный ученик Христа.

19. V, 345, 348, 349.

20. В трагедии Ф. Сологуба «Победа смерти» (1908), в прологе, пародию на стихи Блока можно различить в некоторых репликах Поэта, пишущего стихи о кабачках и тройках.

21. Заканчивая свою статью «Памяти Александра Блока» (1921), Г. Чулков написал: «Чаще всего я встречался с А. А. Блоком в 1906—1909 годах. Потом пути наши разошлись. Было даже время, когда трудно и мучительно было видеть друг друга. Я счастлив, что в последний раз, когда Александр Александрович был в Москве, мы успели поговорить, и он был откровенен, как прежде, как в те года, когда мы были друг другу нечужды. Я сказал, между прочим: «Не верится как-то, что в наше катастрофическое время могут какие-то люди чувствовать привязанность к земле, к земной любви... Вы в это верите?» И он мне ответил, даже не улыбаясь: «Credo, quia absurdum» («Верю, потому что нелепо», — слова Тертуллиана. — *Вл. О.*)... Это был последний мистический каламбур, который я услышал из его уст» (Г. Чулков. Наши спутники. М., 1922, с. 88—89).

ВЛ. ПЯСТ

1. ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ

Печатается по книге: Вл. Пяст. Воспоминания о Блоке. Письма Блока. П., 1923. Отрывки из воспоминаний печатались предварительно в периодике: «Жизнь искусства», 1921, 15 августа («Умер Блок»); «Вестник литературы», 1921, № 8 («Памяти Блока»); «Последние новости», 1922, 4 сентября («Из воспоминаний о Блоке»), Дополнением к «Воспоминаниям о Блоке» служит ценная мемуарная заметка В. Пяста «Два слова о чтения Блоком стихов» (см. ниже). Материал «Воспоминаний о Блоке» частично вошел (с некоторыми дополнениями) в позднейшую мемуарную книгу В. Пяста «Встречи» (М., 1929).

Вл. Пяст — литературный псевдоним поэта и переводчика Владимира Алексеевича Пестовского (1886—1940). Пяст происходил из старинного польского рода (полная фамилия: Омельянович-Павленко-Пестовский); отец его был чиновником, мать вла-

дела и заведовала частной библиотекой (в Петербурге). После окончания гимназии, в 1904 г., поступил в Петербургский университет, на математическое отделение, осенью 1906 г. перевелся на романо-германское отделение филологического факультета, в 1910 г. уволен из университета по прошению. Всю жизнь находился в стесненных обстоятельствах и был вынужден служить (одно время — кассиром тотализатора на ипподроме, в 1914 г. — в страховом отделе духовного ведомства). В печати выступил (со стихами) в июле 1905 г. в журнале «Вопросы жизни». Автор трех стихотворных сборников: «Ограда» (1909; 2-е изд. — 1922), «Львиная пасть» (1922) и «Третья книга лирики» (1922), «Поэмы в нонах» (1911, — издание было уничтожено автором; поэма перепечатана с купюрами во втором сб. «Сирии», 1913), поэмы «Небесная» (сб. «Утренники», I—II, 1922). В рукописи остались поэма «Снова дома» (1926) и роман в прозе. Глубокий знаток испанского языка, хорошо владевший и другими языками, В. Пяст много переводил; в числе авторов, переведенных им: Кальдерон, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Сервантес, Рабле, Шекспир, Стендаль, Стриндберг. В. Пяст работал также в области теории стиха и декламации; им написана книга «Современное стиховедение. Ритмика» (1931).

Блок познакомился с В. Пястом в январе 1905 г. и в течение долгого времени поддерживал с ним тесные дружеские отношения, хотя это и не всегда было легко и просто (Пяст был, что называется, «тяжелым» человеком, время от времени впадал в психическое расстройство и кончил самоубийством). В июне 1916 г. Блок еще упоминает В. Пяста в числе своих четырех «действительных друзей» (*IX,* 309). Но на деле отношения их уже тогда дали трещину, о чем пишет и Пяст в воспоминаниях. Октябрьская революция окончательно разделила их. Пяст сразу же занял в отношении пролетарской революции резко враждебную позицию, что нашло отражение в его тогдашних стихах, появлявшихся в газетах эсеровского толка. Враждебность распространилась и на Блока. В мае 1918 г. Пяст, вместе с Ф. Сологубом и А. Ахматовой, публично (через печать) отказался участвовать в литературном вечере, на котором исполнялась поэма «Двенадцать» (*IX,* 406). В июне 1918 г. Блок записал: «Встреча с Пястом, который «не подал руки» (*IX,* 414). В январе 1921 г. Пяст захотел «помириться» (*VII,* 396); через некоторое время примирение состоялось, но носило характер чисто формальный, — так что говорить о «сближении платформ» бывших друзей (об этом пишет В. Пяст в своих воспоминаниях) — нет ни малейших оснований.

1. Имеется в виду, нужно думать, З. Гиппиус.

2. Речь идет о стих. К. Бальмонта «К Елене».

3. По-видимому, А. А. Шемшурин.

4. Вероятнее всего, имеется в виду Н. М. Минский. Рецензия Блока на книгу Н. Минского «Религия будущего» была напечатана в августе 1905 г. в журнале «Искусство» (ссылка В. Пяста на «Новый путь» — ошибка памяти: этот журнал в 1905 г. уже не выходил). Тогда же, в августе 1905 г., Блок писал Е. П. Иванову по поводу Н. Минского: «...это скрытый позитивист, сладострастник метафизики. Начинаю все более ненавидеть его» («Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову». М.—Л., 1936, с. 42).

5. См. в рецензии Блока на книгу К. Бальмонта «Горные вершины» (*V,* 535), напечатанной в «Новом пути», 1904, № 6.

6. Посылая в 1903 г. В. Брюсову цикл своих стихов для альманаха «Северные цветы», Блок хотел озаглавить их: «О вечноженственном» (*VIII,* 55). Заглавие «Стихи о Прекрасной Даме» было предложено В. Брюсовым (на основании стихотворной строки Блока: «Там жду я Прекрасной Дамы...»).

7. См. в дневнике и записной книжке Блока (февраль—март 1918 г.). — *VII,* 326 и 330; *IX,* 388—389.

8. Впоследствии В. Пяст дополнил рассказ об этом визите к Блоку интересной подробностью, касающейся Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух: «Между прочим, скромнейший, болезненный человек, совсем не военного вида и очень мирно настроенный. Блок мне признался, что я верно отгадал, что «Рыцаря-Несчастье» (Бертрана) из «Розы и Креста» он списал главным образом с него, — имея портрет Франца Феликсовича перед своими умственными очами» (Вл. Пяст. Встречи. М., 1929, с. 68, — речь идет, разумеется, о другом, гораздо более позднем разговоре).

9. Речь идет о стих. В. Пяста «До сих пор» (вошло в сб. «Ограда»).

10. Строка из пародии Вл. Соловьева (1895) на стихи ранних русских символистов.

11. Речь идет о «Поэме в нонах» самого В. Пяста:

Но сели все тогда поэты на бобах
(Пришедший поздно — нет), когда хозяин драму
Прочел последнею... В магических стихах
Кошмарных развернул он мыслей панораму,
Кощунство было в ней, и обнял едкий страх
Внимавших: оскорбил Прекрасную он Даму...
Он кончил. Все молчат. И вдруг могучий Бах
Понесся с клавишей разбитого рояля
И души укрепил, велича и печаля.

(«Сирин», сб. второй. СПб., 1913, с. 225.) Подробнее об этом вечере — В. Пяст. Встречи, с. 103—106.

12. См. эту анкету (1897). — *VII,* 429.

13. См. воспоминания А. А. Громова (с. 406 наст. тома).

14. «Терцины к Сомову».

15. Имеется в виду Н. Н. Волохова. Она была почти на два года старше Блока.

16. «И я провел безумный год // У шлейфа черного...» — стихи Блока (*II*, 269).

17. См. том II наст. изд., с. 17.

18. По другому свидетельству, середина стихотворения принадлежала не А. Кондратьеву, а П. Потемкину (М. Гофман. Александр Блок. — «Руль» (Берлин), 1925, 25 апреля). Эти шуточные стихи опубликованы, — *II*, 364.

19. *«Перекрестки»* — один из трех разделов сборника «Стихи о Прекрасной Даме» (в первом издании — 1905 г.).

20. Дополнительные данные — в книге «Встречи» (с. 186—188): «А. А. Блок серьезно и горячо принял к сердцу мысль о журнале... Московским членом коллегии был выбран нами обоими А. Белый... Мне почему-то чрезвычайно хотелось назвать журнал: «Символист»... Блоку это название не нравилось... И вот как-то Блок с радостным видом, редким для него, повышенным тоном мне сообщил: «Владимир Алексеевич! Не «Символист», а «Путник»!..» Я пробурчал что-то вроде того, что «будет похоже на «Русский паломник»...» Помню возражения со стороны Ю. Верховского против имени «Стрелец», на котором мы с Блоком сошлись». Ответственным редактором журнала намечалась Л. Д. Блок. О задачах журнала Блок писал А. Белому 17 января 1911 г.: «Я *лично* считаю, что этот журнал будет только бескорыстным застрельщиком — наметит главные точки и расчистит место для будущего. Все мы принципиально изгоняем литературщину, «декадентство»... хулиганство и т. д., и т. д.» (*VIII,* 327). Из проекта этого ничего не вышло. 23 января 1911 г. Блок писал В. Пясту: «Все эти дни я искал «в себе» журнала — и не нашел ни следа. Прочной связи нет. Из всех сотрудников (исключая Вячеслава Ивановича, который окончательно против)... связаны *только* мы с Вами, но *не* журнально...» (*VIII,* 327—328). См. также: *Письма к родным, II,* с. 109—113; *Переписка,* с. 246—247.

21. См. письмо Блока к Пясту от 29 мая 1911 г. (*VIII,* 339).

22. См. *VII.* 16.

23. См. выше, примеч. 21.

24. «Жизнь искусства», 1921, 10 августа.

25. Роль Блока в осуществлении и судьбе этою театрального предприятия преувеличена.

26. См. с. 383 наст. тома.

27. Письмо от 6 апреля 1915 г. *(VIII,* 443).

28. «Русского слова».

29. Имеется в виду известный фельетонист В. М. Дорошевич.

30. В декабре 1911 г. Блок получил предложение писать для «Русского слова» короткие статьи на литературные темы; 26 декабря он записывает в дневнике: «Думаю о сотрудничестве в «Русском слове». Его привлекал очень большой по тем временам тираж газеты и тем самым — возможность приобрести широкую аудиторию. Но его не оставляли и сомнения: уже 26 февраля 1912 г. он называет «Речь» и «Русское слово» — «консервативными органами», противопоставляя им большевистскую газету «Звезда» (*VII,* 105, 108, 114—115, 130). Кроме того, и внутри редакции «Русского слова» кандидатура Блока не у всех встре¬тила поддержку.

31. Имеется в виду «Новая Америка» (*III*, 268), написанная 12 декабря 1913 г. и впервые напечатанная в «Русском слове» (25 декабря 1913 г.) под заглавием: «Россия».

32. «Новая Америка» была сочувственно процитирована и прокомментирована в передовой статье журнала «Горнозаводское дело» (1914, № 1, с. 8329) в качестве произведения, выражающего «светлую животворящую идею огромного значения промышленности». О подъеме горнозаводской промышленности Блок размышлял в ноябре 1915 г.: «...будущее России лежит в еле еще тронутых силах народных масс и подземных богатств» (*IX,* 275).

33. *Эгрегор* — общая идея группы единомышленников (см.: «Курс энциклопедии оккультизма <...>», вып. 1. СПб., 1912, с. 9).

34. Стих. было опубликовано в сб. В. Пяста «Львиная пасть» (Берлин, 1922, с. 32). Ю. Н. Верховский в своих неопубликованных воспоминаниях о Блоке (копия — в собрании В. Н. Орлова) отмечает «преувеличения» и «поэтические вольности», допущенные в стих. Вл. Пяста.

35. Письмо от 29 мая 1911 г. (*VIII,* 339).

36. Подробная запись об этом визите к Е. В. Аничкову и спиритическом сеансе — в дневнике Блока (*VII,* 202): «Собрание светских дур, надутых ничтожеств... ярко предстает вся сволочность этой жизни...»

37. В кн. В. Пяста «Встречи» (с. 281) передано еще одно знаменательное высказывание Блока, относящееся к 1913—1914 гг. и связанное с его впечатлениями от шумных выступлений тогдашних футуристов: «Вот придет некто с голосом живым. Некто вроде Горького, а, может быть, он сам. Заговорит по-

настоящему, во всю мочь легких своей богатырской груди, заговорит от лица народа — и одним дыханием сметет всех в а с, — как кучу бумажных корабликов — все ваши мыслишки и слов а, — как ворох карточных домиков».

38. См. том II наст. изд., с. 331—332.

39. Об этом же эпизоде рассказывает в своих неопубликованных воспоминаниях о Блоке Ю. Н. Верховский: «Мы — в данном случае: Княжнин, Пяст, Чулков и не помню кто — очутились под утро в достаточно дрянном кафешантане на Гороховой. Надо еще заметить, что в промежуточных, так сказать, пунктах нашего странствия и здесь, на месте, встречались нам одни и те же личности, совершавшие этот же путь... Среди этих личностей попадалась и наша братия — литераторы, естественно к нам иногда присоединявшиеся... Жалкая залихватская музыка, сквозь нескладный шум пестрой толпы визгливые голоса... Одна певичка в широкой шляпе подошла к нашему столу, и среди пустой болтовни кто-то, кому это было интересно (мало с нами знакомый), предложил ей угадывать, что за люди тут сидят. Она плохо попадала... Профессию Блока она затруднялась определить; собеседник не утерпел и тихим голосом сказал: «Александр Блок». Она быстро встала, выпрямилась во весь рост, гордо откинув голову, подняла вытянутую руку и задыхающимся голосом торжественно произнесла:

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу...

Так во второй раз явился перед нами причудливый лик подлинной славы, Александр Александрович встретил его с полным спокойствием и тихой, застенчивой простотой. Этот эпизод очень неточно, прямо скажу — неверно рассказывает в своих воспоминаниях Пяст. Я передаю его, как он мне ярко запомнился во всей его значительности».

40. Вл. Пяст в это время сблизился с футуристами.

41. *«Бродячая собака»* — подобие литературно-художественно-артистического клуба, постепенно превратившегося в ночной ресторан богемного пошиба.

42. См. воспоминания В. Леха и А. Толстого во II томе наст. изд.

43. Блок окончательно вернулся с фронта в Петроград 19 марта 1917 г.

44. Н. А. Павлович (см. *VII,* 396).

45. Из стих. А. Ахматовой «Я пришла к поэту в гости...».

46. По другой лестнице, с черного хода.

2. ДВА СЛОВА О ЧТЕНИИ БЛОКОМ СТИХОВ

Печатается по сборнику «Об Александре Блике». П., 1921.

1. См. воспоминания С. И. Бернштейна — том II наст. изд. Исследование С. Бернштейна «Голос Блока» опубликовано в *Блоковском сборнике, II.* Ср. воспоминание Б. М. Эйхенбаума: «Я резко помню впечатление, произведенное на меня декламацией А. Блока на вечере в память В. Коммиссаржевской в 1910 г. (в зале Городской думы). Блок читал свое стихотворение «На смерть Коммиссаржевской» («Пришла порою полуночной...») — и я впервые не испытывал чувства неловкости, смущения и стыда, которое неизменно вызывали во мне все «выразительные» декламаторы. Блок читал глухо, монотонно, как-то отдельными словами, ровно, делая паузы только после концов строк. Но благодаря этому я воспринимал текст стихотворения и переживал его так, как мне хотелось. Я чувствовал, что стихотворение мне *подается,* а не *разыгрывается.* Чтец мне помогал, а не мешал, как актер со своими «переживаниями», — я слышал слова стихотворения и его движение» (Б. Эйхенбаум. Литература. Л., 1927, с. 227—228).

2. Ср. заметки Блока «О чтении стихов русскими актерами», относящиеся к маю 1919 г. (*VI,* 473).

А. А. ГРОМОВ

В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Печатается по альманаху «Стожары», книга третья. П., 1923.

Громов Александр Александрович (1881 — после 1935) — студенческий товарищ Блока, филолог. В 1901 г. окончил гимназию в Петербурге, в 1906 г. — Петербургский университет; преподавал русскую литературу в нескольких петербургских средних учебных заведениях; с 1912 г. — приват-доцент Петербургского университета. В 1905 г. часто встречался с Блоком (см.: *Письма к родным, I,* с. 140, 147).

1. Сочувственная характеристика В. Л. Полякова («печального, строгого, насмешливого, умного и удивительно привлекательного юноши»), отчасти по личным воспоминаниям, содержится в статье Блока «Противоречия» (*V,* 411).

2. Об отношениях Блока с Л. Семеновым см.: З. Минц. Л. Д. Семенов-тянь-Шанский и его «Записки» (Ученые записки Тартуского гос. университета. Труды по русской и славянской филологии, XXVIII, вып. 414. Тарту, 1977, с. 102).

3. Выражение Е. Баратынского из стих. «Муза».

4. Слова из стих. А. Ахматовой «Слава тебе, безысходная боль...».

5. Цитата из Пушкина («Моцарт и Сальери»).

6. Неточная цитата из первой редакции стих. «Город в красные пределы...» (в сб. «Стихи о Прекрасной Даме», 1905):

Целомудренные лица
Кажут белый ряд зубов.
В каждой девушке — блудница,
В каждом помысле — альков.

В последующих публикациях эта строфа была из текста устранена.

7. Эта работа Блока до нас не дошла.

8. Черновик работы Блока «Болотов и Новиков» опубликован: Александр Блок. Собр. соч., т. XI. Л., 1934.

9. Речь идет о курсе лекций Ф. Ф. Зелинского «Horatii Flacci de arte poetica liber ad Pisones», изданных студентом Лео литографским способом в Петербурге в 1898/99 г.

10. *Деванагари* — древнеиндийский слоговой алфавит.

11. Из стих. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом».

12. Из стих. Блока «К Музе» (*III*, 7).

13. В марте 1914 г. Блок записал: «Встреча с А. А. Громовым, который рассказал мне интересные вещи (как он читал обо мне народным учителям Новгородской губернии)» (*IX*, 210).

14. Очевидно, тогда же Блок послал А. А. Громову свое стих. «Неотступное» (автограф — в Рукописном отделе Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

15. Это, очевидно, одно из последних писем Блока и последнее из доныне опубликованных.

В. П. ВЕРИГИНА

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

Печатается по изданию: Ученые записки Тартуского гос. университета. Труды по русской и славянской филологии, IV, вып. 104. Тарту, 1961, с. 310—371. Впоследствии эта публикация вошла в кн.: В. П. Веригина. Воспоминания (Л., 1974), в подготовке которой автор уже не участвовал.

Веригина Валентина Петровна (1882—1974) — драматическая актриса. Училась в школе Московского Художественного театра, на сцене с 1902 г., в 1905 г. играла в студии Художественного театра, с осени 1906 г. — в труппе В. Ф. Коммиссаржевской в

Петербурге, в 1908—1909 гг. — в театре Корша в Москве После Октябрьской революции занималась режиссерской и театрально-педагогической работой.

К воспоминаниям о Блоке В. П. Веригина приступила в 1926 г., когда была написана первая глава; остальные главы датируются серединой 30-х гг. см. Ученые записки Тартуского гос. университета, IV, с. 310).

1. В. Э. Мейерхольд.

2. Собрания по субботам начались 7 октября 1906 г. с приходом В. Э. Мейерхольда в качестве главного режиссера театра.

3. Имеется в виду стих. «Поэт» (*II*, 69).

4. Имеется в виду кантата «Факелы» («С тех пор, как мощный Прометей...»), снабженная подзаголовком: «Дифирамб».

5. Ошибка памяти мемуаристки: стих. «Вот явилась. Заслонила...» было написано лишь в декабре 1906 г. (*II*, 254).

6. Строфа «Золотой твой пояс стянут...» и т. д. имеется и в рукописи, и во всех публикациях; строфа «Так пускай же ветер будет...» и т. д. (имеющаяся в рукописи) была введена в печатный текст только в 1918 г.

7. 14 октября 1906 г.

8. Н. Н. Волохова в своих воспоминаниях о Блоке («Земля в снегу») говорит по этому же поводу другое: «На наш вопрос: умер ребенок или уснул... — он ответил совершенно искренне и несколько растерянно: — Не знаю, право, не знаю» (Ученые записки Тартуского гос. университета IV, 372).

9. Вскоре (17 октября) художественный совет театра В. Ф. Коммиссаржевской уведомил Блока о решении поставить «Короля на площади» (постановка не была осуществлена).

10. Речь идет о стих. «Незнакомка».

11. В. П. Веригина ошибочно полагает, что Н. Н. Волохова явилась «воплощением» Мэри — персонажа лирической драмы «Незнакомка».

12. Слова Блока (из стих. «Незнакомка»; *II*, 186).

13. Спектаклем «Гедда Габлер» 10 ноября 1906 г. открылся сезон в театре В. Ф. Коммиссаржевской.

14. Ср. у Н. Н. Волоховой: «Как-то раз, провожая Александра Александровича с лестницы, ведущей в вестибюль, я услышала от него несколько очень лестных слов, в частности и относительно моего голоса, его музыкальности и благородства дикции. — «Когда вы говорите, словно речка журчит» (ср. «Песня Судьбы» — Фаина)» (Ученые записки Тартуского гос. университета, IV, с. 373).

15. Перифраз строк из стих. «Просыпаюсь я — и в поле туманно...» (1903; *I*, 279).

16. Из стих. «Осенняя воля» (*II*, 75).

17. Слова Блока из стих. «В снегах» (*II*, 235).

18. Строфа, начинающаяся этими строками, была исключена Блоком из печатного текста стих. «Второе крещенье» (*II*, 216 и 427).

19. Ошибка: письмо от 25 *декабря* (*VIII*, 166 — с этой же неверной датой).

20. *Хома Брут* — персонаж повести Гоголя «Вий».

21. Репетиции «Балаганчика» в театре В. Ф. Коммиссаржевской начались 10 декабря 1906 г. и продолжались до 28 декабря; первое представление состоялось 30 декабря.

22. В спектакле распределение ролей было несколько иным (см.: *IV*, 568).

23. Режиссерская экспозиция В. Э. Мейерхольда изложена в его книге «О театре». СПб, 1913, с. 171—172 и 198 (см. также: *IV*, 569).

24. Г. И. Чулков прочитал актерам доклад о «Балаганчике»; частично он был напечатан в газете «Молодая жизнь», 1906, 27 декабря (см. также: *IV*, 568).

25. Слова Блока из стих. «Нет исхода» (*II*, 250).

26. Сводку основных данных о реакции публики и прессы на постановку «Балаганчика» см. в *IV*, 570—572. Дополнительно: А. Дейч. Вспоминая минувшее. — «Звезда», 1966, № 5, с. 165—166.

27. М. Кузмин. Картонный домик. — «Белые ночи. Петербургский альманах». СПб., 1907, с. 142.

28. Перифраз из стих. Блока «Сквозь винный хрусталь...» (*II*, 239).

29. Из стих. Блока «Ее песни» (*II*, 220).

30. *«Валентин мисс Белинды»* — название рассказа С. Ауслендера, напечатанного в альманахе «Белые ночи», СПб., 1907.

31. Слова Блока. Дальше в тексте, кроме прямых цитат, много выражений и перифраз из «Снежной маски» («серебро метелей», «звездный купол», «в углу дивана», «обманы и виденья» и т. д.).

32. «Своими горькими слезами...» (1908; *II*, 293). Никакой «злобы» и «уничтоженья» в этих стихах нет. Вообще все стихи Блока, так или иначе связанные с Н. Н. Волоховой, трактуются В. П. Веригиной в наивно-прямолинейном «биографическом» плане.

33. Н. Н. Волохова вспоминала: «Часто после спектакля мы совершали большие прогулки, во время которых Александр

Александрович знакомил меня со «своим городом», как он его называл. Минуя пустынное Марсово поле, мы поднимались на Троицкий мост и, восхищенные, вглядывались в бесконечную цепь фонарей, расставленных, как горящие костры, вдоль реки и терявшихся в мглистой бесконечности. Шли дальше, бродили по окраинам города, по набережным, вдоль каналов, пересекали мосты. Александр Александрович показывал мне все места, связанные с его пьесой «Незнакомка»: мост, на котором стоял Звездочет и где произошла его встреча с Поэтом, место, где появилась Незнакомка, и аллею из фонарей, в которой она скрывалась. Мы заходили в кабачок, где развертывалось начало этой, пьесы, маленький кабачок с расписными стенами» (Н. Н. Волохова. Земля в снегу. — Ученые записки Тартуского гос. университета, IV, с. 373).

34. *Баутты* — здесь: участники венецианских маскарадов, (баутта — маска, домино).

35. Этот рыцарь с кровли Зимнего дворца упоминается в. стих. Блока «Еще прекрасно серое небо...» (1905); *«Рыцарь с темными цепями...»* — из стих. «Тени на стене» (*II*, 242); отношения к первому рыцарю не имеет.

36. Блок связывал написание «Незнакомки» с вокзалом в. Озерках (см.: *II*, 423; *Блоковский сборник, I,* с. 406).

37. Письмо от 24 февраля 1907 г. (*VIII,* 181; с неверной датой).

38. Перифраз из стих. «Ночная» (*I*, 318).

39. Из стих. «Тишина цветет» (*II*, 114).

40. Стихи Блока («Клеопатра»; *II*, 207).

41. См. воспоминания В. И. Стражева (том II наст. изд.).

42. «Автор «Балаганчика» о петербургских религиозно-философских собраниях». — «Русское слово», 1908, 25 января (под псевдонимом: В. Варварин).

43. В. Розанов писал в своей статье: «...изо всех декадентов решительно больше других процветал в прошлую зиму г. Александр Блок. Легенда рассказывает, что актеры и особенно актрисы театра г-жи Коммиссаржевской в Петербурге осыпали его цветами, и, может быть, не одними цветами, во время постановки знаменитого «Балаганчика», и буквально чуть не задушили его не в одном фимиаме похвал, но и в чем-то более осязательном».

44. «Литературные итоги 1907 года» («Золотое руно», 1907, № 11/12. — *V,* 209); на эту статью и отвечал В. Розанов (В. Варварин).

45. Л. В. Собинов Блоку резко не понравился, и он, по его же словам, «обошелся с ним неласково» (*VIII,* 218); это было еще в ноябре 1907 г.

46. Лекция «Искусство будущего» была прочитана А. Белым в Тенишевском зале 15 января 1908 г. (см.: *Переписка,* с. 223—224).

47. Пародия на персонаж Некто в сером в драме Л. Андреева «Жизнь Человека».

48. Блок возражал против сценической деятельности своей жены, потому что не верил в ее артистические способности.

49. Из стих. «Над озером» (*II,* 301).

50. В феврале 1908 г. Н. Н. Волохова, очевидно, дважды была в Петербурге и виделась с Блоком (см.: *Письма к родным, I,* с. 192, 195 и 196). На экземпляре «Снежной маски», принадлежавшем самому Блоку *(ИРЛИ),* есть такая надпись Н. Н. Волоховой, относящаяся к этому времени: «Радостно принимаю эту необычайную книгу, радостно и со страхом — так много в ней красоты, пророчества, смерти. Жду подвига. *Наталия.* 908—27/II». В начале четвертой недели Великого поста (18 марта) Блок читал в Петербурге публичную лекцию «О театре»; известны его письма от 21, 22, 25 и 27 марта, помеченные Петербургом. Следовательно, на этой неделе съездить в Москву он мог лишь 19—20 марта. Но с этим не согласуется дата 4 марта — 9 июня, поставленная в рукописи стих. «Я помню длительные муки...» (в публикации 1912 г. под стих. обозначено: *Москва*). Остается предположить, что либо это стих., обращенное к Н. Н. Волоховой, было вчерне набросано еще в Петербурге, либо Блок ездил в Москву не на четвертой, а на второй неделе Великого поста.

51. «Наталия Николаевна уехала давно, я даже не простился с ней», — писал Блок матери 27 мая 1908 г. (*Письма к родным, I,* с. 214).

52. Стих. «И я провел безумный год // У шлейфа черного...» было написано в октябре 1907 г. (*II,* 269).

53. Это было не в 1921 г., а 10 мая 1920 г. (этот год называет в своих воспоминаниях и Н. Н. Волохова), на утренней репетиции оперы «Дочь мадам Анго» в музыкальной студии Художественного театра.

54. Это была Н. А. Нолле-Коган.

55. Из стих. «О доблестях, о подвигах, о славе...» (*III,* 65).

56. Стих. «Благовещение», по свидетельству Блока, было внушено ему фреской Джианникола Манни в перуджийском Collegio del Cambio (*III,* 538).

57. Эпиграф — из стих. Влад. Княжнина (В. Н. Ивойлова), — цикл «Стихи о Петрограде» в журнале «Любовь к трем апельсинам», 1914, № 6/7.

58. Блок возлагал известные надежды на это театральное предприятие, во вскоре разочаровался в нем. «Переменилось много в духе предприятия, как мне кажется, — записал он в дневнике 28 мая 1912 г. — Вначале они хотели большого идейного дела, учиться и т. д. Но не знали, были впотьмах, бродили ощупью. Понемногу стали присоединяться предприимчивые модернисты... и... вместо *большого* дела... возникло талантливое декадентское *маленькое* дело. Тут нашлись и руки и пафос. *Речи* были о Шекспире и идеях, *дело* пошло прежде всего о мейерхольдовских пантомимах» (*VII*, 146). Резкий протест Блока против эстетизма, формализма, бездушности и бездумности модернистского искусства поставил его в сложные отношения с В. Э. Мейерхольдом. Блок высоко ценил Мейерхольда как одареннейшего художника, ему импонировал дух смелого новаторства, всегда воодушевлявший Мейерхольда, но самое направление его исканий в предреволюционные годы вызывало со стороны Блока решительные возражения. В это время Мейерхольд, боровшийся со старым — «бытовым» и «психологическим» — театром, целиком погрузился в стихию «чистой» и «условной» театральности. Он пытался опереться в своих исканиях на принципы театра марионетки и маски, на традиции commedia del'arte, сказочную фантастику Гоцци и Гофмана, на приемы цирка и ярмарочного балагана; его увлекала сама техника театрального действия, искусство жеста, мизансцены и пантомимы. Для Блока же все это было «только талантливыми завитками вокруг пустоты», «узорными финтифлюшками вокруг пустынной души» (*VIII,* 440). Ср. рассказ В. Мейерхольда о его сложных отношениях с Блоком (А. Гладков. Мейерхольд говорит. — «Новый мир», 1961, № 7, с. 223—224).

59. См. дневник от 11 июня 1912 г. (*VII,* 149).

60. Свои впечатления от спектакля Блок изложил в письме к матери от 15 июля 1912 г. (*VIII,* 398).

61. 9 января 1913 г. Блок записал в дневнике: «Ник. Павл. Бычков — говорил о необходимости кружка, мы спорили, разные языки, в нем много обывательщины» (*VII,* 205); см. также записи от 17, 24 и 31 января (с. 208—209, 212, 214) и от 7 февраля (с. 216).

62. Перифраз строки из стих. Блока «Ушла. Но гиацинты ждали...» (*II,* 258).

63. *Цани* — слуга в commedia del'arte.

64. См. отзыв А. Бобрищева-Пушкина о спектакле. — «Театр и искусство», 1914, № 15, с. 347.

65. Отзыв А. Н. Чеботаревской — в журнале «Дневники писателей», 1914, № 2, с. 36.

66. Блоковские спектакли в Тенишевском зале шли с 7 по 11 апреля 1914 г.; Блок присутствовал на спектаклях 7 и 10 апреля. Подробное описание спектакля — в воспоминаниях А. Дейча «Вспоминая минувшее» («Звезда», 1966, № 5, с. 172—173).

67. Это было в последний приезд Блока в Москву, в 1921 г.

68. См. выше, примеч. 53.

69. Предпоследний фотографический снимок Блока, сделанный М. Наппельбаумом 25 апреля 1921 г.

70. Мать Блока, жившая летом 1921 г. на даче в Луге, была вызвана доктором, лечившим Блока, и приехала в Петроград за четыре дня до смерти сына. Блок скончался в присутствии жены и матери.

71. Из стих. С. Городецкого «Аленькая» (см. с. 453 наст. тома).

СОДЕРЖАНИЕ

Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечаний.

ИСПЕПЕЛЯЮЩИЕ ГОДЫ

Александр Блок в воспоминаниях современников.

Б 70 В 2-х т. — М.: Худож. лит., 1980 — Т. 1. / Вступит. статья, сост., подготовка текста и коммент. Вл. Орлова. 1980, 552 с.

В первый том входят воспоминания М. А. Бекетовой, Л. Д. Блок, А. Белого, С. Городецкого, В. П. Веригиной и др.

Б $\frac{70202-231}{028(01)-80}$ 50-80 4702010200 8Р1

**АЛЕКСАНДР БЛОК
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ
Том 1**

Редактор *А. Саакянц*
Художественный редактор
Г. Масляненко
Технический редактор
Л. Синицына
Корректор
Г. Асланянц

ИБ № 1598

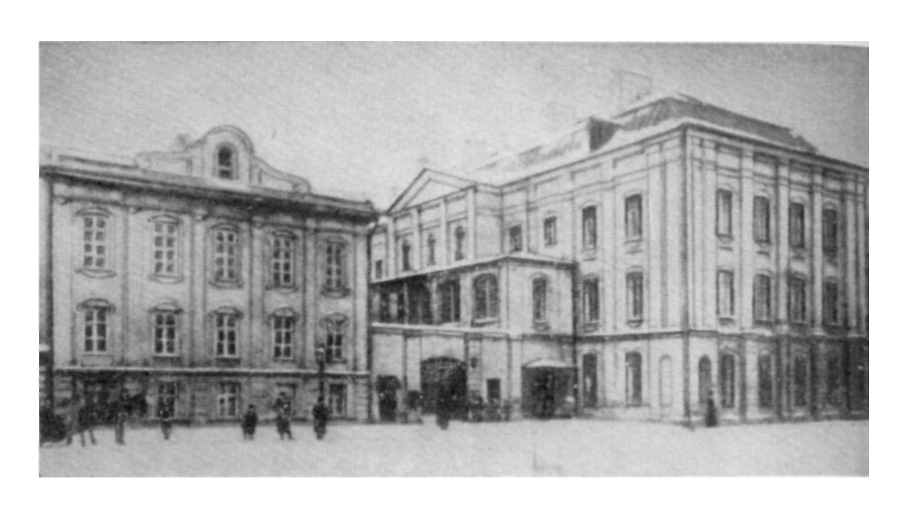
Сдано в набор 26.11.79. Подписано в печать А01885 от 05.08.80. Формат 84X108 $^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. 28,98+1вкл.+ альб.=29,875 усл. печ. л. 30,917+1 вкл.+ альб. =31,756 уч.-изд. л. Тираж 75 000 экз. Заказ № 449. Цена 2 р. 10 к.

Издательство
«Художественная литература»
107882, ГСП. Москва,
Ново-Басманная, 19

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29

Александра Андреевна Бекетова,
мать поэта. Фотография (1878).

Александр Львович Блок,
отец поэта. Фотография (1878).



«Ректорский дом» Петербургского университета, где родился А. А. Блок.

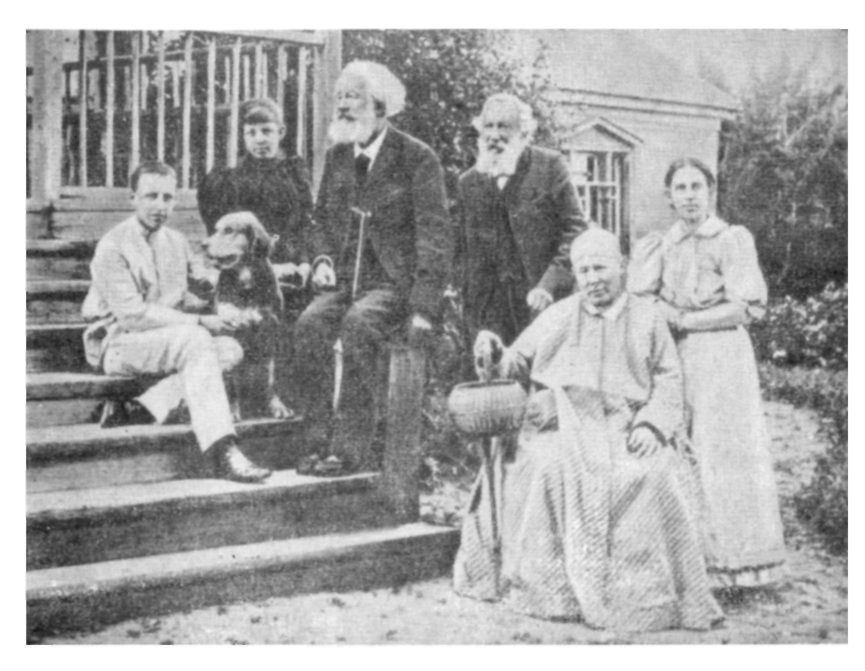
Шахматово. Акварель Е. А. Бекетовой-Красновой.

А. Блок. Фотография 1885 г.

А. Блок. Фотография 1891 г.

Группа, снятая на крыльце дома в Шахматове. Слева направо: А. Блок, М. А. Бекетова, Н. Н. Бекетов, А. Н. Бекетов, А. Ф. Кублицкий-Пиоттух, А. А. Кублицкая-Пиоттух, Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух.

А. Блок в Шахматове с собакой Дианкой. Фотография В. Н. Бекетова (лето 1894 г.).



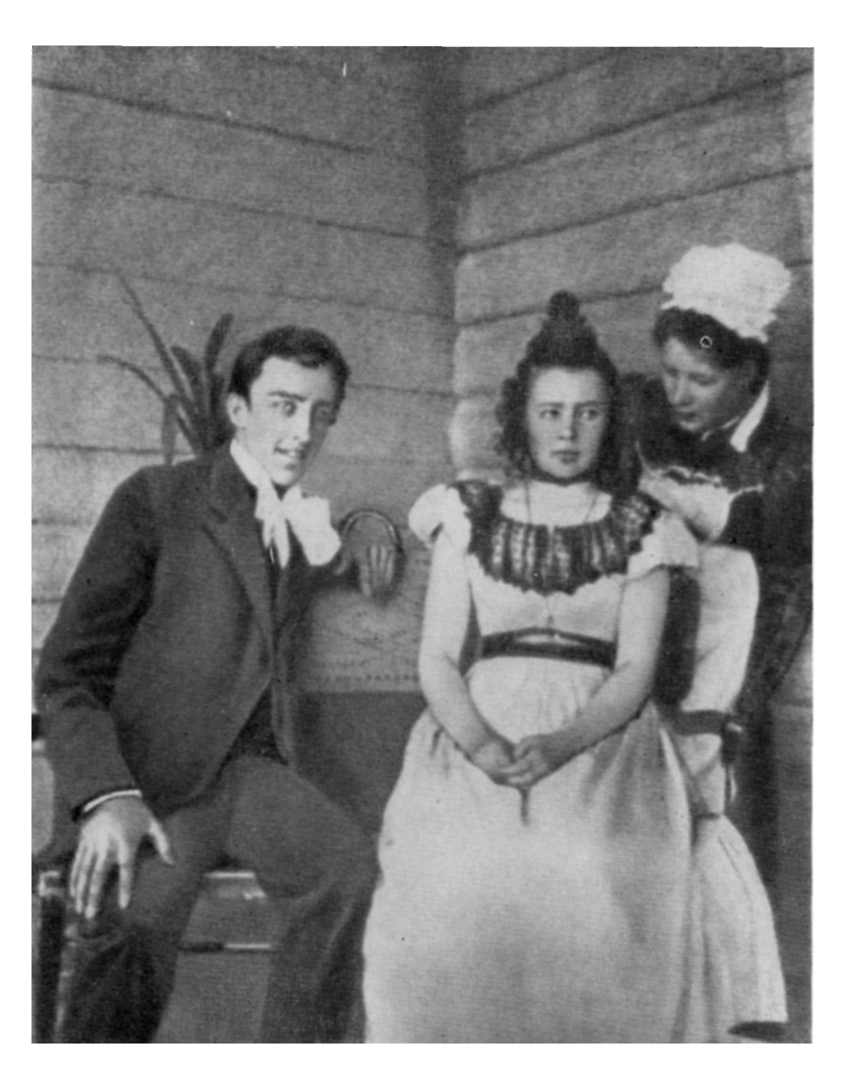
Группа, снятая на крыльце дома в Шахматове. Фотография В. Н. Бекетова (лето 1894 г.). Слева направо: А. Блок, А. А. Кублицкая-Пиоттух, А. Н. Бекетов, Н. Н. Бекетов, Е. Г. Бекетова, М. А. Бекетова.

Офицерский корпус казарм лейб-гвардии Гренадерского полка.
Петербург, набережная Большой Невки.

А. Блок. Фотография Мрозовской (весна 1898 г.).

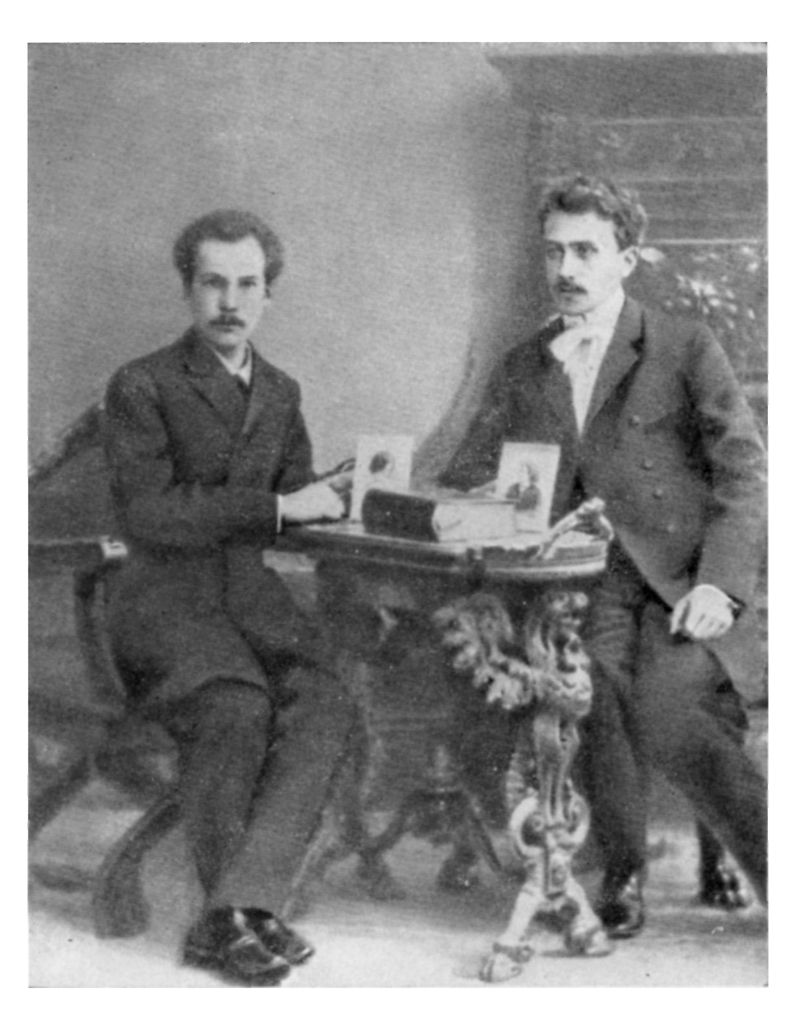
Любовь Дмитриевна Менделеева. Фотография (1896—1897).

Сцена из спектакля «Гамлет». Боблово, лето 1898 г.
Гамлет — А. Блок, Гертруда — Л. Д. Менделеева.



Сцена из спектакля «Горе от ума». Боблово, лето 1898 г.
Фотография. Чацкий — А. Блок, Софья — Л. Д. Менделеева.

А. Блок и Л. Д. Менделеева. Фотография Д. С. Здобнова (начало 1903 г.).



А. Белый и С. Соловьев. Фотография 1904 г.

А. Блок. Фотография (февраль 1906 г.).

Фронтиспис сборника «Снежная маска» (1907).

А. Блок. Фотография Д. С. Здобнова (1907).